В.А. Потто

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА

Том 4. Турецкая война 1828—1829 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

II. НАСТУПЛЕНИЕ НА КАРС 12
III. ТРЕХДНЕВНАЯ ОСАДА КАРСА 20
IV. ШТУРМ КАРСА 28
V. ВЗЯТИЕ АНАПЫ 38
VI. АХАЛКАЛАКИ И ХЕРТВИС 48
VII. НАСТУПЛЕНИЕ К АХАЛЦИХЕ 58
VIII. РАЗГРОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТУРЕЦКОГО КОРПУСА 67
IX. ОСАДА АХАЛЦИХЕ 74
X. ШТУРМ АХАЛЦИХЕ 79
XI. АЦХУР И АРДАГАН 96
XII. ПОКОРЕНИЕ БАЯЗЕТСКОГО ПАШАЛЫКА (Генерал-майор князь Александр Герсеванович Чавчавадзе) 106
XIII. СОЮЗНИКИ И ВРАГИ В ПРИРИОНСКОМ КРАЕ 119
XIV. ЗИМА ЗА КАВКАЗОМ 131
XV. ЗИМНИЙ ПОХОД НА ВЫРУЧКУ АХАЛЦИХЕ 143
XVI. ЗАЩИТА АХАЛЦИХЕ 147
XVII. НА ПОЛЯХ ТУРЕЦКОЙ ГУРИИ 160
XVIII. ЗАКАВКАЗЬЕ ПЕРЕД УГРОЗОЙ НОВОЙ ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ 164
XIX. НОВАЯ ГРОЗА ПОД АХАЛЦИХЕ 177
XX. БИТВА ПРИ ДИГУРЕ И ЧАБОРИО 180
XXI. ЧЕРЕЗ САГАНЛУГСКИЕ ГОРЫ 189
XXII. ПОРАЖЕНИЕ СЕРАСКИРА (Битва при Каинлы) 198
XXIII. БОЙ У МИЛЛИ-ДЮЗА (Пленение Гагки-паши) 204
XXIV. ПОХОД К АРЗЕРУМУ ЗАНЯТИЕ ГАССАН-КАЛЕ 215
XXV. ПОКОРЕНИЕ АРЗЕРУМА 222
XXVI. ГЕРОЙСКАЯ ЗАЩИТА БАЯЗЕТА (Генералы Попов и Панютин) 236
XXVII. В АРЗЕРУМСКОМ ПАШАЛЫКЕ 244
XXVIII. БЕЙБУРТСКАЯ КАТАСТРОФА (Смерть генерала Бурцева) 250
XXIX. В СТРАНЕ ЛАЗОВ 254
XXX. В ТЫЛУ И НА ЛЕВОМ ФЛАНГЕ 266
XXXI. НЕУДАЧНЫЙ ПОХОД В АДЖАРИЮ 275
XXXII. НА ГРАНИЦАХ ГУРИИ 282
XXXIII. ПОСЛЕДНЯЯ СЛУЖБА ТАТАР 290
XXXIV. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПОД БЕЙБУРТОМ 295
XXXV. МИР 303
XXXVI. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ХРИСТИАН ИЗ ТУРЦИИ 315
XXXVII. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХОЛОДНОМ ОРУЖИИ 328
XXXVIII. ПУШКИН НА КАВКАЗЕ 332

I. ОТ ВОЙНЫ К ВОЙНЕ

Еще не замолкли громы персидской войны 1826— 1828 годов, а политические обстоятельства в Европе сложились так, что сделали неизбежным для России столкновение с Турцией. В Петербурге не знали еще о славном мире, заключенном с Персией, а в Кавказский край уже летел курьер с секретными депешами о разрыве с Портой и неотложной необходимости кавказскому корпусу готовиться к новым военным действиям.

Был март 1828 года. Счастливый победитель Персии граф Паскевич Эриванский возвращался из Тавриза в Тифлис. Он ехал через Маранду в то время, как курьер, спешивший к нему навстречу, взял из Эривани направление через Карабаг, и они разминулись. Не застав главнокомандующего в Тавризе, курьер поспешил назад по следам его и нагнал Паскевича 20 марта, уже на первом ночлеге за Эриванью. Прочитав депеши, граф тотчас выехал в Тифлис, послав приказание, чтобы туда же шли все полки, возвращавшиеся из Персии.

Начиналась турецкая война.

При тогдашнем положении дел, известия, привезенные курьером, мучительно тревожили Паскевича. Действующие войска не могли придти из Персии раньше конца апреля, а до тех пор вся пятисотверстная русская граница, простиравшаяся тогда от гурийских берегов Черного моря до Талыни и оттуда, по окраине бывшего Эриванского ханства, до Арарата, лежала открытой перед неприятелем. Малочисленные гарнизоны, разбросанные на огромном пространстве, достаточны были разве только для нужд внутренней службы. Даже четыре пункта, открывавшие неприятелю удобнейшие входы в русские пределы: пост Чахотаурский на границе Гурии и Имеретии, Боржомское ущелье со стороны Картли, крепость Цалки в Сомхетии и Гумры в Шурагеле — даже эти важные пункты едва охранялись. В Цалках, например, стояла рота, в Гумрах — две, и эти слабые заслоны, конечно, не могли бы остановить решительного наступления турецкой армии.

Вот подробная ведомость тех сил, которые в этот тревожный момент оставались для защиты края.

В пределах Грузии, для охраны Тифлиса, штаб-квартир и на Алазанской линии, стояло шесть батальонов пехоты (это были третьи резервные батальоны от полков Херсонского, Грузинского, Эриванского, Тифлисского, Ширванского и сорок первого егерского). Из них по одной роте — в Манглисе, в Белом Ключе, в Гори, в Цалках и в Джелал-Оглы; девять рот в Тифлисе и два с половиной батальона на Алазани. Кроме того, две роты Крымского пехотного полка занимали Гумры.

В Армянской области, как пограничной с Турцией и Персией, число войск было несколько более, именно — девять батальонов: в Эривани стояли тридцать девятый егерский полк, батальон сорокового полка и шесть рот Севастопольского; в Эчмиадзине — другой батальон сорокового полка; в Сардар-Абаде — шесть рост Крымского полка и две Севастопольского; в Аббас-Абаде — батальон Тифлисцев, и, наконец, в Нахичевани — две роты от полка Нашебургского.

В самих русских пределах, при их соседстве с Турцией, не было уверенности в полной безопасности. Если массы населения уже научились ценить принесенные русской властью блага внутреннего спокойствия и привыкали к мирной деятельности цивилизующейся

страны, то среди них все еще оставались элементы, жившие преданиями прошлого, способные внести в край смятение и беспорядки.

На самом правом фланге русских владений лежала Абхазия представлявшая в этом смысле наибольшую опасность. Еще в самом начале персидской войны, когда Ермолов сосредоточивал все наличные средства и силы к Тифлису, уже являлась необходимость серьезно подумать об обороне побережья Черного моря. Покинуть Сухумскую бухту и Абхазию значило бы отказаться от последнего влияния на народы восточного Черноморского побережья — влияния, столь важного для жизни всего Закавказья. А между тем, при том состоянии, в котором находилась Сухумская крепость, защищаться в ней было невозможно, и оставалось одно из двух: либо заблаговременно принять меры к ее укреплению, на что требовались деньги и войско, либо теперь же вывести из нее войска и взорвать ее стены.

В Петербурге не ожидали в то время близкого разрыва с Портой, и государь не изъявил согласия на разрушение Сухума, полагая, что “оное причтется к излишней осторожности”. Он приказал для защиты крепости занять ее достаточным гарнизоном, а для прикрытия с моря расположить у берегов Абхазии небольшую часть крейсерской флотилии.

Опасения Ермолова тогда не сбылись: Абхазия во время персидской войны оставалась сравнительно спокойной. Но зато теперь, на случай появления турецкого десанта, Абхазия готовилась к восстанию. Открытая и с моря, и с суши воздействиям турок, страна не могла не относиться сочувственно к их пропаганде, и, действительно, на Сухумский гарнизон скоро начались беспрерывные нападения, стеснившие его с течением времени так, что несколько шагов за крепость невозможно было сделать без конвоя.

К Абхазии примыкали Мингрелия, Имеретия и Гурия. Населенные христианами, они, казалось бы, не должны были внушать особых опасений. Действительно, на верность мингрельцев и имеретин можно было положиться вполне, и генерал-адъютант Синягин, посланный позже Паскевичем для обзора этих провинций, писал, что он нашел в них наилучшее расположение к России. Владетель Мингрельский вызвался даже выставить до четырех тысяч вооруженной милиции; имеретины, со своей стороны, собирали земское ополчение. Но положение дел в маленькой Гурии было совершенно иное. Властолюбие тогдашней правительницы ее княгини Софьи угрожало вовлечь страну на скользкий путь предательств и измены; она вела тайные переговоры с турками, даже отправила к ним в аманаты своих детей и получила за то от султана фирман и подарки.

А между тем приморское положение этой ничтожной по пространству страны доставляло ей весьма важное значение. И если бы турки появились только в Гурии — то спокойствие соседней Мингрелии и Имеретии неминуемо было бы нарушено. То же самое должно сказать и о Грузии, составлявшей центр и основание нашего могущества за Кавказом.

Эта многострадальная страна искони веков была театром хищнических набегов со стороны соседей. И если в мирное время буйные лезгины, карапапахи и курды, несмотря на присутствие в ней русского войска, ежегодно уводили отсюда многочисленные стада и нередко захватывали в плен самих жителей, то теперь, с объявлением турецкой войны, над ней нависла угроза новых и новых вторжений. Гроза надвигалась на нее со стороны Ахалцыха и Карса и со стороны тех полукочевых племен, которые всегда служили как бы передовыми аванпостами для турок. Сама политическая жизнь страны требовала особенного наблюдения. Еще живы были старики, помнившие своих царей, время относительной своей независимости, и имя царевича Александра, под их влиянием, могло волновать умы пылкой грузинской молодежи.

Далее, за Грузией, лежала Армянская область, соприкасавшаяся с персидской границей. Правда, ослабленная проигранной войной, лишившаяся почти всей своей регулярной армии, Персия, сама по себе, не представляла серьезной опасности, но тем не менее вполне положиться на спокойствие границы, при известном непостоянстве и легкомыслии персидского правительства, было невозможно.

Затем, среди остальной магометанской части Закавказского края немудрено было ожидать общих волнений. Еще мусульманские провинции, державшиеся Алиевой секты, могли оставаться спокойными; в областях, населенных сунитами, уже замечалось брожение. Особенно колебание умов давало себя чувствовать среди кавказских горцев. Весь Северный Дагестан волновался под влиянием какого-то неведомого религиозно-политического учения; Чечня разбойничала; Кубани вновь грозили замолкшие было в последние годы набеги.

Повсюду требовалось войско и войско.

Турция находилась в положении несравненно выгоднейшем. По всей границе ее с Россией, на всех удобных входах в нее расположились сильные крепости, ждавшие только момента, чтобы внести смерть и ужас в ряды дерзких пришельцев, покусившихся нарушить их грозное молчание. Поти, Батум, Кабулеты, Ацхур, Хертвис, Ахалцихе, Ахалкалаки, Карс, Магазберт, Кагызман и Баязет, возвышая к небу вершины своих башен, составляли оплот мусульманского могущества в древней исторической стране, бывшей постоянным театром бедствий и кровопролитий.

Задолго перед тем делались и другие приготовления к войне.

Нужно сказать, что Азиатская Турция в административном делении своем представляла в то время несколько отдельных областей, управляемых пашами. По границам России, начиная от Черного моря до Персии, лежали пашалыки: Трапезундский, Ахалцихский, Карсский и Баязетский, а за ними — Арзерумский, Ванский и Мушский. Последние шесть пашалыков составляли так называемую Турецкую Армению, а Трапезундский, Диарбекирский, Сивасский, Такатский и Моссульский образовывали Анатолию. Все эти одиннадцать областей подчинялись одному общему правителю в лице сераскира Арзерумского, которому вверялось бесконтрольное владычество над Арменией и Анатолией. Достоинство это почиталось в Турецкой империи одним из важнейших, и сераскир Арзерумский облекался полной деспотической властью: он ведал всеми войсками и администрацией края, учреждал налоги и подати, сменял и назначал начальников, выносил смертные приговоры.

Но эта, по-видимому, строго проведенная централизующая власть далеко не достигала своих целей. Дело в том, что каждый пашалык делился на санджаки, а санджаками управляли беки, упорно стремившиеся удержать некогда принадлежавшую им самостоятельность. Беки поставлены были в зависимость от пашей, которым предоставлялось право назначать и сменять их по личному усмотрению, но право это в огромном большинстве случаев оставалось чисто номинальным. Обыкновенно бек, глава воинственного поколения, вовсе не повиновался паше. Происходя от древнего знатного рода, искони наследственно пользовавшегося в санджаке деспотической властью, он со стороны соплеменного ему населения признавался единственным законным владыкой, пользовался его безграничным и безусловным повиновением и в конце концов был сильнее паши, которому беки оставляли, таким образом, только его почетный титул. Эти порядки, напоминавшие феодальные отношения, выросшие на исторической почве, охранялись со стороны беков всеми силами, и нередко правительственные войска,

посылаемые для усмирения непокорных, были бессильны сломить сопротивление. Особенной известностью в этом смысле пользовались в Карсском пашалыке санджаки Магазбертский и Гечеванский, владетели которых жили в укрепленных замках, вернее, в сильных крепостях, построенных на неприступных скалах. Турецкие паши уже и не пытались подчинять своей власти подобных беков, доставлявших постоянные беспокойства Турции своими наездами то на соседей, то на русские границы, которые они переходили открыто для грабежа и разбоя. Случалось не раз, что на жалобы русских властей, требовавших прекращения подобных беспорядков, паша с чисто восточной логикой, не знающей ничего выше грубой силы, отвечал, что виновный в беспорядках бек слишком силен, чтобы можно было с ним справиться.

Нужно было принять меры, чтобы на случай войны восстановить в стране порядок и единство действий. И вот Константинопольский двор, сосредоточивая всевозможные средства в азиатской Турции для предстоящей борьбы, понял необходимость назначить высшим правителем ее наиболее доверенного, опытного и искусного сановника. В Арзерум отправлен был трехбунчужный паша Галиб, которому не только отданы были под непосредственное начальство одиннадцать пашалыков, обыкновенно составлявшие Арзерумский сераскириат, но и верховное право заимствовать из всех азиатских владений Порты то число войск и те средства, какие по местным обстоятельствам он сам признает необходимыми для успешного хода войны.

Новый сераскир пользовался большим доверием в Константинополе и имел на то неотъемлемое право. Галиб долго жил в Париже посланником блистательной Порты при императоре Наполеоне I, участвовал как рейс-эфенди при заключении с Россией Бухарестского мира и был, наконец, некоторое время великим визирем. Принадлежа к сословию янычар, Галиб-паша, как рассказывают, первый подал мысль о необходимости их преобразования. Он даже послан был в Арзерум с поручением исполнить фирман султана и успел покончить с янычарами без кровопролития, принудив их одним убеждением покориться воле падишаха и вступить в состав новых войск. Словом, дипломатические и государственные способности Галиб-паши не подлежали сомнению. К сожалению, это был человек, не обнаруживший военных дарований и не имевший даже военной опытности. Султан, отдавая в его распоряжение весь ход военных действий в азиатской Турции, рассчитывал главным образом на его глубокий ум, столь важный в эти минуты для управления обширным краем, а в помощь ему, в качестве вождя действующих войск, назначен был человек, закаленный в боях,— Киос Магомет-паша, некогда сражавшийся в Египте против Наполеона и потом участвовавший в четырех европейских кампаниях против русских, сербов и греков. От сочетания этих двух выдающихся умов ожидались наилучшие результаты.

Действительно, энергичный Галиб-паша деятельно принялся за приготовления к войне и в короткое время сделал чрезвычайно много. Пограничные турецкие твердыни, начинавшие дряхлеть столько же от лет; сколько от обычной беспечности азиатских правителей, теперь получили иной вид. Повсюду кипели крепостные работы, строились укрепленные лагеря, свозились орудия, порох, запасы. Гарнизоны всюду были усилены. К марту 1828 года, когда русская армия только что начала свое обратное движение из покоренного Тавриза, все пути в турецкие владения из Закавказья были уже заняты наблюдательными партиями турецкой конницы, а в окрестностях Гумров по Арпачаю, где сходятся важнейшие пути из России и Персии, расположился особый кавалерийский отряд в тысячу всадников, под начальством магазбертского владельца Шериф-аги, отважного начальника карапапахов. Пограничные жители, не исключая мусульман, удалены были на сто верст от границ; у армян, из опасения измены, отобрано было оружие. В то же время главные турецкие силы формировались в Арзеруме, Там собирался сорокатысячный

корпус и находился сам Киос Магомет-паша. Не ограничиваясь собственными средствами и зная расположение умов среди магометан Закавказья, турки отправили туда эмиссаров и старались возжечь пламя мятежа в самих русских владениях.

Первоначальный план их был чрезвычайно обширен. Им было известно, что русские войска еще не возвратились из Персии, что в Гумрах для наблюдения границы стоит лишь незначительный отряд пехоты и что Паскевич не в состоянии предпринять наступательных действий в скором времени. Все эти обстоятельства давали им право рассчитывать, что они успеют вторгнуться в русские пределы прежде, чем русские войска будут готовы к действиям. Главное наступление предполагалось на Гумры. Уничтожив стоявший там слабый русский отряд и овладев этим важным стратегическим пунктом, им нетрудно было бы потоком разлиться по всему Закавказью и даже овладеть Тифлисом. С другой стороны, они мечтали поднять не только все мусульманское население края, но возмутить Гурию, Мингрелию и Имеретию и, овладев важнейшими приморскими пунктами, лишить Закавказье всякой помощи со стороны Черного моря. С этой целью они вошли уже в сношения с некоторыми более значительными беками старого Эриванского ханства, надеясь, при их посредстве, сплотить татар против русских; в то же время внести смуту в Имеретию и в пограничные с нею земли брались царевичи Александр Грузинский и Вахтанг Имеретинский.

В таком положении были дела, когда Паскевич, вернувшись в Тифлис, должен был изыскивать средства отвратить, а если возможно, то и предупредить вражеское нашествие. К счастью, турки медлили и дали ему возможность совершенно изменить положение дел, так что, в конце концов, преимущество явилось на стороне России.

Чтобы выиграть время, Паскевич распустил слух, что за Кавказом не только не делается никаких приготовлений, но нет еще и повеления в этом смысле. Турки, со своей стороны, с намерением обмануть русского главнокомандующего относительно своих намерений, употребляли такую же хитрость, и Карсский паша, желая выказать полное миролюбие, дозволил даже русским пограничным жителям вывезти хлеб, купленный ими незадолго перед тем в Карсе. Войска, действовавшие в Персии, между тем все подходили и располагались по границам — частью в Армянской области, а частью в Самхетии, Бомбаке и Шурагеле. Одна Картли оставалась еще беззащитной. Сюда ожидали прибытия гренадерской бригады, но она позже всех выступила из Тавриза, и Паскевич беспокойно, по часам, рассчитывал время, когда могут подойти гренадеры.

До срока еще оставалось десять или двенадцать дней, как вдруг к Паскевичу явился комендант с докладом, что полки уже вступают в город. Великая энергия русского солдата сказалась в этом удивительном походе. Получив на пути приказание Паскевича идти в Тифлис, войска, ничего не знавшие о новой предстоящей войне, увидели в этом распоряжении простую заботливость начальства о размещении их на спокойных стоянках по своим штаб-квартирам. Никому не приходило в голову, что полки должны вернуть домой только затем, чтобы переменить одежду, забрать патроны и, с одних полей битв — битв с мало воинственными, нестойкими персиянами — перейти на другой театр действий, где ждала их борьба с народом многочисленным, храбрым и стойким. Под самым приятным впечатлением, в ожидании близкого отдыха, солдаты и офицеры только и думали поскорее добраться до места. От Асландуза полки шли отдельно, не имея общего начальника, даже полковые командиры их, вызванные в Тифлис, сдали команду старшим штаб-офицерам.

И вот, стараясь перещеголять друг друга в скорости марша, полки пошли без маршрутов, измеряя переходы уже не верстами, а силой и выносливостью кавказского солдата. Стояла

прекрасная весна; войска располагались ночевать под открытым небом, не теряя времени на расстановку и укладку палаток. Вместо десяти дневок они сделали четыре; два перехода соединяли в один и спали одним глазом, чтобы не прозевать раннего выступления соседей в поход. Двигаясь этим изумительным маршем, гренадерская бригада пришла в Тифлис двенадцатью днями раньше, чем ее ожидал Паскевич.

“Грузинский полк — рассказывает один участник похода — должен был по маршруту вступить в Тифлис днем ранее нашего Херсонского полка, но так как ночлеги полков были обыкновенно вблизи один от другого, то наш старый вояка Гофман, дравшийся еще под Кремсом с французами, перехитрил своего товарища, ведшего грузинцев, и на последнем переходе обогнал его, чтобы, пораньше придя в Тифлис, выхлопотать дозволение пройти без церемонии прямо на Авлабар в казармы. Когда посланный за приказаниями офицер явился к коменданту, тот поехал вместе с ним к главнокомандующему. Паскевич был обрадован неожиданным приходом гренадер и приказал, чтобы оба полка вступили в город вместе и остановились на базарной площади, а не перед домом главнокомандующего, как всегда бывало. Началась у нас страшная суматоха, так как велено было быть в мундирах, стали чиститься, подбеливать амуницию, зашивать прорехи, и в смущении мы ожидали гонки за свою некрасивую наружность. В двенадцать часов, когда мы явились на базарную площадь, залитую народом, и стали колоннами, мы с удивлением увидели митрополита с крестом и духовенство: вслед за тем приехал Паскевич; отслужили молебен; Паскевич объехал кругом колонны, в середину которых было припрятано все крепко обносившееся, изъявил войскам благодарность и велел идти с музыкою в казармы. А между тем лазутчики поскакали за границу и в горы с вестями о приходе солдат из Персии: “Там их и шайтан не побрал.” Тут только мы услышали, что Паскевич собирается идти под Ахалцихе”...

С ранним прибытием войск из Персии положение Паскевича значительно облегчалось. С другой стороны, самое направление его деятельности уже довольно точно определялось предписаниями из Петербурга. По общему плану войны, начертанному государем и сообщенному Паскевичу еще с первым курьером, встретившим его близ Эривани, перед войсками Кавказского корпуса лежали две задачи: 1) отвлечь турецкие силы с Дуная и 2) овладеть в азиатской Турции местами, необходимыми для округления и обеспечения русских границ. Для достижения этих целей полагалось достаточным покорить два пашалыка — Карсский и Ахалцихский — и взять две приморские крепости — Поти и Анапу. Дальнейшие предприятия, по крайней ограниченности средств, предполагались слишком обширными и даже “безнужными”.

Но в то время, как ставились перед Паскевичем эти задачи, для Петербурга еще не был решен вопрос о мире с Персией, и потому, естественно, должны были существовать и два плана для предстоящих действий.

В случае продолжения персидской войны, против турок, конечно, нельзя было употребить значительных сил, тем не менее государь требовал здесь действий наступательных, “ибо,— как писал граф Дибич Паскевичу — лучшее средство для обороны с малыми силами против азиатских народов, без сомнения, есть решительное на них нападение”. Исходя из этой точки зрения, государь полагал, что быстрое движение на Карс и взятие его обеспечит русские границы лучше, чем неподвижное выжидание самим нападений неприятеля. Что касается Персии, если бы она не согласилась на мир и по взятии Хоя, Мараги, Ардебиля, Астрабада, Гиляна и Мазендерана, то государь предписывал образовать из всех покоренных областей независимые ханства и ограничиться в них лишь строгой обороной. Вместе с тем, при первых известиях об открытии военных действий на Дунае, генерал Красовский с войсками, расположенными в Эриванской области, и с

остальными полками двадцатой дивизии, которые должны были к тому времени уже вернуться из-за Аракса, быстро наступает на Карс, в то время как генерал-адъютант Синягин с войсками, находившимися в Грузии (третьи батальоны шести Кавказских полков), овладевает Ахалкалаками. По взятии этих двух крепостей, оба отряда соединяются под общей командой генерала Красовского и приступают к осаде Ахалциха.

На второй случай, то есть, если бы мир с Персией был заключен, главный штаб уведомил Паскевича, что умеренность предположений побуждает государя уменьшить состав Кавказского корпуса, и потому войска, прибывшие на Кавказ по случаю персидской войны — Сводный гвардейский полк, двадцатая пехотная и вторая уланская дивизии, вместе с шестью донскими казачьими полками,— должны быть немедленно возвращены в Россию. Впрочем, по выходе этих войск из Грузии, Паскевичу, в случае крайней необходимости, разрешалось задержать их на Кавказской линии в виде резерва и даже употребить для взятия Анапы.

Оба эти плана страдали тем, что основаны были, очевидно, на недостаточно верных сведениях о средствах, которыми могла располагать Порта в азиатской Турции, и потому на практике должны были встретить громадные затруднения. По счастью, первый план уничтожался теперь сам собою. Но и относительно второго Паскевич спешил возразить, что за отправлением в Россию двадцатой пехотной дивизии, корпус его будет гораздо слабее числом, чем при Ермолове при самом открытии персидской кампании, тогда как теперь прибавились еще две новые области, которые для своей охраны потребуют не менее шести батальонов; что из уланской дивизии необходимо оставить хоть одну бригаду, так как Нижегородский полк не в состоянии выводить в строй более пятисот человек, и что, наконец, для овладения Анапой свободных войск решительно не имеется.

С тем же курьером, который привез ему известие о предстоящей войне и планы ее, Паскевич отправил свое донесение и в апреле, ранее, чем возвратились войска из Персии, получил на него ответ. Ему разрешалось оставить в составе Кавказского корпуса двадцатую пехотную дивизию, Навагинский же и гвардейский полки предписано немедленно возвратить — первый на линию, а второй — в европейскую Россию. В Россию же возвращалась и вторая уланская дивизия, выделив из своего состава один четырехэскадронный полк (по одному эскадрону от каждого полка), который и должен был поступить в состав действующего корпуса. Что же касается Анапы, то для взятия ее предназначалась особая бригада из войск, расположенных в России.

Таким образом в распоряжении Паскевича оставалось теперь за Кавказом всего пятьдесят один батальон пехоты, одиннадцать эскадронов кавалерии, семнадцать казачьих полков и сто сорок четыре орудия. Но большая часть их, именно: тридцать шесть батальонов, три эскадрона и десять казачьих полков, при восьмидесяти шести орудиям — оставалась или в персидских пределах, или занимала важнейшие пункты Закавказского края, а именно: 1) в Персии — в Хое и Урмии,— впредь до уплаты персиянами контрибуций, остался отряд генерал-майора Панкратова, пехотные полки; Кабардинский, Нашебургский и Козловский — всего шесть батальонов, два казачьих полка и шестнадцать орудий; 2) в Черноморском районе — в Абхазии, Гурии, Мингрелии и Имеретии, под начальством генерал-майора Гессе,— Мингрельский пехотный и сорок четвертый егерский полки в полном составе, один донской казачий полк и четырнадцать орудий; 3) на границе Картли и Ахалцихского пашалыка для прикрытия Боржомского ущелья стоял отряд генерал-майора Попова из двух батальонов Херсонских гренадер, казачьего полка и четырех орудий;

4) для содержания караулов в Тифлисе, для охраны штаб-квартир, путей сообщения и, наконец, Военно-Грузинской дороги оставлены были; шесть рот сорок первого егерского

полка и по одному батальону от полков Херсонского гренадерского, Эриванского, Кабардинского и Тифлисского пехотного, три Донских казачьих полка и четыре орудия,

5) на Алазанской линии: батальон Грузинского полка, батальон Ширванцев, три эскадрона Нижегородских драгун (один из них запасный), три сотни Донских казаков и десять орудий; 6) в Эриванской области, под начальством генерал-майора князя Чавчавадзе, расположены были два батальона Севастопольского полка, шесть рот сорок первого .егерского, один казачий полк и восемь орудий, 7) в Нахичевани, под командой генерал-майора Мерлини,— два батальона Тифлисского полка, при двух орудиях; 8) в бывших мусульманских ханствах — в Карабаге, Шеке, Ширвани и Талышах — два батальона Тенгинского полка, батальон Апшеронцев, батальон сорок второго егерского полка, морской Каспийский батальон, казачий полк и шестнадцать орудий; 9) в Дагестане: три батальона Куринского полка, два батальона Апшеронского, три сотни Донских казаков и двенадцать орудий.

Всего тридцать шесть батальонов, три эскадрона, десять казачьих полков и восемьдесят шесть орудий.

Собственно же в наступательных действиях против турок могли принять участие только пятнадцать батальонов пехоты, восемь эскадронов кавалерии, семь казачьих полков и пятьдесят восемь орудий, не считая осадных. Боевая сила этого корпуса не превышала пятнадцати тысяч человек, но зато это были войска, испытанные в трудах и лишениях, покрытые славой недавних побед, предводимые вождем, одно имя которого устрашало врагов.

Располагая теперь армией, способной внести огонь и меч в неприятельскую землю, Паскевич прежде должен был позаботиться о материальных средствах для нее, и на этот предмет ушел весь май. Прикрыв, насколько было возможно, границы, он спешил воспользоваться бездействием турок, чтобы организовать продовольственную часть действующего корпуса. Персидская война показала на деле, как мало можно было надеяться на местные средства азиатских земель, а между тем трехлетняя кампания истощила почти все военные запасы Закавказья. Транспорты расстроились, магазины опустели. Хлеб пришлось закупать в Крыму или подвозить морем из Астрахани. Для доставки его к войскам законтрактовано было на первый раз пятьсот наемных арб и три тысячи вьюков. Казенные транспорты Паскевич ограничил до минимума, а впоследствии и вовсе их уничтожил. Опыт указал ему, что наемные обозы несравненно удобнее и выгоднее, нежели казенные: они не требовали ни забот о фуражном довольствии, ни пополнения убыли, ни назначения в помощь к ним особых команд от полков, что при казенных транспортах являлось неизбежным. В персидскую войну расход нижних чинов на этот предмет простирался нередко до трех тысяч человек, что для корпуса, и без того малочисленного, составляло ущерб слишком важный. Правда, с первого взгляда могло показаться, что издержки на наемный транспорт, простиравшиеся в месяц до сорока тысяч рублей, слишком велики (за каждую арбу, запряженную парой волов, платили по сорок и даже пятьдесят рублей в месяц, а черводарам — по восемнадцать рублей за четыре вьючные лошади, но зато эти транспорты подряжались только на срок, держались от начала до конца кампании и распускались вместе с расположением войск на зимние квартиры.

В общем, казна, по точному исчислению Паскевича, выигрывала от этой меры ежегодно не менее полумиллиона рублей.

Разработке коммуникационных путей и устройству военных дорог, естественно, должно было предшествовать подробное определение того направления, по которому произойдут военные действия, и выбор того пункта, к которому должны сосредоточиваться войска и все их боевые и жизненные средства. На первый взгляд казалось, что выгоднее всего открыть кампанию походом на Ахалцихе. Действительно, быстрое покорение его дало бы весьма значительный перевес в начинавшейся войне по тому влиянию, которое имела эта сильная крепость на обширную часть азиатской Турции, населенной преимущественно воинственными племенами аджарцев и лазов. Но с другой стороны, если бы только русский корпус пошел на Ахалцихе турки, оставшиеся в Карсе, конечно, воспользовались бы слабой охраной границ на всем протяжении Карсского пашалыка, и прежде чем разбросанные на ней ничтожные русские отряды могли сосредоточиться, они стояли бы уже у ворот Тифлиса. Напротив, с движением на Карс, никакие покушения неприятеля со стороны Ахалцихе не представляли бы особых опасностей. Дикие Боржомские теснины не позволили бы туркам провести артиллерию, а без нее все дело с их стороны должно бы было ограничиться только набегами летучих отрядов. Да и в случае движения сюда большого турецкого корпуса, все усилия его сокрушились бы перед твердым отпором самого незначительного числа русского войска.

Такое положение Карса само указывало уже на важность его стратегического значения, тем более что с его падением Ахалцихе оказался бы отрезанным от главного центра страны — Арзерума, и операционный неприятельский базис был бы разорван. Русская армия становилась тогда в центре круга, откуда действия ее во все стороны были бы совершенно свободны. Итак, в мае, когда вопрос о движении на Карс был решен окончательно, Гумры естественно должны были получить значение главного операционного пункта, на который опирались бы действующие войска и где сосредоточивались бы все жизненные и боевые припасы. Являлась необходимость поэтому обеспечить и сделать удобными пути сообщения этого пункта с Тифлисом. Главная, сколько-нибудь разработанная дорога пролегала через высокие горные хребты Акзабиюк и Безобдал. При движении в Персию войска уже испытывали всю трудность перевалов через эти возносившиеся до облаков громады, и потому Паскевич приказал сделать новую дорогу через Башкичет и Мокрые горы. И вот, в продолжение одного месяца, в стране, где еще лежали снега, через три высоких горных хребта, по которым до тех пор едва пролегали вьючные тропы, и через болота, усеянные родниками, три батальона русских солдат проложили дорогу, устроили мосты, плотины и отводные канавы. По этому пути бесконечной вереницей тянулись в Гумры арбы и шли вьючные караваны из отдаленного Зардоба, из Карабага, с Лорийской степи и, наконец, из самого Тифлиса. В то же время другие два батальона усиленно разрабатывали дорогу из Эривани, откуда ожидалось движение осадной артиллерии.

Турки знали об этих приготовлениях и только недоумевали, почему русские войска не переходят в наступление. Еще не готовый к войне, сераскир приказал Карскому паше отправить в Грузию особого чиновника под предлогом некоторых объяснений, а в сущности, выведать то, что делается в Тифлисе. В середине мая чиновник этот явился в Гумры, а оттуда его повезли окольными путями, по местам, где было больше собрано войска. В Тифлисе Паскевич приказал показать ему даже маневры. Учился лейб-гвардии Сводный полк и в заключение маневра бросился на штурм древнего Метехского замка. Быстрота, с которой солдаты взобрались на скалу, почти неприступную, поразила турецкого посланника, и у него вырвалось невольно восклицание: “Так они возьмут и Карс!” В Тифлисе его продержали несколько дней и отпустили с предварением о близком вступлении русских войск в азиатские владения Турции.

Действующий корпус уже собирался в Гумрах.

II. НАСТУПЛЕНИЕ НА КАРС

В конце мая 1828 года к селению Гумры, лежавшему на реке Арпачай в Шурагельской области, как к сборному пункту, со всех сторон сходились русские полки, назначавшиеся в состав действующего корпуса в азиатской Турции.

Еще недавно Гумры были довольно богатым городком, населенным полутысячью армянских и татарских семейств, из которых многие вели заграничную торговлю с Карсом. Вторжение Гассан-хана в самом начале персидской войны разом уничтожило все благосостояние. Татары ушли тогда к туркам в Парс, армяне — в Джелал-Оглы, и городок опустел. Русские войска не смогли защитить частное имущество — и оно сделалось добычей грабителей; самое селение превращено было в груду развалин. Грозное время, однако, миновало; Гумры начали кое-как восстанавливаться из развалин и были обнесены даже каменной стеною с бастионами. Но за стенами и бастионами оставались все те же следы опустошения, и в 1828 году лишь пятьдесят армянских семейств жили в возобновленном форштадте. Это было все население городка. Теперь обычная тишина его сменилась шумным движением, и полки приходили сюда за полками.

Девятого июня в Гумры прибыл Паскевич, сопровождаемый начальником своего штаба бароном Остен-Сакеном и обер-квартирмейстером корпуса полковником Вальховским. Войска встретили вождя с доверием и общим восторгом.

Несколько дней, проведенных Паскевичем в Гумрах, не были потеряны даром. Посланные за границу лазутчики возвратились с вестями, что все жители Карсского пашалыка обезоружены и что до самого Карса деревни оставлены жителями. Новости эти не представляли ничего хорошего. Действия в опустошенном краю должны были встретить неожиданно большие затруднения, и Паскевичу приходилось иметь дело прежде всего с самим населением. Чтобы поколебать неприязненность, внушенную народу турецким правительством, Паскевич прибег к своему обычному средству — прокламациям. “Ополчаясь за дело правое и вступая в землю вашу,— говорилось в них,— мы не нарушим спокойствие мирных поселян, не коснемся их собственности. Войска государя нашего будут сражаться только с теми, кто дерзнет им противиться. Пребывайте безбоязненно в домах ваших, и вы не почувствуете тяжести войны. Так поступали мы в побежденной Персии, и персияне с удивлением превозносят великодушие русских”.

В то же время глава магометанского духовенства в Закавказских провинциях Мир-Фетта-Сеид, бывший муджтехид Тавриза, обратился к жителям с воззванием религиозного характера. Он писал, что Бог устами пророка заповедал народу повиновение добродетели и могуществу, а действия императора русского есть благость и милосердие. “Я служитель Бога, потомок святых имамов, спешу вразумить вас,— говорилось в одном из воззваний,— да не подвергнусь сам гневу Божьему! Принесите покорность Государю Великому, и тем, исполнив заповедь Корана, спасите себя от гибели”.

Между тем никаких точных сведений о неприятеле в руках Паскевича не было. Носились темные слухи, что где-то, за далеким Саганлугским хребтом, собираются турецкие силы, но все попытки разгадать план и намерения турецкого сераскира оставались тщетными. Эта таинственность заставляла Паскевича предполагать, что туркам, напротив, известно все, что делается в русском корпусе, и в одном из своих донесений он горько упрекает в этом “нескромность эчмиадзинского духовенства”. Это было, однако, едва ли справедливо; турки знали о русских еще менее, чем русские о турках. Паскевич, по крайней мере, мог быть уверен, что до самых стен Карса он не встретит турецкой армии;

турки же не знали даже и того, что русские войска стоят в Гумрах и не сегодня-завтра двинутся к Карсу.

Действительное положение дел у неприятеля было следующее.

Высылая главные силы к Дунаю, султан еще в апреле предписал Галиб-паше со всей азиатской армией громить насколько возможно русские владения за Кавказом. В Арзеруме был собран по этому поводу большой военный совет, решивший сосредоточить к Карсу шестидесятитысячную армию, под начальством Киос Магомет-паши, и действовать оттуда по двум направлениям — через Эривань и Гумры. Паша ахалцихский в то же время должен был вторгнуться в Имеретию и, таким образом, концентрическим движением со всех сторон подойти к Тифлису. План этот немедленно был сообщен начальникам всех пограничных турецких крепостей, а в Грузию были посланы лазутчики из Ахалцихе, Карса и Арзерума. Но лазутчики доставили сераскиру совершенно ложные сведения; они, сами введенные в заблуждение слухами, говорили, что в русских владениях свирепствует голод, что войска расстроены персидской войною и сам главнокомандующий одержим тяжкой болезнью. Последнее из этих известий было справедливо, но только отчасти. Граф Паскевич действительно страдал тогда от простуды и ушиба ноги, но болезнь эта не внушала никаких серьезных опасений и не помешала ему 5 июня выехать из Тифлиса для командования армией.

А сераскир безусловно поверил обманчивым слухам. “Душа моя полна радости,— писал он уже в начале июня паше, начальствовавшему в Карсе,— враг наш, генерал Паскевич, на краю гроба. Да поразит его пророк холодом смерти и да померкнет счастливая звезда этого страшного гяура, в войне непобедимого. Теперь мы легче совершим предприятие наше; спеши сообщить мне о твоих действиях”. Карсский паша, между тем, имел в своих руках более точные сведения. Он знал, что от Тифлиса к Гумрам деятельно прокладывается большая дорога, что ежедневно по ней движутся полки, и справедливо заключал, что собственной резиденции его грозит большая опасность. Опровергая вымышленные лазутчиками показания, Эмин-паша настаивал на том, чтобы как можно поспешнее обратить все наличные силы для встречи и отпора Паскевича, и предлагал, со своей стороны, пока послать четырехтысячную конницу, под предводительством отважного карапапаха Шериф-аги, к Арпачаю. В случае наступления русских, конница эта должна была пропустить их мимо себя и, уклоняясь от боя, нападать в тыла у них на транспорты и парки. Это было, по мнению Эмин-паши, единственное средство задержать наступление русских и дать возможность Киос-паше подоспеть на выручку Карса.

Но пока турецкие курьеры скакали с депешами из Арзерума в Карс и обратно из Карса в Арзерум, русские войска уже перешли границу.

Войска выступили в поход 14 июня. С восходом солнца на возвышенном берегу Арпачая, там, где ныне стоит Александропольская крепость, выстроился весь действующий корпус. В восемь часов утра приехал Паскевич. В походной церкви Эриванского полка отслужено было напутственное молебствие, и войска, мимо Паскевича, тронулись к Арпачайской переправе. Казачья бригада Сергеева первая перешла заповедную речку и громким “ура!” приветствовала турецкую землю. За нею двинулись остальные полки.

Вся пехота действующего корпуса, под общим начальством генерал-лейтенанта князя Вадбольского, была разделена на три бригады.

В первой бригаде, генерала Муравьева (впоследствии Карский) были полки:

Эриванский карабинерный — 1393 человека

Грузинский гренадерский — 1118 человек.

При них, Кавказской гренадерской артиллерийской бригады:

Батарейная рота — 8 орудий

Вторая легкая рота — 6 орудий.

Вторая бригада Берхмана состояла из полков:

Крымского пехотного — 962 человека

Егерских: тридцать девятого — 801 человек

сорокового — 709 человек.

Здесь находились двадцатой артиллерийской бригады:

Батарейная рота — 6 орудий

Вторая легкая рота — 6 орудий.

В третьей бригаде, генерал-майора Коралькова;

Ширванский пехотный — 1337 человек

Сорок второй егерский — 1410 человек

Восьмой пионерный батальон — 741 человек.

При них, двадцать первой артиллерийской бригады:

Батарейная рота — 8 орудий

Горных орудий — 4

Всего было пятнадцать батальонов пехоты, восемь тысяч пятьсот шестьдесят человек и сорок полевых и горных орудий. Кавалерия, под начальством генерал-майора Гаевского, состояла из полков:

Нижегородского драгунского — 460 всадников

Сводного уланского — 675 всадников.

Казаки, под начальством своего походного атамана генерал-майора Леонова, также разделены были на три бригады. Первая бригада, полковника Победнова:

Донские полки Иловайского — 112 коней

Извайлова — 319 коней

Вторая бригада полковника Сергеева:

Донские полки Леонова — 321 конь

Сергеева — 322 коня

Третья бригада, генерал-майора Завадовского:

Донской полк Карпова — 245 коней

Четвертый конный

Черноморский — 313 коней

При кавалерии состояло:

Донская конно-артиллерийская

рота № 3 — 12 орудий

Конно-линейная казачья

полурота № 5 — 6 орудий.

Итого: кавалерии восемь полков, две тысячи семьсот шестьдесят семь коней и восемнадцать конных орудий. Сверх того, особо при главной квартире, находились:

Сборный линейный казачий полк 403 человека

Грузино-татарская конница — 176 человек.

Это были две новые части, производившие, по словам современника, необыкновенное впечатление богатством азиатской одежды, ловкостью всадников и подвижностью их коней.

Не все войска перешли границу, однако; 14 июня гренадерская бригада Муравьева еще осталась в Гумрах и должна была следовать вторым эшелоном вместе с осадной артиллерией, третий эшелон образовывали артиллерийские парки, двигавшиеся из Эривани под прикрытием Крымского полка и Черноморских казаков.

Таким образом, в первый момент туркам противопоставлялось только девять батальонов пехоты, всего до пяти тысяч штыков и до двух тысяч четырехсот всадников. Но эти войска были увенчаны свежими лаврами, и не было сомнения, что слава ожидала их впереди — у истоков Евфрата и на полях Анатолии, в местах, прославленных преданиями глубокой древности.

От Гумров до Карса, через селения Тихнис, Пелдырван и Мешко, считается шестьдесят пять верст. Дорога была отличная, и многочисленные обозы следовали, по словам

Муравьева, “в порядке удивительном, превосходящем всякое ожидание”. Две тысячи арб, две с половиной тысячи вьюков и целые табуны рогатого скота, скученные вместе, шли одной общей колонной, окруженные, как рамой, русскими войсками: впереди — конница,

по сторонам — батальоны пехоты. Густая пыль, вздымаемая обозами, стояла на семиверстном пространстве неподвижным облаком и закрывала колонну. Издали казалось, что движется огромное войско.

Первый ночлег корпус имел около Тихниса, на полях, прославленных победою графа Гудовича 18 июня 1807 года. На следующий день, с утра, стали показываться неприятельские пикеты, быстро снимавшиеся при приближении русского авангарда. К вечеру войска переправились через Карс-Чай у Джемушлинского брода и ночевали у Пелдырвана, на знаменитом впоследствии Кюрюк-Даринском поле. Здесь к корпусу присоединился и Муравьев с гренадерской бригадой, а вместе с ним прибыли двенадцать осадных орудий. Семнадцатого числа корпус перешел в Мешко.

С горы, лежавшей в двух или трех верстах от русского лагеря и занятой передовыми казачьими пикетами, уже вдали был виден Карс. По прямому направлению до него было верст пятнадцать или шестнадцать. И здесь-то суждено было раздаться первым выстрелам и пролиться первой крови в начинающуюся войну. Когда уже смеркалось, по линии аванпостов вдруг загорелась перестрелка. В лагере ударили тревогу, и весь корпус стал в ружье. Но дело скоро объяснилось. Человек тридцать конных турок, выехавших из Карса, внезапно бросились на казачий пикет — один казак был мгновенно изрублен, другой схвачен в плен. Ни один из соседних пикетов не успел дать вовремя помощь атакованным, и турки безнаказанно ускакали обратно в крепость.

Отважность этой конницы, решившейся на большое расстояние удалиться от крепости, подтверждала полученные сведения, что гарнизон Карса многочислен и составлен из хороших войск, да сверх того с часу на час туда могли подойти турецкая армия из Арзерума и лазы из Ахалцихе. Было известно, что в самый день выступления русских из Гумров, карсский паша, видя близкую опасность, отправил несколько гонцов к Киос Магомет-паше с просьбой о помощи. Турецкий главнокомандующий стоял в то время по ту сторону Саганлугских гор, ожидая последних подкреплений и транспортов со снарядами. Он не был еще готов к движению и не спешил, рассчитывая через несколько дней всеми своими силами атаковать русских одновременно с карсским гарнизоном, который выйдет в поле. Киос Магомет известил Эмин-пашу, что будет под Карсом 23 июня, и, между прочим, писал: “Войска твои храбры, Карс неодолим, русские малочисленны. Умей одушевить гарнизон. Мужайся, доколе я прибуду”. А сераскир, узнав об опасности, угрожавшей Карсу, тотчас послал ахалцихским лазам вторичное приказание спешить к нему со стороны Ардагана, а трапезундскому паше — сосредоточить сильные резервы на реке Чорохе. Но ни тот, ни другие не успели дать своевременной помощи, и когда через несколько дней Киос-паша, окончив свои распоряжения, двинулся наконец вперед, Карс уже был взят русскими.

Рекогносцировка, произведенная из селения Мешко, утвердила Паскевича в мысли, занимавшей еще в Гумрах, начать атаку Карса не со стороны Карадагских высот, а стать на его сообщениях с Арзерумом и, таким образом, отрезать всякую помощь, которую сераскир захотел бы дать осажденным.

С этой целью 18 числа действующий корпус сошел с большой дороги, идущей из Гумров, и двинулся влево по дуге в расстоянии восьми или девяти верст от крепости. Шел сильный дождь, дороги размылись, и движение колесных обозов сделалось весьма затруднительным. Вся русская конница, при которой находился сам Паскевич, двигалась ближе всех к крепости и одним поворотом направо могла изготовиться к бою, если бы турки сделали вылазку. Но неприятель только следил с высокой крепостной стены за движением русского войска по обширной открытой равнине, а нападать не осмеливался.

“Переход сей,— говорил Муравьев в своих записках,— был более похож на триумфальное шествие, в коем однако же колесницы заменялись грузинскими арбами”.

Уже вечерело, когда войска подошли наконец к Азаткеву и стали невдалеке от большой арзерумской дороги. В трех верстах отсюда лежало крепостное предместье, и в неясных очертаниях сгущавшихся сумерек виднелись грозные твердыни Карсской цитадели.

Еще на пути, подходя к Азаткеву, авангард имел незначительную стычку. Казаки, спустившиеся в овраг, внезапно наткнулись на турецких фуражиров и нескольких из них изрубили, а нескольких взяли в плен. Пленные эти объявили Паскевичу, что в Карсе с часу на час ожидают помощи из Арзерума и что жители решили защищаться вместе с войсками. Паскевич отправил их обратно в Карс и приказал Влангали, дипломатическому чиновнику, состоявшему при главной квартире, отправить вместе с ними особое письмо на имя Муфтия, главы карсского духовенства. “У стен ваших,— писал Влангали в этом письме,— стоит непобедимый вождь российский с непобедимым воинством, тот самый вождь, от могущественной руки которого пали твердыни Персии: Аббас-Абад, Сардарь-Абад, Эривань; по слову которого преклонили колени Тавриз, Хой, Урмия и Ардебиль. Сколь могуществен он во брани, столько же великодушен к покорным”.

Какое действие произвела прокламация, осталось неизвестным — ответа не последовало.

Наступило 19 июня. Рано утром, часов в шесть, войска поднялись из Азаткева и двинулись дальше. Вагенбург переходил на арзерумскую дорогу и, чтобы не ослаблять состава действующего корпуса, для прикрытия его отделены были от каждого пехотного полка по одной роте, по два орудия от батарейных рот и по пятьдесят всадников от каждого казачьего полка, что вместе составило полтора батальона пехоты, двести пятьдесят казаков и десять орудий — из них четыре конные. Остальные войска, под личным предводительством графа Паскевича, двигались к Карсу, чтобы произвести рекогносцировку, а если удастся выманить гарнизон в открытое поле — дать полевое сражение. Они шли в том самом боевом порядке, который Паскевич раз с таким успехом употребил уже под Елизаветполем: впереди — донской Сергеева полк с шестью конными орудиями, поддерживаемый пионерным батальоном; за ними наступала пехота в две линии: в первой — сороковой и сорок второй егерские полки, имея между собою двенадцать батарейных орудий, во второй — Ширванский полк и тридцать девятый егерский, в третьей линии шла вся кавалерия, имея при себе донскую батарею; резерв составляла гренадерская бригада.

С последней возвышенности, склонявшейся к крепости пологим скатом, туркам ясно обозначилась русская боевая линия. С кургана, где стоял главнокомандующий, видно было, как растворились крепостные ворота и неприятельская конница, выехавшая из них в числе четырех-пяти тысяч, стала на равнине, прорезанной болотистым ручьем, через который мост был заранее уничтожен. Когда пионерный батальон подошел к переправе, на том берегу ручья уже кипела перестрелка. Делибаши, последние остатки некогда страшной турецкой конницы, столкнулись с казаками Сергеева и потеснили их. Главнокомандующий, внимательно следивший за неприятелем, тотчас приказал своему конвою скакать на помощь. Линейный полк, грузины и татарская конница вовремя поддержали донцов; рассыпавшись в лаву, несмотря на свою малочисленность, они стойко держались на месте, не позволяя обойти себя с флангов. Линейцы перестреливались с чудесной кавказской джигитовкой. Но эти ученики суровых адыгов не любили долго жечь пороха там, где можно было покончить все одним решительным ударом. И вот, едва турецкая цепь, разгоряченная боем, отделилась от своих резервов, линейцы выхватили шашки и, с гиком ринувшись вперед, смешались с неприятелем.

Минута — и делибаши, что значит обрекшие себя на смерть, скакали назад, ища уже не смерти, а спасения от нее в бегстве. Масса турецкой конницы двинулась к ним на выручку.

Между тем, построившись в боевой порядок, к месту боя подходила русская пехота. Перед ней обрисовался уже громадный вал, прикрывавший юго-восточное предместье Карса, которое пленные называли Байрам-Паша. Там еще продолжались работы городскими жителями; а на валу стояли войска, реяли знамена и группами разъезжали турецкие военачальники.

Как только пехота перешла ручей, с крепостных башен загремели орудия; русская артиллерия стала им отвечать. Колонны остановились. Два донские казачьи полка (Сергеева и Леонова), поддержанные Нижегородским полком, развернулись на правом, а три (бригада Победнова и казачий полк Карпова) — на левом фланге боевого порядка. Сводный уланский полк остался в резерве.

Масса развернувшейся русской кавалерии озадачила турок, но не надолго. Большая часть конницы их потянулась вправо, то есть к нашему левому флангу, а меньшая стремительно понеслась прямо на бригаду Сергеева, стараясь охватить ее с тыла.

Паскевич приказал казакам подаваться назад, чтобы заставить турок как можно дальше отойти от Карса, а между тем барону Остен-Сакену велено было взять из резерва Сводный уланский полк и отрезать неприятелю всякий путь к отступлению. В то же время пионерный батальон выдвинулся вперед почти к подошве Карадага, чтобы не допустить атакованную конницу укрыться в предместье Байрам-Паша.

Уланы только что размундштучили лошадей, готовясь навесить им торбы, как прискакал ординарец с приказанием идти на рысях к боевой линии. Мундштучить снова было некогда — и полк поскакал на трензельках... Турки заметили опасность и повернули назад, но было уже поздно. Стройно, как на ученье, развернув свои эскадроны, несся Сводный уланский полк, шумя флюгерами наклоненных пик, и под огнем крепостных орудий ударил во фланг неприятелю; казаки Сергеева рубили его с тыла; линейцы, с подполковником Верзил иным, и грузины, с князем Бековичем-Черкасским, прискакавшие сюда с левого фланга, отрезали его от Карса. Вся неприятельская линия, сбитая со своего направления, кинулась вправо, прямо под огонь пионерного батальона, и, не имея другого выхода, она проскакала вдоль фронта, преследуемая конницей, поражаемая градом пуль и картечью. Сколько неприятель потерял в этом месте убитыми и ранеными — неизвестно; наша конница привела сорок пленных и между ними нескольких офицеров. Полагают, что барон Остен-Сакен слишком поспешил выдвинуть улан, если бы он выдержал и позволил туркам еще более скакать за казаками, то неприятель был бы отрезан от Карса уже не горстью линейцев, а целым уланским полком, и поражение его было бы еще значительнее. Преследование продолжалось почти до самых стен городского предместья. “Размундштученные лошади улан,— рассказывает Остен-Сакен,— не слушали трензелей, и полк рассыпался. Я приказал трубить сбор, но уланы не скоро справились со своими лошадьми, и блистательный удар мог бы обратиться во вред нам, если бы турки не потеряли голову”.

Действительно, вместо того, чтобы непосредственно помочь бегущим, турецкие резервы устремили все свои силы на левый фланг русской позиции. Там стоял генерал Завадовский с тремя донскими полками. Старый запорожский казак, всю свою жизнь проведший в боях, он сразу искусным маневром навел турецкую конницу на огонь

казацкой артиллерии и, после картечного залпа, ударил в пики... Поражение турок на левом фланге вышло еще сильнее, нежели на правом.

Сражаясь на глазах целого корпуса, русская конница покрыла себя в этот день славою: в подвижности она не уступала турецкой, а в решимости к удару холодным оружием превосходила ее. Не участвовали в бою одни Нижегородские драгуны — гроза персидских наездников; Паскевич берег их для решительной минуты, и они до конца простояли в резерве. Сводный уланский полк, под командой полковника Анрепа, в первый раз бывший в деле, дрался с замечательной храбростью. Успех поднял дух полка, и во все время войны он сражался уже всегда с блестящим успехом.

Пехота вовсе не принимала участия в деле и, составив ружья в козлы, спокойно отдыхала, в ожидании приказа идти вперед. Сам Паскевич находился во время боя в первой линии и завтракал, как говорит Муравьев, под неприятельскими выстрелами. С турецких башен долго еще и после сражения гремели выстрелы, но русская артиллерия мало-помалу замолкла. Начальник артиллерии генерал Гилленшмит, проезжая по линии, приказывал батареям прекращать огонь. Паскевич вспылил и сделал ему резкий выговор, напомнив, что в присутствии главнокомандующего никто распоряжаться не может. Пальбу опять начали. Но Гилленшмит, “не выходя из границ уважения”, начал доказывать, что снарядов мало и что их нужно беречь для более важного случая. Паскевич наконец согласился, и артиллерийский огонь с русской стороны был прекращен.

“Удивительно,— говорит Муравьев, хорошо знавший Паскевича,— что случай сей не имел никакого влияния на службу Гилленшмита, и он успел удержаться в хороших отношениях с нашим начальником”.

Впрочем, отзывы Муравьева относительно Паскевича вообще слишком резки, если не сказать пристрастны. Описывая дело 19 июня, он склонен относиться отрицательно ко всем его распоряжениям. “С каким намерением,— говорит он,— было предпринято это общее движение, я не понимаю. Крепость мы разом взять не могли; на полевое сражение не могло быть надежды; для рекогносцировки не нужно было выводить весь корпус, дабы прикрыть движение обозов, достаточно было части войск, тогда как другая могла бы идти и занять новый лагерь. Поэтому,— продолжает он,— движение сие предпринято было без всякой цели, как и многие подобные движения Паскевича... По крайней мере из этой рекогносцировки мы больше ничего не узнали, как то, что в крепости находится достаточное число орудий, но мы никак не выбрали и не утвердили места, с которого нам надо было начать осаду, ибо на сие, как кажется, было обращено малое внимание”.

Но если и признать, что в словах Муравьева есть доля правды, то, во всяком случае, нельзя отвергать, что день этот имел огромное влияние на дух карсского гарнизона, который с тех пор так и не мог оправиться. Из города поражение турецкой конницы было видно, как на ладони, и, смотря на гибель своей кавалерии, замечая в то же время спокойную уверенность отдыхавшей русской пехоты, турки должны были испытывать угнетающее чувство.

Еще большее впечатление день 19 июня произвел на умы окрестных армян. Согнанные турками с родных пепелищ в начале войны, напуганные слухами о многочисленности турок, они ожидали неминуемой гибели русских войск, едва последние подойдут под стены турецкой твердыни. И вот, когда разнеслась молва о разгроме турецкой конницы под самыми стенами Карса, настроение жителей мгновенно переменилось. 20 числа уже явились к Паскевичу армянские старшины с просьбой о позволении вернуться им в покинутые деревни. Их обласкали и даже навстречу возвращавшимся армянам отправили

часть русского войска, которая должна была прикрыть их движение. Тогда возвратилось до семисот пятидесяти армянских семейств, и пустынный край стал оживляться.

“По отношению к русской пехоте,— замечает историк этой войны Ушаков,— сражение 19 числа замечательно было также тем, что она впервые шла против турок, построенная в колонны. Румянцев, как известно, первый отбросил рогатки и начал строить войска в каре, чтобы доставить им большую подвижность. Паскевич, еще во время персидской войны, отбросил каре и первый решился заменить их колоннами. Теперь эту же тактику, испытанную им в боях с азиатами, он перенес и на турок [“Граф Каменский в 1810 году под Шумлой и Батином также употребил колонны, но это не было постоянной системой, но и тот же Каменский в других случаях сражался кареями.].

Потери русской кавалерии в бою 19 июня были ничтожны: убито двенадцать и ранено до сорока человек, в последнем числе — три офицера.

В то время, когда совершались рассказанные события, пришло известие, что вагенбург уже подходит к селению Кичик-Кев, куда должен был прибыть на ночлег и весь действующий корпус. Главнокомандующий тотчас отрядил в ту сторону полковника Ренненкампфа с батальоном егерей сорокового полка, с казачьим полком Карпова и двумя горными орудиями. Ренненкампфу приказано было занять место для лагеря и укрепиться на высотах противоположного берега Карс-Чая. На марше Ренненкампф был также атакован кавалерией, но нескольких выстрелов из горного единорога было достаточно, чтобы очистить путь, и вагенбург под его прикрытием благополучно прибыл на место в первом часу пополудни. Пока устраивали лагерь, две роты сорокового полка перешли Карс-Чай и, утвердившись на заречной высоте, короновали ее небольшим редутом на четыре орудия. Вылазка из крепости, с целью воспрепятствовать этим работам, была отражена огнем двух горных единорогов и батареей, стрелявшей из лагеря.

В пять часов пополудни, когда лагерь уже был устроен, весь корпус, оставив на позиции только гренадерскую бригаду Муравьева, отошел к Кичик-Кеву. Муравьев простоял перед крепостью до самого вечера — и до самого вечера продолжалась редкая неприятельская пальба. Наконец отступил и Муравьев; неприятель его не преследовал.

На следующий день, в восемь часов утра, люди всех полков, стоявших в лагере, вызваны были на линию. Граф Паскевич верхом объезжал войска приветствовать храбрых своих сподвижников с первой победой, предтечей будущих славных подвигов, и особенно благодарил кавалерию за молодецкое дело. Он слышал общую радость, видел порывы к новым трудам, видел доверие к самому себе, а с этим доверием кавказского солдата не трудно было решиться на осаду и штурм неприступного Карса.

III. ТРЕХДНЕВНАЯ ОСАДА КАРСА

Деревня Кичик-Кев, около которой 19 июня 1828 года расположилась русская действующая армия, стояла на правом берегу Карс-Чая. Давно покинутая жителями, деревня представляла собою груду жалких развалин, лепившихся по небольшим высотам, омываемым в этом месте рекою.

Карс-чай поворачивает отсюда к северо-востоку и, пройдя таким образом две-три версты, образует прихотливый изгиб и затем снова зигзагами устремляется к северу. По обеим сторонам изгиба и лежала крепость Карс с ее предместьями. Теперешние укрепления Карса с его передовыми далеко выдвинутыми фортами занимают сравнительно огромную площадь, в самом центре которой помещаются старая крепость и ее форштадты, а

окраины обнимают собою все те места, которыми могли свободно воспользоваться войска Паскевича. Но и в 1828 году, при тогдашнем артиллерийском и ружейном огне, крепость эта представляла твердыню первоклассную.

Отроги Саганлугского хребта, прихотливо перевиваясь между собою, плотно подступают по левому берегу реки с севера и северо-запада к самому Карсу, образуя ряд кряжей и плато с заметными на них вершинами. Это так называемые Чахмахские и Шорахские высоты. С южной и восточной стороны Карс более открыт, так как высоты здесь несколько отодвигаются. Сильный по своей природе, Карс еще был усилен рядом искусственных фортов и укреплений, то примыкавших к городу, то отступавших от него.

Собственно крепость представляла неправильный четырехугольник, обнесенный высокими двойными стенами, которые фланкировались множеством выдающихся башен, приспособленных к обстреливанию дальним огнем всей лежащей впереди них местности. Самые стены, доходившие от двух до четырех саженей высоты, были сложены из огромных каменных плит и увенчаны зубцами, между которыми располагались орудия.

Внутри крепости, в северо-западном углу ее, на высокой скале Карын-Кала, возвышалась неприступная цитадель, унизанная в три яруса пушками. Она состояла из трех совершенно отдельных частей, спускавшихся тремя уступами к городу, имела все строения каменные, покрытые накатником и землей, и, по силе своей обороны, являлась пунктом поистине неприступным. Подступы к цитадели были возможны только с востока и юга, то есть со стороны самого города; с севера же и запада скалистый обрыв реки устраняет всякую мысль о возможности подъема. Карс-Чай протекает здесь, вдоль всей северной стороны крепости, среди скал, на глубине сорока и более саженей, и эта расселина обрамлена почти отвесными берегами. Для добывания воды из этой пропасти цитадель имела к Карс-Чаю крытый ход под каменными сводами, с крутой лестницей в триста ступеней, настолько узкой, что два встретившиеся на ней человека с трудом могли разойтись. Вверху этот ход запирался железной подъемной дверью, ключи от которой в военное время хранились у коменданта.

С трех сторон к крепостным стенам примыкали три большие форштадта. К югу, к стороне русского лагеря, простиралось обширное главное предместье, Орта-Кени, защищенное, помимо каменной стены, двумя бастионами, из которых один, Юсуф-паша, сильно укрепленный, расположен был на юго-восточном выдающемся углу форштадта.

К востоку тянулось другое предместье, Байрам-паша, доходившее уже до самой горы Карадага, на вершине которой стоял сильный редут на четырнадцать орудий, обстреливавших подступы к крепости. Редут носил имя также Карадагского и состоял из двух деревянных срубов, наполненных внутри землей и каменьями. Не лишнее сказать, что название горы Карадаг приписывают имени какого-то святого, бывшего знаменосцем у магометан, его гробница сохранилась поныне на самой вершине ее, там, где в позднейшее время у турок стояла батарея Зиарет, что, собственно, и значит “место поклонения”.

Той грозной линии укреплений, которая впоследствии, начинаясь у Зиарета, оканчивалась с одной стороны знаменитой Араб-Табией, упиравшейся в крутой обрыв правого берега Карс-Чая, а с другой соединяла Карадаг с самой крепостью, тогда еще не было. От Карадагского редута тянулась на запад, по направлению к обрыву, лишь небольшая стена, сложенная также из деревянных срубов и имевшая не более двухсот шестидесяти пяти саженей протяжения.

Между предместьями Орта-Кени и Байрам-Паша простирался пустырь, прямым углом вдававшийся в город и обнаруживавший юго-восточный угол самой крепости. Но все это пространство, занятое по бокам кладбищами, представляло собою болото, находящееся под перекрестным огнем, делавшим подступ с этой стороны почти немыслимым. Тем не менее, довершая треугольник, по гипотенузе его, тянулся земляной вал, связывавший между собою оба эти предместья.

Наконец, на западе, на левом берегу Карс-Чая, лежало предместье армянское. Эти заречные жилища, неширокой полосой разбросанные по утесистым возвышениям, защищались отдельными каменными стенками с бойницами. Древний замок Темир-Паша, лежавший впереди форштадта, против его середины, составлял главнейшую опору заречных укреплений, командуя не только всеми предместьями, но даже и южной стеной крепости. Перед армянским форштадтом, на полугоре, простиралось большое турецкое кладбище.

Далее к югу, как бы продолжая укрепления армянского предместья, между этим последним и кладбищем расположился турецкий укрепленный лагерь, поставленный, однако, уже после занятия русским корпусом позиции у Кичик-Кева. А к северу, на утесистых высотах, там, где впоследствии возник грозный форт Лек, и начиналась так называемая английская линия устроены были каменные шанцы. Все эти укрепления, в их общей связи, представляли для нападающих неимоверные трудности.

Стратегическое значение Карса понимали уже самые древние его обитатели, и, чтобы удержать его за собой, здесь отчаянно боролись разнообразные народности. Самое первоначальное название города — Карас-Калак, Город дверей — указывает на значение, какое он имел в эпоху чужеземных нашествий на Грузию и Армению. Некогда, во времена династии Багратидов, Карс был столицей армянского царства; потом, переходя то к персам, то к византийцам, то к туркам-сельджукам, он окончательно остался во власти последних, и нынешняя крепость построена была султаном Амуратом III, с именем которого связаны в Азии все памятники военного могущества турок. Грозные твердыни Карса устояли под ударами великого завоевателя Надир-шаха, который, разбив под стенами его стотысячную турецкую армию, бесполезно истощал усилия для покорения крепости. Еще доселе на высотах перед городом видны следы укреплений, прикрывавших некогда грозный стан персиян, которые, после неудачной четырехмесячной осады, вынуждены были, наконец, отступить.

Таковы были твердыни, перед которыми стояло теперь русское войско. Имея перед собою с одной стороны крепость, Паскевич должен был ожидать с другой нападения армии Киос Магомет-паши. Лазутчики один за другим являлись к нему с вестями, что двадцатитысячная турецкая армия вышла из Арзерума и с часу на час может появиться из-за Саганлугских гор. Необходимо было поставить действующий корпус так, чтобы сделать его способным ответить на нападение с двух фронтов.

Положение при Кичик-Кеве представляло для этого большие выгоды. Несколько южнее деревни, но совсем близко, пролегала дорога из Арзерума, тянувшаяся широкой лентой из-за реки; главный пункт переправы — прочный каменный мост, замечательный своей глубокой древностью, видевший, по преданиям знаменитое отступление Ксенофонта с десятью тысячами греков,— лежал в каких-нибудь ста пятидесяти саженях от русского лагеря. Отсюда превосходно обстреливалась и другая дорога, проложенная как раз по ту сторону речки, по которой также можно было проникнуть в Карс.

Вот в этом-то месте и расположился весь русский лагерь в одно большое каре, задний фас которого, образуемый полками гренадерской бригады, примыкал к самой реке и был обращен тылом к крепости, а лицом к Арзеруму. В середине стояла корпусная квартира и располагалась кавалерия. Осадные орудия, транспорты, парки и маркитанты со своими духанами поставлены были несколько поодаль. Небольшой редут, переброшенный на ту сторону речки и наскоро сложенный из дикого камня, прикрывал левый фланг русской позиции; тыл ее был обеспечен рекою, на правом фланге также возводился редут, а фронт был прикрыт четырьмя люнетами. Возвышенный, оканчивавшийся скалистым обрывом берег Карс-Чая открывал далекую перспективу к стороне Саганлугских гор и давал возможность издали видеть приближение турецкой силы, а в то же время он мог служить и прекрасной оборонительной позициею в случае, если бы боевой фронт пришлось обратить в ту сторону. В таком расположении можно было не только встретить, но и отразить с успехом нападение Киос-паши, не снимая осады.

Муравьев справедливо замечает в своих записках, что помощь со стороны сераскира могла бы подойти иными, окольными дорогами; но и он не отвергает того подавляющего нравственного влияния, которое должно было иметь на дух гарнизона это смелое движение русского корпуса, ставшего на главных сообщениях крепости с целью лишить Карс свободного прилива свежих подкреплений из Арзерума.

Положение русского лагеря было весьма удобно и по отношению к самому Карсу. Насколько было известно, по собранным сведениям, осаду крепости можно было вести только с одной юго-западной стороны ее, так как к югу от крепости, по всему протяжению правого берега Карс-Чая, стлалась открытая, низменная равнина, находившаяся под тройным перекрестным огнем турецкой артиллерии, а значительные болота между предместьями Орта-Кепи и Байрам-Паша, неприступный Карадаг и, наконец, высокие утесы реки, огибающей цитадель, представляли неодолимые препятствия для осадных работ с востока и севера. По ту же сторону Карс-Чая, против западного фаса крепости, одни выше других тянулись горные высоты, командовавшие не только окрестностями, но и самим городом; осадные батареи, поставленные на этих высотах, могли свободно анфилировать все укрепления Карса, а волнистая местность позволяла осаждающим приблизиться к ним на самое короткое расстояние. Неприятель сознавал слабую сторону своей обороны и потому-то, как только русский корпус занял позицию у Кичик-Кева, он, на левом берегу Карс-Чая, впереди Армянского предместья, поставил свой укрепленный лагерь.

Весь вечер, 19 июня, с крепости продолжалась пальба. На темных стенах ее то и дело вспыхивали огни, сопровождаемые громом пушечных выстрелов. Турецкие орудия, благодаря чрезмерной длине своей, били далеко, и ядра их, как свидетельствует Муравьев, долетали даже до русского лагеря. Но на них мало обращали внимания: все хорошо понимали, что после поражения, понесенного турецкой конницей, неприятель не отважится на ночную вылазку. Ночь, действительно, прошла спокойно.

20 июня, едва забрезжил свет, весь сорок второй егерский полк выступил к селению Мешко, лежащему по дороге в Гумры, откуда ожидали прибытия последних транспортов, следовавших под прикрытием Крымского полка и Черноморских казаков. В Мешко егеря ночевали, а на следующий день, 21 числа, уже в составе целой бригады благополучно провели обозы мимо самой крепости. Впрочем, туркам уже было не до мелких нападений на русские транспорты, начиналась осада крепости.

20 июня, с самого утра в лагере кипела необычная деятельность: осадную артиллерию ставили на лафеты; рабочие команды, посланные в парки, принимали лопаты, мотыги и

кирки; войска готовились к походу. Предполагалось сделать усиленную рекогносцировку крепости с юго-западной стороны ее и окончательно выбрать места, с которых следовало начать осадные работы. А чтобы скрыть настоящее намерение и отвлечь внимание турок, Паскевич решил сделать демонстрацию против северного фаса крепости. В два часа пополудни войска выступили под личным предводительством главнокомандующего. Нужно было ждать сильной вылазки со стороны турок, и потому Паскевич, зная, какое впечатление должна произвести на них первая встреча с русской пехотой, взял с собою лучшие боевые силы. Пошла гренадерская бригада с Ширванским пехотным полком, линейные казаки и Донской полк Карпова, столько раз уже отличавшийся в боях с персиянами. Невдалеке от лагеря отряд переправился на левый берег Карс-Чая по арбяному мосту и едва стал подниматься на высоты, где еще виднелись развалины старинных укреплений, оставшихся после Надир-шаха, как турки открыли по нем орудийный огонь из цитадели. Отряд остановился. Часть неприятельских конных стрелков, издали следившая за движением русских, тотчас была усилена турецкой пехотой, вышедшей из укрепленного лагеря; она засела на береговых утесах Карс-Чая и, наскоро устроив каменные шанцы, выслала вперед пешую цепь. Скоро на помощь к ней из города выступили еще один или два батальона, которые с распушенными знаменами прошли через Армянское предместье к тем же утесам. В передовой цепи завязалась слабая перестрелка. Паскевич, лежа на бурке, спокойно разговаривал с некоторыми генералами. Начальник штаба барон Остен-Сакен несколько раз подъезжал к нему, прося позволения подвинуть войска вперед, чтобы заставить неприятеля выйти из шанцев и разбить его в поле. Но Паскевич не соглашался; по-видимому, он вовсе не хотел завязывать серьезного дела и намеревался ограничиться на этот раз одной демонстрацией. Между тем приближался вечер; уже темнело; Сакен снова и настоятельно просил сделать по крайней мере обозрение крепости. Паскевич дал наконец разрешение, но с тем, чтобы не подвигать вперед пехоты. Сакен взял с собою несколько казаков и в сопровождении Муравьева, Вальховского и Ренненкампфа выехал к турецким позициям. Турки встретили его выстрелами, и между конными патрулями их стали показываться пешие стрелки — турецкая цепь наступала. Сакен вернулся назад и доложил, что подъехать к крепости невозможно, не сбив наперед неприятельских застрельщиков. Тогда Паскевич решился выдвинуть вперед роту Эриванского полка, которой велено было оттеснить неприятеля. На пути лежал большой овраг, и едва эриванская цепь, под командой молодого прапорщика князя Эристова, спустилась вниз, как в то же мгновение была атакована турками. Штыковой удар неприятеля был так энергичен, что стрелки в беспорядке отступили, и турки почти по пятам их добежали до самой роты. Но испытанные в боях эриванцы не сдавались. Рота, под командой храброго своего командира штабс-капитана Музайко, дала залп — и неприятель был отброшен. Цепь заняла свое прежнее место. Очевидно было, что рота не могла прогнать неприятеля, а туркам необходимо было дать хороший урок, чтобы отучить их от подобных попыток, и потому Паскевич приказал овладеть утесом, на котором, в наскоро сложенных шанцах, уже собралось до двух тысяч турок. Посланы были еще две роты эриванцев, сотни линейных казаков и два казачьи орудия, под общей командой генерал-майора Муравьева.

Ознакомившись с местностью, Муравьев повел роту штабс-капитана Музайко в обход неприятельских шанцев, а обе прибывшие роты, под командой полполковника Кошутина, приготовились по сигналу штурмовать укрепление с фронта. Ночь уже наступала, и с каждой минутой темнело все более. Едва началось обходное движение, как Муравьеву дали знать (известие впоследствии оказалось ложным) что на фланге его со стороны Арзерума показались передовые войска Киос Магомет-паши. Но Муравьев рассчитал, что укрепление может быть взято прежде, чем эти новые войска подоспеют к бою, и только ускорил марш. Часов в девять вечера эриванцы обошли завалы, рота развернулась, и барабан ударил атаку. Сигнал услышали в отряде Кошутина, и войска с двух сторон

двинулись на приступ. Сотня линейцев, спешившись, шла в передовой цепи; два орудия картечным огнем помогали штурмующим. Ночная темнота скрывала движение русских войск, и турки едва успели дать два-три неверные залпа, как Музайко со своей ротой взошел на скалистый утес и сбросил их в ложбину. Шанцы, состоявшие из невысокой стенки, сложенной на самом краю обрыва, были взяты с потерей трех человек ранеными. Неприятель укрылся в башне Темир-Паша, защищавшей вход в Армянское предместье, и оттуда открыл огонь; но эриванцы залегли за стенкой, и выстрелы не наносили им вреда. Муравьев, между тем, передав командование отрядом полковнику Фридериксу, отправился с докладом к Паскевичу, который все еще стоял на горе возле старых укреплений Надир-шаха.

Взятие шанцев было первым столкновением турецкой пехоты с русской, и главнокомандующий, естественно, интересовался мнением Муравьева о том, как сражаются турки. “Нельзя сказать,— отвечал ему Муравьев,— чтобы турки защищались стойко, но, во всяком случае они будут драться несравненно упорнее, чем персияне”.

Часов в одиннадцать ночи Паскевич возвратился в лагерь с линейным казачьим полком, а весь отряд, остался на левом берегу Карс-Чая, под общим начальством Муравьева, которому велено было приступить к осадным работам. Муравьев прежде всего пришел к убеждению, что удерживать за собою шанцы было невозможно, так как турки с рассветом, опомнившись, конечно сосредоточили бы сюда весь огонь крепостной артиллерии и выслали бы новые значительные силы. Приходилось довольствоваться приобретенным нравственным перевесом, и потому, как только забрезжил свет, Фридериксу послано было приказание отступить на прежнюю позицию. Неприятель по следам его опять занял шанцы и на этот раз укрепил их сильнее.

Пока бой на северных утесах привлекал внимание турок в ту сторону, пионерные офицеры подпоручик Богданович и прапорщик Пущин, по-прежнему остававшийся лицом приближенным к Паскевичу [За оказанные услуги в персидскую войну Пущин (декабрист) был произведен из унтер-офицеров в прапорщики с оставлением в Кавказском пионерном батальоне.], выбрали место для заложения первой батареи. Эта батарея, приходившаяся как раз напротив правого фланга неприятельского укрепленного лагеря, собственно говоря, не была осадной, а имела назначением только покровительствовать будущим русским работам. Ширванский полк в ту же ночь приступил к постройке ее, и к свету 21 числа четыре батарейные орудия Кавказской артиллерийской бригады стояли уже на местах и открыли огонь. Но батарея оказалась построенной на слишком далеком расстоянии, и ядра ее едва-едва достигали неприятельского лагеря. Тогда Муравьев поставил на ближнюю высоту два легких казачьих, орудия, и их снаряды стали ложиться в турецких палатках. Шансы уравновесились. Шесть турецких пушек, выдвинутых из лагеря, не могли состязаться с казачьим взводом, и огонь их мало-помалу умолк. Муравьев, свидетель этого артиллерийского боя, с особенной похвалой говорит о казачьем есауле Зубкове, командовавшем этим взводом. Нужно сказать, что вообще Кавказская артиллерия стяжала себе справедливую известность в персидскую войну; но пальму первенства перед всеми батареями, как говорит Муравьев, нужно было отдать конно-артиллерийской линейной казачьей роте, отличавшейся особым проворством и лучшими породами лошадей, которые были привычны к горам и не знали препятствий. Зубков к тому же был выдающийся офицер, постоянно отличавшийся во всю войну отважными и смелыми действиями, он всегда сам наводил орудия, не любил диоптров и заменял их своими двумя указательными пальцами, которые ставил на тарель орудия, и ядро, пущенное с его батареи, редко миновало цель.

До полудня 21 июня отряд Муравьева простоял на позиции. Изредка, когда он объезжал свою линию, турки, привыкшие отличать его по большому рыжему коню в серебряном уборе, открывали огонь и провожали картечью. То здесь, то там гремел одиночный пушечный выстрел, закипала внизу ружейная перестрелка и тотчас же смолкала. Обе стороны стояли в полной готовности, но не хотели бесцельно тратить ни людей, ни пороха. Только одиночные турецкие смельчаки, все в белом, спускались с крепостных высот в долину, против цепи Грузинского полка, залегшей в каменьях, и, махая саблями, вызывали солдат на единоборство; их осыпали пулями, и они, разразившись потоками брани, скрывались.

В полдень на смену Муравьеву пришла бригада генерала Берхмана, и гренадеры возвратились в лагерь. Там шли деятельные приготовления к осаде. Времени терять было невозможно, ежечасное ожидание Киос Магомет-паши побуждало спешить. И ожидание это было не напрасно: гром пушечных выстрелов, уже три дня наполнявший окрестности Карса, поселил повсюду грозные слухи, которые не могли миновать турецкого главнокомандующего и должны были побудить его торопиться с наступлением. Между тем из русского лагеря в течение двух дней производились беспрерывные рекогносцировки. Паскевич лично указал места для заложения трех новых батарей. Из них вторая и третья, каждая на четыре батарейные орудия, возводились на левом берегу Карс-Чая, против фронта неприятельского лагеря; четвертая батарея, из двенадцати батарейных орудий и четырех двухпудовых мортир, должна была расположиться на высотах правого берега, против южного форштадта Орта-Кепи, таким образом, чтобы поочередно то анфилировать турецкий лагерь, то громить угловые Орта-Кепинские башни, то направлять огонь по крепостным строениям. Так должна была образоваться первая параллель, начальником которой назначен был полковник Бурцев, впоследствии тесно связавший свое имя со славой турецкой войны 1828-1829 годов.

Самую постройку батарей решено было произвести с 22 на 23 июня с тем, чтобы поутру при первой возможности овладеть под их прикрытием высотами укрепленного лагеря и заложить там рикошетную батарею. Так предполагали устроить вторую параллель, и день 25 июня уже назначен был в мыслях графа Паскевича днем штурма Карса. Это был день рождения императора Николая Павловича, и Паскевич, среди общего празднества России, желал поздравить государя с трофеями и завоеванием первого оплота азиатской Турции.

С вечера 22 июня войска распределены были по работам. Из числа батарей, главной, важнейшей по своему назначению, была четвертая батарея. Но так как на самом месте, где предполагали разбить ее, стоял неприятельский пост, то, чтобы скрыть от него намерение, до самых сумерек его не тревожили. Но едва стало темнеть, как пионерный прапорщик Пущин с десятью солдатами скрытно пробрался под береговыми утесами реки и внезапно очутился перед пикетом. Турки тотчас отступили без выстрела. Пущин прошел дальше и, пренебрегая опасностью, грозившей ему от рыскавших кругом турецких разъездов, не только осмотрел местность для батареи, но даже разбил ее колышками. Муравьев, бывший свидетелем этого подвига, представил Пущина к ордену св. Георгия 4-ой степени; но этот крест Пущину, как выслужившемуся декабристу, суждено было получить за свое отличие только почти тридцать лет спустя после описанного события.

Было лето 1857 года. Император Александр Николаевич находился в Киссингене. Однажды утром, сидя в тенистой аллее вместе с князем Горчаковым, государь заметил проходившего мимо человека преклонных лет, почтительно снявшего перед ним шляпу. На вопрос: “Кто это?” — Горчаков назвал Михаила Ивановича Пущина и рассказал государю грустную повесть его жизни. Некогда командир гвардейского конно-пионерного дивизиона и любимец великого князя Николая Павловича, он имел несчастье попасть в

катастрофу 14 декабря. Пущин лично не участвовал в заговоре, но он не выдал никого из участников, которых знал лично, и был разжалован в солдаты. Выдающиеся способности его, беспредельная храбрость и честная служба в солдатской шинели скоро пробили ему дорогу и сделали его правой рукой Паскевича. Ряд подвигов в персидскую войну доставил Пущину офицерский чин, но не дал Георгиевского креста, который он неоднократно заслуживал своей храбростью. Много раз Паскевич представлял его к этому высокому знаку военного отличия, но император Николай Павлович всякий раз отклонял представление.

Выслушав рассказ Горчакова, государь с тем благодушием, которое так отличало его высокую царственную душу, принял живое участие в старике и повелел капитулу разыскать дело о представлении Пущина к Георгию 4-й степени. Дело, пролежавшее тридцать лет под архивной пылью, было найдено, и Пущин получил давно заслуженную награду.

Но возвратимся к тому моменту, когда под руководством Пущина только что воздвигались еще осадные батареи против Карса.

Чтобы отвлечь внимание турок от осадных работ, кавалерийская бригада генерала Раевского в ту же ночь должна была произвести фальшивую атаку на Карадагские высоты; а батальон ширванцев, с полковником Бородиным,— на северо-западе, против тех неприятельских шанцев, которые 20 июня уже раз были взяты Муравьевым. Как обе эти колонны, так и гренадерская бригада, назначенная для постройки четвертой батареи, выступили из лагеря почти одновременно. Движение производилось с такой осторожностью, что Муравьев приказал даже снять белые чехлы с фуражек, чтобы не привлечь ими внимание турок. Скоро пушечный выстрел с Карадага дал знать, однако, что неприятель заметил Раевского. Встревоженный паша выслал навстречу ему часть своей кавалерии, которая скоро вернулась назад с известием, что русская конница идет мимо восточных укреплений, в обход Карадага, а пехота заходит в тыл цитадели. Не успели поставить гарнизон в ружье, пак вдруг загремели русские барабаны, зазвучали трубы, заиграла музыка, отовсюду раздавалось “ура!”, скоро потонувшее в гуле пушечных и ружейных залпов. Через минуту все смолкло. Тогда загремел Карадаг, и пушечная пальба, направлявшаяся преимущественно на звук кавалерийских труб, не прекращалась до самого утра. Между тем гонцы прискакали с известием, что русские войска уже атакуют северную сторону крепости — это ширванцы, с полковником Бородиным, пошли на приступ к каменным шанцам. “Турки боялись вторично потерять этот важный пункт, и резервы их, поспешно двинутые из города, сделали сильную вылазку. Ширванцы остановились и медленно стали подаваться назад. Турки, воодушевленные мнимым успехом, быстро пошли вперед и вдруг попали под огонь искусно скрытой Бородиным батареи, почти в упор обдавшей их картечью. Внезапность эта заставила турок обратиться назад. Напрасно несколько раз после того они пытались перейти в наступление — ширванцы каждый раз подводили их под картечь орудий, беспрерывно менявших позиции, и каждый раз турки отступали с громадным уроном. Канонада и беглый ружейный огонь не умолкали всю ночь.

А тем временем работы по возведению двух батарей на левом берегу Карс-Чая быстро подвигались вперед. На правом дела шли менее успешно; одно неожиданное обстоятельство значительно замедлило там постройку четвертой батареи. Случилось, что войска в темноте сбили колышки, поставленные Пущиным для обозначения различных частей батареи, и восстановить их опять ночью, чтобы дать правильное направление амбразурам, было делом весьма нелегким. Грунт к томи же оказался скалистым, а так как окрестности Карса на далекое пространство были совершенно безлесны, то и не из чего

было вязать ни туров, ни фашин, и потому бруствер пришлось возвышать посредством мешков с землей, которую носили из ближних оврагов.

Стук инструментов между тем обратил внимание турок на работы четвертой батареи. С башен Орта-Кепи прогремело несколько ружейных выстрелов, две-три раза сыпнула оттуда картечь. К счастью, цепь, высланная вперед для прикрытия рабочих, залегла между камнями и не отвечала ни единым выстрелом. Турки убедились, по-видимому, что против них нет никого, и скоро успокоились.

В свету все батареи были готовы, и с восходом солнца двадцать шесть орудий могли открыть огонь по укрепленному лагерю. Это было только первым подготовительным шагом к страшному делу штурма первоклассной крепости. И никому не могло прийти в голову, что наступающий день будет днем падения Карса.

IV. ШТУРМ КАРСА

Да, были люди в наше время,
Могучее, лихое племя...

Лермонтов

День 23 июня 1828 года занимает в истории русских подвигов совершенно особое место, выходившее из ряда даже необыкновенного и приближающееся к невероятному. Перед малочисленной армией, почти не руководимой определенными приказаниями вождя, а ведомой лишь исключительно силой духа, перед которой нет недостижимого, пала неприступная крепость, видевшая много раз грозных завоевателей у стен своих, но никогда — в стенах.

Трехдневная осада подготовила еще слишком незначительные средства для приступа, чтобы можно было рассчитывать на успех его. Четыре батареи против угла южного форштадта, прикрытого укрепленным вражеским лагерем, образуя лишь первую осадную параллель, не могли дать и мысли о возможности кровавого штурма... И распоряжений о нем не было. Но борьба, случайно загоревшаяся на незначительном пространстве, вовлекая постепенно все новые и новые части русской армии в битву, быстро принявшую колоссальные размеры, сломила всякое сопротивление турок, охваченных паникой перед нечеловеческим презрением к смерти, которым дышал каждый русский солдат. Не получая никаких указаний, отдельные полки, батальоны и роты, предводимые испытанными в боях начальниками, сами знали, что делать, и солдаты, умирая, желали только победы оставшимся в живых. И Карс, самые стены которого, казалось, были объяты ужасом, склонился перед победителями недосягаемыми вершинами своих башен.

Вот как случилось это невероятное, славное дело падения Карса.

К утру 23 июня русские войска стояли под крепостью на следующих позициях.

С запада, на левом берегу Карс-Чая, на высотах против укрепленного турецкого лагеря и армянского предместья: На батарее №1 — батальон тридцать девятого егерского полка,

На батарее №2 — Крымский пехотный полк,

На батарее №3 — сорок второй егерский полк.

Высоты напротив цитадели, где были неприятельские шанцы, занимал батальон ширванцев, производивший ночную атаку.

Все эти войска находились под общей командой генерал-майора Королькова, и тут же присутствовал начальник всей пехоты генерал-лейтенант князь Вадбольский.

На правом берегу Карс-Чая, под начальством генерал-майора Муравьева:

В резерве — Грузинский гренадерский полк,

На батарее №4 — Эриванский карабинерный полк,

Против Карадага — сводная кавалерийская бригада.

В общем резерве в лагере оставались весь сороковой егерский полк и по батальону от полков Ширванского и тридцать девятого егерского, при двадцать шести орудиях; эти войска сторожили арзерумскую дорогу, защищали лагерь и по первому требованию могли поддержать ту или другую часть осадного корпуса.

С первыми лучами восходящего солнца со всех русских батарей началась канонада по турецкому лагерю. Возвышенность перед армянским предместьем, где стояли палатки, моментально была засыпана гранатами, и лагерные батареи, взятые под перекрестный огонь, замолкли. В ответ на это сильнейший огонь со всех ярусов цитадели, из крепости и с башен предместий обратился на главную четвертую батарею. Шестнадцать русских орудий с трудом могли отвечать на эту адскую канонаду. “Вряд ли мне случалось во всю мою службу быть в сильнейшем огне, чем в этот день,— говорил Муравьев, участник Бородина, Лейпцига и Парижа.— Продолжись такая пальба еще два часа, и батарея была бы срыта до основания”. К счастью, обстоятельства внезапно переменились — в это самое время загорелось жаркое дело на левом берегу Кара-Чая.

Когда батареи турецкого лагеря замолкли, часть неприятельской пехоты спустилась с укрепленной высоты армянского форштадта, заняла кладбище, лежавшее на полугоре, и стала оттуда поражать на выбор русских солдат, занимавших траншеи. Командир четвертой роты тридцать девятого егерского полка поручил Лабинцев, стоявший в передовой цепи, решился без приказания двинуться вперед, чтобы выбить неприятеля из его укрытий на кладбище. Пули и картечь посыпались на егерей. Но Лабинцев задался мыслью во что бы то ни стало не только овладеть кладбищем, но даже батареей, венчавшей гребень возвышенности, и бросился на приступ. Турки почти в упор дали залп и, не успев вторично зарядить своих ружей, встретили нападавших штыками и ятаганами. Произошла рукопашная свалка. Новые толпы турок бешено принеслись сюда из лагеря, и егеря, несмотря на всю свою храбрость, были отброшены. В эту опасную минуту Лабинцев не потерял присутствия духа: он снова сомкнул свою роту, воодушевил ее короткой речью и впереди всех опять бросился в сечу.

Из траншей между тем увидели опасное положение передовой цепи и послали помощь. Первыми подоспели на место свалки с третьей батареи три роты сорок второго егерского полка, с храбрейшим подполковником Миклашевским, и вместе с ротой Лабинцева ворвались на кладбище. Овладеть кладбищем было, однако, нелегко. Частые могильные камни и памятники давали неприятелю возможность держаться отчаянно, и каждый шаг надо было брать с боя, каждую могилу отнимать штыками. “Казалось,— говорит один очевидец,— турки, благоговея к памяти почивших, хотели охранить спокойствие гробов, и прах соотечественников воодушевлял их новой отвагой”.

Но и мужество русских солдат, предводимых Миклашевским и Лабинцевым, не имело пределов. Неприятель, наконец, был выбит с кладбища, и солдаты, преследуя бегущих, бросились вверх по горе, к укрепленному лагерю. Это был опасный шаг; положение становилось слишком серьезным. Напрасно некоторые офицеры хотели остановить порыв зарвавшихся храбрецов. “Стойте, братцы! Остановитесь! — кричали они.— Дальше не надо! Это только фальшивая атака!”

“Никак не возможно, ваше благородие,— отвечал на бегу один из солдат,— нам уже не впервой иметь дело с нехристем. Пока его по зубам не треснешь, он никак этой самой фальшивой атаки понять не может”.

Солдаты были страшно возбуждены; “Ура!” гремело. Рота Лабинцева и вторая рота сорок второго полка, капитана Черноглазова, насев на бежавших турок, вместе с ними вскочили в укрепленный лагерь, и часть палаток, пять знамен и два орудия тотчас перешли в их руки. Лабинцев при этом был сильно контужен, Черноглазов получил три раны пулями в левый бок, в шею и грудь, все навылет.

Таким образом занятие укрепленных высот, то, чего едва надеялись достигнуть в течение лишь нескольких дней, неожиданно осуществилось в два-три часа; теперь для всех стало ясно, что если передовой батальон будет поддержан, то внешние укрепления Карса могут быть взяты. Начальник пехоты князь Вадбольский тотчас решил воспользоваться внезапным оборотом сражения и быстро продолжать наступление, чтобы овладеть всем заречным Армянским форштадтом.

Князь Вадбольский был уже человек старый, добрый и очень любимый солдатами; он видел опасное положение Миклашевского, видел, что новые густые толпы пехоты идут на него из прилежащих форштадтов, и приказал полковнику Реуту, известному защитнику Шуши, спешить на помощь с пятью остальными ротами егерей и удержать за собою отнятую у турок позицию.

Батальон Реута не мог, однако, подоспеть вовремя. Двигаясь вправо от третьей батареи, чтобы выйти во фланг неприятелю, ему пришлось с большими усилиями взбираться на громадный утес. А в это время неприятель в превосходных силах вышел уже из предместья и ударил по отбитому лагерю. “До двух тысяч турок,— рассказывает Муравьев,— с холодным оружием в руках и со страшным криком неслись на Миклашевского”. С главной батареи тотчас открыли по ним огонь через речку. Но картечь и гранаты не могли остановить удара. Зарвавшийся батальон мгновенно был опрокинут, и турки погнали его назад к кладбищу. Человек тридцать с самим Миклашевским были между тем отрезаны. Окруженные врагами, они прижались к скале и отбивались отчаянно. В то же время часть турок, кинувшаяся влево, атаковала и колонну Реута. Поднимаясь на утес, егеря не могли их встретить сомкнутым фронтом, и головной взвод сразу был опрокинут. Весь левый русский фланг пришел в замешательство. Тогда Вадбольский, по настоянию начальника траншей полковника Бурцева, быстро собрал остальные роты егерской бригады, еще стоявшие на батареях, и лично повел их в битву. Но он был еще на пути, а батальон Реута уже оправился и снова полез на скалы, где над головой его стоял разъяренный и победоносный враг. Еще минута — и егеря на самом краю утеса вступили в рукопашный бой.

Все перипетии кровавой борьбы были прекрасно видны с четвертой батареи. “Я был свидетелем боя,— рассказывает Муравьев,— уже давно вышедшего из обыкновения в войсках: люди смешались толпами, как рисуют их на картинах; наши солдаты кололи штыками, турки рубили саблями”.

В это самое время на главную батарею прискакал сам Паскевич, встревоженный сильной канонадой и боем, начавшимся без предварительных распоряжений и приказаний. Остановившись на левом фланге батареи, на самом открытом месте, где каменистая почва не позволяла возвысить бруствера, он ясно видел все, что делалось за рекою: и массы нападающих турок, и опрокинутый отряд Миклашевского, и отчаянный бой, шедший на скалах у Реута — всю эту поразительную картину беспощадной борьбы не на жизнь, а на смерть. Неприятельские снаряды осыпали главнокомандующего. Почти возле него ядро оторвало руку молодому офицеру Эриванского полка князю Ратиеву, многие из свиты его были убиты или ранены. Паскевич ни на что не обращал внимания; он сошел с коня и некоторое время, как говорит Муравьев, "оставался в положении человека, изумленного нечаянностью, не знающего, что предпринять, ожидающего чьего бы то ни было совета или предложения". Муравьев подошел к нему. Паскевич вспылил и вместо благодарности, которую тот ожидал за то, что в течение четырех часов удерживал свою батарею под сильнейшим огнем целой крепости, разразился резкими и незаслуженными упреками; он говорил о каких-то интригах, грозил предать виновных суду... "Мне нечего было отвечать на это,— добавляет Муравьев,— ибо я знал только свою батарею и не имел никакого участия в молодецкой атаке, произведенной за рекой Вадбольским и Бурцевым. Я отошел в сторону".

А положение дел становилось все более и более опасным. Нужно было решиться на что-нибудь, и решиться немедленно, так как поражение левого фланга могло стать гибельным для всего малочисленного русского корпуса. Командир Грузинского полка граф Симонич, герой персидской войны, подошел к Паскевичу и просил позволения взять часть своего полка и идти на помощь Вадбольскому. Муравьев, со своей стороны поддержал это предложение. "Хорошо, но вы отвечаете за все головою",— сказал Паскевич Муравьеву.

Три роты Грузинского полка, под личной командой Симонича, быстро спустились к реке, чтобы соединиться с егерями. Бой происходил всего в каких-нибудь двух или трех сотнях саженей от батареи, но егеря были отделены от нее непроходимой в этом месте рекою, и Симонич, не найдя переправы, должен был повернуть на мост, чтобы выйти к заречному форштадту окольной и дальней дорогой. Гренадеры пошли форсированным маршем. Между тем обстоятельства на месте сражения быстро изменились на глазах самого Паскевича.

Рассказывают, что когда опрокинутый батальон Миклашевского бросился к кладбищу, перед бегущими солдатами внезапно появился священник Крымского пехотного полка Андрей Белицкий и преградил им дорогу. Он был в епитрахили и, высоко подняв над головою животворящий крест, крикнул громовым голосом: "Дети! Остановитесь! Неужели вы оставите здесь и меня и крест распятого Господа? Если мы не русские, не христиане — бегите. Я один сумею умереть за вас!" Солдаты остановились. Офицеры воспользовались этой минутой, привели их в порядок, повернули назад и бросились на турок. Через несколько минут Миклашевский, уже погибавший с горстью храбрых людей, был выручен.

Егеря соединились с колонной Реута, а тут подоспел и князь Вадбольский со своими резервами. Тогда на высотах, занятых укрепленным турецким лагерем, произошла последняя отчаянная схватка. Турки и русские смешались в одну общую массу. Камни, ружейный и пистолетный огонь, штыки, кинжалы и сабли — все было пущено в ход для взаимного поражения. Кровавая резня длилась с четверть часа. Необычайное мужество солдат и офицеров восторжествовало наконец над диким фанатизмом неприятеля: турки бросились бежать по направлении к форштадту, солдаты их преследовали. Кучи набросанных по дороге камней, новый ряд шанцев, новое кладбище, затем начинающиеся

строения — все, на каждом шагу, давало туркам возможность обороняться; но им не давали времени опомниться. И Вадбольский на их плечах ворвался в Армянское предместье.

Полковник Бурцев с ротой тридцать девятого полка тотчас отделился от колонны и кинулся влево к северо-западной башне Темир-паша, которой принадлежала важнейшая роль в обороне заречного форштадта. Грозно возвышались ее каменные стены. Напрасно с самого утра громили их русские батареи — ядра отскакивали от них, как мячи, и множество их лежало кругом расколотыми. Самая башня, как сказано выше, командовала не только форштадтом, но превышала крепостные стены и даже равнялась с цитаделью, и взять ее было делом первостепенной важности. Встреченная почти в упор ружейным огнем, рота Бурцева ударила в штыки, ворвалась в башню и, после жестокого и короткого боя, овладела ею. Бурцев тотчас поставил на ней два орудия второй легкой роты двадцатой артиллерийской бригады и принялся картечью очищать улицы предместья.

Почти одновременно со взятием Темир-паши, начальник артиллерии генерал-майор Гилленшмит, двигавшийся с артиллерией по следам князя Вадбольского, занял покинутые высоты укрепленного турецкого лагеря и там, где впоследствии возникло укрепление Чим-Табия, поставил батарею из двух казачьих и четырех батарейных орудий кавказской гренадерской артиллерийской бригады. В то же время полковник Бородин, с ширванским батальоном, вытеснил неприятеля из каменных шанцев против цитадели и на высоком утесе устроил еще батарею на два орудия. Так, совершенно случайно, образовалась вторая параллель, и три батареи (Бурцева, Гилленшмита и Бородина), уже с самого близкого расстояния, принялись громить и цитадель и город, чтобы тем препятствовать движению резервов.

В Армянском предместье продолжалась, между тем, кровавая битва. Егеря теснили неприятеля из дома в дом, из улицы в улицу, обозначая свой путь вражьими трупами. Ни многочисленность, ни твердая защита не спасали турок; они потеряли девять знамен и вынуждены были наконец уступить предместье до самого верхнего моста. Поражение их при отступлении было так велико, что в одной из улиц неприятель, будучи схвачен на штыки с обеих сторон, совершенно загородил путь своими трупами. Но и русским недешево досталась эта кровавая схватка: только в одном этом месте было убито и ранено тринадцать офицеров.

Теснимый повсюду, неприятель занял наконец последний отдаленнейший квартал предместья, примыкавший уже к самой реке. Егеря, истощенные боем, вероятно, встретили бы здесь отчаянный, быть может, гибельный для себя отпор, и они остановились. Князь Вадбольский понял, что сделать более того, что было сделано в этот день, люди не могли: им не доставало физических сил, и нужен был хоть кратковременный отдых. С другой стороны, этим отдыхом могли воспользоваться турки, чтобы подвести резервы, и тогда переменчивый жребий сражения, пожалуй, мог бы опять перейти на их сторону.

К счастью, как раз в эту критическую минуту подоспели свежие силы.

Это был Крымский пехотный полк, выведенный из траншей, со второй батареи, генерал-майором Корольковым. Он занял те высоты, на которых стояли ширванцы, а ширванский батальон, оставив свою батарею под прикрытием крымцев, быстро спустился с высот к атакованному кварталу и встретился здесь с тремя грузинскими ротами, которые как раз в это время привел сюда граф Симонич. Два свежие батальона, сменив усталых егерей, единодушно, без предварительного соглашения, пошли на штурм и смелым натиском в

штыки очистили последнюю часть заречного форштадта до самых берегов Карс-Чая. Теперь только одна глубокая трещина, на дне которой шумела река, отделяла войска от неприятельского города. К счастью, в этой части форштадта был прочный каменный мост. Ширванские стрелки быстро перебежали его и засели в обывательских домах, раскинутых по крутизнам при подошве самых стен цитадели и крепости. Под, их прикрытием весь батальон ширванцев перешел через мост, среди общего замешательства и ужаса турок; гренадеры и егеря проникли сюда же по двум другим мостам, которые турки также не успели уничтожить. Вся западная часть крепостной стены, со стороны арзерумской дороги, была теперь плотно обложена русскими войсками.

Внезапный поворот сражения на левом фланге, блистательные успехи Вадбольского, гром батарей, поселявший смятение в городе, наконец мужество, каким были проникнуты войска,— воодушевили и самого Паскевича. Минута взывала к дальнейшим предприятиям. Начальник штаба барон Остен-Сакен подъехал к главнокомандующему, предлагая ему продолжать сражение с тем, чтобы тотчас взять ближайшее, южное предместье Орт-Кепи, овладеть затем Карадагом и, таким образом, отнять у турок все внешние их укрепления.

Паскевич согласился.

С главной батареи тотчас выдвинут был батальон эриванцев и две роты Грузинского полка, под личным начальством барона Остен-Сакена. Под картечным огнем колонна эта дошла до предместья, защищенного с фронта двумя бастионами, вернее — башнями, соединенными между собой невысокой стенкой со рвом. Левый бастион моментально был взят подполковником Кошутиным, причем рота штабс-капитана Музайко овладела тремя турецкими пушками. Между тем часть Эриванского батальона, имея во главе самого командира полка барона Фридерикса, перебралась через стенку, на которой развевалось семь турецких знамен, и ворвалась в предместье. В штыковой схватке, последовавшей за этим, подпоручик Литвинов и прапорщик Давыдов взяли с боя каждый по знамени; вторая рота, с подпоручиком Еллисуйским, взяла их четыре; третья рота — одно. Вся передовая часть предместья была занята эриванцами. Держался еще только один правый бастион, носивший название Юсуф-Паша. Оттуда по штурмующим действовала картечью турецкая пушка и наносила им весьма ощутимый вред. Чтобы сломить сопротивление бастиона, барон Остен-Сакен приказал подвести две пушки, которые с самого близкого расстояния открыли по нему огонь. В то же время, заметив смятение в его гарнизоне, обер-квартирмейстер полковник Вольховский с двадцатью грузинцами бросился на приступ — и башня была взята с пушкой и двумя знаменами. Из пушки тотчас стали стрелять по городу.

Когда оба бастиона были уже в русских руках, двенадцать батарейных орудий, взятых по приказанию Паскевича с четвертой батареи, поставлены были правее Юсуф-Паши, позади болота, и принялись обстреливать цитадель. Под их покровительством гренадеры совершенно очистили занятое предместье. Город в трех местах был зажжен гранатами; против дома паши взлетели на воздух три неприятельских зарядных ящика.

Очередь была за Карадагом.

Еще в то время, как в улицах Орт-Кепи кипела рукопашная схватка, Паскевич отправил на подкрепление Остен-Сакену три роты Эриванского полка, под личной командой генерала Муравьева. На главной батарее, где все еще был Паскевич, остались только четыре мортиры и под их прикрытием сводный батальон из трех рот Грузинского полка и одной Эриванской. Все остальные войска уже были введены в дело.

Муравьев подошел к Орт-Кепи в то время, когда бой в улицах уже затих. Тогда он, усиленный еще ротой грузинцев из отряда Остен-Сакена, немедленно повел свои войска в последнее восточное предместье Байрам-Паши, по занятии которого он должен был штурмовать Карадаг, где сгруппировались все выбитые с передовых позиций турецкие войска и строились новые батареи. Идти приходилось по открытому месту и под огнем всей крепостной артиллерии; к счастью, большинство снарядов переносилось через голову, не причиняя большого урона. Очевидно, турки подверглись тогда уже полной деморализации, и потому предместье Байрам-Паши, лежащее на полугоре, было занято без особого сопротивления. Муравьев оставил в нем одну карабинерную роту поручика Ляшевского, приказав ему удерживать предместье в случае вылазки из крепости, а с остальными ротами двинулся на Карадаг.

От самого предместья Байрам-Паши пришлось подниматься без всяких дорог, по крутым тропинкам, на высокую скалистую гору, увенчанную редутом. Войска двигались тем не менее с барабанным боем и грозным “ура”. Град неприятельских снарядов и пуль летел в них и с карадагского редута, и с ближних шанцев, и с крепостных бастионов. Но это были уже замиравшие отголоски карсского штурма. Смелое наступление Муравьева поразило турок, и грозная позиция была оставлена ими без боя. Турки бежали с такой поспешностью, что когда к редуту подошел батальон, на бруствере его еще развевалось покинутое знамя — оно было сорвано каким-то казаком, а четыре орудия, найденные в редуте, тотчас были обращены на крепость. Вбегая на редут, солдаты проходили через небольшой оставленный турками лагерь; палатки стояли на самой дороге, но ни один гренадер не заглянул в них поживиться добычей — так сильно было стремление солдат скорее захватить орудия и знамя. “Отличительная черта войск Кавказского корпуса, в коих славолюбие превышает чувства корысти”,— замечает по этому поводу Муравьев.

Все передовые укрепления Карса теперь были взяты, и русские батареи громили уже крепость. Стрелки, скрывавшиеся в ближайших домах городских предместий, поддержанные общим движением колонн, смело устремились на крепость, пробрались по плоским кровлям зданий под самые стены и мгновенно охватили их с востока, юга и запада.

Наступила решительная минута.

Единодушно, как бы по данному сигналу, войска, не видевшие друг друга из-за большого расстояния, без всякого приказания разом пошли на крепость. Их встретили беспорядочным пушечным и ружейным огнем, но это не могло уже вырвать победу у войск, воодушевление которых было доведено до величайшей степени. Один из эриванцев (со стороны Орт-Кепи), первый вскочивший на стену, был поражен смертельной пулей и, падая крикнул: “Прощайте, братцы! Да только город возьмите!” Два эриванские унтер-офицера, из роты поручика Ляшевского, первыми спрыгнувшие со стены, чтобы отбить восточные ворота, разом были убиты разорвавшейся над их головами русской же гранатой. Их сменили другие смельчаки — и ворота были отворены. То же происходило со стороны Армянского квартала, откуда врывались колонны Бородина, графа Симонича и князя Вадбольского. Повсюду, как оказалось после, повторялись одни и те же сцены. Армяне помогали русским солдатам взбираться на стены, солдаты поодиночке спрыгивали вниз и бежали отворять ворота. Это был ряд истинных подвигов, и не один десяток отважных заплатил за них своей жизнью. Скоро все ближайшие бастионы и башни с двадцатью пятью орудиями были взяты, и вся крепость, за исключением только одной цитадели, перешла в руки русских. Все это сделалось так быстро, при таком поражающем единодушии войск, что турки потеряли голову и не понимали, что вокруг них происходит. Конница их бежала из города, паша с большей частью гарнизона заперся

в цитадели; остальные войска и народ метались по городу, оглашая воздух криками и мольбой о пощаде.

Но вот на высоких стенах цитадели разом взвились два белые знамени — и все умолкло. Крепость сдавалась. Депутация, вышедшая к русским войскам, была отправлена к Паскевичу. Главнокомандующий тотчас распорядился прекратить огонь, и через полковника князя Бековича-Черкасского предъявил коменданту следующие условия: 1) паша признает себя военнопленным и 2) войска, укрывшиеся в цитадели, безотлагательно сложат оружие.

Чтобы ускорить развязку и вынудить пашу немедленно исполнить решительное требование, двадцать орудий, вызванные из Кичик-Кевского лагеря, были подняты на северо-восточные высоты, и русские батареи кольцом опоясали крепость. Полки, между тем, подвигались с разных сторон и с музыкой и песнями подходили к самым стенам цитадели. Рассказывают, что в середине города один из русских отрядов случайно встретился с тысячной турецкой конницей, которая стояла в тесных улицах шпалерами и, прижавшись к домам, беспрепятственно пропускала проходившие перед нею войска, С одной стороны — чувство страха, с другой — дисциплина удержали спокойствие, и русский отряд с торжествующим видом двигался мимо озадаченного врага к цитадели. Паша колебался, однако, принять тяжелые условия капитуляции и просил два часа отсрочки. Кадий и муфтий, два первенствующие лица карсского духовенства, отправились к Паскевичу на главную батарею и возвратились оттуда в сопровождении полковников Лемана и Лазарева, которые везли категорический ответ главнокомандующего: “Пощада повинным. Смерть непокорным. Час — на размышление”.

Проходили часы томительного ожидания, и русские войска теряли терпение. Несколько раз то опускался, то поднимался снова турецкий флаг на цитадели. Остен-Сакен, в сопровождении князя Бековича-Черкасского и нескольких офицеров, выехал в Эриванский полк. Штабс-капитан Потебня, офицер решительный, соскочил с коня и, подойдя к воротам цитадели, принялся стучать, требуя чтобы их отворили для “визиря русского сардаря”. Ворота отворили. Сакен, войдя в цитадель, отправился прямо к паше и нашел его в маленьком домике, окруженным первейшими сановниками города, которые и были главной причиной медленности переговоров. Собственно говоря, представители города были правы: цитадель, имея крытый ход к реке, достаточное количество запасов и множество орудий, могла еще продержаться долго, а между тем Киос Магомет-паша со своим двадцатитысячным корпусом уже находился всего в одном небольшом переходе от Карса. Русские разъезды действительно видели передовые турецкие партии в пяти или шести верстах от лагеря. Но те же самые обстоятельства побуждали и Паскевича к последним решительным и энергичным действиям.

Положение Сакена было чрезвычайно опасное, но он (как выражается Муравьев) имел душу не робкую и с победоносным видом потребовал капитуляции”. В то же время в русских войсках, скучавших от бездействия, поднялся шум. “Сдавайтесь же, а то полезем!” — кричали ширванцы. Угроза, поддержанная рядом сверкавших штыков и фитилями, курившимися у пушек, сломила колебание паши — он подписал капитуляцию. Сам паша, со всем своим штабом и теми войсками, которые захвачены были в плен во время боя, признавались военнопленными; а те, которые успели укрыться в цитадели, сдавали оружие и распускались по домам под честное слово не служить против нас в эту кампанию.

В десять часов утра батальон Грузинского полка вступил в цитадель и занял в ней караулы, остальные русские войска выведены были из города.

Картина крепости переменилась.

По узким, извилистым улицам города и предместий, с разных сторон, с барабанным боем двигались роты, спешившие занимать караулы; везде ходили конные разъезды улан, введенных в город для восстановления порядка. Жителей в первое время нигде не было видно, и только в глухих переулках, кое-где на плоских кровлях домов показывались пестрые кучи женщин. Кругом крепости и ее форштадтов почти вплотную придвинуты были батареи полевых орудий, за ними в колоннах стояла пехота. Лагерь со всеми обозами оставался на прежнем месте, на арзерумской дороге, с малым прикрытием. Войска держались наготове, чтобы выйти в поле и встретить турецкий корпус, если бы с его стороны было какое-либо покушение на лагерь и крепость.

На одном возвышении, саженях в трехстах от покоренной крепости, за бруствером мортирной батареи развевались разноцветные турецкие знамена — кровавые трофеи, добытые при штурме. Там находился Паскевич. От этого возвышения в крепость и из крепости к мортирной батарее то и дело скакали ординарцы, адъютанты и казаки. Из Карса выходили толпы турецких солдат — это пленные, препровождаемые в русский лагерь. Проехал, наконец, верхом и сам двухбунчужный паша, окруженный нарядной толпой своих офицеров. Прибыв на батарею, он слез с коня и, тихо приблизившись к главнокомандующему, подал ему свою саблю.

Церемония сдачи Карса окончилась. Было три часа пополудни, накрапывал дождик. Паскевич сел на коня и, минуя шумные толпы турецких войск, все еще выходивших из крепости, поехал к воротам цитадели; за ним везли турецкие знамена. При самом въезде в цитадель его ожидал священник Крымского пехотного полка отец Андрей, который после славного подвига, совершенного им в армянском предместье, не оставлял войска во все время боя, то ободряя солдат, то помогая раненым, то напутствуя умирающих. Он встретил Паскевича приветственной речью и преподнес ему букет белых роз, сорванных им в саду турецкого коменданта. Проехав цитадель, Паскевич остановился на самой высокой батареи и приказал водрузить возле себя Георгиевское знамя Грузинского гренадерского полка. Здесь он принимал поздравления, благодарил начальников и при этом обнял Муравьева и Сакена. Он долго всматривался вдаль, туда, где черной полоской едва-едва виднелся разбитый турецкими ядрами бруствер четвертой батареи, с которой началось все дело, и, обратясь к Муравьеву, сказал: “Кто бы мог подумать, и воображали ли турки, что от этой черной полоски решится участь карсской твердыни”.

В сумерках Паскевич переехал в город и остановился в доме турецкого паши. Здесь он получил известие, что Киос Магомет-паша, узнав взятии Карса, отступил к Ардагану. В ту же ночь курьер поскакал Петербург и повез императору следующее короткое донесение:

“Знамена Вашего Императорского Величества развеваются на стенах Карса, взятого штурмом сего числа в восемь часов поутру”.

“Из рапорта моего Государю,— писал он вслед за тем барону Дибичу,— Вы увидите нечаянность одержанной победы, храбрость солдат, неустрашимость офицеров и распорядительность начальников. В чаду той победы я не могу еще опомниться, чтобы описать все подробно. Саблю паши и пистолеты его, взятые на батарее, осмеливаюсь поднести Его Императорскому Величеству; оружие же одного из знатнейших под ним предводителей покорнейше прошу Вас принять от меня на память”.

Так пала одна из важнейших твердынь азиатской Турции. Счастливому и невероятно быстрому исходу штурма более всего способствовала своевременность взаимной

поддержки частей, не ожидавших на то особых приказаний, и энергия тех более или менее крупных начальников, которые не затруднялись принимать на свою ответственность все, что касалось чести и славы русского оружия.

Трофеями карсского штурма были: сто пятьдесят одно орудие, тридцать три знамени, повелительный жезл карсского паши и тысяча триста пятьдесят человек пленных, в числе которых находился сам карсский паша Магмет-Эмин, со всем своим штабом.

Приступ похитил из рядов русского корпуса до четырехсот храбрых солдат. Из числа офицеров убит поручик Штоквич, отец знаменитого защитника Баязета в 1877 году. Умер от раны и Эриванского полка прапорщик князь Ратиев, которому, как сказано выше, ядро оторвало руку около самого Паскевича в тот момент, когда Муравьев отдавал ему какое-то приказание на батарее.

Ратиев имел силу сам, без посторонней помощи, дойти до перевязочного пункта, но там сделали ему неудачную ампутацию, и у него открылась гангрена. Чтобы усладить последние минуты страдальца, Мураевьев привез ему солдатский Георгиевский крест, заслуженный им еще юнкером, во время персидской войны. Ратиев взял крест, поцеловал его, положил себе на грудь — и умер. Кроме Ратиева тяжело были ранены двенадцать офицеров, и некоторые по несколько раз. В егерских ротах, штурмовавших турецкий лагерь, почти все офицеры выбыли из строя.

Карс, взятый штурмом, вопреки военным обычаям того времени, не был отдан на разграбление. Жителям объявлена была полная амнистия, и 24 числа главнокомандующий обратился к ним со следующей прокламацией.

“Твердыня Карсская пала перед победоносным оружием русских. Права войны предоставляли наказать жителей города, взятого штурмом, но правила Русского Императора чужды всякого мщения. Именем великого Монарха я изъявляю прощение гражданам и призываю всех обитателей пашалыка Карсского под высокое покровительство России, обещая им нерушимость богослужения, обычаев и собственности... Я не потребую от вас новой подати, но приложу заботы, чтобы облегчить и ту, которая доселе лежала на вас. Да не отяготеет над вами правление победителей”.

Начальником Карсского пашалыка назначен был полковник князь Бекович-Черкасский, судебная власть оставлена по-прежнему в руках мусульманского духовенства, а полицейская — в руках туземных чиновников, подчиненных только надзору русских офицеров. Доверие к новому правлению установилось сразу, и народ обратился к своим обычным занятиям: лавки открылись, учредились базары, отрывалось закопанное в землю имущество, и “празднолюбие мусульман нашло себе обильную пищу в рассказах о минувших битвах”, как замечает один из повествователей Карсского штурма.

На следующий день, 25 июня, под стенами Карса отслужено было благодарственное молебствие за победу. Весь действующий корпус был выстроен на том самом месте, где стояла главная батарея Муравьева. Едва провозглашено было многолетие, как в ту же минуту поднялся русский императорский флаг над Карсской цитаделью, и крепость приветствовала его единодушным залпом из всех турецких орудий, а полевая артиллерия вторила ей сто одним пушечным выстрелом. Затем войска проходили перед главнокомандующим церемониальным маршем. Паскевич весело здоровался с каждым взводом и всех поздравлял с победой. Но заветное “Спасибо, ребята!” говорилось лишь тем, которые были в жарком деле на штурме.

Когда проходили батареи, боровшиеся с цитаделью Карса, Паскевич приветствовал их словами: “Спасибо вам, друзья мои, спасибо!” И солдаты ценили и понимали эти различия.

“Взгляните, храбрые товарищи,— говорил Паскевич в приказе по корпусу,— на тот утес, где ныне развевается знамя Империи, на то место, от которого сильное воинство Надир-шаха, после долговременной осады, отступило; вспомните о числе своем и вознесите теплую молитву к Господу Богу за дарованную вам знаменитую победу”.

Государь, желая сохранить в потомстве Паскевича память об этом событии, предоставил ему выбрать для себя два орудия из числа взятых на стенах цитадели. Сакену пожалован был орден св. Георгия 3-ей степени, а Муравьеву, Вольховскому, Фридериксу, Бурцеву, Лабинцеву и Черноглазову тот же орден 4-й степени. Турки, со своей стороны, сумели отдать справедливость русским войскам, их беззаветной храбрости и покорности долгу. “Вы взяли Карс,— говорили потом жители его,— но мы не стыдимся. Кто устоит против вас!”

V. ВЗЯТИЕ АНАПЫ

В то время, как на главном театре войны Паскевич только еще готовился к походу, вдали, на берегах Черного моря, совершилось другое событие, весьма важное для дальнейших судеб войны в Азиатской Турции,— перед русскими войсками пала Анапа, этот оплот турецкого влияния на черкесов, а через них и на другие племена, населявшие Кавказские горы.

Серьезное стратегическое значение Анапы обусловливалось самым ее географическим положением у моря. По отношению к черноморской кордонной линии, она была тем же, чем Ахалцихе на границе Грузии, то есть источником вечных тревог и поддержкой черкесских набегов. При таких условиях Анапа могла не только мешать сношениям европейской России с Закавказьем по Черному морю, но, распространяя свое влияние далеко внутрь страны, до волновавшихся Абхазии и Гурии, создать по обе стороны Кавказа, в тылу действующей армии, неисчислимые затруднения. Оставить ее в руках турок, во время войны с этой державой, значило иметь за своими плечами постоянную угрозу. Недаром султан, в одном из своих фирманов, прямо называл Анапу ключом азиатских берегов Черного моря. И вот, чтобы разобщить два мусульманских народа, взаимно поддерживавших друг друга, нужно было держать в руках этот ключ, и взятие Анапы, при каждой войне с Турцией, входило в число важнейших стратегических соображений.

Турки, со своей стороны, хорошо понимали значение Анапы, дававшее им возможность, не расходуя наличные боевые силы, распространять военные действия на огромном пространстве, охватывавшем все северо-восточное побережье Черного моря и Прикубанье, и потому крепко держали ее в своих руках. В Стамбуле не без основания рассчитывали, что достаточно только подогревать в черкесах религиозный фанатизм, чтобы держать эту страну в постоянном возбуждении против России. И они не жалели денег, осыпали черкесов подарками, снабжали их порохом, артиллерийскими орудиями, ружьями, а вместе с тем и проповедниками. Для черкесов Анапа служила представительницей мусульманского могущества и была в одно и то же время и арсеналом, и “весью” Аллаха, своего рода Римом, откуда в их землю шли один за другим апостолы магометанства. Случилось однажды, что из Анапы отправлено было сразу до трехсот мулл и дервишей. Красноречивым проповедникам недоставало, однако, весьма важной вещи — знания черкесского языка, и религиозная пропаганда их осталась

поистине гласом, вопиющим в пустыне. Современники этой эпохи рассказывают, что и дервиши и муллы очутились под конец в весьма критическом положении, рискуя даже умереть с голоду. Но зато на сцену выступили немедленно другие интересы, сблизившие черкесов с миссионерами, быть может, прочнее, чем это могли сделать религиозные наставления. Чтобы выйти из своего неприятного положения, немые проповедники принялись за торговлю юным черкесским населением, и этот род просвещения превосходно был понят жадными до барышей черкесами. Красивые женщины и мальчики, поодиночке и целыми партиями, находили отличный сбыт в Анапе. Закипела бойкая торговля — и отдать теперь такое сокровище, как Анапа, неверным, которые прежде всего наложили бы свою руку именно на эту торговлю, уже было невыгодно ни горцам, ни туркам. Они обещали друг другу взаимную помощь. И вот в то время, как поднималась над горизонтом грозная туча войны, турецкое правительство поручило французским инженерам усилить оборонительные верки Анапы, удвоило в ней гарнизон и, вместо слабого Гассан-паши, назначило ее комендантом известного своей храбростью Чатыр-Осман-оглы. Нужно сказать, однако, что храбрость была единственной добродетелью нового начальника — его предшественник был гораздо умнее и деятельнее.

Русское правительство, со своей стороны, готовилось овладеть Анапой. И уже в то время, когда призрак войны еще только вставал в далекой перспективе, князю Меншикову, при возвращении его из Персии в 1826 году, поручено было, между прочим, собрать по возможности точные сведения о силе Анапских укреплений. К сожалению, отношения между Россией и закубанскими горцами тогда были настолько обострены, что пришлось отказаться от мысли узнать через них хоть что-нибудь об Анапе. Сохранилась, однако, одна любопытная переписка, свидетельствующая об этих стремлениях русского правительства. Нужно припомнить, что все время с 1807 по 1812 год, когда Анапа находилась в русских руках, комендантом ее был генерал-майор Бухгольц, женатый на черкесской княжне и через нее имевший в горах большие родственные связи. К нему-то — он был тогда комендантом в Керч-Ениколе — и обратился в 1827 году князь Меншиков. Письмо его, к сожалению, не застало Бухгольца в живых, и за него ответила жена его. Вот что писала она.

“Разбирая бумаги покойного мужа, касающиеся сдачи им Анапы, я нашла подробный план крепости, который при сем и посылаю. А так как я находилась в Анапе вместе с моим мужем, то знаю лично, что крепость эта была вооруженная, но, по приказанию мужа, когда ее сдавали Порте в 1812 году, разрушены были главные укрепления и самые контрфорсы ослаблены, а орудия свезены на флот. По настояниям паши оставлено было в то время там лишь несколько самых дурных пушек с негодными лафетами. Подробное описание Анапы, как я полагаю, погибло во время кораблекрушения, которое постигло судно, ибо ехавший на нем священник с семейством, вся канцелярия и все наше имущество утонули.

Будучи сама уроженкой Черкесии, я поныне сохраняю родственные связи, доверие и приверженность к себе натухайцев, шапсугов и абадзехов, имею родственницу даже в самой Анапе. И если бы сведения эти требовались раньше, то имела бы случай и твердо убеждена в этом, то могла бы достать вам вид настоящих укреплений Анапы и все средства ее, так как крепость находится теперь в сильно оборонительном положении. Всегда желала я доставить родине моей покровительство монарха и для этой цели имела на родственников моих непосредственное влияние, с твердостью удерживаю и поныне средства подкреплять мое намерение, сопряженное с искренним желанием отвлекать народ сей от его заблуждений”.

Чем кончилась эта интересная переписка и вообще, были ли успешны тогда попытки Меншикова собрать сведения об Анапских укреплениях — неизвестно.

Но вот наступил 1828 год; разрыв с Турцией стал уже совершившимся фактом, и Анапа вскоре должна была испытать на себе силу русского оружия.

В азиатской Турции военные действия еще не начинались, и даже вторая армия, графа Витгенштейна, еще только собиралась на Пруте, а к восточным берегам Черного моря уже снаряжена была морская экспедиция и шли сухим путем русские батальоны. Взятие Анапы должно было быть одним из первых чувствительных ударов Порте. Император Николай Павлович сознавал трудности, с которыми была сопряжена осада сильной крепости, поддерживаемой извне многочисленным горским народом, и на покорение Анапы послал десантный отряд, сопровождаемый флотом для морской блокады и бомбардирования крепости.

По отдаленному положению от театра военных действий, предположенных в азиатской Турции, и по совершенному недостатку войск на Кавказе, Анапа включена была в черту действий Дунайской армии; поэтому из Екатеринославской губернии передвинута была в Севастополь егерская бригада седьмой пехотной дивизии, назначавшаяся для десанта, а со стороны Кавказа должны были участвовать в предприятии только Таманский гарнизонный полк и четыре полка черноморских казаков.

Эскадра, под начальством вице-адмирала Грейга, с десантом сухопутных войск, вышла из Севастополя к кавказским берегам 21 апреля. В то же самое время к Анапе двигались и со стороны черноморской линии два конные, восьмой и девятый, и два пешие, пятый и восьмой, казачьи полки с конной батареей, предводимые самим войсковым атаманом Бескровным, По пути к ним должны были присоединиться шесть рот Таманского полка, рота Нашебургского и четыре орудия. Весь этот отряд поступал в команду флигель-адъютанта полковника Василия Алексеевича Перовского [Впоследствии известный генерал-губернатор Оренбургского края.], который быстрым движением к Анапе должен был очистить край от неприятельских шаек и обеспечить высадку десанта.

Бескровный шел впереди, и перед его отрядом скоро показались признаки близости неприятельской крепости: 28 апреля черноморские пластуны наткнулись на турецкий караул, стоявший на противоположной косе Бугаза, и сняли его — четырнадцать человек, беспечно занимавшихся рыбной ловлею, были перебиты или взяты в плен; на следующий день на один из русских секретов, уже по ту сторону Бугаза, наехало два неприятельских всадника — и оба были захвачены, один из них оказался турок, другой черкес, 30 апреля — новое столкновение: в то время, как атаман Бескровный с частью своих казаков перешел брод и двинулся к косе Джимитей, показалась черкесская партия. По мере приближения отряда она отступала к горам и, наконец, зажгла несколько домов на Джимитее. Бескровный остановился, не доходя деревни, и занял разоренное укрепление, которое казаки наскоро исправили. Партия, однако, не ушла; она весь день кружилась возле казаков, и только 2 мая, когда к Бескровному присоединился весь отряд Перовского, черкесы исчезли. Погода стояла тогда ненастная, шел сильный дождь с порывистым северо-восточным ветром, и обозы, тянувшиеся всю ночь, прибыли на Джимитейскую косу только под утро.

Между тем, после бурного плавания, 2 же мая, на горизонте показалась и эскадра Грейга с десантными войсками. Она подошла к Анапе и стала на якорь. Как главный начальник экспедиции, Грейг немедленно отправил к анапскому паше парламентера с требованием сдачи крепости. Паша отказался. “Вы предлагаете мне невозможное,— сказал он русскому

офицеру,— начальник ваш исполняет то, что велел ему его Государь, а я не изменю своему. Судьба должна решить, кому владеть Анапою”. Оставалось одно — приступить к осаде крепости.

Анапа, построенная в северо-западной оконечности земли черкесов, на мысе, глубоко вдавшемся в море, с трех сторон омывалась водою. Прямо, к западу, расстилалось открытое море, уходя в безграничный простор. К северо-востоку береговой изгиб мыса образовывал залив, пересекаемый небольшой косой, а между заливом и мысом, на котором стояла Анапа, вливается в море речка Бугур. К югу, почти прямой линией, далеко от Анапы тянулся берег, а на восток от нее лежала плоская равнина, обрамленная горами, из-за которых ежеминутно могли появиться черкесы. На этой же плоскости и должны были совершиться все перипетии осадной войны.

Оставив на Джимитейской косе, для прикрытия своих сообщений с Бугазом, роту Таманского полка с двумя орудиями и частью казаков, Перовский 3 мая подошел к Анапе и занял тесное пространство по реке Бугуру, между берегом моря и обширным болотом, отделявшим его от гор.

На море все эти дни свирепствовала сильная буря, препятствовавшая высадке десанта, и отряд Перовского, силою в девятьсот человек, должен был стоять один против сильной крепости. Видя, что шторм не позволяет соединиться русским войскам и что корабли за мелководьем не могут приблизиться к берегу даже настолько, чтобы вредить крепости огнем морской артиллерии, турки в продолжение трех дней делали беспрерывные вылазки. Перовский, окруживший свою позицию целым рядом небольших полевых укреплений, держался стойко, но вечером 5 мая он тем не менее должен был условными сигналами потребовать помощи. Попытка свезти на берег десант была сделана, но, несмотря на все усилия, только сорок человек были сняты с лодок — остальные ночевали в море. К счастью, под утро ветер несколько утих, и 6 мая тринадцатый и четырнадцатый егерские полки, с восемью орудиями батарейной роты седьмой артиллерийской бригады, под командой генерал-адъютанта князя Меншикова, вышли на берег. Турки попробовали разом атаковать десант и отряд Перовского, чтобы помешать их соединению, но попали под огонь кораблей — и отступили. Отряды соединились и тотчас устроили пристань и телеграф для сообщений и переговоров с флотом. Меншиков принял команду над всеми войсками, Перовский назначен был начальником штаба осадного корпуса.

7 мая началось бомбардирование крепости. Три дня громили стены ее морские орудия с флота, а в это время и на суше, на правом берегу Бугура, на плоской песчаной косе, вдающейся в залив, воздвигалась демантир-батарея. Случилось, что в то время, как батарея уже достраивалась, Меншиков получил сведение об одном обстоятельстве, грозившем большой опасностью для осаждающих. Ему сообщили, что при самом устье реки, впереди батареи, находится брод, которым неприятель легко может воспользоваться для внезапного ночного нападения и захвата пушек. Последнее ему было тем легче, что днем с углового бастиона, стоявшего от батареи только на расстоянии картечного выстрела, не могло укрыться ни одного движения русских; Меншиков немедленно один отправился к указанному месту, чтобы лично убедиться в степени опасности. Более четверти часа пробыл он под сильным орудийным огнем, осматривая берега и течение Бугура, и, вернувшись, приказал посылать на ночь на самую оконечность косы взвод егерей. Весь русский отряд видел холодное мужество своего начальника и беспокойно следил за ним, когда он проезжал по берегам Бугура, осыпаемый неприятельскими снарядами,— это сразу приобрело ему любовь и доверие войска.

10 мая батарея была готова — и два корабельные тридцатишестифунтовые орудия и мортира большого калибра открыли огонь по угловому бастиону крепости. На эту батарею возлагались наибольшие надежды. Нужно сказать, что бомбардирование крепости с моря мало причиняло ей вреда, так как мелководье не позволяло кораблям и фрегатам подходить к ней на близкое расстояние. Меншиков не хотел повести осаду с открытой, наиболее доступной полевой стороны крепости, где стены были не так высоки, рвы менее глубоки. Оттуда некогда атаковал Анапу Гудович. Меншиков, напротив, выбрал северный фас, укрепленный сильнее других, но зато представлявший ту выгоду, что, сбив орудия с двух угловых бастионов, войска уже безопасно приближались к крепости, так как эти же самые бастионы закрывали бы их от выстрелов с других укреплений. Сверх того, доставка с флота больших корабельных орудий и громоздких снарядов была удобнее на этом пункте, нежели на других, куда приходилось бы перетаскивать их на руках солдат. Батарея на косе занимала, таким образом, самый выгодный пункт, соответствующий всем этим целям. А чтобы доставить войскам возможность переходить в наступление и вести траншейные работы к атакованному бастиону, через Бугур наведен был мост и доступ к нему неприятеля загражден редутом, в котором расположились две переброшенные за реку егерские роты.

План Меншикова, верно задуманный, представлял одну слабую сторону. Войска, скученные к устьям Бугура, оставляли открытой плоскость, весьма удобную для сношений крепости с черкесами, которые могли свободно проводить в нее и подкрепления и жизненные припасы. А занять эту плоскость войсками значило растянуть и без того немногочисленный отряд в длинную осадную линию, что, впоследствии, как увидим, пришлось, однако, сделать.

Турки, по-видимому, понимали свою выгоду и попытались задержать русских на той стороне Бугура. В ту же ночь, как только егеря заняли заречный редут, неприятель сделал сильную вылазку, а крепость открыла огонь со всех своих батарей, стремясь разрушить мост и тем остановить переправу русских резервов на помощь к атакованным. Егеря, однако, выдержали нападение и одни, без резервов, отбросили турок.

Тогда на следующий день последовало новое нападение на русскую позицию, но уже с тыла, со стороны Бугаза. Действовала черкесская конница, спустившаяся с гор, и действовала, видимо, с целью отвлечь от реки в ту сторону большую часть русского войска. Там, прикрывая лагерь, стояли черноморские казаки, на помощь к ним подоспел батальон тринадцатого егерского полка, и горцы, после жаркой схватки, были отбиты. Потери русских в этом деле были бы ничтожны, если бы человек тридцать, еще неопытных в кавказской войне егерей не зарвались в погоне за горцами, они слишком отдалились от своего батальона и на его глазах были окружены и изрублены. Трудно сказать, какую потерю понесли черкесы, но в числе убитых был их владетельный князь Сатуг-Ханаш-Ибн-Цака, известный по всей Кубани своими набегами. Он был сражен в рукопашной схватке одним из егерей, которому князь Меншиков тут же подарил сто рублей и пожаловал знак отличия военного ордена.

На этот раз черкесы были отражены удачно, но за будущее было трудно ручаться; они легко могли появиться еще в больших силах и прорваться до лагеря. И вот, чтобы избежать на будущее время подобных опасных случаев, пришлось в тылу, со стороны Бугаза, между болотом и морем протянуть линию ретраншементов, а левее ее, на возвышении, командовавшем всей окрестной местностью и недоступном для черкесов по причине болот, поставить отдельное укрепление. В то же время стало очевидным, что пока не прерваны сообщения крепости с черкесами, невозможно было рассчитывать на успех осады, и потому, несмотря на малочисленность своего отряда, Меншиков решил

образовать особую подвижную колонну, которая охраняла бы всю плоскость к югу от Бугура. Два батальона, один от тринадцатого, другой от четырнадцатого егерских полков, при четырех орудиях, перешли Бугур и расположились на равнине, укрепившись двойными редантами, способными защищаться на два фронта. Со стороны реки поставлен был, кроме того, полевой редут, вооруженный двумя орудиями. В этой позиции, готовый отражать и черкесов с гор, и турок из крепости, отряд, сверх того, имел назначение охранять осадные работы, которые велись от предмостного редута к угловому бастиону Анапы. И с этого момента все усилия и горцев, и турок направляются к тому, чтобы восстановить прерванное между ними сообщение.

Осадные работы начались 12 числа, в день нападения черкесов на тыл русской позиции. Но едва заложена была первая полупараллель, как встретились уже препятствия. Со стороны Анапы велись контрапроши, и 15 мая работы столкнулись. В траншеях стояла тогда рота четырнадцатого егерского полка. Командир ее, капитан Туркин, вызвал ночью шестьдесят охотников и бросился с ними на турок. Тщетно турки пытались защищаться, егеря вытеснили их из окопов и разрушили работы.

Теперь явилась возможность к открытию и второй полупараллели.

Осада крепости становилась все энергичнее и энергичнее. Канонирские лодки, бомбарды и другие суда черноморской флотилии, которым мелководье не мешало подходить близко к берегу, неумолчно громили приморские укрепления. Три турецкие кочермы, из числа десяти, стоявших на якоре под пушками крепости, были потоплены, три взяты на абордаж и отведены на рейд, остальные четыре уже ничего не смели предпринимать против русских крейсеров. С суши разрушения крепости также постепенно увеличивались, а блокада становилась все теснее. Войска, расположенные вне лагеря, в поле, только днем имели ружья в козлах, а ночью одна шеренга отдыхала, а другая, в беспрерывном ожидании нападения горцев, стояла в полной боевой готовности, и захватить их врасплох было нельзя. Положение Анапы принимало характер почти безнадежный, и только еще слабая надежда на помощь со стороны черкесов кое-как поддерживала дух гарнизона. Не все, конечно, пути были заняты русскими пикетами, и находились смельчаки, которые по ночам пробирались и из крепости в горы, и с гор в крепость. Путем этих опасных сношений черкесы и турки условились, наконец, между собою об одновременном нападении на русскую подвижную колонну. И вот, утром 18 мая, турецкая пехота сделала сильную вылазку, и в то же время показались горцы. Первый батальон тринадцатого полка, ближайший к крепости, стал отступать к полевому редуту, но редут уже стоял в огне: черкесы со всех сторон атаковали расположенный в нем батальон четырнадцатого полка. Ворваться в редут они, однако, не могли и были отброшены с большой потерей.

Тогда толпы их устремились к Анапе, чтобы соединиться с турецким гарнизоном, но отступавший батальон, поддержанный двумя вышедшими из редута ротами, преградил им дорогу, а две остальные роты четырнадцатого полка зашли горцам в тыл и поставили их под перекрестный огонь. Черкесы в беспорядке отхлынули назад и с ближних высот следили, чем кончится дело у турок. А турки были не в лучшем положении. Покинутые горцами, далеко отошедшие от крепости, они очутились лицом к лицу с егерями, которые стремительным ударом в штыки смяли их и обратили в бегство, а тут подоспели черноморские казаки, и преследование продолжалось до самых стен крепости. Турки потеряли при этом одно полевое орудие, “храбро защищаемое, но еще мужественнее, как доносил князь Меншиков, отбитое флигель-адъютантом графом Толстым, бросившимся на него с двадцатью казаками”. Убитые и раненые остались на поле сражения; в числе их был и предводитель горцев владетельный князь Темрюк, погибший вместе с лучшими своими узденями. Богатый панцирь его, доставшийся егерям второй роты тринадцатого

полка, как трофей отправлен был государю. Героем этого дня был граф Толстой со своими казаками, и, по приказанию Меншикова, имя его в ночь на 19 мая служило отзывом для храброго отряда. Как ни счастливо для нас было дело 18 мая, оно показало, однако, возможность прорыва черкесов в Анапу, и войска, стоявшие на левом берегу Бугура, были усилены. Боевой фронт их, обращенный лицом к горам и тылом к Анапе, протянулся через всю равнину, так что правый фланг начинался у морского берега, южнее Анапы, а левый упирался в Бугур в том месте, где на правом берегу его лежали болота. На этом пространстве войска расположились следующим образом: на правом фланге стоял первый батальон тринадцатого егерского полка в двухротных кареях, имея при каждом из них по одному орудию; в центре — две роты таманцев, а на левом фланге — батальон егерей четырнадцатого полка, также при двух легких орудиях. Предосторожность эта оказалась очень уместной. Носились слухи, что большой отряд горцев находится в сборе, и войска стояли настороже. Действительно, на рассвете, 28 мая, четыре тысячи конных черкесов внезапно появились перед русской позицией. Две роты таманского полка не выдержали натиска, черкесы врубились в каре и в беспорядке с огромной потерей отбросили его на егерей. Две роты тринадцатого полка, вторая и третья, предводимые командиром седьмой артиллерийской бригады полковником Савочкиным, капитаном Докудовским и поручиком Мусницким, остановили бешеный натиск неприятеля и помогли таманцам спасти свою пушку, но зато сами они попали под удар всей массы черкесской конницы. Завязался упорный рукопашный бой. Атака следовала за атакой, удар за ударом. Несколько раз врубались черкесы в каре и несколько раз выбрасываемы были из него штыками. Воодушевляемые своими офицерами, молодые солдаты ни на одну минуту не позволили расстроить фронт и нарушить порядок, от которого зависело спасение: рубили одних — другие смыкали ряды, и горцы повсюду встречали сплошную стену нависших штыков. Менее чем в полчаса рота Мусницкого потеряла из ста двадцати пятьдесят три человека изрубленными и, несмотря на непомерную убыль, все-таки удержалась на месте. Ни одна из ближайших частей не могла между тем подойти на помощь: остальные две роты того же батальона, занимавшие правую оконечность линии, и две роты четырнадцатого полка, по первым выстрелам подоспевшие сюда из лагеря, удерживали в это время натиск турецкого отряда, вышедшего из крепости. Но турок было много, и егеря, подавляемые превосходством сил, медленно отходили назад, оспаривая каждый шаг у неприятеля. Трудно сказать, чем бы кончился кровавый день, если бы первый батальон четырнадцатого полка, еще не принимавший участия в деле, не двинулся с левого фланга и внезапно не появился бы в тылу у черкесов. Заметив это движение, угрожавшее отрезать им отступление в горы, горцы тотчас прекратили бой и, подобрав убитых, ускакали, увезя с собой и свои орудия. Турки опять остались одни. Тогда каре полковника Савочкина и две роты таманцев, освободясь от стремительного натиска горцев и обеспеченные с тыла батальоном егерей, устремились на турок; отступавшие колонны также перешли в наступление; шестая рота четырнадцатого егерского полка сразу отбила турецкую пушку, и неприятель поспешно стал отступать. Но укрыться в Анапе удалось только тем, кто бежал шибче других и менее других думал о сопротивлении.

Дело в том, что в момент, когда неприятель повернул назад, из траншей выскочила четвертая рота четырнадцатого полка и, вместе с конными полками черноморских казаков, прискакавшими сюда с атаманом Бескровным, отрезала его от крепости. Тогда произошла страшная сцена. Часть уходившей артиллерии моментально захвачена была казаками, множество турок было изрублено, а человек семьсот из них загнаны были на высокий утес, высившийся над морской бездной, и беспощадно сброшены в море.

Кровавая схватка эта памятна одним эпизодом, который должен быть сохранен в потомстве как пример необычайного самоотвержения и привязанности к начальнику русского солдата. Когда турки прижаты были к круче, командир четвертой роты штабс-

капитан Томиловский схватился на самом краю обрыва с турецким офицером. Долго боролись они, наконец Томиловский подтолкнул своего противника к круче, но потерял равновесие, и сам увлечен был в бездну. По счастью, небольшая скала, выдававшаяся из отвесной стены берега, задержала его падение. Томиловский жестоко расшибся, но успел удержаться и повис над бездной. Между тем турецкий гарнизон, желая спасти хоть часть своих товарищей, выслал из крепости вдоль берега, прикрытого крутизной, небольшой отряд, который снизу мог обстреливать край обрыва. Турки увидели русского офицера, висевшего над бездной, открыли огонь и прострелили ему ногу. Изнемогая от раны, Томиловский уже готовился к смерти, которая казалась ему неизбежной, как вдруг услышал над своей головой шорох и шум скатывавшихся вниз камней. Двое солдат четвертой роты, несмотря на явную смерть, грозившую им при малейшей неосторожности, спускались к нему, цепляясь за выдававшиеся камни. Но вот перед ним голый утес — дальше ползти нет никакой возможности. Солдаты, осыпаемые снизу градом турецких пуль, кое-как утвердились на камне и протянули Томиловскому ружья. Раненый Томиловский не мог встать на ноги. От чрезмерного усилия поднять его один из солдат потерял равновесие и упал в пропасть. Другой, видя, что один не в силах спасти начальника, вернулся наверх, позвал другого товарища и вместе с ним вторично начал спускаться с утеса. Томиловский кричал им, чтобы они не подвергали себя почти верной смерти, приказывал им удалиться и оставить его на произвол судьбы. Но солдаты молча и настойчиво делали свое дело. Вот они уже на последнем уступе. Связав вместе несколько поясов, снятых с убитых турок, они бросили конец Томиловскому и, после долгих усилий, втащили его наверх. Рота окружила своего командира и торжественно, на руках, понесла его в лагерь. Томиловский держал в руках богатую турецкую саблю, добытую им от своего противника,— трофей, который он не бросил даже тогда, когда, израненный и истомленный, висел над страшной бездной. Рана Томиловского была смертельна, и он через несколько дней скончался. Имена героев-егерей, с таким самоотвержением спасавших командира, к сожалению, забыты.

Победа 28 мая сделала падение Анапы неизбежным. Тотчас после боя, на самом обрыве морского берега, там, где произошла кровавая катастрофа, поставлено было большое укрепление, названное, в честь черноморского атамана Алексея Даниловича Бескровного, Алексеевским, а от этого укрепления до главных осадных работ протянуты были ложементы, куда на ночь вступали роты. Крепость была совершенно окружена. А чтобы отнять у турок и последнее средство сообщаться с горцами по узкой песчаной полосе, лежавшей между подошвой береговых утесов и морем, поставили особый пост и вооружили его фальконетом. Спуститься с прибрежных высот к морю возможно было только на веревках, поэтому на пост вызывались охотники, которых спускали вниз на канатах вместе с трехдневным продовольствием и запасом патронов. По прошествии этого времени их поднимали наверх, а новых таким же порядком спускали на их место. Чтобы в случае надобности подать посту необходимую помощь, в недальнем расстоянии от него постоянно стояли в море два вооруженные катера. При таких условиях сообщения с горцами действительно затруднены были до крайности. Да горцам было и не до турок. Атаман Бескровный со своими конными и пешими полками ходил в это время в горы, предавая огню и мечу попутные аулы. Тревога распространилась по ближним и дальним ущельям, и черкесы, спасая свое имущество и семьи, покинули Анапу на произвол судьбы.

Так шли дела до 10 июня, когда осадные работы подвинулись к самому гласису и начали спускаться в ров двойной сапой. Крепость давно уже лежала в развалинах: зубцы на стенах ее были сбиты, башни опрокинуты; брешь была так велика, что по взятии крепости казаки свободно проезжали через нее верхом. Но турки еще не сдавались, и, чтобы сломить наконец их упорство, князь Меншиков решился штурмовать Анапу. 10 июня

сделаны были все нужные для этого распоряжения: штурмовые колонны назначены, в войска розданы лестницы, крюки и фашины. Еще полчаса — и колонны пошли бы на приступ, но в это время паша, сделав все, что было в его силах, вступил в переговоры. Они длились два дня, и наконец 12 июня анапский гарнизон сдался. Комендант крепости знаменитый Чатыр-Осман-оглы и все женатые турки, по условию, получили свободу и вернулись на родину.

В тот же день, 12 июня, батальон тринадцатого егерского полка прошел через брешь в город и занял крепостные бастионы. Ровно в полдень на стенах Анапы, обращенных к морю, взвился флаг начальника морского штаба — впервые со времени его учреждения. Флот салютовал ему; крепость отвечала флоту громом турецких орудий.

Падение Анапы совершилось. Энергия, выказанная при этом русскими войсками, вызывает невольное удивление, и князь Меншиков в письме к государю не находит слов, чтобы выразить похвалу егерским полкам, “которые, будучи составлены из людей молодых, впервые делавших кампанию, не уступали в хладнокровии и мужестве старым, испытанным воинам”. Но эта энергия выразилась и не в одних только чисто военных действиях. Быть может, еще большее удивление вызывает безропотное перенесение страшных трудов и лишений, с которыми сопряжена была вечно тревожная стоянка перед крепостью. Во все время осады войска бивуакировали под палящими лучами солнца, не имея ни палаток, ни одного деревца, под тенью которого можно бы было укрыться. Только один начальник отряда князь Меншиков имел у себя ставку, да невдалеке от пристани разбито было несколько больших наметов из корабельных парусов для подвижного лазарета. Вне лагеря солдаты почти половину времени стояли под ружьем, и труды их были так велики, что Меншиков вынужден был позаботиться об облегчении их одежды: тяжелые кивера, мундиры, ранцы и портупеи со штыковыми ножнами — все это сложено было в лагере, и солдаты выходили в строй в шинелях и фуражках, имея при себе только ружье да патронные сумки. А между тем, при этих тяжких условиях жизни, солдаты питались чрезвычайно плохо. В течение всей осады люди не видели свежей говядины и варили одну кашицу, иногда с солониной, а иногда пустую. Дров не было, и солдаты дрожали по ночам от холода, не имея возможности раскладывать костров. Правда, приморские горы были покрыты мелким кустарником, но его стерегли черкесы, и посылать туда за дровами людей было бы крайне рискованно. К счастью еще, вся болотистая низменность, прилегающая к лагерю, густо заросла камышом, который солдаты и употребляли для варки пищи: не будь этого камыша — не на чем было бы даже сварить себе кашицу.

В пресной воде чувствовался также большой недостаток, потому что в Бугуре вода была болотистая, а в колодцах, которые пытались рыть,— солоноватая. Вследствие всех этих условий в отряде развилась страшная цинга, и более двухсот человек пришлось отправить в Севастополь.

Несколько в лучшем положении находился флот, но зато на его долю выпала не менее тяжкая и сложная задача блокирования крепости с моря. Без его содействия невозможно было овладеть Анапой; он отрезал крепости все сообщения с морем, перехватывал неприятельские суда и в течение осады забрал более тысячи пленников. Моряки не были к тому же праздными зрителями того, что делалось на суше, и команды матросов, высаживаясь на берег, наравне с егерями работали в траншеях.

Русские потеряли в боях более двухсот семидесяти человек убитыми и ранеными, не считая офицеров, о которых в официальном журнале, веденном во время осады, сведений

не сохранилось; упоминается только, что 6 июня, во время сильного огня с турецких верков, контужен был ядром атаман Бескровный.

Ценой всех этих жертв и усилий русские взяли в Анапе четыре тысячи пленных, двадцать девять знамен и восемьдесят пять орудий. Но главный результат, конечно, заключался не в этих частных приобретениях. С окончательным покорением Анапы к России навсегда переходило господство над восточным побережьем Черного моря, и крепость уже никогда более не возвращалась Турции. Таким образом разрушилось гнездо, где постоянно зрели возмущения и созидались заговоры против русской власти. И хотя последствия показали, что с покорением Анапы еще не решался вопрос об умиротворении черкесов, набеги которых с тех пор приняли особенно кровавый характер, тем не менее устранение на них турецкого влияния, быть может, предотвратило еще большие ужасы, которые не имели бы тогда для России характера только чисто местных и внутренних смут.

Весть о покорении Анапы доставлена была государю уже за Дунаем, в лагере при Кара-Су, куда флигель-адъютант граф Толстой привез ключи и флаг покоренной крепости. Государь пожаловал Грейгу чин адмирала; Меншикову — орден св. Георгия 3-ей степени и чин вице-адмирала; Перовский и Бескровный произведены были в генералы, и последнему из них дан орден св. Георгия 4-ой степени. Всем полкам, как егерским, так и казачьим, участвовавшим в экспедиции, пожалованы были знамена с надписью “За взятие Анапы”.

Более двух недель эскадра простояла после того под Анапой. Наконец, 3 июля, десантные войска снова сели на корабли, и егерская бригада отправилась к Варне, чтобы там променять заслуженные ею знамена на знамена Георгиевские и к надписи “За взятие Анапы” прибавить еще новую надпись “За взятие Варны”. Впоследствии оба эти полка, почти в полном своем составе, поступили на формирование нового лейб-егерского полка после известной катастрофы, постигшей этот старый полк в окрестностях Варны.

Не лишнее сказать, что с судьбой Анапы тесно связаны воспоминания о двух замечательных людях, в свое время игравших крупную роль среди кавказских горцев.

В числе пленных, взятых при сдаче крепости, был некто Сефер-бей, шапсуг по рождению. В молодых летах, попав в плен к русским, он некоторое время учился в Одесском лицее, но не мог примириться с европейской жизнью и ушел в горы. Случай привел его в Царьград, и там его приняли в службу султана. Природные дарования его были замечены, а некоторое образование, полученное им в России, дало турецкому правительству мысль употребить его как агента не только для сношений с кавказскими горцами, но даже с арабами в Египте и Алжире. В Анапу Сефер-бей попал случайно, перед самой осадой, и скоро сделался душою ее обороны. Во время вторичного плена он жил в Пазарджике и был хорошо принят в доме коменданта генерал-майора Куриса, которого посещал почти ежедневно. Как о замечательной черте его характера рассказывают следующее. В Пазарджике он видимо стал тосковать и раз сказал Курису: “Меня убивает мысль, что я, находясь почти на свободе, не пользуюсь случаем бежать в соседние леса, откуда через несколько часов буду в Шумле. Долг чести требует, чтобы я попытался бежать, но я обязан вам гостеприимством и знаю, что мой побег причинит вам большую неприятность, а потому прошу вас, прикажите смотреть за мною строже. Отняв у меня возможность бежать, вы тем облегчите мою совесть”. Два года прожил Сефер-бей в Пазарджике и, по заключении мира, возвратился в Турцию.

Другой из этих людей — знаменитый своей романтической судьбой Амалат-бек, герой Кавказских гор Ермоловской эпохи. Вынужденный бежать после убийства полковника

Верховского, он, после долгих скитаний, укрылся наконец в Анапе. Но здесь ему суждено было снова встретиться с русскими. Как известно, Марлинский в своей “Кавказской были”, озаглавленной именем этого героя, рассказывает, что на одной из вылазок, 18 или 28 мая, ядром оторвало Амалат-беку руку и что будто бы он взят был в плен и умер в русской траншее. Справедливость требует, однако, сказать, что он действительно был тяжело ранен на вылазке, но горцы успели увезти его из крепости прежде, чем она сдалась. Остаток жизни он прожил среди черкесов в нищете и неизвестности и кончил ее, пораженный оспой.

Прошли многие годы. Время изгладило следы кровавой борьбы, совершившейся под Анапой, и только вечно бурливое Черное море лижет подножие старинных стен и немолчным грозным рокотом рассказывает таинственную сагу о промелькнувших перед ним временах и героях. Но, в некогда гордой мусульманской твердыни, и поныне сохранился памятник подвига, совершенного в 1828 году русскими войсками. Это — большая каменная православная церковь, обращенная из главной турецкой мечети, поврежденной во время осады русскими ядрами. Она освящена в память того знаменательного дня, когда над ниспровергнутой магометанской луною поднялся Господний крест, как знамение покоя, тишины и вечного мира.

VI. АХАЛКАЛАКИ И ХЕРТВИС

После того, как 23 июня 1828 года Карс пал перед штурмующими русскими колоннами, прошел почти месяц, прежде чем могли начаться новые военные действия. Это замедление было результатом целого ряда сложных причин, созданных частью необходимостью, а еще более случайными обстоятельствами.

Дело в том, что едва русские войска овладели турецкой твердыней, как общая радость была омрачена неотразимым бедствием, равно ужасным и в мирных хижинах, и в ратном стане: в русском лагере появилась чума.

Еще при самом начале войны уже носились слухи, что в турецкой армии незадолго перед тем свирепствовала эта страшная болезнь и что в некоторых местах Арзерумского пашалыка она еще продолжается. Обстоятельства между тем не ждали, и поход был объявлен. Впрочем, все сведения, получаемые в последнее время из Карса, носили самый успокоительный характер. И лазутчики, и пленные единогласно говорили Паскевичу, что назад тому месяцев семь в крепости действительно появилась было чума, но что болезнь скоро утихла, и с того времени ни одного человека не умерло от заразы.

Все это было совершенно справедливо, и со стороны собственно карсских жителей опасности не было. Но военные обстоятельства привлекли в город подкрепления из Арзерума, а с ними пришла и чума, которая с самого начала осады уже таилась в рядах гарнизона. И вот, когда русские войска ликовали, празднуя победу, и с гордостью смотрели на кровавые трофеи штурма и тысячи пленных турок; когда все веселило сердце русского солдата: и приветливость начальников, и изобилие провианта, и сознание собственной богатырской силы, и когда даже сама природа улыбалась ему своей красою, расстилая перед ним свежую зелень обширной равнины, орошаемой живописной речкой, вдруг, 26 июня, по лагерю пронеслась грозная весть: один из раненых турок заболел чумою. Все вздрогнуло перед этой страшной вестью, каждому ясно было, что ужасы чумной болезни не минуют русского войска. В сражениях, особенно во время штурма, неизбежны были соприкосновения с зачумленными: солдаты вступали с турками в рукопашный бой, захватывали их лошадей и, среди беспорядочной битвы, врываясь в дома, забирали покинутые вещи. Многие из них, конечно, уже с тех пор носили в себе

зародыш болезни. В видах предупреждения, тотчас объявлены были войскам карантинные правила, а пленных турок, под прикрытием батальона тридцать девятого егерского полка и двух орудий, поспешили отправить в Гумры.

Русский корпус замер в тревожном ожидании, но ждать пришлось недолго. 27 июня на одном рядовом Грузинского гренадерского полка сказались несомненные признаки чумы. Больного отвезли в карантин, а Паскевич распорядился немедленно передвинуть лагерь на другое, более удобное место, причем каждая часть была поставлена отдельно и окружена особой цепью, чтобы прекратить непосредственные сообщения полков, как между собою, так и с городом.

Строгие меры, принятые против смертоносной болезни, остановили ее ужасное действие. Тем не менее через день, через два в какой-либо части корпуса чума вспыхивала, как огонь из-под тлеющего пепла, и сжигала одного-двух человек. Заболевающий вдруг начинал чувствовать чрезмерную слабость, сопровождаемую обмороками; взгляд его становился блуждающим, беспокойным, появлялись головная боль, рвота, страшная жажда, затем наступали судороги — и смерть. У некоторых в самом начале болезни появлялись карбункулы, у других они обнаруживались только после смерти. Немногие умирали через сутки, большинство мучились от восьми до девяти дней. Над больными испробованы были все способы лечения: им пускали кровь, ставили мушки, заставляли пить сладкую ртуть, хину или настой александрийского листа с горькой солью; но если одним эти средства облегчали страдания, то других еще быстрее сводили в могилу. Вообще замечено было, что только крепкие телом и духом могли противиться болезни, большинство умирало. Бедствие не приняло, однако, слишком больших размеров, и через подвижной карантин прошло всего двести девяносто три человека.

Благодарная память современников сохранила имя начальника подвижного карантина, храброго в бою и ревностного ко всем обязанностям службы полковника Бородина, командовавшего в то время Ширванским полком. Забывая о собственной опасности, он появлялся всюду, где только видел страдание, и деятельно, безупречно вел дело помощи страждущему человечеству. И действующий корпус обязан многим этому великодушному офицеру.

А в то время, как русский лагерь боролся против неожиданного бедствия и когда трудно было думать о немедленных наступательных действиях, опасность со стороны неприятеля возрастала. Стало мало-помалу выясняться, что падению Карса турки не придавали серьезного значения, настолько важного, чтобы оно могло обнаружить слишком большое влияние на дальнейший ход военных действий, и всю вину за него слагали на Эмин-пашу, сдавшего крепость. Действительно, из бумаг, найденных у карсского коменданта, было ясно, что в Арзеруме слишком поздно узнали о движении Паскевича из Гумров, но из них же было видно, что при первом известии о близкой опасности Киос-паша, пренебрегая всеми затруднениями своего положения, без достаточного числа артиллерии и продовольствия, покинув в горах обозы и тяжести, только с четырьмя орудиями и лучшими войсками бросился к Карсу. С пути он известил Эмин-пашу, что 23 июня будут под стенами крепости и что из самых отдаленных округов арзерумского пашалыка — из Ахалцихе, Лазистана и даже из Трапезунда — идут значительные силы. Киос-паша сдержал свое обещание. Карс капитулировал в десять часов утра, а к одиннадцати турецкий корпус уже мог быть на месте битвы.

Приближаясь форсированным маршем, Киос-паша слышал постепенно усиливавшуюся пальбу, и роковое известие о падении Карса застало его всего в пяти верстах от Кичик-Кевского лагеря. Тогда Киос-паша остановился и отошел к Ардагану. Таким образом,

продержись Эмин-паша в цитадели лишний час, и русские штурмующие колонны имели бы в тылу у себя двадцатитысячный турецкий корпус.

Все эти обстоятельства бросали сильную тень на деятельность карсского коменданта; пошли разные слухи, обвинявшие его то в чрезвычайном малодушии, то прямо в измене. Слухи эти находили пищу уже в самой личности Эмина. Некогда простой мулла в селении Тегиш, он получил пашалык только вследствие протекции и больших связей, которые имел в Цареграде. Однако звание двухбунчужного паши не принесло ему ни знатности происхождения, ни военных талантов, ни образования, и Эмин по-прежнему оставался тупым и слабодушным человеком. “Звук оружия слишком сотрясал его нервы,— говорит о нем Муравьев,— и слабый Эмин вовсе не был похож на правителя области, а тем более на предводителя войск”.

И теперь сдача Карса приписывалась турками не силе русского оружия, а только обидной случайности, результату крайней неспособности Эмина. Распространился даже слух, что паша сдал цитадель, подкупленный Паскевичем, и это предположение удержалось в народе до наших дней. Конечно, это говорилось теми, кто не видал, с каким упорством, особенно в Армянском предместье, дрались турецкие солдаты, уступая каждый шаг земли только облитым своей и русской кровью, кто не хотел понять, что с того момента, как русские ворвались в крепость, в турецких войсках и в жителях должна была произойти неминуемая паника — ее вызывало все: и ожидание в городе общей резни, и измена армян, и вид пушек и штыков, железным кольцом охватывавших цитадель и грозивших разнести ее по камням прежде, чем подоспеет какая-нибудь помощь. Но падение Карса было так неожиданно быстро и так невероятно для турок, что слух о подкупе упорно держался, несмотря на то соображение, что если сам Эмин и мог соблазниться значительной суммой денег, то невероятно, чтобы эта ничтожная и малоспособная личность могла побудить к сдаче крепости и весь гарнизон ее.

Так или иначе, но значение карсского штурма в умах турок было ослаблено всеми этими обстоятельствами до последней степени; и чем больше обвинений сыпалось на голову Эмин-паши, тем большие надежды возлагались на Киоса, к которому тем временем все подходили и подходили подкрепления. Население, поставленное войной в необходимость волей или неволей служить сильнейшей стороне, приняло таким образом весть о сдаче Карса с двумя противоположными чувствами: одни, пораженные страхом, спешили покориться русским, другие дышали еще большим мщением и всеми силами готовы были помогать Киос-паше. Весть о чумной заразе, связавшей русскую армию, также должна была сыграть в этом смысле видную роль, ободряя турок. Паскевич стоял теперь среди враждебного населения, не имея даже возможности добыть достоверные сведения о намерениях неприятеля. Малочисленному и зачумленному русскому корпусу со всех сторон грозила опасность.

К счастью, Киос-паша бездействовал. Не решившись без артиллерии и боевых запасов в день карсского штурма тотчас же идти на приступ, чтобы силою вырвать у русских занятый ими город, он стоял в Ардагане, заботясь исключительно о прикрытии этого важного пункта, в том предположении, что русские пойдут на Ахалцихе. Между тем Паскевич, со своей стороны, тотчас после взятия Карса, отрядил генерал-майора Муравьева с четырьмя батальонами гренадерской бригады, частью казаков и десятью орудиями, чтобы собрать точные сведения о местопребывании турецкой армии. Но едва этот отряд вышел из лагеря, как Киос-паша получил известие о мнимом движении всего русского корпуса к югу, на Арзерум, стоявший теперь совершенно открытым, и в тот же день быстро ушел назад, за Саганлугские горы. Движение это было так спешно, что турецкая пехота сделала в один переход более шестидесяти верст и остановилась только у

Гассан-Кале, верстах в тридцати от столицы. Легкие кавалерийские партии, высланные Муравьевым к Ардагану, нигде не встретили неприятеля. И в то время, как Муравьев, вернувшийся с рекогносцировки 1 июня, нашел весь русский лагерь окруженным карантинной цепью, неприятель уже был далеко, в противоположной стороне от Ахалцихе.

Эти ошибки и бездействие турецкого военачальника дали русскому корпусу возможность оправиться. Чума затихла, и Паскевич приказал готовиться к новому походу. О наступлении на Арзерум, однако, нечего было и думать. Нужно было прежде всего озаботится защитой Карса, а потому три полка: Крымский пехотный, тридцать девятый и сороковой егерские, с двумя казачьими полками и двенадцатью орудиями, под начальством генерал-майора Берхмана, оставались в его гарнизоне. А за их отделением в действующем корпусе насчитывалось всего девять батальонов пехоты, шесть конных полков и сорок восемь орудий — силы слишком ничтожные не только для похода на Арзерум, но и для стоящего на очереди завоевания Ахалцихе, с покорением которого сопряжено было главным образом спокойствие Грузии. Паскевич потребовал, чтобы все мелкие резервы, какие только можно было взять без крайнего ослабления пограничной защиты, направились бы к нему частью через Кулали, а частью через Караван-Сарайский перевал, рассчитывая встретиться с ними уже в Ахалцихской области.

От Карса на Ахалцихе лежали две дороги: одна через Ардаган, другая через Ахалкалаки. Чтобы держаться ближе к русской границе и сблизиться со своими резервами, Паскевич предпочел последний путь. К тому же дорога, ведущая к Ахалкалакам, прикрыта слева Чалдырским озером, и малочисленный русский корпус мог свободно следовать по ней, не подвергаясь фланговым нападениям. Самое покорение Ахалкалаков доставляло уже большие выгоды по его стратегическому положению, так как крепость стоит яа соединении двух дорог, идущих из Грузии к Ахалциху.

Чтобы скрыть от неприятеля свои намерения, Паскевич подвинул 12 июля весь действующий корпус на один переход по Арзерумской дороге и стал у селения Текме. К вечеру передовые пикеты его открыли конные неприятельские партии, которые поспешно скрылись. Это были разъезды Киос Магомет-паши, перешедшего опять в наступление. Однако весть о появлении русских до того смутила турецкого главнокомандующего, что войска его быстро отступили опять к Арзеруму.

Паскевич также возвратился назад, оставив на позиции только заслон из войск карсского гарнизона.

Вернувшись из Текме, войска не застали уже своего вагенбурга, который, под прикрытием батальона пехоты, еще накануне выступил по дороге к Ахалкалакам. Вслед за ним, 17 числа, двинулся туда же и весь действующий корпус. Перед выступлением к Паскевичу явилась депутация от Карса и в задушевных словах выразила главнокомандующему благодарность за мирное обращение с жителями, депутаты ручались, что и во время отсутствия войск тишина и порядок в крае не будут нарушены.

Корпус ночевал при Займе и на следующий день, миновав несколько опустевших селений, догнал свой вагенбург у деревни Кюмбет. Крутой спуск к реке Каны-чай задержал здесь обозы на целые сутки, и, чтобы дать им время стянуться, войскам пришлось 19 числа сделать дневку. За Каны-Чаем начинаются первые высоты Чалдырского хребта, и войска разбили свой лагерь в прекрасной глубокой долине, на берегу обширного Чалдырского озера. Озеро это, имеющее длину семнадцать, а в ширину четырнадцать верст, очаровывает взгляд своей красотой. На островах и по берегам его прежде существовали,

как говорят предания, многочисленные христианские обители, но ныне не только монастырей, но даже и самих островов уже не видно на поверхности озера. Только народные легенды, да одна сохранившаяся на северной стороне развалина свидетельствуют о бывшем здесь когда-то населении. Самое название Чалдыр значит “Бескровный” и дано озеру потому, что никто не помнил на нем какого-нибудь несчастного случая. “Необыкновенное изобилие рыбы, студеная вода от множества родников, расположившихся по дну озера, отличная высокая трава и красота местоположения,— говорит очевидец, участник похода,— представляли роскошь, редко встречаемую в трудных азиатских походах”.

Здесь случилось одно обстоятельство, не имевшее прямого отношения к военным действиям, но произведшее в отряде на всех глубокое впечатление, как живое свидетельство пекущегося о людях Божьего промысла. Когда в русском лагере уже все затихло, и только оклики часовых нарушали безмолвие ночи, на аванпосты явились два казака, бежавшие из турецкого плена. Их тотчас доставили в ставку Паскевича, и они рассказали о своих похождениях следующее.

Еще в самом начале войны несколько донских казаков посланы были с бумагами из Эривани в Гумры и на Абарани наткнулись на шайку блуждавших карапапахов. Часть донцов была перебита, а эти двое взяты в плен и проданы в Карсе за четыре рубля какому-то аджарскому беку. Бек увез их с собою в такую далекую и глухую сторону, которой даже названия казаки не могли припомнить. Жилось им в плену не особенно дурно, но казаки только гадали и думали, как бы вернуться к своим. И вот, как только грозная весть о падении Карса облетела край и заглянула в их отдаленный угол, они решились бежать. В ту же ночь выкрали они из конюшни бека двух лучших его жеребцов и пустились скакать наудачу, не зная даже, в каком направлении Карс и куда приведет их дорога. Днем, опасаясь встреч, они укрывались в пещерах, а ночью ехали, придерживаясь скалистого берега Куры, и часто по таким местам, где жители даже днем едва отыскивают тропы. Три дня казаки ничего не ели, на четвертый, совершенно истощенные голодом и потерявшие всякую надежду на спасение, они случайно вышли к Чалдырскому озеру и, пробираясь по его берегам, услышали оклик русского пикета. Провидение указало им путь и само привело их к русскому стану. Паскевич приказал дать казакам лошадей, оружие и щедро одарил их деньгами.

С рассветом 20 числа корпус двинулся дальше. Дорога, то поднимавшаяся на крутые, почти отвесные утесы Чалдырского хребта, то сбегавшая вниз в глубокие пропасти, становилась час от часу труднее. Колесного пути не было вовсе, обозы приходилось тащить на руках и назначить к ним в помощь посменно целые батальоны. В некоторых местах, чтобы расширить дорогу только на одну повозку, приходилось рвать порохом огромные каменные скалы; в других встречались болота, пересекаемые множеством источников, и приходилось устраивать перекидные мосты, а для этого саперам нужно было тащить с собою громадные бревна и доски. Остановки являлись почти на каждом шагу. Тем не менее войска хотя медленно, но упорно подвигались вперед и 21 июля ночевали уже на вершине Гек-Дага, высочайшем отроге Чалдырских гор. Здесь еще царила зима. Вечерняя роса, падавшая на землю, к утру замерзала, и войска в июле ночевали в обледенелых палатках.

Густой туман все время покрывал вершины безлесных гор и своими волнами, клубившимися по каменистым скатам, скрывал от глаз даже ближайшие окрестности.

Костров развести было нечем, и солдаты, кутаясь в свои истертые шинели, дрожали от холода.

Наконец прошла эта тяжелая ночь. Взошедшее солнце рассеяло туман, и с вершин Гек-Дага перед войсками, в туманной дали обширной равнины, забелели стены Ахалкалакской крепости. Это были те самые Ахалкалаки, с которыми у каждого, служившего в то время на Кавказе, соединялось так много боевых воспоминаний. Невольно восставали картины минувших дней: и страшный штурм Гудовича, бесплодно положившего на этих серых стенах большую часть своего храброго корпуса, и блистательный разгром турецких и персидских полчищ, три года спустя, отважным Лисаневичем, товарищем и другом Котляревского, и взятие Ахалкалаков самим Котляревским с одним Грузинским полком, Георгиевские знамена которого, живые памятники славного боя, гордо развевались теперь, по прошествии семнадцати лет, опять перед теми же самыми стенами.

Спустившись с гор, отряд ночевал в этот день в селении Гендары. Неприятель до сих пор нигде не показывался, но перед вечером конная партия, человек в четыреста, проскакала мимо отряда по окрестным высотами — это были карапапахи окрестных селений, оставшиеся здесь, чтобы наблюдать за русским корпусом. Казаки, склонив наперевес свои пики, пустились было их преследовать, но горные, привычные кони карапапахов быстро унесли их из виду и казаки вернулись с пустыми руками.

Ночь прошла спокойно. 23 июля, пока переправлялись через небольшую речку Гендер-Су, Паскевич с частью авангарда лично произвел рекогносцировку крепости. На обширной равнине, у подошвы Чалдырских гор, там, где слияние двух рек — Топорвань-Чай и Гендар-Су — образует острый мыс, доступный только с юга, стоят Ахалкалаки. Некогда окруженные предместьями, а потому многолюдные, Ахалкалаки, во времена Паскевича, представляли только груды развалин, едва вмещавшие в стенах своих одну мечеть и до сорока бедных ничтожных саклей. Самая крепость была окружена высокой каменной стеной с бойницами и башнями, но не имела рвов, которые заменялись с двух сторон гигантскими утесами обеих речек. Трое ворот вели из крепости на север, запад и юг; они имели фланговую оборону, были окованы железом и завалены с обеих сторон большими каменьями. Выхода из крепости не было никакого. Внутри Ахалкалаков, в юго-восточной части их, возвышалась цитадель с обороной в два яруса, а вне крепости, в самом углу, где сливались речки, были видны следы большого форштадта. Говорят, что именно это-то предместье и было уничтожено Гудовичем, который заплатил за то ахалкалакскому гарнизону двумя полевыми пушками и жизнью тысячи двухсот солдат. Это обстоятельство служило до позднейших времен предметом достославных воспоминаний и гордости для каждого местного жителя. В то время, когда подошел Паскевич, на месте этого богатого форштадта лежал обширный пустырь, и только развалины христианской церкви, да минарет — немые свидетели совместной жизни двух иноверных народов — одни указывали на кипевшую здесь некогда жизнь.

Самая крепость представляла вид такого запустения, что, казалось, неприятель давно ее покинул. Более часа русские конные патрули разъезжали под стенами, ближе чем на ружейный выстрел, и гарнизон ничем не обнаруживал своего присутствия. Но едва показались русские колонны, как в углу одного из бастионов вдруг развернулось турецкое знамя, и пестрые значки, как по сигналу, сразу заколыхались на крепостном валу, а между зубцами стен, возле орудий, стали показываться люди. Но эти люди, бесстрастно смотревшие на подходившие к ним войска, скорее были похожи на мирных жителей, чем на воинов, бесповоротно обрекших себя на защиту и гибель. Такое впечатление произвел на всех наружный вид Ахалкалаков. Чиновник дипломатической части Сахно-Устимович м майор Беренс, по приказанию Паскевича, отправились к коменданту крепости с требованием сдачи. В крепость их, однако, не впустили, а четверо вооруженных турок явились на стене и повели переговоры. Через несколько минут посланные вернулись назад и, к удивлению всех, передали Паскевичу следующий гордый ответ гарнизона.

“Мы не эриванские и не карсские жители — мы ахалкалакцы; с нами нет ни жен, ни имущества, мы умрем на стенах, но не сдадим крепости. Исстари ведется пословица, что один карсский бьет трех эриванских, а двое карсских не стоят одного ахалкалакца”.

Еще ранее был слух, что в Ахалкалаках засела тысяча отчаянных турок, которые не выйдут из-за стен в открытое поле, а станут драться только на штурме, и драться насмерть. Этот слух теперь подтвердился. Паскевич, не желая рисковать потерями, решил покорить крепость не штурмом, а правильной осадой и бомбардированием.

Выгоднейшим пунктом для постановки батарей, бесспорно, был левый берег Гендар-Су, господствовавший над крепостью. Отсюда штурмовал Гудович, и здесь же, в трех с половиной верстах от города, расположился теперь и корпус графа Паскевича.

Как только наступила ночь, колонна, под начальством генерала Королькова, тихо приблизилась к крепости. Батальон сорок второго егерского полка и рота пионер немедленно приступили к заложению осадной батареи. Другой батальон того же полка, с двумя легкими орудиями, составил прикрытие. На случай вылазки отряжены были на правый берег Гендар-Су дивизион Нижегородского драгунского полка, сотня линейных казаков и два орудия. Другой дивизион драгун, также с двумя орудиями, поставлен был в двух верстах от лагеря, на дороге, ведущей в Ардаган из ближних деревень, откуда могли показаться неприятельские партии.

Как ни тихо производились работы, но движение, гул голосов и стук артиллерии возбудили внимание турок. Гарнизон открыл ружейный огонь. Ему не отвечали, и пальба скоро затихла. Генералы князь Вадбольский барон Остен-Сакен, Гилленшмит и полковник Бурцев, опять назначенный траншей-майором, всю ночь оставались на работах. В четыре часа утра две батареи, наскоро сложенные из мешков, насыпанных землею, были окончены. На одной из них, в ста семидесяти саженях от крепости, установили две двухпудовые мортиры, восемь батарейных и два легких орудия. В нескольких саженях впереди нее стала другая батарея на шесть кегорновых мортирок, под командой одного из лучших артиллерийских офицеров подпоручика Крупенникова. А на крепостной стене все еще горели огни, и все еще осажденные стояли под ружьем, ожидая нечаянного приступа.

С появлением зари, когда по обычаю мусульман раздался с минарета утренний возглас муллы, в крепости началось всеобщее пение, продолжавшееся более часа. Турки, твердые в своем намерении умереть с оружием в руках, с вечера надели белые рубахи, как обреченные на гибель, и теперь спешили приготовиться молитвой к решительному часу. Их не тревожили. “Картина молитвы,— говорит один очевидец,— столь умилительная на поле битвы, совершалась перед нашими глазами, и усердные напевы Корана весьма явственно были слышны на батарее”. Как только замолкло пение, из цитадели сверкнул пушечный огонь, загремел выстрел, и первое турецкое ядро врылось в парапет батареи; второй выстрел — и неприятельская бомба, ударившись в пороховой погреб, пробила его крышу. Страшная катастрофа грозила батарее полным разрушением. Все затаили дыхание, но в этот момент два фейерверкера первой батарейной роты двадцатой артиллерийской бригады бросились внутрь погреба и выбросили бомбу прежде, чем она успела разорваться. Тогда восемнадцать русских орудий открыли в ответ жестокий огонь по крепости, и через полчаса неприятельская артиллерия уже замолчала, зубцы почти со всех башен были сбиты, цитадель повреждена, стены во многих местах обрушились. Осажденные, не находя возможным держаться на валу, укрылись в казематах, и на стене осталось только несколько человек, которые отчаянно махали руками и делали знаки, как бы желая вступить в переговоры. Огонь прекратился. Сотник сборного линейного казачьего полка Обухов подъехал к воротам с несколькими казаками. Вдруг со стены

грохнул предательский залп, и Обухов пал, смертельно пораженный несколькими пулями. Казаки отскочили назад, едва успев подхватить тело своего офицера. Снова разгорелась канонада. Четыре батарейные орудия, вызванные из резерва, переправились на правый берег Гендар-Су и развернулись против цитадели, два легкие орудия, продвинутые еще вперед, под прикрытием батальона ширванцев, стали бить по крепостным воротам. Нет никакого сомнения, что храбрые ахалкалакские турки сумели бы умереть на штурме, но выдержать адского огня артиллерии они не могли, очевидно, они совсем не ожидали подобного образа действий и только напрасно запаслись множеством истребительных средств, готовых обрушиться на головы русских *я* минуту, когда солдаты полезут на стены. Один очевидец рассказывает, что наверху, между зубцами стен, вмазаны были особые остроконечные камни, и к ним на ремнях привешены громадные бревна, перекинутые наружу, так что стоило только перерезать ремни — и эти бревна раздавили бы штурмующих. Но все эти средства — и толстые бревна, и огромные камни, и котлы с кипящей водой — оказались теперь бесполезными. Надежда ахалкалакцев, что если они и уступят победу, то обольют стены своей старой крепости русской кровью, что каждый из них продаст свою жизнь дорогой ценою, исчезла. Десятками ложились осажденные под тучей русских снарядов, не имея и того утешения, чтобы видеть смерть свою отомщенной смертью хоть одного гяура: крепостные пушки их молчали, ружейные пули не досягали русских. И дух защитников поколебался.

Заметив смятение, все более и более усиливавшееся в крепости, командир Ширванского полка полковник Бородин послал еще раз потребовать сдачи. Еще раз русские батареи прекратили огонь. Но в ту минуту, когда покорность турок казалась уже близкой, на площади появился Фархад-бек, начальник гарнизона, и напомнил защитникам клятву умереть с оружием в руках. Общий крик и ружейный залп, направленный в сторону русских, послужил ему единодушным ответом. Но это был уже последний порыв, последний подъем нравственного духа. Едва опять открыли огонь, и новая туча свинца и чугуна осыпала город, как часть гарнизона бросилась бежать, спускаясь с высоких стен по веревкам в лощину реки Топорвани. Ширванский батальон, быстро обогнув крепость, тотчас вошел в ту же долину: две роты бросились преследовать бежавших, а остальные готовились идти на приступ. Рассказывают, что в тот момент, когда солдаты, не имевшие штурмовых лестниц, приостановились, осматриваясь, как бы взобраться на стены, один барабанщик первый увидел висевшие веревки, которые в суматохе турки не успели убрать за собою; по этим веревкам он вскарабкался на стену и там ударил тревогу. Его моментально убили, но путь уже был проложен. Барон Остен-Сакен, полковник Бородин и за ними две роты ширванцев, подсаживая друг друга, по тем же веревкам быстро взобрались на стены. И едва знамя Ширванского полка развернулось по валу, остаток гарнизона, запершийся в цитадели, сложил оружие. Коменданта крепости, Фархад-бека, уже там не было: он бежал вместе с другими; в плен сдался областной ахалкалакский начальник Мута-бек, шестнадцать офицеров, десять байрактаров [Знаменщиков.] и до трехсот нижних чинов. Трофеями русских в крепости были четырнадцать орудий и тринадцать знамен, из которых шесть были отбиты ширванцами, а семь сданы гарнизоном вместе с оружием.

Из бежавших защитников Ахалкалаков почти никто не спасся. Одни из них долго защищались против пехоты в тесном ущелье реки, среди разбросанных камней, и, потеряв четыре знамени, были истреблены ширванцами. Другие, успевшие перебраться далее, были настигнуты Нижегородским дивизионом, Донским полком и линейными казаками в глубоких теснинах реки Ахалкалаки. Здесь был убит сам Фархад-бек, отнято еще четыре знамени и изрублено до четырехсот турок. Пленных не было. Так жестоко мстили линейцы за вероломное убийство их офицера.

С русской стороны, кроме убитого сотника Обухова, ранен инженер путей сообщения поручик Мельников и выбыло из строя тринадцать нижних чинов.

Едва крепость была взята, как со стороны Ардагана показалась неприятельская конница. Потом узнали, что она была послана Киос-пашой для усиления полутора тысяч лазов, назначенных в ахалкалакский гарнизон и уже приближавшихся к крепости. Против нее немедленно выслана была часть кавалерии, но турки, заметив, что крепость уже пала, поспешно отступили в горы.

Вообще, нельзя не сказать, что сераскир безрасчетно пожертвовал ахалкалакским гарнизоном. Гораздо полезнее бы было взорвать старую крепость, а тысячу храбрых защитников перевести в Ахалцихе, столь важный для турок во всех отношениях.

С военной точки зрения, взятие Ахалкалаков являет некоторые обстоятельства, достойные особого внимания. Можно отдавать справедливость мужественной решимости ахалкалакского гарнизона, но не следует, как это делают многие, преувеличивать значение подвига и выставлять его образцом героизма. Не надо забывать, что это были люди, выросшие среди опасностей, жившие разбоями и приученные годами считать Ахалкалаки своим родным гнездом. Защищать их, следовательно, им было естественно. Но от слова до дела далеко, и в последнюю минуту им все-таки не достало решимости умереть под развалинами этого родного гнезда. Одни из них искали спасения в бегстве, другие сложили оружие. Настоящими героями этого дня, напротив, были те две ширванские роты, которые, не задумываясь о том, что ждет их впереди, смело ворвались в крепость. В обеих ротах не было более двухсот-двухсот пятидесяти штыков, а на какую-нибудь помощь извне им рассчитывать уже было нечего. Ближайшие резервы находились от них в двух-трех верстах, да если бы они и подоспели скоро, то пока солдаты нашли бы средства взобраться без помощи лестниц на стены, ширванцы сто раз могли бы погибнуть все до последнего человека. Вступая в крепость, никто не знал, в каких именно силах найдут неприятеля, но все знали, что этот неприятель поклялся умереть с оружием в руках, и потому все рассчитывали не на безмолвную сдачу, а на упорный и кровавый бой. И если бы даже те триста турок, которые положили оружие, пошли бы в кинжалы и шашки, Ахалкалаки, конечно, все-таки были бы взяты, но не многим ширванцам пришлось бы вместе с другими торжествовать победу. Надо было много решимости, холодного героизма, уверенности в самих себе, чтобы отважиться на такое рискованное дело. Так именно и взглянул на него император Николай Павлович, сумевший увидеть в этом порыве проявление высшей военной доблести. Полковнику Бородину пожалован был орден св. Георгия 3-ей степени [Награда эта не застала Бородина в живых — 15 августа он был убит на штурм Ахалцихе.]; Сакену — алмазные знаки ордена св. Анны 1-ой степени; Паскевич назначен шефом Ширванского пехотного полка. “Я назначаю вас, — говорилось в рескрипте на имя, Паскевича, — шефом Ширванского полка, который более всех ознаменовал себя под вашим начальством”. В то же время государь писал из-под Варны барону Дибичу: “Наш храбрый Паскевич опять одержал блестящие успехи: Ахалкалаки взяты штурмом одним батальоном Ширванского полка... Я дал Ширванский полк Паскевичу — они достойны друг друга”.

Покорение Ахалкалаков, успокоив пограничную часть Самхетии, вместе с тем открывало русскому корпусу путь и в Ахалцихе. На полдороге туда стояла еще крепость, важная по тому положению, которое она занимала в пункте, где сходятся дороги из Ахалкалаков, Ахалцихе и Ардагана. Эта крепость — Хертвис. Покорение ее было необходимо уже для того, чтобы хлебородный Ахалкалакский санджак открыл изобильные средства для продовольствия русского войска.

От Ахалкалаков до Хертвиса всего двадцать пять верст. Собраны были о нем подробные сведения. Крепость стояла на правом берегу речки Ахалкалак-Чай, при самом впадении ее в Куру, там, где эта река, рассекая высокую горную отрасль Цихеджваре, образует глубокое ущелье. Скалистые берега обеих рек возвышаются здесь саженей на двести и делают приближение к Хертвису возможным не иначе, как только налегке, без обозов. Дорога, входя в ущелье, на протяжении двух верст находится под выстрелами цитадели, а эти две версты нужно проходить растянувшись в нитку и разрабатывая дорогу для артиллерии взрывами огромных камней. Существовали и другие пути, но те были еще хуже и годились только для вьюков.

Крепость не играла значительной роли в качестве крепкого опорного пункта; ее стены не превышали одной или полутора саженей, а башни были неудобны для помещения в них артиллерии; но зато цитадель, стоявшая на громадной скале, была неприступна.

Двухсотенный гарнизон мог обороняться в ней долго и упорно. В самой крепости помешались только мечеть, казармы, да двадцать-тридцать жалких строений. Все остальное население жило в форштадтах, примыкавших к крепостной стене с севера и юга; здесь было от восьмидесяти до ста домов, мечеть, синагога и обширные сады, славившиеся во всем Ахалцихском пашалыке, каждый дом и каждый забор были снабжены бойницами. Несмотря на эту наружность, поражавшую своей боевой обстановкой, местное население было, однако, мало воинственно; оно состояло из турок, грузин, армян, евреев, и, может быть, именно вследствие такого смешения вер и народностей, самые турки не отличались здесь тем непримиримым фанатизмом, как, например, в Ахалцихе.

И крепость действительно не оказала никакого сопротивления.

На третий день после взятия Ахалкалаков, утром 26 июля, значительный русский отряд двинулся для покорения Хертвиса. В этом отряде была гренадерская бригада, сводный кавалерийский полк (два эскадрона драгун и два улан), полк казаков, двадцать орудий и двести человек татарской конницы, только еще накануне прибывшей в состав действующего корпуса. Начальство над отрядом Паскевич поручил начальнику штаба генерал-майору барону Остен-Сакену.

Пройдя от Ахалкалаков верст десять, пехота сделала привал. Кавалерия, налегке, с одними казачьими орудиями, пошла вперед, гоня перед собою конные неприятельские разъезды. Скоро показался и Хертвис, весь окруженный густой зеленью своих садов. Кавалерия остановилась. С ближайших возвышений ей было видно, какие замешательство и суматоха происходили в форштадтах. Еще накануне, в ночь на 25 июня, жители приведены были в ужас рассказами тех немногих беглецов, которые успели спастись из Ахалкалаков, и теперь, при внезапном появлении русского войска, они, не полагаясь уже на неприступность своей цитадели, толпами бросились спасаться в горы. Полковник Раевский с татарской конницей пустился наперерез бегущим. Татары в погоне рассыпались, а Раевский, пробираясь в извилистом ущелье, по едва заметным тропам, с конвоем из двадцати татар, внезапно на одном повороте очутился под самыми стенами Хертвиса. Не раздумывая долго, он поднял белый платок и послал к коменданту требовать сдачи. Ворота крепости растворились, и Раевский занял цитадель со своими двадцатью татарами. Хертвис сдался без выстрела, тринадцать пушек и одна мортира поступили в число русских трофеев.

Занятие Хертвиса представляло для судьбы дальнейшей войны две важные выгоды. Во-первых, оно пересекало прямое сообщение по долине Куры между Ахалцихе и

Ардаганом, и потому все турецкие подкрепления, направляемые с той стороны, должны были или проходить под самыми выстрелами крепости, или следовать окружными, весьма неудобными путями, по глубоким поперечным оврагам. А во-вторых, все жители населенной и обработанной долины Куры, загнанные страхом войны в далекие ущелья, теперь стали возвращаться в свои дома, приступили к уборке хлеба и стали доставлять его в русский лагерь. Таким образом в Хертвисе, под охраной небольшого гарнизона, явилась возможность устроить значительные склады продовольствия.

В то время, как Раевский овладел Хертвисом, русский лагерь все еще стоял под Ахалкалаками, куда стали теперь подходить резервы из Грузии. Прибыли две роты херсонских гренадер, взятые из Цалки, пришли из Манглиса и Гумров батальон эриванцев и две роты Козловского полка, а из Башкичета — сводный батальон сорок первого егерского полка с двумя легкими орудиями двадцать первой артиллерийской бригады, еще ранее их явились двести пятьдесят донских казаков и двести всадников-татар из Борчалинской дистанции. Действующий корпус увеличился на две тысячи триста штыков.

Новые успехи русского оружия были отпразднованы 30 июля благодарственным молебствием. Перед войсками прочитан был приказ главнокомандующего, заканчивавшийся словами: “Еще несколько дней — и мы явимся под стенами Ахалцихе, одной из важнейших крепостей азиатской Турции. Да поможет нам Бог!”

Осада Ахалцихе, к которой готовился Паскевич, являлась предприятием отважным, так как все доходившие сведения удостоверяли в том, что русский корпус встретит там продолжительные труды и битвы. Сам Паскевич доносил государю, что Ахалцихе готовится к упорной защите, что более десяти тысяч человек уже собраны в крепость и ожидают туда же прибытия самого арзерумского сераскира с сорокатысячной армией. Но ни сомнений, ни колебаний не было в русском корпусе, и войска, с верой в помощь Божью, готовились и к трудам и к битвам.

На горизонте Ахалцихе собирались грозные военные тучи.

VII. НАСТУПЛЕНИЕ К АХАЛЦИХЕ

К концу июля 1828 года перед действующим корпусом выдвигалась обстоятельствами трудная задача, от решения которой зависела вся дальнейшая судьба войны. Позади был уже ряд совершенных подвигов: перед мужеством войск склонился неприступный Карс, пали Ахалкалаки сдался Хертвис; но впереди лежало неизвестное будущее,— там, вдали, грозный Ахалц, исконное гнездо разбойничьего племени, как древний сфинкс, загадочно обращал свое воинственное лицо, требуя немедленной разгадки предложенной им задачи или грозя истреблением.

Как ни испытанно было мужество кавказских войск, как ни был поднят дух их предшествовавшими славными делами, но покорение Ахалцихе едва ли не превышало силы малочисленного восьмитысячного русского корпуса, по крайней мере оно обещало ему чрезмерные трудности. Вечная угроза Грузии, Ахалцихе по-турецки Ахизка, то есть “сильная крепость”, сам по себе был почти неприступен. Он стоял на высоком утесистом берегу Ахалцихе-Чая, окруженный страной, носившей на себе печать вековой борьбы и доказательства мощи того смешанного племени, которое образовалось и смогло в ней укрепиться. Пашалык, имевший до ста сорока тысяч жителей, вмещал в себе двадцать четыре санджака — в пять раз более, чем пашалык Карсский. На всем протяжении его, повсюду были следы существования здесь гораздо значительнейшего христианского населения, которое должно было сойти со сцены жизни и уступить ее в этом крае более

сильным: развалины замков чередуются там с разрушенными деревнями и опустелыми полями, заросшими дикой растительностью.

История гласит, что руины башен, остатки христианских церквей и владельческих замков — памятники тесной связи судеб этого маленького края со злой судьбой иверийского народа. Поныне весь пашалык наполнен именем Тамар-Депотали — царицы Тамары. О ней говорят воображению народа и башни, с давних времен грозно сторожившие с вершин недоступных утесов спокойный сон и безопасность жителей, и обширные тенистые сады в живописном Маргастанском ущелье, недалеко от Ахалкалаков, где были некогда увеселительные дворцы и зверинцы Тамары, и наконец Вардзия, этот поэтический замок легендарной царицы. Самый Ахалцихе, некогда столица Верхней Картли, назывался городом князей, и в нем жили наместники, именовавшиеся тогда атабегами. В развалинах Сафарского монастыря, лежащих в мрачном, уединенном ущелье, в семи или восьми верстах от Ахалцихе любопытный путешественник найдет и теперь многочисленные следы прежнего величия и жизни этих властителей. Каменная ограда, защищавшая когда-то святую обитель, давно развалилась, но за нею и поныне видны остатки дворца атабегов и целый ряд надгробных часовен, служивших им усыпальницами.

Когда Иверия, истощив свои последние силы в борьбе с могучими соседями, стала клониться к упадку, Ахалцихская область от нее отложилась, и атабеги провозгласили себя независимыми. Вынужденные этим на борьбу с грузинскими царями, они обратились за помощью к лезгинам, и тогда-то впервые появляются здесь ополчения кавказских горцев. Многие из этих горцев, прельстясь роскошной природой страны, в которую попали случайно, скоро забыли мрачные вершины своего Кавказа и основались в новой земле, где им не возбранялись даже привычные для них набеги на соседние области. Слух о привольной жизни, богатстве и праздности беспечных жителей Ахалцихе стал привлекать сюда удальцов со всего Кавказа, и они-то не только упрочили независимость области, но и развили в природных жителях воинственные свойства, которые скоро сделали имя Ахалцихе известным всей Малой Азии.

Между тем настала эпоха тюркских нашествий. Раздираемая междоусобиями своих феодалов, Грузия не могла оказать противодействия нахлынувшим на нее толпам фанатичных пришельцев, и в конце XVI века турки овладевают Ахалцихской областью. Атабеги еще удерживают власть, но уже с титулом турецких пашей, да и это достоинство покупают ценою измены своей вере и народности. Недолго, однако, пришлось ренегатам управлять страною даже и в этой условной форме. В тридцатых годах семнадцатого столетия, во время кровавой персидско-турецкой войны, персияне овладевают Ахалцихе, турки берут его обратно после двадцатитрехдневной тяжкой осады, и с тех пор турецкий вождь Гассан с потомством своим наследует от грузинских атабегов титул паши ахалцихского. Последняя тень грузинской самостоятельности в этом цветущем и богатом крае пала навеки, и владычество турок прочно утверждается над всей Верхней Картли. Турецкие паши, распространители ислама, стремятся прежде всего обратить в свою веру представителей грузинского дворянства. Последнее не оказалось на высоте своей политической задачи и склонилось перед волею турок. Ради получения пустых знаков внешних отличий, ради корысти и личного благополучия представители древних грузинских дворянских родов оставляли веру своих предков и преклоняли колени перед Кораном.

Совращенный с истинного пути примером своего дворянства, простой народ скоро забыл православные церкви и могилы отцов, покоившихся под сенью христианских храмов. Духовные пастыри, видя вокруг малодушное отречение, обрекали себя на вечное затворничество, удаляясь в пещеры, или безбоязненно отдавали себя в руки изуверов на

страшные истязания и смерть. Христианские храмы запустели в вековом безмолвии без пастырей и паствы и обратились в развалины, и лишь величавые остатки их поныне безмолвно, но красноречиво говорят о горькой судьбе обитавшего здесь христианского народа. В Ахалцихской области водворились турецкие порядки; магометанство окончательно вытеснило собою христианскую веру, и память о былом осталась лишь в имени народа, который, будучи мусульманским по вере, называет себя гурджи, да в сохранившихся в чистоте до нашего времени грузинских названиях деревень и местностей.

Эта эпоха борьбы, смут и всеобщего разрушения не могла не отозваться и на составе населения страны. Значительная часть коренных жителей пала под ударами мечей, другая из политических видов была выселена внутрь турецкой империи, и их место заняли инородцы-магометане. И в двадцатых годах нынешнего столетия население Ахалцихского пашалыка состояло из грузин, армян, по преимуществу католиков, аджарцев, лазов, карапапахов, курдов и туркменов.

Аджарцы — это те же грузины. Но так как они жили в лесистой и горной стране, то долее других отстаивали свою независимость и более других сохранили у себя стародавние грузинские обычаи. В горных же санджаках, посреди едва проходимых ущелий, обитали лазы, один из древнейших азиатских народов, сохранивший все боевые доблести предков, памятных в истории больших переворотов в Малой Азии. Живя войной и грабежами, лазы чужды того покоя и неги, которым отдаются с такой безмерной страстью обитатели восточных долин; они, напротив, ищут опасностей, не страшатся смерти и готовят себя к ней всей своей полудикой и суровой жизнью. В рядах турецких войск они составляют лучшую пехоту, и в этом смысле получили известность во всей Малой Азии, отличаясь меткой стрельбой и умением держаться в горах, на пересеченной местности. Как лазы были замечательны способностью к пешему бою, так карапапахи, курды и туркмены представляли отличную легкую конницу. Что же касается потомков тех горных выходцев, которые были известны под общим именем лезгин, то они населяли преимущественно самый Ахалцихе и его окрестности.

По системе, принятой турецким правительством, мусульмане ахалцихской провинции освобождались от всех податей, но зато были обязаны иметь исправное вооружение и по первому требованию являться в поле. Христиане и евреи не участвовали в этих народных ополчениях; они отбывали подать за всех, и, сверх того, платили по червонцу с души на содержание войска. Таким образом, Ахалцихский пашалык резко отличался от соседнего с ним пашалыка Карсского, где мирное население или вовсе не принимало, или принимало только пассивное участие в обороне родины.

Турки с самого начала увидели выгоду иметь на своей границе такое крепкое гнездо предприимчивых и храбрых людей и старались всеми мерами поддерживать здесь прилив воинственного населения. Сюда и бежало все, что не хотело подчиняться русским порядкам, что искало спасения от кары закона. Отсюда так же, как из Анапы и Поти, высылались беспрестанно мусульманские проповедники, возбуждавшие мятеж среди подвластного России татарского населения и служившие сильнейшим тормозом к утверждению русского владычества за Кавказом. Но зато буйные обитатели Ахалцихского пашалыка знали себе цену и ни во что не ставили турецкое правительство. Народная сила не раз обуздывала неограниченную власть своих беспокойных властителей. Бывали нередко случаи, что когда какой-нибудь аджарский или чалдырский бек приезжал в Ахалцихе на поклон к паше, то последний принимал все военные предосторожности, запирал ворота крепости и усиливал ее гарнизон, так как бека сопровождало обыкновенно несколько сот отчаянных головорезов, имевших к тому же приятелей в городе. При самом

свидании происходили весьма оригинальные сцены. По этикету подчиненный бек должен был входить к паше один, оставив свою вооруженную свиту где-нибудь на дворе, но почти всегда десяток или более людей из этой свиты вламывались в приемный покой и молча становились у дверей, не трогаясь с места до конца аудиенции, и паша должен был делать вид, что не замечает их присутствия. Жалобы правителей, тяготившихся таким положением дел, не раз доходили и до султанов, но когда один из них, Ахмет III, желая укротить наконец дерзкую вольницу, послал против нее славного Пеглеван-пашу с двадцатипятитысячным корпусом, ахалцихская дружина разбила его наголову, и константинопольский двор должен был признать перед нею свое бессилие. Последний султан, преследуя и истребляя янычар повсюду, не смел, однако, коснуться Ахалцихского пашалыка, и эти страшные враги правительства безбоязненно жили там до самого присоединения Ахалцихе к России. Так исторически сложились взаимные отношения между турецким правительством и ахалцихским народом. Султаны, в конце концов, оставили его в покое, довольствуясь добровольным подчинением себе грозного Ахалцихе. Зато и Ахалцихе служил твердым оплотом малоазиатских провинций.

С этими-то воинственными племенами Паскевичу и предстояла теперь кровавая борьба.

Правда, из пяти крепостей в пашалыке две — Ахалкалаки и Хертвис — уже находились в русских руках, но оставались непокоренными еще три: Ацхур, закрывавший вход в Боржомское ущелье, Ардаган, на пути к Арзеруму, и, наконец, самый Ахалцихе гордо хранивший память о том, как девятнадцать лет перед сим он устоял перед напором русской силы, когда подходил к нему сам Тормасов. Событие это утвердило Ахалцихе в мысли, что он никому кроме самого себя покоряться не будет. Ряд поражений, понесенных турецкими войсками в последнее время, не заставил его серьезнее взглянуть на предстоящую ему борьбу, напротив, падение Карса, Ахалкалаков и Хертвиса только подняло гордость его и породило презрение к побежденным. В порыве первой ярости жители выгнали из города своего правителя, военные дарования которого возбуждали сомнение, и послали сказать Киос Магомет-паше, спешившему к ним на помощь: “В наших стенах более десяти тысяч храбрых защитников, и потому мы не нуждаемся в помощи твоих воинов, которых трудно будет продовольствовать, сами выдержим все усилия русских”. И Ахалцихе, уверенный в самом себе, спокойно выжидал прибытия русских войск, которые уже двигались к крепости.

От Ахалкалаков к Ахалцихе вели две дороги: одна окружная в сто шестьдесят верст, удобная для колес и изобильная пастбищами, шла на Ардаган; другая, кратчайшая, имела всего верст шестьдесят, но зато проходила через высокий лесистый хребет Цихеджваре, по таким местам, где до сих пор не только не проезжало ни одной арбы, но и вьючная езда считалась неудобной. Несмотря, однако, на все неудобства и трудности упомянутой дороги, Паскевич избрал именно этот последний путь, так как кратчайшее расстояние давало ему возможность предупредить армию Киос Магомета под Ахалцихе и взять крепость ранее прибытия к ней турецких подкреплений; между тем, двигаясь по дороге через Ардаган, он безусловно должен был столкнуться с этой армией, и тогда движение к Ахалцихе могло бы быть гарантировано только при условии полного поражения Киоса Магомет-паши. В лучшем случае, если бы Паскевич успел захватить Ардаган даже ранее турок, то и тогда пришлось бы оставить в нем сильный гарнизон, то есть раздробить войска, которых и без того было мало.

Правда, последние известия, доставленные лазутчиками, говорили, что главные турецкие силы стоят еще в Саганлугских горах и намерены оттуда двинуться к Карсу, чтобы атаковать эту крепость. Но известия могли быть ложны, да и намерения Киос-паши могли измениться, а расстояние, которое отделяло его от русской армии, было не настолько

велико, чтобы помешать ему внезапно явиться перед осажденным Ахалцихе. Ввиду таких соображений поход на Цихеджваре был решен окончательно, и русский корпус выступил из-под Ахалкалаков 2 августа.

Но едва войска сделали один переход, и Цехеджварские горы приняли их в свои грозные каменные объятия, как предусмотрительность Паскевича начала оправдываться: получены были известия, что Киос Магомет-паша, спустившись с Саганлугских гор и оставив Карс в стороне, спешно идет к Ардагану с тем, чтобы предупредить Паскевича под Ахалцихе. Известия эти шли от карапапахов. Паскевич тотчас отправил к ним прокламацию, приглашая весь карапапахский народ вступить в русское подданство. Карапапахи отвечали, что охотно приняли бы такое предложение, если бы не угрожало им прибытие турецких войск, которые идут в числе тридцати тысяч человек, при пятнадцати орудиях. Известие о Киос-паше чрезвычайно усложнило положение русского корпуса и вновь выдвинуло на сцену вопрос о выборе дороги.

Явилось опасение, что турки, заняв Ардаган, вышлют особый отряд преградить прямую горную дорогу к Ахалцихе, а в этом последнем случае малочисленный русский корпус, застигнутый со своими тяжелыми обозами посреди утесистых гор и лесных дефиле, рисковал очутиться в самом невыгодном положении.

Естественно поэтому было подумать, не идти ли сначала на Ардаган, чтобы разбить турок в полевом сражении и отбросить их к Карсу, за твердое положение которого можно было ручаться. С другой стороны, возникали подозрения в верности самих известий: карапапахам не трудно было выдумать их, чтобы найти благовидный предлог избежать русской зависимости. А в этом случае, идя на Ардаган, Паскевич бесполезно терял драгоценное время и, действительно, мог дать туркам возможность подоспеть на помощь Ахалцихе. Колебание, однако, продолжалось не долго. При невозможности послать к Ардагану сильные кавалерийские партии, Паскевич решил отправить ночью, для проверки известий, переодетого переводчика капитана Шемир-Беглярова, а корпусу приказал идти напрямик через горы.

Хребет Цихеджваре — поистине один из самых недоступных отрогов Малого Кавказа. Таких гор нет ни в Армении, ни в Грузии. Там, не исключая заоблачного Безобдала, существуют хоть какие-нибудь арбяные дороги, а здесь не было даже вьючных. Чтобы отважиться на такой поход, нужно было иметь, действительно, глубокую веру в мощную натуру кавказского солдата. И в военной истории не много найдется примеров, где бы усилия человека до такой степени торжествовали над преградами, воздвигаемыми ему природой. Без путей и дорог прошла русская армия через высокие горы, где ходили лишь тучи, да гуляли вольные ветры, и через дремучие, веками нетронутые леса, где каждый шаг добывался тяжелыми усилиями.

Целая гренадерская бригада, вместе с пионерным батальоном, высланная вперед прямо из Хертвиса, два дня разрабатывала лесную тропу, то лепившуюся по крутым скатам над страшными безднами, то спускавшуюся в такие трущобы, откуда, казалось, не было выхода. По этой-то прорубленной войсками дороге, среди густого леса, тянулась в гору осадная артиллерия и скрипели арбы ее тяжелого и длинного парка. К каждому орудию пришлось назначать по двести человек рабочих; даже легкие повозки, и те тащили на канатах или же подвязывали к их колесам огромные сосновые деревья, которые, волочась по земле, служили тормозами и сдерживали их при спусках. По словам одного очевидца, при одном крутом повороте на спуске, двадцатичетырехфунтовая пушка, вырвавшись из сильных рук ста двадцати гренадеров и опрокинувшись, своей страшной тяжестью исковеркала железные дороги, на которых лежала, раздавила дышловых лошадей и,

покатившись вниз, вырвала с корнями две вековые сосны. Испытанная выносливость кавказского солдата не раз подвергалась здесь тяжким испытаниям, но она все превозмогла и вышла победительницей из борьбы с самой природой. Довольно сказать, что по этой ужасной дороге войска в три дня, без роздыха, прошли более шестидесяти верст, и 3 августа, в лучах уже заходившего солнца, перед ними открылся Ахалцихе, подобный орлиному гнезду, висевшему на неприступных утесах.

Авангард, спустившись с гор, стал на правом берегу Куры. За ним постепенно подходили остальные войска.

Невесело, кровавой полосой, захватывавшей собою полгоризонта, спускалось солнце за угрюмые вершины окрестных гор. Вокруг русского стана запылали костры из сухого кустарника и срубленных смолистых сосен, и скоро над ними черными облаками заклубился дым. Утомленные солдаты, в ожидании ужина, дремали; не слышно было ни песен, ни музыки; и только с глухим рокотанием, будившим сонное эхо, падали горные ручьи на дно глубоких оврагов, да на вершинах гор, тихо качаясь, шумел сосновый вековечный лес; а из-за леса плавно поднималась молодая луна и кидала робкий свет на тихий сон Кавказского корпуса.

Во всю эту ночь тяжести тянулись еще через горы. Последний обоз и арьергард перевалились только под самое утро и нашли русский корпус, уже стоявший лагерем на берегу Куры, в шести верстах от Ахалцихе.

Только здесь явился, наконец, из своей опасной поездки капитан Бегляров; он категорически объявил Паскевичу, что на помощь карапапахов рассчитывать невозможно; что Киос-паша уже прошел Ардаган и сегодня, то есть 4 августа, должен быть в Ахалцихе. Отдаленные залпы крепостных орудий не замедлили подтвердить это известие. Было ясно, что турки предупредили русский корпус, что силы и средства их учетверились против тех, которые надеялся найти в Ахалцихе Паскевич, и что теперь придется иметь дело уже не с одним гарнизоном. Положение русских было тем опаснее, что ожидаемые подкрепления еще не пришли, и под Ахалцихе стояло не больше восьми тысяч штыков; эти штыки были ермоловского закала, вернувшиеся из Персии, испробованные в Карсе, но все же их было слишком мало против сорока тысяч отважных людей, прикрытых грозной крепостью. Правда, из Грузии, через Боржомское ущелье, форсированным маршем уже двигались на соединение с Паскевичем шесть рот Херсонского гренадерского полка и полк донских казаков с четырьмя орудиями, но и эти силы прибавили бы к корпусу всего тысячу восемьсот человек, да и прибыть они могли не ранее 7 августа.

К полудню гул пушечных выстрелов, которыми крепость, вероятно, встречала прибывших пашей, смолк. Но в сумерках поднялась сильная ружейная перестрелка за Курой — турки напали на русских фуражиров. Малочисленное прикрытие вовремя, однако, заметило врагов и приняло их огнем и штыками. Чтобы ночью не повторилось тревоги, батальон егерей, под командой подполковника Миклашевского, переправлен был за Куру и на одной из высот заложил редут. Предосторожность оказалась далеко не лишней, и редут пригодился на следующее же утро.

Наступило 5 августа. Солнце застало Паскевича на высокой горе, откуда он долго и внимательно рассматривал в зрительную трубу окрестности Ахалцихе. Оставаться на позиции, не имевшей даже достаточного количества пастбищ, казалось еще опаснее, чем идти вперед, и Паскевич решился подвинуться к городу, чтобы, по крайней мере, иметь за собою большее пространство для фуражировок.

Оставив на прежнем месте вагенбург, под прикрытием сорок второго егерского полка с двенадцатью орудиями, он приказал остальным полкам переправляться на левый берег Куры. Переправа началась в десять часов утра; быстрая вода подходила солдатам подмышки, и тем не менее, под прикрытием поставленного на том берегу редута Миклашевского, войска перешли через реку в стройном порядке. Неприятель, попытавшийся помешать переправе, попал под пушечные выстрелы с редута и, отодвинувшись к городу, расположился на высотах, по обе стороны Ахалцихе-Чая. Русские войска также остановились. Был полдень, солнце палило невыносимо; солдаты составили ружья в козлы и отдыхали под прикрытием густой завесы стрелков. Конные толпы турок дерзко наездничали перед русской цепью, но стрелкам не велено было завязывать боя.

Между тем, осматривая окрестность, Паскевич остановил внимание на высоком холме Таушан-Тапа, который командовал крепостью. Туда и назначено было вести главную атаку. “Если нам удастся овладеть этой высотой,— сказал Паскевич окружившим его генералам,— то лагерь наш будет вполне обеспечен”. В четыре часа пополудни, когда жара заметно спала, колонны стали в ружье и с барабанным боем двинулись вперед. Шестнадцать батарейных орудий рысью выехали на высоту и открыли учащенный огонь по турецким батальонам, стоявшим в поле. Турки отступили; часть их потянулась в крепость, другая на противоположный берег Ахалцихе-Чая. Пока русская кавалерия с конной артиллерией преследовала отступавших, пехота беспрепятственно заняла Таушан-Тапа, лежавший на пушечный выстрел от крепости, и Паскевич тотчас приказал заложить на вершине его редут, чтобы прочно удержать за собою эту возвышенную позицию. Позади этого холма, на левом же берегу Ахалцихе-Чая, в двух с половиной верстах против восточного фаса города, решено было поставить лагерь, и вагенбургу послано приказание следовать туда же.

Прикрытый со стороны Ахалцихе сильным редутом на высоте Таушан-Тапа, русский лагерь не был, однако, обеспечен с левого фланга. Местность противоположного правого берега Ахалцихе-Чая, измытая оврагами, позволяла туркам делать засады и незаметно подкрадываться почти к самым палаткам. Чтобы избежать этого серьезного неудобства, Паскевич выдвинул на правый берег батальон егерей, с подполковником Миклашевским, приказав ему заложить новый редут так, чтобы преградить дороги, выходящие из гор со стороны небольшой подгорной деревни Марда. На правый же берег отправлен был и сводный кавалерийский полк — из дивизиона драгун и дивизиона улан,— под общей командой полковника Раевского.

Было шесть часов вечера. Неприятельская конница держалась на высотах, примыкающих к городским палисадам, и пряталась в оврагах. Но едва переправа и движение русских обозов к новому лагерю обозначились ясно, как вся масса этой конницы тронулась вперед, по обе стороны Ахалцихе-Чая, и вдруг понеслась в карьер, стараясь с двух сторон прорваться к вагенбургу. Четыре тысячи турок обрушились на правый фланг русской позиции, где стояла батарея под прикрытием Эриванского полка. Встреченные картечью и беглым огнем двух батальонов, они круто повернули влево, чтобы проскакать лощиной, и наткнулись на батальон Грузинского полка, стоявший также с батареей на самой оконечности правого фланга. Два казачьи полка и татарская конница насели на бегущих и взяли знамя.

На левом фланге, за рекой Ахалцихе-Чай, шло, между тем, также жаркое дело. Едва егеря Миклашевского приступили к работам редута, как должны были сомкнуться в каре, чтобы отбить атаку несущейся на них кавалерии. Батальон устоял; но одна атака сменялась другою, и, в конце концов, егеря рисковали быть раздавленными, если бы не помогла

удачная стрельба четырех орудий, бывших под командой гвардейской артиллерии поручика Черневецкого. А тут вскоре подоспел на помощь и батальон Эриванского полка, бегом направленный Паскевичем с правого фланга. Заметив его приближение, неприятель отхлынул от егерей и теперь всей массой обрушился на подходившие сюда же эскадроны Раевского. Завязалось жаркое кавалерийское дело.

Отправленный с места еще при самом начале боя, Раевский взял направление как раз во фланг неприятелю. Однако неровная местность, овраги, крутые подъемы и спуски замедлили несколько движение конницы, и едва головные части ее стали вытягиваться из глубокого, длинного оврага на высоты левого берега, как турки понеслись к ней навстречу. Раевский со своей стороны подал сигнал, и первая линия пошла в атаку. Командир сводного уланского полка полковник Анреп сам вел Серпуховский эскадрон и врезался в густые толпы неприятеля. Весь левый фланг турок был опрокинут и прогнан к Ахалциху. Занятые горячим преследованием, уланы не могли видеть, что делалось позади их, а там совершалась кровавая катастрофа.

Четвертый эскадрон Нижегородского полка, под командой майора Казасси, бросившись вперед одновременно с уланами, смял правое крыло неприятеля, но, увлеченный погоней, занесся слишком далеко и был окружен тысячными толпами турок. Храброму эскадрону приходилось рассчитываться за свое увлечение. Видя, что в конном строю устоять невозможно, драгуны, не теряя мужества, спешились, сомкнулись в кружок и несколько минут держались в таком положении. Но ряды быстро редели, Убитые кони расстраивали круг, оборона слабела, и эскадрон, держа в поводу лошадей, медленно стал отодвигаться назад, теснимый толпами неприятеля. Только одна минута колебания — и гибель стала бы неизбежной. Но колебания не было. Бегом подоспел сюда батальон Миклашевского, во весь опор прискакал со второй линии третий эскадрон Нижегородского полка, с подполковником Андрониковым, и картина боя мгновенно изменилась. Освобожденный от натиска, эскадрон Казасси быстро сел на коней, и оба эскадрона разом ринулись на массу конных турок. Недолог, но упорен был бой. Все перемешалось в одну общую кучу. Не было счета геройским подвигам одиночных драгун, с редким самоотвержением выручавших друг друга в этой неравной сече. Прапорщики Петренко и князь Чавчавадзе (Язон) пробились почти до самых знамен, увлекая за собой эскадроны. Лошадь под Чавчавадзе изранена, переменять ее было некогда, и он рубится на ослабевшем, покрытом кровью коне, рискуя ежеминутно, что не выдержит добрый карабахский конь и рухнет вместе со всадником наземь, под конские копыта... Вот толпа конных турок навалилась на прапорщика Буткевича. Издали видно только, как, сверкая на солнце, поднимаются и опускаются вражеские сабли. Рядовой Макаров (из разжалованных) бросается к нему на помощь; он уложил двух-трех турок, но не спас своего офицера и вынес только изрубленное тело его. В другом месте какой-то отчаянный турецкий наездник, врезавшийся в ряды эскадрона, крушит все, что попадет под руку; он уже изрубил двух драгун и насел на третьего, как прапорщик Попков смертельным ударом сабли повергает его на землю. Здесь какой-то драгун схватился один с целой массой курдов, но на помощь к нему летит прапорщик Чавчавадзе Третий (Спиридон); он разгоняет куртин и вырывает из их рук драгуна, уже раненного тремя ударами пик. Под другим Чавчавадзе (Романом) убита лошадь; он пеший отбивается над трупом ее один от целой кучи врагов... Его выручают драгуны. Там офицер спасает солдата, здесь солдат умирает за своего офицера...

Не выдержали турки боя с этими сказочными, сверхъестественными бойцами, и тысячи их, объятые страхом, бежали перед двумя эскадронами... Драгуны, врезаясь в толпы их, рассчитывались теперь за свою первую неудачу.

А между тем, в то время, когда большая часть кавалерии уже введена была в дело и в резерве оставался только один эскадрон Борисоглебского уланского полка, стоявший под начальством ротмистра Лау во взводной колонне, новая двухтысячная толпа турок, никем не замеченная, скрытно пробралась глухим, бездорожным оврагом и вдруг выдвинулась в тылу борисоглебцев. От этой минуты зависело все. Дрогни борисоглебцы — и русский корпус потерял бы половину своей кавалерии: расстроенная боем, стиснутая двумя живыми стенами с фронта и с тыла, она неминуемо погибла бы в жестокой сече одного против пятнадцати. Но ротмистр Лау был отличный офицер, обладавший необыкновенным спокойствием духа. Внезапность его не озадачила. “Назад строй эскадрон!” — скомандовал он ровным спокойным голосом, и эскадрон в карьер, как на ученье, исполнил построение и стал, как вкопанный, лицом к неприятелю. Еще секунда — прозвучала труба, пики наклонились, и эскадрон ринулся “с места марш, марш”.

Турки, пораженные моментальным превращением маленькой кучки людей в стройный развернутый фронт эскадрона, стремительно несущийся прямо на них с наклоненными пиками, повернули назад и беспорядочной толпой кинулись в ту же лощину, из которой выскочили. Уланы пронеслись за ними почти вплоть до оврага. Но вот эскадрон круто осадил лошадей, стройно заехал назад, свернулся на походе опять во взводную колонну, и ротмистр Лау рысью отвел его на прежнее место. “Стой! Равняйсь! Пики по плечу!” И эскадрон стал, точно за минуту перед тем он и не готовился вступить в упорную битву с сильнейшим врагом.

Главнокомандующий с высокого кургана видел это молодецкое дело и в подвиге храброго ротмистра справедливо оценил больше всего то, что, не увлекаясь бесцельной погоней, он поспешил возвратиться к прямому своему назначению — служить поддержкой для первой линии.

Дело ротмистра Лау было эпилогом, закончившим бой 5 августа. Быстро спускавшаяся ночь разъединила боровшихся противников. Преследование мало-помалу прекратилось, и нижегородцы вместе с серпуховскими уланами на взмыленных, измученных лошадях вернулись в лагерь. Свели счеты и оказалось, что вся потеря в корпусе не превышала сорока четырех человек, выбывших преимущественно из эскадрона майора Казасси.

Горсть русской кавалерии, сражавшаяся на левом фланге, покрыла себя в этот день блестящей славою. Сам Паскевич писал государю, что кавалерийский бой 5 августа есть один из тех редких случаев в военных событиях, который обращает на себя особое внимание и дает настоящую меру для определения превосходной храбрости полков Нижегородского драгунского и Сводного уланского. Не могли не признать этого и сами враги, участвовавшие в битве. Когда, по окончании сражения, главнокомандующий спросил одного из пленных карапапахских старшин, как действовала русская конница, тот отвечал: “Мы прежде рубили ваших казаков, как капусту, а сегодня, одетые в какие-то белые балахоны, они без страха лезли вперед, и против них устоять было невозможно”. Карапапахский старшина простодушно полагал, что донские казаки, которых они встречали при вторжении в Грузию,— единственная русская конница, и драгуны с уланами, сражавшиеся в летних кителях, казались ему все теми же донскими казаками. Кавалерская дума нашла походного атамана генерал-майора Леонова, полковника Анрепа, майора Казасси и ротмистра Лау достойными ордена св. Георгия 4-ой степени. О подвиге Раевского Паскевич свидетельствовал перед государем, ходатайствуя о награждении его орденом св. Георгия 3-ей степени, но государю угодно было заменить эту награду чином генерал-майора.

Битва 5 августа была заключительным актом тяжелого похода к высоким стенам Ахалцихе, но в то же время она является и первым звеном в цепи предстоящих кровавых событий. Над осажденной крепостью и над русским лагерем ангел смерти уже распростер свои мрачные крылья.

VIII. РАЗГРОМ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ТУРЕЦКОГО КОРПУСА

Трудно и ненадежно было положение русского корпуса под стенами Ахалцихе. Отбросив 5 августа массы турецкой кавалерии, стремившейся преградить ему путь, он занял на восточной стороне города более или менее обеспеченную позицию; но этот успех был каплей в море перед тем, что еще оставалось преодолеть. Восемь тысяч русских солдат имели перед собой не одну только сильную крепость, но им приходилось еще считаться с целой тридцатитысячной турецкой армией, которая каждую минуту могла перейти в наступление. Никогда, быть может, репутация Паскевича и судьба его корпуса не были в таком сомнительном положении, как под стенами Ахалцихе. Здесь решался вопрос целой кампании, и все последующие успехи русских войск в азиатской Турции были только следствием упорных битв, выдержанных ими под этой крепостью.

К счастью, Паскевич нашел себе, хорошего союзника в вечной медлительности и нерешительности турок. Вместо того, чтобы 6 августа возобновить нападение свежими силами, в которых у турок недостатка не было, Киос Магомет-паша предоставил русским войскам беспрепятственно укреплять свою позицию, и Паскевич в тот же день поставил два новые редута, обеспечившие тыл и правый фланг русского лагеря. Теперь спокойнее можно было ожидать подкреплений, уже спешивших из Грузии. И, действительно, в полдень 7 августа прибыли, наконец, шесть рот херсонских гренадер, донской полк Грекова и четыре орудия, под общей командой генерал-майора Попова. Турецкая конница маячила по соседним горам, но не осмелилась помешать его соединению с Паскевичем.

Нужно сказать, что небольшой отряд Попова еще с начала войны отправлен был в Боржомское ущелье для разработки дороги к Ахалцихе. В наши дни в целой Грузии нет более красивого и живописного места, как знаменитый Боржом с его прелестными дачами. Но в те времена это была дикая, пустынная местность, в дремучих дебрях которой скрывались только лезгины, делавшие отсюда свои кровавые набеги на Картли. Из трех дорог, ведших из Грузии, боржомская была самой трудной. Она лепилась по левому берегу Куры и так была стеснена нависшими скалами, что по ней едва могли проходить грузинские арбы; а там, где Кура стремительно билась о преграждавшие ей путь каменные утесы, и этот трудный путь исчезал.

Приходилось вести дорогу обходами по карнизам скал, подниматься на высоту шести тысяч футов, и по таким тропам, по которым не всегда рисковали пускаться даже привычные туземцы. Самый выход из ущелья сторожил небольшой, но крепкий замок Ацхур, построенный на высоком отвесном утесе. Это был ключ Боржомского ущелья. И здесь-то, где теснина так суживалась, что дорога пролегала под самыми пушками замка, ацхурский гарнизон попытался преградить дорогу херсонцам. Гренадеры прогнали вылазку пушечными выстрелами и переправились через Куру под огнем неприятеля, потеряв ранеными двенадцать нижних чинов. 5 августа, в тот день, как Паскевич подступил к Ахалцихе, Херсонский полк вышел наконец в долину Куры и с ближних гор ясно увидел дым пушечных выстрелов и облака пыли, поднимавшиеся со стороны осажденной крепости. Через два дня отряд Попова уже подходил к главному русскому лагерю.

7 и 8 августа прошли спокойно. Неприятель бездействовал; а между тем эти три дня, так нерасчетливо потерянные турками, дали возможность русским войскам отдохнуть и оправиться. Паскевич каждый день производил рекогносцировки, ближе знакомясь с положением крепости, изучая ее верки, соображая свои средства со средствами противника. Эти сравнения были далеко не в пользу русского корпуса; оказывалось даже, что главный редут, Таушан-Тапа, не соответствовал своему назначению, и артиллерия, помещенная в редуте, вовсе не могла обстреливать пространства, лежавшего впереди кургана. Чтобы обеспечить лагерь от нечаянной вылазки со стороны восточных ворот, пришлось на полугоре, обращенной к крепости, устроить каменные завалы для стрелков и ложемент на целую роту пехоты. Но этого было еще недостаточно, и в ночь на 8 августа Паскевич заложил внизу, между курганом и крепостью, новый редут всего в трехстах саженях от городского палисада.

К утру редут был готов, и на нем стояло уже девять батарейных орудий и одна двухпудовая мортира, которые могли начать бомбардирование города. Так положено было начало осаде Ахалцихе.

Между тем, 8 августа, в этот последний день обоюдного бездействия противников, случилось обстоятельство, выведшее русские войска из их выжидательного положения. Утром Паскевич получил тревожное известие, что на помощь к Ахалцихе идут еще десять тысяч лазов, под начальством паши мейданского, и что через несколько дней они уже будут под крепостью. Явилось предположение, что турки только потому и бездействовали, чтобы усыпить внимание русских и, дождавшись прибытия лазов, разом уже всеми своими силами нагрянуть на их лагерь. Паскевич собрал военный совет. Подавляющее неравенство русских и турецких сил было так очевидно, что на решение совета предложен был роковой вопрос: оставаться ли под Ахалцихе, или отступить через Боржомское ущелье в Грузию, чтобы собрать там подкрепления, и только тогда уже снова двинуться к Ахалцихе? Не подлежало никакому сомнению, что настоящая осада могла начаться только с того момента, как вспомогательный турецкий корпус будет разбит под стенами крепости, и в вопросе, поставленном Паскевичем, это разумелось само собою. Пущин, в своих записках, рассказывает, что он участвовал в этом совете и, как младший, первый подал голос за наступление. “Мое мнение,— сказал он,— сегодня же ночью внезапно напасть на турок в их собственном лагере, разбить их и тем освободиться от блокады, в которой они держат наши войска”. Мнение это было принято всеми единогласно.

С вечера отданы были все приказания. Генерал Муравьев с гренадерской бригадой, сводным батальоном и тремя ротами пионер остался для прикрытия лагеря, остальные войска — восемь батальонов пехоты, вся конница и двадцать пять орудий — предназначались для ночной экспедиции, под личным предводительством главнокомандующего. Поход был объявлен в полночь.

Из показаний лазутчиков Паскевич уже знал, что турецкая армия стояла в четырех лагерях, из которых первый располагался на высотах против северного фаса крепости; другой — на западе, близ укрепленной башни Каядага; а остальные два — у Су-Килисса и Ашаг-Памачь, на большой ардаганской дороге. Эти два последние лагеря держали под своим наблюдением весь правый гористый берег Ахалцихе-Чая, и дорога к ним прикрывалась сильным ретраншементом, поставленным турками у подгорной деревни Марда. Действовать по этому пути Паскевичу было крайне рискованно, и атака должна была начаться с северного лагеря.

Но и там кратчайшая дорога, лежавшая у подошвы северных высот, преграждалась сильным люнетом, сложенным из бревен и укрепленным двумя бастионами.

Нужно было найти другой, более скрытый путь, а это, при совершенном недостатке благонадежных проводников, было нелегко. К счастью, некто Мута-бек, один из ахалкалакских старшин, плененный при взятии крепости, добровольно предложил свои услуги. Обласканный Паскевичем, этот суровый, непреклонный мусульманин предался ему всей душой, и теперь на его верности основан был весь успех экспедиции. Мута-бек отлично знал окрестную местность и повел отряд обходной дорогой на селения Цыйра и Цхурут, огибая крепость с северной стороны, на расстоянии двух или трех верст.

Войска следовали лощиной, прикрытые горами, и не могли быть замечены турками. Дорога вообще не представляла особенных трудностей, но ночь была так темна, что войска, при частых подъемах и спусках, растянулись, а Херсонский полк, следовавший в арьергарде, и вовсе сбился с дороги. Пока его ждали, прошло добрых полчаса. Стало уже светать, а войска, вместо того, чтобы быть на месте, только что еще выдвигались из селения Цыйра. Между тем тяжелый гул шагов идущей пехоты и стук колес артиллерии давно обратили на себя внимание турецких аванпостов. И едва в предрассветной мгле обозначились перед ними темные полосы двигавшихся колонн, как грянул сигнальный выстрел, и тревога быстро разнеслась по всем четырем турецким лагерям.

Теперь русскому отряду самому нужно было с минуты на минуту ожидать нападения, а он находился еще в трех верстах от головного турецкого лагеря и среди местности совершенно неудобной. Но всякие сомнения и колебания были уже невозможны, приходилось принять бой там, где застал неприятель. Впереди отряда виднелись высоты, идущие параллельно северному фасу крепости, и Паскевич быстро решился занять их, как единственную позицию, которая представлялась ему в этой малоизвестной местности. Но пока войска переходили крутые рытвины и выбивались из рыхлых пашен, против них уже были сосредоточены огромные массы вражеских сил. Позиция, случайно занятая Паскевичем, имела свои выгоды и свои недостатки. Она представляла собой довольно большое плато, на котором свободно могли расположиться войска. Но против этих высот лежали такие же, параллельные им другие высоты, отрезанные от первых глубоким извилистым оврагом с крутыми скалистыми берегами, и там-то, на крепкой позиции, теперь уже стояла турецкая пехота с большим числом артиллерийских орудий. Самый овраг тянулся сперва параллельно крепости, а потом вдруг круто, почти под прямым углом, поворачивал к северу и, огибая высоты русской позиции, терялся вдали, в низменных болотах за деревней Цхурут. За этой-то второй частью оврага сосредоточились огромные массы турецкой конницы. Таким образом, русская позиция представляла собой прямой угол, вершина и стороны которого обстреливались перекрестным огнем неприятеля.

Правда, овраг, подобно рву, прикрывал позицию со всех сторон; но зато, по тому же оврагу, как по траншеям, неприятель мог безопасно подводить свои войска и укрывать резервы.

Но так или иначе, а другого выбора не было, и Паскевич поставил отряд в оборонительное положение. Два донские полка с четырьмя орудиями отправлены были назад для связи с отрядом Муравьева и для прикрытия дороги к вагенбургу. На левом фланге позиции, под командой гвардии полковника Сенявина, стоял сводный пехотный полк, составленный на время экспедиции из батальона эриванцев и батальона сорок первого егерского полка, с шестью орудиями. В центре, в самой вершине угла, образованной перегибом оврага, расположился Херсонский гренадерский полк с четырьмя орудиями, под начальством

генерал-майора Попова. Правый фланг отбрасывался направлением оврага совершенно назад, почти под прямым углом к левому флангу, и был занят сводным батальоном пехоты (две роты козловцев и рота пионер), двумя казачьими полками и двумя полевыми орудиями. На самой оконечности его, уже упираясь в деревню Цхурут, стоял Ширванский пехотный полк с четырьмя батарейными орудиями. Кавалерийская бригада Раевского, татарская конница, линейные казаки и весь сорок второй егерский полк составляли резерв; при нем находился и граф Паскевич.

Едва русские войска разместились на позиции, как турки, под покровительством огня своей артиллерии, с двух сторон повели атаку. Было часов шесть утра. Русская артиллерия, почти вся выдвинутая в первую линию, встретила наступавших жестоким картечным огнем и остановила напор. Неприятель смешался и стал отступать, горячо преследуемый огнем стрелковых цепей. Одновременно с этим и на левом фланге турецкая кавалерия также пыталась обскакать позицию, чтобы прорваться к русскому лагерю, но, встретив не менее мужественный отпор со стороны егерей и видя приближавшиеся рысью казачьи полки, повернула назад. Из этого первого столкновения Паскевич вынес уверенность, что на занятой позиции можно отразить все нападения турок, и решил сохранять оборонительное положение до тех пор, пока неприятель, утомленный бесплодными атаками, сам не предоставит ему удобного случая к победе.

Малочисленность отряда Паскевича не укрылась, между тем от внимания Киос Магомет-паши, и, раздраженный неудачей, он приказал во что бы то ни стало смять русский корпус. В семь часов утра началась вторая атака. Турецкие колонны шли по дну глубокого оврага против русского центра, прикрытые от огня артиллерии высокими берегами; они шли смело, с распушенными знаменами и с криком “Алла!”. Чтобы удержать их натиск, Херсонский гренадерский полк подвинулся вперед к самому оврагу, а стрелковая цепь его спустилась еще ниже на полускат и лицом к лицу встретилась с поднимавшейся из оврага турецкой пехотой. Обе цепи столкнулись и кинулись друг на друга с ожесточением. Начался упорный штыковой бой. Спорный овраг несколько раз переходил из рук в руки, наполняясь трупами.

Подняться из оврага, с тем чтобы ударить на русских в упор и разом всей своей массой, у турок не хватало духа, они по мелочам тратили свою запальчивую храбрость, и рукопашный бой шел то кучками, то врассыпную. Стоявшие сзади колонны подкрепляли свои стрелковые цепи. Начальник штаба барон Остен-Сакен сам отправился на место сражения. Спокойно, шагом разъезжал он посреди стрелков, под огнем неприятеля, и делал нужные распоряжения, иногда посылая сказать Паскевичу, что “стрелки ведут себя хорошо”.

Целый час шла в этом пункте отчаянная борьба, турки наконец не выдержали и стали подаваться назад. Стрелки второго батальона, увлеченные преследованием, перешли за ними через овраг и раскинули цепь уже на той стороне его, по гребню двойной высоты, тянувшейся параллельно русскому правому флангу. Это была неосторожность, за которую они и поплатились кровавыми жертвами. Еще стрелки не успели оглядеться на новой позиции, как из-за гребня соседней горы внезапно выдвинулись высокие остроконечные шапки делибашей, и человек четыреста турецкой конницы ринулись на цепь, не успевшую даже сбежаться, как следует, в кучки. Херсонцам пришлось отбиваться поодиночке штыками, прикладами и выстрелами в упор. Батальоны, стоявшие вдали, бегом бросились на выручку и открыли через овраг батальонный огонь, с большой центральной русской батареи также посыпались ядра. Но все это, казалось, уже не могло спасти стрелков, и минут десять их даже не было видно за турецкой конницей. Все считали их погибшими. Паскевич с высокой горы видел, как на ладони, все поле

сражения. Он отвернулся и сказал с досадой: “Не надо было так далеко высылать стрелков — вот и пропали!”

Вдруг кто-то крикнул: “Ваше сиятельство! Цепь уцелела!” Паскевич обернулся: разорванные, перемешанные с делибашами, кучки херсонцев бойко отбиваются, а толпы делибашей редеют и в беспорядке скачут назад. Паскевич велел тотчас узнать фамилию офицера, командовавшего стрелками, и, минуя другие ордена, послал ему прямо Владимирский крест. Поредевшую цепь тотчас отвели назад за овраг.

Наступило получасовое затишье. Турки готовились к третьей атаке, и их колонны опять формировались в овраге. Но на этот раз Паскевич решился предупредить удар контрударом и сам двинул вперед сводный полк Сенявина. Третий батальон Эриванского полка, давно не бывший в деле [Третий батальон не участвовал в персидской войне; он оставался в своей штаб-квартире.], наступал в первой линии, егеря — во второй. Под сильным огнем спустились они с высот, дошли до оврага, и эриванцы ударили в штыки. Турки, в свою очередь, приняли эриванцев штыками же, и кровь полилась рекою. В несколько минут из батальона все ротные командиры, пять офицеров и до ста нижних чинов выбыли из строя. Здесь был убит и командовавший стрелковой цепью молодой офицер лейб-гвардии Финляндского полка подпоручик Дубровский, первый проложивший дорогу в ряды неприятеля. Несмотря на страшную убыль, эриванцы дружно ломили вперед, и турки уже готовились уступить, как вдруг грянул оглушительный треск, и дрогнуло поле. Неприятельская граната попала в зарядный ящик, стоявший при одной из рот сорок первого полка, и взорвала его. В одно мгновение несчастное каре потонуло в густых клубах черного дыма, из которого среди огненных языков мелькали растерзанные трупы. Пальба на мгновение смолкла, и, казалось, все застыло в трепетном недоумении. В этот момент все неприятельские резервы, доселе скрытые за высотами, вдруг выдвинулись на горы, оглашая воздух неистовыми криками. Но эриванцы уже успели оправиться от своего минутного смущения. Ротные командиры штабс-капитаны Калпинский, Гуралев и Кириллов — все трое уже раненые — снова явились перед своими ротами, еще раз сомкнули их и с такой стремительностью бросились вперед, что турки дали тыл, и гренадеры отбили у них два знамени.

Сделать больше того, что сделали эриванцы, было нельзя, и батальоны отвели назад. Они шли гордо, с сознанием исполненного долга, и живым свидетельством этого были развевавшиеся впереди них турецкие знамена.

Было уже два часа пополудни. Усталость и зной заставили обе стороны приостановить свои действия. Уже восемь часов шла непрерывная битва; русские отразили все нападения, но сами не подвинулись ни шагу вперед, и турки, опираясь правым флангом на крепость, по-прежнему сохраняли свои позиции. Овладеть оврагом также не удалось, и три полка, последовательно ходившие отбивать его у турок, потеряли, как говорит очевидец, до пятисот человек. Положение становилось серьезным. Паскевич, по рассказам Пущина, сидел на батарее в самом мрачном настроении духа; никто из частных начальников, знавших его раздражительность, не решался подходить к нему ни за советом, ни за приказанием. А между тем, турки, ободренные бездействием русских, в четвертый раз перешли в наступление.

Ружейная перестрелка цепей скоро обратилась в живой беспрерывный огонь, смешанный с громом орудийных выстрелов, а турецкие колонны опять стояли в роковом овраге.

В это время Пущин, как рассказывает он сам, желая чем-нибудь помочь делу, сел на коня и, не сказавшись никому, поехал вдоль оврага, чтобы ближе ознакомиться с местностью.

Этот обзор навел его на счастливую мысль, которую, возвратившись назад, он не замедлил сообщить Паскевичу. “Взять и удержать за собою овраг,— сказал он ему,— невозможно. Все дело в сильном люнете, который мы миновали ночью и который стоит у самого устья оврага. Возьмите его, и тогда и овраг, и лагерь — все будет ваше!”

Паскевич увидел верность этого замечания и, после короткого раздумья, спросил: “А кого я пошлю штурмовать?” Пущин указал на Ширванский полк. Полк этот действительно еще не был в деле, и Паскевич потребовал к себе командира его, полковника Бородина. Бородин, бывший адъютант Паскевича, отлично знавший характер своего начальника, спросил, как бы в рассеянности: “Какое укрепление, ваше сиятельство?” И когда тот указал ему на люнет, Бородин промолвил небрежно: “Ну, его можно взять мимоходом”.— “Так с Богом!” — сказал на это обрадованный Паскевич. Бородин поскакал к полку, чтобы вести его в битву. Одним ширванцам штурмовать крепкий люнет было бы, однако, крайне рискованно, и потому решено было выдвинуть из резерва весь сорок второй егерский полк и в то же время послать приказание Муравьеву, чтобы он с одним или с двумя батальонами штурмовал люнет с другой стороны. С этим приказанием посланы были два казака и вместе с ними Пущин. Они пустились по разным направлениям и, проскакав в интервалы между турецкой конницей, стоявшей на дороге, все трое благополучно достигли лагеря. Приказание было передано, и Муравьев с первым батальоном Эриванского полка двинулся к люнету. За ним пошли две роты егерей и две роты пионер, под общей командой лейб-гвардии Преображенского полка полковника Бентковского.

Между тем, чтобы отвлечь внимание турок именно от этого люнета, Паскевич распорядился сделать демонстрацию против левого неприятельского фланга. Батальон Херсонского полка, кавалерийская бригада Раевского, Донской полк Карпова и татарская конница, с четырьмя орудиями, переправились через овраг и стали в боевом порядке на высотах против главного турецкого лагеря, расположенного по ту сторону Ахалцихе-Чая у Су-Килисса. Внезапное появление на этом пути сильной русской колонны озадачило турецких пашей. Вся неприятельская конница быстро стянулась к своему левому флангу и завязала дело. Но Карпов, высланный вперед с донцами и татарами, маневрировал так превосходно, что втянул ее в бой, и, когда неприятель вплотную насел на казаков, те рассыпались и открыли стоявшую позади них батарею. Картечный залп — и турки поскакали назад, преследуемые справа нижегородцами, слева уланами.

Поражение конницы, устлавшей путь людскими и конскими трупами, заставили Киос Магомет-пашу серьезнее взглянуть на опасность, которая грозила главному турецкому лагерю, оставшемуся почти без войск, и большая часть пехоты, стянутой против русской позиции, спешно переведена была к Су-Килиссу. Таким образом боевая линия турок растянулась влево почти на десять верст, и оборона люнета ослабела. Этого только и ждал Паскевич от своей демонстрации. Он приказал генерал-майору Гилленшмиту выдвинуть вперед, на высоты против турецкого люнета, восемь батарейных и шесть легких казачьих орудий, под прикрытием которых должны были собраться штурмовые колонны.

Турки с изумлением смотрели на эти передвижения войск, не понимая их цели, а между тем к люнету уже подходил сорок второй егерский полк с генерал-майором Корольковым. Ни одним выстрелом не отвечали бастионы на огонь русской артиллерии, и это дало повод думать, что укрепление или вовсе брошено, или защищено очень слабо. Отчасти под этим впечатлением, отчасти видя приближение ширванцев с одной и колонны Муравьева с другой стороны, Корольков решился начать атаку с одними егерями. Свинцовые тяжелые тучи, давно надвигавшиеся с запада, теперь закрыли весь горизонт и разразились сильным дождем с громом и молнией. В это самое время шесть казачьих

орудий, под командой есаула Зубкова, вынеслись вперед и, снявшись с передков в расстоянии восьмидесяти саженей от люнета, открыли по нему картечный огонь.

Под его защитой сорок второй егерский полк бросился на укрепление. Неприятель молча подпустил его на сто шагов и вдруг встретил убийственным залпом.

Опешившие егеря остановились. Генерал Корольков, желая ободрить солдат, выскочил вперед с криком: “За мной! На батарею!” — и в ту же минуту пал, пораженный двумя пулями в грудь и в голову. Его смерть окончательно смутила егерей, и они открыли беспорядочную пальбу по люнету. Тогда турки сделали вылазку и бросились на них в штыки и кинжалы.

Плохо пришлось бы егерям, если бы в эту минуту не подоспели ширванцы. В грозной тишине и порядке вел Бородин свои батальоны, не обращая никакого внимания на то, что происходило перед его глазами. Скользя по мокрой траве, с намокшими ружьями, выдвинулись они из-за фланга сорок второго полка и с криком “Ура!” пошли прямо на турецкое укрепление. Но в ту же минуту загремело “Ура!” и с другой стороны — то штурмовал люнет первый батальон эриванцев, прибывший сюда с Муравьевым.

Теперь турки, сделавшие вылазку, были отрезаны и, бросившись обратно в люнет, нашли его уже занятым русской пехотой. Тем отчаяннее закипел бой под самым люнетом. Майор Михайлов и командир первой роты поручик лейб-гвардии егерского полка барон Врангель первые пробили дорогу к брустверу, и вслед за ними егеря ворвались в шанцы. Но на их долю уже не досталось боевых трофеев: четыре орудия и семь знамен были взяты колоннами Бородина и Муравьева. И долго после того два храбрые полка, Ширванский и Эриванский, оспаривали друг у друга честь взятия люнета. Справедливость требует, однако, сказать, что Ширванский полк встретил меньшее сопротивление и овладел бастионом почти без урона, тогда как батальон эриванцев в кровавом рукопашном бою потерял тридцать пять нижних чинов и лишился почти всех своих офицеров. Одному только полковнику Бентковскому, первому взошедшему на вал во главе эриванцев, удалось выйти целым и невредимым, командир батальона подполковник Кошутин был ранен в то время, когда взбирался на бруствер; ротный командир поручик Оников ранен в рукопашном бою кинжалом; командир второй роты поручик Мищенко прострелен пулей в грудь навылет; командир третьей роты поручик Елисуйский убит. И недаром писал Паскевич в своем донесении государю, что “атака на укрепленный бастионами лагерь сделана была с удивительной храбростью”. “Это одно из лучших дел,— говорит он,— которые я видел в моей жизни. Офицеры удивительной храбрости...”

С падением люнета пал и раскинутый на Северных высотах турецкий лагерь. Из числа полутора тысяч турок, находившихся в ретраншементе, более трети легло на месте, остальные бежали, увлекая за собою и войска, бывшие в лагере. Преследование продолжалось почти до самого городского палисада, и узкое пространство между люнетом и воротами города было завалено трупами. Сам Киос Магомет-паша, пытавшийся восстановить порядок, был ранен пулей в ногу и отвезен в Ахалцихе, куда отступил и весь пятитысячный отряд его пехоты.

Теперь демонстрация против главного лагеря превратилась неожиданно в действительное наступление. Как только Пущин привез известие о взятии люнета, Паскевич двинул вперед всю кавалерию, а за нею херсонцев и сводный полк егерей. Многочисленные толпы неприятеля, видя кругом себя общее поражение, быстро были охвачены паникой и беспорядочно отступали по всему протяжению боевого поля. “Странно было видеть,— говорит один очевидец,— как перед какими-нибудь четырьмя-пятью батальонами бежали

эти огромные массы, не оказывая даже сопротивления, которого надо было ожидать, судя по началу боя”. Преследование их продолжалось с такой живостью, что два казачьи полка и татары на плечах турок ворвались во второй лагерь, драгуны и уланы — в третий.

Выбитый из Су-Килисса, неприятель пытался было занять высоты, примыкавшие к этой деревне, чтобы прикрыть отступление своей артиллерии и многочисленных обозов, столпившихся на ардаганской дороге, но деморализация во всем турецком войске была уже такова, что едва показался головной эскадрон Нижегородского полка, как снова все обратилось в бегство. Драгуны, уланы, казаки, преследуя бежавших, мимоходом захватили четвертый лагерь и взяли два орудия, пять знамен и до пятисот пленных.

Вспомогательный турецкий корпус теперь весь рассеялся, и турки, поодиночке, пробираясь лесными тропами, бежали к Ардагану.

Трофеями боя были: десять орудий, десять знамен, четыре лагеря со всем имуществом, все обозы, подвижные магазины, транспорты, парки. Говорят, что число знамен и орудий могло бы быть гораздо значительнее, если бы конница продолжала преследование, но Паскевич сам остановил ее, сказав окружающим: “Припомните, господа, слова одного римского полководца, что бегущему неприятелю надобно строить золотой мост”.

Недешево досталась и русским эта блестящая победа: одно орудие было подбито, один зарядный ящик был взорван; действующий корпус потерял, по официальным сведениям, одного генерала, более тридцати офицеров и до пятисот нижних чинов; но, по словам современников, потери русских были гораздо значительнее. Те же современники свидетельствуют, что подъем нравственного духа в войсках и в начальниках был так велик, что командир Ширванского полка полковник Бородин просил разрешение Паскевича тотчас штурмовать Ахалцихе, и это разрешение едва не было дано ему. Быстро спускавшаяся ночь, однако, устранила всякую мысль о возможности нового штурма. Русская пехота ночевала в отбитом люнете, кавалерия — за двадцать верст от Ахалцихе, там, где окончила свое преследование. На следующий день весь экспедиционный отряд возвратился в лагерь.

Теперь Ахалцихе стоял перед русскими один, беспомощный, но грозный твердой решимостью погибнуть или отстоять свою вековую независимость.

IX. ОСАДА АХАЛЦИХЕ

Утром 10 августа 1828 года русские войска стояли перед Ахалцихе — грозные, победоносные. Вчетверо сильнейший турецкий вспомогательный корпус накануне в панике бежал от стен, которые пришел защищать, и естественно было предположить, что события минувшего дня расположат ахалцихский гарнизон к большей уступчивости. Руководимый желанием избежать напрасного кровопролития, Паскевич в тот же день отправил в крепость Мута-бека передать турецким пашам, что дальнейшая защита крепости будет бесполезна и что в случае упорства город испытает все ужасы штурма. “Семьдесят пушек обстреливают оборонительные линии, и крепость не сдастся, пока не будет перебит весь пятнадцатитысячный гарнизон ее”,— отвечали турки. Этот гордый ответ устранял всякую мысль о возможности дальнейших переговоров, и Паскевич решил приступить к правильной осаде города. Для русских войск наступали дни новых тяжки к усилий и борьбы не только с упорным врагом, но и с природой, щедро наделившей Ахалцихе многочисленными средствами защиты.

Действительно, с тогдашним оружием и теми ничтожными средствами, которыми располагал Паскевич, нелегко было покорить крепость, подобную Ахалцихе. Весь город был отстроен на левом берегу реки Ахалцихе-Чай, или Посхов-Чай, верстах в семи от впадения ее в Куру, в тесном ущелье, посреди гористой и чрезвычайно пересеченной местности. С юга его ограждал высокий хребет Цхенис-Цхале, голые и неприступные утесы которого образовывали, как раз против крепости, правый нагорный берег реки, и, таким образом, доступ к Ахалцихе с той стороны был почти невозможен. С севера на полверсты подходят к нему разорванные отроги Картлинских гор, которые, охватывая город с востока и запада, постепенно сливаются с высотами левого берега Посхов-Чая. Как раз против северной части города, на склоне горного хребта, один из уступов его образует собою довольно обширную возвышенную плоскость. Это так называемые Северные высоты, которые, господствуя над крепостью, соединялись с ближайшими домами Католического предместья узким перешейком, идущим между двумя оврагами. Здесь, на этой высоте, и стоял у турок сильный люнет, взятый русскими 9 августа. С юго-запада, обрываясь крутыми спусками в реку, подступала к самому городу и частью даже входила в черту его высокая гора Кая-Даг, составлявшая продолжение береговых утесов Цхенис-Цхале. На этой горе стояла большая круглая башня, которая обстреливала не только окрестное поле, но и почти всю внутреннюю площадь города. Только восточной стороной своей город выходил в небольшую низменную долину реки, но и эта долина не представляла осаждающим ни малейшей выгоды. Крутые утесы, на которых раскинуты были здесь крепостные линии, и скученность построек в восточной части города, где дома подымались один над другим непрерывным амфитеатром, стоили бы штурмующим громадной потери. Таким образом, замкнувшись кругом высокими горами, столица Ахалцихского пашалыка вполне была достойна своей области и громкого имени разбойничьего гнезда, которое утвердилось за ней во всей Малой Азии.

Но если такова была местность, окружающая Ахалцихе, то еще внушительнее выглядел сам укрепленный город, более трех столетий не видевший в своих стенах чужеземных знамен.

Собственно Ахалцихская крепость состояла из двух отделений: крутая голая скала, обнесенная каменной стеной, составляла цитадель, а несколько ниже примыкала к ней так называемая Верхняя крепость, построенная на высоком береговом утесе и обнесенная двойным рядом стен, фланкированных башнями. Сорок орудий обороняли эти стены, слежавшиеся веками в такую плотную массу, против которой бессильно было действие полевой артиллерии. В крепости помещались все казенные здания, дом паши и главная ахалцихская мечеть, при которой имелась одна из богатейших библиотек мусульманского Востока. Нужно сказать также, что в крепости имели право жить только магометане и что поэтому она была вполне гарантирована от измены чуждого ей населения.

Окружая с трех сторон крепость и непосредственно примыкая к стенам ее, раскидывался обширный город, доходивший своими крайними пределами почти до самой реки. Главная сила Ахалцихе и заключалась не в крепости, а именно в этом самом городе с его двадцатипятитысячным населением. Наружная оборона его состояла из четырех бастионов, соединявшихся между собою толстым сосновым палисадом, в котором в несколько рядов прорублены были бойницы. Этот палисад имел семь аршин высоты и был так прочен, что не только ядра батарейных орудий не могли произвести в нем никакого повреждения, но даже снарядам осадной артиллерии редко удавалось свалить вертикально поставленные бревна. Эскалада подобного палисада была в высшей степени затруднительна, так как атакующему, взойдя на него, приходилось спрыгивать вниз, с высоты более двух саженей, прямо на штыки неприятеля.

Но и при всем том овладеть палисадом еще далеко не значило приблизиться к покорению города. Перед штурмующими воздвигался ряд новых препятствий, созданных и людьми и самой природой. Два глубокие оврага разделяли всю городскую площадь на три неровные части. Один из них тянулся с севера в прямом направлении и затем круто поворачивал на запад, огибая подошву Кая-Дага; другой разрезывал город по диагонали от северо-запада на юго-восток и упирался почти в самую реку. Между этими оврагами, в обширном треугольнике, и обитало все коренное мусульманское население Ахалцихе; в остальных частях города — за оврагами и у северной окраины — жили исключительно евреи и армяне-католики. Овладение одним из заовражных кварталов, без сомнения, требовало бы немало жертв, но не доставляло никаких результатов. На пути движения войск, как средоточие всех сил и средств обороны, еще лежал громадный мусульманский город, замкнутый двумя оврагами. Там, на пространстве квадратной версты, среди страшно изрытой буграми и ямами местности, в хаотическом беспорядке разбросано было до пяти тысяч домов; не было там ни площадей, ни улиц, и городские жилища, висевшие одни над другими, едва разделялись небольшими переулками, которые и составляли, подобно узким горным тропинкам, внутренние пути сообщений. Все вообще дома построены были здесь в два яруса, с плоскими крышами, представлявшими собою возвышенные террасы, и каждый дом, взятый отдельно, мог уподобиться небольшому, но крепкому замку.

Над всеми этими домами и зданиями, почти на краю северного квартала, возвышалась заметная своей архитектурой и древностью католическая армянская церковь с высоким и узким куполом, со стрельчатыми окнами и с целым лабиринтом темных и узких коридоров внутри. Только этот пункт, да еще башня Кая-Дага. из всех городских построек и равнялись высотой с верхом самой крепости. Остальной город лежал внизу, и крепость командовала им настолько же, насколько цитадель командовала самой крепостью. Таким образом, ахалцихская оборона располагала огнем в три яруса: первый составлял городской палисад с его бастионами, второй — стены крепости, и самый верхний — цитадель. И нелегко было штурмующим войти по этим трем ступеням, чтобы снять с цитадели турецкое знамя. Это прекрасно знали и сами турки. Они говорили: “Прежде надо снять месяц с неба, а потом уже луну с ахалцихской мечети”.

Русским войскам предстояло теперь показать, что можно снять луну с ахалцихской мечети, не заботясь о месяце в небе. 9 августа, когда войска ночевали еще на поле сражения, Паскевич, несмотря на общую усталость, уже распорядился осадными работами. Занятие северных высот, на которых стоял турецкий, лагерь, значительно облегчало эту задачу, так как самый целесообразный пункт для атаки представляла именно северная часть города, где была католическая церковь. С ее возвышения легче, чем откуда-нибудь, можно было проникнуть в самый центр города и здесь же удобно было устроить батарею против стен цитадели. Поэтому разрушение турецкого бастиона, прикрывавшего Армянский квартал, и сделалось ближайшей целью осады. И вот, с 10 на 11 августа, в одну ночь выросла на северных высотах, на месте отбитого люнета, громадная осадная батарея № 6. Четыре тяжелые двадцатичетырехфунтовые пушки, четыре двухпудовые мортиры, два единорога, двенадцать батарейных и шесть легких орудий к свету уже стояла на платформах и грозно смотрели жерлами из своих амбразур на городские укрепления. К ним присоединились, кроме того, восемь легких орудий, находившихся ночью в прикрытии рабочих, и десять турецких пушек, отбитых накануне; но их разместили уже на валу и приспособили для стрельбы через банк. Утром одиннадцатого августа, едва забрезжил свет, Паскевич приехал на батарею, и по его знаку сорок шесть орудий, находившиеся от городского палисада на расстоянии всего двухсот саженей, открыли жестокую канонаду. Начались обычные бедствия осады — городские строения рушились и погребали под своими развалинами и войска и жителей. Скоро в северном квартале выкинули белый флаг, и вслед за тем к Паскевичу явилась депутация

просить пощады. Она объявила, что к начальствующим пашам также посланы выборные лица с тем, чтобы настоять на немедленном открытии переговоров. Два часа протекло в бесплодном ожидании ответа — паши и большая часть коренных ахалцихских жителей отвергли предложение и не хотели слышать о сдаче. Эту отчаянную решимость приписывают особой настойчивости Киос Магомет-паши, который, опоздав на выручку Карса и потеряв сражение в поле под Ахалцихе, хотел кровопролитной защитой крепости восстановить свою пошатнувшуюся военную репутацию. Канонада возобновилась. Неприятель не отвечал на нее ни единым выстрелом, как бы сберегая их до последней минуты ожидаемого приступа.

А между тем осадные работы постепенно начинали развиваться и на других пунктах русской позиции. Нужно сказать, что с потерей Северных высот турки сами оставили бесполезные для них контр-апроши на правом берегу Посхов-Чая, так как с уничтожением турецких лагерей там прикрывать уже было нечего. Граф Симонич с Грузинским гренадерским полком еще ночью девятого августа, как только отгремело сражение, занял покинутые контр-апроши, потом селение Марду и, наконец, сады, примыкавшие почти к самой крепости. Передовая цепь его утвердилась на южных высотах прямо против цитадели, а в ночь на 11-ое число, здесь, на месте турецкого ретраншемента, стояла уже батарея № 7, устроенная, по тесноте, в два яруса, так что три орудия помещались на нижней, а два на верхней площадке. С этой минуты сообщение жителей с берегом и прогон скота к водопою чрезвычайно затруднились, так как каждая подобная попытка стоила туркам нескольких жертв.

В эту же ночь Паскевич приказал уничтожить батарею № 5, стоявшую на левом берегу, впереди Таушан-Тапы, а взамен ее заложил новую, № 8, на семь батарейных орудий и восемь кегорновых мортир, всего в ста двадцати саженях от восточного бастиона. Постройка этой батареи производилась уже под огнем крепостных орудий, и с русской стороны несколько офицеров, и в том числе начальник артиллерии генерал-майор Гилленшмит, были контужены. Войска, между тем, также передвигались на новые позиции. Главнокомандующий с Эриванским полком и шестью ротами херсонских гренадер стал на Северных высотах, где была большая осадная батарея. Правее главной батареи, на случай вылазки из крепости, поставили сильный редут № 9, занятый полубатальоном козловцев с четырьмя орудиями, а позади него расположились Ширванский пехотный и сорок второй егерский полки, так что всякое покушение турок против Северных высот легко могло быть уничтожено. Для прикрытия траншейных работ на левом фланге оставлены были в садах, по обе стороны речки, два батальона Грузинского полка и батальон сорок первого егерского, рота которого выдвинулась еще вперед, на городское кладбище, где было каменное здание, тотчас приспособленное ею к обороне. Одновременно с этим две роты херсонских гренадер заняли у Кая-Дага старое кладбище, где стоял турецкий лагерь, а кавалерийская бригада Раевского расположена была у Су-Килиссы. Таким образом, крепость была обложена со всех сторон, и все сообщения ее прерваны. Паскевич нашел этот момент удобным, чтобы еще раз потребовать сдачи. Но штабс-капитан Корганов, ездивший в крепость, привез в ответ восточную фразу: “Одна сабля разделяет нас”.

Тогда, чтобы ускорить развязку, Паскевич приказал в ночь на 13 августа заложить на расстоянии ста тридцати саженей от северо-восточного угла городского палисада редут № 10, в который поместились брешь- и демонтир-батареи — обе на шесть осадных и батарейных орудий. Лунная светлая ночь не позволила скрыть работ от неприятеля, и турки обратили сюда сильнейший огонь со всех ближайших верков, стреляя картечью и двойными ядрами. К счастью, саперы успели скоро заслонить этот пункт турами, и вся потеря здесь в течение ночи не превышала десяти человек.

К свету редут был готов и открыл сильный и удачный огонь. С первых же выстрелов демонтир-батареи рухнула вершина башни Кая-Даг, и турки принуждены были снять оттуда орудия и пристроить их кое-как на площадке, чтобы хоть сколько-нибудь отвечать на канонаду. Еще разрушительнее было действие брешь-батареи, направленной против глиняных стен северного бастиона. Положение города с каждым днем становилось безнадежнее, но гарнизон все же оставался многочисленнее осаждающего корпуса, и вся возможность покорения крепости штурмом могла основываться только на беспримерной отваге кавказского солдата Русские надеялись, что значительное христианское население Ахалцихе облегчит осаду внутренним междоусобием; теперь стало известным, что Киос-паша принял свои меры и обезоружил всех находившихся в городе и грузин, и армян. А те немногие, которые с величайшей опасностью успевали прокрадываться в русский лагерь, подтверждали только весть об отчаянной решимости Ахалцихских турок драться до последнего. Между тем продовольствие в русских войсках начинало истощаться, ходили слухи о движении из Арзерума к Ахалцихе новых секурсов. При таких условиях нужно было как можно скорее покончить с упрямой крепостью, и Паскевич решился взять ее штурмом.

Перед вечером 14 августа, объезжая по обыкновению лагерь, Паскевич остановился у Ширванского полка и, поздоровавшись с людьми, сказал: “А завтра, братцы, город надо взять!” — “Возьмем, ваше сиятельство!” — отвечали ширванцы с таким единодушием, что полковник Бородин тут же просил Паскевича предоставить полку славу и опасность первой атаки.

Штурм предположено было начать 15 августа, в день Успения Пресвятой Богородицы, в четыре часа пополудни. Мысль штурмовать сильную крепость среди белого дня могла показаться слишком отважной. Но Паскевич поступил так, руководствуясь указанием опыта. Предшествовавшие штурмы Карса и Ахалкалаков были на рассвете, и они-то приучили турок к усилению осторожности именно в это время. В продолжение всей осады Ахалцихе турки собирались по ночам к палисадам, а с наступлением утра расходились по домам и кофейням, оставляя у стен лишь небольшие караулы. На этом и построил свои расчеты Паскевич. А чтобы приучить турок равнодушнее смотреть на дневные передвижения войск, в последние дни осады, именно около четырех часов пополудни, народно производилась на батареях смена рабочих прикрытий. Этот час избран был для начала приступа еще и потому, что наступление вечера позволяло скрыть малочисленность русских резервов.

С вечера 14 августа граф Симонич получил приказание оставить бесполезную при штурме батарею № 7 и перевести Грузинский полк на левый берег Посхов-Чая, расположив его бивуаком против восточного фаса крепости. Перемещение полка было замечено турками и показалось им не случайным; из крепости открыли сильный огонь, и неприятелю удалось подбить лафет у одной из русских пушек, но цель, которую имел ввиду Паскевич. была достигнута. Турки, ожидая штурма восточных ворот, целую ночь не отходили от палисадов. А между тем, пока внимание их привлечено было в ту сторону, на небольшом холме, лежавшем под северными высотами, заложена была новая брешь-батарея на четыре двенадцатифунтовые пушки, всего в восьмидесяти саженях от северного бастиона.

Главным пунктом атаки назначена была высота католической церкви с прикрывавшим ее бастионом. Штурм должен был начаться с редута № 9, и честь первого удара на городские укрепления предоставлена полковнику Бородину с его Ширванским полком. Непосредственно за ширванцами должен был следовать восьмой пионерный батальон с турами и фашинами; на него возложено было срубить палисады, ввести в город орудия и на кровле католической церкви устроить батарею для продолжения осады. Таким образом,

войска должны были взять бастион, овладеть костелом, потом занять вправо и влево ближайшие части Армянского квартала и здесь укрепиться. Атаке этих трех передовых батальонов должны были покровительствовать все осадные и полевые орудия, сосредоточенные на северных высотах, где находился сам главнокомандующий и стоял резерв: Херсонский гренадерский, Эриванский карабинерный и линейный казачий полки. На прочих пунктах, по крайней мере в первые минуты штурма, действия предположено было ограничить только одними демонстрациями.

Всю ночь русские батареи гремели по северному бастиону и по прикрывавшей его куртине, обреченной на приступ. К рассвету пальба стала стихать, и едва заря занялась над твердынями Ахалцихе, замолчала совсем.

Наступило утро 15 августа.

X. ШТУРМ АХАЛЦИХЕ

То был век богатырей...

Давыдов

Кровавый день ахалцихского штурма, совпавший праздником Успения Пресвятой Богородицы, особенно чествуемый русским народом, был вместе с тем и днем полкового праздника Ширванского пехотного полка. Несмотря на предстоящий бой, в русском лагере своим чередом совершались обычные церемонии. В Турции, как и на родине, ширванцы начали день молитвой, а потом, по окончании парада, солдатам был устроен праздничный обед, а офицеры отправились к полковому командиру на закуску. Закусывали на этот раз по-походному, чем Бог послал; “однако, говорит один современник, под конец явилось шампанское, и близость боя нисколько ни помешала бивуачному веселью”.

В три часа пополудни все генералы и частные начальники собрались к главнокомандующему за получением последних приказаний. В исходе четвертого часа, когда обыкновенно производилась в траншеях смена рабочих и прикрытия, штурмовые колонны стали в ружье. Паскевич еще раз объехал войска и отправился на Северную высоту, откуда мог лучше следить за ходом начинавшегося боя.

Прошло еще с полчаса, и вот, под гром сильнейшей канонады, загоревшейся в эту минуту по всему протяжению осадных батарей, два батальона Ширванского полка, с распущенными знаменами и музыкой, вышли из редута и двинулись к брешь-батарее, откуда им предстояло идти на приступ.

Привыкшие видеть в этот час смену рабочих, турки спокойно смотрели на движение войск, никак не ожидая, что это движение — начало грозного штурма. Нужно сказать, что ночью из русского лагеря бежали два фельдфебеля Херсонского полка, которые предупредили осажденных о близкой опасности, но, к счастью, беглецам не поверили. Утомленные ночной бдительностью у палисадов, турки, как всегда, с утра разошлись по домам, а при батарее на атакуемом бастионе осталось только шестьдесят человек. Но эти шестьдесят храбрецов, как увидим дальше, сумели постоять за себя.

Когда ширванские батальоны вышли из-за брешь-батареи, Бородин скомандовал: “Песенники, вперед!”

Ой, во поле липонька стояла,—

затянули ширванцы и под эту задушевную народную песню двинулись к проломам полуразбитого бастиона. Впереди шли двести человек охотников — лучшие люди, выбранные из полка и предводимые храбрым майором Родзевским. Этот Родзевский, старый ширванец ермоловских времен, до настоящего дня состоял при главной квартире Паскевича в скромном звании смотрителя походных госпиталей. Давно уже лишенный счастья разделять боевые опасности со своими товарищами, он выпросился у Паскевича на штурм Ахалцихе и получил в команду охотников. К нему присоединились волонтерами лейб-гвардии Преображенского полка поручик Дик, Белогородского уланского полка поручик Анненков и Серпуховского — корнет Абрамович.

Батальоны подходят к крепости все ближе и ближе. Мелодичная песня сменилась уже веселым русским мотивом.

Не будите меня молоду раным-рано поутру,—

гремит хор, а ему вторят рожки, звенят тарелки, громыхают бубны. Крепость молчит, но тем тревожнее бьются сердца в ожидании рокового залпа, тем страшнее смотрят из своих амбразур широкие жерла турецких пушек. Вот обе ширванские колонны поднялись уже по отлогости холма на половину высоты против рокового бастиона.

Выгоняйте вы скотину на широкую долину,—

весело заливаются песенники. И вдруг грянул страшный, убийственный залп. Передние ряды ширванцев повалились, как подкошенные. Подпоручик князь Вачнадзе Третий и двадцать нижних чинов были убиты наповал. В ответ на это грянуло “Ура!”, и как неудержимые волны, хлынули охотники в открывшиеся перед ними проломы. Полковой барабанщик Головченко первый вскочил на бастион и ударил тревогу почти в самом кругу ошеломленных турок. За ним вошел штабс-капитан Разнатовский, потом — поручики Дик и Вачнадзе Первый. Бастион моментально был взят. Храброе, но малочисленное прикрытие его ни шагу не подалось назад и геройски пало под штыками русских. Несколько знамен, стоявших на бастионе, и три орудия, облитые кровью своих защитников, были первыми трофеями ахалцихского приступа. Разнатовский и Дик — герои этого штурма — были вынесены ранеными. Разнатовскому две пули прострелили обе ноги навылет, раненый Дик был окружен неприятелям и только обязан спасением своей жизни унтер-офицеру Водницкому (из разжалованных декабристов) , который вырвал его из рук неприятеля и вынес на своих плечах из боя. Между тем подоспевшая сюда пионерная рота быстро принялась рубить палисад, чтобы открыть свободный вход штурмовым колоннам. Но пока кипела работа, полковник Бородин и прапорщик Пущин, не выждав конца ее, перескочили частокол и увлекли за собой ширванцев. Теперь войска очутились в городе, на узком и тесном перешейке, с двух сторон очерченном крутыми оврагами. Прямо перед ними гордо возвышалась старинная католическая церковь, закрывавшая собою дальнейший вход в центральную часть города. Взять этот костел являлось безусловной необходимостью, но предварительно нужно было очистить овраги, из-за которых уже начинался убийственный перекрестный огонь. Первый батальон Ширванского полка, под командой подполковника Юдина, немедленно стал пробиваться вправо; второй, подполковника Овечкина,— влево; колонна охотников осталась в центре, против самого костела, связывая своей густой цепью фланги обоих батальонов.

В это время турецкий резерв, спокойно отдыхавший внутри католической церкви, выскочил на тревогу и бросился было на защиту уже потерянной бреши, но встреченный

дружным залпом охотников, он тотчас же подался назад и укрылся обратно в церковь. Весть, что русские взяли северный бастион и что они уже в городе, с быстротой молнии распространилась по всем закоулкам Ахалцихе, и через несколько минут весь город уже был на ногах. Вскакивая ото сна, бросая обед и кофе, вооруженные жители опрометью бежали из домов на помощь резерву. По главной улице, ведущей от крепости к пролому, поспешно двигались турецкие колонны. И вот вся эта масса врагов, обезумевшая от неожиданности и отчаяния, лицом к лицу столкнулась с ширванцами. Первый удар должен был вынести центр, где стояла густая цепь охотников, с которыми был в этот момент и сам Бородин. С горстью людей долго и упорно держался он, но видя, что устоять нельзя, потребовал к себе на помощь второй батальон, а первому приказал ударить во фланг неприятелю. Оба батальона бегом явились на место разгоревшейся битвы. Тогда начался отчаянный рукопашный бой на самом тесном пространстве между взятым бастионом и католической церковью, где сосредоточивались главные силы врагов. То неприятель отступал, опрокидываемый штыками ширванцев, то подавались назад ширванцы и, снова нападая, опять отбрасывали турок. Так раненый лев отступает назад, чтобы с новой силой и яростью сделать свой смертоносный скачок. Обе стороны были в борьбе достойны друг друга. Даже турецкие женщины, в мужской одежде и с лицами, вычерненными сажей, сражались в первых рядах и гибли вместе с мужьями и братьями. Не один раз ширванцы, преследуя турок, пытались овладеть костелом, взбирались даже на плоскую церковную кровлю, но только устилали ее своими трупами и снова скатывались вниз. Гибелен и страшен был этот бой за обладание костелом. Вот уже полчаса, как вокруг него звучало и сверкало оружие, слышался гам битвы, и минутные крики торжества сменялись криками ужаса и стоном умирающих, а костел и примыкавшее к нему христианское кладбище, густо усеянное надгробными памятниками, все еще были в руках неприятеля. Тем не менее ширванцы не отступали. Крепко держали они то, что раз попало в их руки, и турки, как волны, набегавшие на утес, с ропотом и бессильной злобой отбрасывались от них назад. “Страшно было смотреть,— говорил один очевидец,— как ложились целые ряды бесстрашных ширванцев и как они, хотя медленно, шаг за шагом, но все-таки подвигались вперед”.

Но вот подоспела помощь. В городе грянул первый наш орудийный выстрел и гулко раскатился тысячным эхом вдоль тесных улиц. То был есаул Зубков, успевший, при помощи саперов, перетащить свои два орудия через палисад и, взобравшись на высокий бугор, открывший огонь через головы ширванцев. Вслед за пушками, с Бурцевым во главе, прибежала саперная рота. Дружно, с неимоверной отвагой работала она до сих пор под непрерывным свистом неприятельских ядер: одни рубили палисады и расширяли проходы, другие на руках перетаскивали через ров орудия. Гром пушечного выстрела и прилив свежих сил разом оживили утомленных бойцов. “Слава Богу, теперь устоим!” — послышалось в рядах. Мгновение — и второй батальон стремительным ударом в штыки еще раз опрокинул турок и вырвал из рук их кладбище. Прочно стали теперь ширванцы на занятом ими пункте, всего в пятнадцати шагах от католической церкви. Бородин послал сказать Паскевичу, что он надеется удержаться в городе. Но спустя несколько минут не стало храброго Бородина — пуля почти в упор поразила его в живот, и он упал и умер, как стоял, во главе ширванцев. Место его заступил полковник Бурцев. Он успел ввести в город еще несколько орудий и при помощи их удержался на своей позиции. Дорого достались ширванцам несколько саженей земли. Эту землю они взмочили своей кровью и устлали трупами любимых начальников. Более десяти офицеров выбыло из полка убитыми и ранеными; в числе их пал начальник охотников доблестный майор Родзевский и тяжело ранен командир второго батальона подполковник Овечкин. Простреленный в поясницу навылет — это была уже шестая рана, полученная им на службе,— он силой воли преодолел страдания и, поддерживаемый солдатами, не оставил своего места впереди батальона.

Паскевич стоял в это время на высокой горе, у главной батареи, куда посылались все донесения, и сам расспрашивал посланных о ходе кровавого боя. Рассказывают, что, заметив ширванского солдата, бежавшего мимо с каким-то приказанием, он подозвал его к себе и спросил: “Откуда?” — “Из крепости, ваше сиятельство!” — бойко отвечал запыхавшийся ширванец. “Ну что, каково там?” — “Жарко, ваше сиятельство”.— “А что турки?” — “Да трудно с ними справиться, упрямятся, ваше сиятельство”.— “Знаю, они молодцы, не поддавайтесь ребята”.— “Молодцы-то молодцы, ваше сиятельство; да чего они бьются-то? Ведь знают, что мы назад не попятим”.

Эта простая решимость солдата лечь костьми на своем посту, “под грозой роковой не дать шагу назад”, должна была действовать на всех воодушевляющим образом. С ними нечего было бояться за исход сражения.

“Чтобы выдержать отчаянную стремительность турок,— говорит один из участников боя,— надо было иметь впереди таких людей, как ширванцы, и под начальством такого офицера, как Бородин, носившего георгиевский крест еще с Бородинского боя. По счастью, достойный Бурцев вполне заменил своего погибшего товарища”.

Пока шла борьба за обладание кладбищем, весь пионерный батальон вступил в город с осадными материалами и принялся за устройство ложементов. Место для разбивки их было, однако, весьма неудобно: влево от самого бастиона тянулись дома, плотно примыкавшие к палисаду и так тесно поставленные друг около друга, что между ними не было пустого пространства; перед фронтом их лежала небольшая площадка, простиравшаяся вплоть до католической церкви и значительно понижавшаяся к стороне неприятеля; вправо был крутой и глубокий овраг. Несмотря на то, устройство ложементов подвигалось быстро. Пионеры, овладев плоскими крышами верхних домов, поставили на них туры и распространили работу через бастионную горжу и церковную площадь вправо до самого оврага. Такое несколько изогнутое направление ложементов не только обеспечивало занятие бреши, но в то же время своим фланговым положением к католической церкви, доставляло русским большие выгоды.

С непостижимым хладнокровием и решимостью, следуя примеру офицеров, совершали пионеры свои тяжелые и гибельные работы, каким едва ли найдутся другие примеры в истории осадных войн. Всего в десяти саженях перед линией рабочих теснились толпы сражавшихся холодным оружием; а из-за церкви, из-за надгробий кладбища, из-за обоих оврагов, справа и слева, градом сыпались на них турецкие пули; сюда же, в это тесное пространство, неприятель сосредоточил и огонь со всех своих батарей. Но пионерам приходилось не только работать, им нужно было еще самим прикрывать работы, а время от времени помогать и ширванцам. Пока одни рылись в земле, другие стояли под ружьем, и случалось нередко, что тот или другой пионерный взвод усиливал собою стрелковую цепь, так как резерв ширванского полка уменьшился уже до шестидесяти человек. И потери пионер, особенно в офицерах, были разительны. В короткое время поручик Шефлер был убит, поручик Соломка и штабс-капитан Шмит смертельно ранены, прапорщик Пущин прострелен в грудь навылет, прапорщик Нечаев — в руку, подпоручик Вильде, отряженный для постройки брешь-батареи внутри самого города,— в шею, и батарею после него докончил уже Нижегородского полка прапорщик Дорохов. Нижних чинов в трех пионерных ротах было убито и ранено более ста человек. Во всем батальоне осталось только три офицера, и они-то ободряли людей, безропотно сменявших товарищей в работе то штыком, то киркою.

К заходу солнца ложементы были окончены, стрелки расположились за прикрытием, и пять легких орудий, поставленных за бруствером, под командой есаула Зубкова, открыли

огонь... Зубков получил две сильные контузии в грудь, но, лежа на бурке, продолжал распоряжаться огнем своей батареи. Ему наиболее ширванцы и обязаны тем, что удержались на кладбище. Легкой батарее горячо вторила батарея кегорновых мортир, но храбрый командир ее, поручик Крупенников, был вскоре ранен и вынесен из боя; мортирный огонь стал ослабевать.

В шестом часу пополудни к месту боя стали подходить подкрепления. Первым пришел батальон Херсонского полка и стал на кладбище в резерве за ширванцами. Тогда полковник Бурцев, пользуясь прибытием их, решился снова перейти в наступление, чтобы овладеть костелом до наступления вечера. Атака была произведена дружно и с замечательной энергией. Пока первый батальон ширванцев, посланный с подполковником Юдиным вправо, очищал церковную площадь и гнал неприятеля вдоль по оврагу, второй батальон, вместе с херсонцами, штурмовал костел. Несколько охотников быстро взобрались на церковную крышу и, пробив сверху отверстия, поражали ружейным огнем засевшего в нем неприятеля. Отчаянные защитники, при всем упорстве, наконец, не выдержали: костел был взят, и осажденные, покрыв трупами землю, едва удерживались теперь беспорядочными толпами в овраге и на главной городской улице. Немедленно втащили на кровлю католической церкви горный единорог, а в ложементах увеличили число кегорновых мортир, чтобы обстреливать самые улицы. Между тем подошел еще второй батальон Эриванского полка и составил новое подкрепление штурмовым колоннам. Таким образом, и церковь и окружающая ее площадь, так долго и упорно обороняемые турками, были прочно заняты русскими. Но победа оставалась, однако, еще далеко не решенной.

Со взятием костела разом наступило минутное зловещее затишье. Враждебные стороны, одинаково утомленные, одинаково ослабленные потерями, отдыхали всего в пятнадцати саженях друг от друга. Но кратковремен был обоюдный отдых. Густые толпы турок, стеснившиеся в западном овраге, снова двинулись вперед, угрожая на этот раз раздавить своей массой ширванский батальон подполковника Юдина, занявший позицию в том же самом овраге. Завязалась страшная рукопашная свалка. Юдин, отбитый от своего батальона, очутился в толпе неприятеля, но был выручен отважным унтер-офицером (из разжалованных) Анисимовым, который, спасая своего командира, сам получил три тяжелые раны.

Опасное положение ширванцев заставило выдвинуть из резерва еще батальон сорок второго егерского полка, под командой полковника Реута, которому приказано было взять правее разрушенного бастиона и ворваться в Еврейский квартал, лежавший между западным оврагом и городской оградой. Турки, еще владевшие здесь палисадом, встретили наступавших егерей жестоким огнем. Тогда четыре донские орудия вынеслись вперед и принялись, в свою очередь, осыпать турок картечью.

Под их защитой штурмовая колонна смело подошла к городскому палисаду, но взять его она не могла. Егеря овладели только бойницами с наружной стороны его и, просунув в них ружья, в упор поражали защитников, турки отвечали тем же, и в одну минуту девять офицеров из батальона были убиты или ранены. К счастью, в эту критическую минуту подоспела команда саперов, с прапорщиками Коновницыным и Богдановичем; она живо срубила палисад и из его же бревен устроила мост, по которому могла пройти артиллерия. Половина саперов была перебита, но остальные успели поставить туры, за которыми могли укрыться орудия. Воодушевление солдат и здесь было так велико, что приходилось сдерживать их от бесполезных потерь.

Когда палисад упал, и проходы были открыты, турки и егеря разом кинулись друг на друга в штыки. Два донские орудия, следом за егерями, лихо проскочили через пролом и, установившись на крыше ближайшей сакли, в упор обдали турок картечью, но в этот момент крыша, не выдержав тяжести, рухнула, и лафет одной из пушек опустился в саклю; минутное замешательство артиллерии придало энергию врагу. Турки разом потеснили егерей и прорвались к самым орудиям. Взвод донской артиллерии, при котором оставалось только восемь человек прислуги, был окружен их толпами. “Станичники! — крикнул тогда офицер.— Неужели нам придется расстаться с нашими старыми друзьями, ведь три года верно и неизменно они служили нам!” — “Не бывать этому!” — громко отозвались урядники Кундряков и Силкин. Воодушевленные их примером, казаки сами бросились в шашки. Двое из восьми человек пали мертвыми, но остальные, имея во главе широкоплечего и дюжего Кундрякова, отбились и отстояли орудия. Но вот егеря пересилили и, давя врага, проникли в город. Еще несколько минут упорного боя — и они сомкнули свою цепь с цепью Ширванского полка.

Между тем до пятидесяти русских орудий с командных высот громили город и своим грохотом заглушали мелкую дробь ружейной перестрелки. Сражение разгоралось. Ширванский полк и батальон херсонцев опять перешли в наступление. Теперь католическая церковь, вся залитая кровью, заваленная трупами, осталась позади, и перед ними лежал обширный город без площадей и улиц, где не было никакой возможности сражаться сомкнутым фронтом, а между тем, каждый дом приходилось вырывать из рук защитников. Было семь часов вечера, сгущались сумерки, и “величественно-грозной картине ночного боя,— говорил очевидец,— не доставало освещения”. Вдруг какая-то благодетельная граната зажгла строение на церковной площади, и пожар начался от костела прямо по направлению к крепости. Мысль воспользоваться пожаром, чтобы вытеснить неприятеля из города, не ускользнула от внимания Паскевича, и с Северных высот поскакали ординарцы с приказанием зажигать дома и поддерживать пожар всеми возможными средствами. Но исполнить это было не совсем легко. Многие дома, толсто обмазанные глиной, упорно противостояли усилиям огня, так что приходилось бросать ручные гранаты в окна и трубы, а это стоило каждый раз нескольких человек убитыми или ранеными.

Наконец ввели в город дивизион Нижегородского полка с огромными вязанками сена и соломы. Тогда дело пошло успешнее, и огонь, раздуваемый сильным ветром, мало-помалу охватил огромное пространство. При свете этого губительного пламени, среди удушающего смрада и дыма, еще с большим ожесточением шла битва. Никто из ахалцихских жителей не хотел сдаваться, и даже женщины проникнуты были таким фанатизмом, что многие, стараясь избежать плена, добровольно кидались в огонь; другие, вооруженные кинжалами, шли в битву. Один очевидец рассказывает, как ветхий, почти столетний старик защищался на пороге горевшего дома против трех егерей, и, убив одного из нападавших, сам геройски пал под ударами двух остальных, но ворваться им в этот дом все-таки не удалось: его упорно отстаивали турки, воодушевленные примером старика, и только обрушившийся потолок похоронил в пламени отважных защитников.

В другом месте ширванец, ворвавшийся в дом, наткнулся на двух турок, еще не успевших зарядить свои ружья, и мгновенно заколол одного, но другой уклонился от удара и сам нанес ему жестокую рану кинжалом в бок; в это время подскочила молодая турчанка с обнаженной саблей, и удар, моментально нанесенный ею, был так силен, что перерубил толстую перевязь, на которой висел солдатский подсумок, и причинил ширванцу страшную рану. Солдат имел еще силу, чтобы заколоть обоих, но и сам он, изнемогая от двух тяжких ран, упал в той же сакле. Товарищи нашли его еще живым и понесли на перевязку. “Эх, брат, не стыдно ли, баба свалила”,— заметил ему один из ширванцев.

“Дура, братцы, баба-то,— проговорил умирающий,— не знает, где надо рубить, пожалела солдатской головы, да свою и оставила”. И целый ряд подобных сцен, полных ужасов, смерти и нечеловеческого возбуждения, следовал один за другим. В одной мечети сгорело до четырехсот человек защитников. В Ахалцихе был настоящий ад, способный потрясти самые железные нервы.

А между тем, как здесь борьба кипела не на жизнь, а на смерть, и каждый шаг обливался и русской и турецкой кровью, в северной части города быстро росли укрепления. Ложементы, начатые Бурцевым, теперь протянулись уже до самой католической церкви; костел превратился в недоступный редут, а на плоской кровле его и соседних домах поставлены были туры, обложенные мешками с землей для удобства ружейной обороны; тут же, в Северном квартале, строилась новая брешь-батарея, чтобы с рассветом громить крепостные стены. Работы кипели при ужасающем зрелище ночного пожара; вдруг огонь повернул в противную сторону, охватил церковную площадь и пошел к костелу. Пламя угрожало объять все русские работы, стоившие стольких трудов и крови храбрым саперам. А тут, к общему ужасу, среди и без того возраставшей опасности, открыты были в церковном здании еще громадные склады пороха. Семь человек турок поодиночке подкрадывались сюда, чтобы бросить в них горящие головни; удайся это — и эриванский батальон, занимавший костел, неминуемо взлетел бы на воздух. К счастью, часовые вовремя заметили и перекололи этих фанатиков, а каменная стена, ограждавшая церковь со стороны незастроенного домами кладбища, приостановила огонь. Тем не менее, пока ветер не изменил своего направления, пришлось очистить костел и вывести войска из ложементов. Занятый смертельной борьбой, неприятель не мог видеть собственной нашей опасности; да если бы он ее и видел, то вырвать Северное предместье из рук эриванцев все-таки не представлялось возможным. Положение турок с каждым часом становилось все гибельнее и гибельнее.

Из числа четырех наружных бастионов три уже находились во власти русских. Нужно сказать, что пока Ширванский полк шаг за шагом оттеснял неприятеля от Северного предместья, и пожар, принявший ужасающие размеры, освещал страшную картину беспощадной резни, в город, со стороны Еврейского квартала, введены были еще две роты сорок второго егерского полка, под командой подполковника Назимки. Они овладели угловым северо-западным бастионом (№ 4) и взяли в нем четыре орудия. В то же время рота Эриванского полка, направленная от католической церкви, двинулась против северо-восточного бастиона (№ 2) и захватила его с тыла вместе с двумя орудиями и восьмью знаменами. Нельзя не сказать, однако, что этим легким успехом эриванцы много были обязаны меткому огню двух казачьих орудий сотника Шумкова, который с самого начала штурма, приблизившись к палисаду на шестьдесят саженей, один боролся с этим бастионом. Турецкий огонь, направляемый из башни, по временам бывал так губителен, что артиллеристы вынуждены были укрываться за камнями. Это, по-видимому, наскучило наконец одному из казаков, Старикову. “Эх, вы, лежебоки,— шутя укорил он товарищей,— вот посмотрите-ка, какую я задам выпляску на самом лафете. Пусть вся турская сила полюбуется мною!” И он, вскочив на лафет, действительно пустился в присядку, припевая:

Казак, казачок,
Казак, миленький дружок...

Пуля ударила его в грудь и сбросила с лафета. Но, падая, Стариков схватил фитиль и сделал последний выстрел из орудия.

С потерей трех бастионов турки уже не имели сил держатся в отдаленных кварталах и, отступая, сосредоточивались к крепости. Прибывший в это время на место битвы начальник корпусного штаба барон Остен-Сакен нашел возможным продолжать наступление и со стороны Еврейского квартала, с тем, чтобы овладеть грозным Кая-Дагом.

Он лично провел батальон полковника Реута через все западное предместье, тогда не тронутое еще пожаром, и появился перед укрепленной башней. Но Кая-Даг молчал; посланные на разведку сорок охотников, со штабс-капитаном Коргановым, нашли его уже покинутым гарнизоном; только несколько фанатиков встретили войска ружейными выстрелами, но те скоро бежали. В башне нашли пять орудий и тотчас повернули их против цитадели.

С падением этого крепкого опорного пункта турки немедленно бросили последний восточный бастион (№ 1), и граф Симонич, со своими тремя батальонами, тотчас занял всю прилегавшую к нему часть города. Цепь стрелков его соединилась с цепью застрельщиков Эриванского полка, и в руках осажденных оставалась теперь уже едва шестая доля городских жилищ — в углу между крепостной стеной и восточным оврагом.

В борьбе за обладание этим последним оплотом выдвигается на первый план замечательная личность полкового священника сорок первого егерского полка отца Стефаноса — это был грек, выходец из Адрианополя. Его высокая аскетическая фигура производила впечатление даже на турок. Его видели повсюду, где был сильнее огонь канонады, где гуще свистала картечь, где больше ломалось штыков и больше гибло людей в дыму и пламени пожара. С крестом в руке, он сам водил солдат на приступ последних домов, воспламеняя их мужество, и в то же время сдерживая их дикие, разрушительные инстинкты, невольно зарождавшиеся под влиянием крови, пожара и штурма. Многие турки, особенно раненые, и женщины обязаны были ему своим спасением. Рассказывают, например, что, проходя мимо одного дома, он услышал раздирающий душу крик и, бросившись туда, увидел солдата, уже смертельно раненного картечью, который боролся с безоружной турчанкой, стараясь заколоть ее штыком. Стефанос спокойно взял его за руку и сказал: “Оставь, она христианка!” Солдат покорно взглянул в лицо сурового священника, хотел переступить обратно порог и тут же упал мертвый. Стефанос, опустившись на колени, прочел над ним отходную молитву, и через несколько минут его уже видели снова во главе штурмующей колонны. К общему удивлению, он вышел из боя цел и невредим, хотя его одежда, епитрахиль и даже крест были испещрены картечью.

Ночная битва пятнадцатого августа была одним из тех потрясающих зрелищ, которые надолго остаются в памяти самых закаленных воинов. Нужно было сохранить все присутствие духа и благоразумие, чтобы удержать хоть какой-нибудь порядок посреди страшного кровопролития; и целую ночь, не умолкая, барабаны гремели сбор. Но упорное сопротивление неприятеля ожесточало солдат и только бесполезно увеличивало ужас сражения. Особенную жестокость солдаты выказали по отношению к русским дезертирам, которых, к сожалению, в стенах Ахалцихе было немало. С ними расправлялись самосудом и прямо кидали в огонь горевших домов. По окончании штурма, в одном из домов Еврейского квартала найдены были обезображенные трупы бежавших накануне фельдфебелей. Убили ли их турки по подозрению в шпионаже, как тогда говорили, или это был все тот же самосуд русского солдата — осталось неизвестным.

Только к свету удалось окончательно вытеснить неприятеля из города, и турецкие войска заперлись в стенах самой крепости. Наступило утро 16 августа. Пожар еще местами продолжал свое разрушительное дело; Ахалцихе тлел и дымился под пеплом своих

разрушенных зданий, и на развалинах всюду валялись еще обгоревшие тела защитников его, но битва совершенно затихла. А вместе с тем вступило в свои права и обычное добродушие русского солдата. Толпы турок — стариков, женщин и детей — тысячами бежали теперь на русские батареи, ища защиты и спасения, и русские солдаты, по собственному побуждению, помогали им спасать остатки скудного имущества. “Одна такая толпа,— рассказывает очевидец,— на моих глазах подымалась на крутые Северные высоты, и измученные дети то и дело отставали от семей; солдаты неоднократно собирали малюток, но, наконец, видя сокрушение матерей, опасавшихся потерять их в толпе, взяли детей на руки и, несмотря на собственную усталость, внесли их на высокую гору”.

Позиция, занятая русскими в городе и на окрестных высотах, давала возможность теперь уничтожить и крепость и цитадель сосредоточенным огнем артиллерии. Дальнейшая оборона представлялась уже немыслимой, и Киос Магомет-паша еще до восхождения солнца прислал парламентера с просьбой установить перемирие на пять дней. Паскевич отвечал на это, что дает гарнизону пять часов на размышление и что по истечении этого срока штурм будет возобновлен. Через некоторое время приехал второй парламентер. Паша соглашался сдать крепость, если гарнизон будет отпущен с оружием и имуществом. Русский главнокомандующий имел теперь все средства принудить осажденных сдаться безусловно и принять такую капитуляцию, которая им будет предписана, но он не хотел жертвовать для этого снова тысячами жизней. Русская кровь уже обильно оросила поля и укрепления Ахалцихе, а предъявлять к побежденным суровые требования значило заставить четыре тысячи отчаянно храбрых людей, заключивших себя в стенах цитадели, драться до последнего человека. Плененный гарнизон немногим увеличил бы славу русского подвига, а отпущенный — не мог быть опасен. И Паскевич изъявил согласие на отпуск людей с тем, чтобы знамена, пушки, ружья и все казенное имущество остались бы трофеями штурма.

Турки некоторое время еще колебались принять предложенные условия, а русские войска тем временем уже приблизились к самым воротам крепости, и генералы Сакен, Муравьев и полковник Бурцев потребовали от Киоса категорического ответа. Какой-то турок, стоявший на стене, предложил провести их к самому главнокомандующему. Но едва оба генерала и Бурцев вошли в цитадель, как ворота за ними затворились, и турки заговорили высокомерным тоном. Парламентеров не смутила, однако, эта неожиданность, и они спокойно заявили свои требования, а грозный вид полков, готовых возобновить прерванный штурм, и неизбежная месть, в случае предательства, заставили наконец турок принять капитуляцию. Условия были подписаны, и крепостные ключи немедленно отправлены русскому главнокомандующему,

В восемь часов утра Грузинский гренадерский полк с музыкой вступил в ворота цитадели и скоро его Георгиевское знамя гордо развевалось там, где в течение двухсотпятидесятилетнего турецкого владычества ни разу не развевалось еще чужеземное знамя.

Только тогда Паскевич, окруженный блестящей свитой, въехал в Ахалцихе. Кругом еще лежали страшные следы едва отгремевшего штурма: груды трупов загромождали улицы, и пожар во многих местах еще продолжался. Посреди этих развалин, мимо Паскевича медленно тянулось из города обезоруженное турецкое войско. Часть жителей, входивших в состав гарнизона, шла вместе со своими семействами и с приметной горестью покидала пепелища своих домов. Крепость и цитадель представляли не меньшее разрушение: многие орудия, стоявшие на стенах, были сбиты, у других исковерканы лафеты, снаряды различных калибров были беспорядочно разбросаны во многих местах; пороховой погреб, ютившийся в самом скрытом углу цитадели, был пробит нашей бомбой и не взорван

только по какому-то непостижимому чуду. Прекрасные купола главной мечети носили также ясные следы разрушения, и позолоченная луна, сорванная русской бомбой с минарета Ахмедиевой мечети, с самой высокой точки покоренного города, лежала на земле, как эмблема мусульманского владычества, ниспровергнутого здесь русским оружием. Она была приобщена к числу русских трофеев.

На всем пути, где проезжал Паскевич, войска встречали его восторженными криками. Поравнявшись с Ширванским полком, потерявшим во время штурма третью часть своих людей, он остановился, благодарил солдат за доблестную службу и между прочим спросил: “А много ли вас, ребята, осталось?” — “Штурма на два достанет, ваше сиятельство!” — бойко отвечал один из ширванцев.

Потери неприятеля вообще были громадны. Довольно сказать, что из четырехсот турецких артиллеристов только пятьдесят осталось в живых; сто человек янычар, находившихся здесь, легли на месте все до последнего; из тысячи восьмисот лазов убито тысяча триста; жителей погибло при штурме более трех тысяч и между ними до сотни женщин. Немаловажны были в этот достопамятный день и потери русских: по официальным данным убито и ранено шестьдесят два офицера и более шестисот нижних чинов. Ширванский полк потерял третью часть своих людей, и его знамена пробиты были семью картечами. Ценой этих усилий и жертв куплена была важнейшая твердыня в азиатской Турции, и вместе с нею пятьдесят два знамени, пять бунчуков и шестьдесят семь пушек, из числа которых пять оказались русскими, потерянными некогда на штурме Ахалкалаков и при осаде Ахалцихе. Неудачи Гудовича и Тормасова были отомщены Паскевичем.

“С пепелища Ахалцихе, после штурма, двенадцать часов продолжавшегося,— писал Паскевич государю,— имею счастье поздравить наконец Ваше Величество с покорением этого города, известного в целой Азии”. С этим донесением был послан Ширванского полка подполковник Юдин, один из тех, кому наиболее были обязаны успехом кровавого штурма. Но так как Юдин, происходивший из солдатских детей (он был сын фельдфебеля, дослужившегося в том же Ширванском полку до капитанского чина), был человек малограмотный и притом не бойкий на слова, то вместе с ним был послан артиллерийский офицер подпоручик Маркевич — для подробного разъяснения государю хода осады и штурма.

Юдин застал государя под Варной. И так как он имел Георгиевский крест за Елизаветполь, то император пожаловал ему чин полковника и орден св. Владимира 3-й степени, Маркевичу — следующий чин и Владимира с бантом. Рассказывают, что в разговоре с государем Юдин изъявил сожаление, что, получив Георгия 4-й степени, он вместе с тем по тогдашним правилам должен был снять с себя Георгиевский солдатский крест, полученный им еще в то время, когда он сражался с неприятелем под руководством своего отца, простого фельдфебеля, и потому дорогой ему по воспоминаниям. Император Николай вполне оценил чувство, руководившее в этом случае Юдиным, и разрешил ему, едва ли не первому в русской армии, носить оба креста вместе. Приезд Юдина под Варну совпал с катастрофой, постигшей там лейб-гвардии егерский полк в известном деле графа Залусского, и государь, как говорят, отправил Юдина в этот полк внушить солдатам, как должно служить царю и отечеству. Юдин, сознававший, что не лейб-егеря были причиной катастрофы, страшно конфузился, не знал что говорить, наконец, сказал: “Дали бы мне этих солдат, так я показал бы, что им никаких внушений не нужно”. Впоследствии Юдин командовал Грузинским гренадерским полком, но в 1832 году из-за ран был отчислен из армии с сохранением полного содержания по званию полкового командира и дожил свой славный век на юге России.

Государь, так милостиво принявший вестников падения Ахалцихе, пожаловал Паскевичу орден св. Андрея Первозванного и в то же время, желая ознаменовать подвиг Ширванского полка на штурме Ахалцихе, повелел, чтобы Ширванский полк именовался впредь полком графа Паскевича Эриванского [Высочайший приказ об этом состоялся 13 сентября 1828 года.]. Сверх того полку всемилостивейше пожалованы были Георгиевские трубы, а восьмой пионерный батальон получил Георгиевское знамя с надписью: "За отличие при взятии приступом Ахалцихе в 1828 году". Это славное знамя хранится ныне в рядах первого Кавказского саперного батальона. Подполковник Овечкин, штабс-капитан Разнатовский и командиры обеих казачьих батарей — линейной, есаул Зубков, и донской, подполковник Поляков,— получили Георгиевские кресты 4-ой степени. Главнокомандующий ходатайствовал о награждении полковника Бурцева тем же орденом 3-ей степени, но государю угодно было заменить эту награду арендой и чином генерал-майора.

Паскевич, со своей стороны, не находил слов, чтобы выразить чувства, волновавшие его по взятии Ахалцихе.

"С чувством живейшей признательности благодарю вас, храбрые товарищи,— писал он в своем приказе по окончании штурма.— В продолжение двадцатидвухлетней боевой моей службы много я видел войск храбрых, но более мужественных в сражении, более постоянных в трудах — не знаю. Деяния ваши останутся незабвенными в потомстве. Честь и слава вам, победители!" Паскевич научился понимать и любить эти войска, о которых с таким пренебрежением он отзывался, принимая их около двух лет тому назад из рук Ермолова. Между ним и этими войсками уже возникала та связь взаимной любви и доверия, которая составляет истинный залог военных успехов.

Вскоре случилось обстоятельство, которое еще более скрепило эти взаимные чувства. То было военное чувство, имевшее непосредственную связь с подвигами кавказских войск под Ахалкалаками и Ахалцихе. 10 сентября вернулся в Ахалцихе штабс-капитан Опперман, посланный из-под Карса курьером к государю, и привез с собою рескрипт о назначении главнокомандующего шефом Ширванского пехотного полка, которому повелено было именоваться полком графа Паскевича Эриванского. Опперман вручил Паскевичу и собственноручное письмо государя. Император благодарил его за военные подвиги, но еще более благодарил за то прекрасное поведение войск, которым они ознаменовали себя везде по отношению к мирному населению края. Государь видимо гордился этой народной чертой русского солдата. Паскевич, со своей стороны, поспешил объявить об этом войскам.

"Бранные труды ваши,— говорил он в своем приказе по корпусу,— превознесены вниманием всемилостивейшего Государя превыше ожиданий наших. Не говорю о себе — никакое слово не выразит моего чувства к милостям августейшего Монарха! К вам, товарищи, равномерно обращает он высокую благость свою и отеческое внимание. В собственноручном письме ко мне он повелевает передать вам: "Изъявите войскам совершенное мое удовольствие и признательность; поведение их после победы мне столько же приятно, как и славнейшие подвиги". Воины! Это слова вашего Государя. Какую награду поставите выше сего?"

На следующий день, 11 сентября, Ширванский полк представлялся своему новому шефу. С утра приемные покои Паскевича наполнились генералитетом и офицерами, представителями всех войск, находившихся в Ахалцихе. Тут же стояли грузинские князья, дворяне и старшины вновь покоренного турецкого пашалыка. Граф вышел в мундире Ширванского полка, наскоро пригнанном на него с одного из офицеров, и, с

благоговейным чувством признательности к государю, сам объявил о получении им новых знаков царского благоволения, объяснив бывшим здесь азиатам, как европейцы высоко ценят награды, которые должны оставаться в потомстве свидетельством о славным деяниях их предков.

А на обширном дворе знаменитой Ахмедиевой мечети приготовлен был уже аналой со святыми иконами. Ширванский полк тут же стоял под ружьем; кругом его теснились солдаты других частей, пришедшие поздравить ширванцев с царской милостью. Ровно в двенадцать часов Паскевич вышел из дворца, в сопровождении огромной свиты. Раздалась команда “На караул!”, и когда по данному знаку умолк звук музыки и барабанов, главнокомандующий обратился к полку с короткой речью: “Ребята! — говорил он.— Государю Императору угодно было назначить меня вашим шефом. Признательный к милостям царя, я горжусь этой новой почестью, которая сближает меня с вами, ширванцы!”

“Ура!” раздалось по рядам полка и было подхвачено всеми присутствующими.

Паскевич был растроган; те же чувства волновали и храбрых ширванцев. Скомандовали “На молитву!”. Полк опустил ружья, и один из штабс-фицеров громко прочел Высочайший рескрипт, который все выслушали с обнаженными головами. “Я совершенно уверен,— было начертано в нем,— что усугубится ревность ваша к понесению трудов славных и отечеству полезных”. При этих словах взоры всех невольно обратились на крепостные стены и на окрестные высоты — на эти немые свидетели новых, недавних подвигов, к которым еще не относился рескрипт. И что лучше могло соответствовать надеждам царя, как не объявление среди покоренного Ахалцихе рескрипта о взятии Карса, Ахалкалаков и Хертвиса. Что могло служить лучшим ответом, как не падение самого Ахалциха?

Началось молебствие. Солдаты, передавая друг другу ружья, выходили поочередно из рядов и приносили на аналой свои посильные лепты. Только тот может определить настоящую цену этой кучки набросанной меди, кто знает сам, как дорога копейка солдату в походе.

Окончилась молитва, и знамена Ширванского полка, окропленные святой водой, в первый раз отнесены были в квартиру к новому шефу. Проводив их до крыльца, Паскевич просил подполковника Бентковского, временно командовавшего тогда Ширванским полком, пригласить к нему откушать всех господ офицеров. Потом он обратился к солдатам: “И вас, ребята, прошу к себе отобедать,— сказал он громко,— я хочу сегодня с вами разделить время!”

Между городом и лагерной позицией, занятой русскими еще 5 августа, простиралась небольшая равнина. На этой равнине и поставлены были столы для ширванцев. Полк выступил из цитадели прямо туда, а вслед за ним вскоре приехал и Паскевич со своей свитой. Обходя ряды, Паскевич приветливо говорил со всеми нижними чинами, потом налил водки и провозгласил здоровье государя императора. При громких криках “Ура!” под стенами покоренного города была выпита храбрым полком эта заветная чара. Затем, когда командир ширванцев провозгласил здоровье шефа, один из старейших унтер-офицеров вышел вперед и сказал громким голосом: “Ваше здоровье, ваше сиятельство!” Ширванцы подняли чары и снова задушевное “Ура!” грянуло там, где еще недавно оно гремело грозою, вестником смерти и ужаса.

Паскевич стал посреди пирующих ширванцев.

“Благодарю вас, друзья мои,— говорил он.— Мне приятно разделить с вами радость в тех местах, которые вы приобрели своей храбростью. Я старый воин и смело могу сказать, что вы, ширванцы, показали редкий пример в военном деле. Вы хладнокровно, сомкнутыми колоннами, с песнями пошли на приступ. Турки пустили в вас дождь пуль и картечи; знамена ваши были пробиты, многие свалились от первого залпа, другие заменили павших товарищей, и вы — ружье на перевес — ворвались в город без выстрела. Следуйте и всегда этому правилу. Стрельба — знак робости, которая ободряет неприятеля; храброе, хладнокровное приближение без выстрела всегда приведет его в трепет. Ваш командир, полковник Бородин, повел вас молодцом — честь и слава покойному! Я много служил на поле чести, но видел только два подобных примера — оба в войну 1812 года!”

Кстати и хорошо была сказана задушевная речь. Восторгу солдат не было пределов. Все сознавали, что они действительно молодцы, недаром еще “сам батюшка Алексей Петрович” называл их каким-то чудным именем “десятого легиона”. Если бы полк уже не был Ширванским, то с этой минуты он мог бы стать им, потому что солдаты чувствовали, что не знают равных себе. А это чувство никогда не остается бесследным, и оно резкой, характерной чертой прошло через всю историю Ширванского полка до нашего времени.

Еромоловское обаяние перешло теперь и на Паскевича.

Закусив праздничным пирогом и солдатскими щами, граф возвратился в цитадель. Во дворце паши, где жил Паскевич, уже накрыт был стол. Начался обед с бесконечными тостами. Невольно останавливался взор на картине, которая представлялась с той стороны, где сидел Паскевич: это было самое счастливое сочетание предметов, возбуждающих чувство восторга и величественные воспоминания. Граф сидел посредине длинного стола, в простенке между двумя большими азиатскими окнами; ширванские Георгиевские знамена, пробитые под Ахалцихе, были привязаны крест-накрест к оконным решеткам, и, тихо колеблемые ветром, они развевались над самой головой победоносного вождя. Вдали тянулись берега Ахалцихе-Чая, по которым русские войска, под его предводительством, пришли для покорения Ахалцихе. Это был путь многотрудный: громады крутых гор, непроходимые дороги... Но там, где с трудом проезжал одиночный всадник, русский солдат на своих плечах перетащил тяжелые осадные пушки. Ближе — развалины города, оживленные славными воспоминаниями. Там каждый шаг стоил потоков крови, и каждый шаг ознаменован подвигами русских, гибелью врагов. За городом, по возвышениям, виднеются остатки осадных укреплений, теперь никому не нужные, заброшенные; внизу, под скалою, на которой стоит дом паши,— веселые группы пирующих ширванцев... Чувство редкого, неповторяющегося счастья отражалось на лице полковника. И не забыли этого дня до гроба ни он, ни его ширванцы, которые с тех пор в длинной истории Кавказской войны так и стали известны под именем Графцев.

Через пять дней после этого празднества Паскевичу случилось быть в лагере. Это был царский день, и главнокомандующий слушал обедню в походной церкви, а потом заехал в Ширванский полк. Во время завтрака к палатке командующего полком полковника Кошкарева явились полковые песенники, и запевала поднес Паскевичу новую штурмовую песню, написанную одним солдатом на мотив “Ой, во поле липонька стояла”,— той самой песни, с которой ширванцы пошли на штурм Ахалцихе.

Граф вышел к песенникам, и они, под аккомпанемент своих барабанов, запели.

Ой, между гор —
Ахалцих стоит,
А вокруг стена —

Ров широк лежит,
Там турецкая рать —
Стоит сила грозная,
Несметное числом —
Несметное воинство.
Палят пушки —
Палят пушки вражий,
Блестят ножи —
Блестят ножи острые,
Свистят пули —
Свистят пули меткие.
Возмутилися —
Возмутилися турки все,
Хотят отбить —
Хотят отбить русских.
Да наш-то граф —
Поди, зол на них,
Не любит он —
Не любит их он баловать;
Как возговорит он —
Своим громким голосом:
“Ой, храбрый мой —
Мой Ширванский полк,
Поди возьми —
Поди возьми Ахалцих”.
Ой, тронулся —
Вот пошел Ширванский полк.
Он шаг ступил —
Шаг ступил — за ров махнул,
Другой ступил —
Свалил стену крепкую,
Рукой махнул —
Побил силу вражию,
Огнем дохнул —
И воспылал турецкий град.
Ой, солнышко —
За горы, горы спряталось,
И на стене —
Веет знамя русское,
А русский царь —
Хвалит храбрых воинов.
Ширванский полк —
Графу он пожаловал.
Дай Боже нам —
За царя костями лечь.
Служить весь век —
С нашим шефом храбрым,
Носить его —
Носить имя славное,
И покорить царю —
Всю землю турецкую.

Щедро одарив и автора и песенников, Паскевич уехал домой, а гости долго еще пировали, слушая эту штурмовую песню.

Такой радостью отразилось в походном мире Кавказского корпуса падение Ахалцихе. А немногими днями раньше Тифлис ликовал, торжественно празднуя тот же штурм, но уже не как простое взятие неприятельской крепости или удачный шаг в войне, а как гибель “разбойничьего гнезда”, с падением которого разрушался и источник вековых бедствий Грузии. Когда ахалцихские трофеи, на другой день после штурма отправленные в Тифлис, прибыли туда 23 августа и торжественно возились по городу при колокольном звоне и пушечных выстрелах со стен старого Метехского замка, великая радость овладела всем населением. Тысячи народа сопровождали процессию. Падение Ахалцихе было народным празднеством для Грузии. Сколько веков страшное имя разбойничьего города было грозою для старого Тифлиса! И вот теперь его бунчуки, его знамена и самая луна, сорванная со знаменитой мечети,— все свидетельствовало воочию, что не грозит уже более ужасами набегов страшная крепость. А вместе с этим Грузия праздновала возвращение в свое лоно древнего достояния своих царственных венценосцев, так давно отторгнутого от нее и обращенного в вечно грозящий вражеский лагерь.

Прошли многие годы, но память о славном штурме Ахалцихе не умерла в потомстве. Простая солдатская песня, сложенная современниками, увековечивает это событие в памяти солдат, а история хранит о нем достойные его воспоминания.

Нужно сказать, что песня на покорение Ахалцихе сочинена рядовым Херсонского гренадерского полка Любимовым, человеком совершенно безграмотным. Любопытен способ, к которому прибегал этот Любимов для возбуждения в себе поэтического вдохновения: он обыкновенно сочинял свои песни на полке жарко натопленной бани, и по мере того, как у него складывались строфы, их записывал полковой каптенармус. Вот эта песня, истинный образчик бесхитростной поэзии русского солдата.

Ночь ужасна наступала,
Канонада замолчала.
Вдруг приказ — весь лагерь снять,
Чтоб Ахалцих-город взять.
Мы в году двадцать восьмом
Ахалцих-город возьмем.
Генералы тут спешили,
Подчиненным говорили:
“Дети, время турок бить,
Время в городе нам быть;
Пойдем драться с врагом гордым,
Он довольно был упорным;
Пора гордость наказать,
Пора город штурмом брать”.
Недалеко войска стали;
Турки все еще молчали;
Их паша не помышлял,
Чтоб Паскевич город взял.
Как увидели злодеи
Со высокой батареи —
Громко начали кричать:
“Идет русский город брать!”
Тут саперы подбежали,

Палисадник подрубали.
Жужжат пули, гремят пики,
Летят камни, гром великий,
А картечи, равно град,—
Русски ж идут город брать.
Смерть нам вьется над главами;
Турки суются толпами;
А ширванцы наши в славе —
Были первые в канаве,
Влезли прежде всех на вал,
Как враг храбро ни стоял.
Предводители все смело
Исполняли свое дело.
Турок крепко защищался,
Долго в руки не давался;
Но что может против стать? —
Русски лезут город брать.
Несмотря на огонь жестокий,
И на ямы, рвы глубоки,
И на крепкий палисад —
Русски лезут город брать.
Неприятель устрашился,
Он от валу отступился,
И рассыпался по граду,
Чтоб сыскать ину ограду.
А херсонцы там стоят,
Во все стороны палят.
Враг опять начал стрелять,
Чтобы русских отгонять;
Но не стало в нем уж силы —
Егеря его там сбили.
С кровлей турки вниз летят,
Как снопы везде валят.
Они скрыться хотят в поле
От своей несчастной доли,
Но пока войска бежат.
Русски всюду их разят.
А Касо-паша ужасный.
При своем часе несчастном,
Не умел он, что творить,
Не знал русских как отбить.
Он в отчаянье приходит,
Всех чиновников выводит,
Велит ружья все бросать
И знамена преклонять.
Русски градом овладели,
Туркам в плен идти велели.
В изумленье те стоят,
С озлоблением глядят.
Трепещите ж вы, аджарцы,
Не спасли вас ваши шанцы,
Не защита вам и лес,

Если русский сюда влез.
Покоритесь же державе,
Процветает коя в славе.
Наш Паскевич вас простит,
Вы должны лишь верны быть.

Песня эта, теперь уже забытая, пелась еще в пятидесятых годах во многих полках старого Кавказского корпуса.

Любопытный путешественник, который посетит нынешний город Ахалцихе, невольно остановит внимание на православной церкви, носящей следы глубокой древности. История расскажет ему, что храм этот и есть знаменитая Ахмедиева мечеть, с которой связывалось в Ахалцихе столько славных преданий. Мечеть представляла собой довольно странное явление в этой чисто разбойничьей общине. Среди лабиринта нескладных азиатских строений и среди древних зубчатых стен цитадели возвышались позолоченные купола ее, напоминавшие о правильном европейском зодчестве,— и действительно, она построена была, как говорят, по образцу Св. Софии в Константинополе. Основание ее относят к 114 году магометанской эры и приписывают Ахмед-паше, память которого, сохраняющаяся в самом названии мечети, и поныне чтится местными жителями. Мечеть выстроена из тесаного камня; толстые столбы, окружающие и поддерживающие обширное здание, скреплены широкими медными обручами, а на весьма высоком куполе, покрытом снаружи свинцовыми листами, водружены были, как символы мусульманской религии, золотые полумесяцы. Внутри здание было украшено множеством люстр и паникадил, которые могли считаться образцом восточного вкуса; но стены его, кроме нескольких изречений из Корана, не имели никаких посторонних украшений. Спереди был род небольшого алтаря, обложенного зеленой яшмой; налево — возвышенное место, поддерживаемое колоннами. Несчастная мысль поставить это возвышение стоила, по преданию, жизни самому строителю мечети Рассказывают, что, когда храм был готов, строитель его, визирь Ахмед-паша, приказал устроить в нем для себя особое возвышенное место. Подобное право принадлежало, между тем, только султанам, и Константинопольский диван взглянул на это дело, как на оскорбление верховных прав падишаха. Несчастный строитель храма был признан виновным в оскорблении величества и приговорен к смертной казни через задушение. Благочестивый Ахмед-паша принял с благоговением присланный ему священный шнур и сам лишил себя жизни. Местные жители отдали праху его необыкновенные почести. На обширном дворе, в который ведут широкие красивые ворота, стоят и теперь два скромные памятника, обнесенные решеткой. На одном из них вырезана надпись: “Здесь покоится прах богоугодного визиря Ахмед-паши, скончавшегося в 1173 году Еджры”; другой памятник указывает могилу его жены Айше-ханум. На втором, внутреннем дворе мечети, примыкая глаголем к самому храму, стояло прежде большое каменное двухэтажное здание, служившее для помещения мулл, ахундов и прочего духовного причта. Здесь же помещался известный ахалцихский лицей, при котором находилась одна из богатейших восточных библиотек. Лицей и библиотека — лучшие памятники деятельности Ахмед-паши, и в них объяснение, почему имя этого визиря благоговением передается из поколения в поколение Ахмедиева мечеть обращена русскими в православный храм, посвященный Успению Пресвятой Богородицы, которое празднуется, в день Ахалцихского штурма. И ныне крест, воздвигнутый над нею, говорит воображению о новой жизни, наставшей для города, бывшего источником бедствия и ставшего источником благосостояния народного.

А знаменитая библиотека, с ее драгоценными рукописями, в качестве трофея вывезена в Петербург и ныне на пользу науки хранится в императорской публичной библиотеке. В числе ее манускриптов найдены были такие, которые тщетно разыскивались учеными

любителями восточной литературы по всей Персии и в Ардебиле. Рассказывают, что когда в Ахалцихе разбирались рукописи, русский чиновник поднял с пола ядро, залетевшее в библиотеку во время бомбардирования, и спросил в шутку присутствовавшего здесь эфенди: “К какому же разряду мы отнесем вот это послание?” — “Запишите его,— сказал старик с глубоким вздохом,— в разряд памятников о превратностях здешнего мира”.

При самом въезде в Ахалцихе, на почтовой дороге, стоит скромный монумент, на котором начертан год покорения крепости и имена храбрых офицеров, павших при штурме ее. Это — след пребывания покойного императора Николая Павловича на Кавказе. Проезжая через Ахалцихе в 1837 году, государь посетил могилу, где были зарыты павшие воины, и повелел тогда же на месте ее воздвигнуть памятник. Царская мысль осуществлена была, однако, спустя лишь двадцать четыре года, уже в новое царствование, во время наместничества князя Барятинского. Памятник в византийском вкусе поставлен в 1861 году, и на нем скромная надпись: “В память воинам, павшим при осаде и взятии войсками в 1828 году Ахалцихской крепости”.

Немногосложна эта надпись, но как много говорят простые слова ее тому, кто знает, сколько невероятных подвигов и жертв стоила эта кровавая победа над упорным и сильным Ахалцихе.

XI. АЦХУР И АРДАГАН

Завоевание Ахалцихе, по самой логике вещей, предполагало сложный ряд второстепенных действий, которые должны были упрочить за нами это завоевание. Пал главный город пашалыка, но самый пашалык еще предстояло подчинить русской власти разумной политикой, а где нужно — и силой оружия. Население было враждебно или, по крайней мере, не знало чего держаться, а в руках неприятеля были еще два сильно укрепленные пункта — это Ардаган на юге, и Ацхур на северо-востоке. В то же время, чтобы стать прочной ногой в покоренном крае, необходимо было поспешить с разработкой удобных сообщений с русскими землями, а Ацхур именно и лежал на одном из обычных путей и враждебных и мирных сношений Ахалцихского пашалыка с Грузией, Этими обстоятельствами вполне определялись задачи, предстоявшие Паскевичу.

Первой заботой главнокомандующего было восстановить внутренний порядок в Ахалцихе и тем привлечь на свою сторону жестоко пострадавшее от войны население. На другой же день по занятии крепости учреждено было областное правление, и начальником пашалыка назначен генерал-майор князь Василий Осипович Бебутов — человек хорошо образованный, гуманный, большой знаток восточных языков, нравов и обычаев. Умиротворение разоренного и обнищавшего края было тяжелой задачей, требовавшей с его стороны большого политического такта и энергии. Город лежал под пеплом или в развалинах, множество жителей его скиталось без всякого пристанища и, в буквальном смысле, без куска хлеба. И вот немедленно были собраны сведения о наиболее пострадавших, и каждому оказана посильная помощь, не разбирая степени участия его в делах против русских войск; на первый же раз было роздано более трехсот восьмидесяти шести червонцев. Великодушие победителей, молва о котором быстро облетела окрестности, поразило не привычное к нему население и сразу принесло богатые плоды. Еще Ахалцихе дымился под пеплом, на его развалинах еще валялись обгоревшие тела защитников, а в ближайших деревнях уже закипала обычная жизнь мирного времени, народ принимался за промыслы, торговлю и сельские работы. Такое доверие к русским было столь необыкновенным проявлением в крае, что император Николай впоследствии отметил его особым вниманием.

А в крепости, между тем, кипела деятельность иного, чисто военного свойства. Нужно было исправить ее, улучшить оборону, частью пострадавшую от огня артиллерии, а частью расположенную без соблюдения правил военного искусства. Нужно было обеспечить ее продовольствием на предстоящую зиму, так как, несмотря на плодородие края, жители, благодаря войне, не могли собрать достаточного количества хлеба не только для продажи, но и для собственного пропитания. Источников продовольствия нужно было искать в Закавказье, а для этого необходимо было спешить устройством с ним прочных сообщений. Предстоял выбор одного из двух путей: или через Ханское ущелье, лежавшее в Коблиенских горах,— в Имеретию, или через Боржомское ущелье — в Грузию. Первая дорога, доводившая до Усть-Цхенис-Цхальской пристани на Рионе, где был устроен складской пункт продовольственных запасов, доставляемых по Черному морю, была важнейшей. Здесь, через пограничное имеретинское селение Богдад, считалось менее ста верст, но тропинка, пробитая в скалистых ущельях, была так узка, что по ней не могла пройти даже навьюченная лошадь. Немедленно, по занятии Ахалцихе, Паскевич приказал приступить к разработке именно этой дороги. Для расширения ее взрывались огромные камни и даже целые скалы, но перевозка по ней провианта все-таки не имела успеха. Первый транспорт, направленный из Богдада под прикрытием роты пехоты и горного единорога, в восемь суток едва мог пройти сорок верст, причем множество вьючных и четыре артиллерийские лошади свалились с кручи. А между тем, чрезвычайный недостаток вьючного скота в Имеретии и без того страшно затруднял сообщение. В конце концов пришлось обратиться к дороге Боржомской. Нужно сказать, что уже на другой день по взятии Ахалцихе, 17 августа, Паскевич отрядил генерал-лейтенанта князя Вадбольского с батальоном пехоты и двумя казачьими полками, при шести орудиях, овладеть Ацхурским замком, запиравшим вход в Боржомское ущелье со стороны Ахалцихе. Город Ацхур, современный первому грузинскому царю Фарнаозу, построенный за три века до Рождества Христова, в грузинских летописях значится местом евангельской проповеди Св. апостола Андрея Первозванного. И поныне там существует храм во имя Пресвятой Богородицы, бывший некогда кафедрой митрополитов. Турки истребили здесь христианство, но жители, оставшиеся преданными вере своих отцов, удаляясь в Имеретию, унесли с собой между прочими святынями и древнюю храмовую икону Божьей Матери, именующуюся еще и теперь Ацхурской; она хранится в Гелатском монастыре и считается чудотворной. Старый замок Ацхура разрушен турками, новый — построен ими же, в XVI столетии, когда они отторгли от Грузии Самхетскую провинцию, и с тех пор Ацхурская скала, по важности своего положения на самой границе, во всех войнах играла выдающуюся роль. Так было при грузинских царях, так было и в то время, когда, в июле 1828 года, русский корпус шел через громады Чалдырских гор к Ахалкалакам. Пользуясь относительной безопасностью от русских войск, занятых тогда покорением сильнейших крепостей Ахалцихского пашалыка, ацхурский гарнизон сам пытался перейти в наступление и вторгнуться в Грузию. 21 июля конная партия турок, человек в пятьсот, двинулась из Ацхура кратчайшей дорогой, прямо руслом Куры, чтобы пробраться к русской границе. На пути, верстах в тридцати выше древнего Боржомского замка, при Гогиасцихе, стоял небольшой пост, который миновать было нельзя, и турки решились истребить его. Случилось, однако, что в то время, когда проходила партия, в густом прибрежном лесу была команда херсонских гренадер. Заметив неприятеля, солдаты открыли огонь через речку. Турки, не обращая на это внимание, ускорили только ход и вдруг бросились на Гогиасцихе, где стояло человек сорок картлийской милиции, под начальством штабс-капитана князя Визирова. Выстрелы гренадер предупредили пост об опасности и не дали захватить его врасплох. Первое нападение было отбито. Но в это время с гор спустилась другая партия, затем еще две, пешие, показались на утесах и скалах Боржомского ущелья, и пост был окружен. Перестрелку услышали, между тем, в деревне Садгир, где стояла рота херсонцев, которая тотчас же поспешила на помощь. Но так как со стороны Садгира показались новые партии, то рота должна была возвратиться

назад, и грузины остались одни. Не теряя мужества, князь Визиров защищался геройски, отбил несколько приступов и, в конце концов, заставил турок отступить с большой потерей. Это был один из славнейших подвигов картлийской милиции в войну 1828 года.

Подобных нападений со стороны Ацхура можно было ожидать постоянно, и потому необходимо было покончить с ним как можно скорее. От Ахалцихе до Ацхура всего двадцать девять верст, и князь Вадбольский подошел к нему в тот же день, 17 августа. Гарнизон замка, состоявший из пятисот лазов и тысячи вооруженных жителей, уже готов был к обороне. Правда, сравнительно небольшому Ацхуру трудно было держаться после падения Ахалцихе, но штурмовать цитадель, построенную на гранитной скале в несколько ярусов, было тем не менее рискованно. К стенам се вела единственная узкая тропа, и четырнадцать пушек и полторы тысячи ружей могли совершенно смести штурмовую колонну. На предложение сдаться гарнизон отвечал отказом. Тогда несколько ахалцихских старшин, сопровождавших русский отряд, добровольно вызвались отправиться в замок и уговорить ацхурцев. С ними отправился и штабс-капитан грузинского ополчения князь Мамука Орбелиани. Они развернули перед глазами ослепленных жителей кровавую картину ахалцихского штурма и успели поколебать их мужество. Лазы, еще во время переговоров, отступили в горы, и ацхурцы отворили ворота. Крепость с четырнадцатью орудиями и шестью знаменами взята была без выстрела.

Вслед за тем немедленно началась и разработка Боржомского ущелья, тогда еще недоступного для обозов. Во многих местах теснины его образовали единственное русло, по которому шумно и бешено мчалась Кура, и в подобных местах приходилось делать обходы по весьма высоким горам, где зимою бушевали метели и прекращался всякий проезд. Работы возложены были на инженер-подполковника Эспехо, с батальоном Мингрельского полка, вызванного из Имеретии, и дело поведено было с такой энергией, что к концу августа повозочное сообщение с Картли через Боржомское ущелье уже совершенно установилось. Вместо горных троп, по которым с трепетом пускался одиночный всадник, прошла широкая, хорошая дорога, и из Ахалцихе тотчас потянулись по ней в Грузию транспорты с больными и ранеными. Гром русских побед имел такое влияние, что в боржомских лесах, искони славившихся разбоями, водворилась теперь безопасность, и проезжающие без всякой боязни, даже ночью, отправлялись через эти леса только с одним проводником из местных.

Завоевание Боржомского ущелья, которое с тех пор навсегда уже осталось в русской власти, было величайшим благом для окружающих стран. Ныне путешественник, среди его величавых скал и глубоких пропастей, встречает сменяющиеся ландшафты; в вековые утесы его вросли многоцветные дворцы, и повсюду видны знамения цивилизации. Ныне Боржом с его окрестностями слывет “перлом Кавказа”, и его прохладные высоты служат убежищем городскому жителю, истомленному летним зноем благословенной Иверии. Не то было в то время, когда победоносный меч Паскевича прошел по скалам Боржома. Первобытная дичь и глушь широко раскрывали тогда перед путником свои мощные объятия. Таинственностью и вековым мраком веяло на него отовсюду, и непостижимый ужас подавлял человека, переступавшего заповедную грань волшебных лесов. Много чудных и страшных легенд создал народ о диких дебрях Боржома, о тех сверхъестественных силах, которые обитали в них и околдовывали слабый ум человека волшебными чарами.

Вот что рассказывает одно из таких глубоко поэтических и запечатленных седой древностью народных преданий.

“Заря угасала. Высокие громады гор угрюмо обступили долину. Их длинные тени сходились все ближе и ближе и, расплываясь непроницаемым мраком в безмолвном лесу и тесном ущелье, наполняли душу трепетом враждебной таинственной силы. В расщелине скал, глубоко внизу, бешено клокочет Кура, и грохот ее далеко оглашает окрестности.

На вершине заоблачной горы, в дремучем лесу, окутанном серым туманом, задумавшись, с топором в руке, стоит Гиголь, вперив неподвижный взор свой в вековую сосну. Тяжела и пуста казалась жизнь Гиголю без черноокой Майки, а Майка — невеста другого.

Не раз под этой сосной, отдыхая от долгих трудов, мечтал Гиголь о своей черноокой и поверял бессловесному дереву свои затаенные думы. Он вслушивался в шелест иглистых ветвей, и мнилось ему, что это не ветви шепчутся с ветром, а Майка лепечет ему свои сладкие речи. Все грезы Гиголя о счастье родились под этой волшебной сосной, к ней прикован он был таинственной силой, и ничей топор не смел замахнуться на заповедное дерево. И вот надежды на счастье исчезли. Майка — невеста другого, а сосна как и прежде навевает сладкие думы любви. И Гиголь, очарованный, напрасно стремится вырвать и душу и мысли из этого волшебного круга.

— Нет! — воскликнул он наконец, замахнувшись своим топором.— Отженю волшебство, срублю заколдованное дерево!

Но ступил шаг — и видит... Боже великий! Не сосна то — Майка стоит перед ним вся в белом и простирает к нему объятия... Бросился к ней Гиголь — и грудью натолкнулся на холодное дерево.

Туманы скользили по горным вершинам, то обвивая, как саваном, вековые деревья, то распахнувшись и крутясь, как гигантские змеи, уносились порывом воющей бури.

Гиголь трепетал, пораженный сверхъестественным страхом, и капли холодного пота проступили на его бледном лице. Он отступил от сосны, но какая-то волшебная сила неудержимо тянула к ней его взор. Он оглянулся — опять видение в образе девы простирает к нему объятья, а чей-то злобный хохот раскатывается по окрестному лесу. Ярость и месть забушевали в душе Гиголя. С проклятьем он прянул к сосне, и с визгом топор глубоко врезался в дерево. Стоны и вопли понеслись по дремучему бору, и кровь брызнула на лицо и платье Гиголя. Несчастный, с помутившимся взглядом, бросился он в лес и без чувств упал на сырую землю.

А буря ревела в ущелье, гром грохотал, и с визгом и воем порыв урагана в прах низвергал вековые деревья...

Тихо и ясно. Ночное небо искрится звездами. А в лесу, под шатром гигантских деревьев, дико, мрачно, безмолвно.

Под навесом закоптелой от дыма скалы горел обширный костер, взметая клубы багрового дыма и озаряя угрюмые сосны. Окончив дневные труды, сидели у костра плотовщики, благоговея перед грозной тишью дремучего бора и передавая друг другу вином наполненные чаши. Всех мрачнее был бледный Гиголь. Много дней прошло уже с тех пор, как он одинокий скитался в лесах и наконец пристал к плотовщикам, думая тяжелой работой рассеять терзавшие его мучения. Но покой бежал от души Гиголя. То дико озираясь на лес, то вперяя мутные очи в пламя костра, он трепетал и судорожно обтирал рукой лицо, а на руках все казались ему кровавые пятна; а в огне, в лесу неотступно являлось видение, все в белом, с зияющей раной в груди, и манило его в объятия.

— Полно так горевать,— сказал ему один из плотовщиков,— вот, Нико был также женихом, да умерла невеста...

— Умерла!.. Майка умерла! — завопил Гиголь, прерывая слова товарища.— Нет! Я убил ее. Я разрубил ее топором... Вот она, вся в крови, и манит меня в объятия!..

И с пеной у рта, исступленный, бежал Гиголь от страшного видения, а товарищи, цепенея от ужаса, озирались кругом, и чудилось им, что Майка устремлялась за безумным Гиголем.

Уже и плоты были готовы, и плотовщики один по одному отправились в опасное плавание. Но не было духа у Гиголя выйти из темных дебрей на свет Божий: на душе его лежало убийство.

Наконец решился и он...

Недвижны громады гор; недвижны сосны и ели; буря уснула в ущельях; безмолвно и грозно повсюду.

Одна лишь река, разорвав недра каменных гор, в вечной борьбе с врагом, клокоча, грызет подводные скалы и в бессильной злобе кружится водоворотом, кипит пеной, воет — и вдруг, прядая через вершины скал, с сокрушительной силой несется до новых порогов... А подводный утес Чибисхева, грозной пятой упершись во враждебное лоно, с презрением встречает удар — и волны разметываются пылью.

Смеркалось; туман ложился на воды. Скользя через камни, в пене и брызгах, на утлом плоту плывет по Куре печальный и бледный Гиголь; он склонился к правилу и смотрит в бушующие волны. Вот сквозь туман неясно очертились перед ним Чибисхевские скалы. Высоко, на гибель пловцам, вздымаются седые зубцы их над пеною волн, и нужна человеку вся смелость разумной отваги, вся сила мощной искусной руки, чтобы выйти победителем среди этой борьбы разъяренной стихии с враждебным ей гранитным гигантом.

Гиголь очнулся от дум. Он поднял взор на Чибисхевские скалы — и кровь застыла в его жилах. Майка стоит на пороге, вся в белом, кровавая рана зияет у нее на груди, и манит она его в раскрытые объятия и диким хохотом потрясает окрестность.

Ужас отнял силы и память Гиголя; правило упало из рук; закружившийся плот подхватили свирепые волны и быстро погнали его на скалы... Помертвевший Гиголь слышит хохот Майки и неведомой силой несется прямо в ее объятия...

С размаха плот налетел на скалу. Через зубья порога разом хлынули волны — и все исчезло в шумном водовороте.

И теперь еще на скале Чибисхеви путник увидит остатки разбитого плота, и местный житель скажет ему, что это плот Гиголя”.

Таковы предания Боржома.

Много веков пронеслось над диким ущельем, много исторических картин сменили друг друга и канули в вечность. И там, где в последнее время замерли все отзвуки жизни, где, как зверь, подстерегал свою добычу хищный лезгин, рыскал горный шакал, да одинокий

орел сторожил свое гнездо на недоступной скале, там некогда жизнь била полным ключом, стояли Господние храмы, и в диких дебрях раздавались слова всепрощающей любви и молитвы. Недалеко от Ацхура, в дремучих лесах, стоят и поныне замечательные развалины одной церкви, в которой по давним преданиям, переходившим из рода в род, хранилась какая-то древняя книга. Все знали это предание, но никто не интересовался проникнуть в тайну веков, чтобы узнать, когда и при каких условиях существовала эта старинная церковь. Только тогда, когда Ацхур перешел в русские руки, и слух о таинственной книге дошел до преосвященного экзарха Грузии Исидора, оставившего в Иверии так много следов своей духовной деятельности, он в 1849 году поручил священнику Гамрекулову разыскать забытый храм, а в нем ту удивительную книгу, в которой, быть может, хранится ключ ко многим историческим сведениям, изглаженным веками из памяти народа.

Гамрекулов нашел в Ацхуре одного мусульманина, по имени Дадо, уже древнего старика, который передал ему, что лет тридцать тому назад он лично видел эту священную книгу, и, по его словам, уважение к ней лезгин, граничившее с суеверием, было так велико, что даже рука разбойника не смела коснуться ветхих листов ее, и священная книга оберегала остатки христианского храма от окончательного разрушения.

Церковь, куда Дадо привел Гамрекулова, находилась в дремучем лесу, в шести часах пути от Ацхура. По всей вероятности, это был монастырь, так как кругом его не было даже признаков какого-нибудь поселения, и потому-то, быть может, самое место, где стояла эта обитель, было известно только немногим.

Небольшая по своим размерам церковь, несмотря на тяжесть пронесшихся над нею веков, еще сохранилась настолько, что можно было судить о красоте и изяществе ее архитектуры. В ней уцелел и престол, и жертвенник, и даже две иконы, высеченные на камнях. Время стерло лики святых, и только на одном из камней осталось неясное изображение Воздвижения Креста. На жертвеннике лежала раскрытой та самая книга, которая, по словам Дадо, лежала на этом месте целые века турецкого владычества. К сожалению, Гамрекулов нашел только один толстый кожаный переплет, а листы ее были съедены, как он полагал, лисицами.

Таким образом, мудрость христианской книги, пощаженной даже руками разбойников, осталась навеки глубокой тайной...

Вскоре после занятия Ацхура та же судьба постигла и другой укрепленный пункт Ахалцихского пашалыка — Ардаган. Но совершить его завоевание досталось на долю войскам, остававшимся в Карее.

В то время, когда Паскевич шел под Ахалцихе, в Карсе еще свирепствовала чума, и гарнизон крепости, состоявший из Крымского пехотного полка, много потерпел от заразы. Прочие войска, расположенные лагерем на Карадаге, избежали этого бедствия. Неприятель также не беспокоил их. Тревожные минуты пришлось пережить гарнизону только в то время, когда Киос Магомет-паша, в начале августа, появился было в окрестностях Карса. Но турки быстро ушли под Ахалцихе, и всякая опасность миновала. В соседстве с Карсом остались лишь конные партии, искавшие легкой поживы в армянских селениях.

Одна из таких партий, 7 августа, напала на деревню всего в десяти верстах от крепости. Двести казаков, выскочившие на тревогу из Карса, настигли неприятеля, уже возвращавшегося с добычею. Тысячная толпа карапапахов легко отбросила горсть наших

казаков, но тут подоспел батальон егерей с четырьмя орудиями и конная армянская дружина. Разметанные огнем, турки пустились уходить в разные стороны, казаки и армяне горячо преследовали их, пехота и артиллерия не отставали. На протяжении тридцати верст, до самых Саганлугских гор, казаки и егеря неотступно сидели на плечах неприятеля и заставили его бросить добычу. Потери, понесенные партией, по всей вероятности, были велики, так как артиллерия, опережая конницу, все время провожала ее гранатами. Пленных было немного, но в числе их находился сам начальник партии Хамид-бек, захваченный казаками в тот момент, когда под ним была убита лошадь. Это был человек с положением и большим весом среди своих единоземцев, так как три брата его занимали видные посты в турецкой армии, и все трое были двухбунчужными пашами. В Карее Хамид говорил, между прочим, что никогда не решился бы на такой отважный набег, если бы не был обманут лазутчиками, утверждавшими единогласно, что в крепости вовсе не было конницы и что пехота состоит из больных и слабых солдат. Он убедительно просил показать ему людей и пушки, которые были способны догонять бегущую конницу, “и ему,— как говорит генерал Берхман в своем донесении,— не возбранялось любоваться ими”.

Спустя несколько дней после этого, в Карее получены были известия, что турецкие войска, разбитые в битве 9 августа, бегут из-под Ахалцихе. Генерал Берхман тотчас выслал из крепости полковника князя Бековича-Черкасского с двумя батальонами егерей, четырьмя орудиями и тремя сотнями конницы к стороне Ардагана для зашиты тамошних жителей, опасаясь, что бегущие турки выместят на них свою злобу. И он не ошибся. Все деревни, которые проходил князь Бекович, были уже пусты. Мушский паша, опоздав к Ахалцихе, успел однако же опустошить край и теперь угонял армянские деревни все дальше и дальше от русских пределов. Ни одному армянину, привыкшему с малых лет трепетать при одном имени мусульманина, никогда не приходило в голову сопротивляться, так что нередко десятки деревень, согнанных вместе, держались в повиновении каким-нибудь десятком куртинцев, а на этот раз армян сторожил сам мушский паша, расположивший свои бивуаки возле армянских таборов, и сопротивление было невозможно. Однако нашлись смельчаки, которые успели бежать, чтобы известить русских о гибельном положении соотечественников.

Утром 17 августа, когда отряд князя Бековича делал привал, и солдаты варили кашу, князь с небольшим конвоем поехал вперед и, поднявшись на дальние высоты, осматривал окрестность. Вдруг показался всадник в армянской одежде, скакавший во весь опор, не разбирая дороги. Не было сомнения, что это один из тех, которые бежали из армянского табора. Доскакав до Бековича, гонец соскочил с усталого коня и, задыхаясь, стал говорить, что турки сейчас собираются уходить в Арзерум и понуждают армян как можно скорее запрягать арбы и собираться в путь, что те пока еще медлят, но что если русский отряд опоздает на час-другой, то возвратить их будет уже невозможно, так как в нескольких верстах от их бивуака начинаются горные ущелья, где на каждом шагу турки могут упорно обороняться. Князь Бекович приказал ударить подъем. Он уже знал из слов армянина, что в распоряжении мушского паши находилась тысяча отборных курдов и до трех тысяч турецкой конницы, задержанной им из числа бежавшей из-под Ахалциха. Русский отряд пошел форсированным маршем и часов в десять утра увидел турецкие войска, поднимавшиеся с бивуака. Появление его было до того внезапно, что растерявшиеся турки бросили весь армянский обоз, уже совершенно готовый в путь, и искали спасения в стенах Ардаганской крепости.

Первая половина предприятия была, таким образом, исполнена; оставалась другая, труднейшая,— отступление отряда, обремененного теперь громадным караваном переселенцев. Не могло быть и сомнения, что турки скоро опомнятся и что тогда князю

Бековичу трудно будет защитить обоз, который неминуемо должен был растянуться на несколько верст, особенно в местах гористых и тесных. Князь увидел необходимость пропустить жителей вперед и потом так или иначе завлечь неприятеля в дело, чтобы одним ударом отбить у него охоту к преследованию. Пехоте и артиллерии приказано было устроить засаду на той дороге, по которой пойдет обоз, а коннице идти позади, чтобы первой принять на себя удар неприятеля.

Барабан пробил отступление, и обозы длинной цепью потянулись мимо русских войск. Но дело замедлилось; ленивые буйволы, едва переставляя ноги, тихо тащили тяжелые арбы, доверху нагроможденные всякой домашней рухлядью и даже досками и бревнами. Большая часть взрослых переселенцев шла пешком около своих возов; на лошадях, коровах и ослах, в перекидных корзинах сидели по двое и более малюток, ежеминутно рискуя упасть и разбиться. Проходя мимо войск, мужчины снимали папахи и кланялись, женщины крестились, и всякий по-своему старался выразить благодарность.

Но вот позади обоза вдруг грянул выстрел, за ним другой, и загорелась перестрелка. То казаки схватились уже с турецкой конницей. В обозе общее довольство моментально уступило место новым ощущениям. Страх и смятение овладели армянами. Мужчины спешили угонять далее от неприятеля скот, другие торопились с арбами, большинство в страхе не знало что делать, и лишь немногие взялись за оружие. Несчастные армянки, подхватив детей, бежали, сами не зная куда, иные столбенели от ужаса, падали на колени и молились. “Я видел,— рассказывает один очевидец,— молодую женщину, которая в немом отчаянии, ломая руки, смотрела на жавшихся к ней малюток, не решаясь, которого из них спасать, и слезы ручьями бежали по ее лицу”.

Конная армянская дружина, состоявшая всего из семидесяти человек, находилась ближе всех к неприятелю. Пропустив обозы, она начала уже отступление, как вдруг масса турецкой конницы нахлынула на нее со стороны Ардагана. Армяне не устояли и были опрокинуты; казачьи сотни, подоспевшие на помощь, остановили было на несколько минут стремительное нападение, но, в свою очередь, смятые, стали подаваться назад и обнажили хвост обоза, не успевший еще подойти к тому месту, где стояли батальоны. Тогда часть турецкой конницы ударила на задние повозки, и пока одни рубились с казаками, другие безнаказанно предались грабежу и убийствам. К счастью, жители, покинув арбы, бежали, и жертвой турецкой ярости сделались только два старика и одна женщина.

Князь Бекович не рассчитывал на такой быстрый и стремительный удар неприятеля. Егерям некогда уже было думать о засаде, и они бегом бросились на помощь к казакам. К несчастью, они не могли стрелять, потому что выстрелы повредили бы переселенцам. “Не бойтесь, не бойтесь!” — кричали перепуганным армянам солдаты и бежали навстречу неприятелю. В душе каждого зарождалось особое чувство сострадания к беспомощным, готовность пожертвовать за них даже самой жизнью. В кавказских солдатах, при данных обстоятельствах, не могло не заговорить и чувство самолюбия, требовавшее отстоять, во что бы то ни стало, тех, кто беззаветно поручал себя их защите. Появление егерей было как нельзя более кстати. Напрасно турки пытались сопротивляться — штыки опрокидывали все, и скоро бегство неприятеля сделалось общим. Расчет князя Бековича в конце концов казался верен. Посланные вдогонку, казаки видели, как неприятельская конница скакала мимо Ардагана и, выбираясь на Арзерумскую дорогу, скрывалась в ущелье. Обратный путь отряда был обеспечен.

Разбросанные трупы одни оставались немыми свидетелями поражения неприятеля; пленных турок не было вовсе, потому что ожесточенные солдаты никому из них не давали

пощады. Среди покинутых тел казаки нашли живым одного только курда, да и тот был жестоко изранен. От него узнали, что в деле участвовала курдская конница и что турки, деморализованные уже раньше, неохотно шедшие в битву, оставлены были в резерве. Они бросились было грабить обозы тогда, когда курды сломили казаков, но при появлении пехоты первые покинули поле сражения. Курды держались до конца, зато одних старшин их, более или менее знатного рода, погибло в бою шестнадцать человек; убит был и сын мушского паши, вместе с его прекрасной гнедой лошадью, которая славилась во всем Курдистане и едва ли уступала в знаменитости своему хозяину. Все показывало, действительно, что нападавшая кавалерия была составлена из отборных всадников; между отбитыми лошадьми не было ни одной, которая ценилась бы менее пятисот рублей на русские деньги; уборы, по красоте и ценности, соответствовали коням.

Урон с русской стороны был также значителен; почти четвертая часть конницы выбыла из строя, армяне считали пятнадцать, казаки сорок человек убитыми и ранеными.

Когда окончился бой, переселенцы были уже далеко. Страх подгонял их, и несмотря на тяжесть возов, на лень буйволов, на множество скота, путавшегося среди повозок, и на все препятствия, встречавшиеся в пути, они шли так скоро, что отряд догнал их уже на привале. Здесь нужно было дождаться прибытия еще нескольких деревень, следовавших по другим ущельям и также просивших покровительства. С разных сторон до самого вечера тянулись к отряду тяжелые обозы и сливались в один. Солнце село уже, когда барабан пробил наконец подъем. Казаки пошли в авангарде. Князь Бекович уже садился на коня, как вдруг прискакало несколько старшин татарских деревень все с той же просьбой. Князь предложил им догнать отряд на ночлеге, но они отвечали, что не решатся тронуться с места, если русские не дождутся их здесь. “Нас разграбят,— говорили они,— тотчас, как вы уйдете. Нечего делать, надо было приказать арьергарду остановиться и исполнить их желание. Когда татары присоединились к отряду, была уже темная ночь, и тысячи бивуачных огней мерцали сквозь мглу темной августовской ночи.

С рассветом двинулись дальше. Опять заскрипели неуклюжие арбы, и опять шум, крик и гомон тысячи голосов будили мертвое молчание опустевшего края. Русские роты едва были заметны в огромном множестве народа. “Судя по числу людей,— говорит очевидец,— нас было почти достаточно для завоевания всей Азиатской Турции”. Но опыт показал уже, что жители не в состоянии были обороняться сами, и, несмотря на полную безопасность, многие еще бросали робкие взоры в туманную даль, где им все мерещились турки. Но страх их мало-помалу рассеялся. Войска шли бодро и с песнями. Молодежь гарцевала между рядами повозок и любовалась красотой армянок... В сумерки замелькали огни карсского лагеря. Поход был окончен.

Таким образом освобождены были двадцать три деревни, которые, водворившись под охраной русских штыков, убрали впоследствии созревшую без них жатву и внесли в казну подать — пшеницу.

Едва возвратился отряд Бековича, как пришло известие о взятии Ахалцихе, и Паскевич предписал генерал-майору Берхману овладеть Ардаганом. Но так как неприятель мог быть там еще в весьма значительных силах, то одновременно с движением карсского гарнизона в ту же сторону направлен был из Ахалцихе другой отряд, под начальством генерала Муравьева.

Войска выступили из Карса 21 августа, в составе трех батальонов пехоты, восьми орудий и четырех сотен казаков, под личной командой Берхмана, и ночевали в тот день на берегу живописного горного озера. Это озеро — Агир-Гель (“озеро жеребца”), о котором легенда

устами суеверного народа рассказывает, что из кристальных вод его, на заре, выходит чудный водяной конь и пасется на лугу, невидимый человеческому глазу. И горе тому, кто увидит его; кому он явится сам) того человека неотразимо постигает несчастье. Местные жители поэтому редко ночуют на берегах этого озера и боятся даже заглядывать в его глубину, чтобы не встретиться со страшным призраком, пророчащим горе. А чудное лоно вод Агир-Гельского озера так поразительно спокойно и дивно прозрачно, что можно, кажется, пересчитать те миллионы рыб, которые гуляют в светлых струях его.

Заря 22 августа застала русский отряд уже далеко от Агир-Геля. Вот показались и последние Геля-Вердинские высоты, за ними уже Ардаган, а отряд идет, еще не зная, что ожидает его впереди — кровавый бой или мирная встреча... И вдруг, во всю конскую прыть, с передовых постов несется казак. Он разом осаживает коня перед генералом и, запыхавшись, говорит, что впереди, за высотами, виден большой турецкий лагерь. Отряд остановился, стал стягиваться; казачьи сотни поскакали вперед на разведку. Через четверть часа новый гонец — тревога фальшивая: за горой не турки, а целые тысячи армян-переселенцев. Скоро к начальнику отряда прибыли их старшины. Они сообщили, что разбитые турецкие таборы разграбили тридцать три армянские деревни и всех жителей погнали было за собой в Арзерум. Однако появление князя Бековича вблизи Ардагана и слух, что за малочисленным передовым отрядом скрываются главные силы русских, заставили их бросить армян и спешно бежать за Саганлугские горы. В первую минуту армяне укрылись в ущелье, где провели несколько дней, и только тогда, когда убедились в отсутствии турок, решились выйти из своего убежища, и теперь направляются в Карсскую область. К удивлению всех, у армян не оказалось ни одной палатки, а между тем казаки продолжали утверждать, что видели лагерь. Спросили старшин — и дело разъяснилось тем, что роль турецких шатров сыграли армянки, сидевшие на арбах в своих остроконечных головных уборах, с раскинутыми длинными чадрами.

От переселенцев узнали также, что за несколько дней перед тем Киос Магомет-паша, в сопровождении сорока всадников, проехал в Арзерум: за ним ушел туда же весь гарнизон Ардагана; и, наконец, сам ардаганский бек, покинув город, укрылся в горы, вместе с большинством мусульманского населения. Эта важная весть быстро повела отряд вперед, и ровно в полдень русские стояли уже у стен Ардагана. Из ворот встречать их вышла духовная процессия армян и поднесла генералу крепостные ключи. Ардаган был занят, и в нем, без крови и жертв, досталось русским тридцать одно неприятельское орудие.

Ардаганская крепость, прижавшись к левому берегу Куры, стоит в углу открытой равнины. Трехаршинные каменные стены ее, отлично фланкированные грозно выступающими вперед высокими башнями, и небольшой форштадт, обнесенный двойным деревянным срубом, плотно набитым землей и каменьями, давали решительному противнику все средства к упорной обороне. И только безотчетный страх перед неотразимой силой русских штыков, перед которой не устояли ни Карс, ни Ахалцихе мог понудить турок покинуть крепость без выстрела. В древности, когда, под именем Артаона, город служил резиденцией грузинских эриставов, в нем имелась еще более сильная крепость, воздвигнутая на скале, но ко времени Паскевича от этой крепости оставались только одни развалины. В развалинах стоял и древний христианский храм с громадным, на диво сохранившимся куполом, который не могли пробить ни время, ни молот изуверства. Но кроме этого храма не было ничего, что бы свидетельствовало о прежнем величии города. Небольшой жалкий базар, наружная бедность и грязь, отсутствие хороших домов — все говорило, что Ардаган в эту эпоху далеко не был в цветущем состоянии; из всех зданий выделялся своей величиной только дом ардаганского бека, но и в нем, по свидетельству современника, “конюшни были гораздо лучше, нежели комнаты”.

На другой день по взятии Ардагана прибыл сюда генерал Муравьев с частью действующего корпуса, а отряд Берхмана, оставив в гарнизоне крепости один батальон сорокового егерского полка, возвратился в Карс. Вслед за Муравьевым, по разработанной уже им дороге, стали подходить из Ахалцихе другие войска, и таким образом, у Ардагана образовался передовой отряд, имевший целью наблюдать за Арзерумом и в то же время охранять Карсскую область, если бы неприятель предпринял туда движение из-за Саганлуга.

В русских войсках упорно держался слух, что кампания будет продолжаться, но рано наступившая осень, а с нею непролазная грязь изменили планы главнокомандующего и выдвинули вперед вопросы административные, важнейшим из которых был вопрос продовольственный. Необходимо было обеспечить на зиму провиантом гарнизоны в крепостях завоеванных областей и собрать более или менее значительный запас его для весенней кампании. Средства Грузии мало-помалу уже истощались, да и осенняя непогода так испортила дороги, что сообщения с нею почти прекратились. Ближайшие к Ахалцихе санджаки, испытавшие на себе удары войны, имели весьма скудные запасы, и только богатый Ардаганский санджак мог еще дать потребное количество хлеба. Чтобы личным наблюдением ускорить сбор провианта, Паскевич с главной квартирой сам перешел в Ардаган и прибыл туда 18 сентября. Но вот в Ардагане, кроме забот о сборе продовольствия, ему еще пришлось бороться с чумой, первые признаки которой обнаружились в Грузинском гренадерском полку. Однако здесь, как и в Карсе, разумно принятыми мерами и изолированием войск в нескольких отдельных лагерях удалось ослабить болезнь, и мало-помалу она прекратилась.

В Ардагане к Паскевичу прискакал курьер от генерал-майора князя Чавчавадзе с донесением, что весь Баязетский пашалык занят русскими войсками, и вместе с этим главнокомандующему были представлены два бунчука и повелительный жезл Баязетского паши. Тревожнее были вести, которые доходили сюда из Гурии, но и там в конце концов водворилось спокойствие. Главные мятежники, вместе с княгиней-правительницей, уезжали в Турцию, и русские войска заняли Озургеты и пограничные укрепленные замки — Нагомари, Аскану и Лихаури.

XII. ПОКОРЕНИЕ БАЯЗЕТСКОГО ПАШАЛЫКА (Генерал-майор князь Александр Герсеванович Чавчавадзе)

К концу августа 1828 года, с завоеванием Ахалцихского пашалыка, обеспечившим безопасность русских границ и далеко вдвинувшим русскую власть в пределы азиатской Турции, предположенная кампания этого года могла почитаться оконченной. Но, стремясь упрочить свои завоевания на левом фланге, Паскевич оставался в поле до наступления глубокой осени, пока, наконец, получил известие из эриванского отряда от генерал-майора князя Чавчавадзе о покорении всего Баязетского пашалыка.

Когда русский корпус переходил Арпачай и вступал в турецкую землю, в Армянской области, тогда только что отвоеванной от Персии, оставлен был небольшой отряд, в состав которого вошел Севастопольский пехотный полк, шесть рот сорок первого егерского, казачий полк Басова и восемь орудий — всего с небольшим две тысячи штыков и триста сорок коней. С этими ничтожными силами военный губернатор области генерал-майор князь Чавчавадзе имел назначение прикрывать обширные границы от набегов со стороны Баязетского пашалыка.

Баязетский пашалык непосредственно примыкает к Армянской области и отделяется от нее только высоким пограничным хребтом Агри-Дагом. В нем двадцать тысяч жителей,

населяющих четыре санджака: Баязетский, Диадинский, Хамурский и Алашкертский. Сопредельный знойным степям персидских провинций, но почти со всех сторон закрытый горами, Баязетский пашалык пользуется превосходным умеренным климатом, так что зажиточные эриванские люди нередко приезжали сюда лечиться от лихорадок только воздухом да ключевой водою. Народ пользуется там цветущим здоровьем и без ужаса не может себе представить своих соседей-эриванцев, вечно, по их понятиям, трясущихся от лихорадок. Но посреди этой благорастворенной атмосферы Баязет посещает страшное бедствие, почти неизвестное в Эривани. Это чума, так губительно действующая в Египте и в других владениях Оттоманской Порты. По замечанию туземных лекарей, она проникает сюда через каждые семь лет, и год начала турецкой войны был именно этим зловещим сроком ожидаемой заразы.

Главное население Баязетского пашалыка составляли армяне, которых считалось здесь до трех тысяч семейств или до восемнадцати тысяч душ. Турки гораздо малочисленнее. Их, вместе с курдами, не наберется даже шестисот или семисот семейств, но, как завоеватели края, они удержали в своих руках все отрасли внутреннего управления страной. Баязетские армяне были менее угнетены, нежели их соотечественники в Персии, но тем не менее и их характер страдал отсутствием устойчивости и прямоты нравственных правил — печать, которая неизбежным злом ложится на все порабощенные народы. Но Баязетские армяне, по крайней мере, были храбры и нередко служили в охранной страже пашей. Турки, хотя и запрещали им колокольный звон и заставляли не носить другого головного убора, кроме чалмы, но довольствовались только этим наружным принижением христианской веры и вовсе не касались их внутреннего самоуправления, которое оставалось в руках армянского духовенства. Каждые семь лет старейшие отцы ездили отсюда в Эчмиадзин за миром и привозили своей пастве благословение верховного патриарха. Турецкое начальство смотрело на эти сношения довольно равнодушно, хотя и понимало, что Эчмиадзин-то и служил связующей цепью, которая объединяла всех армян, живших в пределах России, Персии и Турции. Впрочем, нужно сказать, что многие паши и беки относились к христианству если не с уважением, то с некоторым суеверным страхом. Все они, например, чтили и преклонялись перед священным копьем, которым был прободен на кресте Спаситель. И когда наступала седьмая година обычного появления чумы, они сами посылали почетнейших армян за этим копьем в Эчмиадзин, и появление его в баязетском храме служило для всех несомненным признаком близкого прекращения заразы. Рассказывают, что за несколько лет до войны баязетский паша, желая показать ничтожность христианских верований, приказал ста человекам своих собственных телохранителей взойти на самую вершину Арарата и тем опровергнуть религиозное убеждение армян в недоступности священной горы, где совершилась после потопа великая тайна обновления человеческого рода. Люди выбраны были смелые и привычные к горной ходьбе. Но едва поднялись они до половины Арарата, как вдруг сорвался жестокий ураган, двое из них, засыпанные снегом, задохнулись; несколько, сорванных вихрем, сброшены были в бездонные кручи; остальные, полумертвые от страха, едва спустились вниз и были поражены тяжкой болезнью. Обычные явления Арарата — грозы и бури — приняты были, как гнев раздраженного неба, и случай этот произвел глубокое впечатление на умы суеверных турок.

Третью народность Баязетского пашалыка составляли курды — этот бич цветущих стран Азии. Они не имели никакого единства и, разделенные на общества, управлялись шейхами, или агами, в руках которых соединялась власть и гражданская и духовная. Курды постоянно враждовали и с турками и с армянами, но и эти дикие племена, частью магометане, частью язычники, почтительно относились к христианской святыне. Так, курды Алашкертского санджака хранили особое благоговение к чудотворной силе угодника Божьего Сурб-Саркиза, могилу которого показывают внутри крепости Топрах-

Кале. Многим из них неизвестно даже имя святого, но предания говорят им, что на вершине горы, где стоит Топрах-Калинский замок, жил, скончался и погребен какой-то праведный старец. И вот, отправляясь в набег, они обыкновенно зажигали восковую свечу и приносили в жертву барана на том камне, под которым покоятся останки угодника, не предаваясь даже сомнениям, действительно ли почивает там святой христианин, или обыкновенный камень принимают они за могилу угодника.

Таким образом, армяне, несмотря на свое пятивековое рабство, сохранили за собой некоторое духовное преобладание в крае и составляли силу, на которую русские, в случае надобности, легко могли опереться.

Белюл-паша, управлявший в то время Баязетом, был родом курд из знаменитой древней фамилии, в течение трех веков наследственно владевшей пашалыком. Приверженность к этой фамилии курдов делала баязетских пашей настолько самостоятельными, что они не платили султанам дани, а, в качестве феодальных владельцев, только должны были на собственные средства строить укрепления, содержать в них гарнизоны, покупать военные запасы, порох и оружие, до пушек включительно. Оберегая свои владения, они уже тем самым оберегали и часть Турецкой империи, непосредственно лежавшей за их пашалыком, и в этом заключались все обязательства их по отношению к султанам. Соседние паши с завистью смотрели на баязетских и им недоброжелательствовали. Когда Аббас-Мирза, обложив Баязет, держал его в блокаде более двух месяцев, они с тайным удовольствием смотрели на гибнувшую крепость и вместо того, чтобы спешить на помощь, своей медлительностью дозволили персиянам овладеть городом, и Белюл-паша, взятый в плен, до самого конца войны содержался в Хое.

Все эти обстоятельства — и население пашалыка, и обособленность пашей его — создавали для русских весьма выгодное положение. Наученный горьким опытом и зная, как мало может он рассчитывать в начавшейся войне на своих армян, Белюл-паша, чтобы только сохранить за собою свои владения, решился сам идти навстречу русским интересам. Еще в феврале, когда стал очевиден разрыв России с Турцией, он вошел в переписку с архиепископом Нерсесом, прося содействия его в переговорах с Паскевичем. В половине июня он писал о том же генералам Панкратьеву и князю Чавчавадзе. К сожалению, главнокомандующий не доверял турецким армянам и, находя, что военные действия в той стороне преждевременны, оставил письмо Белюл-паши без ответа.

А между тем, в то время, как турки, сосредотачивая все свои силы на главных путях наступления к Гумрам, вовсе не обращали внимания на Баязет, в пашалыке, предоставленном собственным силам, шло повсюду глухое брожение. Последние грозные удары, нанесенные Персии русским оружием, восстановление первопрестольного монастыря Эчмиадзина, наименование Армянской областью вновь присоединенных к России персидских провинций — воочию свидетельствовали армянам, что в жизни их наступает новая эра и что мусульманское иго не есть их вечный удел. Подавленный веками дух армян оживился надеждой лучшего будущего. Имя русского царя произносилось повсюду с удивлением и признательностью, а дела русских войск и подвиги генералов прославлялись в народных песнях. Армяне явно благоприятствовали России, готовы были помогать ей и, действительно, доставляли хлеб и добывали сведения о неприятеле. Но далее этого они пока не шли.

Совсем не таково было настроение Баязетских курдов. Хищные племена спешили воспользоваться войной, как случаем к легкой наживе, и бросились грабить русские пределы. В исходе июня партия их, человек в четыреста, сделала набег на деревню Ахур, лежавшую на северном склоне большого Арарата; но жители, предворенные своими

баязетскими единоверцами, отбились. Вслед за тем, 23 июля, еще большее скопище курдов напало на Кульпинские соляные ломки. Стоявшая там рота Севастопольского полка отразила нападение, однако двенадцать жителей были ранены, и курды успели отбить весь скот, принадлежавший Кульпинской деревне, в числе более трех тысяч голов. Следующее нападение было еще отважнее. До трех тысяч курдов, поддержанных турецкой конницей, в ночь на 20 июля атаковали штаб донского казачьего полка, расположенный в деревне Мастары, недалеко от Талыни. Сторожевые казачьи бекеты были смяты, но когда неприятель, спешившись, ворвался в крайние сакли, перед ним внезапно явились две роты Севастопольского полка, следовавшие в тот день из Сардар-Абада и случайно заночевавшие в Мастарах, Ни курды, ни турки, ничего не зная об этом, рассчитывали иметь дело только с одной слабой казачьей командой, и потому появление пехоты, барабанный бой и крики “Ура!” совершенно смешали неприятеля. Курды не могли удержаться в деревне и были выбиты штыками, но, тем не менее, они угнали стадо рогатого скота и увезли двадцать два человека пленных. С русской стороны два офицера были ранены и пять казаков убиты.

Удачные набеги со стороны Баязета взволновали, между тем, и соседних курдов Ванского пашалыка. Те также не прочь были пограбить, но так как русская граница была далеко, а персидская под боком, то они решились сделать ее ареной своих набегов, хотя то были земли дружественной им нации. Там также были русские, и, следовательно, с точки зрения курдов, не хотевших знать никаких международных обязательств, было вполне законным делом привлечь за то к ответственности и персидских жителей [В Хойской провинции и в Салмазе оставлены были русские войска в обеспечение уплаты контрибуции.]. Ванский паша лично предпринял в начале июля вторжение в Хойскую область. С ним шли настолько значительные силы, что командовавший в Хое русским отрядом генерал Панкратьев сам выступил к ним навстречу и стал на месте, где сходятся дороги из Вана и Баязета. Готовность русского войска отразить нападение погасила воинственный пыл неприятеля, желавшего грабить, но вовсе не желавшего вступать в открытые битвы. Паша отступил и заперся в Ванской крепости. Но едва Панкратьев возвратился назад, как курды бросились в Салмазскую равнину и отогнали все ходившие там на пастьбе стада. Рота Кабардинского полка, штабс-капитана Евдокимова, успела отрезать хищникам дорогу к ущелью. Курды стремительно напали на нее, но, встреченные залпом, бросили добычу и рассеялись. Спустя несколько дней, 5 августа, хищники снова прорвались уже со стороны Баязета, и на этот раз отбили многочисленные стада под самым Хоем. Выскочившая на тревогу сотня черноморских казаков, с войсковым старшиной Дьячевским, имела горячую схватку. Двадцать курдов были убиты, трое захвачены в плен, остальные бежали, но и со стороны казаков пало в рукопашной свалке восемь человек, изрубленных курдами.

Эти частные случаи показали баязетскому паше, что русские не настолько сильны в Эривани и в Хое, чтобы серьезно угрожать Баязету, а потому в его настроении произошла быстрая перемена. Он написал князю Чавчавадзе письмо, предупреждая, что в случае нападения русских, будет защищаться до последней крайности.

Между тем занятие Баязетского пашалыка откладывалось Паскевичем только до поры до времени. И вот когда на главном театре военных действий русские овладели уже Ахалкалаками, когда персидское правительство внесло часть контрибуции, вследствие чего Нашебургский пехотный полк, занимавший Салмаз, оказался свободным, Паскевич предписал князю Чавчавадзе начать наступление и овладеть Баязетом. Заключаясь в пространстве между Арзерумом, Карсом, Армянской областью и Персией, Баязетский пашалык, богатый хлебными запасами, был важен для нас как потому, что через него пролегала большая караванная дорога, идущая из Константинополя к Тавризу, так и

потому, что покорение стоявших на этом пути турецких укреплений совершенно прикрывало левый фланг нашей операционной базы.

В исходе августа, у подошвы большого Арарата, расположился бивуаком небольшой русский отряд" при котором находился и сам военный губернатор генерал-майор князь Чавчавадзе. Здесь был Нашебургский пехотный полк, три роты Севастопольского, шесть полевых орудий, две сотни казаков, да сотни четыре конной армяно-татарской милиции — всего тысяча четыреста штыков и до пятисот всадников. С этими-то ничтожными силами, опираясь только на сочувствие армян, составлявших большинство населения Баязетского пашалыка, князь Чавчавадзе готовился брать Баязет и проникнуть вглубь Анатолии, на берега Евфрата, разметывая всюду массы врагов, которые могли бы даже не заметить горсти его солдат. Задача была трудная, но исполнение ее принял на себя человек несомненно талантливый, смелый и предприимчивый.

Князь Александр Чавчавадзе был сыном знаменитого князя Герсевана, игравшего такую крупную роль в последних исторических судьбах Грузинского царства. Родился он в Петербурге в то время, когда отец его находился там полномочным министром грузинского царя, и восприемницей его от купели была сама императрица Екатерина II.

Получив отличное образование в одном из лучших пансионов столицы и затем докончив его в Тифлисе, под руководством своего отца, не щадившего ничего на воспитание единственного сына, молодой Чавчавадзе не избежал, однако, ни ошибок, ни увлечений молодости. Это были первые годы правления Цицианова, когда вся Грузия была еще переполнена партиями многочисленных царевичей, не хотевших отступиться от своих притязаний на наследственную царскую власть. Молодой пятнадцатилетний князь скоро был опутан тонкими сетями интриг и до того увлекся идеей восстановления древнего могущества свободной Грузии, что в 1804 году тайно покинул родительский дом и бежал к царевичу Парноозу, стоявшему в то время с мятежными шайками на Военно-Грузинской дороге. Царевич, как известно, в том же году был разбит под Ананауром и пытался бежать в Эривань, но в сорока верстах от Тифлиса, на переправе через Куру, настигнут был грузинской милицией князя Томаса Орбелиани и захвачен в плен вместе с тридцатью кахетинскими князьями.

В числе этих пленных находился тогда и молодой Чавчавадзе. Заслуги отца спасли его от неизбежной ссылки в одну из внутренних губерний России, и император не только благодушно простил увлечение юности, но вызвал его в Петербург и определил в Пажеский Кадетский корпус. Там князь Александр докончил свое воспитание, был произведен в лейб-гвардии гусарский полк и в 1811 году снова вернулся на родину уже адъютантом главнокомандующего маркиза Паулуччи.

С ним вместе он находился при усмирении кахетинского бунта, был ранен в ногу в деле под Сагореджио, и вместе с ним же отправился из Грузии, готовясь принять участие в великих событиях Отечественной войны.

Походы в Германию и Францию не прошли бесследно для любознательного, хорошо подготовленного молодого офицера. Он, так сказать, практически докончил там свое образование, и когда, в 1817 году, уже в чине полковника, был переведен на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, стоявший в родной ему Кахетии, то явился личностью, далеко выходившей из общего уровня тогдашних грузинских помещиков.

Служебная карьера князя обещала ему многое: на восьмом году службы он уже был полковником и, после смерти Климовского, почти целый год временно командовал

Нижегородским полком. Ермолов рекомендовал его государю как отличного кавалерийского офицера, вполне достойного командовать этим полком, и только в молодости князя находил к тому препятствие. Но когда из Петербурга командиром Нижегородского драгунского полка назначили полковника Шабельского, почти на три года моложе князя Чавчавадзе, последний совсем оставил строевую службу и поселился в Тифлисе.

Семейство князя Александра Герсевановича в то время было в Тифлисе единственным семейством, в котором заезжие гости с севера находили и патриархальное гостеприимство старой Грузии, и, вместе с ним, все условия образованного европейского общества [Князь Чавчавадзе был женат на княжне Соломе Орбелиани. Из трех дочерей его, старшая, Нина Александровна, была впоследствии женой Грибоедова; вторая дочь, Екатерина Александровна, вышла замуж за владетельного князя Дадиана Мингрельского и, после его кончины, была последней правительницей Мингрелии; младшая, София Александровна, была в замужестве за членом государственного совета бароном Николаи.

Единственный сын его, князь Давид Александрович, впоследствии генерал-майор свиты его величества, наследовал по смерти отца знаменитые Цинондалы, где ему пришлось пережить тяжкие минуты плена своего семейства, захваченного Шамилем при вторжении его в Кахетию летом 1854 года.]. Сам Чавчавадзе пользовался тогда большой популярностью в крае: его знали все как современного поэта Грузии, как замечательного переводчика на грузинский язык классических творений Корнеля и Расина; из всех песен, которые пелись в то время грузинами, по крайней мере две трети, и при том лучшие по возвышенности чувства и мысли, принадлежали таланту Александра Чавчавадзе; ему же принадлежали и превосходные переводы лучших персидских, русских, французских и немецких поэтов, все эти языки князь знал не хуже грузинского, и его переводы, выраженные в прекрасных и звучных стихах, не уступают подлинникам.

От этой мирной, чисто литературной деятельности его оторвала персидская война; он участвовал в ней с грузинской милицией, был произведен в генералы и, после отъезда в Россию генерала Красовского назначен военным губернатором Армянской области.

В этом звании и застает его кампания 1828 года.

25 августа небольшой русский отряд, стоявший у подошвы Арарата, перешел высокий пограничный хребет Агри-Даг и налегке, без обозов, двинулся к Баязету. Толпы неприятельской конницы, встретившей его в поле, почти в виду самого города, были сбиты огнем русской артиллерии и отступили. Рассказывают, что какой-то байрактар, разъезжая под русскими ядрами на сером коне, с большим развернутым знаменем, долго удерживал порядок в рядах этой конницы. Но когда лошадь под ним была убита, и он поднялся с земли уже с переломленным древком, турки и курды, как стая птиц, разлетелись в разные стороны. Знамя осталось на поляне одно. Будь наша пехотная цепь ближе, оно было бы взято, но вскоре его подхватил какой-то туредкий наездник и ускакал с ним в крепость. Тем не менее, часть конницы все-таки была отрезана татарами и кинулась в горы, откуда успела пробраться в Баязет уже окольными путями. Отряд в тот же день, 27 августа, подвинулся еще вперед и стал в трех верстах от города.

На следующее утро, еще заря не разлилась по небосклону, как из крепости приехал парламентер с письмом, в котором паша предлагал сдать Баязет, но требовал срок до полудня, чтобы турецкий гарнизон мог беспрепятственно оставить город. Князь согласился. Но едва парламентер уехал, как прискакал казачий разъезд с известием, что к Баязету идут сильные партии курдов. Опасаясь, что переговоры, начатые пашой, были

только маской, за которой скрывалось желание выиграть время, князь приказал двум ротам Нашебургского полка тотчас занять высоты, лежавшие на южной стороне города, и отрезал у неприятеля воду.

Движение этих рот в то время, как начались уже переговоры о сдаче, переполошило весь гарнизон. С верков по нашебургцам загремели орудия; масса неприятельской конницы, опять выскочившей из крепости, загородила им дорогу. Но в крепости уже мало кто помышлял о сопротивлении. Смущение паши передалось войскам и поселило рознь в действиях. Начальник конницы, стоявшей уже лицом к лицу с русской пехотой, требовал помощи; открытые крепостные верки ждали себе защитников. А Белюл-паша, ежеминутно опасавшийся восстания армян, совсем потерял голову и не шел ни на помощь к коннице, ни на защиту верков. Положение дел становилось критическим. Пользуясь этим, нашебургские роты сбили с высот кавалерию и поставили на них батарею. Две тысячи курдов, показавшиеся в это время на соседних горах, увидели, что им делать нечего, и повернули назад, отняв у гарнизона последнюю надежду на выручку.

Едва русские пушки загремели с высот по мусульманскому кварталу, и отряд под глухой рокот барабанов стал приближаться к городу, все бросилось спасаться по Макинской дороге. Крепость осталась без защитников. Тогда растворились ворота, и духовная процессия армян выступила навстречу с хоругвями и иконами. В час пополудни войска заняли город, и Белюл-паша, еще не успевший выехать из своего дворца, объявлен был военнопленным. “Мы встретили его,— рассказывает очевидец,— у ворот цитадели. Это был еще молодой человек, высокого роста, с привлекательным лицом, на котором лежала скорбь и тяжесть переживаемого уничижения”.

В крепости взято было двенадцать пушек, три знамени, два бунчука и повелительный жезл баязетских пашей.

Чтобы ознаменовать день покорения Баязета, совершившегося как раз перед тезоименитством наследника престола, Чавчавадзе ходатайствовал об освящении главной турецкой мечети в православную церковь, во имя Александра Невского. Паскевич, однако, отклонил это ходатайство. Он писал государю: “Я не разрешил исполнить сие, потому что ни одной подобной меры не допускаю в здешних пашалыках, так как не известно еще, присоединятся ли оные к Русской империи”.

Падение главного города пашалыка, естественно, повело за собою и покорность ближайших санджаков: Хамурского и Диадинского; турецких войск там не было, а число армян настолько превышало турок и курдов, что не могло быть и речи о серьезном сопротивлении последних. Конная сотня армян заняла Диадин без выстрела; Хамур даже не занимали вовсе, довольствуясь тем, что сами старшины явились в Баязет и доставили городские ключи. К тому же укрепления Хамура были совершенно ничтожны, тогда как в Диадине, лежавшем как раз на большом караванном пути, все же существовал какой-нибудь замок, хотя его обветшалые стены и свидетельствовали только о тяжести четырнадцати веков, пронесшихся над этим городом. Занятие Диадина одной конной сотней и покорность Хамура, даже не видевшего русского войска, не представляли с военной точки зрения ничего замечательного, но в политическом отношении это был крупный шаг, фактически упрочивавший русское владычество в крае. И действительно, как только большая часть пашалыка перешла в наши руки, триста курдских семейств, бежавших к Вану со своим родоначальником Гассан-агой, вернулись назад и просили позволения поселиться опять в окрестностях Хамура. Позволение было дано, и Гассан-ага, сформировав из подвластных ему курдов сотню отборных всадников, сам привел ее в лагерь к Чавчавадзе.

Теперь оставался только один Алашкертский санджак, который не хотел подчиниться русским и готовился отстаивать свою независимость. Самый Алашкерт — город весьма небольшой, но его старинный, почерневший от времени замок грозно стоит на вершине голой, недоступной скалы, как бы отторгнутой от целой груды утесов, и парит над всею Алашкертской равниной. Турки называли этот замок Топрах-Кале — и сидели в нем крепко.

А между тем, пока князь Чавчавадзе устраивал областное правление в Баязете и водворял порядок в соседних санджаках, события шли своим чередом и вызывали к дальнейшим предприятиям. Нужно сказать, что падение Баязета произвело в Арзеруме такую панику, что многие стали выезжать из города, опасаясь, что русские займут Алашкерт и через Гассан-Кале пойдут на Арзерум, Встревоженный сераскир немедленно отправил в Топрах-Кале небольшой отряд, под начальством Абдулла-Ризах-бска, приказав ему вывезти из замка все продовольственные магазины, опустошить край и перегнать все армянские деревни вглубь Анатолии. Сотни христианских семейств, бежавших при этой вести из Алашкертской равнины, молили русских о помощи. Действовать нужно было решительно, и князь Чавчавадзе не медлил. Глубоко сочувствуя интересам преданного нам населения и в то же время дорожа богатыми средствами края, в которых, по самому ходу событий, представлялась настоятельная надобность, князь тотчас объявил поход к Алашкерту. Утром, 9 сентября, получены были им первые известия о движении Ризах-бека, а в десять часов вечера Нашебургский полк, с ротой севастопольцев, форсированным маршем уже шел на помощь к армянам. Смело и рискованно было это движение. Два батальона уходили далеко в неприятельскую землю, за полтораста верст от русской границы, ничем не обеспеченные с тыла. Правда, для защиты Баязета оставлены были две роты и туда же потребован был из Эривани сводный батальон, из двух рот сорок первого егерского и двух рот Севастопольского полков, с четырьмя орудиями, но затем уже и в Эриванской области почти ничего не оставалось.

Сто пятьдесят верст, отделявших Алашкерт от Баязета, войска прошли в сорок восемь часов. Пехота подбилась, но не теряла бодрости. Однако же, с последнего ночного привала князь двинулся вперед только с одной кавалерией и тремя легкими пушками; за ним, почти бегом, следовало триста пеших охотников — лучших ходоков, выбранных из целого отряда; остальная пехота осталась на привале. И вот, 12 сентября, когда лучи восходящего солнца озарили равнину, с высоких топрах-калинских башен увидели русские войска уже в двух верстах от Алашкерта. В городе поднялась страшная суматоха. Турецкая конница первая обратилась в бегство, за нею последовала пехота, и неприступный замок, покинутый своими защитниками, не сделал ни единого выстрела. Но зато едва казаки, татары и армяне, пустившиеся в погоню, вскочили в предместье, как из домов, справа и слева, на них посыпались пули. Не обращая внимания на перекрестный огонь, вся эта шумная орава с криком и гамом пронеслась через город и отрезала часть неприятельской пехоты. Беспорядочная стрельба не показывала в неприятеле твердой решимости защищаться — и действительно, едва подполковник Басов повел свою сотню в пики, как турки, в числе ста двадцати восьми человек, бросили оружие. Казаки взяли их в плен и погнали назад к Алашкерту.

В то же время курдская сотня Гассан-аги, посланная отдельно на Арзерумскую дорогу, встретила порожний турецкий обоз, беспечно подходивший к Топрах-Кале для вывоза оттуда провианта. Курды рассеяли прикрытие и привели к отряду сто сорок вьючных быков.

Между тем, пока конница действовала в поле, город был занят русской пехотой, и последние защитники его или бежали, или, с затаенной ненавистью в сердце, шли

встречать непрошеных и нежданных гостей. Через час в городе, однако, поднялась тревога. Прискакал один армянин, испуганный, бледный, с известием, что в пятнадцати верстах от Алашкера Наги-хан со своими карапапахами напал на деревню Чилканы. Помочь несчастным армянам не было возможности: конница еще не возвращалась, а посылать усталую пехоту за пятнадцать верст было бесполезно. Только к вечеру, когда собралась наконец кавалерия, удалось кое-как сформировать летучий отряд из охотников. Курдская сотня вызвалась идти вся, к ней присоединилось до ста человек казаков, армян, татар, и вся эта разнокалиберная толпа, под командой войскового старшины Епифанова, пустилась вдогонку за хищниками.

Чилканы проскакали мимо. Жизнь уже оставила это многолюдное селение, и только обгоревшие каменные стены, как обезображенный труп мертвеца, свидетельствовали о страшной агонии, в которой погибло селение под ударом карапапахов. Беспощадный фатум постиг не только самих жителей, но все их имущество, скот и даже цветущие поля, широким поясом обвивавшие деревню и так недавно еще колосившиеся здесь обильной жатвой. Все предано было огню, всюду жизнь умерла под ударом меча, под конскими копытами. Мертвец вопиет об отмщении, но не скажет, кто его убийца, куда он скрылся... Так и Чилканы безмолвно и страшно смотрели теперь на запоздавших своих избавителей. Отряд, действительно, скакал, наудачу. Но, на беду карапапахов, за Чилканами ночью прошел сильный дождь, и конские следы ясно стали обозначаться на мокрой и помятой траве. Попав на эту сакму, Епифанов шел на рысях целую ночь и под утро, далеко, под самыми горами, увидел партию, только что поднимавшуюся с привала; весь отряд пустился карьером. Застигнутые погоней, на лошадях, тяжело навьюченных награбленным имуществом и пленными, карапапахи не решились вступить в открытую битву и, бросив угнанный скот, засели в первое попавшееся им на пути ущелье. Курды Гассан-аги, бывшие впереди, врубились было в толпу убегавших всадников, и один из них ранил дротиком даже самого Наги-хана, но ворваться в ущелье они не могли и стали от него на ружейный выстрел. Подъехавший Епифанов лично убедился в недоступности неприятельской позиции. Груды камней, нагроможденных одни над другими, обломки скал и целые утесы, сорванные бурями с вершины каменных гор, загромождали ущелье так, что проехать по нему было невозможно, а спешиваться в бою курды не большие охотники. Решено было удовольствоваться отбитым скотом и вернуться назад, тем более, что карапапахи кричали, что ежели русские пойдут на приступ, они все равно перережут пленных. В этот день курды еще в первый раз сражались со своими единоверцами, и сражались хорошо: двое из них были убиты и один ранен.

Так довершено было покорение Баязетского пашалыка.

“По занятии Топрах-Кале и уничтожении партии карапапахов,— писал Паскевич государю,— весь Баязетский пашалык совершенно очищен от неприятеля, и знамена Вашего Величества развеваются в вершинах Ефврата”.

Владея теперь на обоих концах пашалыка опорными пунктами, русский отряд свободно мог уже обратиться к выполнению другой важной задачи — сбору продовольственных запасов в крае, который считался житницей азиатской Турции. Пользуясь неприступностью Топрах-Кале, князь Чавчавадзе оставил в нем только две роты Севастопольского полка, а с остальными занял центральную позицию у Диадина. Скоро небольшие отряды фуражиров разошлись в разные стороны; а между тем было дознано, что наибольшие запасы хлеба находятся в деревне Софикенте, лежавшей в границах Мушского пашалыка, так сказать, уже за пределами наших фактических владений. Последнее обстоятельство не остановило, однако, предприимчивого князя Чавчавадзе, и в

Мушский пашалык отправлен был Нашебургский пехотный полк с тремя орудиями и двумя сотнями казаков, под командой подполковника Басова.

Отряду такого сильного состава, конечно, нечего было бояться пылкой азиатской конницы, которую только и мог противопоставить ему неприятель в этих местах, не занятых турецкими войсками. И Басов 20 сентября занял Софикент, не встретив на пути даже признаков каких-нибудь курдских разъездов. Громадные запасы хлеба достались русским без выстрела.

Курды, озабоченные прикрытием своих семейств, спешивших откочевать от границы, действительно пропустили отряд, но зато, едва их семьи оказались в безопасности, как в тот же день трехтысячная неприятельская конница атаковала софикентский лагерь. Нападение было отбито. Но тем не менее в русском лагере все понимали, что дело этим не кончится, и потому торопились с вывозом провианта. В ту же ночь наскоро был сформирован транспорт, и пятьсот двадцать два вьюка отправились в Топрах-Кале под прикрытием трех нашебургских рот при одном орудии. Курды рассчитали, что медленно двигавшийся транспорт во всяком случае не минует их рук, и, оставив его в покое, со всеми силами, на рассвете 21 сентября обрушились опять на софикентский лагерь. А между тем, пока длилась бешеная битва, и неприятель, устлавший поле своими трупами, бесцельно терял и время и силы, транспорт уже перевалил через горы, и нашебургцы, сдав его ротам, высланным навстречу из Топрах-Кале, возвращались назад. В четырех верстах от лагеря курды, озлобленные своими неудачами, налетели на них с воем и гиком. Роты свернулись в каре и стали отбиваться залпами. На выстрелы из лагеря вышел весь отряд, и неприятель, поставленный между двумя огнями, потерпел новое поражение. Потери курдов были так велики, и смелость их настолько подорвана, что через день, когда отряд возвращался из Софикента в русские пределы, неприятель уже нигде не показывался. Задача Басова была исполнена блистательно: страх русского имени распространился далеко в пределах Мушского пашалыка, войска вывезли большие запасы, более тысячи вьюков хлеба, переселили до двухсот армянских семейств и заставили джаралалинских курдов, бежавших из Эриванской области, вернуться на родину.

“У нас Чавчавадзе молодец,— говорили между собою солдаты,— пусти его, так он с одним полком дойдет до Арзерума. Легко ли дело?.. С тысячью нас завоевал два пашалыка”.

Появление русских знамен на берегу Евфрата, всего в девяноста верстах от Арзерума, и смелый налет в Мушский пашалык вывели наконец турецкого сераскира из его бездействия. Все иррегулярные войска, находившиеся в окрестностях Арзерума, потянулись к Топрах-Кале, чтобы вытеснить оттуда русских и отбросить назад к Баязету. От Дели-Бабы неприятель, однако, взял направление на Муш, чтобы сблизиться с курдами, и, таким образом, Топрах-Калинский замок остался у него далеко в стороне.

Князь Чавчавадзе находился в то время в Баязете. Там появилась чума, и требовались энергичные меры к прекращению заразы. Отлично зная характер местного населения, Чавчавадзе постарался прежде всего воздействовать на нравственные духовные силы народа — и достиг своих целей лучше, чем строгим карантинным дозором. По его приказанию принесено было священное копье, хранящееся в Эчмиадзине, и современники говорят, что там, где оно появлялось — в госпиталях, в лазаретах, в домах частных обывателей, в зачумленных кварталах города,— везде зараза прекращала свое губительное действие. Народ глубоко верил в чудотворную силу святыни, и вера спасала его.

В это-то тревожное время получены были известия о наступлении турок. Предоставив коменданту дальнейшую борьбу с уже ослабевшей чумой, князь Чавчавадзе поспешил в Диадин и оттуда с небольшим отрядом — девять рот пехоты, три сотни конницы и восемь орудий — сам двинулся в Мушский пашалык навстречу неприятелю. 15 октября русские войска уже заняли Патнос, лежавший в шестидесяти верстах за Алашкертом. Здесь собраны были сведения, что сильный турецкий отряд с артиллерией прибыл в Милизгирд, находившийся в одном переходе от русского лагеря. Полагая, что слухи о неприятеле преувеличены и что перед ним все те же курды, которых Басов бил в Софикенте, князь Чавчавадзе выступил с одним батальоном пехоты, с четырьмя орудиями и армяно-татарской конницей, чтобы на месте проверить эти известия. Но между тем, как Чавчавадзе шел к Милизгирду, турки находились уже в полном наступлении и шли атаковать русский лагерь. Противники встретились в десяти верстах от Патноса. Судя по расположению неприятеля, остановившегося на крепкой позиции, можно было предположить, что здесь находится от пяти до шести тысяч пехоты и конницы. Красивыми группами разъезжали по линии начальники, из которых татары и армяне многих узнавали в лицо и называли по имени. Здесь был и сам мушский паша, сопровождаемый целым лесом знамен и бунчуков, был Абдулла-Ризах-бек, разбитый под Алашкертом, были и курдские вожди Гуссейн и Сулейман-ага, славные своими делами во всем Курдистане. Одно присутствие последнего несколько уже поколебало дух в нашей армяно-татарской коннице, из которой, в былое время, одни (татары) не раз приставали к его разбойничьим шайкам; другие (армяне) испытывали на себе всю тяжесть его сокрушительных ударов. Но когда турки выдвинули вперед пять полевых орудий и открыли огонь, замявшуюся конницу принуждены были совсем отодвинуть назад и убрать за пехоту. “С этих пор,— говорит Чавчавадзе в своем донесении,— она служила нам более обузой, нежели помощью”.

При таких условиях, идти напролом с одним батальоном пехоты было бы крайне рискованно, и князь Чавчавадзе, сделав несколько ответных пушечных выстрелов, стал отходить к Патносу. Ободренные курды теснили отряд и нападали с такой запальчивостью, что, по словам Чавчавадзе, не раз представлялась возможность отбить у них знамена и захватить орудия. К сожалению, казаков было слишком мало, а армяно-татарская конница не смела отделиться от пехоты, чтобы выехать в поле.

Между тем глухие раскаты пушечных выстрелов стали доноситься и со стороны Патноса, показывая что неприятель одновременно атакует и русский лагерь. В лагере у нас оставалось пять рот с четырьмя орудиями, которые могли служить достаточным ручательством за безуспешность этой попытки, но у Чавчавадзе явились опасения, чтобы неприятель, обошедший отряд, не занял небольшую деревню Граков, лежавшую в версте от Патноса, среди неприступных утесов, и, таким образом, не утвердился бы в самом близком расстоянии от нашего лагеря. И вот, как только стемнело, и натиски неприятеля стали слабее, Чавчавадзе отделил от своего батальона капитана Резануйлова с двумя ротами сорок первого егерского полка и приказал ему как можно скорее занять и отстаивать Граков до последней возможности. Ночь была темная; егерям приходилось бежать напрямик, по буеракам, но они все-таки поспели туда ранее турок и, насколько возможно, укрепили деревню. Неприятель, по-видимому, отказался от мысли занять эту позицию и стал у деревни Кизил-Кев, в шести верстах от Патноса.

День этот стоил русскому отряду двадцати семи нижних чинов, выбывших из строя преимущественно от огня турецкой артиллерии.

18 октября на аванпостах весь день шла незначительная перестрелка, а вечером князь Чавчавадзе отправил в деревню Граков триста фуражиров при одном орудии, с тем, чтобы

забрать оттуда склады турецкого хлеба. Еще в то время, когда войска только что шли к Патносу, они мимоходом вывезли из Гракова более семисот вьюков пшеницы, и теперь князь Чавчавадзе заботился о том, чтобы и последние остатки ее были перевезены в патносский лагерь.

Случайное распоряжение это оказалось как нельзя более кстати. На следующий день, когда фуражиры были еще в деревне, неприятель в значительных силах повел атаку на Резануйлова, и триста лишних штыков оказались далеко не бесполезными. Выставив большие толпы против Патноса, чтобы отнять возможность помочь атакованным, турки, по-видимому, решились овладеть деревней во что бы то ни стало, и бой, начавшийся в девять часов утра, продолжался до глубокой ночи. Пять раз турки врывались в Граков — и пять раз отступали. В одной из рукопашных схваток, происходивших в самой деревне, был убит байрактар, и егеря овладели турецким знаменем. Только с наступлением ночи неприятель прекратил наконец нападение и отошел на прежнюю позицию. Потери с обеих сторон были значительны: турки оставили в Гракове до шестисот трупов, русские потеряли семь офицеров и более ста нижних чинов.

Положение малочисленного русского отряда, слишком далеко зашедшего вперед, становилось опасным. Патнос был обложен, а мелкие партии курдов, врываясь в Баязетский пашалык все чаще и чаще, возвращались оттуда с добычей. Слух о подобных разбоях доходил до Патноса в самых преувеличенных размерах. Но дух осажденных не падал, и горсть русских солдат пять дней отбивалась от нескольких тысяч турок. Наконец, 24 октября, из Эривани подошли еще две роты Козловского полка и часть сарбазского полубатальона. Хотя все это подкрепление не превышало трех-четырех сотен штыков, но князь Чавчавадзе тотчас же решил перейти в наступление. Смелое движение вперед и слух, что к русским подошли значительные силы, до того озадачили турок, что они без боя покинули крепкую позицию у Кизил-Кева и отошли к Милизгирду, под защиту его гранитной цитадели.

Окрестности русского лагеря совершенно очистились от турок.

Четыре дня после того отряд простоял в Патносе, свободно забирая в окрестностях его все продовольственные средства. Но дальше оставаться было нельзя, так как получены были сведения, что новые турецкие войска двигаются сюда из Вана и Арзерума. Состязаться с удвоенными и притом свежими силами противника было бы слишком рискованно, и князь решился отступить. Ночью, 28 октября, отряд тихо снялся с позиции и потянулся к русской границе, прикрывая громадный транспорт — до тысячи вьюков пшеницы и более ста шестидесяти семейств патносских армян, вынужденных бежать за пределы своей родины. Как ни старались сохранить скрытность движения, шум уходившего отряда и суета в обозе, нарушая тишину темной осенней ночи, донеслись до чуткого слуха турецких пикетов, и отступление было замечено. Легкие партии курдов тотчас заняли Патнос, и покинутое селение запылало с обоих концов. Огромные снопы пламени, вырываясь из домов, высоко взвивались к темному небу и багровым отблеском озаряли свинцовые тучи, медленно проносившиеся над отступающим отрядом... А кругом слышались глухие рыдания: армяне оплакивали разрушение своего родного гнезда, своих церквей, могил своих предков — всего, с чем у многих из них соединялось так много светлых и отрадных воспоминаний. Прошла наконец эта унылая ночь. С рассветом стали раздаваться в арьергарде выстрелы; чем дальше, тем их становилось больше, и скоро неприятель повел на него решительную атаку. Сводный батальон Резануйлова вступил в горячую битву. Между тем пошел сильный дождь, дорога разгрязнилась, и войска на каждом шагу должны были останавливаться, так как обоз растягивался на целые версты.

Но чем медленнее подвигался отряд, тем упорнее отбивался Резануйлов, выносивший на своих плечах всю тяжесть неравного боя.

С патносского похода и начинается известность этого отличного боевого офицера, имя которого и поныне с уважением произносится в Дагестане, где впоследствии он окончил свое жизненное поприще. Уже вечером, у небольшой деревушки Сулейман-Кумбат, в девятнадцати верстах от Патноса, арьергард дал последний отпор, и неприятель остановил преследование. Дальше отряд шел совершенно спокойно и 31 октября занял селение Кара-Килисса, на половине дороги между Топрах-Кале и Диадином.

Долго никто не мог понять причины, почему турки не воспользовались превосходством своих сил, чтобы нанести русским по крайней мере большие потери. Но дело скоро объяснилось. Главнокомандующий, получив донесение о действиях князя Чавчавадзе и предвидя, в каком опасном положении мог очутиться отважный отряд, зашедший так далеко в неприятельскую землю, приказал генералу Берхману с частью Карсского гарнизона сделать диверсию к стороне Арзерумского пашалыка. Слух о движении этого отряда прямым путем из Карса через Миджергент на Дели-Бабу, с тем, чтобы отрезать турецкие войска от Арзерума, заставил мушского пашу остановить преследование и от Сулейман-Кумбата уже форсированным маршем спешить, через Драм-Даг, в долину Аракса. Но Берхман двигался вперед только до тех пор, пока сам неприятель не преградил ему путь в узких горных теснинах. Тогда он остановился и, выждав известие, что князь Чавчавадзе благополучно достиг Кара-Килиссы, счел свою задачу выполненной и отошел к Карсу.

Этим эпизодом закончилась попытка неприятеля вытеснить русских из Баязетского пашалыка. Тем не менее, нужно было предвидеть тревожную зиму, и главнокомандующий предписал генералу Панкратьеву со всеми войсками, расположенными в персидских провинциях, немедленно перейти в Баязет, оставив в Хое, в обеспечение уплаты последней контрибуции, только один батальон Кабардинского полка с двумя орудиями и двумя сотнями казаков.

Войска из Персии стали подходить в начале ноября. Козловский и Нашебургский пехотные полки, Донской казачий полк Шамшева и десять орудий, составляя главные силы, расположились в Кара-Килисе, имея позади себя, в Диадине, еще батальон Кабардинского полка с шестью полевыми орудиями; затем две роты Севастопольского полка с двумя орудиями заняли Баязет, и две роты — Топрах-Калинский замок. Казачий полк Басова был размещен по укреплениям. Н приятель, в числе двенадцати тысяч, занимал Пассичский санджак Арзерумского пашалыка и имел авангард у Дели-Бабы в теснинах Кара-Дербентских.

11 ноября в Баязет прибыл генерал-майор Панкратьев и вступил в командование всеми войсками, а князь Чавчавадзе возвратился к прежним обязанностям военного губернатора Армянской области.

Заканчивая рассказ о покорении Баязетского пашалыка в 1828 году, нельзя не сказать, что поход этот, конечно, не блещет громкими победами, которые влияли бы на судьбы кампании, но та беззаветная отвага, та вера в несокрушимую мощь русского солдата, которые воодушевляли князя Чавчавадзе и давали ему возможность с горстью людей бесстрашно идти в чужую вражескую землю, составляют, сами по себе, уже такие прекрасные боевые предания, что имя Чавчавадзе, тесно сроднившееся с русским солдатом, всегда достойно украсит собою самые светлые страницы русских военных летописей.

Баязетским походом началась и им же, так сказать, окончилась военная карьера князя Чавчавадзе. С этих пор и до конца турецкой войны роль его ограничивается уже скромными рамками охраны русских границ от курдских набегов. Но это по-видимому незначительное дело требовало с его стороны огромного такта. Власть русская далеко еще не утвердилась тогда в пограничном, только что завоеванном крае, и князю Чавчавадзе нужно было иметь в запасе много нравственных сил, чтобы суметь опереться не на войска, которых не было, а на любовь разноплеменного народа, входившего тогда в состав Армянской области.

По окончании войны Чавчавадзе назначен был начальником войск, расположенных в Кахетии, а потом, удалившись от дел, проводил большую часть времени в своих обширных поместьях. Но здесь ему суждено было перенести и тяжкое испытание. В 1832 оду в Тифлисе обнаружен был обширный заговор, имевший целью ниспровержение русского владычества в Грузии. Назначен даже был день восстания, долженствовавший начаться убийством на дворянском бале губернского маршала князя Багратиона-Мухранского и русских властей, и кто знает, чем бы закончился этот печальный в истории Грузии день, если бы князь Александр Чавчавадзе, посвященный позднее других в замыслы заговорщиков не успел расстроить предприятия своим влиянием и своими советами. Но та умиротворяющая роль, которую пришлось принять на себя князю Чавчавадзе в этом загадочном движении грузинского дворянства, выяснилась позднее, а тогда гроза разразилась и над его головой: он сослан был на жительство в Костромскую губернию. Ссылка, однако, продолжалась недолго. Вызванный в Петербург и обласканный императором Николаем, он снова вернулся в Тифлис, был произведен в генерал-лейтенанты и назначен членом совета Главного управления Закавказского края. Дом князя Александра Чавчавадзе в эпоху Розена, Головина, Найдгардта и, частью, Воронцова был первым домом в Тифлисе.

Смерть настигла князя Чавчавадзе совершенно неожиданно. 5 ноября 1846 года, здоровый и бодрый, он выехал из дома с визитами, а через час уже умирающим был принесен обратно: его понесли лошади, князь выскочил из экипажа и ударился головой о камень. Никакая медицинская помощь не могла возвратить его к памяти, жизнь гасла, и в девять часов утра 6 ноября его не стало.

“Служба потеряла в нем достойного генерала, Тифлис — примерного семьянина, Грузия — великого поэта”. Эти слова некролога, которым почтили его память современники, как нельзя лучше передают черты одного из симпатичнейших и достойнейших людей, которых дала России Иверия.

XIII. СОЮЗНИКИ И ВРАГИ В ПРИРИОНСКОМ КРАЕ

Победоносная армия Паскевича, покорив Карс и Ахалцихе со всеми прилежащими к ним санджаками, спешила развить дальнейший успех на главном театре войны и не имела ни времени, ни средств обратиться к действиям на своем правом фланге, к которому примыкали гористые санджаки, населенные воинственными племенами аджарцев, лазов и кобулетцев. Однако же нельзя было оставить их вовсе без внимания, так как, по своему положению, санджаки эти лежали на правом фланге действующей армии и были сопредельны с Мингрелией, Гурией и Имеретией, которые необходимо было прикрыть от враждебного действия турок, чтобы показать этим вновь приобщенным к русским владениям народам, что под мощной властью России внешние враги не опасны. С этой целью, еще в самом начале кампании, в долине Риона был сформирован небольшой отряд, под командой генерала Гессе, предназначавшийся, однако, если не считать необходимого

похода к Поти, скорее против беспокойных элементов, еще таившихся среди самих христианских княжеств, чем против турок.

Действия этого отряда, не обильные подвигами, но богатые добытыми результатами, тесно соприкасаются с историей Пририонского края, и потому бросим предварительно беглый взгляд на прошлое Пририонской страны с ее цветущей природой и на быт и нравы ее обитателей.

По бассейну Риона, между западными склонами Ваханского хребта и берегами Черного моря, с незапамятных времен обитают соплеменники грузин, народы того же картвельского племени, имеретинцы, мингрельцы и гурийцы [Впрочем, происхождение последних двух племен еще оспаривается многими учеными: полагают, что мингрельцы происходят от лазов, гурийцы — от евреев.]. Они образовали некогда три автономные политические единицы, находившиеся, однако, почти в постоянной, исконной зависимости от более сильных соседей. Природа тех стран поражает величественной красотой. При безоблачном небе, на далеком горизонте вечно сияют белой полосой и снеговые вершины Кавказа, и выси Аджарских гор, на которых снега лежат до июля; ближе синеют громады отрогов Кавказа, спускающиеся на юг к пририонским долинам, и между ними виднеется скалистая и мрачная вершина Хвамли (Хомли), с которой имеретинцы соединяют те же предания, как горцы с Эльбрусом: на ней коршун терзал Прометея, и здесь же Ной бросил свой якорь, прежде чем остановиться на Арарате. Гигантский утес виден там отовсюду. Он называется также Выходной горой, потому что в прежние времена имеретинцы, бежавшие из турецкого плена, всегда направляли на него свой путь, зная, что он приведет их на родину. На вершине этой горы виднеются какие-то развалины, которые, как все развалины этих стран, народ приписывает постройкам царицы Тамары.

Растительность Пририонского края необычайно богата. Здесь две весны. Луга, выжженные летним солнцем, осенью снова покрываются роскошной зеленью и цветами. Редкий гость северных оранжерей, рододендрон, здесь имеет значение простого хвороста, которым огораживают сады, оплетают курятники, раскладывают на горах для своих костров. Громадные леса, сплошь перевитые лозами винограда, плющом и лианами, отличаются почти тропическим характером и представляют во многих местах непроходимые дебри.

Но климат этих стран, за исключением горных местностей, повсюду сырой и нездоровый, и почва болотистая, особенно там, где реки впадают в море. Некоторые береговые пункты находятся даже на целые полфута ниже уровня моря. В низменных местах лихорадки встречаются даже у кур, и путешественника поражает бедность пернатого царства посреди роскошной флоры. По самому берегу Черного моря, вплоть до Ингура, население чрезвычайно слабо по крайней нездоровости этой местности.

Отрезанные от Грузии высокими горными хребтами, жители Пририонского края до русского владычества оставались в полукочевом быту и селились отдельными дворами посреди лесов, где изобилие плодов и дичи давало им возможность без труда и усилий добывать пропитание. Каждый туземец — охотник, и надо сказать, что лучше, богаче и разнообразнее охоты невозможно было найти в прежнее время на целом Кавказе. Горы Черкесии также богаты и лесом и крупной дичью, но охоты там нет, потому что хозяева края, горцы, знакомы с более сильными ощущениями войны и разбоя.

Естественно, что политическая жизнь пририонских народов была ничтожна. Все содержание ее составляла постоянная борьба между соседними владельцами, поводом к

которой были личные счеты, интриги и нескончаемые фамильные раздоры. Партий всегда было множество, и задача владетеля состояла в том, чтобы сгруппировать около себя сильнейшие. Окруженный этой воинственной толпой, жаждавшей постоянной добычи, он не мог и сам оставаться в мирном бездействии. Этой толпе нужна была деятельность, и деятельность находилась для нее в постоянной борьбе и в столкновениях соседних владетелей между собою. Беспрестанно менялись в крае союзы: то имеретинский царь вместе с Гуриелями воевал против Мингрельского Дадиана, то делался союзником последнего и воевал против Гуриелей. В войнах участвовал нередко и владетель абхазский, против которого, случалось, воевали трое остальных, а он, в свою очередь, призывал к себе на помощь турок. Все это, конечно, самым печальным образом отзывалось на судьбе производительного класса земледельцев, во всяком случае страдавших от постоянных тревог, нападений, хищений, насилий, пленопродавства и иных бедствий, порождаемых исключительно действующим кулачным правом.

С присоединением этих стран к России дела во многом изменились к лучшему. Имеретия перестала быть царством и управлялась русскими законами, как русская провинция. Мингрелия и Гурия еще составляли автономные княжества, но и там благодетельный русский закон уже смягчал разнузданность правителей и высшего класса, а разнузданность эта, следы которой остались в народных сказаниях, доходила до страшной степени.

По левой стороне Риона, в Мингрелии, лежит Полеостом — единственное озеро на этой прекрасной Колхидской равнине. Самое название его по своему значению на местном языке намекает на то, что здесь было прежде устье Риона, но народная легенда приписывает происхождение озера другим причинам. Одна из них, похожая на библейское сказание об участии, постигшей Содом и Гоморру, говорит, что Бог излил свой гнев на преступный город, некогда стоявший на том месте, где теперь озеро, и потопил его. Другие легенды еще рельефнее отражают общественное неустройство края.

“На месте озера,— говорят они,— жил некогда жестокий и бесчеловечный владелец. Рион протекал тогда далеко от своего теперешнего русла, и путь до него из усадьбы владетеля требовал не менее трех часов ходу. Между тем владелец ежедневно посылал своих людей на реку холодить вино для своего стола, и кто приносил его теплым и не в мокрых кувшинах, подвергался смертной казни. Многих из своих подданных лишил он таким образом жизни, но Небо покарало, наконец, и его самого. В одно прекрасное утро злой владетель провалился сквозь землю вместе со всей своей деревней, и на месте, где она стояла, явилось озеро”.

Предание это, вызванное по всей вероятности действительным фактом, случившимся в глубокой древности, поддерживается видимыми доказательствами. Поныне рыбаки находят в озере доски, мельничные принадлежности и другие вещи, которые, по народному мнению, составляют следы жившего здесь населения, и некоторым, по словам их, удавалось даже видеть самые стены здания на мутном дне озера. Но так или иначе, а легенда, любопытная по своей наивности, ярко отражает в себе обычаи народа, его понятия и служит непреложным свидетельством насильственных отношений, существовавших между сильными края и простыми его обитателями. И замечательно — предание заставляет землю поглотить не одного виновного владельца, но и ни в чем не повинных его крестьян, как будто, если бы погиб он один, наказание было бы слабо, не полно; он разом должен был лишиться и жизни, и имущества, и быть наказанным даже в своих потомках, которым могло бы достаться это селение в будущем.

Земля, действительно, принадлежала в то время только немногочисленным владельцам, бравшим со своих подданных дань земными произведениями, и пеший вассал всегда сопровождал своего господина в пути, чтобы поддержать ему стремя, когда он слезал с коня. Трудно представить что-нибудь живописнее и оригинальнее местного владельца, разъезжавшего по краю, в котором каждый обязан был кормить и его, и его громадную свиту. Рисуясь на любимом коне-иноходце, он окружен был толпой оруженосцев, вассалов и слуг, которые вели за ним любимых собак и держали лучших его ястребов и соколов. Чрезвычайно красивые воинственные лица, маленькие, но бешеные кони, блестящее оружие, пестрые костюмы и, наконец, скороходы, не отстающие от стремени своего господина, невольно напоминали картину старого Востока с его мишурной роскошью и грубым раболепством.

Составляя один народ по вере и языку с грузинами, имеретинцы, гурийцы и высший класс мингрельцев успели сохранить много общего с ними в обычаях, но в их характере есть уже оттенок лукавства и вероломства, в противоположность грузинам, которые в высшей степени прямодушны. Это — следы турецкого влияния, с особенной силой отразившегося на Гурии, где даже грузинская одежда сменилась каким-то полуфантастическим, полутурецким, а пожалуй, и полугреческим костюмом, впрочем, весьма живописным и как нельзя более приноровленным к условиям пешего горного боя. На голове гурийца — башлык, намотанный в виде чалмы; вместо длиннополой чохи грузина на нем расшитая шелками и с серебряными патронами куртка, расстегнутая спереди и открывающая цветной жилет; узкие панталоны и ноговицы в обтяжку; на ногах — чувяки; талию обхватывает широкий пояс из турецкой шали, за который заткнуто старинное оружие. Боевые доспехи и походные принадлежности никогда не расстаются с гурийцем; у него вы найдете все: и сальницу, и пульную форму, и кожаный сосуд для воды, и шомпол с приспособленными к нему маленькими щипчиками для огня, и кисет с небольшой красивой трубкой, и разные мелочи — кресало, трут, ножик, шило, солонка, фитиль из навощенного холста, чтобы в темную ночь освещать дорогу, и, наконец, длинный аркан для вязания пленных. Если к этому прибавить, что за кушаком у гурийца всегда длинный кинжал, пара пистолетов, и тут же висит патронташ, а в руках винтовка, то перед вами полная картина вооруженного гурийца.

Имеретинцы и мингрельцы менее запасливы: у них вы не найдете и половины того, что носит на себе гуриец. Национальный костюм их — чоха; но они не носят папах, заменяя их папанаками, из-под которых рассыпаются по плечам густыми прядями длинные вьющиеся волосы. Папанаки — это просто круглый или четырехугольный лоскут сукна или шелковой материи, расшитый золотом и шелком, который прикрывает одно только темя и подвязывается шнурком под подбородок.

Женщины в Пририонском крае пользуются гораздо большей свободой, чем в Грузии, а между тем красота мингрелок и гуриек даже на Кавказе вошла в пословицу. Но эта-то красота и была для них величайшим несчастьем, источником развития в народе пленопродавства, и турецкие гаремы всегда наполнялись мингрелками и гурийками, под общим именем гурджи. Не иметь в своем гареме гурджи богатому и знатному турку было предосудительно, и цена на них доходила до баснословных размеров — до нескольких десятков тысяч турецких лир. Такую же пользу извлекали обыкновенно и из продажи красивых мальчиков.

Торговля людьми по берегу Черного моря, и особенно в Гурии, пустила такие глубокие корни, что даже русское вмешательство и вся бдительность русской кордонной стражи и крейсеров не могли прекратить этого зла до последнего времени. Капитан Коцебу, посетивший Мингрелию в двадцатых годах, писал генералу Вельяминову, что в Поти

более чем когда-нибудь идет торговля людьми. Он даже прямо указывал на сестру генерал-лейтенанта Орбелиани, бывшую в замужестве за покойным гурийским владетелем, дядей тогдашнего правителя. По его словам, она имела весьма частые свидания с комендантом Поти, тогда еще принадлежавшей Турции, и замечено было, что из свиты, сопровождавшей ее на эти свидания, возвращалась иногда только половина. Возникло подозрение, что она-то именно и вела обширную торговлю людьми. По приказанию Ермолова за ней был учрежден секретный надзор, который, однако же, ровно ни к чему не привел.

Суровый быт среди величественных гор и девственных лесов, среди постоянных опасностей войны и охоты наложил свой колорит на страстный южный характер пририонских племен. Как в кристально чистом, но бурном горном потоке блестит и сверкает всеми цветами радуги колеблющееся отражение голубого неба, так и в полных страстности и неги песнях и поэтических легендах этих народов, хранящих память о стародавних временах, о подвигах и бедствиях их земли, отражается эпос народный с его самобытной природой. Дивно звучат легендарные, песни их, дробясь и преломляясь в причудливых формах, то светясь мирным светом непорочной любви, то сверкая внезапными и грозными отблесками неудержимых страстей вскормленного войной племени. И чего только нет в этих песнях!.. И недоступные выси гор, зовущие к себе смелого человека, и мрачные пропасти, и грозное бушующее море с его вечно таинственным рокотом, и блеск южного жаркого солнца, и мрак и холод долгой южной ночи...

Вот две старинные имеретинские легенды.

Свэти-имеретинское предание

Недалеко от зеленеющих тенистых берегов Квирилы, к истоку этой реки, у подошвы горы Кацери, на которой возвышается древний монастырь того же названия, тянется узкая и живописная долина Свэти. К югу и северу она окаймлена цепью отвесных и голых скал, в которых иссечены каменные гроты — некогда приют и убежище окрестных жителей во дни вражеских нашествий, опустошавших эту несчастную страну в течение многих веков. Время разрушило тропинки, по которым доходили до этих пещер, и уже несколько столетий там гуляют лишь тучи, да орлы вьют свои гнезда.

Там, где долина вдруг расширяется, из глубины ее встает исполинская скала, а на ней — стены четырехугольной башни, которую плющ, неразлучный спутник развалин Имеретии, обвивает сверху донизу своими гибкими зелеными ветвями. В нескольких шагах от скалы, на левом берегу шумного ручья стоит небольшая часовня, посвященная Божьей Матери. Наружные стены ее поросли мхом, и вид их свидетельствует о длинном ряде лет, прошедших с ее основания.

Предание говорит, что долина Свэти не всегда была так пустынна, как теперь. Во времена Давида-Возобновителя она принадлежала князю Ивану Мурашидзе, представителю одной из древнейших фамилий Имеретии. Его жилище было невдалеке от огромной скалы, имевшей тогда на своей вершине двойную ограду стен, из-за которых поднималась высокая зубчатая башня. Скала была неприступна, как и теперь, но никто не знал и не помнил, даже в то стародавнее время, делом чьих рук был этот подоблачный замок Свэти. Неприступный и необитаемый с незапамятных времен, он слыл чудом в стране, и народ приписывал его основание невидимым духам. Замок был необитаем. Но пастухи, которым доводилось проводить ночи на соседних горах, с ужасом рассказывали, что видели яркое освещение в окнах башни, а окрестные жители не раз слышали в замке жалобные крики и

сатанинский хохот, сменявший стенания. Таинственный замок стал в народе предметом ужаса.

Раз в темную и бурную ночь окна заколдованной башни ярко осветились, и в них замелькали тени. То пение, то крики, то вопли и смех слышались оттуда испуганным жителям. Решили немедленно послать в Кацерский монастырь призвать благочестивых иноков сотворить заклинание против злых духов, неистовствовавших в замке, и монахи с иконами и святыми мощами спустились в долину. Во время продолжительных молитв и заклинаний свет, сверкавший в окнах, постепенно погас, и с восходом утренней зари башня стояла по-прежнему мрачной и безжизненной.

Князь Мурашидзе, побуждаемый своими соседями, решил наконец посмотреть поближе, что именно такое творится в замке, и приказал устроить вокруг скалы винтовую лестницу, по которой можно было бы подняться к подножию башни. Работы доведены были уже до половины, когда царь Давид, любопытствуя видеть чудесную скалу с ее волшебной силой, известил князя Мурашидзе, что он сам посетит его владение и будет в Свэти.

И вот однажды, отобедав в княжеском доме, царь со всеми окрестными дворянами отправился к скале посмотреть на замок. Одни из сопровождавших царя говорили, что в нем должны быть огромные богатства, стерегомые злыми духами, другие,— что там жилище какой-нибудь волшебницы-феи, и все одинаково досадовали на то, что лестница еще не была готова. “Я обещаю,— сказал тогда царь, обратившись к присутствовавшим здесь гостям,— второе место в моем царстве тому, кто теперь же, не ожидая окончания лестницы, станет на зубцах этого замка, а мой верный слуга, князь Мурашидзе, убедившись в мужестве того, кто исполнит мое повеление, соглашается выдать за него свою красавицу дочь”. Громкий гул одобрения пронесся в толпе молодых имеретинских дворян. Награда стоила подвига.

А Соломе, дочь князя Мурашидзе, с глазами, полными слез, бледная и трепещущая, сидела на балконе родительского дома.

“Жизнь жизни моей,— говорил ей, со страстной негой в голосе, красивый и стройный юноша,— твой отец неумолим к нам, он безжалостно хочет расторгнуть сердца наши, но утешься, сама судьба посылает мне случай или получить твою руку, или умереть за тебя”.

И с этим словом он бросился к лестнице, где уже соперничали многие честолюбцы. Все достигали без труда последней ступени лестницы, но когда приходилось хвататься за острый конец скалы, чтобы взобраться дальше на вершину, мужество и смелость многих ослабевали перед ужасом бездны, отверзавшейся под их ногами.

“Увы! Этот день,— говорит предание,— начавшийся шумным весельем, должен был иметь печальный конец”.

Внезапно почернело небо, и солнце спряталось за грозными тучами, мчавшимися с запада. Смельчаки прижались к углу скалы и, казалось, окаменели. Но трое из них продолжали взбираться. Еще несколько усилий — и цель будет достигнута. Но буря с грохотом -уже волновала вершины деревьев, и огненные зигзаги молний, разрезая черные тучи, грозили бедой. И вот, когда молодой азнаур, избранник сердца Соломе, достиг вершины скалы, крик ужаса охватил толпу: скала дрогнула, тяжелые тучи разверзлись целым снопом яркого пламени, и при зловещем отблеске, озарившем долину, страшный порыв вихря сорвал и бросил в пропасть и победителя и двух его соперников.

Бурная, грозная ночь спустилась на землю. Толпа, пораженная ужасом, искала убежища в соседних деревушках, и долина, которую за несколько часов перед тем оглашали веселые голоса певцов и звуки бубнов, опустела.

Тела несчастных жертв найдены были на следующее утро на берегу ручья, и царь Давид в память страшного события приказал поставить на том месте часовню во имя Богоматери.

Предание прибавляет, что Соломе не пережила своего избранника, и прах ее покоится под одним камнем с тем, без которого жизнь стала для нее невыносимым бременем. Могила их существует и поныне. Фиговые деревья закрывают вход в тесную пещеру, и дневной свет едва проникает в нее сквозь густую, разросшуюся листву; надгробный камень врос в землю, но на нем ясно виднеется еще изображение двух соединенных рук и двух сердец, разделенных крестом — символом страдания.

Легенда о Ростоме

При самом слиянии двух рек, Хопи и Цивы, и теперь еще можно видеть остатки древних руин, густо заросших травой. Ни один человек в Мингрелии, как бы стар он ни был, не может сказать, в какое время на месте этих развалин стояла большая и крепкая башня, жилище удальцов, стороживших, под надзором старого князя Джаяна, Мингрелию от набегов турок. Отцы и деды нынешнего поколения не помнят этого славного и грозного времени тройских подвигов и беспрерывных битв, когда храбрее была молодежь, крепче и бодрее смотрели старики, винтовки и пистолеты вернее били в цель и острее оттачивались дорогие дедовские шашки, когда сильнее бились сердца смелых юношей при виде чудных красавиц, каких теперь уже не найти в Мингрелии.

Но всех красивее и стройнее была дочь князя Джаяна, молодая княжна Менике. И не найти бы ей никого достойного своей красоты между мингрельскими юношами, если бы не жил на свете в то же самое время удалой Ростом Дидебулидзе. Молва о его красоте шла по целому краю. Ни для кого во всей Мингрелии, Имеретии и Гурии не шились такие узенькие и маленькие чувяки, как для Ростом а, и никому искусные руки не ткали такого белого сукна на чоху, какое выделывали ему старуха мать и молодые сестры.

Но щегольство не занимало Ростома. Первому встречному он отдал бы и красивую чоху, и расшитые шелком свои ноговицы, и высокий абхазский папах, но не отдал бы он ни за что на свете лишь старой, окованной серебром и с ликом Пресвятой Богородицы своей дедовской шашки, которой он рубил пополам самую лучшую убыхскую бурку, как простое дерево, да еще своей длинной винтовки, которой убивал ястреба влет, как только мог завидеть его глаз в далекой синеве неба.

Пришла наконец и Ростому очередь ехать в башню Джаяна сторожить от турок родную Мингрелию. Бодро и весело идет конь, побрякивая серебряной уздечкой, красиво сидит Ростом на красном сафьяновом седле, упираясь сильной ногой в тяжелое черкесское стремя. И вот на повороте лесной дороги встретился ему чей-то княжеский поезд. Впереди осторожно ступает добрый гордой иноходец; хитрыми узорами вышит седельный чепрак, покрывающий коня почти до колен; из ярких шелков сплетены поводья узды, обвешанной серебром и кистями; в широких турецких стременах с золотой насечкой спрятались маленькие ножки, обутые в красные сафьянные с серебром башмачки. То едет княжна Менике к отцу своему, храброму князю Джаяну, чтобы нежными ласками заставить его, хотя на короткое время, позабыть тяжесть боевой пограничной жизни.

То была для Ростома роковая встреча.

Много прошло дней с тех пор, как княжна Менике приехала к отцу, давно бы пора ей и возвратиться домой, но любовь, как крепкая цепь, приковала ее к сторожевой башне. Жаль ей смотреть на грусть и тоску бедного юноши, и вот она назначает ему свидание. Наступила роковая для Мингрелии ночь. Очередь стоять на страже была за Ростомом, но он все забыл: и спокойствие родины, и безопасность товарищей, которые, доверившись его охране, крепко спали в далеких покоях башни, развесив по стенам заветное оружие. Пробила полночь — урочный час свидания, и Ростом покинул свой пост; он снял с себя длинную винтовку и шашку с ликом Пресвятой Богородицы, чтобы не выдало его неловко брякнувшее оружие, и, как ночной тать, осторожными шагами стал пробираться к покоям княжны.

А во мраке темной, ненастной ночи тихо ползут со взморья одна за другою турецкие кочермы, и чем дальше, тем их больше, и вот они уже у самой подошвы сторожевой башни. Еще время не ушло для Ростома. Он может поднять тревогу метким выстрелом в передовой баркас, разбудить защитников башни, отстоять родную страну от разорения, а вместе с тем, быть может, спасти от тяжкого плена старуху мать и молодых сестер. Но Ростома нет, и даже смутное предчувствие не говорит ему о страшной опасности.

И вдруг засверкали огни ружейных выстрелов, испуганные, сонные мингрельцы бросились почти безоружные под острые ятаганы турок, и кровь полилась рекою. Сам старый Джаян с разрубленной головой перевалился через край стены в глубокий ров и пал бездыханным трупом у подошвы своей башни. Только теперь опомнился несчастный Ростом и понял, какую пропасть разверз он для себя и для своих товарищей. В отчаянии, слыша приближение ликующих турок, он схватил на руки княжну, взбежал на самый верх башни и кинулся вниз в глубокий водоворот, в который Хопи и Цива сливают свои воды и глубины которого еще не измерил ни один человек. Тяжело раскрылась и вновь закрылась над ними бездонная пучина.

Прошли века. Башня опустела, потом разрушилась и исчезла с лица земли. Но в темную ночь, когда седой туман нахлынет с моря на реку и закроет от глаз человека и горы, и лес, и долины, две легкие тени витают над страшной пучиной. Учащает свой шаг суеверный пешеход, чтобы миновать скорее это проклятое место, косится под всадником добрый конь, пугливо поводя ушами, а тени без воплей и стонов несутся над землею и вместе с туманом улетают в необъятную высь неба...

Таковы поэтические сказания Пририонских стран, сохраняющие в памяти народа образы дорогой для него родной земли. Но воинственная рыцарская жизнь, отразившаяся в этих легендах, мало-помалу угасла. Лучшие бойцы ложились костьми из столетия в столетие, а молодые поколения мельчали духом, да и самые войны в этих странах потеряли свой прежний мировой характер, обращаясь в мелкие династические усобицы. Эти последние время от времени прорывались даже и под управлением России. Особенно они были обильны в 1827 году, в разгар персидской войны, когда русские силы были отвлечены в другую сторону. Гурийцы напали тогда на Мингрелию и вооруженной рукой заняли озеро Полеостом, испокон веков принадлежавшее Мингрельским владетелям. И это было сделано, как писал Мингрельский Дадиан, не столько из желания приобрести самое озеро, сколько из неблагонамеренных видов правительницы Гурии против России. Прогнав мингрельские посты, она приказала поставить на берегу озера сильный караул, под прикрытием которого свободно производились сообщения с крепостью Поти, занятой тогда турецким гарнизоном, чего нельзя было бы делать, пока озеро находилось в руках Дадианов, имевших свои основания не допускать никаких сношений Гурии с Турцией. Это было первое зерно недоверия, брошенное тогда Дадианом на гурийскую владетельницу, и последствия показали, насколько он был прав в своих подозрениях.

Но и самые Дадианы вели в то время междоусобную войну с подвластной им Самурзаканью. Спокойствие в крае ежеминутно нарушалось, а поводы к тому, как и всегда, являлись самые ничтожные.

Был, например, такой случай. Дадиан имел на Ингуре, верстах в восьми от своей резиденции Зугдиды, заповедный лес, который берег для охоты, и жителям запрещено было пускать в него скот. Однажды, в ноябре 1827 года, самурзаканцы, перегоняя свои стада через Ингур, расположились с ними на опушке, и между караульными и пастухами затеялась драка. На шум прискакал из ближнего самурзаканского поселка дворянин Марганиа с несколькими вооруженными крестьянами; произошла схватка, и один из караульщиков был убит. Происшествие это видел один зугдидский дворянин, собиравший в лесу виноград; он был безоружен, а потому побежал сначала в свою саклю, взял ружье и возвратился в то время, когда Марганиа уже собирался в обратный путь. Зугдидский дворянин загородил дорогу самурзаканскому.— “Стой! — сказал он.— По какому праву ты убил моего соседа?..” Но он еще не окончил угрозы, как грянул выстрел одного из самурзаканцев, и пуля ранила его в плечо. В ответ на это выстрелил зугдидец и ранил самого Марганиа. Сгоряча тот сел на коня и ускакал со своими людьми, но на другой день умер. Родственники Марганиа, в отмщение за смерть его, произвели возмущение против Дадиана; к ним пристали многие князья и дворяне самурзаканские, пришли абхазцы и явились с предложением своих услуг даже некоторые зугдидцы, всегда готовые идти на разбой или на воровство. Каждую ночь хищники вторгались в Мингрелию и простирали свои набеги даже до самого Зугдида. Они жгли хутора, угоняли скот, убивали жителей, а пленных продавали туркам. Совершались страшные злодеяния, а Дадиан был бессилен потушить мятеж, так как шайки находили безопасный приют в Абхазии, в имении одного из князей Шервашидзе, смежном с Самурзаканью. “Да если бы они укрывались даже и среди наших деревень,— говорили в то время самурзаканцы, сохранившие верность Дадиану,— то и тогда мы не могли бы задержать их, зная, что это навлекло бы на наши головы страшное кровомщение”. Оставалось одно — прибегнуть к помощи русского войска. Дадиан и просил поставить роту сорок четвертого егерского полка в селе Гудави, у самого ущелья, через которое мятежники могли иметь единственное сообщение с Абхазией. Но кроме этой роты свободных войск, выступивших тогда на театр персидской войны, в крае не было, а забросить роту, имевшую в своем составе не более ста человек, Бог весть в какую глухую сторону, без всякой поддержки, было крайне рискованно. Кто знает нравы тамошних народов, тот поймет, что если бы рота была истреблена, то восстание могло бы охватить не только Абхазию и Самурзакань, но и самую Мингрелию. И Дадиану было предложено во что бы то ни стало собственными силами восстановить порядок.

В таком положении были дела в Пририонском крае, когда началась турецкая война 1828 года.

По плану, составленному в то время в Константинополе, турецкие войска должны были действовать в Азии по двум направлениям: главные силы имели назначением идти на Гумры, чтобы возмутить против России мусульманское население края; другой вспомогательный отряд должен был занять Гурию, Мингрелию и Имеретию, чтобы овладеть приморскими пунктами и привлечь на свою сторону христианские народы призраком возрождения их политической самостоятельности. И Пририоский край получал таким образом важное в войне и стратегическое и политическое значение.

Правителем Имеретии был в то время генерал-майор Карл Федорович Гессе, лифляндский уроженец, некогда адъютант графа Каменского, под начальством которого сражался в Финляндии и в Турции, затем он делал наполеоновские войны, командовал тридцать

восьмым егерским полком, произведен по линии в генерал-майоры и назначен на Кавказ командиром третьей бригады двадцать второй пехотной дивизии, расположенной тогда в Кутаисе. Таким образом, Гессе был призван на пост правителя Имеретии в самое тревожное и трудное время. Человек в крае совершенно новый, не имевший за собою в прошлом ни громких отличий, ни выдающихся подвигов, он сумел, однако, с достоинством выйти из этой тяжкой борьбы и с ничтожными средствами охранить спокойствие и безопасность вверенного ему края.

Когда началась турецкая война, в распоряжении Гессе находилось всего шесть батальонов пехоты (Мингрельский пехотный и сорок четвертый егерский полки в полном составе), один Донской казачий полк и четырнадцать орудий. С этими войсками он должен был держать в повиновении Абхазию, не допускать высадку турок на всем протяжении восточного берега Черного моря между Анапой и Поти, сторожить Мингрелию и следить за Гурией, где уже явно обнаруживались признаки начинающегося брожения. По счастью, Мингрелия и Имеретия, несмотря на все происки Турции, остались совершенно спокойны, и жители этих стран показывали чувства полного расположения к России. Дадиан Мингрельский сам вызвался поставить под ружье четыре тысячи конной и пешей милиции; имеретинские князья также собирали ополчение. Но Гурия стояла в стороне от общего единодушного вооружения и невольно возбуждала к себе недоверие. Решено было, однако, действовать против нее сначала мерами кротости, и в Гурию посланы были прокламации. Главнокомандующий писал и княгине-правительнице, давая ей знать, что двусмысленность ее поведения не составляет для него тайны, но что, в случае уклонения ее от пути долга, она будет единственной виновницей пагубных последствий для всей владетельной фамилии. Гурия притихла. Сношения ее с Кабулетами, однако, не прерывались; княгиня облекла их только еще в большую тайну и запретила всем гурийцам под страхом смертной казни отлучаться из края.

В Кабулетах жили в то время два беглые грузинские царевича, Александр Ираклиевич и брат его Вахтанг, сильные еще не остывшей привязанностью к ним многих грузинских князей, как к представителям сошедшей с политической арены царственной династии Грузии, и их агитаторская деятельность могла наделать немало хлопот. Но пока они вели переговоры с кабулетцами, русские войска, стоявшие в Кутаисе, получили приказание двинуться к Поти и овладеть этой важной приморской крепостью.

В начале июня генерал-майор Гессе выступил из Кутаиса с двухтысячным отрядом, в состав которого вошли шесть рот Мингрельского и пять рот сорок четвертого егерского полков при одиннадцати орудиях. Это было первое наступательное движение русских в кампанию 1828 года. 20 июня, в то время, когда Паскевич еще только производил рекогносцировку Карса, кутаисский отряд стоял уже под стенами Поти. Спустя несколько дней к нему подошел Дадиан Мингрельский с полуторатысячной милицией. Но едва мингрельцы разбили свой лагерь, как турки сделали вылазку, и Дадиану пришлось выдержать довольно упорную битву. Турки были отбиты, и княжеская милиция преследовала их почти до самых стен крепости. В. ту же ночь мингрельцы сами спустились на лодках вниз по Риону и заняли один из островов, на котором Гессе и заложил против Поти большую осадную батарею. Туда поставили две двадцатичетырехфунтовые пушки, доставленные морем из Редут-Кале, но они оказались так плохи, что после нескольких выстрелов их разорвало на самой батарее, и одиннадцать артиллеристов заплатили за это жизнью. Пришлось действовать из одних полевых орудий. Три батареи — одна на острове, а две на берегах Риона — неумолчно громили крепость в течение двенадцати дней, и скоро береговая неприятельская батарея была сбита, несколько турецких лодок, пытавшихся подойти к крепости, потоплены, и в самой крепостной стене пробита огромная брешь. Тогда осажденные вступили в переговоры.

Оказалось, однако, что турки умышленно затягивали их, ожидая прибытия помощи из Кабулетов, и Гессе приказал возобновить бомбардировку. Крепость отвечать уже не могла и 14 июня выкинула парламентерский флаг. Комендант ее Аслан-бей сдал Поти на капитуляцию. Гарнизон, состоявший при начале осады из шестисот человек, был отпущен с оружием, и 15 июля в девять часов утра русские войска заняли Поти. В ней взято было тринадцать знамен и сорок четыре орудия, но между небольшим количеством найденных снарядов вовсе не оказалось картечи, и турки уже с самого начала осады вынуждены были заряжать свои орудия гвоздями и мелкими каменьями.

Тягостная блокада, производившаяся в самое знойное время и в местности крайне болотистой, породила в войсках страшную смертность, так что общая цифра русских потерь достигла шестисот человек, из которых только двадцать один был убит и ранен неприятельскими снарядами. Болезненность до того внедрилась в войсках, что когда отряд был распущен и возвратился в Кутаис, то в течение одного сентября в нем из числа двух тысяч шестисот человек заболевших тысяча двести умерло от лихорадки, и, на весь обширный Пририонский край не осталось под ружьем и трех тысяч штыков, считая здесь даже войска, стоявшие в отдаленном Сухуме.

Падение Поти показало туркам, как неосновательны были их расчеты на сочувствие к ним народов картлийского племени, а русские, напротив, могли убедиться в их искренней преданности, видя под своими знаменами и многих имеретинских князей и самого Дадиана Мингрельского. С ними не было только гурийцев, и это обстоятельство указывало на необходимость обратить особенное внимание на внутреннее положение этой страны.

Уже в конце минувшего столетия Гурийское княжество, примыкавшее тогда с одной стороны к едва уцелевшим развалинам Мингрелии, Имеретин и Грузии, а с другой — к двум сильным пашалыкам Турецкой империи, видимо клонилось к упадку и доживало свои последние дни. Ослабленное внутри раздорами, которые усердно поддерживались турками, оно, собственно, должно было утратить свою самобытность, и только покровительство России спасло дальнейшую политическую жизнь Гурии, оставив ей автономное существование, как и другим христианским землям этого края.

Введенная в состав Российской империи в 1804 году, Гурия наслаждалась с тех пор совершенным спокойствием внутри и безопасностью извне. Маленькие тучи, пронесшиеся над нею во времена Ермолова, не оставили после себя заметного следа, и счастливое положение дел в стране изменилось только по смерти последнего владетеля ее, Мамия Гуриеля, скончавшегося в 1826 году, в разгар персидской кампании. Наследник его Давид был малолетний, а потому для управления Гурией был учрежден особый временный совет из тамошних князей, под представительством вдовствующей княгини Софьи, нареченной вместе с тем и правительницей Гурии. Властолюбивая княгиня между тем не примирялась с мыслью о какой-либо опеке и, недовольная учреждением совета, начала искать сближения с Турцией. В соседстве с Гурией, в турецких Кабулетах, проживало в то время несколько беглых гурийских князей, искавших там убежища со времен Ермолова, и они-то первые стали разглашать в народе, что русские не остановятся на учреждении совета, а вывезут из края малолетнего наследника вместе с его матерью и, таким образом, уничтожат автономию княжества, как это уже сделано с Имеретинским царством. Слухи эти производили в народе ропот, и в Гурии возникли две партии: одна благоприятствовала России, другая, меньшая, но во главе которой стоял влиятельный князь Мачутадзе, владевший и умом и сердцем правительницы, склонялась на сторону Турции. Вооруженные шайки, сновавшие по краю, служили предвестниками готовившейся бури. Восстание близилось, и княжеские замки повсюду укреплялись.

Положение было настолько обострено, что когда, еще перед началом турецкой войны, князь Бебутов с князьями Койхорсо Церетели и Цулукидзе прибыли от имени главнокомандующего для личных переговоров с правительницей, им не только не показали малолетнего наследника княжества, но и сама княгиня, после короткого свидания с ними, удалилась из замка. Койхосро Церетели рассказывал впоследствии, что им пришлось пережить несколько тревожных ночей, так как жизни их угрожала серьезная опасность.

Замыслив полную измену, княгиня Софья сама ходила по домам знатнейших гурийцев, чтобы увеличить число своих приверженцев, а ее любимец князь Мачутадзе ездил в Трапезунд, Батум и Кабулеты для переговоров с турками. И вот теперь, когда началась война, в июне 1828 года, стало известным, что княгиня Софья получила милостивый фирман от султана, которым он принимал Гурийское княжество под свое покровительство, жаловал малолетнему владетелю Гурии драгоценную саблю, а его матери и влиятельным князьям различные подарки. В то же время десятитысячный турецкий корпус начал стягиваться к границам Гурии, чтобы войти в ее пределы при первом же появлении там замешательств.

Когда сношения эти были открыты, лучшие князья Гурии — Нахашидзе, Эристовы и Гуриели — оставили правительницу и с толпами своих вооруженных крестьян присоединились к русскому отряду, стоявшему в Чехотаурах. Измена княгини не подлежала никакому сомнению, и Паскевич, озабоченный мятежным настроением гурийцев, просил государя об устранении правительницы от всякого влияния на дела княжества и об учреждении нового совета, под председательством русского штаб-офицера. Государь изъявил на это согласие. Но в образе мыслей княгини, по-видимому, совершился крутой поворот. Неожиданное для нее падение Поти, потом покорение Карса, Ахалкалаков и Ахалцихе успели рассеять веру ее в могущество Турции, и она написала Паскевичу, что раскаивается в своих заблуждениях, и, чтобы загладить прежнее свое поведение, вызывалась собственными средствами покорить Кабулеты и даже Батум. Но Паскевич не мог поверить в искренность подобного заявления. Естественно было предположить, что правительница желает только выиграть время и затянуть дело до начала зимы, когда русским войскам невозможно было бы занять гористую часть Гурии. Не желая, однако, до времени обнаруживать своих опасений, Паскевич назначил княгине для исполнения ее обещаний двухнедельный срок, после которого, если войска ее не выйдут в поход, генерал-майор Гессе должен был вступить в Гурийское княжество и низложить правительницу. Опасения Паскевича оказались справедливыми. Срок проходил, а княгиня не только не думала о снаряжении войск, но и сама, покинув Озургеты, переехала в деревню Мокванети, на турецкой границе, куда постепенно перевозили и ее имущество. 29 сентября срок окончился, а 30 — два русские батальона, под личной командой генерала Гессе, вступили в Гурию. Испуганная княгиня, не ожидавшая такого быстрого выполнения угрозы, не знала на что решиться; она уже хотела ехать в Озургеты, чтобы отдаться милосердию русского государя, но бывшие с нею гурийские князья поспешили убедить ее, что русские только и пришли затем, чтобы захватить ее в свои руки, и это решило ее участь. 2 октября она, вместе с сыном Давидом, старшей дочерью и приближенными к ней князьями, бежала за границу.

Между тем русские войска заняли Озургеты, Нагомари, Аскану и Лихаури. В последней нашли покинутых княгиней на произвол судьбы двух малолетних дочерей ее, Софью и Терезу. Их отдали пока на попечение нагомаринскому моураву, а затем, по ходатайству Паскевича, обеих поместили в Смольный институт, где будущность их щедро была обеспечена великодушием императора Николая.

Княгиня Софья за побег в Турцию была объявлена лишенной всех прав на княжение в Гурии, а для временного управления страной учрежден новый совет, под председательством полковника Кулябки. Совет этот продолжал действовать именем малолетнего владетельного князя, и, таким образом, Гурия сохранила еще на некоторое время тень своего политического существования.

XIV. ЗИМА ЗА КАВКАЗОМ

Зима 1828 года наступила обстоятельствах чрезвычайно благоприятных для русского корпуса, действовавшего в Турции, под начальством графа Паскевича. Это была ранняя и суровая зима. К октябрю на горах выпали уже глубокие снега, сделавшие невозможными всякие дальнейшие наступательные предприятия со стороны турок,— и кампания могла почитаться оконченной. А, между тем, в короткое время военных действий, с июня месяца, русские на своем левом фланге покорили весь Баязетский пашалык, на правом — заняли Гурию и овладели крепостью Поти, в центре — передовые войска их стояли в Карее, Ардагане и Ахалцихе. В общей сложности они завладели тремя пашалыками, взяли девять крепостей и укрепленных замков, триста пятнадцать орудий, сто девяносто пять знамен, одиннадцать бунчуков и до восьми тысяч пленных. Этот поход был еще блистательнее предшествовавшего ему персидского, потому что большинство первоклассных крепостей взяты были штурмом, из которых каждый, по справедливости, должен занять почетное место между славнейшими подвигами русского оружия. Никогда еще азиатская Турция не терпела такого погрома, и ни одна кампания, веденная русскими, не стоила так дешево, как турецкая кампания Паскевича. Имя его грозою пронеслось по целой стране и удержало кавказских горцев от всяких попыток сделать какое-либо серьезное движение в пользу своих единоверцев. Тифлис ликовал и досадовал только, что известия о славных победах доходили до него не всегда своевременно. “Просим извинения у наших читателей,— писалось например по этому поводу в Тифлисских ведомостях 1828 года,— что мы опаздываем с описанием знаменитых событий. Победы графа Эриванского так часты и так быстры, что ни один журнал не может успевать своевременно извещать о них с надлежащими подробностями”.

“В тогдашнее время,— говорит один из современников,— донесения Паскевича с поля битв читались в России с необыкновенной жадностью и общим восторгом. Приказы его по войскам переходили из рук в руки и народная гордость находила удовлетворение в рассказах об этих чудных подвигах и битвах, воскрешавших в памяти народа деяния чудо богатырей былых времен Суворова...”

В исходе сентября главнокомандующий решился распустить на зимние квартиры те части войск, которые оставались свободными после занятия гарнизонами завоеванных пашалыков. Разместив в пределах Турции на зиму семь с половиной тысяч штыков, четыре казачьи полка и тридцать четыре орудия [В Карсе, под командой генерала Берхмана, остались: тридцать девятый и сорок второй егерские полки, батальон сорокового, казачий полк Измайлова и двенадцать орудий.

В Баязетском пашалыке, под командой генерала Панкратьева: Нашебургский и Козловский пехотные полки, по батальону от полков Кабардинского и Севастопольского, два казачьи полка, Басова и Шамшева, и восемнадцать орудий.

В Ахалцихе расположился Ширванский полк и рота Херсонцев при трех орудиях. В Ардагане — батальон сорокового егерского полка и Донской полк Сергеева, при одном орудии; в Ахалкалаках и Хертвисе разместились две роты сорок первого егерского полка, а в Ацхуре — рота херсонских гренадер. Общее начальство над войсками Ахалцихского

пашалыка поручено было генерал-майору князю Бебетову.], он направил остальные войска двумя колоннами в Грузию, через Сулам и Цалки, где им предписано было выдержать четырнадцатидневный карантин для предохранения русских областей от чумной заразы.

Сам Паскевич выехал из Ардагана 28 сентября, и пятого октября, в одиннадцать часов ночи, никем не ожидаемый, прибыл в Тифлис, в сопровождении одного адъютанта. На следующий день весть о неожиданном приезде графа нарушила обычный порядок городского утра, и народ толпами повалил ко дворцу приветствовать грозного победителя турок. Но Паскевич, один, без свиты, молился в это время в уединенном нагорном монастыре св. Давида, принося благодарение Богу за одержанные им победы.

В Тифлисе ожидала Паскевича и скорбная утрата — смерть близкого ему человека, военного губернатора Сипягина. Он умер 10 октября от желчной горячки, которая в шесть дней свела его в могилу. Смерть Сипягина была тяжелой и незаменимой потерей для Паскевича. По крайней мере, в своем донесении о ней государю он пишет, что лишился лучшего помощника по управлению краем, и что с истинным прискорбием доносит об этом столько же печальном, сколько и неожиданном происшествии. Похороны Сипягина происходили шестнадцатого октября с необыкновенной пышностью и при стечении всего населения Тифлиса. Сам экзарх Грузии лично исполнял в Сионском соборе печальный обряд отпевания; Паскевич со всем генералитетом провожал гроб до могилы, приготовленной в подгородной Георгиевской церкви, откуда прах Сипягина впоследствии был перевезен в Костромскую губернию, в родовое имение покойного.

Деятельность Сипягина, начиная с самых ранних лет службы, настолько выдвигала его из ряда современников, что здесь будет не лишним посвятить несколько строк воспоминаниям об этой высокоодаренной личности.

Николай Мартемьянович Сипягин получил в детстве отличное образование. Он начал службу в лейб-гвардии Семеновском полку, где вскоре назначен был полковым адъютантом, и Семеновский полк обязан ему первоначальным устройством своей богатой библиотеки, которая и поныне составляет справедливую гордость полка. В военном отношении Сипягин пользовался репутацией храброго офицера и носил за аустерлицкий бой, где он был жестоко контужен ядром и ранен пулею в правую руку,— Владимирский крест, а за Фридланд — золотую шпагу. Почему именно император Александр I обратил на него особое внимание — об этом биографы Сипягина ничего не упоминают, но в 1811 году он был назначен флигель-адъютантом, число которых, как известно, было в то время крайне ограничено. Наполеоновские войны Сипягин сделал большей частью при главной квартире и, возвратясь в столицу уже генерал-адъютантом, с Георгием на шее, назначен был начальником штаба гвардейского корпуса. Здесь он завел обширную библиотеку, составил общество “любителей военных наук” и положил основание первому русскому “Военному журналу”, который издавался три года под непосредственным его руководством. Ум Сипягина, направленный к просветительским целям, сказался также учреждением при корпусном штабе ланкастерских школ для обучения нижних чинов, а, впоследствии, когда в двадцатых годах он командовал шестой пехотной дивизией, завел юнкерские школы — первообраз возникших уже в наше время юнкерских училищ.

В Тифлис Сипягин назначен был вместе с Паскевичем, и его энергия, его просвещенная деятельность не замедлили обнаружить себя в новом крае. Ремесленные искусства, промышленность, торговля — все останавливало на себе его внимание, и везде остались следы его заботливости. Он выписал из Франции искусных виноделов, основал фермы садоводства и земледелия, учредил ярмарки; в Тифлисе возникли новые караван-сараи,

стоявшие в развалинах со времен Аги Мохаммед-хана, и наполнялись драгоценными тканями Востока, и произведениями европейской мануфактуры. Обширная жажда деятельности увлекала Сипягина даже за пределы современных потребностей и касалась будущих нужд Кавказского края. Так, в видах распространения торговли, он много хлопотал об учреждении пароходства по Черному и Каспийскому морям,— и если эта благая мысль осуществилась только далеко впоследствии, то в этом вина была уже не Сипягина. Самая столица Грузии чрезвычайно обязана ему многим. В многолюдном, но неустроенном городе не было ни больниц для бедных, ни домов для умалишенных, ни воспитательных приютов — словом, никаких богоугодных заведений, и множество нищих, не имевших где преклонить свои головы, наполняли городские улицы. Сипягин заботливо призрел несчастных, и в короткое время его управления возникло множество благотворительных приютов и учреждений. Рассказывают, что войска, возвратившиеся из Турции и не видевшие Тифлиса два-три года, не узнавали его — так город перестроился в короткое время под управлением Сипягина. Площади приняли правильный вид, тропинки, лепившиеся к саклям, превратились в достаточное широкие улицы; крутые каменные горы, опасные для проезжающих, были разработаны. И все это достигнуто было им почти без всяких затрат со стороны казны, сначала руками пленных персидских сарбазов, а когда война окончилась и сарбазы получили свободу,— работа эта выпала на долю сменивших их пленных турецких солдат. Враги, столько веков разорявшие Тифлис, собственными руками его и воздвигали.

Праздники, которые давались Сипягиным в Тифлисе, памятны старожилам до настоящего времени, и на его балах, в том доме, где теперь находится гостиница “Лондон”, теснее соединялись русские и грузинские общества, грузины ближе знакомились с европейскими обычаями и приучались к общественной жизни. На этих балах появлялся и семидесятилетний почтенный старик — отец Паскевича, приехавший сюда благословить своего сына.

Уже по свойству своего ума Сипягин не забыл и мер к просвещению края. Любимой мечтой его было открытие в Тифлисе кадетского корпуса; но эта мысль не нашла себе сочувствия в самом Паскевиче, который признавал ее несвоевременной. “Я убедился,— писал Паскевич государю по этому поводу,— что офицеры из грузин, обладая достаточной храбростью, недостаточно распорядительны в командовании отдельными частями, что следует приписать, однако, не недостатку в них военного образования, а, главным образом, недостатку в грузинском дворянстве сближения с русскими нравами и обычаями — в чем корпус не сделает улучшения. Дети, оставаясь под непосредственным влиянием грузин, удержат неминуемо свой национальный характер, который может потеряться только при образовании грузинского юношества в самой России”. В этих видах Паскевич полагал более полезным ежегодно отправлять нескольких лучших учеников гимназии в Россию, в кадетские корпуса, где, вдали от родины, скорее произойдет слияние их с духом русского народа и правительства. Государь утвердил последнюю меру, и, таким образом, предположение об учреждении кадетского корпуса не осуществилось. Зато по представлениям Сипягина была преобразована мужская гимназия, положено первое основание училищу для благородных девиц и заведены школы для аманатов горских народов, с целью распространения среди них первых начал гражданственности. Под его же непосредственным наблюдением возникла в Тифлисе и первая русская газета “Тифлисские ведомости”, нашедшая себе обширный круг читателей в самой России и положившая начало кавказской периодической печати.

Таков был Сипягин, и такова была его полуторагодовая деятельность в крае.

С другой стороны нельзя умолчать, что эта деятельность, которой так восторгались при жизни Сипягина, подвергалась строгим порицаниям после его смерти. Тот же Паскевич, который писал государю о незаменимой утрате Сипягина, спустя короткое время уже говорит другое, основывая свое заключение только на донесениях приемника его, генерал-адъютанта Стрекалова — человека с большим положением в петербургском обществе, но далеко не обладавшего ни теми умственными силами, ни теми нравственными качествами, которые отличали Сипягина.

Паскевич пишет, что вместо прямой и важнейшей своей обязанности введения правосудия и порядка в дела гражданского управления, Сипягин занимался украшением города ненужными зданиями, да соблюдением чистоты и опрятности, а в денежных счетах везде замечалась запущенность, народ страдал, правосудия не было, важные дела текли с непомерной медленностью и по несколько лет оставались без всякого движения; злоупотребления в низших присутственных местах доходили до высочайшей степени; хлебная подать была на откупе у армян и они собирали с жителей в полтора раза больше того, чем следовало. “Словом, народ,— говорит Паскевич,— все потерял; бедствия превышали его силы, но, к счастью, не превозмогли терпения”.

Мрачная картина, рисуемая Паскевичем в его тогдашних донесениях о состоянии Грузии, была справедлива. Нельзя не допустить, что при Сипягине наружный вид благоустройства только прикрывал беспорядки и злоупотребления, уже давно укоренившиеся в правительственных органах Грузии; но корень зла находился не в деятельности Сипягина, а в самом устройстве гражданской части Закавказского края. Это было время полного смешения русских и грузинских законов, когда в каждом уезде действовали отдельные правила, особые инструкции, часто утверждаемые не высочайшей властью, а волей главнокомандующих, и всего более Ермоловым. В полтора года своего управления, при беспрерывных отвлечениях военными делами края — тогда война сменялась войною,— Сипягину трудно было исправить всю эту путаницу, весь этот сумбур, укоренившийся веками беспечного управления грузинских царей, и укор, по справедливости, не должен лечь на память Сипягина. Его преемник, управлявший краем в более спокойное и тихое время, не улучшил этого положения, и Паскевич, в конце концов, сам должен был сознаться, что искоренить зло нельзя постепенными мерами, а чтобы покончить с ним раз навсегда нужно было ввести во всем Закавказье единство русского закона и русского управления.

О личном характере Сипягина современники отзываются по-разному, но все одинаково говорят, что гибкий и образованный ум его не знал покоя, что новые предположения, преобразования и улучшения беспрестанно роились в его голове и Сипягин везде искал и находил пищу для своей деятельности. Многого не пришлось ему довести до конца, но и того, что он сделал или стремился сделать для Грузии, достаточно, чтобы сохранить о нем благодарную память.

Замолкший на время гром оружия давал Паскевичу время для подготовки средств в кампании будущего года, необходимых тем более, что Турция со своей стороны принимала все меры к отчаянной борьбе не на жизнь, а на смерть.

Успехи русского оружия в турецкой Армении сильно встревожили константинопольский двор, и султан обратил теперь особое внимание на свои азиатские владения. Посреди бедствий, постигших его, он выказал необычайную твердость и решимость характера, сумев воодушевить умы и соединить разбитые и рассеянные силы там, где уже их не было. Прежние начальники азиатских областей, старый Галиб и его помощник Киос Магомет-паша, обвиненные в слабости и недостатке военных способностей, были

смещены и сосланы в отдаленнейшие провинции. Места их заступили новые, более энергичные люди. Отважный старец Гаджи-Салех, паша майданский, назначен был арзерумским сераскиром с такими полномочиями, каких до него не имел ни один из правителей этого сераскириата, а в помощь к нему, главнокомандующим всеми войсками в азиатской Турции, был избран Гаджи-паша Сивазский, и султан требовал, чтобы они не только остановили дальнейшие успехи русских, но и возвратили все, что Порта потеряла в Азии в минувшую кампанию. В этих видах во всей азиатской Турции объявлено было поголовное вооружение, и военные действия, чего прежде никогда не было, предполагалось начать зимою.

Новый сераскир не тратил времени даром и собирал под снос начальство огромную армию. Войска, уцелевшие от прошлогодних погромов, расположены были отрядами по разным пограничным пунктам, а десятитысячный, вновь сформированный им корпус занял Арзерум, оборонительные верки которого были усилены. В то же время значительные ополчения шли из отдаленных областей: Сиваза, Токата, Кессарии, Алепы и даже Египта, так что в Арзерумском пашалыке к весне должно было собраться до восьмидесяти тысяч человек при шестидесяти шести орудиях. С этими силами Гаджи-Салех предполагал занять центральную позицию на пути от Арзерума к Карсу, в то время как пятьдесят тысяч курдов с пятьюдесятью орудиями должны были идти со стороны Муша и Вана на Баязет, а шестьдесят тысяч аджарцев, кобулетцев и турок, при сорока орудиях, действовать от Трапезунда на Ахалцихе и Гурию. Таким образом, общая численность турецкой армии, которую предполагали собрать к весне, могла простираться свыше двухсот тысяч при ста пятидесяти шести орудиях.

Силы, которыми располагал Паскевич, совершенно не соответствовали громадным средствам, подготовляемым противником. Было уже сказано, что по окончании персидской войны, славной для русского оружия, но сопряженной с большими потерями в людях, Паскевич не только не получил никаких подкреплений, но еще должен был сам отделить значительные подкрепления для европейской России. Турецкая кампания 1828 года ослабила войска его новыми потерями, и некоторые полки уменьшились теперь почти наполовину, а от других едва осталась четвертая часть. Правда, на усиление кавказского корпуса назначено было двадцать тысяч рекрутов, но это усиление являлось лишь номинальным и мало могло изменить положение дела. Прежде всего, рекруты, по громадности предстоявшего им пути, не могли прийти ранее, как через пять-шесть месяцев, то есть в июне, когда военные действия могли быть уже в полном разгаре; во-вторых, значительная часть их должна была остаться на Кавказской линии, а затем нужно было принять еще в расчет большую смертность, неизбежную по климатическим условиям страны, в которую шли рекруты, и в результате, во всяком случае, выходило то, что действующий корпус или выступил бы в поход без всяких подкреплений, или, в лучшем случае, наполовину составленный из новобранцев, не обученных даже первоначальным приемам военной службы. Казалось бы, что при таких условиях не только продолжать завоевания, но даже держаться в оборонительном положении было бы крайне трудно, а между тем из Петербурга, основываясь на успехах минувшей кампании, требовали еще расширения планов похода, чтобы тем облегчить тяжелую войну на Дунае.

Поставленный в столь трудное положение, Паскевич должен был обратиться к изысканию местных средств, чтобы хоть сколько-нибудь уравновесить свои силы с силами противника. Можно бы было, пожалуй, воспользоваться добрым расположением Персии и вовлечь ее в войну против турок, тем более, что Аббаса-Мирза сам просил позволения открыть военные действия, и писал, что жители Багдада, обещают ему сдать и город и область. Предложение это на первый раз казалось не безвыгодным, однако же при более внимательном обсуждении дела нельзя было не прийти к заключению, что вмешательство

Персии может замедлить заключение мира, так как Россия, сверх достижения своих собственных целей, будет поставлена в необходимость еще вести переговоры о выгодах своей союзницы. С этим можно было помириться только в том случае, если бы Персия могла оказать существенную помощь; но она была в таком положении, что сама просила у России помощи и деньгами и артиллерии. Паскевич благодарил Аббас-Мирзу за предложение, но отклонил его содействие под тем предлогом, что Персия после тяжкой для нее войны нуждается в покое.

Расчеты Паскевича устремились в другую сторону. С самого начала зимы он энергично повел переговоры, стараясь привлечь на сторону России — на левом фланге курдов, а на правом — аджарцев. Владетелю Аджарии, Ахмет-беку, предлагали за подданство генеральский чин, орденскую ленту и десять тысяч пенсии. Предложение было заманчиво, и старый бек колебался.

Сношения на левом фланге с курдами, занимавшими обширную территорию, и уже поэтому располагавшими полной возможностью оказать непосредственное влияние на дальнейший ход кампании в глубине Анатолии,— имели еще большее значение. Переход на русскую сторону курдов не только открывал свободный путь к Арзеруму со стороны Баязета, но лишал неприятеля лучшей его конницы, которая разлившись бурным потоком от стен Баязета, Вана и Муша до самых берегов Черного моря, могла поставить самого сераскира в безвыходное положение. И расчеты Паскевича имели основание в самом складе жизни и характере курдов, и в тех отношениях, которые сложились между ними и Турцией.

О происхождении курдов существует целая литература, но еще никто не сказал о них последнего слова, и их загадочное происхождение по-прежнему тонет в глубине времен доисторических. Несомненно одно, что курды представляют собой любопытный остаток древнейшего народа на востоке, и, вероятно, индо-германского корня; в языке их, жестком и трескучем, есть действительно много санскритского, и их колоссальный рост и сложение не могут принадлежать позднейшим, измельчавшим народностям Востока. В поэме Фердоуси “Шах-Наме” рассказывается следующий миф о происхождении этого народа.

“В глубокой древности,— говорит эта легенда,— жил некий царь Азгхи-Дахак (“Змий-губитель”), жестокость которого повергала все соседние страны в ужасные бедствия. По злобе демонов из плеч царя рождены были два змия, составлявшие нераздельную часть его тела и питавшиеся только человеческим мозгом. Для утоления их голода каждый день два человека обрекались им в жертву, но ловкий повар царя умел спасать ежедневно одного из этих несчастных и отправлял его в горы, чтобы никто не мог проведать о его существовании. Вот из этих-то спасенных, но одичавших людей и составилось впоследствии загадочное племя курдов”.

Во время Паскевича народ этот занимал то же гористое пространство между хребтом Агри-Дагом и песчаными равнинами Тигра и Евфрата, которое занимают ныне, и где можно видеть еще и теперь огромные, черные шатры Кидара, которым уподобляет себя возлюбленная Соломона в его песнях: “Я черна, но красива, как шатры Кидарские”. Благодаря вот этим-то переносным жилищам, курды поныне ведут полукочевую жизнь и занимаются только скотоводством. Один европейский путешественник, посетивший Восток, полагает, что число овец, пригоняемых курдами на продажу только в один Константинополь, простирается ежегодно до полутора миллионов голов и что на совершение этого пути они употребляют около полутора лет.

Разделенные с незапамятных времен на многие отдельные роды, из которых каждый управляется своим родоначальником, с титулом шейха или эмира, они в течение целых тысячелетий не изменяли ни своих обычаев, ни языка, ни национальной одежды, ни образа жизни. Трудно в настоящее время найти между народами всего земного шара столь патриархальную жизнь со всеми ее добродетелями и недостатками, как окаменевшую в своих определенных формах жизнь курда, для которого ни один закон не имеет такого значения и силы, как древний родовой обычай.

В самой религии курдов, несмотря на то, что большая часть их принадлежит к магометанскому исповеданию, сохранилось столько предрассудков от древних верований Азии, что сами мусульмане едва удостаивают их названием своих единоверцев. Множество несторианцев, армян, халдеев, равно как и мусульман, принадлежавших к нетерпимым сектам, находили во время оно убежище у курдов и, забытые своими земляками, мало-помалу забывали свою религию. Из этих сект особенного внимания заслуживают езиды — когда-то несторианцы, а потом начавшие поклоняться всему, не исключая дьявола. Впрочем, сами езиды отвергают последнее, говоря, что поклонение их сатане — пустая басня, но что по их законам сатану нельзя проклинать, так как он со временем может быть прощен, ибо никто не может положить предела милосердию Аллаха. Несмотря на это объяснение, езидов равно презирают и христиане и магометане; первые никак не могут примириться с их взглядом на виновника падения человеческого рода, а вторые не прощают им более житейской слабости — пристрастия к спиртным напиткам. Между тем езиды — самые честные и миролюбивые люди, из всех куртинских племен; зато остальные — поголовные разбойники.

Вековой беспорядок, господствовавший в сопредельных им государствах, в Турции и Персии, доставлял им легкое средство жить грабежом и поддерживал хищные наклонности народа. Самое название “курд” значит по-турецки “волк”, и они оправдывали его, будучи готовы грабить и резать все, что попадет им под руку.

Занятие русскими Баязета поставило курдов в зависимость уже от трех государств; русская опека присоединилась к опекам персидской и турецкой. Последней принадлежала, впрочем, львиная часть — большой Курдистан, где путешественники насчитывают до полумиллиона куртинских семейств. Северный Курдистан входит в состав пашалыков Ванского и Баязетского, западный — в Мушский и Арзерумский, южный — в Моссульский и Диабекирский. Восточной частью Курдистана владели уже персияне; и надо сказать, что политика, которой держалось это государство по отношению к курдам, упрочивала его владычество над ними гораздо более, чем политика Порты. Персидский двор старался предоставить одному из сильнейших и более благонадежных шейхов звание курдистанского валия и затем помогал ему деньгами и оружием распространять свое могущество и власть над остальными родоначальниками. Ничего подобного не делала Порта. Напротив, турецкое правительство пользовалось именно отсутствием централизации и единства власти у курдов и сеяло между ними раздоры, чтобы легче справляться с ними. Из этой системы выходило, однако, то, что курды, враждовавшие между собою, нередко переносили свою вражду на самую Турцию, а Турция не имела под рукой ни одного влиятельного человека, на которого могла бы опереться в случае надобности. А между тем, казалось, что Турция-то и должна была иметь в этом народе солидный ресурс своим вооруженным силам. Если бы каждое курганское семейство выставило только по одному вооруженному всаднику, то образовалась бы полумиллионная легкая, неутомимая конница. Но курды были настолько враждебны турецкому правительству, что оно не могло и думать о привлечении их к правильной военной повинности; ему приходилось довольствоваться тем, что давали сами курды, и более решительных мер принять было нельзя, потому что курды народ

беспокойный, легко поднимающий оружие. К тому же, в крайнем случае, они имели возможность всегда перекочевать в соседнее государство, особенно в Персию, где им было удобнее, нежели у нас, так как в пограничной полосе русских владений было мало земель, да и русские порядки были строже персидских. Таким образом, курды сохраняли только номинальную зависимость от Турции, которая в экстренных обстоятельствах, например, во время войны, вынуждена была давать им разные льготы, и только этим приобретать в них союзников весьма сомнительной верности.

А между тем курды недаром имеют репутацию отличной конницы. Правда, они не стойки, и самая храбрость их не есть выражение постоянного, холодного мужества, она — скорее порыв, вдохновение; но тот, кто видел, как целые сотни их ложатся под самыми жерлами пушек и умирают на штыках пехоты,— выносил о курдах хорошее впечатление. В русском корпусе о них сложилось двоякое мнение: одни относились к ним даже с большим уважением, чем они того заслуживали, другие величали их трусами. Разумеется, оба мнения несправедливы, потому что курды дерутся и хорошо, и дурно, смотря по тому, что приводит их к бою: жажда ли одной добычи, сила ли и принуждение непопулярного у них правительства, собственный ли энтузиазм, вызванный защитой родных очагов, или просто желанием показать свою молодецкую удаль.

Оружие у курдов приспособлено преимущественно к рукопашному бою; в особенности хороша их длинная, гибкая камышовая пика, которой они владеют в совершенстве. Когда курд несется на врага, он держит пику за середину и, потрясая ее, заставляет изгибаться дротик так быстро, что глаз не может уследить за направлением лезвия — и удар этот трудно отпарировать саблей. Природные наездники, курды не любят сражаться пешком, и потому почти не имеют ружей; но пара длинных пистолетов всегда за поясом, на котором висит также кривая персидская сабля, часто с булатным хоросанским или дамасским клинком. Круглый щит и несколько маленьких копий за седельным троком, ловко бросаемых из рук, дополняют их обычное вооружение. Прибавим, что порода куртинских лошадей, красивая и быстрая, настолько же ценится во всей северной Азии, насколько арабская — в южной, туркменская — в Персии.

Самый костюм курда чрезвычайно живописен: громадный головной тюрбан украшается перьями; красная куртка с откидными рукавами расшита золотом или шелками; талию охватывает широкая турецкая шаль самых ярких цветов, а шаровары у них ширины необъятной. Об этой последней оригинальной особенности курдского костюма можно сказать и теперь словами скифских послов Александру Македонскому: “Если бы боги благоволили даровать курду объем тела, равный его шароварам, то этого исполина не вместила бы вся Азия: один его карман коснулся бы Балкан, а другой — Арарата”.

Переговоры с курдами начались зимой, при посредстве пленных турецких пашей, и пошли настолько успешно, что мушский паша сам подослал в Тифлис армянина, обещая принять русскую сторону, если получит приличную пенсию и сохранит за собою достоинство паши. Паскевич отправил к нему капитана князя Вачнадзе, под видом армянского купца, чтобы условиться с ним на первый раз о найме двенадцатитысячной конницы, которой обязывался выплачивать жалованья по десять тысяч червонцев в месяц. “Я не требую от вас,— писал ему между прочим главнокомандующий,— чтобы ваши действия обнаружились прежде, нежели мы выступим в поле и будем у подошвы Саганлуга; но тогда вы уже должны держаться поблизости и напасть на турок, как скоро они опрокинуты будут к Арзеруму, а потом составить ваш левый фланг при движении к Сивазу и Токату”.

С большими опасностями и затруднениями удалось князю Вачнадзе пробраться сквозь ряд куртинских кочевий и доехать до Муша. Там он добился тайного свидания с пашой. Но паша объявил, что никогда не имел никаких замыслов против блистательной Порты и что тотчас же прикажет отправить Вачнадзе в Арзерум, как шпиона. Опытный в делах подобного рода, Вачнадзе отлично понимал, что паша должен был говорить именно так, чтобы очистить себя, по крайней мере перед своей собственной совестью, и потому отвечал, не смущаясь, что паша волен во всем, но что ему, князю Вачнадзе, не так дорога собственная жизнь, как дорого благоденствие его высокостепенства. Тогда турецкий сановник перешел прямо к размеру вознаграждения. Они условились, и Вачнадзе получил секретное дозволение войти в сношение с курдским населением.

Во главе курдских вождей стоял в то время Сулейман-ага, родоначальник племени Сипки, человек весьма замечательный и пользовавшийся огромной славой, наследственно переходившей в его роде. Геройскими подвигами, сохранявшимися тогда в рассказах, был знаменит его отец Аудал-ага; но эта известность меркла перед славой его сына, Сулеймана, ставшего живой легендой по всему персидскому и турецкому Курдистану. Ван, Тавриз, Баязет, Эривань и Арзерум были свидетелями набегов этого прославленного молвой наездника. И, действительно, тысячи партизанских подвигов, совершенных Сулейманом, носят на себе отпечаток больших дарований, оригинального природного ума и безумной отваги. Небезынтересно ознакомиться с этим курдским вождем по некоторым выдающимся его действиям.

Однажды, например, он только с двумя сотнями курдов наголову разбил пятнадцатитысячный турецкий корпус. Об этом невероятном событии впоследствии рассказывал сам начальник турецких войск Джафар-хан-Егойский, едва успевший спастись тогда с небольшой свитой. По его словам, когда турецкий корпус ночевал в одном из ущелий на северо-восточном склоне большого Арарата, Сулейман, воспользовавшись непроглядной темнотой ночи, загородил завалами все выходы из ущелья, и затем, внезапно ворвавшись в турецкий стан, произвел в нем общее смятение. Тогда под влиянием паники турецкие солдаты с ожесточением стали рубить и колоть друг друга, а курды, благополучно выбравшись из этой сумятицы, засели в завалах и спокойно поражали обезумевшую толпу своими выстрелами.

В другой раз, когда Сулейман жил еще в Эриванском ханстве, между ним и известным предводителем одного татарского племени, Саман-ханом, возникла ссора, и гордый татарин назвал Сулеймана курдским ослом. “Пусть голову мою накроют платком моей жены, если я прощу тебе эти слова”,— сказал Сулейман и через несколько дней откочевал в турецкую землю.

Известие об этом побеге сильно встревожило Эриванского хана. “Старый волк не забудет обиды и придет сюда рано или поздно”,— сказал он Саману, поручая ему полуторатысячный конный отряд для охраны границы.

Но о старом волке несколько месяцев не было никакого известия; когда же внимание Самана достаточно утомилось, Сулейман с пятьюстами курдов вдруг нагрянул на пограничный отряд — и Саман-хан за обиду расплатился жизнью. Рассказывают, что, преследуемый неотступно от самой границы, хан скрылся в какой-то бедной деревушке, которая, казалось, не могла привлечь к себе алчности курдов. Но курды обшарили даже все подпольные норки, и один езид, найдя Саман-хана, спрятавшегося в печке, отрубил ему голову. Сулейман долго катал ее по земле и наконец отправил к Эриванскому хану, приказав сказать ему: “Вот как курдский осел наказывает ослов персидских”.

Гибель Саман-хана, одного из сильнейших татарских владельцев, произвела в Эриванском ханстве такую панику, что никто и не подумал преследовать курдов.

Отличительной чертой характера Сулеймана была справедливость везде и во всем. Он прежде всего был воин, высоко ценил в своих подчиненных храбрость и мужество, и презирал алчность, которую всячески старался искоренять в своих партиях. Однажды, после сражения, молодой курд нашел два пистолета и саблю, оправленные в золото и драгоценные каменья. Кому принадлежало это сокровище, было неизвестно, и курд хотел предложить его в дар Сулейману. Но драгоценная добыча эта была отнята у него по праву сильного другим старым курдом, которым руководило только чувство презренной корысти. Узнав об этом, Сулейман собрал свою партию. Он приказал отобрать оружие у старика и, сам передавая его юноше, сказал своим воинам: “Не золота и не драгоценностей, а храбрости и мужества требую я в дар от своих подчиненных. Если бы я принял драгоценный подарок, то этим отнял бы собственность у храброго юноши и потерял бы его для себя как воина. Пусть драгоценное оружие украсит того, кому оно принадлежит по праву войны, и я потребую от него еще больших подвигов”. В то же время он приказал выгнать старика со стыдом и срамом за пределы, своего племени.

Случалось, что и Сулейман попадал в большую опасность, но тогда, если не собственная сила, то изворотливый ум помогал ему избегать несчастья. Однажды Сулейман, наткнувшись на засаду, был разбит и, окруженный сотней всадников, должен был прокладывать себе дорогу оружием. В первый раз герою приходилось бежать. Но у турок были добрые кони, и один молодой арнаут, гнавшийся за ним почти по пятам, уже настигал его... Тогда Сулейман, срывая золотые бляхи, которыми была унизана его одежда, стал бросать их на землю. Золото спасло ему жизнь. Опасаясь, что все это богатство ни за что ни про что достанется задним туркам, арнаут соскочил с коня и упустил еще более драгоценную добычу — возможность схватить знаменитого предводителя курдов. В Курдистане даже не хотели верить поражению Сулеймана, но он сам рассказывал об этом, считая недостойным себя скрывать неудачи, также как и хвастаться своими победами.

Теперь уже нет у курдов таких людей, каким был знаменитый Сулейман-ага. Участники последней кампании говорят, что народ приметно потерял свой воинственный дух и что современному курду уже все равно — будут ли плакать, или пировать над его могилой, смотря по тому, окончит ли он свой жизненный путь под домашним кровом или на ратном поле. Народный обычай этот поддерживается еще и поныне, но поддерживается уже в силу только одной стародавней привычки.

С этим-то Сулейман-агой Вачнадзе вошел в секретные переговоры, и когда ему удалось переманить его на русскую сторону, между курдами почти всех племен обнаружилось движение в пользу союза с Россией. Даже из отдаленного Диарбекира начальник племени езидов, некто Мирза-ага, прислал в то время Паскевичу следующее оригинальное послание: “Извещаю тебя незнакомый, но заочно любезный Паскевич, моя подпора и слава, что я езид, и хотя имею небольшое число народа, но в глазах турок считаюсь большим, и с помощью Божией сто человек моих курдов могут бить триста человек турок. Поэтому народ турецкий считает меня врагом своим. Я имею одну голову — и ту буду жертвовать за тебя, а со мной и весь народ мой также”.

Переговоры, таким образом, начались, и Паскевич, испросив у государя сто тысяч червонцев на предмет подобных сношений, не щадил ничего, чтобы привлечь на свою сторону турецких сановников и курдских вождей. Но одновременно с этим, чтобы не ставить себя исключительно уже в зависимость только от одной чужеземной силы,

главнокомандующий решился обратиться и к другим источникам, более близким к нему,— к средствам земского народного ополчения. Средство это было, впрочем, ресурсом далеко не надежным, и старожилы Кавказа пророчили ему полную неудачу.

Нужно сказать, что мусульманские провинции при ханском управлении имели особый класс людей, моафов, освобожденных от податей, но обязанных нести повинности военной службы; к ним, по призыву ханов, присоединялись беки со своими подвластными и, таким образом, формировалась довольно значительная земская сила. Но войны в то время состояли или в разбойничьих набегах, или в отражении разбоев, а потому, как в том, так и в другом случае, жители охотно становились под знамена своих повелителей, ибо походы продолжались не долго, завоевания не простирались далеко и земское войско не отвлекалось от своих хозяйственных занятий. К этому нужно прибавить, что привилегия моафства, избавлявшая от податей, ценилась высоко в крае, что наступательная война каждому представляла случай нажиться и вернуться домой с полными вьюками награбленной добычи, и что, наконец, помимо всего этого, ханы нередко дарили поступавшим в милицию деревни, земли, мельницы, оросительные каналы, сады или предоставляли в их пользу различные сборы. На этих условиях не трудно было набирать охотников, и во всех трех ханствах всегда имелось наготове не менее двенадцати тысяч всадников.

Никаких подобных приманок не представлял поход в Турцию с войсками Паскевича. Обычай европейской войны, отводивший значительное место гуманности по отношению к жителям, не дозволял поощрять ни грабежа, ни насилия; моафы не могли также рассчитывать ни на земли, ни на сады, ни на другие благостыни — и набор милиционеров, не поощряемых никакими выгодами, казалось бы должен был встретиться с большими затруднениями. Но Паскевич думал об этом иначе. Еще в кампанию 1828 году ему удалось собрать ополчение, хотя немногочисленное, но служившее весьма усердно,— и он осыпал его наградами; честолюбие и гордость мусульман польщены были этим настолько, что когда, в начале 1829 года, Паскевич обнародовал прокламацию о созыве конных татарских полков, мусульмане наперерыв просили позволения записаться в них, стремясь раздобыть не добычу, на которую уже не рассчитывали, а блестящие успехи и славу русского оружия. Соревнованию этому поддались даже джаро-белоканские лезгины, вызвавшиеся добровольно поставить под русские знамена отборных всадников. Воодушевление охватило и Грузию. Предводитель дворянства генерал-майор князь Багратион-Мухранский и генерал-лейтенант князь Эристов, один из значительнейших помещиков Грузии, явились к Паскевичу с заявлением от лица дворян, что Грузии будет прискорбно, если в войне против турок примут участие одни мусульмане, и просили дозволения собрать грузинскую милицию, обещая выставить в поле до двадцати тысяч ратников. Паскевич поблагодарил князей, но отклонил до времени их предложение. Он приказал собрать только четыре конно-мусульманские полка, в составе шести сотен каждый, усилить число сарбазов в Нахичеванском и Эриванском полубатальонах, сформировать в Нахичевани конницу Кенгерлы [Кенгерлы — одно из самых воинственных татарских племен, обитавших в Нахичеваньской области.], а в Баязетском пашалыке — пешее ополчение армян и конный полк из тамошних курдов.

На этих значительных ресурсах, которые, так или иначе, могли возместить ему малочисленность действующего корпуса, Паскевич и основал главным образом план своих будущих действий. Он предполагал с началом ранней весны, не ожидая уже прибытия рекрутов, открыть наступление на Арзерум с двух сторон, от Карса и от Баязета; а, между тем, поднять весь Курдистан, и, одновременно с движением войск, бросить всю многочисленную куртинскую конницу по дороге в Сиваз, чтобы стать на

единственном сообщении Константинополя с торговыми и многолюдными городами Диарбекиром и Багдадом.

По взятии Арзерума войска должны были оставаться там довольно продолжительное время, пока подойдут рекруты и соберутся значительные запасы продовольствия. Тогда Паскевич предполагал идти через Сиваз и Токат к Самсунскому порту (близ Синопа) и оттуда, открыв сообщение с черноморским флотом, угрожал Скутари. Таким образом, вся азиатская Турция была бы разрезана надвое; и в то время, как курдам предоставлено было бы хозяйничать в левой половине этого раздела, флот должен был сделать сильную диверсию к стороне Трапезунда, чтобы удержать тамошних горцев от опасного движения на нашу операционную линию.

Поход на Трапезунд с главными силами Паскевич предполагал бесполезным. “Между Арзерумом и Трапезундом,— писал он государю,— лежат высокие горы, через которые идут только вьючные дороги. Орудия, доставляемые этим путем, перетаскиваются без лафетов на веревках, а потому провести туда осадную артиллерию нет надежды, а без нее нельзя овладеть городом, хорошо укрепленным и имеющим большой гарнизон из воинственных лазов”.

Паскевич не находил занятие Трапезунда важным даже в политическом отношении, в смысле возможности оказать давление на Турцию. Самое положение города, в стороне от главной караванной дороги, лишало его значения первостепенного пункта. От Трапезунда дальше по всему берегу Черного моря почти не было никакого сообщения; горные хребты оканчивались там во многих местах уже в воде отвесными утесами, а в других местах узкие тропы до того заросли вековыми лесами, что по ним с трудом проезжал одиночный всадник. Это и было причиной, почему караваны из Константинополя шли в Арзерум преимущественно сухим путем через Анатолию на Сиваз и Токат, приобретавшие, таким образом, значение гораздо большее, чем Трапезунд с его первоклассной гаванью. “Впрочем,— прибавляет Паскевич,— если бы политические обстоятельства, мне не известные, потребовали занятия Трапезунда, то лучше действовать с моря десантом, так как отряд, осаждающий Трапезунд с сухого пути, должен считать себя отрезанным от всех сообщений с Арзерумом, и, в случае неудачи, отступление ему будет уже невозможно; лазы, конечно, не преминут занять все горные проходы и заставят войска на каждом шагу пробиваться оружием”.

План этот отправлен был уже государю, когда в Тифлисе получили высочайший рескрипт с изъявлением воли императора, чтобы военные действия со стороны Кавказа имели более решительности. Это заставило Паскевича несколько изменить первоначальный план и представить новое предположение, в котором он почитал возможным, не останавливаясь в Арзеруме, тотчас идти на Сиваз, чтобы воспользоваться смятением неприятеля и не упустить благоприятной минуты. Но в то же время, в пояснение этого плана, Паскевич писал начальнику главного штаба, что всякое движение из Арзерума вперед будет возможно только в том случае, если курды примут русскую сторону, иначе необходимо было иметь за Кавказом еще от шести до восьми тысяч пехоты, которая ранней весной должна уже находиться на сборном пункте корпуса у подошвы Саганлуга. Дибич отвечал на это, что предположения Паскевича относительно общего плана кампании государь утвердил, но что касается новых подкреплений, то высочайше повелено ограничиться одними рекрутами.

Был уже на исходе февраль, повсюду шли приготовления к новой кампании,— как вдруг громовым ударом пронеслась по Грузии весть об истреблении в Тегеране русского посольства, моментально изменившая весь ход событий. Как грозный призрак встала

перед Паскевичем возможность новой войны с персиянами. Весь мусульманский мир глухо заволновался. Но беда не приходит одна: почти в то же время пришло известие, что турки предприняли необычайный зимний поход и, перебравшись на лыжах через заваленные снегом горы, внезапно, среди глубокой зимы, осадили Ахалцихе. Это было сигналом к открытию военных действий в то время, как приготовления к ним со стороны России были далеко не окончены.

Наступило время, знаменательное историческими событиями.

XV. ЗИМНИЙ ПОХОД НА ВЫРУЧКУ АХАЛЦИХЕ

В то время как Паскевич, пользуясь перерывом в военных действиях, старался привлечь на свою сторону различные полудикие племена азиатской Турции, и между ними аджарцев, ближайших и самых воинственных соседей Ахалцихе, сераскир, со своей стороны, не щадил ни денег, ни ласк, ни обещаний, чтобы понудить так же аджарцев к немедленному открытию военных действий. Сераскир понимал хорошо, что если возможно отнять у русских Ахалцихе, то только зимой, когда малочисленный гарнизон крепости, отрезанный от Грузии высокими горами и глубоким снегом, не мог рассчитывать на скорую помощь, и в этих видах выхлопотал даже у султана фирман, в силу которого аджарский бек в самый день возвращения туркам славной твердыни, имел право наименовать себя пашой ахалцихским.

Но лукавый бек, ведя переговоры с Паскевичем, медлил принять предложение и, беря подарки с обеих сторон, ни к одной из них не" приставал открыто. Так проходили дни за днями, не принося с собой ничего нового. Январь уже был на исходе, зима приближалась к концу, и времени для зимнего похода турок оставалось немного. Тогда сераскир прибег к решительным мерам и, двинув турецкие войска из Арзерума, известил Ахмет-бека, что если он станет и теперь уклоняться или медлить походом, то ответит за это своей головой. Прижатый, что называется, к стене, Ахмет должен был наконец принять сторону турок. Он наскоро собрал пятнадцать тысяч аджарцев и, дождавшись прибытия вспомогательного турецкого отряда, двинулся к русским пределам. Необычайная энергия турок простерлась до того, что они перешли снеговые горы на лыжах и перетащили на руках шесть полевых орудий. 16 февраля неприятель уже вступал в селение Дигур, лежавшее на Посхов-Чае и на первый раз занялся грабежом армянских селений. Одна из его партий проникла даже на имеретинскую дорогу и там разбила купеческий караван, шедший из Ахалцихе. Паника охватила все население, и даже деревни ближайших санджаков, уклонявшиеся прежде от всякой солидарности с аджарцами, теперь принимали их сторону. К счастью, окрестности Хертвиса и Ахалкалак остались спокойными.

17 февраля войска Ахмет-бека подвинулись к Ахалцихе, а особый отряд, под предводительством Авди-бека, был выслан к Боржомскому ущелью, чтобы не допускать подкреплений из Грузии, а если будет возможно, то прорваться в Картли и распространить опустошение до стен Тифлиса. Все это облечено было, однако, в такую глубокую тайну, что начальник Ахалцихского пашалыка, князь Бебутов, получил первое известие о наступлении неприятеля только вечером 18 числа, когда аджарцы стояли уже в пятнадцати верстах от крепости в деревне Вале.

В Тифлисе тоже не знали ни о движении, ни о намерениях турок. Правда, там давно носились слухи, что сераскир к чему-то готовится, но этим слухам не придали вероятия даже тогда, когда стало известным, что Ахмет-бек открыто принял турецкую сторону. В Тифлисе до последнего момента были убеждены в невозможности военных действий зимой и думали, что все приготовления турок разрешатся каким-нибудь пустым

разбойничьим набегом: аджарцы разорят две-три христианские деревни и уйдут домой, а Ахмет-бек, верный турецким традициям, донесет султану, что побил множество гяуров, но что за снегами и холодом нельзя было дойти до Тифлиса, иначе светлый гарем падишаха был бы укомплектован в изобилии красавица-гурджи. Поэтому известие об осаде Ахалцихе поразило всех своей неожиданностью, а вместе с тем и дало уразуметь серьезность и важность наступившей минуты. Если бы турки успели овладеть Ахалцихе, то все результаты блестящей кампании 1828 года были бы потеряны, и Паскевичу пришлось бы думать уже не о новых завоеваниях, а только о возвращении утраченных приобретений прошлого года,— то есть приходилось бы начинать войну сызнова.

Современники рассказывают, что первое известие об осаде Ахалцихе Паскевич получил от коменданта Хертвиссой крепости майора Педяша — человека, известного своей странной манерой писать так, что только немногие могли читать и понимать смысл его рапортов. Когда Паскевич сорвал печать с конверта, привезенного ему каким-то конным чапаром, он с изумлением остановился на первых строках этого рапорта. Педяш писал: “По приказанию вашего сиятельства (разумелось, конечно, общее распоряжение о доставлении экстренных сведений прямо в руки главнокомандующего) Ахалцихе турками взят”. Далее в неясных и запутанных фразах следовало длинное исчисление турецких войск и мер, принятых князем Бебутовым для обороны крепости. Положительная фраза: “Ахалцихе турками взят”,— поразила Паскевича, и он не стал читать дальше роковой бумаги, случайно попавшей в его руки прежде, чем она успела пройти через цензуру привычного докладчика.

Было за полночь. Во дворце все спало, и только Паскевич большими шагами ходил по кабинету, ожидая начальника штаба и обер-квартирмейстера корпуса, за которыми поскакал ординарец. Первым явился генерал Вальховский, и Паскевич встретил его восклицанием: “Ахлцихе взят турками!”

— Не может быть! — вырвалось у Вальховского.

— Вот рапорт Педяша,— крикнул Паскевич,— и скомканная бумага полетела из его рук на пол.

В это время вошел начальник штаба барон Остен-Сакен. Главнокомандующий повторил известие: “Все пропало — Ахалцихе взят!”

Вальховский, между тем, воспользовавшись этой минутой, поднял смятую бумагу и, пробегая ее глазами, увидел, что после слов “Ахалцихе взят” стоит запятая. Тогда, привычный к писаниям Педяша, он перевернул целую страницу, пропустил все вводные предложения, и, отыскав другую запятую, прочел слово: “в блокаду”. Дело разъяснилось: “Ахалцихе был взят... в блокаду”. Паскевич повеселел и даже, шутя, заметил: “А ведь Педяш-то доносит, что Ахмет-паша взял Ахалцихе по моему приказанию...”

О самом Педяше главнокомандующий остался наилучшего мнения. “Он написал глупо, а распорядился умно”,— сказал он начальнику штаба, намекая на то, что Педяш первый дал знать о блокаде Ахалцихе, несмотря на трудность сообщений, уже прерванных турками.

Собственно говоря, положение Ахалцихской крепости не могло внушать уже слишком больших опасений. Вооруженная наилучшим образом, снабженная достаточным продовольствием и охраняемая одним из храбрейших полков кавказского корпуса, крепость, без сомнения, могла выдержать самый отчаянный натиск неприятеля, но продолжительная осада могла сломить сопротивление даже и ширванцев.

Предприятие Ахмет-бека было опасно еще и в том отношении, что оно могло поколебать и даже вовсе разрушить приобретенное нами доверие жителей, которые безусловно уповали на защиту своих победителей, и теперь, в самую критическую минуту, предоставлены были своим собственным силам. Очевидно, нужны были быстрые, решительные меры, и полковнику Бурцеву, квартировавшему с Херсонским гренадерским полком в городе Гори, в тот же день послано было приказание, как можно поспешнее занять крепость Ацхур и, заслонив таким образом Грузию, вместе с тем обеспечить проход через Боржомское ущелье другому, более сильному отряду, который, под начальством Муравьева, формировался из пяти батальонов пехоты при тринадцати орудиях, чтобы идти на помощь к Ахалцихе.

В Херсонском полку налицо было только шесть рот; остальные две находились: одна в Ахалцихе, другая — в Ацхуре; а весь третий батальон разбросан был по Военно-Грузинской дороге. Бурцев еще с осени имел приказание стоять наготове, а потому с осени же выдвинул одну из своих рот, под командой капитана Кишкина, в Сурам, на половину дороги к Боржому.

Когда пришло известие об осаде Ахалциха, Бурцев случайно находился в Тифлисе. Паскевич лично дал ему приказания, и он, не теряя ни минуты, поспешил в свою штаб-квартиру. Он прибыл в Гори около полуночи и тотчас потребовал полкового адъютанта.

“Турки,— сказал он,— в огромных силах обложили Ахалцихе. Сейчас нужно сделать распоряжение к походу и прежде всего — послать нарочного в Сурам, чтобы Кишкин спешил с ротой к Ацхуру”.— “Кишкин здесь, в Гори”,— сказал адъютант. “Тем лучше, зовите его,— я лично отдам приказание”.

“Была масленица,— рассказывает один современник этих событий,— и большинство офицеров собралось отпраздновать ее в квартире полкового адъютанта. Были песенники, была музыка и все усердно занимались печением блинов, но так как чугунных сковород нигде достать было нельзя, то в дело пустили шанцевые лопаты. Мысль о походе никому не приходила в голову, как вдруг полковой адъютант, возвратившись от Бурцева, объявил, что полк утром идет под Ахалцихе. Офицеры прямо с пирушки бросились готовиться к походу”.

Бурцев между тем разъяснил Кишкину всю важность минуты, и положив руку на плечо, сказал: “Ну, Семен Афанасьевич, на вас я надеюсь. Употребите все ваше усердие и мужество в этом серьезном деле. Вам нужно во что бы то ни стало и как можно поспешнее пройти или пробиться в Ацхур на помощь к Высоцкому. Рота его в большом некомплекте; если неприятель задавит ее, дорога нам будет заграждена. Возьмите лошадь с казачьего поста и скачите в Сурам, чтобы завтра утром и даже сегодня выступить”.

“Я здесь верхом,— сказал Кишкин,— и к утру буду в походе”. Он сел на своего кабардинского коня, только что пришедшего под ним из Сурама, и, проскакав в темную ночь без отдыха около пятидесяти верст, к восходу солнца был уже в Сураме. Там тоже никто не ожидал похода. Надобно было собрать роту, сформировать вьюки, раздать по рукам сухари и запасные патроны. Суматоха охватила весь город. Но не прошло и полутора часов, как рота уже была на марше. Путь был неимоверно труден; приходилось идти по тропинкам, увязая по колено в рыхлом снегу, а иногда взбираться на обледеневшие скалы, так как разлившаяся Кура во многих местах затопила ущелье. От Сурама до Ацхура, пятьдесят верст, рота шла безостановочно. Дорога, за несколько месяцев до этого столь оживленная, теперь была до того пустынная, что в течение дня войскам не встретилось ни одного прохожего, от которого можно бы было получить

какие-нибудь сведения об Ахалцихе. Солдаты страшно утомились. Кишкин, желая показать пример, пошел впереди пешком. Но как ни торопилась рота, ночь застала ее в дороге, у Страшного Окопа, верстах в десяти от Ацхура; пришлось остановиться и ночевать в снегу, даже без огней, разводить которые из предосторожности было запрещено. Часа за два до рассвета двинулись опять, и скоро в отдалении послышался слабый и протяжный гул; это гремели пушки в Ахалцихе. “Ребята! Прибавь шагу!” — скомандовал Кишкин. Ему нужно было спешить, чтобы как можно скорее занять последний обрывистый горный перевал близ Ацхура. Но едва рота взобралась на него, как при начинающемся рассвете увидела в стороне от крепости массу турецкой пехоты. Это был пятитысячный отряд Авди-бека, уже несколько дней стоявший в окрестностях Ацхура. Авди-бек находил рискованным действовать с таким слабым отрядом на Грузию и требовал подкреплений из-под Ахалцихе, а в ожидании их он даже не рискнул загородить дорогу подходившей роте — и Кишкин благополучно вошел в Ацхур.

Это было утром 25 февраля, а вечером в тот же день подошли к Авди-беку ожидаемые им подкрепления. Тогда вся турецкая конница двинулась в Боржомское ущелье, а пехота с двумя орудиями расположилась в четырех верстах от крепости в деревне Цинубаны. Комендант Ацхура, опасаясь нападения, сжег предместье; однако турки, укрепив Цинубаны, дальше не пошли и ограничились только наблюдением за ущельем.

А между тем к Ацхуру подходил и полковник Бурцев со своими херсонцами. Выступив 24 числа из Гори, 25 он ночевал уже у Боржомского блокгауза, а 26 две роты его с горным орудием подвинулись к укреплению Гогиасцихе. Нужно сказать, что дорога из Сурама к Ахалцихе, вступая в Боржомское ущелье, шла параллельно левому берегу Куры и только у нынешних горячих вод перебрасывалась на правый берег с тем, чтобы через десять верст снова возвратиться на левый. Таким образом, отряду предстояло совершить две трудные переправы через реку. А между тем Кура разрушила почти все береговые работы, произведенные с таким трудом осенью, и обе переправы до того были дурны, что плоты и паромы, построенные из старого леса, едва могли поднимать по два человека. При подобных обстоятельствах неприятель мог чрезвычайно затруднить движение русского отряда.

Но так или иначе, колебаниям места не было, и 27 числа две передовые роты заняли первую переправу, а сотня казаков выслана была вперед, чтобы захватить и вторую. Но там уже стояла турецкая кавалерия, высланная Авди-беком. Две тысячи турок двинулись на сотню казаков, и казаки, отстреливаясь, отступили, потеряв двух человек убитыми и одного раненым, которого турки захватили в плен.

Предвидя, что неприятель может сделать покушение и на первую переправу у горячих вод, Бурцев выдвинул ночью сильный пикет, расположившийся за рекой, в двух верстах от переправы, на неприступных скалах, через которые проходила едва заметная тропа. Утром 28 числа неприятельская конница действительно двинулась было к переправе, но, наткнувшись на пост, остановилась. Между тем Бурцев переходил в это время Куру, и по мере переправы рота за ротой вступали в бой. Русская позиция на скалах была так узка, что не позволяла развернуться фронтом более как десяти человекам, и задним приходилось стрелять через головы передних. Целый день турки вели атаку за атакой, но, убедившись, что русских выбить нельзя, взобрались на окрестные скалы и стали спускать оттуда на отряд тяжелые камни. Гул пошел по всему ущелью. Громадные, в сотни пудов каменные глыбы, сорванные с вершин, со страшным треском и грохотом катились вниз, сталкивались, прыгали и гудели, вздымая за собою целые облака пыли. Но солдаты, плотно прижавшись к отвесам скалы, были в безопасности. Между тем совершенно стемнело, и турки отступили, очистив Боржомское ущелье. Ацхурский замок сослужил в

этом случае добрую службу. Он удержал главные силы Авди-бека, которые так и не рискнули пройти в ущелье под выстрелами этой крепости.

С отступлением турецкой конницы, Бурцев беспрепятственно перешел вторую переправу, при которой накануне казаки имели горячую схватку, и первого марта подошел к третьей и последней переправе у самого Ацхура. Теперь, влево от отряда, за рекой, стояла крепость, готовая послать сотни выстрелов для его защиты; а прямо перед ним на том же берегу, где он стоял, верстах в трех лежало большое селение Цинубаны, за которым виднелся турецкий лагерь Авди-бека. Выход из ущелья все-таки был заперт, и Бурцев ничего не мог предпринять против неприятеля, загородившего ему дорогу в значительных силах. Положение его было весьма неопределенно и трудно. Собственно говоря, весь его отряд, как сказано выше, представлял собою не более как авангард Муравьева, назначенный для охраны Боржомского ущелья, и ему следовало бы, опираясь на крепкий Ацхур, дождаться здесь прибытия главного отряда. С другой стороны Бурцев рассуждал иначе. Отряд Муравьева составлялся из двух полков: Грузинского и Крымского, из батальона пионер, казачьего полка, картлинской милиции и тринадцать орудий. На сбор его очевидно требовалось время, тем более что Крымский полк, предназначенный к отправке в Россию, естественно, не был в боевой готовности, а Грузинский стоял в Кахетии в двух переходах за Тифлисом. От Тифлиса до Ахалцихе сто девяносто две версты трудной дороги, на которой два раза приходилось переправляться через Куру, что, конечно, должно было задержать надолго большой отряд с пушками и обозом. Словом, при всей поспешности сбора и марша, Муравьев не мог подоспеть к Ахалцехе раньше десяти дней, а в десять дней турки могли покончить с крепостью. С замиранием сердца прислушивался он к каждому пушечному выстрелу, после долгой паузы доносившемуся со стороны Ахалцихе. Но паузы становились все больше, выстрелы — реже. Предугадывая критическое положение осажденных, Бурцев решился действовать только со своими пятью слабыми ротами. И вот, в ночном мраке, со 2 на 3 марта, он обошел по недоступным горным тропам Цинубаны и появился в тылу Авди-бека. Турки, полагая, что за Бурцевым идут главные русские силы, не отважились вступить в упорную битву и отступили в горы. Крепкая турецкая позиция досталась Бурцеву без боя. Несколько гонцов из русского отряда немедленно полетели в Ахалцихе, целый пук сигнальных ракет взвился и загорелся в воздухе разноцветными звездочками, на горах пылали маяки — Бурцев всеми средствами спешил дать знать Ахалцихе о скором прибытии помощи.

Но помощи уже не требовалось: турки постыдно бежали из-под осажденной крепости. Ахалцихе отбился один.

XVI. ЗАЩИТА АХАЛЦИХЕ

Когда кампания 1828 года окончилась, и русская армия, оставив гарнизоны в покоренных областях, удалилась в Грузию, в Ахалцихе остались два батальона Ширванского полка и рота херсонцев, а командование войсками и управление всем Ахалцихским пашалыком поручено князю Василию Осиповичу Бебутову, тогда только что произведенному в генералы. В помощь к этим войскам, князь Бебутов собрал из местных жителей, карапапахов, отряд доброй конницы, которая и зарекомендовала себя сразу самым лучшим образом.

Когда карапапахи были готовы, начальнику их, Сулейман-аге, приказано было отправиться в Посховский санджак, чтобы с той стороны оградить нашу границу от нападения мелких разбойничьих шаек. 17 октября конница эта пришла в Цурцкаби и, принятая жителями с необычайным радушием, расположилась у них по квартирам. В самую полночь деревня внезапно огласилась ружейными выстрелами, криком и гамом —

целая шайка, скрытая обывателями в своих домах, напала на сонных карапапахов. К счастью, карапапахи, сами разбойники по ремеслу, спали одним глазом и не дали захватить себя в совершенном расплохе. Прежде всего бросились они спасать своих лошадей и выручили всех, кроме тринадцати, затем, с разных сторон, пробиваясь сквозь толпы, везде преграждавшие им дорогу, они, несмотря на темную ночь, успели собраться к дому Сулейман-аги — и по поверке людей оказалось, что из двухсот человек недостает только семи, но убиты они или взяты в плен— осталось неизвестным. До самого рассвета карапапахи храбро отстреливались в одном уголке Цурцкаби, а когда рассвело, и они увидели перед собою пятисотенную шайку, то отступили в порядке в соседнюю деревню и там приготовились к новой защите. Тогда неприятель понял, во что ему может обойтись победа, и ушел в свои горы. Замечательно, что к поступку цурцкабцев отнеслись в то время как-то легко, и жители остались даже не наказанными за свою изменническую выходку.

Впрочем, это был едва ли не единственный случай, возмутивший спокойствие Ахалцихского пашалыка. Скоро наступила зима. Русские засели в Ахалцихе, как дома, нисколько не тревожась теперь изолированностью своего положения. Погода стояла снежная, но теплая, и только на горах бушевала метель, да крепчал мороз, убаюкивая мысль, что ни одна разбойничья шайка не рискнет нарушить покоя временной пограничной черты. К тому же, введенные русскими порядки не нравились только ахундам, муллам, да пожалуй, еще горожанам; большинство же сельского населения было безусловно на стороне русских и искало с ними сближения. Кругом было все тихо и спокойно. Горные хребты, покрывшиеся уже к ноябрю глубокими снегами, оградили область непроходимой стеной от мелких нападений со стороны Аджары, и даже казачьи пикеты, за исключением немногих, стороживших горные проходы, были сняты.

Князь Бебутов, уроженец Армении, отлично знал не только восточные обычаи, но и наречия тамошних разноплеменных жителей, и кротким обращением скоро сумел приобрести себе такое доверие, что даже буйное и воинственное население самого Ахалциха, фанатически преданное туркам, ни разу не обнаружило наклонности к какому-нибудь беспорядку. Беки, известные в прежнее время своими разбоями,— и те не раз приезжали к нему на поклон и величали пашой. Популярность его в крае быстро росла. Каждый день приходили к нему толпы народа с просьбами о своих нуждах или так просто потолковать по обычаю всех азиатов, радуясь, что могут говорить с начальником без переводчика, которых вообще не любят, зная их проделки.

Из множества дел, нередко характерных, иногда даже острых, требовавших от князя Бебутова крайней осмотрительности и осторожности в произнесении приговора, были, например, такие.

“Раз,— рассказывает очевидец,— в правление собралось много народа: явились все почетные лица, все ученые турецкие юристы, кадии и муллы. По озабоченным лицам их уже видно было, что дело шло не простое. И действительно, по жалобе грузинского дворянина, видимо приниженного, плохо одетого и невзрачного собою, судился влиятельный старый бек, управлявший ахалкалакским санджаком. Шел оживленный и иногда страстный спор. Князь принимал в нем большое участие, то хмурясь и выражая неудовольствие, то расправляя брови и принимая довольный вид, когда течение дела принимало вполне спокойный характер, и увлечениям и спорам не оставалось места. Оказывалось, что в 1815 году, еще до Ермолова, во время одного из обычных тогда набегов на Картли, лезгины захватили недалеко от Гори молодую грузинку, которая при дележе добычи досталась местному ахалкалакскому владельцу Мута-беку. У несчастной женщины остались на родине муж и грудной ребенок. Бек, в свою очередь, взял ее себе в

жены. Сначала грузинка тосковала по семье и родине, но скоро совершенно свыклась со своим положением, тем более что богатый и могущественный бек, сам происходивший из Грузии, настолько старался сделать ее жизнь приятной и легкой, что даже позволил ей остаться христианкой и принимать у себя грузинского священника. Так прошло почти четырнадцать лет. Когда русские взяли Ахалкалаки, законный муж потребовал возвращения ему жены по правилам христианского закона. Старый бек на основании законов мусульманских не хотел исполнить этого требования. Тогда решение предоставили самой женщине. Положение ее было до крайности трудное. С одной стороны, она уже приучилась к богатству, отвыкла от прежнего мужа и знала, что он ничего не может ей дать кроме бедности; а с другой, как христианка, она не могла отрешиться вполне от веры и преданий родины. И вот она предоставляет решить свою судьбу русскому паше, веря безусловно в непогрешимость его приговора. Вся трудность положения перешла теперь на князя Бебутова, на которого обращены были взоры всех мусульман. Законность была на стороне первого мужа, но отнять жену у почтенного мусульманина, оказавшего в короткое время так много услуг Паскевичу, особенно при взятии Ахалцихе, значило подвергнуть имя его страшному позору. А этот позор не только произвел бы взрыв негодования среди турок, но и мог вконец подорвать их доверие к беспристрастному отношению русских властей к делам религиозного характера. Бебутов решился обойти каноническое право, чтобы стать на почву общественных житейских отношений. При его умении влиять на спорящие стороны, дело скоро уладилось миром: грузинка осталась у бека, а бек заплатил грузину тридцать рублей серебром и в придачу дал серую куртинскую кобылицу. Так решались дела к обоюдному удовольствию тяжущихся. “И если случалось,— говорит один современник,— дисгармония в общем строе управления, то она происходила уже исключительно от его подчиненных”.

В Ардаганской крепости, ближайшей к стороне неприятеля, комендантом был тогда командир казачьего полка храбрейший генерал Сергеев, в Хертвисской — майор Педяш. Казачий генерал распоряжался нередко в делах юридического свойства чисто по-казачьи, и жители обращались на него с жалобами к князю; князь отменял решения, а генерал обижался. Педяш был замечателен в другом отношении, именно — совершенным сумбуром в его управлении. Это был мистик, строгой, воздержанной жизни, углубленный в книги религиозного содержания и подчас выказывавший необычайные странности. Его высокая, сухощавая, серьезная фигура, манера говорить всегда таинственно, изысканными словами, производили на турок такое впечатление, что они “клали в рот палец удивления”, качали головами и называли его русским дервишем. Писал он всегда туманно, витиевато, с примесью церковных текстов, и лишь немногие могли читать и понимать его рапорты. Получив, бывало, исписанный лист донесения Педяша, князь прочитает его, улыбнется и передаст к исполнению. Прочтет адъютант и спросит у князя: “Что делать, я не понимаю написанного?” — “Ну, братец, и я не понял,— скажет улыбаясь князь,— ты секретарь, турки тебя называют мирзою,— делай как знаешь. А, впрочем, отложи бумагу, может быть приедет проситель или тамошний бек, тогда из слов их узнаем в чем дело”. На Педяша турки, однако, никогда не жаловались, потому что он был человек добрый и безукоризненно честный.

Таким образом, жизнь в области шла мирно и тихо, и никому не приходило в голову, что гроза уже надвигалась и стояла близко. В табельные дни и при получении запоздалых известий о победах в европейской Турции, князь давал обеды для почетных лиц города, причем всегда стреляли из пушек; турецкого пороха и боевых запасов взято было в крепости много, и потому на них не скупились; а между тем это производило впечатление на жадный до новостей народ, который быстро разносил за границу преувеличенные вести о новом торжестве русских. При подобных пиршествах все гости помещались в одной общей зале; но обедов готовилось два: один для христиан, другой для мусульман,

располагавшихся тут же на коврах, с поджатыми ногами. За здоровье государя русские пили вино, магометане — шербет.

Во время одного из таких обедов, шестого декабря, явился дервиш, из числа тех бардов, которые рассказами и песнями разносят по азиатским странам вести и сказания о важнейших событиях прошлого и настоящего. Рапсодии их нередко остроумны, всегда оригинальны и поэтичны. Дервиш пел голосом Кер-Оглы о последнем походе русских в азиатской Турции, о их переходе за Арпачай, о взятии Карса, Ахалкалак и Хертвиса. Он пел с такой точностью и с такими подробностями, которые изумляли слушателей. Но когда дошел он до сражения девятого августа, когда начал петь об ахалцихском приступе, присутствовавшие турки не могли скрыть своего негодования. “Зачем,— говорили они,— отдавая справедливость русским, он умалчивает об упорстве наших пашей, об отчаянной защите жителей?” Гордость ахалцихцев не хотела уступить ни шагу, и когда разговор заходил о храбрости, они говорили о ней, как о своем драгоценном достоянии. Это обстоятельство указывало, однако, что ахалцихцы еще не разорвали связей со своим прошлым и при случае, быть может, попытаются воскресить свою померкнувшую славу.

Как раз около этого самого времени стали носиться слухи, что Ахмет-бек аджарский пожалован султаном ахалцихским пашой и собирает войска, чтобы отнять у русских и город и крепость. В Ахалцихе шутили, что у князя Бебутова явился соперник. Но так как турки по давнему обычаю затевали много, а делали мало, и зачастую громкие планы их кончались ничем — то ни о каких серьезных приготовлениях к отпору русские не заботились, решительно не ожидая военных действий среди глубокой зимы, тем более, что Ахмет-бек не прекращал секретной переписки с Бебутовым.

Такое настроение не изменилось даже тогда, когда в Ахалцихе поутру 26 января, прискакал гонец с известием, что в Су-Килиссе, всего в нескольких верстах, слышна сильная ружейная перестрелка. Из города поскакала туда карапапахская конница с подпоручиком Туркестановым — и прибыла как раз вовремя. В Су-Килиссе находилась в тот день команда из двадцати четырех человек Ширванского полка, занимавшаяся перемолом хлеба на мельницах, и она-то была атакована сильной конной партией аджарцев, внезапно спустившейся с гор, под начальством Тейфур-бека, бывшего правителя Посховского санджака. С прибытием карапапахов, неприятель бросился в разные стороны, и ширванцы были выручены, потеряв только одного человека убитым. Су-Килисские армяне показали, однако, направление, по которому бежал сам Тейфур-бек, и Туркестанов преследовал его до деревни Чкалтбила, гае следы прекратились, а жители отказались указать дальнейшее направление партии. Тогда, чтобы наказать деревню, явились сюда две роты ширванцев с орудием и нашли все население запершимся и готовым к защите. Но едва солдаты зажгли крайний дом, и огонь стал угрожать деревне полным истреблением — жители просили пощады и сами указали тропу, по которой они провели Тейфур-бека вместе с двенадцатью сопровождавшими его аджарцами. Отряд наказал деревню отгоном у нее части скота и возвратился в Ахалцихе.

Частный набег этот произвел в городе большое волнение. Наутро к Бебутову явились старшины от имени всех городских обывателей и просили не оставлять их без защиты, в случае нашествия аджарского бека. Бебутов отвечал, что он не намерен запираться в стенах цитадели с храбрым гарнизоном, а сам выйдет навстречу аджарцам, с тем, однако, чтобы все жители-магометане собрались в нижней крепости и оставались в своих домах до окончания дела. Просить подкреплений из Грузии Бебутов все еще не решался. Известия о сборах неприятеля могли быть по обыкновению преувеличены, и потому, если бы Ахмет-паша ограничился только набегом на окрестности Ахалцгхе, то войска, пришедшие из Грузии, понесли бы напрасно огромные труды, и требование помощи

могло оказаться неуместным и необдуманным. Князь Бебутов был в большом затруднении, не зная какую дать оценку настойчивым слухам, и решился ждать разъяснения.

Наступила масленица 1829 года, и разъяснение не замедлило. Однажды, 18 февраля, уже часов в одиннадцать ночи, когда у князя сидели два-три офицера, вдруг прибежал с гауптвахты вестовой с докладом, что какой-то армянин неистово стучит в ворота крепости, требуя немедленного пропуска к князю. Его велели впустить. Вбежал крестьянин, и, с воплем бросившись к ногам князя, начал рассказывать, что часов в восемь вечера огромная турецкая армия с пушками спустилась с гор и заняла несколько деревень, лежавших всего в пятнадцати верстах от Ахалцихе, что турки грабят и режут христиан, окружив деревни густой цепью так, что он с трудом мог пробраться, чтобы дать известие в крепость.

Поднялась тревога. В ожидании немедленного нападения турок роте херсонского полка, стоявшей на самой отдаленной окраине города, в виде сторожевого пикета, послано было приказание как можно скорее войти в крепость; две роты Ширванского полка даже высланы были к ней навстречу и заняли квартал, через который следовало отступить херсонцам, и где преобладало мусульманское население. Город проснулся; в христианских и еврейских кварталах началось смятение: в домах, среди полуночного мрака, засверкали огни, послышались вопли, и жители толпами бросились спасаться в крепость. Ворота, однако же, заперли и объявили, что ночью в крепость никого не пустят, так как по пятам жителей могли ворваться турки.

Между тем самое напряженное наблюдение со стен крепости не открывало в темноте никакого враждебного движения, и ни одного выстрела не слышно было с той стороны, откуда ожидался неприятель. С рассветом гарнизон, стоявший под ружьем, был распущен; херсонская рота по-прежнему пошла занять передовой охранный пост на окраине города, с тем, однако, чтобы с наступлением сумерек опять возвратиться в крепость; казачьи разъезды посланы были по всем дорогам верст на пять, но неприятеля нигде не было видно. Между тем, евреям и христианам дозволено было переносить ценное имущество в крепость и отправлять в цитадель свои семьи. Теснота помещения позволила дать в ней убежище, однако, лишь семистам семействам, наиболее преданным русским; прочие поневоле должны были остаться в городе. Мужскому населению дали часть имевшихся в запасе ружей, снабдили его боевыми патронами и предоставили занять низенькую стенку вроде гласиса, под защитой крепостных выстрелов.

Поутру кое-кто из почетных мусульман приходил к князю Бебутову с изъявлением преданности. Князь благодарил за усердие и просил их держать в порядке и спокойствии город. Но уже было известно, что многие турки, пользуясь ночной суматохой, бежали из города, а остальные хотя и сохраняли наружное спокойствие, но свирепые взгляды, подчас бросаемые ими на русских, ясно выдавали их настроение; на улицах турки показывались редко, но на дворах везде стояли уложенные арбы, а это служило верным признаком, что если не они, то их семейства готовятся к бегству. Прошел целый день. Неизвестность и смута тяготели над Ахалцихе. Уныние жителей и полное спокойствие уверенного в самом себе гарнизона составляли между собою в то время странный и резкий контраст.

Рассказывают, что в этот самый день херсонская рота, стоявшая за городом, получила известие о наградах, вышедших за Ахалцихе, а потому, несмотря на близость неприятеля, на бивуаке поднялось веселье: явились песенники, послали за имеретинским вином, и пир пошел горой. Погода стояла настолько теплая, что солдаты, не желая тесниться в мрачных

землянках, пировали под открытым небом. Солнце начинало садиться, как вдруг один из офицеров сказал своему товарищу: “Пойдем открывать неприятеля”.— “Пойдем” — отвечал тот. Велели двум песенникам взять тут же стоявшие в козлах ружья, и отправились в ту сторону, откуда ожидали турок. В версте от лагеря они встретили конную толпу вооруженных людей, которые на спрос отвечали, что они ахалцихцы и возвращаются домой. Турки смотрели на русских недружелюбно, однако же вблизи от города побоялись сделать нападение. Наши “открыватели” пошли дальше, зашли за Су-Килиссу, ежеминутно рискуя своими головами, и возвратились назад уже в темную ночь, когда рота получила два приказания как можно скорее возвратиться в крепость и не решалась отступить, ожидая возвращения своих охотников.

А в крепости, у князя Бебутова, шел в это время военный совет. Голоса на нем, однако, разделились. Одни хотели сжечь город, чтобы немедленно очистить эспланаду: другие почитали эту меры крайней, и предлагали в случае появления турок сделать прежде вылазку и тогда уже, если понадобится, зажечь городские дома, чтобы удобнее биться за дымом и пламенем. Князь, видя мужественную решимость гарнизона, склонялся на последнее мнение — и офицеры разошлись по домам.

Нужно сказать, что вопрос об этой эспланаде поднимался уже давно. Правила европейской фортификации требовали пожертвовать интересами жителей, но политика ставила этот вопрос несколько иначе, и выдвигала на первое место интересы жителей. В самом деле, уничтожение почти целой тысячи домов, уцелевших при штурме, могло сильно подорвать к русским доверие покоренных граждан. Мало того, мера эта возбуждала серьезные опасения, что несколько тысяч жителей, лишенные последнего приюта, уйдут к туркам и увеличат число врагов. Служа в отечественную войну при маркизе Паулуччи, Бебутов знал, как строго порицали тогда рижского коменданта, приказавшего при появлении невдалеке французов, сжечь форштадт, между тем как французы даже не подходили к Риге, Могло случиться, что и турки не решились бы прибегнуть к такой отчаянной мере, как штурм, и тогда вина в напрасном возбуждении жителей пала бы на князя Бебутова. Чтобы примирить оба взгляда, ограничились, как это бывает всегда, средней мерой: разломали несколько домов, примыкавших к крепостной стене, а линию каменных лавок, мечеть перед самыми крепостными воротами, и караван-сарай, сложенный из тесаных плит со сводами, оставили. Была мысль сжечь их. Но, во-первых, разыгравшееся вблизи пламя могло обратиться на крепость, произвести пожар и, пожалуй, взорвать в цитадели порох, помещенный в очень ненадежных зданиях; а во-вторых, обрушившиеся громадные каменные строения могли послужить для неприятеля хорошими траншеями; растащить же остатки этих зданий в скором времени было нельзя, и Бебутов решил предоставить их для защиты христианского населения.

Было уже далеко за полночь, когда запоздавшая рота херсонского полка вступила в крепость и разошлась по казармам. Вернувшиеся с разведки офицеры говорили товарищам, что они были за Су-Килиссой и нигде не видели даже признаков приближения неприятеля. Город также спал; в домах везде было темно, тихо, и только рокот реки нарушал безмолвие ночи. В крепости все улеглись с мыслью, что неприятель еще далеко, а через два-три часа барабаны уже били тревогу, и турки штурмовали Ахалцихе.

Первый ружейный выстрел послышался с Посховского моста, то есть со стороны, противоположной той, откуда ожидалось нападение. Кем он был сделан — неизвестно, но он поднял тревогу, и гарнизон стал в ружье. В это время двадцать тысяч турок с разных сторон вошли в предместья Ахалцихе. Все мусульманское население приняло их сторону,— и неприятель, не теряя времени, немедленно устремился на приступ крепости. Нельзя изобразить дерзкую отвагу, с которой турки, среди глубокого мрака, взбирались на

стены. Беспорядочные массы их таяли, но новые толпы заменяли павших — и нападение не ослабевало. Полчаса гарнизон был в страшной опасности. К несчастью, крепость не имела вовсе фланговой обороны, и весь огонь ее был только фронтальный. Много помогли, впрочем, в это время пудовые бомбы, найденные при взятии крепости; их стали бросать за стены, и взрывы их, покрывая своим грохотом батальонный огонь, несколько охлаждали яростный натиск врагов. Попытка взять крепость с налета, не давая гарнизону опомниться, не удалась; турки отхлынули, наконец, от стен, и толпы их засели саженях в пятидесяти, в ближайших домах, поднимавшихся амфитеатром.

Между тем, внутри самого города шла не менее ожесточенная битва. Там христиане, запершиеся в караван-сарае, встретили было турок ружейным огнем, но караван-сарай был взят штурмом, и мужественные защитники его были вырезаны все до последнего. Тогда начался грабеж. Истреблялись преимущественно дома христиан; но в порыве алчности аджарцы не всегда щадили своих единоверцев, и между ними и жителями не раз происходили кровавые стычки, грозившие перейти в общую междоусобицу. Так прошла страшная ночь, и рассвет 20 февраля открыл глазам зрителей поразительную картину. За почерневшими от дыма зубцами крепости толпились группы солдат, сурово смотревших с высоких стен цитадели на волнующиеся в городе толпы неприятеля. На их энергичных загорелых лицах виднелась решимость и привычка к бесстрашной встрече со смертью. Внизу, под самой стеной, за невысоким каменным барьером, толпились сотни две женщин и часть мужчин, успевших бежать из предместий под защиту русских выстрелов. С отчаянием во взорах, с ужасом на лице, они взывали к солдатам о спасении; многие из них держали в руках распятия или иконы. Вдали слышались исступленные вопли жертв, попадавших под нож или зверское насилие турок. Все пойманные женщины были поруганы и забраны в плен; мужчин предавали мучительной смерти; их выводили по несколько человек на плоские крыши домов и на глазах гарнизона медленно кололи кинжалами. Стон и дикие крики, стоявшие в воздухе, покрывались грохотом крепостных орудий и перекатной дробью ружейной перестрелки. Было ясно, что та же участь неминуемо должна постигнуть и тех несчастных, которых отделяла от русских одна крепостная стена и которые напрасно молили о помощи. Отворить крепостные ворота было невозможно. Солдаты просились на вылазку. Но судьба этой вылазки была весьма сомнительна, и чувство человеколюбия должно было умолкнуть перед чувством долга. Князь Бебутов должен был беречь своих отважных солдат и их силы до более решительной и важной минуты осады.

С наступлением дня резня прекратилась. Неприятель отдыхал, и только шайки мародеров продолжали еще грабеж в отдаленных кварталах. Из-за ближних домов пальба по крепости, однако, не прекращалась, и хотя солдаты успели уже примениться к неприятельским выстрелам, но все-таки время от времени пули выносили из фронта то того, то другого. Русские имели уже двенадцать человек убитыми и двадцать четыре ранеными.

В одиннадцать часов утра князь Бебутов созвал в своей квартире военный совет. Собраны были начальники отдельных частей и все ротные командиры гарнизона. Послан был вопрос, следует или не следует сделать вылазку, чтобы выбить неприятеля из ближних домов и очистить наконец эспланаду. Теперь, когда городские дома образовали для турок, так сказать, род передовых укреплений, излишняя гуманность с жителями, едва не послужившая к гибели русских, была уже неуместна,— и большинство голосов на военном совете склонилось к тому, чтобы выжечь город и тем уничтожить опасное соседство осаждающих. Мнение это было уже принято, когда встал заведовавший в Ахалцихе всей артиллерией штабс-капитан Горачко и просил выслушать его заявление. “Вылазка,— сказал он,— вовсе не соответствует нашему положению. Войска при самом

выходе из крепости встретят сильнейшего неприятеля и должны будут вступить в рукопашный бой на самом тесном пространстве. В случае неудачи, или придется пожертвовать всеми высланными людьми, или, спасая их, доставить туркам возможность ворваться в крепость вместе с отступающими. Прикрыть ретираду картечью и ружейным огнем, не поражая в одно и то же время своих,— нельзя. А потеря двухсот пятидесяти или трехсот солдат из тысячи ста человек гарнизона будет для нас гибельна". Замечание это, высказанное молодым офицером с горячим убеждением, поколебало уже составившееся мнение военного совета. Члены его один за одним стали переходить на сторону Горачко — и вылазка была отменена. Решено было ограничиться только тем, чтобы заложить пустые амбразуры мешками с землей и, таким образом, устроить хоть какое-нибудь прикрытие для людей, стоявших на стенах крепости.

Совет постановил и несколько других второстепенных решений. Из сотни пушек, составлявших крепостную артиллерию, двадцать, большого турецкого калибра, отделены были в цитадель; над главными крепостными воротами положено было устроить особую батарею из двенадцати пушек и четырех мортир, а остальные орудия разместить по разным местам крепостной стены и на бастионах. Штабс-капитан Горачко заведовал всей артиллерией; поручик Круглов командовал в цитадели; поручик Андреев (Херсонского полка) — батареей над главными воротами; тыльные батареи поручены были в ведение подпоручика Рентеля и провиантского чиновника князя Гедройца — последнее назначение уже указывает на то, как велик был недостаток офицеров в крепости. Так прошел первый день осады; ночью турки сделали несколько завалов против главных ворот, но ничего решительного не предпринимали. Поутру двадцать первого февраля отряды их заняли все дороги, ведущие в Ахалцихе со стороны Ацхура, Хертвиса, Ахалкалак и Ардагана. Крепость была обложена так тесно, что с этого времени в продолжении двенадцати дней осады, ни один лазутчик не мог проникнуть в нее, и гарнизон во все это время решительно не знал о мерах, предпринятых для его освобождения. Известно было только, что брат Ахмет-паши, Авди-бек, со значительными силами занял Боржомское ущелье и что сообщение с Грузией прервано.

Томительно тянулась осада. Погода все время стояла ненастная, шел мокрый снег пополам с дождем, а между тем солдаты, промокшие до костей, истомленные работой и бессонными ночами, не имели времени даже обсушиться или порядком согреться; из девяти рот — семь бессменно стояли на стенах в ожидании приступа, и только две отдыхали, составляя в то же время общий резерв для крепости и цитадели. Чтобы сколько-нибудь защитить людей от сырости, князь Бебутов приказал раздать солдатам порожние провиантские кули — и они мастерили из них головные уборы, шили что-то вроде бурок и употребляли на подстилку. "Забавно было,— говорит очевидец этой осады,— смотреть на наших солдат, едва ворочавшихся в своих мокрых рогожных кулях, за ночь всегда замерзавших и торчавших колом". Но некрасивое убранство это все же предохраняло их от простуды и уменьшало болезненность. Впрочем, ширванцев, неразлучных спутников ермоловских походов, нельзя было удивить никакими нарядами; в подобных же костюмах они "с батюшкой Алексеем Петровичем" искрестили все Закубанье, Кабарду, Чечню, Дагестанские горы и, наконец, в рогожных же лаптях явились и под Шамхор на грозный бой с персиянами.

А неприятель, между тем, делал свое дело медленно, но верно. В городе росли укрепления; улицы покрывались баррикадами, у католической церкви, так памятной ширванцам кровавой резней 15 августа, поставлена была батарея; другая появилась у горы Кая-Даг, а от них вправо и влево протянулись завалы, устроенные из бревен и каменьев. Этот страшный обруч, сдавливавший крепость, можно было разбить только неустанным огнем,— и русские батареи гремели не умолкая. Один из ахалцихских турок, Иороман-

Байрахтар, вызвался было ночью проникнуть в неприятельский стан, чтобы сжечь завалы и произвести пожар в самом городе, но попытка его не удалась, и зажечь он ничего не успел. Толкаясь между турецкими солдатами, он слышал, однако, их похвальбу, что крепость завтра будет взята и с этим тревожным известием вернулся к князю Бебутову. Естественно, стали ждать штурма; ночью никто не ложился спать, огни были потушены, солдаты стояли с ружьями у ног. Но ночь прошла, началось опять сырое туманное утро, а штурма не было. Иороман тем не менее оказался прав. Ахмет-паша задумал покорить гарнизон не штурмом, а жаждой.

Нужно сказать, что в цитадели был фонтан, снабжавший гарнизон хорошей водой, но турки в первый же день осады испортили водопроводную трубу, и фонтан перестал действовать. Гарнизону пришлось брать воду из Ахалцих-Чая. В первые четыре ночи доступ к реке нижними воротами был свободен, но теперь неприятель догадался в чем дело, и ночью 24 августа устроил под скалой, близ самой реки, завал, откуда бил каждого, кто выходил из закрытого подземного спуска на берег. Водопой скота сделался невозможен. Тогда Бебутов решился прогнать неприятеля силой. На вылазку ходило тридцать ширванцев с поручиком Лацинниковым; они подкрались к завалу ночью и, разом кинувшись в штыки, взяли его штурмом. Неприятельский резерв, пытавшийся дать помощь, попал под сильнейший крепостной огонь и отступил, оставив на месте тридцать тел, которых не успел подобрать. Со стороны ширванцев потерь в этом деле не было. Однако же гарнизон торжествовал недолго. 27 августа против ворот, обращенных к реке, вновь появились неприятельские шанцы, покрытые на этот раз таким толстым накатником, что даже бомбы не могли его разрушить, и неприятель, метко обстреливая, ворота, не позволял опять никому выходить из крепости. Попробовали солдаты ходить за водой другим прикрытым путем, защищенным блокгаузом, но в следующую же ночь неприятельский редут появился и против этого блокгауза. Людям пришлось довольствоваться снеговой водой, а для животных запасаться ею в темные ночи.

Осада, между тем, шла своим чередом. С рассвета до ночи пальба с обеих сторон не прекращалась. Только батарея, устроенная над крепостными воротами, стреляла редко; в четыре дня там уже переменилось два комплекта прислуги, и ее вынуждены были заменить пехотными солдатами. Вообще, самая тяжелая служба и самые большие потери выпали на долю артиллеристов. Прицельные выстрелы с высот били в амбразуры почти наверняка, а с неуклюжими лафетами турецких пушек было так много хлопот, что артиллеристам приходилось стоять почти открытыми. Поручики Круглов, Андреев и князь Гедройц были уже ранены, и их заменить было некем.

Потеря начальников не ослабляла, однако, мужества артиллеристов. Благодарная память товарищей сохранила нам скромное имя простого бомбардира Мишустина, который в эти тяжелые дни был истинным утешением целого гарнизона.

Мишустин был старый солдат, видавший на своем веку всякие виды, ходивший за Дунай еще с Михельсоном и Прозоровским. Он знал много таких рассказов, от которых в самые трудные минуты все разражались гомерическим смехом, и около Мишустина всегда можно было видеть группы суровых солдат, приходивших, что называется, отвести свою душу. Стрелял он из мортиры с удивительной меткостью, почти без промаха, и по расчету, ему одному известному. На минарете всегда сидел дежурный казак, извещавший о сборах неприятеля в том или другом месте города. Мишустин посмотрит бывало в амбразуру по указанному казаком направлению, немножко подумает, сойдет с валганга на мортирную платформу, не торопясь насыплет в камеру горстью, смотря по расстоянию порох,— и снаряд ляжет именно там, где надобно. Как истинный артиллерист, воспитанный на бомбах и картечи, Мишустин с презрением смотрел на ружейные пули.

Когда ранили поручика Андреева, он первый подбежал к нему со своеобразным утешением: “Не беспокойтесь, ваше благородие, это пустяки — пуля; вот если бы вас хватило ядром — ну, дело было бы другое...”

Бебутов понимал значение подобных солдат в их собственных кружках и, обходя батареи, всегда говорил Мишустину приветливое слово.

Случайно или с целью, но Мишустин поставлен был на самое опасное место — к мортирам над крепостными воротами. А этой батарее, между тем, особенно несчастливилось. Помимо большой потери в людях от неприятельских выстрелов, ей грозила опасность еще и взлететь на воздух. С первой ночи уже солдаты слышали глухой стук под воротами, и стали говорить, что широкий подземный водопровод для фонтана может послужить готовой галереей для закладки мины. При дневном шуме и постоянной пальбе подземная работа была не слышна, но в тишине ночи, когда канонада умолкала, подземный стук слышался совершенно ясно. Так прошло несколько дней; и вот раз в сумерках один армянин пробрался к крепости и по данному знаку его на веревках перетащили через стену. Он объявил князю по секрету, что под верхние ворота подложена мина, которую в полночь турки взорвут, и затем бросятся на штурм; что с этой целью турецкие колонны уже стянуты за ближние строения, и в то время, когда одни пойдут на приступ, другие сильным огнем будут очищать им путь через стены. Не желая преждевременно обескуражить гарнизон, князь передал это известие только раненому поручику Андрееву, приказав соблюдать особенную осторожность. Между тем, в ожидании взрыва, с батареи свезли четыре русские пушки, оставив на ней только одни турецкие; прислугу при орудиях уменьшили наполовину; пехотное прикрытие сняли совсем. Томительно тянулись длинные часы ожидания для людей , которым предстояло сделаться неминуемыми жертвами взрыва. “Положение мое,— рассказывает Андреев,— было неутешительное. В глухую полночь что-то действительно зашевелилось перед воротами, и два-три выстрела грянули из ближних домов. Я велел ответить из двух орудий, желая показать, что мы не дремлем. Потом, чутко напрягая слух, я не мог ничего различить, кроме зловещего стука под ногами. Было уже два часа ночи, а обещанного взрыва все не было; не было слышно и никакого шума, показывавшего передвижение неприятельских войск. Снег падал мокрыми хлопьями; кругом — мертвая тишина. Наконец, часа в три ночи, я прилег к лафету и незаметно для себя впал в забытье. Когда я очнулся, бледный свет занимающейся зари уже разлился по небосклону, мои артиллеристы дремали; вблизи часовой, облокотясь на ружье, смотрел в амбразуру...”

Так прошла страшная ночь. Но с этого дня войска должны были ожидать взрыва уже ежеминутно. В крепостной стене между тем была пробита брешь, а в городе замечалось необычайное движение, как будто бы к неприятелю подошли новые силы. Действительно, пришли аджарцы и жители дальних санджаков, привлеченные в Ахалцихе исключительно жаждой добычи. Туркам было известно, что жители закопали лучшее имущество в землю. И вот, однажды, случайно разломанная сакля открыла спрятанное сокровище, и турки принялись разыскивать добычу, разрушая дома и копая землю уже повсеместно. Слух об этом привлек в город новые толпы грабителей, и когда истощилась добыча в христианских и еврейских кварталах, они принялись за мусульманское имущество. Дело дошло до того, что между осаждающими начались кровавые стычки из-за добычи. Ахмет-бек увидел в этом зловещий признак начинающейся деморализации, и чтобы как можно скорее покончить с крепостью, потребовал добровольной сдачи. Первого марта явился от него парламентер и вручил князю Бебутову следующее послание.

“Его сиятельству, любезному брату Бебутову. Приветствую вас повелением, Божией милостью и небесами возвеличенного султана. Уже десять дней, как я осаждаю крепость.

Божией и султанской милостью мне легко войти в нее; но войска, вошедшие силой, уже удержать нельзя. Так как я питаю к вам любовь и дружбу, то почитаю долгом объявить вам решительное слово. Вы рассчитайте сами; однако не берите на себя греха в жизни такого числа солдат и жителей. Если доклад мой вы сочтете за дружбу, то Божией и султанской милостью я проведу вас благополучно и без вреда". Князь Бебутов постарался продлить начатую переписку, чтобы выиграть время и дать возможность подоспеть отряду из Грузии, Он отвечал:

"Почтеннейший Ахмет-паша! Храбрость русских солдат вам известна, они умеют брать и умеют защищать крепости. С помощью Бога и с сими храбрыми солдатами я во всякое время готов встретить вас. Хотя вы полагаете, что легко войти в крепость, но я думаю напротив. Предложение ваше сдать крепость и быть в безопасности почитаю я за дружбу, но прошу объяснить мне, что означают слова ваши: "Я выведу вас благополучно и без вреда",— ибо для меня они непонятны".

Началась пересылка обоюдных писем и своего рода полемика:

"В письме вашем,— писал князю Бебутову Ахмет-паша 2 марта,— извещаете вы, что храбрость русских солдат мне известна и что сии солдаты умеют брать и защищать крепость. Вы справедливо судите; однако по обстоятельствам может все измениться. Вы пишете, что не поняли слов моих: "выведу вас благополучно и без вреда". На это уведомить честь имею, что так как между султаном и вашим государем часто происходило во время войн занятие крепостей по капитуляциям, то и я предоставляю вам оную для благополучного вашего отступления. Войско, шедшее к вам через Боржомское ущелье, разбито моим братом Авди-беком; Ацхурская крепость также находится в осаде. Если хотите, я согласен на капитуляцию, а впрочем — ваша воля".

Бебутов промедлил с ответом и через день, третьего марта, отвечал беку следующее:

"Предложение ваше весьма удивляет меня. Русские не иначе сдают крепости, как на основании мирных трактатов, и то из великодушия. Имея под начальством храбрый гарнизон и все для обороны крепости в изобилии, я не помышляю ни о чем более, как об отчаянном сопротивлении, к чему я давно уже готов. Авди-бек не может удержать стремление наших войск: они пройдут везде и проложат себе дорогу штыками. Я со всех сторон ожидаю войск, в которых, впрочем, никакой надобности не имею, ибо весьма достаточно у меня собственных сил для отражения ваших полчищ".

Между тем в эти четыре дня в крепость по-прежнему не приходило ни одного утешительного известия; казалось, гарнизон был брошен на произвол судьбы. Изнуренные физически, солдаты не теряли, однако, бодрости духа. Соревнование было общее; даже больные не хотели оставлять рядов, зная, как дорого каждое лишнее ружье при подобных обстоятельствах. Князь Бебутов личным присутствием и примером воодушевлял каждого. Видя его на стенах, солдаты единогласно клялись умереть, а не сдать крепости даром. Это единодушное мужество укрепляло начальника и давало ему новые силы. Никто не верил, что отряд, высланный из Грузии, мог быть разбит в Боржомском ущелье. Знали, что первая помощь должна быть от Бурцева, а Бурцев был не из таких начальников, которые уступают победы. Лучшим барометром служила для осажденных настойчивость неприятеля в ведении переговоров: она показывала прямо, что помощь близка,— и мужество гарнизона с каждым часом росло, а не падало.

3 марта, в то самое утро, когда князь Бебутов отправил свое последнее послание к Ахмет-паше, в Ахалцихе услышан был, наконец, слабый гул пушек со стороны Боржома. В

крепости, впрочем, предполагали, что отбивается Ацхур, и потому день начинался обычной перестрелкой. Часов в семь пополудни, как всегда, быстро стемнело; опять наступила ночь, и опять начались томительные ожидания взрыва и штурма. Вдруг кто-то подбежал к нижним воротам, со стороны реки, и крикнул: “Турки бегут!” Ему тотчас подали веревку и втащили в крепость. Это оказался еврей. Он сообщил, что Ахмет-паша вечером получил известие о поражении своего брата в Боржомском ущелье и что Авди-бек, не заходя даже в Ахалцихе, бежал прямой дорогой в Ад-жары. Посланные турками разъезды дали знать, что Бурцев уже идет от Ацхура форсированным маршем, и тогда сам Ахмет-паша не стал ожидать дальнейшей развязки, а сел на коня и, не сделав никакого распоряжения, ускакал в свои владения.

Нельзя было поверить голословному заявлению еврея, и в крепости решились оставаться в выжидательном положении до утра. Между тем в городе слышался беспорядочный шум: перестрелки уже не было, и только изредка раздавались выстрелы в отдаленных кварталах — то были ссоры за добычу. Из крепости открыли тогда сильнейший огонь наудачу; снаряды ложились в улицы, и в темноте, поражая без разбора скученные толпы, еще более увеличили общее смятение.

К утру батальон Ширванского полка сделал вылазку. Часть турецкой пехоты попробовала было сопротивляться в завалах перед крепостными воротами, но вынуждена была отступить. Держалась еще некоторое время батарея у католической церкви; но ширванцы быстро рассеяли прикрытие, взяли два знамени и отбили оба орудия. Сам Ахмет-паша, вопреки уверениям еврея, еще оставался в городе, пытаясь восстановить хоть какой-нибудь порядок в бегущих толпах. Но его аджарцы, спасая награбленную добычу, не внимали уже его призывам, и только в двух верстах от города, на переправе у Су-Килиссы, ему удалось расположить за камнями человек триста лучших стрелков из собственного конвоя да два орудия, чтобы задержать преследование и дать возможность спасти остальную артиллерию. Но остановка и тут не была продолжительна; ширванцы рассеяли стрелков и захватили опять оба орудия. Дальше Су-Килиссы преследовать без кавалерии было невозможно, тем более, что турки поднялись уже на горы. Наблюдать за бегущими назвались двенадцать казаков и шесть пехотных офицеров, у которых были верховые лошади. Эти восемнадцать человек проникли в самые горы, взяли в плен несколько отставших и нашли в Посховском ущелье две остальные пушки, но уже без лафетов; их турки везли на санях, и в общей суматохе бегства вероятно бросили. Из шести орудий, бывших при войсках Ахмет-бека, турки не спасли ни одного и вернулись домой без артиллерии.

Таким образом, в самое короткое время исчезло из-под стен Ахалцихе многочисленное турецкое воинство. Часть турок, не успевая присоединиться к общему бегству, была между тем отрезана и осталась в городе. Многие из них заперлись в домах и отказались сдаться. Ширванцы пошли на приступ, выбили прикладами двери и перекололи упорных; другие, отчаянно защищавшиеся, погибли в пламени зажженных строений.

В три часа пополудни город уже был совершенно очищен от неприятеля.

Покончив с турками, солдаты принялись разыскивать мины. Их оказалось две. Под нижними воротами работы были только еще начаты, но под верхними галерея была уже готова, и в ней заложено два пуда пороха. Для полного действия взрыва этого, конечно, было недостаточно, и Ахмет-бек послал за порохом в Аджару, откуда его еще не успели привезти. Это-то и было причиной, что в роковую ночь, когда у нас ожидали взрыва, он не последовал.

В три часа пополудни в Ахалцихе вступил отряд полковника Бурцева, а через три дня стали подходить и войска Муравьева.

Ахалцихе представлял теперь, после второй осады, совершенную пустыню. Дома были избиты, как решето, а лужи крови, застывшие в комнатах, говорили о множестве погибших здесь жертв. Жителей не было. Семейства магометан, опасаясь мщения русских за вероломство, заблаговременно ушли в пределы непокорных санджаков; христиане были вырезаны или уведены в неволю, и только семьсот семейств, принятых в крепость, представляли остаток прежнего многочисленного населения Ахалцихе. Но и эти семьи, потерявшие все свое достояние, не имели никаких средств к жизни.

К сожалению, в числе пропавших без вести оказался один из преданнейших нам людей, Иороман-Байрахтар, с таким усердием служивший князю Бебутову в продолжение тяжелой десятидневной осады. Впоследствии узнали, что он попал в руки турок в то время, когда ширванцы штурмовали батарею у католической церкви. В плену он вынес бесчисленные истязания и приговорен был к смерти и к уплате тысячи червонцев пени. Байрахтар был человек небогатый, к тому же дома его и лавки, находившиеся в Ахалцихе, были сожжены, но у него оставалась еще одна деревушка, которую он продал и, выкупив ценой ее свою голову, вернулся в Ахалцихе нищим. Паскевич исходатайствовал ему чин прапорщика с пожизненной пенсией, вполне обеспечившей ему безбедное существование. Впоследствии Байрахтар принял христианскую веру и навсегда порвал связь со своими бывшими единоземцами.

Одним из главных возмутителей, ознаменовавших себя свирепостью по отношению к христианам, которых он умерщвлял десятками, был некто Омар-ага-Косы-Оглы — один из богатейших и влиятельнейших беков Аспиндзского санджака. Он даже не хотел бежать, потому что чувствовал себя достаточно сильным за крепкими стенами своего родового Ангорского замка; а между тем князь Бебутов на нем-то именно и хотел показать пример правосудия и строгости. И вот, когда несколько попыток так или иначе захватить преступного бека оказались напрасными,— вызвался один армянин, по имени Азнауров, который обещал Бебутову привести его в Ахалцихе живого или мертвого. Подговорив четырех товарищей, он отправился с ними в Ангору и приказал доложить о своем приезде. Ворота замка были заперты, и во двор впустили только одного Азнаурова. Бек встретил его, окруженный толпой вооруженных слуг и нукеров. Но едва Азнауров, верно рассчитавший, какое магическое действие должно произвести имя Бебутова, объявил во всеуслышание, что прислан князем, и что бек должен вместе с ним отправиться в Ахалцихе,— челядь мгновенно рассеялась, а Омар-ага, выхватив пистолет, выстрелил в Азнаурова почти в упор — и дал промах. Тогда завязалась отчаянная борьба между ним и армянином. Долго оба противника, облитые кровью, не уступали друг другу победы, но ловкий удар кинжала поверг наконец Омар-агу на землю, и Азнауров привез в Ахалцихе только его тело.

Эта борьба один на один, в присутствии многочисленной дворни, уже показывала, насколько подорваны были нравственные силы жителей, которые остались безучастны к судьбе своего владельца, и ни один кинжал не сверкнул в помощь гибнувшему беку. Страх перед именем русского князя сковал все население — и в этом отношении попытка Ахмет-бека овладеть Ахалцихе принесла нам громадную пользу, тем более, что материальный ущерб от нее был не велик и окупался с избытком приобретенными нравственными выгодами.

Из официальных данных видно, что во все продолжение осады гарнизон потерял только пять офицеров и семьдесят шесть нижних чинов убитыми и ранеными. Из крепости

выпущено было восемь с половиной тысяч пушечных и семьдесят три тысячи ружейных заряда и переброшено за стены тысяча триста пятьдесят ручных гранат. Трофеи русских состояли из двух знамен и шести орудий.

Защита Ахалцихе бесспорно составляет, по своему внутреннему смыслу, один из высоких военных подвигов. И на Кавказе тогда много дивились тому, что князь Бебутов не получил Георгиевского креста на шею, а был награжден, Анненской лентой. Георгиевский крест 4-ой степени присужден был Думой только одному штабс-капитану Горачко, и в высочайшей грамоте сказано было, что он жалуется “за подания полезного совета не делать вылазки в первый день нападение на Ахалцихе, дабы не подвергнуть малочисленный гарнизон во время внезапного приступа сомнительному успеху против сильного турецкого корпуса, обложившего крепость”.

Паскевич отдал должную справедливость мужеству гарнизона и благодарил его следующим приказом по корпусу, отданным 18 марта 1829 года:

“Защитники Ахалцихе! Среди суровой зимы огромные неприятельские силы облегли крепость, храбрости вашей вверенную. Подражая примеру, вами самими указанному, они мнили, что достаточно одного приступа, чтобы овладеть Ахалцихе. Но ваш отпор явил различие между русским войском и разъяренными толпами турок. Ваше единодушие, неусыпность и мужество, сказываемые в течение двенадцати дней, заменили твердость крепостных стен и были причиной поражения неприятеля. Искренне благодарю вас, храбрые воины! Нынешний подвиг достоин вас. Вы доказали, что умеете побеждать в поле, умеете брать крепости и умеете оборонять их”.

Бурцев за свой отважный поход через Боржомское ущелье был произведен в генералы.

Прошло шестьдесят лет, но не забыта еще и до сих пор славная защита Ахалцихе, составляющая одну из лучших страниц боевой истории ширванцев, как не забыто славное имя князя Василия Осиповича Бебутова — впоследствии героя Баш-Кадык-Лара и Кюрюк-Дара.

XVII. НА ПОЛЯХ ТУРЕЦКОЙ ГУРИИ

Как ни изолированы были Гурия и турецкое побережье Черного моря высокими хребтами гор от главного театра военных действий, однако же громадные приготовления турок к войне 1829 года и поход их под Ахалцихе не могли не отозваться и там волнениями мусульман и нападениями их на русские границы. Несмотря на недавнее изгнание правительницы Гурии и ослабление турецкого влияния в Пририонском крае, мелкие нападения разбойничьих партий со стороны Кабу-лета не прекращались.

Турки, видимо, рассчитывали на легкость возмущения Гурии; они были убеждены, что среди гурийцев найдется много людей, готовых изменить русским, если и не по шаткости своих убеждений, то по личным связям с бывшей правительницей и, главным образом, по той традиционной и глубокой склонности народа раболепно верить в непогрешимость своих владетельных фамилий. С этой целью они наводнили край множеством прокламаций, призывавших жителей подняться единодушно на защиту прав своей старинной княжеской династии. Носились даже слухи, что княгиня Софья намеревается сама появиться в Гурии с войсками трапезундского паши и овладеть правлением. Но русское правительство уже знало об этих тайных происках, и против политической миссии правительницы, бьющей на слабую народную струну, оно вознамерилось выдвинуть также вопрос политический, вопрос традиционный — это исконную вражду

гурийцев к туркам. Для этого необходимо было только суметь пробудить в народе те чувства, которые воспитывались в нем веками турецкого владычества, и теперь только дремали, усыпленные убаюкиванием тех, кого связывали с турками одни лишь личные интересы. Наилучшим средством к осуществлению этой идеи должно было явиться присутствие в наших рядах гурийской милиции, во главе которой встали бы князья и влиятельные люди страны. Достигнуть этого оказалось нетрудно.

Природная воинственность гурийцев постоянно и задолго до войны наталкивала их на мелкие стычки с соседями, и как ни ничтожны были эти стычки, при них все же бывали и убитые и раненые. Кровавая месть давно уже жила во многих семействах, и теперь для них не было вопроса, за что воюют между собою две сильные державы, а было одно лишь желание, пользуясь войной, отомстить свои старые обиды. Под этим впечатлением гурийцы быстро собрали милицию в тысячу триста человек, и сами предложили ее в распоряжение Гессе. Таким образом, расчеты турок на этот раз оказались обманчивыми. Большинство прокламаций, попадавших в руки гурийских князей, отсылались ими назад, или представлялись русскому начальству даже нераспечатанными.

Столь явное сочувствие к нам гурийцев и фактическая помощь милицией были как нельзя более кстати, потому что турки уже начали военные действия и значительные силы их обложили Ахалцихе. С другой стороны около Батума сосредоточивался также трехтысячный турецкий корпус под начальством Осман-Хазандар-оглы, ожидавший только, как говорили, прибытия княгини Софьи, чтобы вторгнуться в Гурию. И Гурия и Мингрелия находились в равной опасности.

Войска, вверенные генералу Гессе, занимали тогда четыре пункта: в Чехотауре стояли две роты Мингрельского полка с двумя орудими; в Нагомари — рота; на посту св. Николая — две роты сорок четвертого егерского полка со взводом артиллерии; и, наконец, в крепости Поти — три роты егерей, также с двумя орудиями. За ними, в резерве, занимая Мингрелию и Имеретию, стояли батальон егерей и семь рот мингрельцев. Этого было слишком мало для того, чтобы охранить обширный край, который к тому же не мог рассчитывать ни на какую постороннюю помощь, и тем не менее, Гессе приходилось немедленно начать наступательные действия, чтобы облегчить положение осажденного Ахалцихе. Таким образом, целью для его нападения естественно должна была послужить Аджария. Опустошением этой провинции имелось ввиду вразумить на будущее окрестных горцев, насколько опасно для них покидать свои жилища, и с этой же последней целью Гессе уполномочивался Паскевичем дать гурийской милиции широкое право свободного и неограниченного грабежа в землях неприятеля.

Нужно сказать, что это было первое наступательное движение русских в так называемую турецкую Гурию, под именем которой разумелись тогда Верхняя и Нижняя Аджара, Кабулеты и Батум. Аджарцы — грузины, но жители Батума и Кабулетов были одного происхождения с гурийцами и говорили с ними одним языком, многие находились даже между собою в фамильном родстве, да и между турецкими сановниками немало встречалось гурийских уроженцев. Но все обитатели, сопредельные с русской Гурией, были магометане, и притом магометане-фанатики. Их главное занятие составляли разбой и охота, а земледелием и садоводством в крае занимались женщины. Единственным мирным промыслом мужчин была контрабанда, единственной торговлей — торговля пленными. Соседи Гурии то и дело ловили в наших пределах красивых детей и целыми грузами отправляли их в Константинополь и Трапезунд. Чуруксуйские беки именно этим приобрели себе громадные состояния, а вместе с ними почет и общее уважение в крае. О добровольном подчинении русским, преследовавшим именно эти излюбленные промыслы, они не хотели и думать. В них Россия имела непримиримых и заклятых врагов.

Сборным пунктом для похода в Аджарию назначен был Чехотаурский пост, на границе Гурии. Там уже стояли две роты, туда же собиралась полуторатысячная гурийская милиция и шел сам Гессе с батальоном мингрельцев, с двумя полевыми и двумя горными пушками. Чрезвычайно ненастная погода и разливы по дорогам рек до того замедляли движение, что отряд мог собраться в Чехотаурах только к 1 марта. Рекогносцировка, произведенная отсюда по дороге в Аджару, показала совершенную невозможность продолжать марш в этом направлении. У подошвы первой горы снег оказался глубиною в шесть аршин; чем дальше, тем он становился глубже и, наконец, образовывал такие сугробы, которые совершенно преграждали путь через горы. А на самой вершине открытого и безлесного хребта, бушевали опасные вьюги.

Быть может, Гессе и попробовал бы все-таки с испытанными кавказскими войсками преодолеть эти препятствия, но едва он тронулся на Аскану, как был остановлен весьма серьезным известием, заставившим его совсем отказаться от этой экспедиции. Дело в том, что одновременно с движением турок к Ахалцихе, Осман-Хазандар-оглы вышел из Батума и стал на кинтришинской поляне, всего в шести верстах от Николаевского укрепления. Здесь к войскам, пришедшим из Батума, присоединились еще пять тысяч лазов, и паша ожидал только прибытия сильного турецкого корпуса, направленного сюда из Трапезунда, чтобы занять Гурию. При таких условиях набег в Аджару являлся уже немыслимым. Гессе нужно было подумать о защите собственного края, над которым нависла грозная туча турецкого нашествия, и колебаниям не могло быть места. Чтобы спасти страну от разорения, оставалось одно — разбить авангард неприятеля прежде, чем подойдут к нему главные силы. И Гессе остановился на это решении, тем более что дорога на Кинтриши могла привести его если не в Аджару, то в Кабулеты, где результаты экспедиции, в конце концов, были бы те же, что и в Аджаре. Множество кабулетцев, участвовавших в Ахалцихском походе, конечно тотчас же вернулись бы назад, чтобы спасать свои дома, и тем поселили бы смущение в остальных войсках, так как ни один народ не подвержен заразительному чувству паники в той мере, как турки. И вот, отряд, переменив направление, повернул к Николаевской крепости. Там присоединились к нему еще три роты сорок четвертого егерского полка с двумя орудиями, и в распоряжение Гессе собралось, таким образом, тысяча двести штыков и полуторатысячная милиция — силы, которые, по мнению его, были совершенно достаточны для разгрома восьмитысячного турецкого корпуса.

Но, решившись атаковать, нужно было уже торопиться, потому что неприятель накануне сам производил рекогносцировку, и обе стороны обменялись пушечными выстрелами. Следовательно, можно было предположить, что турки ожидают скорого прибытия трапезундских войск и сами готовятся перейти в наступление. Собранные сведения показывали единогласно, что неприятель стоит на месте, называемом Лимани, где турки еще с осени, опасаясь наступления русских на Батум, приготовили завалы и укрепления.

Дорога от Николаевской крепости до самого неприятельского лагеря шла узкой полосой, почти не допускавшей развернуться боевому фронту: справа — страшный обрыв, под которым бушует Черное море, слева — крутые горы, одетые дремучим, едва проходимым лесом. Три ряда завалов, протянутых поперек дороги, прикрывали подступ к турецкому лагерю, который был раскинут на небольшой поляне, между морем и густым болотистым лесом. Высокий бруствер из деревянных срубов, заваленный каменьями и окопанный рвом, прикрывал его с фронта, а фланги были неприступны. Но крепкая неприятельская позиция не поколебала, однако, решимости Гессе, и, 5 марта, в тот самый день, когда Ахалцихе торжествовал свое освобождение, гурийский отряд пошел атаковать неприятеля. Пехота с артиллерией двигались берегом моря; милиция заходила в тыл, пробираясь по болотам и чашам дремучего леса; еще две роты Мингрельского полка

направлены были на неприятельскую позицию из Озургет через Лихаури; но они были слишком далеко, и на их помощь рассчитывать пока было нечего. Теперь, чтобы дойти до лагеря, нужно было выдержать предварительно огонь из неприятельских завалов; и действительно, не прошла пехота двух-трех верст, как уже очутилась перед первым их рядом. Сильнейший огонь остановил колонну. К счастью, в это время гурийская милиция уже успела зайти в тыл неприятелю, и турки, быстро очистив передовой завал, крепко засели за следующим рядом. Таким же образом, атакуя пехотой с фронта и посылая милицию в обход, пришлось русским действовать и при дальнейшем своем наступлении, заставляя турок последовательно бросать другие завалы. Постепенно подвигаясь вперед, отряд остановился наконец перед неприятельским лагерем. Пологий, узкий и совершенно открытый скат, расстилавшийся перед неприятелем, грозил русским большими потерями, а крепкая ограда лагеря делала его почти неприступным. Как прежде, так и теперь, Гессе не задумался, однако, штурмовать его. Он приказал подготовить атаку артиллерийским огнем, и только тогда, когда часть передового ретраншемента уже была разбита русскими ядрами, пехота с барабанным боем пошла на приступ; милиция, укрытая в лесу, опять зашла в тыл неприятеля, и лагерь был атакован с двух сторон. Турки защищались отчаянно. Четыре часа продолжался штурм, и хотя неприятель буквально был уничтожен, но эта первая решительная победа в Гурии стоила и малочисленному русскому отряду двухсот десяти человек, в числе которых были девять офицеров и четырнадцать гурийских князей,— потеря по тому времени весьма значительная. Особенной похвалы заслуживало поведение в бою гурийской милиции; она превзошла всякое ожидание, и это было тем замечательней, что многие гурийские князья, кровью запечатлевшие теперь свою верность русскому делу, еще недавно считались сторонниками турок и действовали против русских при осаде Поти. Вся добыча, взятая в неприятельском лагере, была отдана милиции.

Выбитые из окопов, заваленные трупами, ничтожные остатки турецких войск с самим Хазандар-оглы, укрылись в лесу. Гессе не решился, однако, вступить в этот болотистый, никому не известный лес, и остановил преследование. Полагают, что при том беспорядке и ужасе, который был наведен на турок поражением их авангарда, Гессе без затруднений мог бы овладеть и Кинтриши и Кабулетами, лежавшими по дороге к Батуму. Но занятие этих пунктов едва ли принесло бы русским в то время существенную пользу. Ахалцихе был освобожден и без диверсии, а захватив Кабулеты, Гессе все равно не мог бы в них удержаться и, следовательно, напрасно потратил бы время и силы. Упорная защита турок в бою при Лимани невольно наводила на мысль, что каждый шаг в неприятельскую землю будет окупаться большими потерями, и, при отсутствии резервов, самые победы имели бы последствием неизбежную гибель в горах малочисленного отряда. Так именно думал Гессе и потому, приказав только срыть неприятельские окопы, отошел обратно к Кутаису.

Блестящая победа при Лимани не имела, таким образом, серьезного военного значения, так как кинтришинская поляна осталась в руках неприятеля, давая ему возможность по-прежнему грозить отсюда вторжением в русские пределы. Но зато нравственное значение этой победы было громадно. Она показала всю тщетность стремлений турок вредить России путем возмущения Гурии и смежных с нею христианских земель и смирила беспокойные элементы, которые еще таились в самом княжестве и были склонны следовать турецким внушениям. Победа при Лимани была зарей новой гражданственности и мирной цивилизации для этой страны, еще полной стародавних традиций полувоенного быта, которые турки так долго стремились обращать в свою пользу.

XVIII. ЗАКАВКАЗЬЕ ПЕРЕД УГРОЗОЙ НОВОЙ ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ

В самый острый момент зимних событий 1829 года, одновременно с тем, как русский гарнизон в Ахалцихе был осажден Ахмет-беком, Гурия ожидала вторжения турок, а в Арзеруме собирались огромные турецкие силы,— в этот самый момент вдруг поколебались и мирные отношения России к Персии, Рядом с известием о наступлении турок к Ахалцихе, в Тифлисе узнали, что русское посольство в Тегеране поголовно вырезано возмутившейся чернью, и войска шаха не дали ей никакого отпора. Произошло и одно из неслыханных нарушений международного права, которое могло считаться открытым вызовом к войне. Для Паскевича создавалось неимоверно трудное положение.

Как всегда, внезапное стечение неблагоприятных обстоятельств немедленно отразилось и на внутреннем состоянии Закавказья, встревожив и поколебав умы легковерного населения. Повсюду возникли толки о неизбежном разрыве с Персией. Война казалась тем вероятнее, что в Талышинское ханство уже ворвался бывший владетель его Мир-Хассан-хан,— и совпадение этого факта с действиями турок невольно наводило на мысль о предварительном соглашение между персидским и турецким правительствами. Пошли слухи, что Наги-хан с карапапахами и курдами намеревается напасть на Эривань и что страшный христианам сардарь Гассан-хан скоро прибудет в Маку, чтобы лично организовывать и направлять набеги на Армянскую область. Среди пограничных жителей поднялась тревога. Несколько армянских деревень, поселенных близ Урдабада, уже бежали за Араке. В самой Эривани многие горожане зарывали в землю лучшее имущество и укрывались в горы. В мусульманских провинциях всюду замечалось беспокойное брожение умов. В Шеке и Карабаге волнение росло с каждым днем, и то же, хотя в меньшем виде, повторялось и в Ширвани. Даже третий конно-мусульманский полк, уже стоящий на реке Акстафе и готовый к походу, не видя других татарских полков, снаряжавшихся теперь медленно и неохотно, обнаруживал стремление разойтись по домам и был удержан только силой. Джарские лезгины, еще так недавно предлагавшие Паскевичу выставить отборных всадников, теперь под разными предлогами не только уклонялись от своего обещания, но враждебные партии их стали показываться на Алазани и своим появлением тревожили мирные деревни Кахетии. Курды прервали переговоры и ждали, что будет.

Даже православная Грузия не осталась чужда этому общему глухому брожению. Злонамеренные люди пустили слух, что грузинский царевич Александр взял Ахалцихе и идет на Картли. Зачем Александру понадобился Ахалцихе, падение которого торжествовала вся Грузия,— об этом никто не спрашивал. Достаточно, что слух был пущен, и жители — одни из тайного сочувствия к царевичу, другие из страха перед неизбежностью убийств и грабежей, которые кровавым призраком всегда стояли перед глазами грузина,— начинали уже волноваться. Появись царевич — и громадное большинство народа, конечно, никогда бы не пристало к нему, как не пристало даже в более смутное время кахетинского бунта, когда, готовясь венчаться царским венцом, он шел в Аллавердынский монастырь, призывая грузин под свои знамена, но одно имя царевича в данную минуту могло послужить страшным орудием в руках даже ничтожной численностью партии, чтобы сеять всюду смуту. Тревожные вести шли со всех сторон, а Паскевичу приходилось скрывать их, чтобы не дать заметить персидскому посланнику, бывшему тогда в Тифлисе, что краю грозят беспорядки. Между тем безнаказанность и непринятие серьезных мер к их предупреждению могли отозваться горькими последствиями. Какой-нибудь ничтожный толчок — и общее восстание могло охватить Закавказье.

Положение было тяжелое, напоминавшее 1812 год, когда одновременно происходила война с Персией и Турцией, в Кахетии был бунт, а восстание осетин прервало сообщение Грузии с Россией. Хотя опыт тех лет показывал, что преодолеть возникшие опасности возможно, тем более, что теперь средств сравнительно было больше, да и целый ряд предшествовавших побед значительно облегчал задачу, но тем не менее малейшая нерешительность, оплошность или увлечение могли сильно скомпрометировать за Кавказом все русское дело. Паскевич был опытный, энергичный полководец, но обстоятельства требовали от него теперь не боевых доблестей, а тонких дипломатических соображений и действий. Необходимо было принять твердый настойчивый тон по отношению к Персии, чтобы силой убеждения, а не оружия образумить тегеранский двор, и в то же время показать готовность к войне, чтобы не выдать свою собственную слабость.

Паскевич хорошо понимал, что какие бы ни были причины убийства русского посланника, достоинство империи требовало удовлетворения за дерзкое попрание ее священных прав, но при войне с Турцией, сосредоточившей значительные силы в Азии, и при тогдашнем числе русских войск за Кавказом, трудно было начинать русскую войну с Персией,— и Паскевич поставлен был в необходимость просить подкреплений.

“Лучшим оправданием для меня в настоящем требовании,— писал он министру иностранных дел,— служит то, что две персидские кампании я окончил с теми войсками, которые мне были поручены, не испрашивая новых усилений. Перед началом прошлогодней турецкой войны из войск, находившихся под моей командой, четыре тысячи были отправлены в Россию, и до сих пор я никогда не жаловался на недостаток средств... Но теперь, когда обстоятельства переменились столь разительным образом, долг и обязанность заставляют меня принять все меры к охранению вверенного мне края от бедствий, которые могут быть тем ужасней, что всякая помощь, отправленная тогда, когда наступит действительная опасность, будет уже слишком поздней... Будьте уверены,— писал он в заключение,— что я не пощажу своей жизни, но без подкрепления войсками один я мало могу сделать”.

По мнению Паскевича, нужна была по крайней мере дивизия пехоты в полном составе и два донские казачьи полка с конной батареей. Кроме того, он полагал необходимым иметь под рукой на Кавказской линии, или по меньшей мере в Астрахани, еще две бригады пехоты, которые служили бы резервом, “ибо,— как писал он графу Нессельроде,— если требовать войска из России в минуту надобности, то они никогда не поспеют”. В Петербурге полагали, однако, что усиленные вооружения Персии объясняются скорее страхом возмездия за убийство посланника, чем наступательными замыслами,— и с помощью медлили. Правда, на Кавказ, в распоряжение Паскевича, назначена была четырнадцатая дивизия с ее артиллерией, но, расположенная во внутренних губерниях России, она не могла прийти ранее лета и даже осени, когда кампания могла уже окончиться. Таким образом, приходилось рассчитывать только на то, что было под рукой, и изыскивать местные средства к улучшению своего положения.

Для решения этой трудной задачи Паскевич прежде всего обратил свою деятельность на внутреннее успокоение Закавказья. По его предложению, знаменитый проповедник Ага-Мир-Фет-Сеид, некогда Мудш-техид Тавриза, а в то время глава закавказского духовенства Аллиевой секты, объехал все мусульманские провинции и личным влиянием, советами и поучениями в мечетях много способствовал к умиротворению пылких азиатских умов. По крайней мере, после его речей формирование полков в Шеке и Карабаге пошло гораздо успешнее.

Но в то самое время, когда волнение в мусульманских провинциях стало затихать, оно вдруг еще с большей силой вспыхнуло в Грузии. Давно уже тихое брожение, под влиянием тревожных слухов, таилось в умах населения. Раздуваемое злонамеренными людьми, оно незаметно росло все шире и шире и нуждалось лишь в малейшем поводе, чтобы превратиться в бурю. Озабоченный политическими делами, Паскевич не мог уследить за колеблющейся волной брожения и случайной мерой дал повод к взрыву.

Нужно припомнить, что когда Паскевич, окруженный ореолом побед, явился в Тифлис, и ликовавший город в его лице приветствовал падение ахалцихских твердынь, стоявших вечно черной бедой у ворот Иверии,— грузинские князья, дворяне и народ, под впечатлением этой минуты рвались на службу и просили позволение выставить ополчение. Паскевич отклонил тогда просьбу дворян. “Грузинская милиция,— сказал он губернскому маршалу,— может быть собрана только тогда, когда потребуется в ней настоятельная надобность”.

И вот теперь, когда разрыв с Персией сделался почти неизбежен, когда Закавказью грозило вторжение двух сильных соседних держав, Паскевич счел нужным обратиться к грузинам, чтобы призвать их на защиту родного края, 28 февраля он пригласил к себе губернского маршала со всеми уездными предводителями дворянства и лично объявил им о созыве милиции. Решено было организовать из грузин и армян десять пеших дружин, рассчитывая брать по одному милиционеру с каждых пяти домов или семейств.

К несчастью, эта благая мера, сулившая так много выгод для обеспечения края, не только не принесла ожидаемых результатов, но породила для русского правительства массу хлопот и, как увидим ниже, вызвала даже серьезные беспорядки в некоторых местностях Грузии. Казенная шаблонность, с которой составлялась инструкция о призыве милиции, желание все в ней определить и предусмотреть, не соображаясь, однако, ни с духом, ни с исторической жизнью народа, небрежное, а подчас и неумелое отношение некоторых должностных лиц к их обязанностям — все это послужило причиной к тому, что доверие темной массы к правительственному распоряжению было сразу подорвано и создало убеждение, что собирается не временная милиция, а постоянные солдаты.

Старожилы, хорошо помнящие эту эпоху, рассказывают, что первый повод к недоразумениям и подала именно эта инструкция. Она с такой педантичной точностью определяла рост и сложение милиционера, перечисляла все физические недостатки, при которых нельзя было принимать в ополчение, и так пунктуально указывала чуть не в вершках предметы и размеры походного снаряжения и даже оружия, что почти всецело приближалась к правилам рекрутского набора. Правила эти, кроме страха перед солдатчиной, оскорбляли грузин и в их народной гордости. Жил в это время в Кахетии, недалеко от города Сигнаха, один дворянин, по имени Доия; он был хром, едва волочил ногу, но, несмотря на этот физический недостаток, слыл грозой лезгин, и на коне один управлялся с несколькими горцами. Сердце его не знало трепета, ружье и пистолет, как заговоренные, не давали ни промаха, ни осечки, а его старый калдын сокрушал все, что попадало под его широкое лезвие [Калдын — особый род шашечных клинков.]. Каждый грузинский подросток знал в то время имя Доия, но еще крепче, чем в Грузии, знали его в горах Лезгистана — и в диком Анцухе, и в вольном Ункратле, и в суровой Аварии. “Неужели же,— спрашивали озадаченные грузины,— наш Доия, сабля которого рассекает пополам двух человек, не может служить отечеству только потому, что он хром?” И отсюда шел вывод — значит, русским нужны не храбрые люди, не милиционеры, джарис-каци, а простые солдаты-сарбазы.

Еще более утверждало народ в его убеждении то обстоятельство, что вместе с грузинами призывались на службу армяне, чего при грузинских царях никогда не бывало. Грузины всегда были тавады — рыцари, армяне — мокалаки, купцы, и роль их в деле спасения отечества в дни тяжких испытаний всегда сводилась к крупным и щедрым пожертвованиям. Грузины расходовали кровь, армяне — деньги,— и в общем сочетании получалась та сила, которая позволяла слабой Иверии держаться много веков под молотом двух магометанских держав. Желание Паскевича привлечь на службу армян, собственно говоря, было естественно, но оно нарушало вековые обычаи Грузии и потому требовало хоть некоторой предварительной подготовки умов. Между тем, все ссылались только на счастливый опыт 1827 года, когда вместе с Паскевичем вышла из Тифлиса конная армянская дружина, но все забывали, что этот случай был исключительный и что дружина шла тогда на великое дело освобождения своего первопрестольного, священного монастыря Эчмиадзина из-под векового владычества магометан. Теперь обстоятельства были другие. Грузины и армяне призывались к знаменам для одного общего дела, для защиты Грузии,— и распоряжение это не могло не поразить народ своей новизной. Как всякая новизна, она и вкривь и вкось обсуждалась людьми, незнакомыми с делом, и порождала все те же зловещие слухи о рекрутском наборе. И вот, едва раздался первый официальный призыв русского правительства, как в самом Тифлисе начались беспорядки, скоро принявшие характер довольно опасного волнения. Случилось это следующим образом.

9 марта тифлисские почетные граждане, купцы, мещане и ремесленники собрались на площадь, называвшуюся в то время Кхабах. Теперь этой площади уже нет, она застроилась большими каменными домами, и на ней разбита нижняя часть Александровского сада, но тогда это был обширный пустырь, служивший излюбленным местом для конных ристалищ и народных сходок. Здесь полицеймейстер и объявил народу о созыве милиции, но в толпе давно уже шныряло много злонамеренных людей, и они то первые стали кричать, что собирается не джерис-каци (милиция), а постоянное войско. Растерявшийся полицеймейстер тотчас донес о беспорядках военному губернатору. Несколько ремесленников и крестьян, привлеченных на площадь праздным любопытством, были арестованы. Но народ не успокаивался. В памяти очевидцев остался, например, следующий случай: один из почетных тифлисских армян, некто Кетхудов, желая образумить народ личным примером, вывел своего сына и объявил, что он первый записывает его в ополчение. Но едва старик произнес эти слова, как должен был спасаться бегством от разъяренной толпы, преследовавшей его до самого дома. Шум сделался общим. Народ устремился к полицейскому дому, где составлялись поименные списки милиционеров, угрожая разнести его и выпустить арестованных. На площадь потребованы были войска, явился сам военный губернатор генерал-адъютант Стрекалов верхом, произведено было еще несколько арестов, и только с большим трудом удалось наконец рассеять толпы и очистить площадь.

Был уже вечер, когда городские жители разошлись по домам, а крестьяне возвратились в деревни и принесли с собою весть о событиях в Тифлисе. И здесь и там всю ночь собирались большие и малые сходки, стараясь понять цели правительства и объяснить себе загадочный, как им казалось, смысл инструкции. Утром 9 марта толпы крестьян, собравшиеся в деревне Коды (имение князей Орбелиани), двинулись к Тифлису, чтобы подробнее узнать, что там происходит. Близ авлабарского моста их встретили, однако, князья Аслан Луарсаб, Мамука, Яков и Кайхосро Орбелиани. Что они говорили своим крестьянам, это осталось невыясненным,— но только толпа повернула назад и разошлась по домам.

А в Тифлисе, в это самое утро, во всех церквах священники читали и разъясняли народу, что опасения его не имеют никакого основания, что ополчение собирается временное, на шесть месяцев и по истечении этого срока будет распущено. Пастырское слово отрезвило умы, нашлись благоразумные люди, которые сумели объяснить народу истинный смысл правительственного распоряжения, и тифлисские граждане, желая загладить минутное заблуждение, в три дня выставили две тысячи ратников. Они представились на смотр Паскевичу на той же площади, где были беспорядки, и заявили, что готовы идти в поход всюду, куда им прикажут.

В Тифлисе водворилось полное спокойствие. Но одновременно с этим беспорядки и сопротивление народа широким потоком разлились по всем уездам и дистанциям Грузии, вызывая повсюду одни и те же явления. Целые селения Горийского, Тифлисского, Телавского и даже Елизаветпольского уездов решительно объявили, что готовы защищать край поголовно, как защищали его при грузинских царях, но не дадут милиции и не пойдут за границу. Народ уже был убежден, что выведенное из края ополчение будет обращено в солдаты и не вернется домой. Жители повсюду собирали сходки и, заставляя друг друга давать взаимные клятвы в том, чтобы не подчиняться требованиям правительства, употребляли при этом, как при таинстве эвхаристии, хлеб и вино. Последнее указывало некоторым образом на тайное участие здесь духовенства и невольно наводило Паскевича на мысль, не присутствует ли во всех беспорядках невидимая рука царевича Александра. Замечено было, что беспорядки открывались прежде всего в городах, и в одно почти время возникли в Тифлисе, Телаве и Елизаветполе, когда жители двух последних городов не могли еще знать, что происходило в первом. Могло казаться, действительно, что попытка вызвать в народе мятеж была результатом заранее обдуманного алана, причем рекрутчина служила только предлогом, за которым скрывались интересы чисто грузинского, династического свойства. Так или иначе, сознательно или бессознательно действовала впоследствии масса темного люда, но беспристрастное исследование этих событий показывает, что началом беспорядка везде служило бездействие и оплошность тех, кому надлежало ведать этими темными массами. Вот что происходило в Грузии.

Одновременно с объявлением о призыве милиции в Тифлисе, то же самое сделано было в Телаве окружным начальником полковником Бахманом. Он собрал народ, передал ему волю главнокомандующего, и затем, не сказав ни слова о том, что более всего могло интересовать население в данную минуту,— уехал из города. Жители остались в совершенном недоумении. Призыв милиции в Грузии был делом не новым, и сам по себе еще не мог возбудить в народе никакого сомнения,— но отъезд Бахмана испортил все дело. Теперь уже не к кому было обратиться за разъяснением, почему именно милиционер должен быть такого-то, а не другого роста? Почему их Доия, гордость целой Кахетии, не может защищать отечества? Зачем понадобились одинаковые походные сумы? Почему нельзя выйти с дедовской саблей? И прочее и прочее. А тут прибавилось и еще одно обстоятельство: жители по стародавнему обычаю желали служить на конях, а им объявлено было, чтобы они выходили пешими. Вот для разъяснения-то всех этих вопросов толпы народа и повалили в имение уездного предводителя дворянства князя Челокаева. Движение массой и желание служить на конях сочтено было за явное противодействие воле начальства, и те, кто более других разговаривал, были арестованы. Толпа вернулась назад недовольная, а тут начались еще злоупотребления и денежные поборы с телавских горожан под видом ходатайства за арестованных. Почва была подготовлена, умы являлись теперь способными принять всякий слух за истину и злонамеренным людям уже нетрудно было бросить в этот порох искру, чтобы вызвать взрыв. Этой искрой и был все тот же злополучный слух о рекрутском наборе. Весь

Телавский уезд поднялся поголовно, и жители, собравшись в деревне Сагореджио, присягали в церкви Св. Иакова сопротивляться и не выдавать друг друга.

Таким образом, бездействие полковника Бахмана, быть может, послужило единственной причиной волнений, охвативших Телавский уезд. Беспорядки приняли серьезные размеры. Грузинские дворяне Квеливидзе и братья Джебадаровы, помещики Сагореджио, взявшиеся формировать милицию, были избиты разъяренной чернью, угрожавшей даже сжечь их дома и истребить сады,— мера, употребляемая только против народных изменников. До этого, правда, не дошло, но народ по стародавнему обычаю насыпал на площади груду камней, “памятник проклятия” — по-грузински часаколави,— показывая тем, что люди, идущие против народной воли, достойны быть побитыми каменьями. Высшей меры ненависти народной нельзя было придумать.

Еще оплошнее полковника Бахмана распорядился в этом случае елисаветпольский окружной начальник подполковник Беренс. Он сам обнародовал в уезде указ об истреблении персиянами русского посольства, о вторжении талышинского хана, о движении среди татар, замеченном в соседних дистанциях, об опасности нападения, которое грозило самому Елисаветполю. Все это поселило страшное смятение в жителях, и когда опасения за самих себя достигли уже высокой степени — пришлось объявить о сборе милиции.

Естественно, что при таких обстоятельствах армяне заявили, что считают невозможным отправить лучших своих людей в поход и требовали, чтобы милиция осталась для защиты их собственных домов. С этой точки зрения, которую армяне считали правильной, их нельзя было сбить ни угрозами, ни обещаниями.

Насколько личность окружного, начальника могла в этих случаях благотворно влиять на массы народа, служит доказательством соседний сигнахский уезд, где милиция собралась без всяких затруднений и тотчас заняла кордонную линию по Алазани. Успешно шел некоторое время сбор милиции и в Горийском уезде. Собранные ратники уже выступили в поход, когда среди них, в деревне Корели, появились две загадочные личности — самцеврийский житель Тетиа Оконели и мамасахлис (старшина) Сосиа Муржакнели. Оба они, воспользовавшись отсутствием начальников, обратились к милиционерам с увещеванием не отставать от общего движения и не покидать своих земляков, которые не хотят быть русскими солдатами. Внезапное появление этих людей и совершение ими какого-то неведомого, а потому и страшного таинства над хлебом и вином, подобно тому, как это бывает в церквях при освящении таинств, поразили милиционеров суеверным ужасом. Собранная дружина повернула назад и разошлась по домам. Горийский дворянин Гвардцители, попытавшийся восстановить порядок, был избит до полусмерти, а Оконели и Сосиа уже исчезли, чтобы сеять смуту далее.

Легкость, с которой пропагандистам удалось произвести возмущение в Корели, служила плохим ручательством удержания в уезде порядка. И, действительно, вслед за происшествием в Корели, поднялась деревня Катесхеви, где во главе движения стали, как показывали жители, сами помещики, князь Давид Цицианов и отставной майор Тор-ханов, требовавший, будто бы, даже убийства грузинских князей и исправника, приехавших собирать милицию. По словам жителей, Цицианов называл себя сардарем, Торханова своим помощником, и в возмутительной речи говорил народу, что если бы в Грузии нашлось только пять человек таких же, как он, то судьбы грузинского царства были бы иные. От Котесхева волнение естественно перешло в соседние Ахалкалаки — имение Торхановых, но здесь все дело кончилось поголовным пьянством. Старшины наложили на несогласников штраф по тунге вина с человека, а когда все перепились, неожиданно

явился исправник со своими есаулами и произвел поголовную экзекуцию. “По совершении ее народ,— как выражается донесение,— пришел в совершенное раскаяние”.

Таким образом, волнение, начавшееся в Тифлисе, обошло половину Катехии и затем, спустившись по правому берегу Куры, приблизилось опять к Тифлису. Здесь оно обнаружилось с особенной силой в деревне Кодах, жители которой, как только узнали о беспорядках в Гори, тотчас разослали от себя гонцов в соседние деревни и подняли весь Тифлисский уезд. Четырнадцать селений пристало к мятежникам, и вооруженная толпа в несколько сот человек двинулась к Тифлису требовать отмены милиции. В то же время такая же толпа приближалась со стороны Катесхеви и остановилась близ Дигомского поля, в двух или трех верстах от Верского предместья.

Приближенные Паскевича, зная его решимость в подобных делах, с беспокойством ожидали, что весь вопрос будет решен картечью и штыками. К счастью, Паскевич хладнокровно принял известие о подступивших толпах и только не велел впускать их в город. Тогда губернский маршал князь Багратион-Мухранский сам поехал на Дигомское поле, где стояли катесхевцы, и убедил их вернуться назад. В то же время тифлисские горожане, опасаясь новых беспорядков в городе, вышли за авлабарский мост и заставили крестьян рассеяться, “впрочем,— как говорит Паскевич,— без всякой драки и буйства”.

При всей пылкости своего характера, не терпевшего прекословии, Паскевич принялся за исследование этого дела с крайней осмотрительностью. Он видел, что народ обманут, и, желая подействовать на его самолюбие, обнародовал следующую прокламацию.

“Злонамеренные и гнусные люди,— писал он,— рассеивают между народом вредные и нелепые слухи: они говорят, будто требуют от грузин солдат. Такого намерения вовсе не было — ваши солдаты не нужны. Из объявлений, всюду разосланных, ясно видно, что от вас назначены милиционеры, то есть джарис-каци, которые будут служить в течение нынешнего лета шесть месяцев. Храбрые воины Всемилостивейшего Государя моего, удивившие знаменитыми победами врагов ваших, вас прежде порабощавших, выйдут за границу. А вам неужели тягостно внутри Грузии охранять порядок, спокойствие и стараться не впускать чумной заразы для блага собственных ваших семейств.

Грузины! Вместе с победоносными войсками служили татары, подданные нашего Императора, и я был признателен им за их усердие, к которому они и теперь стремятся. Ныне получено мною известие, что и гурийцы участвовали в славной победе, одержанной нашими войсками над турецким сераскиром, у которого взят весь лагерь. Гурийцы храбро сражались с неприятелем; на вас же будет лежать самая простая обязанность — охрана собственных ваших домов и семейств от чумы и разбойников”.

Запоздалая прокламация эта все же оказала успокоительное действие. Явные беспорядки окончились, волнения мало-помалу улеглись, но под этим наружным спокойствием могла таиться целая буря, и собирать милицию при таких условиях Паскевич признал неудобным. Он обнародовал, что неприятель отбит от Ахалцихе, что в Гурии турки разбиты и что из России идут подкрепления, а потому сбор грузинской милиции откладывается, чтобы дать жителям свободу до наступления военных действий заняться сельскими работами.

Так мягко и чрезвычайно политично обошел Паскевич острый вопрос о сборе милиции в официальном обращении к народу, но очевидно, что мотивы отказа прикрывали собою только то недоверие, которое зародилось в нем к грузинам и которое сказалось в письме его к начальнику главного штаба по поводу последних событий.

Сославшись в письме к графу Чернышеву на факты из войн 1826-1827 годов, которые, по мнению Паскевича, показывали, как мало можно было полагаться на заверения дворян о готовности их служить в поле, Паскевич, переходя затем к событиям дня, пишет: “дворянство и князья грузинские оказались ниже своей задачи. Те, которые сами просили о сборе ополчения, теперь действовали без усердия и искренности. Из значительных имений самого губернского предводителя не было выставлено ни одного ратника. Подвластные одних из влиятельных грузинских князей, имения которых занимают всю Сомхетию, первые оказали неповиновение,— и владетели не заявили большого желания и готовности успокоить своих крестьян”. Паскевич приходил к заключению, что в тогдашних трудных обстоятельствах края, должно было надеяться только на одну храбрость русского солдата.

Таков был взгляд Паскевича на современное ему грузинское дворянство. Однако вековая доблесть грузинского народа и неизменная преданность престолу лучших грузинских фамилий, из которых многие представители служили передовыми бойцами в рядах русской армии, не могут и не должны подлежать сомнению. Надо припомнить, что и сам Паскевич иначе относился к тем же грузинам, когда, отпуская их по домам из Эривани, в октябре 1827 года, объявил им в приказе по корпусу благодарность за доблестную и честную их службу.

И если факт малочисленности грузинской милиции в заграничных войсках, о котором говорил Паскевич в одном из своих донесений, остается фактом, то нужно припомнить, что масса грузинских князей и дворян наполняла тогда ряды русской армии, да и в числе милиции Паскевич упоминает имена: Амилохвари, Мочабеловых, Цициановых, Торхановых, Багратионов, Орбелиани, Меликовых, Баратовых, Эристовых, Чавчавадзе, Макаевых, Вахваховых, Андрониковых и прочих. Следовательно, причины надо искать не в недостатке народной доблести, а в самом назначении милиции, которая главным образом и собиралась тогда для внутренней охраны страны,— иначе, при выступлении почти всех войск за границу, некому бы было защищать дома грузин, живших в то время еще под угрозой вечных кровавых набегов. Через два-три года после турецкой войны, когда народные воззрения оставались еще все те же, что и при Паскевиче, грузинская милиция беспрекословно служила и в Дагестане, и в Чечне, и на Лезгинской линии. В Грузии тогда оставалось достаточно войск, и грузины уходили спокойно, зная, что их семействам не грозит никакой опасности.

Строжайшее следствие, произведенное для раскрытия сокровенных пружин, двигавших неповиновением народа, пришло к убеждению, что ничего политического, серьезного во всем этом деле не было. Правда, некоторые жители Код показали, что причиной смут были их же помещики, которые, встретив крестьян на авлабарском мосту, не позволяли им выйти в Тифлис, говоря, что там берут рекрут, и затем подстрекнули их к дальнейшему сопротивлению. Но поступки владетелей Коды не были, однако, обнаружены формальным следствием. Стрекалов опасался допросами их произвести “неблагоприятное впечатление” на значительное число княжеских фамилий в Грузии, связанных с ними тесными узами родства, но он указывает Паскевичу на тайную подкладку этого дела. По его убеждению, это была фамильная вражда двух княжеских родов — и теперь, когда один из них взялся собрать милицию, другой попытался создать ему преграды и затруднения.

Паскевич взглянул на дело иначе, нежели Стрекалов, и пять князей Орбелиани, князь Цицианов и помещик Торханов были переданы им военному суду. Суд не нашел, однако, улик к обвинениям, и все арестованные были оправданы.

Неудача при сборе милиции показала Паскевичу, каким грозным призраком стоит перед глазами темного люда вопрос о рекрутском наборе. И тем не менее Паскевич справедливо полагал, что жители Грузии, пользовавшиеся всеми преимуществами прочих подданных Русской империи и платящие с ними сравнительно ничтожную подать, должны укомплектовывать своими рекрутами войска, стоящие на Кавказе и назначенные для охраны их же отечества. “Рекруты эти,— писал он к графу Чернышеву,— родившиеся и выросшие в этой стране, не будут подвергаться ни климатическим болезням, ни губительной смертности и заменят собою двойное число рекрутов, присылаемых сюда из России”. Но меру эту он предполагал возможным провести только по заключении мира с Турцией, так как для понуждения к тому жителей нужны сильные меры.

Так мимолетной тучей пронеслось над Иверией смутное время, окрещенное некоторыми “народным бунтом”. Но в сущности бунта никакого не было, а было одно громадное недоразумение, при других обстоятельствах легко улаживаемое без всяких внутренних смут и потрясений. Исторические обстоятельства в то время еще складывались так, что требовались взаимные уступки и разъяснения. Грузины еще жили тогда своей прошлой жизнью, освященной вековыми преданиями, и не могли отрешиться сразу от тех воззрений, привычек и побуждений, под которыми росли целые поколения. Не все из них способны были понять и оценить благие меры правительства, при которых частные жертвы становятся иногда неизбежными, и потому, естественно, в крае много было людей недовольных. Помимо того, нет никакого сомнения, что в Грузии еще жили беспокойные элементы, находились люди, сочувствовавшие старым грузинским порядкам, были князья, готовые из-за личных счетов жертвовать спокойствием родины. Нужно было всесильное время, чтобы показать грузинам преимущество русских порядков и заставить их забыть свои партийные распри, уже доведшие страну до невозможности ее самобытного политического существования. С другой стороны, правители края, занятые в то время исключительно внешними войнами, отстаивавшие из года в год русские границы и потому, естественно, отодвигавшие вопросы внутренней политики на задний план, не всегда имели возможность вникать в национальный характер грузин, в их историческое прошлое, и в результате время от времени являлись прискорбные события вроде тех, которые омрачили ясное небо Грузии в тяжелые мартовские дни 1829 года.

Прекращение волнений в Грузии совпало как раз с бегством аджарцев из-под Ахалцихе и с победой у Лимани. Это устраняло немедленную опасность со стороны турецких границ и давало Паскевичу возможность приложить всю свою энергию к переговорам с Персией.

Трудно было понять двойственную политику этой державы. Почти не было сомнения, что тегеранский двор находится в тайных сношениях с Портой, которая, пользуясь фактом убийства русского посла в Тегеране, употребляет все усилия, чтобы вовлечь Персию в новую войну с Россией. С другой стороны, наследный персидский принц, по-видимому, был искренне огорчен тегеранской катастрофой и сожалел о ней не менее каждого русского.

“Я не знаю, какая злополучная судьба меня преследует! — сказал он русскому консулу в минуту получения этого известия.— Я только что успел с чрезвычайными усилиями и жертвами восстановить дружбу между двумя государствами, как это ужасное событие разрушает все, что мною было сделано. Да будет проклят Иран с его самовольными жителями! Клянусь перед вами тем Богом, в которого мы оба веруем — ибо Бог один,— что я почел бы за счастье, если бы мог возместить пролитую кровь вашей миссии кровью своих жен и детей!”

На замечание консула, что главную причину несчастья нужно искать в слабости шаха, принц с горечью заметил: “Что мне сказать вам на это? Бранить шаха не смею, а молчать о слабости его не могу. И это шах! Сидит в гареме и не выходит оттуда даже тогда, когда необходимо привести в повиновение подданных... Я не знаю, куда мне деваться от стыда и позора”.

Слова эти были сказаны с несомненной искренностью. Но вслед за тем на принца начинает приобретать влияние многочисленная партия войны, и Аббас-Мирза уже обнаруживает стремление к обычным изворотам двуличной восточной политики. Весь двор его облечен в глубокий траур, долженствующий выразить тяжкую скорбь о случившемся, а в Азербайджане усиленно собираются войска, и услужливая Англия уже везет из Трапезунда целые транспорты оружия. Со словами мира на языке, персидское правительство укрепляет Дарадизское ущелье, а по дорогам от Маранды и Хои, как бы в оправдание слухов, ходивших по Грузии, показываются конные разъезды Али-хана макинского, и приходят известия, что эти войска только передовой отряд одного из шахских сыновей, который идет из Тегерана к Тавризу с пятидесятитысячным корпусом.

В ханстве Талышинском, как сказано выше, военные действия персиян уже начались фактически вторжением Мир-Хассан-хана. 25 февраля он атаковал в Акстафе небольшую русскую команду, которая, несмотря на всю нечаянность нападения, мужественно отстреливалась, пока другая команда не подоспела к ней на выручку, и тогда соединенными силами Мир-Хассан-хан был прогнан за границу. Несмотря на его отступление, генерал-майор Ралл, командовавший войсками в Талышинском ханстве, должен был стянуть в Ленкорань все свои силы, так как получил сведения, что на помощь хану идут персияне, и на Гирмийский пост прибыло уже значительное количество сарбазов. Мустафа-хан ширванский также появился на границах Муганской степи и имел совещания с некоторыми беками. Во всех этих действиях трудно было не видеть простого повторения того, что уже было в минувшем году, когда Мир-Хассан-хан также попал на Талыши с тем, чтобы разорить свое бывшее ханство и перегнать его жителей в персидские владения. Тогда, как было дознано, Аббас-Мирза хотел понудить этим Паскевича уступить ему Талыши, как разоренную и уже необитаемую область. Но хан превысил в то время данную ему инструкцию и предался в стране таким неистовствам, что персидские пограничные власти сами испугались за последствия и послали войска, чтобы заставить его отойти от русской границы. Этим соблюдены были все признаки наружного доброжелательства со стороны персидского правительства, и Аббас-Мирза остался тогда в стороне. Теперь, предпринимая точно такой же поход, Мир-Хассан-хан, очевидно, не рискнул бы действовать на свой страх, без разрешения наследного принца, и Амбургер в своих письмах к Паскевичу прямо высказывал подозрение на Аббас-Мирзу в возбуждении этих беспорядков. Но тот же Амбургер, и почти в то же самое время, извещал Паскевича, что Аббасс-Мирза, опасаясь честолюбия братьев, собрал в Тавриз всех своих сыновей с семействами и, по слухам, намерен отдаться в покровительство русского императора. Легко могло быть, однако, что Аббас-Мирза распускал подобные слухи нарочно, чтобы удерживать русских в бездействии, и выиграл время для своих вооружений. Во всяком случае, во всех разноречивых толках, ходивших тогда, выяснялось несомненно одно, что персияне еще к войне не готовы, и этим обстоятельством следовало воспользоваться. К сожалению, русский консул, вследствие интриг английского посольства в Персии, без всякого приказания оставил Тавриз, и таким образом дипломатические сношения с Персией оказались разорванными. Возвратить Амбургера назад или начать переговоры через другое лицо, значило бы унизиться в глазах персиян, и главнокомандующий решился выжидать обстоятельств.

В начале марта прибыл в Тифлисский карантин из Персии некто Али-Юз-баши и сообщил, что имеет открыть графу Паскевичу одно важное дело. Оказалось, что Али-Юз-баши был прислан от наследного принца без всякого письма, но с тайным словесным поручением. Главнокомандующий в тот же день лично посетил карантин и из разговора с посланным узнал о крайне затруднительном положении наследного принца. Шах, подстрекаемый другими сыновьями, требовал от него немедленного начатия наступательных действий, угрожая в противном случае прислать в Азербайджан другого наместника. Не зная, как поступить, равно опасаясь и шаха и русских, Аббас-Мирза решился просить совета и помощи у русского главнокомандующего. Паскевич нашел момент удобным для открытия переговоров и отправил в Тавриз своего адъютанта князя Кудашева с секретным письмом следующего содержания:

“Ваше высочество спрашивает меня, как поступить в трудных обстоятельствах предстоящего разрыва с Россией. Рассмотрите внимательно, в каком положении находитесь вы и подвластные вам провинции.

Высокоповелительному шаху угодно начать войну. Предположим, что, исполняя державную волю отца и по тайным проискам братьев, вы откроете военные действия. С целого государства вы не сможете собрать теперь более шестидесяти тысяч войска. Наши провинции, со стороны Персии, действительно, в настоящее время не имеют достаточного прикрытия; войска там остались только в крепостях. В июне вы можете вторгнуться в незащищенный край, можете разорить его,— но крепостей не возьмете, ибо вашему высочеству хорошо известно, что русские крепостей не сдают; продовольствия же у нас достаточно. Итак, успехи ваши остановятся неподалеку от границы; идти вперед вы, конечно, не решитесь, потому что не безопасно было бы оставлять у себя в тылу непокоренные крепости. Со своей стороны я собираю между тем двадцать пять тысяч войска на границах турецких, иду против турок, разбиваю их на Саганлуге, беру Арзерум, и в октябре, когда горы покроются снегом и никакого сообщения у вас с сераскиром не будет, я обращаюсь через Баязет на Хой и Тавриз. В это время, то есть осенью, войска шахские и братьев ваших расходятся по своим провинциям, вы остаетесь при собственных азербайджанских войсках. Я завоюю Азербайджан, и он уже никогда вам не достанется, а без него ваше высочество не может наследовать престола. Не пройдет года — и, может быть, династия Каджаров совершенно уничтожится. Что было в последнюю войну — будет вновь. Не полагайтесь на обещания англичан и на уверения турок. Султан в самом затруднительном положении; флот наш не допускает к нему жизненных припасов, адмиром Кумани уже за Бургасом; Адрианополь ожидает с трепетом своего падения; воля государя исполняется повсюду единодушно, а исполнение возложено на войска, неустрашимость которых известна Европе. Англичане вас не защитят, ибо их политика относится только к Ост-Индским владениям; в Азии мы можем завоевать государство, и никто не скажет ни слова: это не в Европе, где за каждую сажень земли может разгореться война кровопролитная. Турция нужна для поддержания политического равновесия Европы, но для держав европейских все равно, кто бы не управлял Персией. Все ваше политическое существование в руках наших; вся надежда ваша на Россию: она одна может вас свергнуть, и она одна может поддержать вас.

Если ваше высочество желает знать мое мнение, то со всей искренностью скажу, что нет другого средства загладить плачевную утрату, как просить Великого Государя моего о прощении за неслыханный поступок тегеранской черни. Лучший способ для этого прислать ко мне в Тифлис одного из братьев ваших или сына для отправления послом в Петербург. Для большего доказательства приверженности вашей к России, как вы сие всегда утверждали, должно дать другое направление намерениям шаха: объявить войну Турции, вторгнуться в ее пределы, напасть на Ван; с моей стороны обещаю вам пособия в

ружьях и в пушках, и буду содействовать войсками сему завоеванию. Этим вы ясно докажете, что все происшествия были ни в вашей, ни в шахской воле. Объявите, на каких условиях вы захотите сие предпринять: оно будет иметь для вас неоцененные выгоды. Вашему высочеству известно, что я никогда не изменял слову своему. Буду иметь честь ожидать вашего отзыва".

Вместе с этим секретным письмом Кудашев повез другое, официального характера, которое собственно и должно было послужить предлогом для появления его в Тавризе. Между тем, отправляя Кудашева, ища, так сказать, решения возникших недоразумений с Персией мирным путем, Паскевич ничего не хотел предоставить гадательным расчетам и энергично готовил средства на случай, если бы был вынужден одновременно вести две войны на всем протяжении закавказской границы.

С этой целью для обороны всей пограничной черты от Арарата до Ленкорани назначены были пехотные полки: Апшеронский, Тенгинский и Тифлисский, третьи батальоны сорок первого и сорок второго егерских полков, морской Каспийский батальон, две роты севастопольцев, три казачьи полка и тридцать орудий, а для прикрытия Дагестана остался всего Куринский полк, да две роты апшеронцев при десяти орудиях. Оба эти отряда, имевшие не более одиннадцати тысяч штыков, поручены были генерал-лейтенанту князю Эристову.

В то же время генералу Панкратьеву предписано оставить в крепостях Баязетского пашалыка только Козловский и Нашебургский полки с восьмью орудиями, а остальные войска — Кабардинский полк, шесть рот севастопольцев, два казачьи полка и двенадцать орудий — передвинуть на Арпачай к селению Агузум. Расположение отряда именно в этой позиции имело ту стратегическую выгоду, что одновременно прикрывало и турецкую границу со стороны Карса, и Армянскую область со стороны персиян, если бы последние отважились на вероломное вторжение.

Независимо от этого значительно усилены были и средства местной народной обороны. Эчмиадзин укреплен, и для защиты его формировался полубатальон эриаанских сарбазов, но, к удивлению, армяне Эриванской области, так много обещавшие в словах, в течение нескольких месяцев не могли составить даже небольшого гарнизона для защиты столь чтимой ими священной обители, тогда как армяне турецкие, и в Карее и в Баязете, охотно шли в ополчение и формировали в помощь русским войскам и конные, и пешие дружины. Многие отказывались даже от жалованья и служили на собственном иждивении. В Баязете один из почетных армян, некто Мелик Мартирос, сам предложил сформировать целый батальон армян в пятьсот человек, без всякой платы и содержания, лишь бы правительство отпустило триста ружей, вдобавок к тем двумстам, которые у него уже имелись. Ружья были отпущены, и, когда батальон сформирован был в течение нескольких дней,— Паскевич приказал назначить Мартироса его командиром.

Слухи о деятельных мерах, принимаемых русскими к отпору, с такой быстротой достигали наследного принца, что когда Кудашев в половине апреля прибыл в Тавриз, там уже знали о сосредоточении русских войск к персидским границам, и очень может быть, что это обстоятельство значительно подвигло персиян на уступки. Кудашев писал Паскевичу, что персияне деятельно готовятся к войне, но что настроение наследного принца, по получении им письма главнокомандующего, стало более определенным и, видимо, уже склоняется к миру. Он даже заявил торжественно, что, по совету Паскевича, решается тотчас же, не ожидая дозволения шаха, отправить своего сына Хосров-Мирзу в Петербург, чтобы испросить у трона русского монарха забвения неистовым поступкам тегеранской черни. С его стороны это был шаг чрезвычайно важный и крайне

рискованный в том случае, если бы тегеранский двор под влиянием враждебной для России партии отказался признать это посольство законным. Но для Аббас-Мирзы другого выхода не было. Желая доказать Паскевичу свое миролюбие, он разослал приказания ко всем пограничным персидским начальникам удерживать подвластные им кочевья от набегов на русские земли, а русским позволил закупать пшеницу в Салмазе и Хое. Макинский хан, уже готовый к открытию военных действий и занимавший своей конницей Дарадизское ущелье, теперь, с той же конницей, должен был доставить в Баязет к русским войскам несколько сот четвертей хлеба, а Джалалинским курдам, обитавшим на земле Макинского ханства, дозволено было вступать в формировавшийся тогда в Баязете курганский полк.

Чтобы поддержать такое настроение персидского правительства, Паскевич торопил теперь выездом в Тавриз генерал-майора князя Долгорукова, назначенного по высочайшей воле находиться при особе наследного персидского принца, с правами и обязанностями министра, хотя и без этого официального титула. Пребывание в Тавризе такого лица было совершенно необходимо, так как в руках Аббаса-Мирзы сосредоточивались главные нити персидской политики, а между тем его бесхарактерность была хорошо известна Паскевичу. Аббас-Мирза, одаренный от природы чрезвычайно живым темпераментом, пылкий и нервный, всегда находился под впечатлением минуты, и это всецело отражалось на делах государственных. Ничего не было легче, как заставить принца следовать чужим указаниям. В собственных начинаниях его всегда было много хорошего, но это хорошее являлось у него какой-то вспышкой, минутным впечатлением, за которым наступало быстрое охлаждение, и принц уже не имел ни воли, ни терпения продолжать начатое. Князь Долгоруков был именно из таких людей, которые могли иметь влияние на Аббас-Мирзу и направлять его действия к обоюдной пользе России и Персии.

Политические обстоятельства были так сложны, так запутаны, что на долю Долгорукова досталась тяжелая миссия. Охраняя с твердостью достоинство русского имени, он должен был избегать излишней настойчивости там, где дело касалось предметов второстепенной важности, обходить все, что могло задеть народное самолюбие, касаться его веры или коренных обычаев, раздражать духовенство, которое в тех странах сильнее самого правительства. Замечательно, что министерство графа Нессельроде, продолжавшее, вопреки указаниям Паскевича, верить в искреннее доброжелательство Англии, рекомендовало Долгорукову стараться прежде всего приобрести расположение и дружбу английского министра Макдональда. И это писалось тогда, когда Макдональд — образец благородства, как выражался о нем Нессельроде — заявлял открыто, что если Хосров-Мирза поедет в Петербург, то он покинет Тавриз, где ему нечего делать, и отправится в Кирман-шах собирать партию для Хассан-Али-Мирзы против наследного принца. К счастью, Паскевич смотрел на английскую дружбу иными глазами. Отправляя Долгорукова, он посоветовал ему прежде всего не доверяться англичанам, поддерживать хорошие отношения с их миссией, но зорко следить за действиями Макдональда, что было тем удобнее сделать, как выражается Паскевич, что “вы его намерение знаете, а ваши от него сокрыты”. Предусмотрительность Паскевича и твердость Долгорукова, успевшие парализовать интригу, веденную Англией, доставили России торжество дипломатической победы — и вопрос об удовлетворении ее оскорбленной чести был решен в Тавризе бесповоротно.

Подходил конец апреля. Вскоре в Тифлисе должно было появиться торжественное персидское посольство, сопровождавшее принца Хосров-Мирзу. Но только тогда, когда это посольство, проехав Тифлис, находилось бы уже на пути к Петербургу, можно было сказать, что острый персидский вопрос, принесший с собою столько тревог и обещаний, чрезвычайно усложнив дела закавказского края, приходит к благополучному исходу.

Только тогда и Паскевич мог обратить все свое внимание и все русские силы Закавказья на турок.

XIX. НОВАЯ ГРОЗА ПОД АХАЛЦИХЕ

Посольство Хосров-Мирзы только что находилось на пути к Тифлису, и персидские дела, следовательно, не могли еще считаться окончательно улаженными, как главнокомандующий получил известие о новых сборах турок против Ахалцихе.

Над Ахалцихе в то время тяготело страшное бедствие: там появилась чума, занесенная, как говорили, во время осады, и все меры бороться с нею оказывались бессильными. Стесненное положение гарнизона, вынужденного держаться в крепостных стенах, мешало подвергнуть войска исполнению всех карантинных правил,— и чума, свирепствовавшая почти беспрепятственно, уносила в могилу храбрых ширванцев и еще более несчастных (разоренных) жителей города.

А слухи о неприятеле не прекращались.

Уже через пятнадцать дней по снятии осады лазутчики дали знать князю Бебутову, что в Аджарии почти повсеместно происходят большие волнения, и Ахмет-бек, встревоженный мятежным настроением народа, уже готового изъявить покорность России, вынужден был занять войсками приграничные санджаки Коблиен и Шаушет. По сведениям, силы неприятеля, собранные на этих пунктах, простирались до двадцати тысяч человек, и Ахмет-бек намеревался вторгнуться в наши пределы, чтобы громом побед восстановить утраченное влияние. Слухи, шедшие через армян, очевидно были преувеличены,— но тем не менее жители Ахалцихского пашалыка, застигнутые среди своих сельских работ признаками вновь приближающихся военных бурь, казались чрезвычайно встревоженными.

Гроза собиралась также над Карсом и частью над Баязетом. Еще горы были покрыты большими снегами, а передовые партии курдов показались около Саганлуга. Стало известно, что султан отправил к сераскиру два миллиона пиастров с тем, чтобы купить спокойствие курдов, уже колебавшихся, на чью сторону перенести свое оружие. Турецкое золото, а еще более сомнение, чтобы русские вышли победителями из-под ударов двух мусульманских держав, и, наконец, надежда легкой добычи, при ослаблении войск в Баязетском пашалыке, склонили куртинских старшин искать сближения с Турцией. Курды первые и начали военные действия. Как только 1 апреля отряд генерала Панкратьева вышел из Баязета на Арпачай, сильная партия курдов на другой же день напала на Хамурские деревни. По первой тревоге из Топрахкалинского замка был выслан есаул Карасев с шестьюдесятью донцами, но пока казаки проскакали сорок верст, деревни уже были разграблены, и донцы настигли курдов только на дороге к Патносу. Партия, уходившая с добычей, отступала под прикрытием ста человек отборных наездников, которые, подпустив к себе донцов шагов на пятьдесят, встретили их залпом. Карасев бросился в пики,— и прежде чем дым ружейного залпа рассеялся, казаки врезались в толпу, не успевшую даже схватиться за сабли. Сорок курдов легли на месте, двадцать пять были взяты в плен, и в том числе их старшины Ахмет-ага, человек известный в крае богатством и родственными связями. Со стороны казаков были ранены только двое. Партия, вынужденная бросить добычу, ушла налегке,— и случай этот сразу убедил курдов, что надежда их на легкую поживу напрасна.

Как только выяснилось, что со стороны Баязета и Карса грозили лишь мелкие разбойничьи набеги, Паскевич сосредоточил все свое внимание на положении

ахалцихского гарнизона, сообщение с которым, вследствие весенней распутицы, становилось день ото дня затруднительнее. Генералу Бурцеву приказано было с Херсонским полком и восьмью орудиями снова подвинуться к Ахалцихе и стать впереди Ацхура. Бурцев выступил из Гори в начале апреля, но, достигнув Боржомского ущелья, должен был остановиться у нижней переправы, так как разлившаяся Кура в две-три недели уничтожила и последние признаки дороги, по которой он еще недавно прошел на помощь к Ахалцихе. Долго пытались войска переправиться через Куру на пароме, и каждый раз река бешеным напором воды разрывала канат и уносила паром, причем несколько человек утонуло. . После неимоверных усилий, в конце концов, удалось-таки переправить пехоту, горный единорог, да две кегорновые мортиры; весь же обоз и полевая артиллерия остались на том берегу, под прикрытием роты. По тропам, пробитым почти на отвесных скалах, Бурцев добрался кое-как до Гогиасцихе.

Теперь на этом месте стоит роскошный Боржом, с его необъятными парками и целебными минеральными водами. Масса больных с ранней весны стекается сюда искать исцелений от своих недугов. Жизнь бьет ключом в окрестностях Боржома, она видна повсюду — и в дачном городке, в лесу, по дорогам, и даже на Куре, покрытой плотами. Не то было, когда утомленный, промокший и голодный отряд Бурцева, в ожидании артиллерии и обозов, остановился здесь на бивуаке. Многоводная река преграждала путь, обильные ручьи целебной и горячей воды, никому не нужные, свободно струились с камня на камень и, падая каскадами, спешили к лону Куры. Девственный лес, колеблемый ветром, пел однообразную, унылую песню. На обоих берегах Куры, на голых скалах, мрачно выступая из тени давнишних веков, высились одряхлевшие развалины некогда грозных замков Гогиасцихе и соперника его Петерсцихе. Эти два угрюмые свидетеля былой кипучей и страстной жизни устами народных преданий рисуют картины таких кровавых событий, такого мрачного коварства, корыстолюбия и, наряду с беззаветной храбростью, такого безрассудного самодурства, что для человечества было бы лучше, если бы их вовсе не существовало.

Седой сазандарь и теперь еще поет о том, как в этих каменных гнездах жили два брата, вражда которых не знала пределов. В их взаимной борьбе, в их диком разгуле сказались такие черты феодальных нравов, которые вполне были достойны рыцарей больших дорог. Как два коршуна, стерегли они добычу, и не было прохода к мирному путнику ни купцу-армянину, ни оплошавшему каравану. Покровительство одного вызывало беспощадную месть другого, и оба брата со своими азнаурами не раз встречались в кровавых схватках из-за добычи, наводя своей жестокостью и злобой ужас на всех окрестных тавадов. Гибель и смерть черной тучей стояли над обоими замками. С омерзением смотрели соседи на столь ненормальное явление братской вражды и всеми силами старались примирить их. Наконец братья съехались, обнялись и дали клятву во взаимной дружбе. Дорогие азарпеши и турьи рога, наполненные кахетинским вином, пошли на радостях ходить вкруговую, но вино не могло залить таившейся ненависти и только разогревало страсти. И вот, во время шумного пира, одно неосторожно брошенное слово вызвало новую бурю: неугомонные братья схватились за кинжалы — и оба пали мертвыми их азнауры не отстали от своих владельцев — и шестьдесят человеческих трупов легли на том самом месте, где за минуту перед тем произнесены были клятвы вечной любви. С тех пор замки опустели, а беспощадное время превратило их в безобразную груду развалин.

У этого-то исторического Гогиасцихе отряду пришлось опять остановиться, опять строить паром и переходить Куру, расплачиваясь человеческими жизнями.

Турки, прекрасно зная, что делается весной в Боржомском ущелье, не хотели верить, что русские войска могли в эту пору года прийти на помощь к Ахалцихе, и потому были

чрезвычайно удивлены, когда 17 апреля Бурцев явился верстах в сорока за Ацхуром. Целью движения его на этот раз была простая рекогносцировка. Но Бебутов, желая воспользоваться присутствием войск в Абас-Туманском санджаке, поручил ему наказать некоторые деревни, наиболее волновавшиеся во время осады Ахалцихе. Бурцев грозою прошел почти вплоть по подошвы Аджарских гор, и население, загнанное им в горные ущелья, еще заваленные снегом, лишившиеся скота и имущества, вынуждено было просить о пощаде. Бурцев вызвал к себе старшин, привел их к присяге и отошел к Ацхуру.

Весть, что русские войска уже подходят из Грузии, ускорило наступление турецких войск, и двадцать пятого апреля сильный авангард их под личным начальством Ахмет-бека, спустившись с гор, стал в деревне Квели, верстах в семидесяти от Ахалцихе. Лазутчики сообщили, однако, что авангард пришел налегке, без артиллерии, которую не мог перетащить через горы и потому рассчитывает на первое время ограничиться только разорением христианских деревень в Ардаганском санджаке. Князь Бебутов, со своей стороны, поспешил воспользоваться неосторожным движением Ахмет-бека, чтобы разбить его прежде, чем подойдут остальные турецкие войска, и поручил экспедицию Бурцеву.

30 апреля Херсонский полк с пятью орудиями выступил из-под Ацхура и, соединившись на пути еще с двумя ширванскими ротами и казачьим полком Леонова, ночевал верстах в двадцати шести от Ахалцихе. Здесь получены были известия, что неприятель уже вышел из Квели по дороге на Ардаган, и Бурцев, быстро сообразив возможность отрезать его от гор, форсированным маршем двинулся к деревне Цурцкаби. Удайся это движение — и неприятель, отброшенный внутрь пашалыка, мог очутиться в безвыходном положении. К счастью для турок, это опасное движение было открыто вовремя, и Ахмет-бек вернулся назад с такой поспешностью, что когда Бурцев подошел к деревне, она уже была занята пятитысячным турецким отрядом.

Цурцкаби, большая омусульманившаяся вконец деревня, не сохранила от старины ни малейших признаков, которые свидетельствовали бы о том, что и она некогда принадлежала к обшей семье грузин. Даже православная церковь, где в старые годы все население Посховского бассейна собиралось слушать пастырское слово, стоит не в развалинах, как большая часть церквей этой злополучной местности, а обращена в мечеть, и с ее плоской кровли мулла призывает правоверных к намазу. От прежнего величественного храма остались только голые стены, да несколько камней, сохранивших неясные следы грузинских начертаний.

Подходя к Цурцкаби, войска увидели ряд высот, которые, заслоняя деревню, громоздились амфитеатром одна выше другой и были усеяны турецкими стрелками. Рассчитывая на крепость позиции, Ахмет-бек намеревался отстаивать одну высоту за другой, и затем, когда русский отряд уже будет ослаблен значительными потерями, дать решительный бой под самой деревней, где были укрыты его резервы.

Теперь положение самого Бурцева, очутившегося лицом к лицу с двойными силами противника, укрывшегося в крепких позициях, стало опасным. Обойти высоты было нельзя, а штурм их с фронта грозил большими потерями. Но Бурцев все-таки предпочел лучше идти вперед, чем отступать на протяжении пятидесяти верст, в виду неприятеля отважного, умеющего пользоваться малейшим успехом. И вот, в два часа пополудни русские войска двинулись на приступ. Первая позиция турок скоро была взята батальоном херсонцев, но последующие оборонялись так упорно и требовали такого напряжения сил, что когда ширванские роты овладели наконец последней высшей точкой высот, весь отряд вынужден был остановиться всего в полутораста шагах от Цурцкаби. Потеря была уже

значительная, а перед войсками стояла деревня, окруженная толстой деревянной стеной, оборона которой еще усиливалась несколькими ярусами огня из всех домов селения. Вот в эту-то роковую минуту неприятель вдруг выдвинул свои резервы и всеми силами перешел в наступление. Ширванские роты были атакованы пехотой; турецкая конница насела на полубатальон херсонцев, далеко выдвинувшийся вперед за нашу боевую линию. Жестокий бой, не раз переходивший в рукопашную свалку, длился до самого вечера, но все нападения неприятеля были отбиты, и Ахмет-бек отошел в деревню.

Наступила темная апрельская ночь. Положение обоих противников, измученных боем, понесших большие потери, было настолько критическое, что трудно было даже сказать, что произойдет поутру: русские ли попытаются овладеть деревней, турки ли еще раз атакуют русскую позицию, или, наконец, одна из сторон, слабейшая духом, воспользуется ночью, чтобы заблаговременно уйти из-под ударов противника? Случилось именно последнее. Турки за час до рассвета покинули деревню и отступили. Бурцев преследовал неприятеля и предавал огню все встречавшиеся ему на пути непокорные деревни.

Между тем в Ахалцихе получены были новые известия, что другой турецкий отряд, спустившийся с гор прямой дорогой, заходит Бурцеву в тыл. Князь Бебутов немедленно отправил к нему еще батальон Ширванского полка с полковником Юдиным, и в крепости остались всего три роты гарнизона. Ахалцихе пришлось пережить несколько тревожных дней, пока наконец не были получены известия, что Ахмет-бек бежал из Цурцкаби, и что турецкий отряд, стремившийся к нему на помощь, при приближении Юдина поспешно удалился в Аджару.

Не заходя в зачумленный Ахалцихе, Бурцев возвратился в Боржомское ущелье и в двенадцати верстах от Ацхура, там, где грозно сдвинувшиеся скалы образуют так называемый Страшный Окоп, столько лет стоявший дозором на русской границе, поставил сильное укрепление, под прикрытием которого коммуникация с Грузией была вполне обеспечена.

Две экспедиции Бурцева в Аббастуманский санджак и к Цурцкаби, были важны в том отношении, что после них край, где турецкие войска прежде находили обильное продовольствие и хорошие квартиры, теперь был совершенно опустошен, и Ахалцихе, еще раз вырученный из опасного положения, находил для себя в этом обстоятельстве новую защиту.

Но приближалось время, когда на тех же самых полях готовились совершиться более грозные и важные события. Открывалась кампания 1829 года.

XX. БИТВА ПРИ ДИГУРЕ И ЧАБОРИО

Был уже май 1829 года; природа оживала, а вместе с тем наступала и возможность открытия военных действий. Горные проходы быстро освобождались ото льдов и снегов, реки спадали, и пути с каждым днем становились удобнее. Приближалось время военных гроз.

У турок шла необычайная деятельность. Войска их со всех сторон тянулись на сборный пункт, в крепость Гассан-кале, где должна была сосредоточиться сорокатысячная армия с пятьюдесятью орудиями. Туда же прибыл и сам Гагки-паша, уже фактически вступивший в роль турецкого главнокомандующего. Множество арб и длинные верблюжьи транспорты с боевыми запасами и продовольствием тянулись из Арзерума по горным дорогам на Нариман и Ольту, а за ними двигался особый пятнадцатитысячный корпус

сераскирского Кягьи (начальника штаба), который имел поручение принять под свое начальство все войска, бывшие в Аджаре, и действовать с ними против Ахалцихе. Среди завоеванных нами пашалыков ходили по рукам турецкие прокламации, приглашавшие жителей спокойно оставаться на своих местах, но предупреждавшие, что всякий, кто не выкажет усердия к турецкому правительству, будет наказан смертью. Сообщение между Карсом и Ардаганом сделалось весьма затруднительным, так как турецкая конница, прошедшая из Ольты в Гельский санджак, стала в верховьях Куры и наводнила окрестность своими партиями. Несколько армян, пытавшихся пробраться этим путем, были убиты или захвачены в плен. Жители, охваченные страхом, не знали, что делать и чьей стороны держаться. Магометане приостановились с посевом хлеба; некоторые совсем ушли в неприятельскую землю; другие только еще намеревались последовать за ними, но предварительно желали разграбить армян, защита которых ложилась новым бременем на войска карсского гарнизона.

Турция между тем не сумела воспользоваться усердием своих единоверцев. Тех, которые бежали к ним, они записывали в войска, а скот и арбы забирали под военные транспорты. В народе возник ропот, и жители многих деревень, ограбленные своими же соотечественниками, бежали обратно к русским. Но тем не менее фанатизм мусульман, подогреваемый турецкими эмиссарами и муллами, был так велик, что доверять этому населению все-таки не приходилось.

Обширные средства, дававшие сераскиру возможность открыть кампанию разом на нескольких пунктах, требовали и со стороны Паскевича такого распределения сил, чтобы неприятель повсюду мог встретить должный отпор. Между тем, отношения к Персии еще не установились прочно, и осторожность предписывала держать войска и на ее границе. Положение Паскевича, таким образом, представляло немалые затруднения. Весь план кампании приходилось переделывать. Теперь нельзя было и думать о наступлении против турок с двух сторон, от Карса и Баязета, как это предполагалось в минувшем году. Баязетский пашалык, как пограничный с Персией, сам уже требовал помощи, ибо, с удалением оттуда отряда Панкратьева, в нем осталось только четыре батальона.

Инициатива наступления очевидно переходила к туркам, и объектами их действий, естественно, должны были явиться Каре и Ахалцихе. Стратегическая обстановка указывала нам необходимость обеспечить оба названные пункта и, сверх того, иметь сильный подвижной резерв, который в случае надобности мог бы дать помощь тому или другому из передовых отрядов. С этой целью колонна Бурцева прикрыла Ахалцихе; отряд Панкратьева, усиленный еще войсками из Грузии, придвинут был к Карсу [Отряд Панкратьева составляли следующие войска: пехотные полки Кабардинский и Севастопольский (за исключением двух рот, находившихся в Гумрах), весь сорок второй егерский и по одному батальону от егерских же полков сорокового и сорок первого; кавалерия: Сводный уланский полк, первый и второй конно-мусульманские полки, два неполные полка донских казаков и один Черноморский; артиллерия: двенадцать батарейных и восемь легких орудий.

Затем в гарнизоне Карса остался только один тридцать девятый егерский полк, да две с небольшим сотни донских казаков.]; Муравьев с гренадерской бригадой, Нижегородским драгунским полком, тремя казачьими полками [Сборный линейный казачий, Донской полк Карпова и третий конно-мусульманский.] и двадцатью восьмью орудиями образовал резерв и стал в Ахалкалаках.

Затем в Тифлисе остался только Крымский пехотный полк, находившийся в кадровом составе, да батарейная рота двадцатой артиллерийской бригады. Это было все, чем могла

располагать Грузии для собственной защиты, а потому пришлось по необходимости опять обратиться к сбору грузинской милиции. “Перед вами, грузины,— писал в своем воззвании военный губернатор генерал Стрекалов,— открыто новое поле для действий. С появлением вашим в рядах бесстрашного русского воинства, вы становитесь участниками великих событий и дел нашего времени, удивляющих современников, заслуживающих благодарность потомства”. Но и без этой прокламации грузины Горийского, Душетского, Телавского и Сигнахского Уездов охотно выставили две тысячи ратников, которые, разбившись на дружины, заняли Боржомское ущелье и протянули кордонную цепь по Картли, а частью и по Алазани. Только Тифлис с его уездом оказался вне патриотического движения, охватившего Грузию. Стрекалов доносил Паскевичу, что во всем Тифлисском уезде не оказалось не только поселян, желавших добровольно служить в ополчении, но даже не нашлось помещиков, готовых стать против неприятеля. Паскевич обошелся без них.

Войска уже стояли на сборных пунктах, а главнокомандующий еще оставался в Тифлисе, поджидая прибытия персидского посольства. И только тогда, когда Хосров-Мирза был уже на дороге к Петербургу, Паскевич поспешил к войскам и 19 мая прибыл в Ахалкалаки.

Весна в этом году стояла суровая; в половине мая снег еще покрывал вершины гор и ущелья, через которые пролегали дороги; в долинах шли постоянные дожди с градом и дул холодный ветер; кое-где показывалась только молодая травка, не дававшая еще подножного корма. А турецкая армия, готовая к бою, перешла уже в наступление. Первым замечен был корпус Кягьи-бека, который, пройдя долиной Геля, был близок уже к Ардагану. Это заставило Паскевича двинуться навстречу со всей колонной Муравьева, но Кягьи-бек уклонился от боя — он отступил и скрылся в аджарские горы. Следовать за ним Паскевич не решился, так как по рассказам лазутчиков, дорога представляла такие трущобы, что туркам самим пришлось разбирать орудия и перетаскивать их на руках. С отступлением Кягьи опасность для Ардагана нисколько не уменьшилась. Главнокомандующий отлично понимал, что стоит русским войскам отойти от крепости, как турки снова начнут угрожать ей, а потому, чтобы поставить гарнизон в положение вполне самостоятельное, он потребовал из Карса еще батальон сорокового егерского полка с четырьмя орудиями. Батальон пришел форсированным маршем. Но вслед за ним прискакал курьер от Панкратьева с известием, что главная турецкая армия начинает наступление. Действительно, передовой отряд, под начальством Осман-паши, перешел уже Саганлуг и стал у Ах-Булаха; в то же время Кягьи-бек, испытавший неудачу под Ардаганом, начал угрожать Ахалцихе, а Ванский паша стягивал свои войска к Баязету.

Крайность положения заставила Паскевича разделить свои силы.

“Движением моим к Ардагану,— писал он государю,— я думал разбить неприятеля на правом фланге и потом направиться к Карсу. Но неприятель отступил в неприступные горы Аджарии. По всем известиям, число войск его, по соединении всех отрядов, может простираться до тридцати тысяч. Генерал Бурцев с одним Херсонским полком не может держаться в поле против таких сил и должен будет отступить под самые стены Ахалцихе, а это подвергнет его войска опасности получить чумную заразу, свирепствующую еще между гарнизоном”. Чтобы выйти из такого положения, Паскевич приказал Муравьеву со всем ардаганским отрядом соединиться с Бурцевым около Дигура и закрыть туркам выход из Посховского ущелья на Ахалцихскую равнину, а сам в тот же день, 30 мая, в сопровождении лишь Нижегородского драгунского полка, линейных казаков и двух рот пехоты, поспешил отправиться в Карс.

“В Карее,— доносил он государю,— я с большими затруднениями могу собрать всего восемь батальонов против всех сил сераскира: Помочь левому флангу нечем. Но если нам удастся разбить неприятеля в центре, то опасность с той стороны рассеется сама собою. Обстоятельства побуждают меня действовать немедленно, хотя укомплектование морем еще не пришло и рекруты не готовы, так что я начинаю кампанию на главном пункте менее нежели прошлогодними силами.

Донося о сем затруднительном моем положении, сделавшимся по неожиданным обстоятельствам даже критическим, присовокупляю, что я буду стараться выйти из оного, употребя все усилия, дабы заслужить Высочайшее Вашего Императорского Величества внимание”.

1 июня Паскевич был уже в Карее. На тесной площадке перед домом, приготовленным для главнокомандующего, он встречен был генералом Панкратьевым и всеми офицерами его отряда, тут же теснилась огромная свита, ординарцы и конвойные казаки. После короткого представления главнокомандующий вошел в дом и занимался до самого вечера, то принимая доклады, то выслушивая лазутчиков и проверяя их показания с теми сведениями, которые имелись уже в главной квартире. В полночь главнокомандующий потребовал к себе коменданта Карса и сказал ему: “Я хочу, чтобы турки еще сегодня же узнали о моем прибытии, а потому сейчас откройте беглый огонь из всех орудий крепости и цитадели”. И вот разом загудела сотня орудий, грянул первый гром наступающей военной бури, и, будя сонную окрестность, как предвозвестник идущей грозы, глухо отдался в передовом турецком стане. Огненные языки, сливаясь в непрерывные ленты, пламени, эффектно венчали в сумраке ночи и крепость, и цитадель, которая, казалось, кидала громы с небесной высоты и как бы знаменовала будущую славу русского оружия.

На следующий день, 2 июня, отряд Панкратьева двинулся вперед, к Бегли-Ахмату, чтобы оттеснить передовые турецкие силы. Но турки, узнав о прибытии Паскевича, в ту же ночь сами ушли за Саганлуг и скрылись. Два дня не было никаких новых известий ни от Панкратьева, ни из-под Ахалцихе; на третий — в Карс прискакал курьер, штабс-капитан Кириллов, с донесением Муравьева о совершенном поражении Кягьи-бека. Кириллов привез с собой и отбитые турецкие знамена. Это было первое блестящее дело в открывающейся кампании, и Паскевич с живым интересом расспрашивал о подробностях боя, успех которого превзошел даже его ожидания.

Вот что случилось в районе правого фланга.

В то время, как Муравьев шел на соединение с Бурцевым и уже приближался к Цурцкаби, в Ахалцихе еще не имели никаких сведений о распоряжениях, сделанных главнокомандующим. Курьер, посланный с этой депешей, встречая повсюду неприятельские партии, уже занявшие путь, должен был пробираться горами, без дорог, и опоздал на целые сутки. Тем временем, ничего не зная о наступлении Кягьи, Бурцев, по общему совещанию с князем Бебутовым, предпринял тридцатого мая экспедицию совершенно в другую сторону, в Коблианский санджак для наказания возмутившихся жителей.

Был праздник байрам, в горах не ожидали появления русских, и беспечные жители оставили границу почти без наблюдения. Бурцев нагрянул врасплох и пошел жечь деревню за деревней. В это то самое время курьер с депешей главнокомандующего прискакал в Ахалцихе и, не застав там Бурцева, пустился за ним вдогонку. Он настиг его ночью, на бивуаке, и передал депеши. Бурцев очутился в положении весьма затруднительном. Немедленно исполнить приказание было невозможно, потому что

большая часть его отряда осталась под Ахалцихе, а между тем всякое промедление могло быть гибельным для Муравьева, который мог очутиться один под ударами всего турецкого корпуса. Минута раздумья — и решение было готово.

“Ну, Николай Яковлевич,— обратился Бурцев к своему батальонному командиру полковнику Гофману,— берите все, что есть,— а это все было три роты Херсонского полка, двести казаков, да четыре орудия,— и сейчас же выступайте к Дигуру. Я вернусь в Ахалцихе и немедленно приду вслед за вами с остальным отрядом”.

Гофман выступил в полночь кратчайшей дорогой и к десяти часам утра 1 июня подошел к Дигуру. Кругом на всех высотах стояли неприятельские пикеты — признак, что турки уже прошли Посховское ущелье. Гофман взял две сотни казаков и, переправившись через Посхов-Чай, произвел рекогносцировку.

С высокого берега реки окрестность была видна на большое расстояние, и перед ним раскинулась величавая картина горной природы поцховчайского участка. Ряд деревень среди зеленеющего ландшафта гор и полей свидетельствовал о плотности населения и о богатстве жителей. Прямо пролегала большая дорога к селению Чаборио, далее виднелась по ней деревня Кель, а вправо, прижавшись к полугоре, раскинулся Дигур. Повсюду видны были следы сохранившихся на этом участке памятников религиозного почитания обитавшего здесь некогда христианского народа. Здесь и там остались развалины церквей и старинных башен, и с каждой из этих развалин связано было в народе какое-нибудь легендарное или историческое предание. Особенно достойна внимания каменная скала на левом берегу Посхов-Чая недалеко от деревни Дигура, о которой так много писали путешественники и рассказывали жители. Она представляет в профиль правильную фигуру женщины, стоящей на коленях в длинной и гладкой одежде. Фигура как будто иссечена резцом искусного художника. Вокруг нее, по откосам гор, раскинуты пахотные поля дигурских обитателей,— точно эта каменная женщина охраняла и благословляла мирный труд земледельца. Местный мулла, красноречиво повествовавший о библейском потопе, уверял, что скала приняла настоящую форму от действия вод, но у жителей сохранилось другое предание, и они глубоко верят поныне, что в скалу обращена какая-то женщина, нарушившая супружескую верность. Суеверие мусульман поддерживает эту легенду, и кто знает, быть может, образ окаменевшей преступницы и удерживает дигурок от слишком легкомысленного отношения к жизни. Вдали, за этой скалой, стояла деревня Чаборио, и возле нее раскинулся огромный неприятельский лагерь, поставленный на полугоре, возле какого-то кладбища, усеянного каменными крестообразными памятниками, очевидно, сохранившимися еще от старых времен, христианства.

Едва казаки перебрались через речку, и длинные пики их замаячили по высокому берегу, как в неприятельском стане поднялась тревога. Через минуту турецкая конница уже скакала к Дигуру. О Муравьеве не было никакого известия, и Гофман, спешивший ему на помощь, неожиданно сам очутился лицом к лицу со всеми силами неприятеля. Приказав казакам остаться на высотах по ту сторону речки, чтобы держать в своих руках переправу, он выслал к ним на помощь еще шестьдесят стрелков, а три роты херсонцев с четырьмя орудиями расположил на правом берегу Посхов-Чая — и стал выжидать нападения.

В половине двенадцатого шесть тысяч турок повели атаку разом и на херсонские роты и на высоты, занятые казаками. Спешившиеся казаки отбивались геройски. Отстаивая самих себя, они в то же время помогали и гренадерам, обстреливая метким огнем атакующую их конницу. В свою очередь, орудия, бывшие при гренадерах, помогали казакам, и эта взаимная поддержка, доводимая до самоотвержения, спасла и тех и других. Свернувшись в каре, гренадеры держались стойко. Гофман, старый солдат, дравшийся еще под

Красном, где под страшным натиском французской кавалерии ему доводилось отступать “тихим шагом”, сам распоряжался огнем, не позволяя никому выпустить лишнего заряда. Молча, с ружьем у ноги, стояли маленькие каре, и только, когда турецкая конница со всех сторон налетала на них, как шумная лавина,— каре окутывались белым дымом, гремел залп, и поле покрывалось людскими и конскими трупами. Кровавой баррикадой громоздились перед ними тела врагов, и чем дальше — тем выше рос этот страшный барьер, и тем труднее становились атаки. С двенадцати до трех часов пополудни держалась горсть русских под напором шеститысячной конницы. И нельзя сказать, чтобы эта конница дралась нерешительно, вяло или колебалась бы в минуты опасности; под градом пуль, она, как порыв урагана, налетала на русские каре, и с размаху ударившись о стену склоненных штыков, с минуту кружилась на месте и, обессиленная, отступала с тем, чтобы повторить удар. Был даже случай, что турки врубились в каре, и гибель его казалась неизбежной. Отважный байрактар, со знаменем в руках, первый наскочил на офицера, капитана Рябинина, и выстрелом из пистолета в грудь положил его на месте. Но солдаты быстро сомкнулись над телом своего командира — и каре устояло. Байрактар был поднят на штыки, и знамя его взято. Это было великолепное трехцветное знамя — малиновое, зеленое и желтое — с надписями из Корана. Выброшенные штыками, турки, правда, успели увезти с собой четыре русские головы, но зато оставили внутри каре с десяток лучших наездников.

Был уже четвертый час пополудни, когда прибыл Бурцев с двумя батальонами (херсонский и ширванский), и почти в то же время показались какие-то войска, приближавшиеся к Дигуру с юга. Это шел авангард Муравьева. Неприятель, заметивший его, тотчас прекратил бой, и батальон сорокового егерского полка с третьим конно-мусульманским полком соединился с Бурцевым.

Упорная зашита стоила маленькому отряду Гофмана четырех офицеров и тридцати трех нижних чинов, выбывшими из строя; ранен был и храбрый есаул Чирков, командовавший в бою казаками.

В то время, как Гофман сражался под Дигуром, отряд Муравьева делал привал в селении Цурцкаби, памятном по кровавому бою, выдержанному здесь Бурцевым. Еще по дороге к этой деревне стали попадаться неприятельские пикеты, по которым можно было заключить, что неприятель где-нибудь близко, и войска отдыхали в Цурцкаби с большими предосторожностями. Около полудня казачьи разъезды дали знать, что впереди слышны пушечные выстрелы. Не было сомнения, что это Бурцев столкнулся с турецким корпусом, и Муравьев, оставив в Цурцкаби обоз, двинулся к нему на помощь. Густой туман, окутывавший горы, скрыл это движение, и только потому неприятель дозволил авангарду его беспрепятственно соединиться с Бурцевым. В сумерках подошли остальные войска Муравьева и стали отдельно, на правом берегу Посхов-Чая, напротив Чаборио. На общем совещании решено было на следующий день атаковать неприятельский лагерь одновременно двумя колоннами: Бурцева — со стороны Дигура, Сергеева (колонна Муравьева) — от Посхов-Чая. Сам Муравьев, как старший, принял начальство над обоими отрядами. Время для движения рассчитано было верно, но трудность переправы через Посхов-Чай и крайне гористая местность задержали движение Сергеева настолько, что бой произошел при совершенно других условиях, чем предполагалось.

Солнце стояло уже довольно высоко, когда колонна Бурцева начала наступление. Впереди шел батальон сорокового егерского полка с горными единорогами и донским казачьим полком, под общей командой майора Забродского, которому приказано было занять высоты, командовавшие неприятельский лагерем; за ними, в качестве частного резерва,

двигался батальон Ширванского полка с двумя орудиями, а еще далее — два батальона херсонцев и третий конно-мусульманский полк с остальной артиллерией.

На небольшой поляне, между двумя деревнями, Нижним и Верхним Чаборио, стоял неприятель. И едва батальон Забродского поднялся на горы, как турки обрушились на него всеми своими силами. Войсковой старшина Студеникин бросился было на помощь за казачьим полком, но должен был спешиться, чтобы отбиваться от массы насевшей на него кавалерии,— и дело сразу приняло дурной оборот. Колонна Сергеева, долженствовавшая по расчету времени уже быть на месте, еще не показывалась; батальон ширванцев, задержанный на пути тяжелой артиллерией, отстал далеко, и Забродский в продолжении часа держался один, возбуждая удивление даже в самом неприятеле. Видя отчаянное положение егерей, Бурцев приказал ширванцам бросить орудия, но ширванцы, понимая важность наступившей минуты, на руках втащили их на горы и вместе с ними явились на поле сражения.

Прибытие свежего батальона заставило Кягью-бека выдвинуть из лагеря еще два орудия, которые, расположившись у выхода из деревни, открыли огонь по ширванцам. В то же время часть неприятельского корпуса потянулась стороною к Дигуру с целью занять деревню и отрезать русским отступление. Положение Бурцева становилось опасным. Правда, две роты херсонцев, выдвинутые из главного резерва, успели преградить неприятелю путь через Дигурское ущелье,— и турки остановились, но зато остановились и оба Херсонские батальона, не зная, где нужна будет их помощь, здесь или в Чаборио.

Таким образом, на главном пункте сражения вся тяжесть боя легла на два батальона, и батальоны эти не только выдерживали натиск целого корпуса, но мало-помалу подвигались еще и вперед. Стрелки ширванского полка, под командой подпоручика Левицкого, сбив турецкую цепь, бросились даже в деревню, стремясь захватить орудия, но в это время турецкая конница отрезала их от колонны, и стрелки, едва успевшие сомкнуться в кучки, очутились в середине неприятельских войск. Весь казачий полк войскового старшины Студеникина понесся на выручку. Донцы ударили сомкнутым фронтом, смяли турок и, на их плечах ворвавшись в Чаборио, захватили те два орудия, которые так соблазняли Левицкого. Ширванцы также прибежали в деревню, но тогда, когда донцы уже увозили орудия.

Решительная атака казаков произвела в рядах неприятеля минутное замешательство, и Бурцев тотчас приказал своим двум батальонам сомкнутыми колоннами и с барабанным боем двинуться в штыки. Наступила страшная минута. Можно было думать, что неприятель, в десять раз превосходивший силами эту храбрую горсть, сейчас же сомнет ее дружным ударом. Но тут случилось обстоятельство, бесповоротно решившее судьбу турецкого корпуса: из-за фланга пехоты лихо вынесся только что прибывший на поле битвы третий конно-мусульманский полк, и, напутствуемый добрым пожеланием Бурцева, с резким криком “Аллах!” ринулся на турок... В тот же момент в тылу неприятеля появилась и колонна Сергеева.

Дело в том, что Сергеев, двигаясь к Чаборио, встретил на пути Посхов-Чай, через который переправиться не было возможности. Сама по себе эта река невелика, и летом на ней везде имеются броды, но в конце мая и в начале июня, во время таяния снегов, она, подобно всем горным рекам, выходит из берегов, в особенности в низменных равнинах, и тогда переправы через нее делаются затруднительными и даже опасными. Войска Сергеева тщетно и во многих местах разыскивали броды, пока наконец, уклонившись далеко к югу, они сумели перейти на другой берег недалеко от деревни Кель. Это кружное направление сильно замедлило движение колонны, но зато счастливо и своевременно вывело ее в тыл

неприятеля. Не выдержав страшной атаки татар, поддержанных еще полком Студеникина, и угрожаемая появлением Сергеева, вся линия неприятельских войск бросилась в беспорядочное бегство. Русская конница понеслась в погоню, и мусульмане на легких и быстрых конях, опередив донцов, нещадно рубили своих единоверцев. Это была еще первая служба мусульман в русском отряде, и честь первого боя выпала на долю борчалинских, казахских и шамшадильских татар; они взяли знамя — другое досталось казаку Ефиму Кузнецову — и заставили неприятеля бросить две пушки, еще два знамени, множество вьюков и, наконец, весь лагерь со всем имуществом, снарядами и продовольствием. Победа была полная — весь корпус рассеялся, и сам Кягьи-бек едва-едва успел ускакать в Аджарию. Урон турок простирался, по их показанию, до тысячи двухсот человек только убитыми, и был бы еще больше, если бы татарский полк не остановился в покинутом лагере. Находившиеся впереди всех, мусульмане больше всех м поживились добычей. Потом рассказывали, что кроме разных ценных вещей татары набрали там целые груды турецких червонцев.

Но кроме добычи, в турецком лагере захвачены были ими целые табуны верблюдов, а в палатке паши найдены четыре русские головы — те, которые турки успели увезти из каре капитана Рябинина; там же нашли всю переписку Кягьи с сераскиром, а на полу валялось брошенное письмо, начинавшееся словами: “В то время, как я пишу, русские, разбитые наголову, бегут...” Но на этих словах письмо и прерывалось.

В русском отряде выбыло из строя восемь офицеров и более шестидесяти нижних чинов.

Как только окончился бой, две роты Эриванского полка, под командой майора Клюки фон Клугенау, отправлены были в Цурцкаби за вагенбургом. На пути Клугенау узнал, что по ту сторону гор тянется огромный турецкий обоз, и тотчас перейдя хребет, еще покрытый снегом, настиг его при входе в шаушетские леса. При его появлении турецкое прикрытие рассеялось, и обоз был взят, но, к сожалению, его нельзя было переправить за горы по отсутствию в них колесных дорог. Клугенау раздал по рукам и навьючил на лошадей и быков все, что было возможно, а остальную добычу сжег вместе с арбами. Этим эпизодом и закончилась экспедиция Муравьева.

Весь русский стан гремел весельем до позднего вечера и особенно ликовали татары, они устроили в турецком лагере свой национальный праздник, и поднесли полковому командиру, есаулу Мещеринову, лучшую палатку, увешанную дорогим оружием. Это первый чапаул (пожива) чрезвычайно ободрил их и заставил забыть о потерях, к которым татары вообще очень чувствительны.

Полковник Гофман за Дигур, а войсковой старшина Студеникин и майор Забродский за Чаборио — получили ордена св. Георгия 4-го класса. Паскевич ходатайствовал о награждении тем же орденом и подпоручика Левицкого, но награда эта была заменена чином и золотой саблей.

Пущин в своих записках об этом времени рассказывает, что будто бы Паскевич, получив донесение Муравьева, разразился гневом на своих ближайших сотрудников Сакена и Вальховского, упрекая их в том, что они своими интригами заставили его уехать в Карс и тем вырвали из его рук победу, а когда возвратился Муравьев, то вместо благодарности, он стал критиковать его действия и выговаривать за большую потерю, которая, в сущности, была ничтожной. Так ли в действительности происходило дело — других указаний, кроме Пущина, нет. Но есть, напротив, достоверное известие, что Паскевич обставил празднование победы под Чаборио необыкновенной торжественностью, и с донесением о ней государю отправил адъютанта Муравьева штабс-капитана Кириллова.

5 июня войска, собранные под Карсом, выстроились на обширной равнине вокруг церковного намета, у входа которого было поставлено пять турецких знамен. Одно из них, выделявшееся из всех роскошной отделкой и множеством красивых узорчатых надписей, все было покрыто запекшимися пятнами крови. Это было знамя, стоившее жизни храброму капитану Рябинину, и видно было, что турки расстались с ним не легко. Другое — было оранжевое, с вышитой луной; третье — зеленое, порванное в клочки, быть может, в минуту борьбы, когда его брали донцы или татары; остальные два, брошенные турками во время бегства, представляли просто какие-то пестрые лоскутья. Все войска были одеты в парадную форму, Паскевич на серой лошади, в голубой Андреевской ленте, пожалованной ему за Ахалцихе, проскакал по фронту при громе барабанного боя и криках "Ура!". Когда подан был сигнал на молитву, он сошел с лошади и, окруженный знаменами, приблизился к аналою. Дежурный штаб-офицер прочел реляцию о победе — и началось благодарственное молебствие. С особенной силой звучали для всех торжественные слова молитвы: "С нами Бог! Разумейте языцы и покоряйтеся, яко с нами Бог!" — и последние слова ее замерли в громе пушечного залпа.

Паскевич еще раз обошел войска, останавливаясь перед каждым батальоном, приветствуя и электризуя солдат короткой речью. Не многосложна и не красноречива была эта речь, но в ней было все, что может расшевелить и заставить сильнее биться солдатское сердце.

"Вот как славно наши дерутся,— говорил он, указывая на турецкие знамена,— один клочок наш в пух разбил и рассеял неприятеля. Вы, ребята, конечно не уступите им!" — "Рады стараться!" — кричали солдаты. "Я от вас не требую, братцы, больше того, как вы дрались под Карсом и в Ахалцихе".— "Еще лучше будем!" — восторженно отвечали солдаты.

Перед сорок вторым егерским полком Паскевич сказал: "Вы не поспели, ребята. Сороковые выпросились у меня, да и отличились: в пух разбили турок! Там впереди (он показал рукой на Саганлугский хребет), говорят, собираются какие-то, вы их также сомнете штыками".— "Позвольте! Будем стараться!" — кричали егеря.

Казакам рассказывал он о подвиге Студеникина, саперам напоминал Ахалцихе; артиллеристам сказал: "У Муравьева отличились ваши товарищи; они на себе ввезли пушки на высокую гору и оттуда засыпали турок картечью. Вы также сделаете при случае".

Мусульманские полки на приветствие Паскевича отвечали русским "Ура!". Главнокомандующий сказал им, что и от них ожидает такую же доблесть, какую уже показал третий полк в деле под Чаборио. Мусульмане отвечали на этот раз через переводчика: "Сардар! Наша жизнь до последней капли крови принадлежит государю".

Вспомнив, что с Кирилловым приехал всадник, который взял турецкое знамя, главнокомандующий потребовал его к себе и тут же наградил знаком отличия военного ордена и подарил десять червонцев. Одних Нижегородских драгун обошел на этот раз Паскевич своим приветливым словом. "Стыдно, братцы,— сказал он, подходя к их фронту,— четвертую кампанию служу с вами, а такого дела за вами никогда не водилось..." Драгуны очевидно были сконфужены и глядели угрюмо. Дело в том, что в эту самую ночь из полка разом бежало двадцать человек, вместе со старшим вахмистром второго эскадрона. Поводом послужило, как выяснилось, жестокое обращение эскадронного командира; и хотя побеги в то время вообще были не редки, но случай, где разом бежал целый взвод, выходил из общего уровня. До сих пор такие побеги встречались только в Тифлисском полку, где их объясняли близостью персидской

границы, и оскорбленным самолюбием старого полка, явно роптавшего на то, что Паскевич не взял его с собою в турецкую кампанию.

Поражение Кягьи-бека было настолько решительно, что Паскевич поспешил притянуть к себе не только отряд Муравьева, но и Херсонский полк Бурцева. Теперь, когда относительно правого фланга можно было быть спокойным, и Ахалцихский пашалык, свидетель стольких битв и народных волнений, уже не отвлекал внимания главнокомандующего, все помыслы Паскёвича сосредоточились на главном театре войны, где готовились важные события.

XXI. ЧЕРЕЗ САГАНЛУГСКИЕ ГОРЫ

На пути из Карса в Арзерум, 9 июня 1829 года, в деревне Катанлы расположился русский действующий корпус. Сильный не числом, а тем непоколебимым духом твердости в опасностях, который дают победы, стоял он теперь, готовый к наступлению, на рубеже своих прошлогодних завоеваний. Впереди уже высились мрачные хребты лесистых Саганлугских гор; а за ними лежали неведомые страны, звавшие к себе войска для новых трудов и побед.

Широко раскинулся лагерь на необъятной зеленой равнине, орошаемой красивой речкой Каре-Чаем. Занимая около двух верст, он издали казался станом многочисленного войска. На правом фланге стояли драгуны и казаки, на левом — мусульмане, в центре расположилась пехота со всей артиллерией, позади — уланы. Вагенбург помещался отдельно, почти за серединой, на высоком холме, а в лугах, по ту сторону Карс-Чая, ходили большие табуны лошадей и скота. Не менее роскошный вид представляли и самые окрестности этого лагеря. Вдали по разным направлениям виднелись деревушки; кругом лежали поля, засеянные хлебом. Страна казалась населенной, а между тем людей в ней не было. Война удалила их от родных очагов и заставила искать убежища там, куда не достигали военные бури.

Утром 9 же июня вступили в лагерь и победоносные отряды Муравьёва и Бурцева, а вслед за ними приехал и граф Паскевич. Он явился теперь перед войсками, облеченный новым доверием государя, с чрезвычайными правами, властью и всеми преимуществами главнокомандующего большой действующей армией. Войска встречали его, впрочем, по домашнему, запросто, выбегая в шинелях и без оружия. Все кричали “Ура!”. Паскевич ехал шагом, поминутно останавливаясь и разговаривая с солдатами. На лице его сияло удовольствие,— обстоятельства начинали ему благоприятствовать.

Не трогая войск, предназначенных для действия на персидской границе, на Алазани и на левом фланге операционной линии, он сосредоточил теперь под своим личным начальством четырнадцать батальонов пехоты, двенадцать полков кавалерии и семьдесят орудий.

Состав действующего корпуса был следующий.

Пехота: полки — Эриванский карабинерный, Грузинский и Херсонский гренадерские, Кабардинский пехотный и сорок второй егерский, восьмой пионерный батальон, батальон сорок первого егерского полка, полубатальон сорокового и сводный полк из батальона севастопольцев и нахичеванских сарбазов,— всего двенадцать тысяч триста сорок штыков.

Кавалерия: Нижегородский драгунский и Сводный уланский полки, сборный линейный казачий полк и донские: Сергеева, Карпова, Фомина и Басова, четыре конно-мусульманские полка и сводный из черноморских казаков и конницы Кенгерлы,— всего пять тысяч семьсот восемьдесят пять коней.

Артиллерия: батарейных орудий — шестнадцать, легких — тридцать, донских казачьих — двенадцать, линейных казачьих — шесть, горных единорогов — четыре и из числа турецких орудий — два,— всего семьдесят пеших и конных орудий.

Из этих войск особенное внимание обращали на себя четыре конно-мусульманские полка, сформированные по мысли Паскевича. Первый полк составлен был весь из карабахцев, второй — из жителей Ширванской и Шекинской провинций, третий — из татар грузинских династий и четвертый — из мусульман Нахичеванской области. Все эти полки сохраняли национальный костюм и отличались друг от друга только суконными звездами, нашитыми на их высоких остроконечных папахах: у первого полка они были красные, у второго — белые, у третьего — желтые и у четвертого — голубые. Такого же цвета были и полковые знамена, богато украшенные гербами Российской империи. Командовали полками русские офицеры, а сотнями — беки или почетные агалары. Эти офицеры-азиаты с бородами, в длиннополых чохах, в папахах, в эполетах и шарфах представляли непривычному глазу весьма оригинальное зрелище. Но в общем полки являли собою превосходный вид: всадники были опрятно и красиво одеты, отлично вооружены и, кроме третьего полка, сидели на кровных жеребцах карабахской породы. Третий полк, по замечанию Паскевича, отставал от других по наружности, “но он уже отличился в сражении и зарекомендовал себя самым лучшим образом. Перед этой легкой, подвижной и развязной мусульманской конницей драгуны и уланы казались тяжелыми и неповоротливыми.

Еще оригинальнее выглядели армяне, бывшие персидскими сарбазами, в своей полуармянской и полуперсидской одежде; тут же находилось и человек двенадцать курдов в живописных костюмах, на маленьких, но быстрых лошадках. Они пришли из Баязета. Это старшины вновь покорившихся племен, готовые воевать против турок с надеждой “почапаулить”. Но их присутствие в армии имело и свое политическое значение: это были кадры, вокруг которых должны были собираться мусульмане вновь покоренных турецких земель.

На следующий день по сборе корпуса, 10 июня утром, Паскевич делал маневры, чтобы подготовить войска к предстоящим действиям. Полки, построенные на поляне правее лагерного расположения, двинулись к Саганлугским горам. Пехота училась на пересеченной местности; кавалерия закончила маневр общей атакой, во время которой мусульманские полки опередили всех и, перескочив Каре-Чай, скрылись совсем из виду. Церемониального марша не состоялось: черная туча неожиданно выплыла из-за Саганлугских гор и заволокла все небо. Поднялась сильная буря с проливным дождем, с раскатами грома и молнией, опоясывавшей колонны огненными зигзагами. “Эти воздушные маневры с небесной канонадой,— замечает один современник,— были великолепнее и ужаснее земных”. Войска спешили уйти в лагерь, где нашли свои палатки сорванными рассвирепевшей бурей.

В сумерках к Паскевичу явились двое лазутчиков, только что возвратившиеся из турецкого лагеря, где им посчастливилось даже украсть несколько лошадей; с ними выбежал и пленный русский солдат, взятый лезгинами еще при Ермолове. Все они согласно показывали, что верстах в пятидесяти, у Миллидюза, стоит лагерем сильный турецкий корпус, под начальством самого Гагки-паши, которого они видели

собственными глазами, когда он с чубуком в зубах сидел перед своей палаткой. Высланная по тому направлению партия линейных казаков действительно открыла турецкие пикеты.

В то время большая дорога из Карса в Арзерум раздваивалась около Катанлы и поднималась на саганлугский хребет двумя ветвями, идущими на расстоянии от трех до двенадцати верст друг от друга. Левая ветвь шла через Миллидюз на Меджингерт, правая — на Каинлы и замок Зевин. Спустившись с гор и подойдя к Араксу, обе дороги сплетаются вместе и у Керпи-Кева выходят на транзитный арзерумский путь. Меджингертская дорога была короче, нежели зевинская, зато зевинская удобнее и легче для движения, но обе они покрыты были густыми сосновыми лесами и пересекались множеством глубоких оврагов.

Турецкий стан стоял на Меджингертской дороге, занимая один из пологих уступов Саганлугских гор, и по справедливости мог называться почти неприступным: с фронта он опирался на обрывистый берег речки Ханы-Чаи, с остальных сторон его окружали глубокие овраги, заросшие густым непроходимым лесом,— и только с тыла, от Зевина, оставалась для входа в лагерь сравнительно удободоступная полоска земли, подобно плотине, ограниченная двумя оврагами. Но и эта плотина обстреливалась сильным редутом, устроенным в середине лагеря на высоком холме, где стояла ставка главнокомандующего. Ни один стратег не выбрал бы более крепкой позиции, и турки были уверены, что на высотах Саганлуга русское войско найдет себе гроб. С этой целью к Саганлугским горам и стянуты были значительные силы. Большая турецкая армия стояла у Гассан-Кале, а сильный двадцатитысячный авангард ее под предводительством Гагки-паши был выдвинут вперед и занимал неприступную миллидюзскую позицию. Таким расположением войск сераскир преследовал довольно сложный и запутанный план, в успехе которого, однако, не сомневался. Он рассчитывал заманить Паскевича по зевинской дороге вглубь Саганлугских гор, и тогда, приблизившись к нему от Гассан-Кале, бросить весь корпус Гагки-паши в тыл русским войскам и, таким образом, запереть их в горных теснинах.

В русском лагере не имелось никаких достоверных сведений ни о качествах дорог, ни о силах неприятеля. Турки ревниво оберегали свое расположение, и лазутчики, из опасения быть схваченными, производили свои наблюдения на скрытых тропах, отваживаясь лишь в темные ночи подползать к турецким лагерям,— а потому и известия их были всегда преувеличены. По их словам, русские имели против себя в данную минуту до двухсот тысяч войска и более ста орудий. В намеренном преувеличении заподозрить армян было невозможно, запугивание русских не могло входить в их расчеты, и надо полагать, что их просто вводило в заблуждение беспорядочное расположение турецких войск. Из хаоса разноречивых показаний действительным являлось лишь то, что к неприятелю ежедневно подходят резервы из Арзерума, и что силы его действительно велики. Паскевич отчасти предугадывал план сераскира и вознамерился обратить его против самого неприятеля.

В мыслях его уже созрело решение броситься по зевинской дороге в тыл к Гагки-паше, разбить его и затем со всеми силами устремиться на сераскира, который, по расчету времени, никогда не успел бы предупредить поражение своего авангарда. План был смелый и при неудаче мог поставить Паскевича в безвыходное положение, но другого пути к победе не было. Вся задача теперь заключалась в том, чтобы искусно скрыть направление войск и заставить Гагки-пашу думать, что нападение будет произведено с меджингертской дороги. С этой целью Паскевич приказал производить в ту сторону рекогносцировки, а между тем поход готовился по зевинской дороге. Оставалось только

разрешить вопрос, как пройти лес, где турки могли соединить все свои силы, чтобы остановить движение корпуса.

Вопрос этот должен был решить генерал-майор князь Бекович-Черкасский, посланный в ночь на 12 число осмотреть зевинскую дорогу. Проводив его, Паскевич в глубокой задумчивости долго ходил перед своей палаткой, обдумывая план предстоящих действий.

Под утро Бекович вернулся. Он шел до самого подножия хребта и послал влево, к лагерю Гагки-паши, казачий полк Басова, а вправо, на Зевин,— гребенскую сотню с поручиком Пущиным. Басов, делая вид, что рекогносцирует окрестность, как бы нечаянно приблизился к турецким аванпостам; но едва в неприятельской цепи поднялась тревога — казаки повернули назад и стали отступать на рысях, оставив турок в убеждении, что подходила казачья партия с целью осмотреть пути, ведущие к лагерю, и что им именно отсюда и следует ждать нападения. Движение Пущина, напротив, тщательно было скрыто. Пользуясь темнотой ночи, он пробрался на зевинскую дорогу глухими оврагами и прошел по ней вплоть до опушки леса, нигде не встретив никаких следов турецких разъездов. Паскевич решил тогда не откладывать далее переход через Саганлугские горы, и войскам приказано было готовиться к походу.

13 июня на пять часов пополудни весь действующий корпус налегке, без вагенбурга, с одними полковыми обозами выступил из лагеря. Пройдя верст пять, он остановился в глухой лощине, закрытой со всех сторон утесами и глыбами скал. Здесь войска разделились. Херсонский гренадерский полк, с казачьей бригадой и десятью орудиями, под командой генерала Бурцева, потянулся влево, на Меджингерт, и скоро, выдвинувшись на высоты, показался в виду турецкого лагеря; остальные войска остались в лощине, чтобы под покровом сумерек, когда вечерние туманы закроют окрестность, быстрым движением скрытно перейти на зевинскую дорогу и обойти неприятеля.

Бурцев остановился на ночлег верстах в пятнадцати от турецкого лагеря. Зарево разведенных им громадных костров, внезапно озарившее широким полукружием вершины темных гор, озадачило турок. Между тем казачий полк Фомина, высланный вперед с целью тревожить неприятеля, скрытно пробрался по дремучему лесу к самым турецким аванпостам. Казаки гикнули в пики, сбили передовые пикеты и, в погоне за ними перескочив несколько завалов, очутились перед самым лагерем. Это случайное нападение заставило всю турецкую конницу сесть на коней, чтобы отразить ночное нападение, и казакам пришлось отступать под натиском громадной толпы, тысяч в пять коней. В лесу завязалась сильная перестрелка. Отступая, Фомин тянул за собой всю турецкую конницу, пытавшуюся несколько раз отрезать ему отступление или прижать к болотам. Но казаки маневрировали чрезвычайно искусно. Подавляемые громадным превосходством сил, они, то отбиваясь ружейным огнем, то прокладывая себе путь холодным оружием, ни разу не допустили неприятеля обойти себя. Только партия в одиннадцать человек, конвоировавшая военного топографа, отбилась в лесу от полка и пропала без вести, да у Фомина изрублено было до десяти казаков. Заря уже разлилась по небосклону. Грохот лесной перестрелки, неясно доносившийся до лагеря Бурцева, заставил его двинуть всю остальную кавалерию на выручку Фомина. Но едва казаки Карпова и татарский полк развернулись в опушке леса, как вдруг все высоты, лежавшие правее турецкого лагеря, зачернелись русской конницей. То был корпус Паскевича, уже поднявшийся на Саганлуг.

Эффект этой сцены вышел поразительный. Турки, не ожидая появления с той стороны русского войска, потеряли голову, в лагере их загремела тревога, пехота бросилась в ружье, но, видимо, не зная что предпринять, бесцельно двигалась в разные стороны; вся

кавалерия, преследовавшая Фомина, поскакала назад, бросив своих противников, и стала вытягиваться против зевинской дороги.

Переход Паскевича через горы был труден, но совершился беспрепятственно. Отправив Бурцева на меджингертскую дорогу, корпус продолжал идти скрытой лощиной, и ночью подошел к какой-то разоренной деревне, лежавшей уже на зевинской дороге, верстах в двенадцати от подошвы Саганлугских гор. Пехота остановилась здесь на привал, а вся иррегулярная конница, под начальством генерала Сергеева, отправилась дальше, чтобы захватить опушку леса, в котором могли находиться турки. Сергеев выслал вперед сотню казаков осмотреть дорогу. Более часа не было от нее никаких известий, казаки заблудили в дремучем лесу; но зато пока они выбивались на настоящий путь, им пришлось исходить все лесные тропы и овраги и, таким образом, превосходно исследовать местность. Они дали знать, что неприятеля нигде не видно, но что к стороне Миллидюза слышна сильная ружейная перестрелка; Сергеев известил об этом Паскевича, и из главной квартиры тотчас пришел на помощь весь Нижегородский драгунский полк с шестью орудиями. Кавалерия тронулась вперед и скоро стала подниматься на горы. Дорога шла узким каменистым ущельем; глухо шумел кругом вековой лес, покачивая вершинами столетних сосен. И чем выше поднимался отряд, тем чаще попадались между деревьями большие груды снега. Было темно и холодно. Войскам запрещено было курить и разговаривать, и даже приказания отдавались шепотом.

Молча взбирался отряд, торопясь скорее миновать опасные овраги, и вот, ранним утром 14 июня, при первых лучах восходящего солнца, казаки поднялись на последнюю крутизну и стали на гладкой, безлесной вершине Саганлуга. Отсюда до турецкого лагеря было верст восемь, не больше. До них ясно уже доносился грохот перестрелки в отряде Бурцева, и по направлению выстрелов можно было заключить, что русские отступают. Несколько встревоженный, Сергеев выдвинул всю свою конную бригаду с Нижегородским драгунским полком на крайние высоты, и тогда-то внезапное появление этой конницы, повисшей над неприятельским станом, вызвало у турок тревогу.

“Откуда взялось ваше войско? С неба оно упало или из земли выросло?” — с изумлением спрашивали пленные, захваченные в этот день казаками,— так тихо и незаметно поднялся на Саганлуг весь действующий корпус.

В восемь часов утра на высоты, занятые Сергеевым, приехал сам Паскевич, а вслед за ним стали подходить и головные части пехоты.

Целых четыре часа оставался Паскевич на высотах, обозревая окрестности. Укрепленный стан Гагки-паши, растянутый на пространстве двух с половиной верст, прикрытый шанцами и окруженный лесистым оврагом, открывался как на ладони. Неприятель со своей стороны старался разузнать, что за войска были перед, ним, и турецкие наездники беспрерывно показывались то с одной, то с другой стороны. Несколько турок, неосторожно подъехавших слишком близко, были захвачены казаками. Это были первые пленные в начинающуюся кампанию. В полдень главнокомандующий воротился к пехоте, которая уже подтянулась и становилась лагерем. Бригада Сергеева также получила приказание отойти назад, и в передовой цепи остались только две сотни, под командой подполковника Басова.

Войска требовали отдыха. В эту ночь пехота прошла тридцать девять верст с двумя лишь небольшими привалами, а горные дороги были трудны, и ночь была так темна, что авангарду приходилось время от времени оставлять небольшие костры, чтобы обозначить путь следовавшим за ним войскам. Лагерь, поставленный на вершине хребта, у самых

верховий речки Инджа-Су, в долине, окруженной горами, был обращен фронтом к неприятельской позиции. Перед ним лежала болотистая лощина; далее возвышалась опять гряда обнаженных гор, еще местами покрытых снегом, за горами узкой черной полосой вился глубокий овраг, а за ним и стоял турецкий стан, примыкая к нему своим левым флангом. На окрестных горах всюду расставлены были казачьи пикеты, а на дороге к Зевину расположился сторожить егерский полк.

В два часа пополудни, когда в лагере только что успели отобедать, турки сделали попытку отбросить русские аванпосты, чтобы высмотреть расположение корпуса. Человек пятьсот делибашей и курдов, скрытно пробравшись лощиной, вдруг кинулись на казачьи пикеты. Басов вывел навстречу к ним сотню своего полка и, отстреливаясь, медленно стал отходить назад. Турки наседали бешено. Сам Басов был ранен пулей в ногу, но, чтобы не обескуражить казаков, сел опять на коня и остался во фронте. Турки, между тем, заняли гору, с которой можно было видеть все лагерное расположение русских. С ними, как говорили, находился и Гагки-паша. Но то, что он увидел, было для него далеко не утешительно. По обоим берегам быстрой горной речки Инджа-Су белела масса русских палаток, и яркие лучи солнца играли то на длинных рядах пехотных ружей, составленных в козлы, то на медных орудиях артиллерии; дальше, внизу, в зеленой чаше молодого кустарника, чернели кавалерийские коновязи и пестрели флюгера пик, а еще ниже живописно рисовался бивуак казачьих полков и милиции. Весь действующий корпус был перед ним. Поздно понял Гагки всю ошибочность и недальновидность своих расчетов. Все эти войска он мог бы, при более благоразумных действиях, надолго задержать в саганлугских лесах, а теперь они, как бы волшебством перенесенные на горы, грозили ему самому стать на его сообщениях с сераскиром.

Но вот забили барабаны, прозвучала труба, и в русском лагере зашевелились. Три конные полка стали выезжать на дорогу; за ними выстраивались два батальона с пушками, и все это двинулось вперед, чтобы поддержать сбитые аванпосты. Но неприятель уже достиг своих целей; он не стал упорствовать и скрылся за горы. Аванпосты опять заняли свои места. На поле бывшей перестрелки остался только труп казака, обезглавленный и с обрубленными руками. Варварский обычай отсылать в Константинополь головы, а кистями отрубленных рук отпечатывать на знаменах кровавые знаки, сохранялся еще тогда у делибашей во всей своей силе, и вообще, нововведения султана мало коснулись Азии, где войска в большинстве носили свой живописный, старо-восточный костюм и крепко держались стародавних обычаев.

Кроме одного убитого, казаки потеряли еще двенадцать человек ранеными, из которых пять, спустя несколько часов, умерли.

В тот же день случилось еще более неприятное происшествие. В лагерь привели трех пленных турок. При допросе они выказали необычайное упорство, по которому можно было судить, каким энтузиазмом пропитаны были турецкие солдаты. Один категорически отказался отвечать на все предлагаемые ему вопросы, другой, имевший две раны, не дал себя перевязать; третий, назвавшийся пастухом, оказался сговорчивее и сообщил под большим секретом, что верстах в восьми от лагеря, в стороне от арзерумской дороги, пасется до пятисот голов турецкого скота. Ему поверили. Но посланные туда со штабс-капитаном бароном Остен-Сакеном две сотни кавказских казаков не нашли никакого скота, а наткнулись на сильную засаду и вынуждены были отступить с уроном; сам Остен-Сакен был ранен в ногу.

Известие об этом доставлено было Паскевичу в то время, когда он со всем своим штабом стоял на горах и оттуда смотрел на турецкие позиции. Офицеры, окружавшие

главнокомандующего, перешептывались о неудачах дня и пророчили на утро еще сильнейшее нападение со стороны турок. Паскевич был недоволен казаками.

На следующий день в лагерь пришло известие, что вагенбург, оставленный на прежней позиции у Катанлы, выступил на соединение с действующим корпусом. Огромный обоз, более чем в три тысячи повозок и в десять тысяч голов вьючных лошадей и порционного скота, должен был тянуться два дня, почти в виду передовых турецких караулов. Чтобы прикрыть его движение, Паскевич принял намерение угрожать неприятелю, и с этой целью два дня производил усиленные демонстрации к стороне турецкого лагеря. Ежедневно, по окончании обеда, половина корпуса поднималась на горы и выстраивалась против Миллидюза. Шесть батальонов пехоты с тридцатью шестью орудиями занимали боевую позицию; бригада регулярной кавалерии выдвигалась вперед уступом; казаки, разбитые по партиям, начинали наступление и заводили легкую перестрелку с турецкими пикетами. Сам Паскевич обыкновенно выезжал вперед в сопровождении одного линейного казачьего полка и занимал высоту, лежавшую отдельно от прочих, на которой и оставался до сумерек.

Движение вагенбурга не могло, конечно, оставаться тайной для турок. Они прекрасно понимали, какое решающее значение для целой кампании имела бы гибель, или хотя бы только расстройство русских обозов; но выйти из лагеря с риском потерять его было невозможно — демонстрации Паскевича приковывали их к месту. Туркам было естественно предположить со стороны русских известную хитрость, намеренное желание вызвать их в поле — и турки на ловушку не шли, напротив, они принимали все меры, чтобы быть готовыми встретить нападение, и как только русские войска появлялись на высотах, в лагере Гагки-паши били тревогу, полки выстраивались позади укреплений и ждали приступа.

В сумерках, когда войска обыкновенно возвращались в лагерь, неприятель производил по колоннам несколько пушечных выстрелов. Выражали ли турки этим радость избавления от грозившей опасности, или торжество победы — не известно, но по турецким обычаям Гагки-паше не стоило ничего подарить сераскира донесением, что русские два дня штурмовали лагерь, но мужеством правоверных отбиты.

А между тем громадный русский обоз медленно подвигался к предгорьям Саганлуга, конвоируемый всего двумя егерскими ротами и неполной сотней казаков. 15 числа он ночевал на опушке леса, а 16 стал подниматься на горы.

“Дорога,— говорит один участник похода,— была очень дурна, каменистая, ухабистая и довольно крутая. Мы с удивлением увидели здесь, на юге, сосновые леса, напомнившие нам Россию. Мои кононыры набрали грибов, а я нашел чернику. Казалось, мы идем по Валдайским горам переменять квартиры, а вовсе не для войны и не перед неприятелем, который сидит от нас в десяти верстах”.

О неприятеле, действительно, как будто никто и не думал. Едва обоз вошел в горные теснины, как повозкам пришлось вытянуться в нитку, и порядок следования нарушился, началась бесконечная ломка осей, колес и оглобель; опрокинувшиеся фуры загораживали дорогу, а между тем маркитанты, не хотевшие никому подчиняться, протискивались со своими арбами и вьюками вперед, ползли вверх по горам, путались между собою и окончательно мешали движению. Крик, шум и гам стояли в воздухе и доносились до турецкого лагеря. Тем не менее, вечером обоз соединился с главными силами, и ни одна арба, ни один вьюк из всего громадного вагенбурга не были потеряны. Почти

одновременно с ним на позицию пришла и колонна генерал-майора Бурцева. Действующий корпус был теперь на высотах Саганлуга в полном составе.

Ежеминутно опасаясь нападения, Гагки-паша повсюду усилил осторожность. Не оставалось ни одной высоты, ни одной тропинки, ведущей к его лагерю, которые не были бы заняты пикетами. На арзерумской дороге, откуда Паскевич мог обойти его с тыла, паша поставил особый отряд, который под начальством Осман-паши и расположился всего в девяти верстах от русского лагеря.

Из глубины живописной бордусской долины, посреди роскошных садов и плантаций, поднимается крутая возвышенность, которой нельзя миновать, идя к Арзеруму. Осман-паша и выбрал ее для своей позиции. Прочные каменные шанцы, растянутые по гребню высот, упирались правым флангом в отвесные скалы, а левый примыкал к обрыву. Впереди, верстах в двух с половиной, извивалась болотистая речка Хункар-Чай, и все пространство между ее берегом и подошвой высот было усеяно крупными каменьями, которые могли доставить стрелкам хорошее укрытие.

Вечером 16 числа несколько карсских армян, ездивших в разъезд на арзерумскую дорогу, первые открыли присутствие в Бордусе неприятеля. Паскевич получил об этом донесение ночью и тут же, у бивуачного огня, приказал командиру первого конно-мусульманского полка подполковнику Ускову собрать более точные сведения о неприятеле. Усков выступил утром и, перейдя речку Хункар-Чай, наткнулся на турецкую цепь, залегшую за камнями. Часть конно-мусульманского полка спешилась и завязала перестрелку, но выбить стрелков из-за камней оказалось ей не под силу. Тогда, благоразумно не вдаваясь в решительный бой, Усков послал в лагерь за помощью, а сам между тем продолжал перестрелку, вводя в дело постепенно сотню за сотней, так что, когда подошло подкрепление, весь полк уже был рассыпан и патроны были почти на исходе.

Получив донесение Ускова, Паскевич немедленно отправил к нему полковника барона Фридерикса с батальоном эриванцев, с казачьим полком и четырьмя орудиями, а другой, гораздо сильнейший отряд, выдвинул на речку Чер-мук, чтобы отрезать Осман-пашу от турецкого лагеря. С прибытием пехоты турки держаться внизу уже не могли, у них не было артиллерии, да и весь тот отряд, как теперь оказалось, не превышал тысячи шестисот человек. Тем не менее, они, по-видимому, решились оборонять свои укрепления; вся конница их тотчас явилась на правом фланге позиции, тогда как пехота, постепенно выбиваемая из-за камней, шаг за шагом очищала речную долину и, втягиваясь на гору, размещалась по укреплениям. Батальон эриванцев, сомкнувшись между тем в густую колонну, без выстрела продолжал наступление. Слева от него двигался конно-мусульманский полк; справа — казаки Карпова. Неприятель подпустил войска шагов на полтораста, и только тогда по всему протяжению шанцев разом открыл батальонный огонь. В ответ на него загремело “Ура!”, и конно-мусульмайский полк, ринувшись карьером, первый вскочил в неприятельские шанцы. Произошла ужасающая резня. Половина турецкой пехоты, отброшенная влево, была прижата к отвесной скале, и раздраженные татары рубили ее беспощадно: около трехсот человек было убито, ранено или сброшено в кручу только в одном этом месте. Фридерикс сам прискакал, чтобы унять бесполезное кровопролитие, и при помощи офицеров ему удалось наконец спасти от гибели не больше ста человек, сдавшихся в плен. Турецкая кавалерия спаслась только тем, что бросилась с кручи. Будь казаки Карпова ближе — ей не избежать бы истребления, но теперь лишь мусульмане успели настичь ее хвост и порубить всего нескольких всадников. Сам Осман-паша успел ускакать, но все восемь знамен, принадлежавших его отряду, были взяты. Русские потеряли двух офицеров и четырнадцать нижних чинов.

Еще войска стояли на занятой позиции, как прибыл генерал Муравьев с другим батальоном эриванцев, с казачьим полком и восьмью орудиями. Ему приказано было вместе с отрядом Фридерикса сделать рекогносцировку по арзерумской дороге к замку Загину. При урочище Чахир-Баба, где начинался крутой спуск в загинскую долину, половина отряда осталась в резерве, а другая спустилась вниз и тотчас же наткнулась на турецкую кавалерию. Ее появление не могло быть случайным, и потому Муравьев, имевший приказание не ввязываться в бой, остановил войска и отправил вперед только сотню казаков с поручиком Искрицким. Но и этой сотне двигаться дальше уже не было возможности. И замок, и окрестные поля его были заняты турецкой конницей, а далее, на лесистых горах, белели палатки пехоты. Один из лазутчиков за большие деньги вызвался разузнать в чем дело и скоро доставил сведения, что это передовые войска сераскира. Муравьев тотчас приказал отступать. Неприятель следовал за ним до самого подъема на Чахир-Баба, но, заметив там новый эшелон, остановился. Весь отряд Муравьева возвратился в лагерь.

Поражение Осман-паши, как первая победа на пути к Арзеруму, имела особое значение. Героем этого дня был подполковник Усков с его мусульманским полком. Чтобы поощрить храбрых татар, Паскевич сам выехал к ним навстречу за черту аванпостов, благодарил всех, особенно отличившихся в сражении, и поехал во главе полка, ласково разговаривая с их беками и агаларами. Он восторгался их храбростью, хвалил их усердие, обещал награды. Отбитые знамена мусульмане везли за главнокомандующим. Граф подарил татарам, взявшим их, пятьдесят червонцев, а знамена приказал с особым курьером отправить к государю, как живое свидетельство славной службы татар, Усков получил орден св. Георгия 4-ой степени.

В лагерь мусульманский полк вступил при общем крике “Ура!”, которым приветствовали его солдаты. Однако, к большому огорчению татар, в лагере их не оставили, а провели дальше и поместили в особый карантин, где вместе с ними очутились и пленные турки. Избежать этого было нельзя. Кроме знамен, они привезли с собой много оружия, платья и вещей, награбленных в турецком стане, а недавние бедствия страшной заразы научили русских быть осторожными.

Полезная служба татар в рядах русской армии всецело была делом Паскевича, сумевшего организовать из них отличную конницу. Еще кампания только началась, а два мусульманские полка уже отличились — один под Чаборио, а другой под Бордусом. Этот последний полк составлен был из карабахцев — из тех людей, которые два года тому назад дрались против нас вместе с персиянами, и тем рельефнее выдвигалась теперь заслуга полка в войне с другой магометанской державой. “Враги Христа,— говорит Родожицкий,— носили его знамение и дрались против своих единоверцев! Точно для мусульман настал апокалипсический конец мира!”

Отбитые трофеи Паскевич приказал выставить на высокой горе между нашим и турецким лагерями. Широко взмахнув своими полотнами, разом взвились и, не колеблемые ветром, тихо повисли в воздухе турецкие знамена. Вечер был тихий, ясный, и эти немые свидетели поражения Осман-паши отчетливо предстали глазам и турок и русских. В рядах противника они усугубляли действие страха, уже проникшего в лагерь вместе с бежавшими остатками разбитого отряда; русским они напоминали ту присущую им несокрушимую силу и мощь, перед которой должен был склонить свою голову гордый и многочисленный враг. И действительно, события скоро показали, что эти трофеи были только предвестниками той обильной жатвы, которую славным войскам Кавказского корпуса довелось собрать на высотах Саганлуга.

XXII. ПОРАЖЕНИЕ СЕРАСКИРА (Битва при Каинлы)

Русские войска уже три дня стояли на горах перед обойденным вражеским лагерем. Сам главнокомандующий во все это время, можно сказать не сходил с коня, объезжая и осматривая окрестности, причем его всегда сопровождала большая свита генералов и начальников частей, которые, изучая местность, знакомились с предстоящей им деятельностью на высотах Саганлуга.

Результаты подробного осмотра были, однако, далеко не благоприятные. Оказывалось, что с места, занимаемого русскими, атаковать неприятеля было нельзя. Турецкий лагерь отделялся от нашего тремя грядами конических высот, между которыми лежали глубокие овраги, частью каменистые, а частью топкие [Подобные топи, служащие обыкновенно месторождением дикого лука, во многих местах встречаются на Саганлугских горах, несмотря на их относительную высоту; и, кажется, именно этому-то дикому луку хребет и обязан своим названием; по крайней мере “саган” значит “лук”, а “саганлу” — прилагательное “луковый”.]. За этими высотами, огибая весь лагерь Гагки-паши и уходя вдаль почти до самого Зевина, тянулось Ханское ущелье — лесистое и окаймленное скалистыми, совершенно отвесными ребрами. Дорога обрывалась над самым ущельем, и артиллерию пришлось бы спускать на канатах. Очевидно, что атака с этой стороны если и была возможна, то стоила бы громадных потерь уже потому, что неприятель мог употребить в дело свою артиллерию, тогда как наша оставалась бы на руках отряда бесполезным бременем.

Между тем, русские войска были убеждены, что не сегодня-завтра их поведут брать неприятельский лагерь, и, с любопытством и верою в успех рассматривая турецкий стан, делали свои заключения, как именно будут они выбивать бусурман из окопов. При каждом появлении главнокомандующего солдаты просились в бой. Но Паскевич не хотел нести на себе нравственную ответственность за большие потери и сдерживал общее желание обещанием побед в недалеком будущем. “Многие из вас,— говорил он в своем приказе по корпусу, впоследствии, когда победные лавры увенчали чело его,— просили меня вести испытанное войско этим трудным путем, но я не повел вас оным, щадя кровь вашу. Там мы купили бы победу слишком дорогой ценой, а каждый из вас дорог мне и по заслугам, принесенным отечеству, и по чувствам личной моей к вам признательности”.

Предстояло таким образом двигаться дальше, в тыл миллидюзского лагеря. Но для этого нужно было сделать трудное пятидесятиверстное обходное движение в виду неприятеля и, может быть, столкнуться на арзерумской дороге с самим сераскиром, передовые войска которого уже приближались к Загину. Трудность движения увеличивалась еще громадным обозом, который нельзя было оставить на месте, не раздробляя войск, а их и без того было недостаточно. Другого выхода, однако, не было, и Паскевич понимал, что это движение — единственное, хотя и опасное средство к победе.

Чтобы скрыть движение от Гагки-паши, в полдень 18 июня генерал Панкратьев с шестью батальонами пехоты, с казачьей бригадой и двадцатью орудиями выдвинулся на те самые высоты, которые в последние три дня постоянно занимались русскими. Увидев эти войска в обычное время и на обычном месте, турки не имели повода думать о каком-нибудь новом предприятии со стороны Паскевича. Да если бы они и проникли в его намерения, колонна генерала Панкратьева была настолько сильна, что всегда могла дать им отпор, в какую бы сторону они не направлялись. Одновременно с этим, два батальона, казачья бригада и восемь орудий прошли вперед, к Чикир-Баба, и образовали второй заслон, который препятствовал турецким разъездам высматривать движение корпуса с фронта, тогда как колонна Панкратьева закрывала его с фланга.

В час пополудни двинулись и все остальные войска. Тогда Паскевич, обратившись к окружающим его генералам, сказал: “Теперь мой корпус похож на корабль; я отрубил якорь и пускаюсь в открытое море, не оставляя себе обратного пути”.

Дорога на Зивин, лежавшая по полугорью и часто пересекаемая топями, была так узка, что обозам приходилось следовать в одну повозку, и когда голова их была уже на ночлеге, хвост только что трогался с места. Первый переход поэтому сделали лишь в десять верст и остановились за речкой Хункар-Чай на том самом склоне горы, где за три дня перед тем мусульманский полк имел прекрасное дело. К свету подошла сюда и колонна Панкратьева. Она до сумерек стояла на высотах, в виду неприятеля, а затем, спустившись вниз и разложив на горах большие костры, двинулась вслед за корпусом.

19 июня, едва забрезжил свет, войска тронулись дальше. Дорога сделалась шире и лучше. Впереди шла гренадерская бригада, за нею в восемь рядов тянулся вагенбург, прикрытый с правой стороны отвесным обрывом Бардусской долины, а с левой — Херсонским полком с четырьмя орудиями и кавалерийской бригадой генерала Раевского с конной батареей; сзади, на расстоянии полуверсты, шел отряд Панкратьева.

К десяти часам утра весь корпус, стянувшись у Чакир-Баба, остановился. Внизу, от самой горы до развалин замка Загина, лежала перед ними волнистая долина, простиравшаяся в длину почти на девять верст; она начиналась острым углом при подошве самого спуска и, постепенно расширяясь, круто обрывалась у речки Каинлы-Чай, окаймляющей ее широкую сторону; за речкой виднелась турецкая деревня Каинлы — а там опять возвышались горы, которые, перебрасываясь у Загина через Ханское ущелье, кольцом охватывали всю долину. Неприятельские разъезды, беспрерывно появлявшиеся то на горах за речкой, то по эту сторону ее на береговых высотах, свидетельствовали, что неприятель близко. Поэтому гренадерская бригада Муравьева, с двумя полками конницы и десятью орудиями, тотчас спустилась вниз и образовала сильный авангард, под прикрытием которого саперы принялись разрабатывать узкий и каменистый спуск для обозов. Но уже можно было предвидеть, что бой начнется ранее. Действительно, к полудню по всей широкой оконечности долины разом выдвинулись большие толпы неприятеля и, перейдя речку Каинлы-Чай, стали растягивать свой фронт до Ханского ущелья; турецкая пехота, подкрепляя конницу, стояла за рекой на скате горы; резерв был скрыт в густых перелесках. Никаких верных сведений о неприятеле не было, и Паскевич предполагал, что войска эти вышли из лагеря Гагки-паши, с целью преградить путь в узких теснинах, начинавшихся за Загином. Таким образом, казалось, главнокомандующему представлялся случай дать полевое сражение и затем, быть может, на плечах неприятеля войти в миллидюзский лагерь. Войскам тотчас приказано было спускаться в долину.

Колонна Муравьева первая развернулась в боевой порядок; левее ее, небольшим уступом назад, за речкой Загин-Кала-Су, протекающей в глубоком овраге, расположился Бурцев с Херсонским полком и двенадцатью орудиями, составляя, так сказать, оконечность нашего левого фланга; в общий резерв назначены были три батальона егерей, кавалерийская бригада Раевского, казачий и два конно-мусульманские полка с шестнадцатью орудиями; остальные войска остались на Чикир-баба в прикрытии вагенбурга.

Едва русские войска успели приготовиться к бою, как неприятель уже повел атаку — и сражение началось. Турецкая конница наступала прямо против фронта Муравьева. Казачий полк Фомина, высланный к ней навстречу, завязал перестрелку, но, теснимый превосходными силами, мало-помалу отодвигался назад, пока не был поддержан вторым конно-мусульманским полком, вызванным уже из резерва. В эту минуту прибыл Паскевич

и приказал казакам очистить фронт для действия артиллерии. Но едва казаки стали убирать цепь, как вдруг большая толпа турок, скрывавшаяся до этого времени в овраге, понеслась на них с фронта и фланга. Донцы и мусульмане успели уклониться от удара — и неприятель попал под картечный огонь десяти орудий. Турецкая конница скрылась. Дело на этом пункте перешло в артиллерийскую канонаду.

Между тем, на левом крыле, где стояла колонна Бурцева, сражение начинало принимать оборот серьезный. Против херсонцев надвигались густые толпы со стороны Загина и Ханского ущелья, и Бурцев, отрезанный от Муравьева оврагом речки Загин-Кала-су, чтобы хоть сколько-нибудь предохранить себя от обхода, должен был опереться левым флангом на горы, растянув свою боевую линию почти на целую версту. Ни резерва, ни второй линии у херсонцев не было, и полку приходилось биться “без задней помощи и мысли”, как выразился один старый кавказец. А гроза между тем надвигалась. Только теперь, из опроса нескольких пленных, выяснилось, что русский корпус имеет дело с передовыми войсками сераскира и что Гагки-паша должен выслать сюда часть своей кавалерии. И вот, в то самое время, когда у Муравьева картечь косила турок, и нападение их остановилось, из Ханского ущелья вдруг вынеслось пять или шесть тысяч всадников. То была кавалерия миллидюзского лагеря. Громкий крик, разнесшийся по рядам неприятеля, приветствовал ее появление, на которое вся эта масса ответила страшным гиком и ринулась на Бурцева. Сераскирская конница поддержала атаку.

В колонне Муравьева видели опасное положение херсонцев и общее внимание невольно обратилось в ту сторону, где два батальона, свернувшиеся в каре, противостали удару десяти или двенадцати тысяч турок. Была минута, когда все думали, что Бурцев пропал: херсонская цепь, которую не успели убрать, была прорвана, и за дымом и пылью неясно мелькали только массы несущихся всадников. Но когда дым рассеялся — каре стояли, а вражеская конница уносилась далеко-далеко, скрываясь в ущелье. “Мы все, окружавшие Паскевича,— рассказывает Пущин,— закричали “Ура!”

Таким образом, натиск турок был отражен, и Паскевич тотчас решил воспользоваться этой минутой для перехода в наступление. Заметив, что большая часть неприятельских сил скопилась за речкой Загин-Кала-Су против нашего левого фланга, а боевой фронт их растянулся между тем почти на пять верст, он быстро сосредоточил до тридцати орудий и сильным огнем заставил неприятельский центр податься назад. Тогда Грузинский полк бросился вперед, чтобы стать в промежутке, образовавшемся между неприятельскими крыльями, и таким образом разрезать турецкую линию на две части. В то же время Раевский, обскакав гренадер, быстро развернул свою кавалерию и повел в атаку два дивизиона Нижегородского полка с двумя линейными сотнями. Блестящую атаку его слева поддерживал казачий полк Карпова, справа — мусульманский Мещеринова. Под этим страшным ударом неприятельский центр был окончательно прорван, левый фланг обойден и отброшен к горам. Тогда все, что было по правую сторону Загин-Кала-Су, бросилось бежать в деревню Каинлы, под защиту своих резервов. Раевский горячо преследовал бегущих и остановился только у подошвы лесистых гор, заметив скрытую на опушке пехоту.

Но между тем как центр и левый фланг неприятеля уже покинули поле сражения, правое крыло его еще находилось в полном наступлении на колонну Бурцева. Атака поведена была решительная: сераскирская конница шла с фронта, миллидюзская — скакала по скату горы над самыми головами херсонцев, стараясь охватить их с тыла. Двенадцать орудий непрерывным огнем встретили неприятельский натиск. “Сии войска,— писал Паскевич в своем донесении,— с таким упорством пролагавшие путь к победе, поистине заслуживают доброе имя”.

Стрелки Херсонского полка, лежавшие за камнями, были вновь опрокинуты, но, к счастью, их вовремя поддержали свежие роты, и они удержались на месте. Увлечение с обеих сторон было так велико, что рукопашный бой шел грудь на грудь, и гренадеры отбили у турок два знамени. Опасность, однако, от этого не уменьшилась. Чередуясь, как в море грозные волны, масса турецкой конницы с гиком и воем наносилась на русские каре, и, как разъяренный вал, ударившись с размаху о твердый гранит скалы, рассыпается мелкими брызгами, так, дробясь и рассыпаясь на части, уносилась вспять и турецкая конница. Херсонцы стойко держались, но положение их все-таки было крайне опасно, и потому Паскевич немедленно отправил на помощь к ним часть кавалерии, под начальством барона Остен-Сакена. Сводный уланский полк, дивизион нижегородцев и казачий полк с конной батареей на полных рысях понеслись на выручку. Но бездорожье и частые переправы через топкие овраги на каждом шагу задерживали движение, а, между тем, турки были уже в тылу у Бурцева, хватали вьюки, разбивали патронные ящики, рубили караулы... В эту-то критическую минуту подоспела помощь с той стороны, откуда ее не ожидали.

Генерал Панкратьев, следивший за ходом боя с высот Чакир-Баба, увидел отчаянное положение Бурцева и, не ожидая приказаний, послал к нему два казачьих полка, стоявших у вагенбурга. Генерал Сергеев двинулся прямо по карнизу горы еще выше турок и внезапно очутился у них над головами. Едва казаки с криком “Ура!” ринулись вниз, как по ту сторону речки Загин-Кала-Су уже заколыхались флюгера уланских пик и показалась колонна Сакена. Неприятель, охваченный с трех сторон, моментально очистил долину и пустился уходить с такой быстротой, что даже добрые казачьи кони не могли угнаться за ним и стали отставать. Воспользовавшись этим, турки выдвинули на гору два орудия, подвезенные из лагеря, и открыли огонь. Но едва прокатился по горам гул пушечного выстрела, как казаки уже сидели на пушках. Сотник Евсеев и хорунжий Шапошников, оба раненные в рукопашной схватке с артиллерийской прислугой, захватили одно орудие, другое успело ускакать. Какой-то почтенный бек, находившийся на батарее, потеряв свою лошадь, хотел бежать, но, запутавшись в широких шальварах, упал и был ранен пикой наскочившего казака. При нем нашли мешок с золотом — около трех тысяч червонцев, которые казаки разделили между собою. Преследование, между тем, продолжалось. “В зрительную трубу,— рассказывает Радожицкий,— мы любовались с Чакир-Баба, как наши донские казаки нагоняли чалмоносцев, ссаживали их пиками и, проворно соскакивая с коней, обирали”. Турки уходили так быстро, что уланы, высланные вперед из колонны Сакена, даже их и не видели. Убедившись, что конница Гагки-паши прошла через Ханское ущелье обратно в свой лагерь, кавалерия вернулась на позицию.

Сражение казалось совершенно оконченным. Солнце клонилось к закату, и утомленные войска нуждались в отдыхе. Главнокомандующий приказал было уже располагаться на ночлег в долине, на берегу речки Каинлы-Чай, как новые известия скоро заставили его изменить это намерение. Часов в пять пополудни от графа Симонича, стоявшего впереди и все еще продолжавшего следить за неприятелем, прискакал офицер с известием, что турки остановились и начинают укрепляться на лесистой горе, за Каинлы-Чаем. В это же время к главнокомандующему привели пленного турецкого сановника, Мамиш-агу, некогда бывшего главой янычар, а теперь командовавшего в бою всей арзерумской конницей. Он объявил, что на горе находится сам сераскир, два дня уже как прибывший сюда с передовым двенадцатитысячным отрядом, и что главные силы его, в числе восемнадцати тысяч, сегодня должны ночевать в одном переходе отсюда у Зивина. По словам Мамиш-аги, сераскир вовсе не предполагал в этот день принимать сражения, и бой произошел случайно. Когда колонна Муравьева спустилась с Чакир-Баба в долину, сераскир был введен в заблуждение ее относительной малочисленностью и, предполагая, что перед ним простой рекогносцирующий отряд, выслал против него свою конницу; из

лагеря Гагки-паши также потребована была только кавалерия, пехота же осталась на месте и вовсе не принимала участия в деле. Уверенность сераскира, что весь русский корпус не мог подоспеть сюда, была так велика, что еще поутру, осматривая местность, он сделал распоряжение, чтобы на другой день, когда сосредоточится здесь вся его армия, разбить для нее лагерь в той самой долине, где произошло сражение. И только разгоревшийся бой дал понять сераскиру, что перед ним сам Паскевич и что отнять долину у русских уже невозможно. Теперь, после погрома своей кавалерии, он спешил укрепиться на лесистых горах, ожидая, что к утру подойдут его главные силы. Тогда должна была последовать решительная битва, и Гагки-паша был предупрежден, чтобы по первому сигналу выходил из лагеря в тыл русского корпуса.

В ту самую минуту, когда главнокомандующий выслушивал известия, передаваемые Мамиш-агою, он уже принял решение, не теряя времени атаковать сераскира и покончить с ним ночью. Тут же, обращаясь к свите, Паскевич заметил, что сераскир впадает в большую ошибку, решаясь укреплять позицию в виду русского корпуса. “Я покажу ему,— прибавил он,— что это не так легко сделать, когда у меня пять тысяч кавалерии”.

Но прежде, чем исполнить это намерение, нужно было усыпить бдительность неприятеля,— и Паскевич приказал войскам незаметно, побатальонно, сближаться к позиции графа Симонича, занятой им в укрытой лощине на берегу Каинлы-Чая. Вагенбург также получил приказание спуститься в долину и стать против деревни Каинлы, брошенной уже неприятелем. Смерклось, обозы, тронувшись с места, покрыли собою весь скат Чакир-Баба и издали могли представляться туркам многочисленным войском. По мере того, как повозки стягивались и становились лагерем, батальоны один за одним передвигались вперед, и Паскевич формировал из них две штурмовые колонны: правая, из двух гренадерских полков, была поручена Муравьеву; левая, из трех батальонов егерей,— Панкратьеву; третья, центральная, под начальством генерала Раевского, составлена была из восьми полков кавалерии, при восемнадцати конных орудиях.

В то же время, чтобы обеспечить себя со стороны Гагки-паши, который со всеми силами мог выйти на Каинлыкскую долину, Паскевич приказал Бурцеву стать у деревни Али-Бегри-Ограм, запиравшей Ханское ущелье, служившее единственным путем для выхода из миллидюзского лагеря. Кроме Херсонского полка, Бурцеву были подчинены и все войска вагенбурга.

В семь часов вечера войска были уже на местах, все было готово к движению, но главнокомандующий еще медлил с атакой, откладывая нападение до темноты. В этом случае Паскевич действовал с верным расчетом, отлично понимая, что ночью Гагки-паша не может пройти через Ханское ущелье, а всякая попытка его к обходному движению, по более удобным дорогам, не могла принести сераскиру никакой пользы.

Большие огни, разложенные вокруг вагенбурга, между тем совершенно усыпили внимание сераскира. Он был убежден, что русские становятся на ночлег, и спокойно продолжал укреплять позицию. По временам раздавались пушечные выстрелы с той батареи, что стояла на самой высокой горе, но значение их никто не мог объяснить, так как ядра ложились далее чем за версту от наших аванпостов. “Время в ожидании атаки,— говорит один из участников похода,— тянулось невыносимо долго; пехота, построенная в двухротные колонны, уже больше часа ждала в лощине; орудия стояли запряженными; кавалерия, спешившись, держала в поводу лошадей”. Наконец главнокомандующий собрал к себе частных начальников и отдал им последние приказания. “Нельзя,— сказал он в заключение,— дозволить сераскиру разбить еще новый лагерь; надобно отнять и тот, который он уже поставил”.

В исходе восьмого часа во всех полках заиграла музыка, ударили барабаны и все три колонны разом выдвинулись из лощины перед лицом изумленного неприятеля. Свернувшись в густые массы, восемь конных полков шли прямо на центр неприятеля, имея впереди себя восемнадцать орудий, вытянутых в линию; пехота обходила позицию справа и слева. Ужас, распространившийся в войсках сераскира, был так велик, что победа досталась русским легче, чем можно было ожидать.

После нескольких пушечных выстрелов турки сняли орудия и, бросив окопы, стали отступать. Вся русская кавалерия пошла вперед на рысях. Это увеличило панику, и отступление скоро превратилось в беспорядочное бегство. За горою, на скалистом берегу какой-то речки, у турок были резервы; они попытались остановить бегущих. Но в эту минуту казачья артиллерия с полковником Поляковым уже вскочила на гору, и восемнадцать орудий, быстро сброшенных с передков, ударили картечью. Одного этого залпа оказалось достаточно, чтобы окончательно смешать неприятеля и снова обратить его в бегство, так сильно было впечатление утренней битвы и так трудно было восстановить уже раз разрушенную нравственную силу турецкого войска. Вся русская кавалерия, управляемая лично Паскевичем, понеслась в погоню; пехота двигалась за нею, но, достигнув Кара-Кургана, откуда дорога поворачивала на Милли-Дюз, остановилась. Цель битвы была достигнута — пехота держала теперь в своих руках ключ к миллидюзскому лагерю.

События дня, так неожиданно закончившиеся полным разгромом сераскира, служили неистощимой темой бивуачных бесед. Войска рассчитывали, что нынешний день они будут брать миллидюзский лагерь, а завтра пойдут на сераскира. Вышло, что они сегодня побили сераскира, а миллидюзский лагерь будут брать завтра. Участникам войны 1812 года, которых тогда еще было много в рядах кавказского корпуса, невольно вспомнилась по этому поводу тогдашняя песенка о том, как

...Удино
Помешал бить Макдональда.
Но не все ли нам равно —
Мы побили Удино...

И действительно, не все ли равно было, кого бить — Гагки-пашу, сераскира ли?.. Для целей и славы кампании такая перестановка была безразлична...

А между тем как пехота спокойно располагалась ночевать в Кара-Кургане, кавалерия гнала неприятеля до самого Зивина, где стоял восемнадцатитысячный турецкий корпус, составлявший главные силы сераскира. Казалось бы, что свежий и многочисленный противник должен был положить конец успехам русского оружия, но вышло совершенно иное: беглецы с каинлыкского поля, явившись в лагерь, внесли с собою ужас поражения, и турецкая армия предалась беспорядочному отступлению. Татары и казаки, захватив весь лагерь, скакали дальше. Вся дорога от Зивина была загромождена зарядными ящиками, брошенными пушками, бочонками с порохом, обломками оружия, остатками вьюков, трупами людей и лошадей. Сераскир, потерявший в этот день двенадцать орудий и два знамени, едва-едва избежал плена, ускакав из Зивина в сопровождении только двух всадников. Преследование вообще ведено было так быстро, что в печах зивинского лагеря найдено было много хлеба и еще непропеченного теста. Вся потеря русских ограничилась несколькими убитыми и ранеными; неприятель потерял триста человек одними пленными.

Паскевич, лично распоряжавшийся преследованием, прибыл в Зивин вместе с регулярной кавалерией и послал приказание остановить преследование. Много уже было сделано им сегодня, нужно было поберечь силы людей на завтра, так как на Милли-Дюзе все еще стоял грозный двадцатитысячный турецкий корпус и войска, едва окончившие битву, через несколько часов должны были вступить в другую.

Пока ожидали татар и казаков, Паскевич со всей свитой расположился на плоской кровле одной из саклей, стоявшей бок о бок со старым Зивинским замком. Потом оказалось, что в этой сакле сложено было большое количество пороха и что отступавшие турки успели бросить в него зажженный фитиль. К счастью, драгуны, отыскивавшие фураж, заметили горевший стопин, и, таким образом, только случай спас жизнь русского полководца, подвергавшегося величайшей опасности. Паскевич тотчас оставил Зивин; но не отъехал он и с полверсты, как окрестность дрогнула от страшного взрыва и сакля взлетела на воздух. Несколько татар и казаков, задержавшихся в Зивине, были задавлены разметанными каменьями. Впоследствии узнали, что взрыв произошел не от стопина, который успели потушить, а от неосторожности татар, искавших добычи.

Так кончился достопамятный день 19 июня. “Предприятие мое атаковать сераскира,— писал Паскевич государю,— было единственным и необходимым условием будущих наших успехов. Если бы я пропустил только один день, то корпус его мог бы стянуться, соединиться с Гагки-пашой, и тогда я был бы атакован сам пятидесятитысячной армией с фронта, с фланга и тыла. Но, зная турок, я с благословением Всевышнего отвел грозу, мне уготовленную”.

Теперь весь тридцатитысячный корпус сераскира был разбит, разогнан и, переброшенный за Саганлуг, бежал в Арзерум. Гагки-паша один очутился лицом к лицу со всеми русскими силами.

XXIII. БОЙ У МИЛЛИ-ДЮЗА (Пленение Гагки-паши)

Южная ночь покрыла своим темным пологом русский бивуак при Кара-Кургане, где остановилась пехота после победы над сераскиром 19 июня 1829 года. Войска были утомлены; место для ночлега выдалось тесное, усеянное каменьями; обозы остались далеко; ни у кого не было ни палатки, ни чаю, ни хлеба, и офицеры бивуакировали вместе с солдатами на голой земле, завернувшись в свои потертые походные шинели.

Было далеко уже за полночь, когда главнокомандующий, лично распоряжавшийся преследованием, вернулся к Кара-Курган вместе с кавалерией. Несмотря на поздний час, он тут же объявил собравшимся к нему генералам, что войска на заре пойдут атаковать миллидюзский лагерь, и дал короткую диспозицию. Лучшего, более удобного случая для поражения турецких войск невозможно было предвидеть, и Паскевич спешил воспользоваться так неожиданно счастливо сложившимися для него обстоятельствами.

Отдав последние приказания, главнокомандующий остался один и, несмотря на видимую усталость, пошел по бивуаку. Подобно всем, он не имел для себя приюта и должен был провести свежую ночь на открытом воздухе. Лагерь спал, костры погасли, и только небольшой огонек весело мигал в ночной темноте возле артиллерийских коновязей. Направляясь к ним, Паскевич с удивлением увидел небольшую палатку, принадлежавшую одному из батарейных командиров, который, как человек, приноровившийся к кавказским походам, всегда возил на запасном лафете и маленький походный шатер, и чай, и водку, и даже сломанную ось в качестве готового топлива.

“В ожидании чая,— рассказывает он в своих походных записках,— я сидел перед огоньком у своего шатра, как вдруг слышу голос главнокомандующего:

— Чья это палатка?

— Моя,— отвечал я, вставая.— Не угодно ли вам занять ее?

— А вы как же будете?

— У меня найдется другая.

Он поблагодарил и, войдя в палатку, где уже был разостлан ковер и лежала подушка, тотчас прилег, плотно завернувшись в свою шинель и, казалось, заснул. Два карабинера, ростом вдвое выше палатки, стали на часах у входа и сторожили покой графа Эриванского.

Через полчаса главнокомандующий, однако, снова вышел и, став у потухавшего огня, долго и пристально глядел на восток. Я подошел к нему. Кажется начинает рассветать, сказал он, обращаясь ко мне. Я промолчал. До восхода солнца было еще далеко, а ему хотелось, чтобы оно уже озаряло окрестности. Видимо, лагерь Гагки-паши не выходил у него из головы.

— Нет ли у вас чаю? — спросил он меня.

— Есть.

— Дайте мне, да велите разложить огонь, я озяб.

Стакан горячего чаю, видимо, подкрепил главнокомандующего; он опять вошел в палатку, заснул и проспал до рассвета”.

С рассветом на бивуаке все поднялось, зашевелилось и через полчаса войска тронулись. Бурцеву, ночевавшему у вагенбурга, послано было приказание оставить обоз под прикрытием одного Севастопольского полка, а с остальными войсками спешить на соединение с корпусом. До лагеря Гагки-паши было всего четырнадцать верст; солдаты, отдохнувшие за ночь, шли бодро и не старались даже скрывать своего движения: шумный говор, а порой и веселая песня нарушали спокойную тишину Саганлугских гор.

В девять часов утра русские колонны, поднявшись на последние высоты, стали строиться в боевой порядок. “Избранная мною позиция,— говорит Паскевич,— была самая выгодная: ее защищали со всех сторон непроходимые овраги, и я мог идти к неприятелю, точно как по широкой плотине”.

Неприятель уже был предупрежден о движении русских, и как только линия его аванпостов была отодвинута, ясна обрисовались турецкие шанцы с толстым бруствером, сложенным из камня и бревенника. Эти шанцы, упираясь своими флангами в крутые лесистые овраги, совершенно замыкали плато, на котором стоял турецкий корпус, и были доступны для атаки только с лица. Две батареи, вооруженные семью орудиями, усиливали их оборону и, в свою очередь, поддерживались огнем еще трех батарей, расположенных на высотах, частью на правом фланге лагеря, а частью внутри его, у самой ставки Гагки-паши. Неприятель, по-видимому, не обнаруживал намерения отступать: палатки и багаж его оставались на месте.

Русские войска еще только строились, а неприятель уже открыл огонь со всех своих батарей. Насколько можно было заметить, в передовых укреплениях его находилось не более пятисот человек. Но местность, значительно понижавшаяся к лагерю, наводила на мысль, что в этой лощине спрятаны войска, тем более, что на батареях стояли знамена и толпы конницы по временам показывались из-за возвышения. С первой минуты главнокомандующий уже видел необходимость взять лагерь приступом, и медлил только в ожидании генерала Бурцева, с которым должны были подойти восемь батарейных орудий. В войсках неприятельских не замечалось ни смятения, ни беспорядка. Казалось, они стояли на позиции с твердой решимостью отразить нападение. Такая самоуверенность для всех являлась несколько загадочной, но вскоре один из пленных, приведенных к Паскевичу, объяснил это спокойствие тем, что в Милли-Дюзе еще ничего не знали о совершенном поражении сераскира. Бой, которого войска Гагки-паши были свидетелями, представлялся воображению их только стычкой передовых отрядов, а то, что происходило дальше, после пяти часов пополудни, им было не известно. Поэтому в миллидюзском лагере могли даже желать русской атаки с затаенной надеждой, что гром канонады привлечет сюда сераскира, и Паскевич, поставленный на узкой плотине между двумя неприятельскими корпусами, найдет себе тот гроб, который турки пророчили ему с самого начала кампании.

Понимая, какое нравственное потрясение при таких условиях должна была произвести весть о том, что сераскирской армии уже не существует, и жалкие остатки ее, бросая пушки, бегут в Арзерум, Паскевич приказал отправить к Гагки-паше несколько пленных, которые как очевидцы ночного боя могли передать ему подробности роковой катастрофы. Между тем, готовясь к атаке и не желая ничего предоставлять случайности, главнокомандующий выехал вперед и с полчаса оставался под турецкими ядрами, знакомясь с местностью. Рекогносцировка убедила его, что обход неприятеля с фланга будет возможен только тогда, когда войска овладеют уже линией передовых укреплений.

Еще Паскевич не успел возвратиться к войскам, как рассказы пленных уже произвели в турецком стане необычайное смятение. Десятки всадников, крича и махая шапками, скакали с позиций в лагерь, и из лагеря опять на позицию; конные и пешие толпы беспорядочно передвигались с места на место, артиллерия смолкла. Так прошло пять-десять минут, и из лагеря выехал парламентер с белым платком на пике.

Отрезанный от Арзерума, лишенный всякой надежды на помощь, Гагки-паша не видел никаких средств к сопротивлению и пытался только смягчить условия сдачи. “Турецкому корпусу положить оружие без всяких условий”,— коротко отвечал главнокомандующий и отправил парламентера назад. Но турки, не выждав даже его возвращения, опять открыли беглый огонь со всех своих батарей. Такая, совсем не отвечающая обстановке поспешность выдала затаенную цель неприятеля. Стало очевидным, что турки, под прикрытием этого огня, хотят отступить, и Паскевич тотчас приказал штурмовать неприятельский лагерь, не ожидая уже прибытия Бурцева.

В девять часов утра, под звуки музыки и грохот барабанов, русские войска стройно стали спускаться в лощину. Эриванский полк, при котором находился сам главнокомандующий, шел прямо на окопы, а колонна Панкратьева — три батальона егерей и сборный линейный казачий полк,— потянулась влево, чтобы отрезать неприятеля от Ханского ущелья. Этим движением весь корпус Гагки-паши отбрасывался на меджингертскую дорогу, где, по распоряжению Паскевича, его должна была встретить вся русская кавалерия, под командой походного атамана Леонова и начальника корпусного штаба барона Остен-Сакена. Таким образом турки ставились в безвыходное положение и им оставалось одно из двух — или положить оружие, или быть истребленными.

Бой начали эриванцы. Поднявшись на крутые высоты под сильным пушечным огнем, они без особых усилий овладели неприятельскими шанцами и захватили в них еще дымившиеся орудия. Все, что было в укреплениях, бросилось спасаться в крутой лесистый овраг, куда по их следам вскочили эриванцы, и большая часть бегущих была переколота штыками. Выдающимся и почти невероятным эпизодом этого боя является подвиг унтер-офицера третьей роты Эриванского карабинерного полка Казанцева. Отбившись от своей роты, он с двенадцатью солдатами внезапно очутился перед высокой скалой, на которой, в наскоро сложенных каменных шанцах, засело до ста пятидесяти турок со знаменем. Не раздумывая долго, Казанцев и его отважные товарищи бросились на неприятеля — пятьдесят турок были заколоты, двадцать пять взяты в плен, а рядовой Семен Доякин отбил турецкое знамя. Это было первое знамя, которое в тот день принесли к Паскевичу, и главнокомандующий тут же возложил на Доякина знак отличия военного ордена [Казанцеву, как имевшему уже знак отличия военного ордена, Паскевич подарил восемь червонцев и приказал самый подвиг занести в послужной список. Впоследствии же, когда император Николай Павлович получил об этом всеподданнейшее донесение, он повелел произвести Казанцева в офицеры.].

Колонна Панкратьева также не встретила особого сопротивления. Прорвавшись через окопы и захватив батареи, стоявшие на правом фланге лагеря, она быстро, миновала плато и по следам бегущего неприятеля вступила в густые леса, лежавшие вдоль меджингертской дороги. Там по расчету времени уже должна была быть вся наша кавалерия. Но, к сожалению, расчет не удался — кавалерия опоздала и дала неприятелю возможность скрыться без большого урона.

Нужно сказать, что возвышенность, на которой расположена была русская конница перед началом боя, уже сама собою определяла то направление, по которому должно было производиться преследование: южный, крутой и обрывистый скат ее прямо выводил на большую меджингертскую дорогу, верст за восемь дальше миллидюзской позиции, тогда как другой, спускавшийся полого, пересекал ту же дорогу, но уже почти у самого выхода ее из лагеря.

Сакен видел все преимущества первой дороги, но полагал решительно невозможным спуститься по крутому склону, где под копытами почти ползущих коней сыпалась земля, обрывались камни; а справа и слева зияли бездонные пропасти, и потому повел кавалерию к пологому спуску. С ним пошли два конно-мусульманские полка и бригада Раевского; казаки со своим атаманом и третий татарский полк Мещеринова остались на месте, чтобы попытаться спуститься с кручи. Две сотни Карпова полка тронулись первыми; остальные стояли еще у спуска, когда от Сакена прискакал офицер с приказанием, чтобы вся казачья бригада шла вслед за ним и догоняла бы его на меджингертской дороге. Леонов приказал сказать, что он имеет особое приказание главнокомандующего и сам отвечает за свою бригаду. Но когда Сакен, опасавшийся, что казаки в своей рискованной попытке потеряют много времени и вовсе не примут участия в преследовании, прислал вторичное приказание, тогда Леонов, повернув бригаду налево, последовал за ним и, таким образом, очутился в самом хвосте кавалерийской колонны. Карповские сотни вернуть, однако, уже было нельзя: они благополучно спустились вниз и, перерезав меджингертскую дорогу, раньше всей кавалерии ударили в лес.

Леонов ясно видел ошибочность направления, взятого Сакеном. Идя по этому спуску, кавалерия не только не перерезывала путь бегущему неприятелю, но и выходила на дорогу гораздо позже его, в то время, когда масса турок была уже значительно впереди. К тому же по самой меджингертской дороге могла бежать лишь незначительная часть неприятеля, тогда как главные силы его должны были кинуться влево, к Араксу, где

сплошь расстилались густые леса, представлявшие лучшее средство избежать погони. Опасаясь, таким образом, окончательно упустить неприятеля, Леонов вновь отделился от главной колонны и кинулся в лес, послав на подкрепление карповских сотен весь конно-мусульманский полк. Вскоре перед ним ясно обрисовались беспорядочно бегущие толпы пехоты и конницы. Он тотчас известил об этом Сакена, прося подкрепить его драгунами. В ответ на это Сакен потребовал от него самого Донской полк Фомина, и Леонов остался только с тремя казачьими сотнями. Настойчиво сидеть на плечах тысячной массы с таким слабым отрядом, конечно, было нельзя, и тем не менее Леонов скакал около пятнадцати верст и захватил до ста двадцати человек пленных. Татары действовали правее его и вернулись назад с двумя отбитыми турецкими знаменами.

Между тем Сакен, выйдя на меджигертскую дорогу и отделив от себя второй конно-мусульманский полк влево, чтобы отрезать те неприятельские части, которые еще не успели выйти из лагеря, направил преследование на самый Меджингерт. Впереди скакали два конно-мусульманские полка, Ускова и Эссена, из которых последний только что явился сюда из колонны Бурцева; их поддерживали дивизион Нижегородского полка майора Маркова и дивизион улан. Вся остальная кавалерия составляла резерв и шла одной общей колонной.

Нужно сказать, что еще при самом начале движения второй дивизион Нижегородского полка, под командой майора Казасси, был отделен в прикрытие конной артиллерии, оставленной на месте, и, таким образом, вовсе не участвовал в преследовании. Впоследствии, нашли почему-то нужным отправить из этой батареи вслед за Сакеном два казачьи орудия, которые, под прикрытием полуэскадрона драгун, скоро догнали кавалерию. Но дальше следовать за нею они не могли. Пошли крутые овраги, начался густой лес, и орудия со своей длинной упряжью то путаясь между деревьями, то останавливаясь перед крутыми спусками, на каждом шагу замедляли движение конницы. На одной из таких переправ, где особенно долго возились с артиллерией, Сакен решился наконец бросить орудия и оставил в прикрытие у них, кроме полуэскадрона драгун, еще второй дивизион улан, под общей командой полковника Анрепа. Таким образом, в главной колонне остался только полк Фомина, да третий дивизион нижегородцев, которых Сакен уже не рисковал рассылать по сторонам, опасаясь сам быть атакованным в лесу какой-нибудь засадой.

Между тем татары, проскакав несколько верст, успели настигнуть бегущих турок. Не много находилось таких, которые пробовали защищаться, большинство, объятое паникой, гибло без сопротивления. Только раз, когда четвертый полк настиг толпу кавалерии, среди которой развевалось три знамени, произошла довольно упорная схватка. Турки честно бились за свои знамена; но когда к татарам подоспел еще дивизион нижегородцев с майором Марковым — они обратились в бегство. Сто неприятельских тел усеяли землю. Один из байрактаров, видя невозможность спасти свое знамя, сорвал полотно и с ним ускакал, а древко захватили татары. Два остальные знамени также не ушли от погони и были отбиты мусульманами, но едва один из них, некто Вели-бек, выбрался со своим трофеем из свалки, как в общей сумятице на него набросились наши же драгуны и отняли знамя. Его увез с собою старший адъютант корпусного штаба майор Степанов.

Преследование продолжалось. Но вот дорога раздвоилась и левая ветвь, круто уклонившись в сторону, пошла к Араксу; по ней и бросилась бежать большая часть неприятеля. Усков и колонна Сакена повернули за ним на ту же дорогу. Скоро Усков со своим карабагским полком врезался в турецкую пехоту и одно за другим взял девять знамен, но турки с одного из них успели сорвать полотно и нам досталось только древко с кистями и булавой. Татары или рубили или обезоруживали бегущих, драгунский дивизион

непосредственно поддерживал татар, а уланы шли сзади и забирали пленных, которых к концу оказалось двести семьдесят пять человек. Тем временем Эссен продолжал идти на Меджингерт и передовые партии его заняли местечко без боя; здесь нашли большие запасы хлеба и пороха.

Но скоро преследование прекратилось по обеим дорогам. Усков скакал под конец уже только с двенадцатью карабагскими беками, а потому Сакен, приблизившись к крутому спуску над самым оврагом, приказал остановиться. Затрубили сбор, но татары, драгуны и уланы, рассеявшиеся по лесу, еще долго стягивались к месту, где кавалерия расположилась на отдых. Лошади, бывшие под седлами два дня, устали и многие расковались. Но пока солдаты, облегчив подпруги, вываживали своих, лошадей, прискакал разъезд с известием, что влево от дороги турки заняли старое укрепление и стреляют по нашим патрулям. Сакен послал туда дивизион улан майора Парадовского. В это же самое время к тому же укреплению, но с другой стороны его, подошла пехотная колонна Муравьева, в голове которой шел Анреп со своими уланами. Оба дивизиона, Парадовского и майора Хандакова, соединились и, спешившись, пошли на приступ. Из числа четырехсот защитников шестьдесят были убиты, столько же взято в плен, и уланы отбили одно знамя — единственный трофей регулярной кавалерии.

Этим эпизодом и закончилось преследование бегущего турецкого корпуса.

Собственно говоря, из восьми конных полков, брошенных за неприятелем, действительно преследовали только два конно-мусульманские полка; остальная кавалерия или оставалась в резерве или же действовала отдельно, частями, без всякой взаимной поддержки и связи между собою. От этого число пленных не превышало в общей сложности тысячи двухсот человек; убитых было больше — по крайней мере, некоторые очевидцы утверждают, что все овраги на пути преследования турок были завалены их трупами. Но если это было и так, во всяком случае потеря для двадцатитысячного корпуса была совершенно ничтожной. К счастью, паника, охватившая турок, была так велика, что те семнадцать или восемнадцать тысяч, которые успели спастись от погрома, расселись по деревням и надолго были потеряны для турецкой армии.

Паскевич был крайне недоволен результатами преследования. Из числа шестнадцати доставленных к нему знамен пятнадцать были отбиты татарами, и главнокомандующий справедливо полагал, что если бы преследование велось с большим умением и энергией, то драгуны и уланы также могли бы принять участие в деле, а тогда трофеев было бы больше и результаты сражения были бы полнее.

Блеск миллидюзской победы и значение отбитых трофеев во многом увеличились тем, что среди пленных находился сам турецкий главнокомандующий Гагки-паша, а среди взятых знамен — его бунчужное знамя. Пленение Гагки-паши произошло при следующих обстоятельствах. В то время, когда колонна Панкратьева вступила в лес и сборный линейный казачий полк, следовавший в голове ее, рассыпался вслед за бегущими турками, два урядника Горского казачьего полка, Александр Венеровский и Борис Атарщиков, случайно наехали в лесу на партию пленных, которую препровождали в лагерь. Зная по-татарски, они спросили их: “А где же ваш паша?” — “Да вон он”,— ответили турки и указали на пеструю кучку, которая одна среди общего бегства стояла в лесу, не трогаясь с места. То был, действительно, сам турецкий главнокомандующий со своей свитой. Старый испытанный воин, надежда арзерумских жителей, он в первый раз переживал столь страшный позор своей армии и, будучи отрезан от всех дорог, быть может, считал для себя унизительным бежать в лесную бездорожную чащобу.

Оба урядника, известные на Линии своим удальством, бросились по тому направлению, и через несколько секунд Гагки-паша, выхваченный из толпы, его окружавшей, уже находился в плену. Несколько человек, пытавшихся заслонить своего начальника, были моментально изрублены, и, может быть, та же участь постигла бы самого пашу, если бы он не назвал себя по имени и тем не отвел направленного на него удара. Его взяли в плен. Подскочивший в эту минуту командир линейного полка подполковник Верзилин хотел его обезоружить, но паша не отдал своей сабли. “Вы можете убить меня, но саблю я отдам только вашему главнокомандующему”,— сказал он гордо. Верзилин не настаивал и приказал вести его к Паскевичу.

Все это произошло так быстро, что свита паши, как испуганное стадо, потерявшее своего вожака, кинулось к выходу из страшного леса. Но было уже поздно — выход сторожил второй конно-мусульманский полк, оставленный здесь Сакеном. Увидя выскочившую из леса пеструю толпу и посреди нее широко развевавшийся красивый бунчук, татары бросились наперерез, и через секунду славный трофей — белое с массивными кистями и с золотой луной на древке знамя — находился уже в их руках. Потерявшая голову свита повернула назад, опять наткнулась в лесу на линейцев и почти вся полегла под ударами шашек. Вообще в том небольшом участке, где действовали линейные казаки, в короткое время было изрублено более двухсот турок и сто человек взято в плен.

Было уже одиннадцать часов утра, когда Атарщиков и Венеровский привели Гагки-пашу к Паскевичу, который тут же поздравил их офицерами. Гагки-паша по восточному обычаю присел на колени и подал главнокомандующему свою саблю.

“Судьба войны,— сказал он,— непостоянна. За несколько минут до этого я повелевал двадцатитысячным корпусом, теперь, к стыду моему, я пленник. Но имя твое, христианский вождь, славится между нами высокими качествами. Говорят, что, умея побеждать, ты умеешь быть и великодушным”. Паскевич отвечал ему, что милосердие русского царя не имеет пределов и что в русском стане Гагки-паша встретит уважение, приличное его высокому сану.

Рассуждая о несчастном исходе сражения, Гагки-паша сказал между прочим: “Я сумел бы умереть на месте, но удержать буйные толпы было не в моей власти. Вы отрезали у нас все пути, и мне оставалось свободное отступление только на Карс, но и там я попал бы между двух огней”. Он жаловался на сераскира, который обещал соединиться с ним двумя днями раньше и не исполнил обещания, а между тем эти-то два дня и решили участь кампании. “Азиатская война мне хорошо известна,— прибавил он,— и другого Гагки-пашу они не найдут”. Паскевич просил его указать продовольственные и боевые запасы миллидюзского лагеря. “Избавьте меня от тягостного унижения,— ответил паша,— вы сами найдете их”.

В два часа пополудни стали приходить от частных начальников донесения о совершенном рассеянии неприятеля. Победа была полная. В два дня две сильные турецкие армии, пытавшиеся преградить путь победоносному корпусу, были уничтожены и только небольшие остатки их укрылись теперь в Арзеруме. Путь в сердце Малой Азии был совершенно открыт. “Не много можно найти примеров столь полной и совершенной победы, какую войска Вашего Императорского Величества одержали ныне в азиатской Турции”,— доносил Паскевич государю.

Потеря в русском корпусе в оба дня не превышала ста человек и большей своей долей легла на мусульманские полки, которые, по свидетельству очевидцев, были всегда впереди. “Я не должен умолчать,— писал Паскевич государю,— о похвальном усердии

находящихся со мною мусульманских полков. Во всех сражениях они дерутся с отличной храбростью, в атаках бывают впереди, мужественно и твердо бросаясь даже на неприятельскую пехоту, и большая часть пушек, знамен и пленных отбиты ими”.

В числе мусульман, павших во время преследования турок, находились два знатнейшие карабагские бека, и Паскевич разрешил татарам отвезти тела их на родину. Один из них, некто Умбай-бек, был лицом небезызвестным Закавказскому краю, где за год перед тем имя его гремело, как имя страшного разбойника. По дорогам не было от него проезда: казенные почты, если не сопровождались сильным конвоем, редко достигали места своего назначения; купеческие караваны, мелкие торговцы и даже частные проезжающие — все платили ему посильную дань. Войска против него были бессильны, потому что его крепче караулов стерегла народная любовь.

Но то, чего не могла сделать сила, сделало золото. Умбай-бек, выданный во время одного из своих ночлегов, был схвачен, брошен в тюрьму и приговорен к виселице. Паскевич сумел, однако, увидеть в нем несколько хороших сторон и понял, что насколько этот человек был вреден в мирное время, настолько же он может быть полезен во время войны. Он объявил ему помилование, взял с собою в поход, и Умбай-бек целым рядом отличий заслужил прощение. Смертельно раненный, он в последние минуты своей жизни просил передать Паскевичу, что умирает верным слугою русских.

Не о нем ли упоминает в своих записках Радожицкий, описывая смерть одного татарского бека, которой ему пришлось быть случайным свидетелем. “В поле,— рассказывает он,— я увидел трогательную сцену: лежал смертельно раненный один из наших мусульманских беков; перед ним на корточках сидел товарищ и читал отходную молитву; двое других стояли, понурив головы. Раненый был до половины раздет, рубашка его окровавлена, на левом боку и на бритой голове зияли две сабельные раны; он чуть дышал, и смертельная бледность покрывала его лицо. Повернув голову, он выразительно всматривался в меня тусклыми, умирающими глазами и, обратившись потом к тому, который читал молитвы, просил рукою пить. Татары захлопотали, не зная, в чем принести ему воды; тогда я велел одному из них снять сапог и бежать к ближнему ручью за водой, другой за это почтительно поцеловал мне колено. Заметив, что раненого беспокоят мухи и солнечный зной, я снял с армянского духанщика, стоявшего здесь же в числе зрителей, большой папах и прикрыл им голову умирающего”.

Солнце подходило к горизонту, когда замер вдали, на берегах Аракса, последний выстрел миллидюзского боя. На месте бывшего турецкого лагеря стоял теперь шатер русского главнокомандующего, и восемнадцать разноцветных знамен осеняли ставку. Неподалеку высилась зеленая остроконечная палатка, в которой поместили Гагки-пашу. Русские офицеры беспрерывно подходили к ней и видели перед собой сурового сорокалетнего человека, молча сидевшего на ковре и курившего трубку с восточным равнодушием. Глубокое спокойствие и покорность судьбе отражались во всей его довольно сановитой фигуре, он заранее просил, чтобы его избавили от всяких вопросов. Против палатки паши, на другом бугре, расположились пленные турки в своих кофейных куртках и белых чалмах. С немой грустью смотрели они и на своего униженного пашу, и на свои утраченные пушки и знамена. Еще сегодня утром эти самые пушки сторожили их лагерь, и у этих знамен, с полной надеждой и верой в гибель врага, сплоченно стояли их батальоны. Русские офицеры не без любопытства рассматривали турецкую артиллерию, которая на своих железных осях оказывалась лучше и подвижнее нашей. Все пушки имели клейма, и на их телах красивым рельефом отчеканены были герб и вензелевое имя султана. Паскевич распорядился хранить их в вагенбурге, чтобы в случае надобности образовать из них новые батареи.

Не скоро установился порядок в лагере. Гренадеры успели уже побывать в палатках и открыто носили по бивуаку свертки шелковых материй, дорогие кушаки, шали и другие вещи, сбывая их за бесценок. “Один казак,— рассказывает Радожицкий,— продал мне четыре бутылки отличного шампанского за два рубля ассигнациями, и мы тут же распили его за здоровье сераскира и Гагки-паши, позволивших так простодушно разбить себя”.

Войска ночевали на отбитых позициях: кавалерия — на меджингертской дороге, там, где окончила свое преследование; колонна Панкратьева — впереди турецкого лагеря, на самой опушке миллидюзского леса, гренадеры — на взятом с боя плато. Бурцев, прибывший со своим отрядом уже по окончании битвы, получил приказание идти назад к Кара-Кургану и занять большую зивинскую дорогу, по которой должны были двигаться русские транспорты.

Предосторожность по отношению к вагенбургу вызывалась настоятельной необходимостью. Весь день 20 июня, по дороге от Каинлы к Кара-Кургану, обозы тянулись почти без прикрытия и, при беспрестанной ломке колес и осей, останавливались чиниться и отдыхать, где кому приходилось. При подобных условиях появление и небольшой турецкой шайки могло произвести страшную суматоху. Да тревоги и были в действительности. “К нашему отставшему парку,— рассказывает, например, Радожицкий,— пристроился подвижной госпиталь и часть провиантского магазина. Войска ушли вперед и для нашего прикрытия осталась неполная сотня казаков. Поздно вечером ко мне приехал урядник из арьергарда с вопросом, что делать: более десяти транспортных арб, нагруженных мукой, брошены грузинами на дороге и одна, госпитальная, уже разграблена турками.— “Какими турками?” — спросил я в недоумении.— “А Бог их знает какими; там на горе стоят их бекеты.” — “Не бредишь ли ты, братец?” — “Если не верите, извольте сами съездить, только опасно...”. Радожицкий тотчас поднялся с привала и шел всю ночь, пока в Кара-Кургане не догнал вагенбург. Скоро туда прибыл Бурцев, а вслед за ним ожидались и главные силы.

Битва 20 июня, открывшая русским войскам путь к Арзеруму, в то же время лишила их одного из крупных деятелей турецкого похода: начальник корпусного штаба генерал-майор барон Остен-Сакен должен был оставить свой пост и покинуть действующий корпус.

Обстоятельство это современники обыкновенно связывают с теми личными отношениями, которые уже давно сложились между Паскевичем и Сакеном. Пущин рассказывает, что однажды, еще в Тифлисе, он читал в Journal qes Ràbats одну корреспонденцию из Петербурга, где между прочим было сказано о Паскевиче, что он самых обыкновенных способностей и что успех его кампании должно приписать дарованиям начальника штаба. Вот эта-то статья, при известной подозрительности и крайне самолюбивом характере Паскевича, ревниво оберегавшего все, что касалось его личной славы, и послужила поводом сперва к неудовольствиям Сакеном, а потом и к удалению его из армии. Но если все это было и так, если подобные отношения и существовали действительно, то, во всяком случае, в данный момент они могли иметь лишь косвенное и притом далеко второстепенное значение. Вопрос шел о разности взглядов между главнокомандующим и его начальником штаба на предметы чисто военного свойства — на действия в бою кавалерии и на достижение ею наилучших боевых результатов.

Дело в том, что преследование разбитого неприятеля Паскевич ставил венцом военного искусства и требовал от своей конницы погони бешеной, действий самоотверженных, напряжения сил — крайнего. Он понимал, что только такое преследование и может довершить победу, деморализовать врага, разрушить его армию и сделать ее надолго

неспособной к военным действиям. Такое именно преследование было девятого августа под Ахалцихе и девятнадцатого июня при поражении сераскира. Сакен не выделялся в этом случае из общего уровня тех кавалерийских генералов, которых создала в наших рядах после Отечественной войны так называемая немецкая школа. Он признавал тезисы Паскевича в принципе, но никогда не рискнул бы применить их на деле, опасаясь замучить кавалерию, и этот взгляд рельефнее всего выражается в одном из его же донесений Паскевичу, когда он, желая остановить преследование, писал, что считает лучше сохранить кавалерию, чем взять несколько сот лишних пленных. Разлад в убеждениях неоднократно обнаруживался и прежде, но 20 июня он был уже заключительным. Вполне понятно, что шестнадцать знамен и тысяча пленных — результат преследования кавалерии — не могли удовлетворить Паскевича. Он был недоволен распоряжениями Сакена и сделал ему замечание. Быть может, замечание это, при известной нервности Паскевича, облечено было в резкую форму, но, во всяком случае, оно не имело бы дальнейших последствий, если бы обиженный Сакен сам не потребовал от главнокомандующего или гласного оправдания, или предания себя суду.

Паскевич назвал требование его “неосмотрительным”, но следствие назначил, приказав генералу Панкратьеву войти в рассмотрение вопросов: почему в бою 20 июня регулярная кавалерия взяла так мало знамен и пленных, где она находилась и до какого места гналась за неприятелем. И следствие окончилось не в пользу Сакена.

“Из представленного мне следственного дела, из ваших объяснений и моих личных замечаний,— писал Паскевич Сакену,— я нахожу следующее.

Неприятель бежал из укрепленного лагеря, отдавая нам свой фланг более, чем на десять верст, а потому по вашей просьбе я поручил вам резервную кавалерию с тем, чтобы атаковать неприятеля на всем десятиверстном протяжении. Мы стояли гораздо ближе к дороге, которую неприятель должен был взять для своего отступления,— и, несмотря на то, вы опоздали. В оправдание свое вы ссылаетесь на крутизну спуска и глубокий скалистый овраг. Но если мог спуститься Карпов с двумя казачьими сотнями, то нет сомнения, то могла пройти и вся кавалерия.

Вы сделали важную ошибку и превзошли даже власть вашу, переменя мое распоряжение и присоединив к себе донской казачий полк Фомина из бригады генерала Леонова, вам не подчиненный и имевший от меня особое назначение. Этим вы сгустили войска там, где их было с избытком, и лишили Леонова способа исполнить мое приказание. За такое присвоение власти и за изменение моего распоряжения вы уже достойны замечания.

Вы не поняли, что неприятель бежит параллельно вашему движению, подставляя вам фланг, и потому распоряжения ваши были ошибочны. Вы начали преследовать одной общей колонной, во главе которой был у вас один только мусульманский полк, оставшийся напоследок в числе двенадцати человек. Один этот полк и взял у неприятеля превосходное число знамен; прочие войска за ним только следовали, вовсе не участвуя в поражении неприятеля. Вам следовало разделить кавалерию на пять или, по крайней мере, на три колонны, составив каждую из одного или двух дивизионов регулярной кавалерии, с конными сотнями мусульман во главе. В таком порядке вы атаковали бы неприятеля разом на протяжении всей его линии и брали бы в плен на десять верст.

Густота леса не могла служить препятствием к преследованию, ибо если могла уходить по нему неприятельская кавалерия, то тем с большим успехом могла преследовать ее наша. Если бы неприятель стал защищаться в лесу, вы должны были спешить драгун и удерживать его, пока подоспела бы пехотная колонна, высланная вслед за вами, о чем вам

было известно. Впрочем, опасаться сопротивления со стороны испуганного, рассеянного и преследуемого неприятеля вам не было основания. Сборный линейный полк, посланный двадцатью минутами позже, опередил вас, изрубил до двухсот человек, взял пашу и до ста пленных, потеряв со своей стороны только двух раненых. Я уверен, что войска, вам порученные, то же бы сделали, если бы получили подобное направление.

Вы говорите, что во время преследования неприятеля регулярная кавалерия ходила неоднократно в атаку на пехоту и что знаменщики, бывшие на лучших лошадях, не могли быть настигнуты ни ею, ни казаками; но из донесений всех частных начальников не видно, чтобы таковые атаки были делаемы в действительности. Был только один случай, и то на возвратном пути, когда неприятель засел в старом укреплении и был уничтожен уланами с частью пехоты из колонны Муравьева.

Вы утверждаете, что преследовали неприятеля до совершенного изнурения лошадей, и говорите, что если мусульманские беки на лучших карабагских жеребцах не могли уже далее гнаться, то регулярная кавалерия на лошадях не менее легких и обременных тяжелым вьюком, конечно, должна была пристать несравненно прежде. Однако о таком изнурении лошадей, кроме вас, генерала Раевского, майора Маркова и подполковника Ускова — из коих последние два точно были впереди вас,— никто более не говорит. Я также не могу принять за основание донесение ваше, ибо на таком расстоянии, как двадцать-двадцать пять верст, лошади не могли быть измучены до такой степени, взяв еще в соображение пятичасовое время преследования.

Что же касается испрашиваемого вами суда, то на сие скажу вам, что суд наряжается против умышленно виновных, за неумение же распорядиться делаются замечания, которые должны служить наставлением и предостережением впредь в подобных случаях от ошибок”.

Назначение следствия, вызванного по желанию самого же Сакена, и было естественной причиной сдачи им должности начальника штаба генерал-майору Жуковскому, тогда только что прибывшему на Кавказ. По мнению государя, Сакен, яко лишившийся доверия главнокомандующего и упорствующий в непризнании сделанных им ошибок, не мог занимать никакой отдельной должности в Кавказском корпусе, и государь предоставлял отправить его в Россию. Но Сакен в то время был уже назначен начальником Ахалцихского пашалыка, и высочайшая воля была исполнена только по окончании турецкой войны.

Раевскому также сделан был выговор. В своем желании оправдать кавалерию, он распространился о блистательном действии ее 19 числа и затем сослался на изнурение лошадей, два дня не выходивших из-под седел. Раевский резко заметил при этом в своих объяснениях, что “регулярная кавалерия наша не может уступать ни в храбрости, ни в усердии мусульманам, хотя на сей раз и не отбила ни знамен, ни пушек”. Паскевич на это положил следующую резолюцию: “Напрасно генерал-майор повествует о 19 числе, о котором его не спрашивают, и мог бы все получше описать, за что делается замечание”. Выговор объявлен был формально, в предписании. “Я прежде вас знаю состояние лошадей Нижегородского полка, который был со мною в походах в прошедшие три года,— писал он Раевскому,— и знаю, что движение 19 числа и неимение на ночь травяного корма, при хорошей, впрочем, даче ячменя, не могло привести лошадей в такое изнурение, чтобы они на следующий день не могли проскакать двадцати верст в продолжение пяти часов. За такую неосмотрительность в донесении делаю вам выговор, оставаясь уверенным, что ваше превосходительство впредь по делам службы будет внимательнее”.

Так строго и так требовательно, даже и при блестящих успехах нашего оружия, относились в те отдаленные времена к действиям русской кавалерии на полях сражения.

XXIV. ПОХОД К АРЗЕРУМУ ЗАНЯТИЕ ГАССАН-КАЛЕ

После поражения главных турецких сил при Коинлы и Милли-Дюзе русские войска, воодушевленные блестящими победами, имели перед собою почти открытый путь к Арзеруму.

Турция была теперь бессильна остановить наступление русского корпуса. Положение сераскира в полном смысле слова представлялось отчаянным. Из той части его корпуса, которая дралась против русских 19 числа, только половина собралась в Гассан-Кале; остальные, равно как и разбитые, разогнанные в разные стороны войска Гагки-паши, были для него потеряны; они разошлись по домам или образовали шайки грабителей, не имея никакой охоты вновь становиться под знамена, и собрать их не было возможности.

Сам сераскир, едва избежавший в Зивине плена, поспешно бежал в Гассан-Кале. Там стоял десятитысячный отряд пехоты, еще не участвовавший в сражении; но и здесь он нашел полную тревогу. Опасаясь окончательно уронить дух войск, сераскир принудил себя казаться спокойным, сделать распоряжение о сосредоточении всех сил к Арзеруму и на другой день выехал туда сам, в сопровождении небольшого конвоя.

Присутствие сераскира в многолюдном Арзеруме становилось тогда настоятельной необходимостью. С одной стороны — ему нужно было предупредить смятение в народе, до которого могли дойти тревожные слухи, с другой — предстояло возбудить в населении решимость к защите, и в самой многочисленности его найти для себя источник новой вооруженной силы. В Арзеруме было до тридцати тысяч жителей, способных носить оружие, и почти все они еще весной заявили готовность в крайнем случае принять на себя оборону города. Сераскиру на первый раз достаточно было опереться на эту массу, чтобы задержать русских под стенами столицы, а там подойдут новые войска из внутренних областей Азии, призваны будут лазы, соберутся курды — и шансы войны могут измениться.

И сераскир энергично принялся за приготовление к новой борьбе. Кягьи-беку, стоявшему в Аджарии, послано было приказание как можно скорее идти в Арзерум, и такое же приказание отправлено было к Мушскому паше, но паша, все еще не разрывавший тайных сношений с Паскевичем, колебался и не спешил на помощь. Самый Арзерум приводился, между тем, в оборонительное состояние, и на его фортах устанавливались все новые и новые батареи. Чтобы поднять дух населения и убедить его, что опасность русского нашествия еще не так велика, как ее представляли вестовщики, бежавшие с поля битвы, сераскир указывал народу на твердость арзерумских стен, на многочисленность артиллерии и на избыток продовольствия. Но все это мало успокаивало жителей, видевших затруднительное положение сераскира и расшатанность материальных и нравственных сил турецкой армии.

В интересах русского главнокомандующего естественным желанием было воспользоваться именно таким угнетенным состоянием умов и не дать неприятелю времени оправиться. И действительно, Паскевич не потерял ни минуты — 21 июня, с зарей, весь русский корпус уже двигался по следам бежавшего неприятеля. Колонна Бурцева из Кара-Кургана шла по большой арзерумской дороге на Зивин и Ардост; генерал-майор князь Бекович-Черкасский, с бывшей колонной Панкратьева [Панкратьев в этот день назначен был временно начальником штаба вместо генерала Сакена.], двигался

через Меджингерт на Хоросан, где имелись большие турецкие магазины; батальон Грузинского полка с частью линейных казаков, под командой графа Симонича, должен был очистить окрестность Милли-Дюза от турецких шаек, бродивших по лесам после своего поражения; и, наконец, главные силы — гренадерская бригада и вся кавалерия, под личным начальством Паскевича, выступили из Милли-Дюза в Кара-Курган, на соединение с вагенбургом. Главнокомандующий ехал верхом и, обгоняя по пути войска, поздравлял их с победой. Солдаты кричали “Ура!”, и воодушевление вливало в них новые силы, заставляя забывать трехдневные труды и усталость.

Нагнав куртинских беков, находившихся при главной квартире, Паскевич спросил, рады ли они победе русских и видали ли когда-нибудь подобные поражения армий.

Курды отвечали:

— Мы не можем опомниться от удивления и только теперь начинаем сознавать, что это не сон, а действительность.

— А перейдут ли теперь ваши курды на русскую сторону? — спросил Паскевич.

— Идите скорее вперед,— отвечали беки,— покорность курдов в Арзеруме; возьмите его — и тогда все будет ваше.

В Кара-Кургане Паскевич получил известие, что Бурцев уже занял Ардост. Неприятеля по дорогам нигде не было, если не считать того, что казачьим партиям удавалось видеть вдали небольшие толпы скрывавшихся турок. Только в окрестностях самого Ардоста произошло кровавое столкновение, показавшее, что в турецких войсках много было людей, воодушевленных высоким мужеством, которым только не сумели воспользоваться их предводители. Случилось это так: Бурцев, по занятии Ардоста, отправил подполковника Басова с казачьей сотней в Хоросан открыть сообщение с отрядом князя Бековича. Не отошли казаки и пяти верст, как наткнулись на партию турок, выходившую из гор на арзерумскую дорогу. Встреча произошла совершенно неожиданно, и турки поспешно скрылись в ущелье. Басов подъехал к ним в сопровождении одного трубача и предложил сдаться. Тогда произошло следующее: один из турок заговорил, обращаясь к толпе,— и заговорил горячо, но остальные в безумном исступлении набросились на него, изрубили в куски и моментально открыли огонь по казакам. Очевидно, это были люди отчаянные, готовые на смерть. Басов решился истребить их; он запретил казакам стрелять и повел свою сотню в дротики; турки защищались с таким ожесточением, что раненые, не желая сдаваться, закалывали себя кинжалами, а других дорезывали сами товарищи. Из целой партии только несколько человек, более малодушных, бежали; четверо, тяжело израненные, были взяты в плен — все остальные погибли. Партия принадлежала к корпусу Гагки-паши и, как оказалось, шла в Арзерум к сераскиру.

В Хоросане Басов не нашел ни жителей, ни войск и без труда овладел магазинами; там же взяты были и две пушки, брошенные, по всей вероятности, неприятелем при отступлении. К свету прибыл сюда отряд князя Бековича, и Басов вернулся в Ардост, куда, между тем, пришел и граф Симонич со своей колонной.

Паскевич в этот день ночевал в Кара-Кургане и только на заре 22 числа двинудся к Ардосту. Вслед за корпусом потянулась и осадная артиллерия, на случай, если бы неприятель вздумал оказать серьезное сопротивление в Гассан-Кале или в Арзеруме.

От Кара-Кургана местность верст на десять чрезвычайно гористая, и голые скалы, громоздясь одна на другую, донельзя суживают кругозор. Только с последнего гребня открылся наконец перед войсками живописный замок Зивин, расположенный на высоком, почти неприступном утесе. Внизу, под самой скалой, ютилась убогая деревушка, а вокруг нее раскинулась зеленая лужайка, по которой струилась прозрачная горная речка. Окрестности голы и безлюдны и только один этот зеленый клочок, как оазис в пустыне, рельефно вырисовывался на бесцветном фоне. Старинный замок полуразрушен, но стены его еще так крепки и положение так неприступно, что Паскевич решил учредить в нем складочный пункт на пути своих сообщений с Карсом. Две роты сорокового полка тотчас заняли замок, а остальные войска прошли мимо и сделали привал на берегу одного из притоков Аракса.

Дальнейший путь в Ардост не представлял ничего замечательного, но был гораздо легче и приятнее. Саганлугские горы остались уже далеко позади и местность пошла живописнее, чаще попадались долины, украшенные свежей зеленью, или встречались поля, колосившиеся пшеницей, только по ту сторону Аракса, на самом горизонте, виднелись все те же черные безлесные горы с клочками еще не стаявшего снега.

На пути войска обогнали несколько партий пленных, отставших от отряда Бурцева. Их гнали в Ардост. Унылые лица турок выражали неподдельную горесть. Казалось, они не могли дать себе отчета в том, что такое случилось с ними, почему они в плену, и, видя проходившие мимо знакомые турецкие пушки, только качали головами, как бы говоря: “Все наши силы ничто перед гяуром, пришел конец мусульманам!”

В Ардосте к главным силам присоединились Бурцев и граф Симонич.

На следующий день, 23 июля, войска двинулись дальше, а главнокомандующий временно остался в Ардосте. Здесь только представилась ему возможность составить подробное донесение о столь быстро минувших событиях войны и засвидетельствовать государю о трудах и заслугах войск. Проводив курьера, который повез с собой и отбитые знамена, Паскевич отправил всех пленных турок в Карс и выехал из Ардоста. Он ехал по турецкой земле без всяких опасений, сопровождаемый лишь несколькими линейными казаками, и догнал войска на привале на берегу Аракса. Небольшая поляна, засеянная пшеницей, которая поднялась уже выше пояса, была занята бивуаком и, разумеется, вытоптана. Какой-то бедный старик с двумя женщинами стояли поодаль и грустно смотрели на истребление их скудного достояния.

На этом привале присоединился отряд князя Бековича-Черкасского, и далее корпус двигался уже в полном составе. Радожицкий в своих записках рассказывает, что здесь ему в первый раз довелось увидеть армянских сарбазов, набранных в Нахичевани и входивших в состав Севастопольского полка. Одетые в красные колпаки, в зеленые и синие мундиры уланского покроя, в широкие белые шаровары до колен и серо-желтые кожаные штиблеты поверх башмаков с острыми загнутыми носками, они представляли из себя нечто совершенно театральное. За их батальоном шло множество ослов, на которых сарбазы ехали поочередно, и на тех же ослах везлись тяжести, провиант, ранцы, шинели — все то, что русский солдат носит на своих могучих плечах. Фигура такого сарбаза, сидящего верхом на маленьком ослике, с ружьем за спиной, служила для солдат развлечением во время длинных переходов и вызывала неистощимые остроты и шутки. Конница армянская по виду ничем не отличалась от наших мусульман, но пехота их представляла собою довольно комичное войско. О боевых достоинствах ее судить трудно, потому что ей не пришлось участвовать в жарких боях, но что касается армянской

конницы, то она везде, где ей представлялся случай, дралась хорошо, и в ней вовсе не замечалось побегов, чего нельзя сказать про пехоту.

Дойдя до красивого древнего моста, смело перекинутого через Араке и поддержанного семью устоями в виде изящных каменных арок, войска остановились. Ширина Аракса в этом месте до семидесяти саженей, и многие из любопытства ходили осматривать знаменитый мост, который, казалось, щадило самое время, так как постройку его относят еще ко временам Дария Гистаспа. Местные предания говорят, впрочем, что мост построен одним пастухом, разбогатевшим случайно и пожелавшим увековечить свое имя добрым делом. Мост так и называется Чабан-Кепри, то есть “мост пастуха”, а самую могилу строителя указывают вблизи, на высоком холме, осененном двумя уединенными соснами. Окрестные жители и путники чтят эту могилу и стекаются к ней на поклонение.

Как раз возле самого моста, на левом берегу Аракса, находится большая деревня Кепри-Кев, а возле нее стоят развалины громадного караван-сарая, построенного, вероятно, во времена его цветущей торговли.

Войска и остановились ночевать возле деревни. Несколько армянских старшин явились в лагерь просить о выдаче им охранных листов и добивались позволения видеть Паскевича. Они сообщили ему, что приближение русских войск вызвало в Гассан-Кале совершенную панику. Гарнизон бежал, и сераскир, желая спасти хоть что-нибудь из огромных запасов, находившихся в крепости, приказал собрать арбы со всех окрестных деревень и на них перевозить эти запасы в Арзерум. Паскевич спросил их, откуда они это знают. “Наши армяне вчера поехали с арбами и еще не возвратились”,— отвечали они откровенно.

До Гассан-Кале было всего пятнадцать верст, а потому главнокомандующий, не теряя времени, двинулся со всей кавалерией к покинутой крепости, рассчитывая захватить по крайней мере то, что не успели вывезти. Пошли налегке и форсированным маршем. Вечер был чудный. Солнце уже склонялось за горы, играя причудливыми цветами радуги на каменных скалах, когда кавалерия поднялась на высокий гребень, и перед ней открылась широкая долина, в конце которой рельефно вырисовывались белые стены Гассан-Кале. С гор было видно, как турецкие войска, обозы и жители, спешившие уходить к Арзеруму, двигались по двум дорогам и следы их обозначились густыми облаками пыли, в которые ударяли последние косые лучи заходящего солнца. Часть кавалерии тотчас пустилась в преследование и, проскакав за ночь верст двадцать пять, отбила пятьдесят армянских семейств и до двух тысяч голов скота. Паскевич между тем занял покинутую крепость без боя и нашел в ней двадцать девять орудий, порох, снаряды и несколько хлебных магазинов. Восемьдесят армянских семейств, оставшихся в городе и составлявших теперь все его население, встретили русских с крестами и иконами.

Гассан-Кале — одна из древнейших крепостей турецкой Армении. Ее основание приводят в тесную связь с Арзерумом и относят к началу V века, когда Армения переживала один из самых тяжелых кризисов. Раздираемая внутренними смутами, опустошаемая персами, успевшими отторгнуть от нее многие земли, погибавшая страна вынуждена была, наконец, искать покровительства сильной Византии. И вот, каталикос ее, Нерсес Великий, скорбя о горькой участи своего народа, отправил посольство к императору Феодосию с просьбой принять Армению под свою защиту. Во главе посольства стоял св. Мисроп, знаменитый изобретатель армянской письменности. Он развернул перед императором картину страдания родной земли в таких живых и мрачных красках, что император не мог отказать в покровительстве и тотчас отправил в Армению своего полководца Анатолия, поручив ему построить крепкий город, способный охранять народ от внешних врагов. Жизненным центром Армении был в то время город Арзен, лежавший в богатой

Коринской провинции, и его-то захотел Анатолий прежде других обезопасить от нападения персов. С этой целью на единственно доступном пути к нему, на крутой и высокой скале, он воздвиг свою первую крепость и назвал ее в честь императора, своего повелителя, Феодосиополисом. Чуждое армянскому языку название это не могло легко привиться к народу, и жители, в отличие от своего Арзена, стали называть его Арзен-ер-Рум, то есть "Арзен, построенный римлянами"; это название вскоре получило такую популярность, что и вся провинция Корин стала называться Арзен-ер-Румской.

Впоследствии, когда турки завоевали край и истребили в нем все христианские названия, древний Феодосиополис променял свое имя на турецкое Гассан-Кале. Но армянское название его не умерло для населения: народ перенес его на главный город провинции, который с той поры стал называться Арзерумом. Гассан-Кале продолжал еще долгое время играть видную роль в обороне края, нося почетное название "стража Арзерумской долины". Но турецкое правительство с каждым годом обращало на него все меньшее и меньшее внимания; когда русские в 1829 году заняли Гассан-Кале, стены его были полуразрушены, внутренняя площадь заросла травой и бурьяном, а некогда искусные подземные ходы к воде давно обвалились и о самом существовании их можно было только догадываться. Пушки, большей частью негодные, валялись в величайшем беспорядке, и только шесть из них были поставлены на кое-какие лафеты.

Самый город или, вернее, предместье Гассан-Кале поднимается амфитеатром по западному склону горы и обнесено стеной с бойницами. Дома каменные, двухэтажные, такие же, как в Карее, с плоскими крышами, балконами и деревянными террасами вроде мезонинов. Небольшой городок этот приятно поражал своей чистотой — качеством столь редким в азиатской Турции. Гассан-Кале служил резиденцией бека Верхне-Пассинского санджака, дом которого отличался от других только обширностью, да красным карнизом, которым обведены были чисто выбеленные стены. Бежавший бек покинул его на произвол победителей, и в комнатах, украшенных каминами, уставленных широкими и низкими диванами, на которых ага, окруженный своими одалисками, с трубкой и шербетом предавался восточной лени, теперь поместился Паскевич.

Против южных стен города, за каменным мостом, по ту сторону речки Гассан-Су, с давних времен существуют источники горячей минеральной воды. Они посреди местных развалин невольно останавливают на себе внимание. Кроме нескольких небольших открытых купален, здесь замечателен обширный каменный бассейн, над которым руками византийцев воздвигнуто большое здание с куполом. "Когда я туда вошел,— рассказывает Радожицкий,— бассейн был наполнен купающимися солдатами. "То-то раздолье, готовая баня! Ай да турка, спасибо ему! — кричали солдаты, ныряя в горячей воде и отдуваясь. Недалеко от бассейна есть другой источник холодной кислой воды, которую русские люди, ложась ничком, пили с большим наслаждением, как готовый квасок". Много есть данных предполагать, что эти минеральные источники были известны с давних времен и что некогда греки имели здесь свою колонию. Позднее, когда на прилежащей скале возникла византийская крепость, городок, под ее покровительством, стал быстро расти, шириться и развиваться. Но на свете всему бывает конец. Пришли турки-сельджуки, и благосостояние городка, населенного христианами, было разрушено. Политические бури смяли его, и ныне Гассан-Кала представляет лишь жалкие остатки прошлого величия. Обширное кладбище, дошедшее до наших дней, только одно и свидетельствует о древней населенности этого города.

Паскевич, лично осмотревший крепость, сделал распоряжение о немедленном исправлении поврежденных стен и об установке на них новых орудий. Он уже решил перевести сюда из Зивина все транспорты, чтобы сблизить их с действующим корпусом, и

Гассан-Кале получал таким образом для нас значение важного опорного и складочного пункта на самом соединении дорог из Карса и Баязета.

Обстоятельства слагались так благоприятно, что к занятию Арзерума, казалось, уже не могло возникнуть серьезных препятствий. Но главнокомандующий медлил походом. Он осмотрительно готовился к этому важному шагу и принимал все меры, чтобы покорить многолюдный городок моральной, а не физической силой. Мысль эта, как надо думать, давно уже занимала Паскевича; по крайней мере, отправляя из Ардоста пленных, он оставил из них тех, которые были уроженцами Арзерума, и теперь отпустил их домой, щедро одарив на дорогу деньгами. Эти люди и должны были первые расположить умы народа в пользу победителей.

В числе этих пленных находился некто Мамиш-ага, человек умный и пользовавшийся большим влиянием на жителей. Он то и вызвался добровольно распространить по городу русские прокламации. “Что вас побуждает к такому рискованному шагу?” — спросил его один из офицеров. “Я был свидетелем высокого военного искусства русских,— отвечал он,— и потому желаю спасти своих соотечественников от неминуемой гибели”. В три часа пополудни пленные тронулись в путь, и Мамиш-ага повез с собой прокламации. В этих воззваниях, обращенных к жителям, выражалось полное миролюбие Паскевича по отношению к покорным и сулилась гроза неповинующимся.

“Под державою русских монархов,— говорилось в ней,— целые миллионы мусульман пользуются полной свободой вероисповедания, законов и обычаев. Эти мусульмане, довольные справедливым правлением, молят Бога о продолжении славы и могущества России; они добровольно спешат под знамена ее и с мужеством сражаются против врагов своего государя. Обещаю, что в случае добровольной сдачи вам сохранятся вполне обряды вашей религии, честь ваших семейств и ваша собственность, если же станете упорствовать — то напрасное пролитие крови падет на вас самих. Истреблю всех, кто поднимет против меня оружие, пощажу тех, которые изъявят покорность и мирно останутся в домах своих. Ожидаю ответа, который не замедлите доставить”.

Вот в ожидании этого-то ответа и результата своих прокламаций Паскевич и медлил походом.

Между тем, в полдень 24 июня, к Гассан-Кале подошел и весь действующий корпус. Полуденный зной давал себя чувствовать так сильно, что в войсках во время перехода было несколько случаев солнечного удара. Каменистая, покрытая илом земля горела под ногами, и слои серой пыли с головы до ног покрывал и людей и животных.

В Гассан-Кале не обошлось и без происшествий, показавших русским, насколько могут грозить им на каждом шагу измена и месть со стороны турецких патриотов. Ночью в городе вспыхнул пожар, грозивший страшными бедствиями, так как из горевшего здания солдаты успели выкинуть большое количество пороха. Если бы огонь успел дойти до него,— взрыв стоил бы жизни не одному десятку русских солдат, работавших на пожарище. Ветер между тем дул прямо на соседний дом, где ночевал главнокомандующий. Бросились будить Паскевича, и, к общему ужасу, в самих дверях его кабинета наткнулись на два большие бочонка пороха, которых с вечера никто не видел. Тотчас осмотрели соседние дома, но там ничего не оказалось. Злой умысел был очевиден — порох оказался турецкий. Но кто мог затеять это адское дело, когда в городе не было ни одного мусульманина? Пришлось предположить, что шайка злодеев скрывалась где-нибудь в подвалах и пользовалась потайными ходами, которых в Гассан-Кале было

немало. Только благодаря Промыслу здесь, как и в Зивине, Паскевич избежал явной опасности.

Еще не утихла ночная тревога, как на рассвете поднялась другая: с аванпостов дали знать, что впереди слышна сильная ружейная перестрелка. Послали разведочные партии, а между тем вся кавалерия села на коней. Но скоро дело разъяснилось, приехал войсковой старшина Калмыков, делавший ночью разъезд в соседние горы и доложил, что это он имел стычку с курдами и отбил у них с тысячу голов рогатого скота, потеряв при этом трех казаков — одного убитым и двух ранеными. Главнокомандующий потребовал его к себе. “А сколько их было?” — спросил Паскевич о курдах. “Да тысячи четыре было”,— отвечал войсковой старшина, разумея быков. Все ахнули: никто не ожидал, чтобы после двух поражений, испытанных турками, могла явиться четырехтысячная конница. Паскевич задумался. “Как! — воскликнул он наконец.— Их было четыре тысячи, и ты атаковал их одной сотней?”. Войсковой старшина окончательно растерялся. “Курдовс-то было всего сотни две,— отвечал он простодушно,— они ограбили жителей, а я ударил в пики, отбил с тысячу голов и пошел назад... А еще много-много скота осталось в руках у них”,— добавил он с сожалением. “Ну, спасибо, Калмыков, и за это,— весело сказал главнокомандующий,— на первый раз не мешало попугать разбойников”.

Случай этот, ничтожный сам по себе, показал, однако, с какой осторожностью нужно было нам высылать небольшие отряды, так как неприятель держался возле самого лагеря.

Ночная сумятица, пожар и тревога не помешали, однако, торжеству, назначенному еще с вечера на двадцать пятое число июня. Это был день рождения императора Николая Павловича, и войска в десять часов утра уже стояли под ружьем в красивой долине, над которой уединенно и угрюмо возвышала Гассан-Кале свои ветхие стены. Посреди долины, в зеленом шатре с приподнятыми полами установлена была походная церковь, и старший иерей в сослужении всего военного духовенства совершал литургию. Мусульманские полки стояли отдельно, вокруг аналоя, где был мулла и лежал священный Коран. В чужой земле, столько веков оглашавшейся с высоких минаретов лишь возгласами одних муэдзинов, шестнадцать тысяч русских воинов с сердечным умилением благодарили Бога за дарованные им победы и молились о здравии и благоденствии своего монарха. “Молебствие служилось уже вне палатки, под открытым небом, под сенью победных знамен. Когда при пении “Тебе, Бога, хвалим”, грянул пушечный залп,— он, казалось, будил тени римлян, первых обладателей Гассан-Кале,— и старая крепость, давно уже не дымившаяся порохом, отвечала на него дружным салютом. Зрителей было немного — два-три десятка местных жителей,— но как знаменательно было для них все то, что они видели, в чем так рельефно сказывалось торжество креста над турецким полумесяцем. По окончании молебствия перед войсками прочитан был приказ главнокомандующего:

“Снова обращаю к вам благодарный голос мой, войска закавказские, храбрые товарищи мои, едва переступили вы предел прошлогодних завоеваний, как многочисленный враг уже истреблен вами...

Трофеи двух достопамятных битв, славно исполненных в продолжении двадцати пяти часов, свидетельствуют о вашем мужестве неодолимом. Вы отняли у неприятеля всю его артиллерию, все снаряды, и запасы боевые, и продовольственные, девятнадцать знамен, до тысячи пятисот пленных, и самого военачальника турецкого Гагки-пашу, первого сановника после сераскира, славного в Азии и личной храбростью и военными способностями, взяли в плен. Столь полной победой обязан я вам, и на мне лежит священный долг повергнуть всемилостивейшему государю ваши труды и мужество. Вы

истребили врага совершенно; для вас открыт теперь путь в недра тех стран Азии, где две тысячи лет живет слава побед великого Рима. Идите тогда с радостью, достойные воины! Она, услышав гром вашего оружия, станет вам во сретение и позднейшее потомство с воспоминанием римских побед в Азии соединит и ваше доблестное имя”.

Войска слушали приказ с безмолвным благоговейным чувством; все знали достоверность событий и внутренне сознавали, что не случайности, а лишь неистребимому мужеству обязаны они своими необычайными успехами. Чтение приказа закончилось громким ура, пронесшимся по рядам торжествующего войска. Полки прошли церемониальным маршем и затем разошлись по своим палаткам. Военное торжество окончилось. После полудня весь русский лагерь предавался живому веселью и отдыху. Генералы и все штаб-офицеры обедали в этот день у главнокомандующего. Похода никто не предвидел, никто не ожидал, но он был близок. В самом начале обеда Паскевичу подали какую-то записку; он прочитал ее и положил в карман, не сказав никому ни слова, как будто бы полученное им известие не заключало в себе ничего значительного. Главнокомандующий был весел и словоохотлив. При громе пушек провозгласил он тост за здоровье государя, потом за храбрую русскую армию и наконец за будущие надежды. Но едва смолкли обычные звуки музыки, как главнокомандующий встал и объявил, что через час корпус идет к Арзеруму. В лагерь послали приказание бить сбор и выступать, оставив обозы и парки на месте. “Это по-цезарски” — замечает в своих записках Радожицкий.

Поводом к столь быстрому походу послужила записка, доставленная Паскевичу во время обеда; она была из Арзерума, от Мамиш-аги, который писал: “Муллы и почетные жители принимают ваше предложение, граждане готовы покориться, но сераскир и войска возбуждают в народе волнение. Идите и не давайте разгораться мятежным страстям, с которыми после трудно будет управиться”.

Паскевич решил немедленно идти к Арзеруму. В пять часов пополудни войска стояли уже в совершенной готовности к движению. Приехал Паскевич— и колонны тронулись с надеждой назавтра стать у ворот Арзерума.

XXV. ПОКОРЕНИЕ АРЗЕРУМА

Весть о поражении турецких армий быстро долетела до Арзерума, поразив все мусульманское население его страхом неожиданной и близкой опасности.

В городе поднялось невероятное смятение. Сераскир пытался было поддержать дух населения, разглашая повсюду весть о совершенном поражении русских, но скоро все иллюзии горожан были разрушены. По следам быстрой молвы появились бегущие из Гассан-Кала: турецкие войска, и преследующая их русская конница остановилась всего лишь в пятнадцати верстах от города. Тогда сераскир, не скрывая более горькой истины, обратился к народу с горячим воззванием. Призывая жителей на защиту веры, семейств и домашних очагов, указывая им на сильные подкрепления, спешившие со всех сторон к Арзеруму, он старался возбудить мужество населения, обещая, что Аллах благословит их усилия. Национальная гордость и религиозное чувство были затронуты. Восточные жители легко переходят от одних впечатлений к другим, и горожане теперь толпами ходили по улицам, призывая гибель на головы гяуров. А между тем в городе уже появились прокламации Паскевича, они призывали народ к порядку и к повиновению русскому вождю, который один располагал судьбами Анатолии.

Мамиш-ага, посланный Паскевичем, прибыл в город в сумерках 24 июня, но то, что он узнал здесь от людей к нему близких, обещало мало хорошего. Большая часть народа уже

стояла за упорную защиту города, и Мамиш-аге предстояло действовать с крайней осторожностью в отношении черни, всегда буйной и движимой первыми впечатлениями. Сообразив всю опасность и трудность принятой на себя задачи, он прежде всего обратился к Аян-аге, губернатору Арзерума. Тот обсудил все доводы, приведенные Паскевичем, все шансы к защите, которые были в распоряжении турок, и невольно согласился, что одна покорность может спасти и город и жителей. Тогда он созвал городских старшин и прочитал перед ними воззвание русского главнокомандующего, причем Мамиш-ага со всей убедительностью очевидца разъяснил, что средства русских велики, войска непобедимы, искусство полководца неимоверно. Живой рассказ соплеменника, уважаемого всеми за ум, прямодушие и твердость, не мог не произвести впечатления, и старшины единодушно положили склонять народ к добровольной покорности.

Однако же к буйным толпам, ходившим по улицам с криком: “Умрем за веру и пророка!” — было безрассудно явиться с категорическим предложением сдачи. Решено было прибегнуть к хитрости. Далеко за городом, на обширной поляне, стоял целый ряд палаток, занятых, как уверял сераскир, подходившими войсками, но Аян-ага знал отлично, что палатки были пустые и никаких войск в них не было. Ночью он приказал потихоньку снять их, а наутро, когда проснувшиеся жители не увидели на обычном месте военных шатров,— им объявили, что войска разбежались, и сам сераскир намеревается покинуть город, оставив жителей на произвол судьбы и победителей. Молва быстро разнеслась по всем концам города и опять вызвала общее смятение. Военный караул, стоявший на городском валу, бросил свои места; толпы запрудили площадь, наполнили все улицы и, видимо, не знали, что делать. Тогда арзерумские старшины явились среди них с воззванием русского вождя, убеждая народ пощадить кровь своих собратьев и народ, отуманенный страхом, с восточным фатализмом покорился этому решению.

Несколько почетных старшин вместе с губернатором города тотчас отправились к сераскиру объявить, что граждане желают сдать город. Пораженный неожиданным поворотом дела, сераскир долго старался отклонить их от этого решения то убеждениями, то угрозами и, наконец, сказал: “Делайте, что хотите, но я и мои паши не будем видеть этого несчастья: мы оставим город” — “Ты и твои паши в дни мира и спокойствия были нашими правителями, и теперь в дни бедствия должны разделить наш жребий,— отвечали старшины и объявили, что никого не выпустят из Арзерума. У сераскирских ворот тотчас поставлен был караул из жителей, а Мамиш-ага тайно отправил в русский лагерь гонца с известием о том, что происходит в городе. Это и была та самая записка, которую Паскевич получил двадцать пятого июня во время торжественного обеда.

Между тем русский корпус, ночевавший в этот день на реке Наби-Чай в двадцати верстах от Арзерума, с рассветом уже готовился двинуться дальше, но вдруг дали знать о прибытии двух турецких чиновников. В одном тотчас узнали Мамиш-агу, другой был Капиджи-баша, то есть начальник городских ворот. Они привезли от сераскира просьбу прислать уполномоченное лицо для заключения капитуляции, а Мамиш-ага кроме того вручил главнокомандующему письмо от арзерумских жителей.

“Мы совершенно поняли смысл присланной нам прокламации,— сказано было в этом письме.— Чувства великодушия и человеколюбия, вас отличающие, внушают вам намерение сохранить мусульман и невинные семейства, живущие в Арзеруме. Поэтому просим прислать к нам уполномоченного, дабы сераскир, паши, улемы и вельможи арзерумские могли вступить с ним в переговоры”.

Капиджи-баша словесно подтвердил всеобщую готовность арзерумских граждан к добровольной покорности, но заметил, что никак не ожидал найти наши войска так близко от Арзерума. “Сераскир и народ,— говорил он,— полагают, что вы еще далеко, под стенами Гассан-Кала, теперь, увидя русских у ворот Арзерума, буйная чернь легко может воспламениться фанатизмом, и тогда трудно будет ручаться за последствия”. К этим словам Капиджи-баша прибавил, что около Арзерума войска не найдут даже воды для лагеря, так как все родники находятся под выстрелами городской обороны и советовал Паскевичу вести переговоры отсюда.

Такая забота о русских интересах показалась главнокомандующему подозрительной. “Турки, кажется, желают задержать нас, но это им не удастся,— сказал он начальнику штаба и, обратясь к Капиджи-баши, прибавил: — именно только у ворот Арзерума я и предложу вам свои условия”.

Тотчас ударили подъем и войска тронулись. По пути Мамиш-ага нашел удобный случай сказать Паскевичу: “Вы хорошо делаете, что идете вперед. Сераскир с намерением отдаляет сдачу города под разными предлогами; он ожидает подкреплений — Кягьи уже идет из Аджарии. Мне нельзя было сказать вам это при товарище. Но вы сами поняли дело”.

За речкой Наби-Чай кончается Гассанкалинская равнина и начинается подъем на хребет Деве-Бойне, где дорога пролегает по узким горным ущельям. Порывистый, чрезвычайно сильный ветер и движение войск по известковому грунту подняли такую страшную пыль, что затемнили солнце, в двадцати шагах ничего нельзя было видеть.

В четырех верстах к востоку от города корпус остановился и занял позицию на берегу ручья с холодной ключевой водой. Далее воды действительно не было до самого фонтана, устроенного под выстрелами крепости.

Как только в Арзеруме заметили появление русских войск, часть турецкой конницы тотчас вышла из города и, рассыпавшись в поле, завязала перестрелку с казаками; войска между тем разбивали лагерь, а главнокомандующий готовил в это время ответ на письмо арзерумских граждан, которое Мамиш-ага и Капиджи-баши должны были доставить по принадлежности. Вместе с ними поехал и генерал-майор князь Бекович-Черкасский, уполномоченный вести переговоры и заключить капитуляцию.

Проводив посольство, Паскевич лег на бурку и устремил внимательный взор на окрестности. Резкий, холодный ветер, вырываясь из ущелья, порывисто проносился над его головой, но, казалось, не мог вывести его из задумчивости — он весь ушел в созерцание лежавшей перед ним столицы, и только по временам быстрый взгляд его, перебегая высокие минареты, углублялся в синеющую даль, будто желая проникнуть в самую глубь Анатолии. Прямо перед ним выдвигалась укрепленная высота Топ-Даг, пологим скатом подходившая к обширному предместью, за которым стояла крепость. Возвышенность эта командовала городом и могла считаться главным оплотом и ключом Арзерума. На вершине ее протянулись земляные шанцы, вооруженные пушками, и стояла часть неприятельской пехоты. К северу шла гряда гор, удаленная от предместий более нежели на два пушечные выстрела, а по другую сторону, на юго-запад, в тесной связи с городским кладбищем, возвышался отдельный продолговатый холм, также увенчанный целым рядом укреплений. Далее шли городские валы, крепость и наконец цитадель. И Паскевичу невольно должна была представляться мысль, что при единодушии жителей нелегко будет преодолеть стотысячное, на половину вооруженное население, стоявшее

под защитой полутораста пушек, которыми были унизаны оборонительные верки Арзерума.

А тем временем русский парламентер князь Бекович-Черкасский на глазах у всех уже приближался к городу. Его сопровождали оба турецкие чиновника, переводчик, два офицера — поручик Миницкий и сотник Медведев, пятнадцать линейных казаков и пять узденей большой Кабарды, служивших при князе телохранителями. Едва эта небольшая кучка всадников выехала за русскую передовую цепь, как с городского вала по ней открыли пушечный огонь. Не обращая внимания на выстрелы, Бекович продолжал ехать шагом. Но когда ядра стали чаще проноситься над головами казаков, то Каниджи-баша вместе с Мамиш-агой просили позволения отправиться вперед, чтобы остановить пальбу. Князь согласился. Через полчаса выстрелы смолкли, а вслед за тем вернулся Мамиш-ага, приглашая князя следовать далее. Причину вероломного поступка он объяснил своеволием нескольких праздношатающихся негодяев, которые, пользуясь удалением с батареей артиллеристов, захватили орудия.

Мамиш-ага привез с собой недобрые вести. В короткий промежуток времени, пока турецкие парламентеры ездили в русский лагерь, в настроении жителей успела уже произойти большая перемена. Голытьба, которой терять было нечего, нашла себе опору в распущенных, наполовину деморализованных солдатах сераскира и успела взволновать жителей, распуская слух, что в городе измена, сераскир арестован и что подкупленные старшины готовятся сдать Арзерум неверным. В городе в третий раз началось смятение. Обывательский караул, поставленный у ворот сераскирского дома, был прогнан солдатами и сераскир опять получил свободу действовать. Бушевавшая чернь угрожала теперь смертью всем, кого подозревала в сношениях с русскими, и магометанскому духовенству с трудом удалось уговорить толпу сохранить спокойствие при въезде в город русского парламентера.

При таких обстоятельствах въезжал в Арзерум князь Бекович-Черкасский. Миновав предместье и двое крепостных ворот, он продолжал свой путь по тесным, извилистым улицам, среди народа, стоявшего шпалерами. Глубокое молчание царило в толпах, с любопытством смотревших на покорителей Карса и Ахалцихе. На многих лицах изображалось явное озлобление, однако тишина и порядок нарушены не были. В центре города Бековича встретил сераскирский чиновник, который, поздравив его с благополучным приездом, просил остановиться во дворце. Бекович учтиво отклонил это предложение, объявив, что остановится у Семед-аги, одного из сыновей прежнего арзерумского губернатора. В доме этом, приготовленном для русских предусмотрительностью Мамиш-аги, Бекович и вся его свита были введены в обширную, опрятно убранную комнату, где, по обычаю Востока, им тотчас предложили щербет, варенье, кофе и трубки. Несколько турок, присутствовавших тут, держали себя скромно и сдержанно. Но едва все общество, после взаимных приветствий, расселось на широких тахтах, как на улице послышался шум; народ с криком: “Подайте нам посланника!” — окружил дом, занятый Бековичем. Присутствовавшие турки украдкой, но внимательно следили за Бековичем, желая подметить, какое впечатление произведут на него угрожающие крики. От этой критической минуты зависело многое. Князь неторопливо подошел к окну и, обратясь к народу, спросил, чего он хочет. “Мы никому не позволим попирать наши законы и веру!” — кричала толпа. “Хорошо сделаете,— ответил ей Бекович,— но рассудите, если русские войдут со штыками, они не оставят камня на камне. Что тогда будет с вашими семьями? Неужели вы хотите подвергнуть себя, жен и детей ваших убийству, когда сераскир только и думает, как бы уйти от вас?” — “Как уйти? Куда?” — послышались недоумевающие возгласы. “Пойдите, убедитесь сами”,— сухо сказал Бекович и отошел от окна.

Слова князя окончательно озадачили чернь. Толпа повалила ко дворцу и, убедившись, что имущество сераскира, более чем на миллион пиастров, действительно вывезено из Арзерума, тотчас распорядилась снова поставить караулы на всех заставах и никого не выпускать из города.

Между тем был уже поздний вечер. От сераскира два раза присылали к князю Бековичу просить его пожаловать во дворец для начала переговоров, но Бекович под предлогом усталости, отклонил это свидание до девяти часов утра. Прежде всякого разговора с сераскиром ему нужно было объясниться с городскими старшинами, так как власть первого, при столь сомнительном положении дел, не могла простираться далеко. Вскоре комната генерала начала наполняться агаларами, кадиями, муфтиями и старшинами. Одни являлись, другие уходили; мысли каждого об условиях сдачи были различны. Сильное сомнение, недоверчивость и страх были написаны на многих лицах. Князь Бекович, в совершенстве владевший туредким языком, употребил все перлы восточного красноречия, чтобы убедить их в необходимости безусловной покорности. Наконец, после долгих и жарких прений, старшины склонились к тому, чтобы на другой день после того как Бекович вручит сераскиру письмо главнокомандующего и возвратится домой, раскрыть в присутствии всех старшин привезенное к народу письменное предложение Паскевича, и уже по прочтении его дать решительный ответ. Этим и окончились переговоры двадцать шестого июня.

На другой день еще не взошло солнце, а толпы мусульман в полном вооружении уже снова мрачно бродили по улицам Арзерума. Беспокойное ожидание роковой минуты живо изображалось на всех лицах. В восемь часов утра сераскир прислал за князем Бековичем отличного арабского жеребца под богатым седлом, что служило знаком особенной почести. Вся русская свита отправилась также верхами. Ее сопровождало множество сераскирских слуг и несколько чиновников, шедших пешком у стремени Бековича. Сераскир ожидал посольство во внутренних покоях дворца, окруженный пашами, улемами и знатнейшими сановниками. При входе Бековича все встали, и сераскир сделал несколько шагов навстречу генералу. Проговорив обычное приветствие, князь Бекович вручил сераскиру письмо главнокомандующего и потребовал несколько минут аудиенции. Когда они остались наедине, печать рокового письма была сломана — и сераскир, быстро пробежав первый строки, изменился в лице: русский главнокомандующий требовал, Чтобы он, паши и войска признали себя военнопленными. Категоричное требование смутило старого шестидесятилетнего воина. Облеченный почти царской властью в обширном кругу управления, повелитель всей Турецкой Армении, сераскир был поражен предстоявшей ему участью пленника.

— Это невозможно,— сказал он в сильном волнении,— мы сдадим город, но я и мои паши должны быть свободны.

— Если вы надеетесь на свои силы,— отвечал князь Бекович,— то защищайтесь, но знайте, что тогда подвергаете город и жителей истреблению. Пример Ахалцихе у вас перед глазами. Граф не желал кровопролития, он требовал покорности, но жители упорствовали и были наказаны.

— Хорошо,— сказал сераскир,— но я прошу три дня на размышление.

— К сожалению,— возразил Бекович,— в моем распоряжении только два часа. Если к этому времени крепость не сдастся — граф будет штурмовать город.

— Что же мне делать? — спросил сераскир дрогнувшим голосом.

— Примите честный плен,— отвечал Бекович,— жребий войны против вас, но если вы безусловно отдадитесь покровительству графа Паскевича, то не лишитесь ни вашего достоинства, ни вашего имущества.

После недолгого колебания сераскир согласился. Но это согласие было притворно, совершенно другие мысли занимали турецкого военачальника, уже вознамерившегося искать последнего спасения в народном восстании.

От сераскира русское посольство возвратилось в собрание старшин для объявления ему воли главнокомандующего. Паскевич обещал всем жителям личную безопасность, неприкосновенность имущества, уважение к церкви, обрядам и обычаям, но требовал, чтобы крепость, цитадель, знамена, пушки, арсеналы и все магазины были сданы русской армии, чтобы все военные чины, начиная с сераскира и кончая последним солдатом, признали себя военнопленными, а горожане сложили оружие и сдали бы его в арсенал, где оно будет храниться до заключения мира. В случае отказа принять эти условия главнокомандующий угрожал разорением города.

Было уже десять часов утра. Бекович предложил старшинам объявить эти условия народу, а между тем теперь же отправил от себя депутата к Паскевичу с известием, что сдача Арзерума во всяком случае последует не позже четырех часов пополудни. Срок этот показался, однако, главнокомандующему слишком отдаленным; он увидел в нем тайное намерение затянуть время до вечера, чтобы отнять у русских возможность штурмовать Арзерум в тот же день, а потому отправил депутата назад и к прежним условиям прибавил еще два новые. Первое: что крайний срок сдачи назначается на три часа пополудни, и если к этому времени не будут доставлены городские ключи, то и самая покорность не спасет города от занятия его войсками по праву войны; и второе: чтобы сераскир приказал войскам немедленно очистить Топ-Даг; в противном случае пребывание их там будет принято за начало военных действий. Эти условия повез в Арзерум капитан Корганов, которому приказано было передать их Бековичу.

Князь Бекович тотчас отправился к сераскиру и объявил ему волю главнокомандующего. Но сообщить ее бушующей черни, а тем более очистить Топ-Даг, занятый войсками, вышедшими уже из повиновения, оказалось невозможным. Тогда Бекович приказал Корганову ехать назад и доложить Паскевичу, что если к трем часам пополудни депутация с городскими ключами не будет в русском лагере, то штурм неизбежен. “Обо мне лично,— добавил благородный Бекович,— пусть граф не беспокоится: город защищаться долго не может, а дом, в котором я нахожусь, настолько крепок, что даст мне возможность с двадцатью храбрыми товарищами выдержать в продолжение нескольких часов нападение черни”.

Смятение в Арзеруме между тем все более и более усиливалось. Уже окончились два часа, данные народу на размышление, а тысячи граждан, движимых то страхом, то фанатизмом, не могли еще прийти ни к какому соглашению. Тайные подстрекательства со стороны сераскира разжигали массу, и без того уже крайне возбужденную. Дикие крики поднялись во всех концах города. На улицах появились какие-то фанатики, то приглашавшие народ именем Магомета спешить на батареи для защиты города, то требовавшие выдачи им голов русского посла и его свиты; старшины уже не находили мер к обузданию мятежников и сами вынуждены были прибегнуть под защиту русского посольства. Турецкие власти, опасаясь, чтобы князь Бекович не сделался жертвой неистовства черни, спешили предупредить его об опасности и советовали тайно бежать из города, пока было время. Но князь с презрением отверг эти предложения. Как уроженец Кабарды, выросший среди воинственного племени, он не боялся смерти; как русский генерал он должен был

твердо довести до конца свою миссию, и в случае надобности отдать свою жизнь при исполнении священного долга.

Вдруг по городу пронеслась весть, что русские штурмуют передовые укрепления, и возбуждение народной ярости достигло крайних пределов. Толпа бросилась к дому Бековича, дерзко требуя его головы. Некоторые взбирались под самые окна, чтобы стрелять в них, другие ломали ворота. Конвой Бековича приготовился к защите. Замечательно, что хозяин дома Семед-ага, свято соблюдая права гостеприимства, вместе с братьями и вооруженной прислугой явился к Бековичу и сказал ему: “Вы ели с нами хлеб, и мы готовы защищать вас в нашем доме до последней капли крови”. Минута действительно была роковая. Тень деда Бековича, погибшего в Хиве почти при тех же условиях, растерзанный труп Грибоедова в бою с неистовой тегеранскою чернью кровавым призраком вставали перед глазами русских. Но князь умел презирать опасность. С полным присутствием духа он вышел на балкон и громким спокойным голосом сказал народу:

“Слушайте! Я вижу направленные в меня дула ваших ружей, но я не боюсь их. Знайте, что потеря меня ничего не значит для русских — на место мое найдутся тысячи, но от штыков их вы никуда не уйдете и испытаете злосчастную участь Ахалцихе. Сообразите, что русские возьмут Топ-Даг и придут сюда прежде, чем вы успеете одолеть моих защитников и даже убить меня самого. Я знаю закон ваш и напомню вам слова священного Корана: противно магометанской вере, которую вы исповедуете, напрасно проливать кровь правоверных и подвергать мечети и храмы Магомета разрешению, а это случится неминуемо, если вы будете упорствовать. Теперь — поступайте как знаете”.

Величие и твердость духа в опасности как и всегда подействовали на толпу — она была поражена мужеством генерала и силой его убедительного слова. Рев бури сразу перешел в тихий рокот, и волнение улеглось. В эту самую минуту на высотах Топ-Дага блеснули русские штыки и, как отдаленная зарница, обещая грозу, напомнили безумной толпе, как близка ее гибель. И народ в страхе пустился бежать по домам. Казалось все успокоилось, как вдруг возникло новое препятствие: явилась толпа арнаутов, составлявших гарнизон цитадели, и потребовала, чтобы Бекович заставил сераскира заплатить им жалованье — иначе они не соглашались сложить оружие и не давали ключей цитадели. “Хорошо, я прикажу ему”,— ответил Бекович, и один поехал во дворец сераскира. Народ везде расступался и пропускал его. Дело шло о ничтожной сумме, всего о каких-нибудь шестистах рублях, и деньги были уплачены. Но происшествием этого памятного дня еще не суждено было окончиться. В то время, когда князь Бекович выезжал из Арзерума, сопровождаемый почетнейшими старшинами, кадиями и муфтиями, несколько пришельцев, бежавших из покоренных крепостей и не имевших в Арзеруме ни семей, ни имущества, бросились на городскую батарею и открыли огонь по русским войскам. Не имея возможности проехать через восточные ворота, занятые мятежниками, князь Бекович должен был избрать другую дорогу через северное предместье и опоздал на несколько минут против назначенного срока. Но это промедление едва не стоило жизни сотням арзерумских граждан.

Вот что в этот день происходило в русском лагере.

Заря 27 июня застала Паскевича уже на коне и в поле. Он с видимым волнением ожидал результата миссии князя Бековича, так как рассвет этого дня назначен был им предельным сроком для сдачи Арзерума. Но солнце поднималось все выше и выше, а от князя Бековича не было никакого известия. Между тем с Топ-Дага стали стрелять батареи, и ядра ложились вокруг русских аванпостов, где был Паскевич. Кто-то сказал ему, что 27

июня — годовщина Полтавского боя и что в этот день русское оружие должно увенчаться новыми лаврами. “Дай Бог, чтобы только обошлось без крови”,— заметил на это главнокомандующий. Прошло еще несколько часов томительного ожидания. Но вот ему доложили о приезде турецкого депутата, присланного старшинами города. Граф выслушал его объяснения и отправил назад вместе с капитаном Коргановым, потребовав, как было сказано, чтобы сдача совершилась не позже трех часов пополудни и чтобы Топ-Даг немедленно был очищен. Время опять потянулось с необычайной медленностью; никто не знал, что происходит в городе, и хотя главнокомандующий вполне полагался на мужество и политический такт князя Бековича, однако войскам приказано было быть в готовности к бою. Наконец, когда вернулся Корганов с известной запиской Бековича, и граф Паскевич убедился, что турки добровольно Топ-Дага не очистят, он приказал взять его штурмом.

Колонна генерала Панкратьева — три батальона егерей, Кабардинский и Севастопольский пехотные полки, казачья бригада и сорок два орудия — двинулась на приступ. Она шла с музыкой, с барабанным боем, с распущенными знаменами, и являла собой поистине устрашающее зрелище. Турки встретили ее довольно сильным орудийным огнем; но русские шли без выстрела, и неприятель после нескольких минут колебания, бросив топдагские высоты, побежал в город, покинув на валу пять орудий, которые не успел увезти с собой. Топ-Даг был взят, и русская сорокаорудийная батарея, вытянувшись в линию, обратила свои страшные жерла на город. С полчаса длилось обоюдное гробовое молчание, как вдруг неприятель открыл огонь и ядра стали ложиться возле свиты Паскевича. Генерал Гилленшмидт, подъехав к главнокомандующему, доложил, что батареи готовы, и спросил, не прикажет ли он начинать. “Подождите,— ответил Паскевич,— я дал сераскиру слово ждать до трех часов и сдержу его”.

До условленного срока оставалось только шесть минут. Но вот ударило три часа, и сорок два орудия загремели по городу. В этот самый момент из ворот северного предместья показался князь Бекович с городской депутацией. С русской стороны огонь тотчас прекратился, но турки продолжали стрелять, и депутатам, оставившим своих лошадей у подошвы Топ-Дага, пришлось подниматься наверх под турецкими ядрами. Это им не понравилось, и они сами просили Паскевича заставить замолчать батареи. Между тем турки направляли огонь туда, где был главнокомандующий, и ядра то пролетали над его головой, то делали перед ним рикошеты. “Что они в самом деле дурачатся,— сказал Паскевич.— Стрелять!” Залп разогнал мятежников, но, покидая предместье, они, как бы в отмщение жителям, бросили огонь в пороховой погреб — и взорванная батарея взлетела на воздух.

Когда выстрелы смолкли, старейший из депутатов, Аян-ага, поднес Паскевичу городские ключи и в короткой речи изобразил чувства арзерумского народа, совершенно отдающего себя на волю победителя. Как раз в это время из города показались еще два какие-то всадника: оба они были в монашеской одежде, и один из них высоко поднимал серебряное распятие. Это был знаменитый армянский архиепископ Карапет. Как христианский пастырь, он не мог принять участия в общей депутации мусульманского города, и ехал один, сопровождаемый лишь монастырской служкой. Поднявшись на Топ-Даг, он с высоты холма благословил христианское войско и приблизился к Паскевичу. Главнокомандующий с глубоким благоговением приложился к святому кресту, обнял маститого архиепископа и затем снова обратился к турецкой депутации. Аян-ага просил, чтобы граф в их присутствии утвердил своей подписью условия капитуляции. Акт, составленный в Арзеруме, был совершенно тождествен с условиями, которые предлагал Паскевич, за исключением только одного пункта, выговаривавшего свободу пашам и сераскиру. Прочитав бумагу, главнокомандующий под ней же написал собственноручно;

“Утверждаю все пункты капитуляции, исключая свободу сераскира и пашей — они должны остаться военнопленными”. Никто из депутатов противоречить не осмелился.

Таким образом, участь Арзерума была решена, и сам сераскир не избежал плена. А между тем в эти минуты в далеких покоях своего сераля сераскир все еще мечтал о свободе и сопротивлении. Он только что послал в Константинополь двух курьеров, уведомляя султана, что русские через несколько часов возьмут Арзерум, но сам он отправляется в Диарбекир, где рассчитывает в течение двадцати дней собрать новую пятидесятитысячную армию и просил о присылке к нему полевых орудий, необходимых для скорейшего возвращения потерянной столицы. Сераскир прибавлял, что если Порта пренебрежет столь необходимыми мерами, то русский корпус, под предводительством такого полководца, поступки которого по отношению к мусульманам знаменуются только великодушием и милостью, может вскоре явиться и перед Скутари. Потерю Арзерума он приписывал измене жителей, будто бы обольщенных прокламациями Паскевича.

Около пяти часов вечера, как только капитуляция была подписана, колонна генерала Панкратьева, заблаговременно одетая в полную парадную форму, заняла Арзерум. Войска, с распушенными знаменами и музыкой, вступили через карсские ворота; они шли в боевом порядке, имея впереди густую цепь стрелков, которая очищала дорогу. Кабардинский полк тотчас занял наружные укрепления, а Севастопольский остался в резерве у карсского входа. Генерал Панкратьев лично вел егерей по извилистым и тесным улицам города к воротам цитадели. Некоторые жители выносили из домов навстречу проходившим войскам молоко, мед, плоды, и странным казалось им, что солдаты, шедшие в строю, не принимали угощения; строгая дисциплина была совершенно чужда понятиям турок. Женщины, закутанные в длинные чадры, робко выглядывали из-за решетчатых окон своих гаремов, но многие, не выдерживая, сбрасывали с себя покрывала и хлопали в ладоши. “Это здесь, конечно, стоило тех роз, которыми осыпали нас германские красавицы в Лейпциге”,— заметил один из очевидцев.

Так было в предместьях и в крепости, но едва войска стали приближаться к цитадели, как толпа арнаутов затворила ворота и издали стала кричать, что не отдаст ее русским. Панкратьев тотчас известил об этом Паскевича. “Очистить дорогу штыками” коротко отвечал главнокомандующий. Войска пошли вперед, и глухие перекаты барабанов, разом сменившие в полках веселую музыку, смутили дух арнаутов настолько, что они поняли бесполезность борьбы и отворили ворота.

Было семь часов вечера, когда христианское знамя впервые, после павшего здесь много веков тому назад владычества римлян, опять развернулось на башне Арзерума. С Топ-Дага увидели его и приветствовали криком “Ура!” и пушечными выстрелами.

Заняв цитадель, Панкратьев с ротой сорок второго егерского полка тотчас отправился в дом сераскира. Шестидесятилетний старик, за несколько часов перед тем самовластно повелевавший судьбами Азиатской Турции, принял его в глубоком унынии. Панкратьев обошелся с ним с подобающим уважением, однако поставил при нем караул и объявил, что от этой минуты действия его, как сераскира, прекращаются, и что отныне все его распоряжения должны согласоваться с волей русского главнокомандующего.

“Да будет так, если то угодно року”, — отвечал сераскир и передал Панкратьеву свой повелительный жезл, знамя с принадлежавшими к нему бунчуками и знамена трех бывших под его начальством пашей.

В то время как описанная сцена происходила в серале, солдаты нашли под главной батареей цитадели обезглавленный труп последней жертвы деспотической власти сераскира. Это был лейб-медик его, армянин, казненный поутру, как говорили, за совет, данный им своему повелителю, безусловно покориться русским.

Кроме знаков сераскирской власти, в Арзеруме взяты были еще булава и два жезла, принадлежавшие Кягьи-беку, двадцать девять войсковых знамен и бунчуков, сто пятьдесят орудий и две огромные медные мортиры, изготовленные для двенадцатипудовых бомб. В крепости войскам достались обширные магазины, арсеналы, драгоценная библиотека с редкими восточными манускриптами и, наконец, знаменитые английские часы, снятые с главной городской мечети, и теперь красующиеся над фронтоном здания Кавказского окружного штаба в Тифлисе. Судьба этих часов весьма любопытна. Они были подарены городу английскими купцами, и жители выстроили для них даже особую красивую башню. Но после того, как раздался первый удар их, гулко пронесшийся по целому городу, возмущенные муллы увидели в этом соблазн для правоверных и стали пророчествовать, что бой часов, возвещавший торжество христианского колокола, будет причиной разрушения города. Часы тогда же были испорчены, и до прихода русских в огромных колесах их заброшенного механизма голуби спокойно вили свои гнезда.

Так главный город азиатской Турции покорно склонил свою голову перед всепоражающим блеском русского оружия. “Славная столица Анатолии, Арзерум, со стотысячным населением, с его высокой, крепкой цитаделью и огромной крепостью,— доносил государю Паскевич,— пала к стопам Вашего Императорского Величества. 27 июня, в день достопамятной битвы Полтавской”.

Ответом на это донесение служил Высочайший рескрипт на имя графа Паскевича, и покорителю Арзерума пожалован был орден св. Георгия 4-го класса.

С занятием столицы Анатолии главнейшей заботой Паскевича было восстановить в покоренном городе порядок, спокойствие и безопасность. Эта трудная задача была возложена им на генерала Панкратьева, облеченного в звание военного губернатора Арзерумской области. Панкратьев прежде всего потребовал разоружения граждан, и жители приняли это решение покорно, причем старшины просили, однако, удалить из города пашей и сераскира, которые втайне продолжали волновать народ. Панкратьев донес об этом Паскевичу, и главнокомандующий приказал перевести их в лагерь. В полдень тридцатого июня, за карсскими или восточными воротами города, там, где были разбиты палатки главной квартиры, стоял весь Эриванский полк под ружьем, а перед фронтом его — четыре орудия, снятые с передков и наведенные на город. Множество русских офицеров в парадной форме и несколько турок, одетых весьма нарядно, толпилось перед ставкой главнокомандующего; тут же солдаты держали санджак и турецкие знамена в кожаных чехлах, а в стороне четыре арнаута водили прекрасных арабских жеребцов, на которых приехали сам сераскир и трое пашей, вывезенные сегодня из Арзерума.

Сераскиру назначено было явиться к графу рано утром, чтобы избежать полуденного зноя, но он собирался в путь очень медленно и заставил ждать себя долго. Тем не менее, знаменитый пленник был принят в лагере со всеми почестями, подобающими его высокому сану. Граф вышел к нему навстречу в полном мундире, в голубой ленте, со всеми орденами и знаками отличия, приобретенными им в течение своей славной и долгой военной деятельности. Сераскир, напротив, одет был запросто, в красном халате и пестрой чалме, с длинными распущенными сзади концами. После короткой беседы

Паскевич проводил его в особую зеленую ставку и приказал подать трубку. Спустя несколько минут он вышел и распорядился, чтобы тотчас же принесли сераскиру все его вещи и никого к нему не допускали. Почетный караул обратился в обыкновенную стражу.

Трех остальных пашей поместили вместе в особой палатке, разбитой вблизи сераскирской. Один из пашей, уже старик, по имени Абут, хлопотал только о том, чтобы ему позволили взять своих людей и не разлучали с товарищами; другой, черный как негр, Ахмет, был очень грустен и задумчив, его волновали воспоминания об оставленных красавицах его гарема; а третий, знакомый нашим войскам со времени Бардузского дела, маленький, круглый и веселый Осман-паша, беспечно развалившись, хохотал над своей участью и, кажется, “плевал в бороду” постигшему его несчастью. Это был истинный, беззаботный философ. Русские офицеры, обступившие пашей, больше всего и занимались с любезным Осман-пашой.

— Почему вы так дурно защищали Арзерум? — спросил его кто-то.

— Карс славен был у нас твердостью стен, Ахалцихе— храбростью жителей, Арзерум — хорошенькими женщинами. Какой же защиты хотели вы от такого города? — отвечал Осман.

— Но у вас было много войска, а нас посмотрите как мало.

— Ваш генерал побеждает не силой, а разумом,— ответил паша.

1 июля, в день рождения императрицы, под стенами покоренного города, отслужено было молебствие, глубоко врезавшееся в память всех присутствующих. В этот день звон церковного колокола впервые, после векового молчания, огласил окрестные поля Арзерума, и плавный гул его с каждым ударом возвещал правоверным торжество над ними христианского оружия. Армяне и греки плакали от умиления.

После молебствия перед войсками прочитан был следующий приказ главнокомандующего:

“Друзья-товарищи!

Ваши труды, ваши славные победы девятнадцатого и двадцатого июня увенчались самым блистательным образом. Вы не дали отдохнуть и опомниться врагу, вами разбитому. Быстро преследуя его, вы на четвертый день явились перед стенами крепости Гассан-Кале — некогда твердыни римской. И враг не осмелился поднять бесславного меча своего; он робко бежал, оставив вам крепость со всем вооружением и запасами. Еще два дня — и вы под стенами Арзерума, и гордый старейшина городов азиатской Турции униженно пал перед вами. Знаменитый, день Полтавской битвы отметится в летописях отечественной истории новым славным событием.

Беспредельная преданность ваша царю и отечеству познается вашим мужеством, а мужество ваше свидетельствуют знаменитые пленники и трофеи славных побед ваших. Сераскир, глава земли здешней, и воинство, с четырьмя своими пашами, в руках ваших; более полутораста орудий и все многочисленные запасы боевые и продовольственные отняты вами.

Радуйтесь доблестью вашей, храбрые товарищи мои! Чувство благодарности моей к вам превыше выражений!”

Затем главнокомандующий со всеми офицерами направился к турецким знаменам, развевавшимся перед его палаткой. Их было семь. Одно из них, главное, служившее символом власти самого сераскира — был богатый зеленый санджак, сделанный наподобие знамени Магомета, с бахромой и золотым бордюром, на котором красовалась вышитая малиновая надпись из Корана. Древко его с большими висячими шелковыми кистями оканчивалось вызолоченной рукой, к которой привязано было что-то вроде ковчега, сделанного из чистого золота и хранившего в себе небольшой Коран как талисман победы. Кто-то шутя заметил, смотря на этот ковчежец, что Коран обветшал и потерял свою чудодейственную силу.

При этом знамени находились три красивые бунчука, принадлежавшие также к сераскирским регалиям, это были золотые булавы с розовыми хвостами, красиво переплетенными белым, черным и красным конским волосом. Далее стояли три знамени пашей — два малиновые и одно зеленое с золотом. “Смотрите на эти трофеи,— говорил Паскевич окружающим,— это плоды славных побед, приведших вас к Арзеруму”.

От знамен граф прошел в палатку к сераскиру. Старый военачальник сидел на богатом ковре поджав ноги, обложенный подушками; рядом с ним помещался его эфенди-дефтердарь, худощавый старик с черной бородой, в белой чалме и зеленом халате; позади стояло трое красивых пажей с опахалами; тут же присутствовали какой-то мулла, дервиш и четыре прислужника: один держал трубку, другой кисет с табаком, третий — золотой кувшин с подносом, четвертый — полотенце. “И все эти лица,— замечает Радожицкий,— были сгруппированы точь-в-точь, как у нас обыкновенно группируют пашей в балетах”. Паскевич сел на стул перед сераскиром и через переводчика сообщил ему о новой победе, одержанной русскими в Европейской Турции над верховным визирем, который был разбит при Кулевче. Сераскир глубоко вздохнул. “Видно, пророчество Магомета сбывается,— заметил он своему дефтердарю,— турки должны быть побеждены христианами, а затем вскоре последует и конец миру”.

3 июня сераскир со всеми пашами отправлен был в Тифлис, а 7-го Паскевич праздновал взятие Арзерума большим военным парадом. Пока войска строились на цареградской дороге, главнокомандующий принимал, в сераскирском дворце весь генералитет, всех офицеров и знатнейших турецких сановников. Паскевич был весел, доволен, ласково разговаривал с присутствовавшими; но все заметили его необычайную рассеянность. Он, казалось, внимательно слушал то, что ему говорили, но нередко отвечал совсем не то, что его спрашивали. Он, видимо, был занят какими-то соображениями. “Все пустяки! Они (турки) потеряли дух, бегут и не хотят драться с нами!” — вот фраза, которую он повторял чаще других. “Действительно,— замечает один из современников,— обязанность Паскевича в то время была велика, и ему было о чем подумать: безопасность Закавказского края лежала на нем одном. Пускаясь с небольшими средствами на великие предприятия, он должен был безошибочно сообразить настоящее с будущим и присутствовать умом не в одном Арзеруме, но также в Тифлисе, Баязете, Дагестане, Ахалцихе, Гурии и между кавказскими горцами, и нигде не уронить чести русского оружия”. На этом выходе военный, губернатор города, генерал Панкратьев, представил ему, между прочим, Мамиш-агу, как главного деятеля, которому русские обязаны бескровным покорением Арзерума. Паскевич приказал подать золотую медаль на голубой ленте и возложил ее на агу. “Но ага не был весел,— говорит один очевидец,— он растерялся и все время стоял с опущенными глазами, вероятно, предчувствуя, что лента, обвивавшая шею его, превратится в роковую петлю, как только русские оставят Арзерум, и, кажется, заранее прощался со своей головою”.

По окончании выхода главнокомандующий отправился к войскам, где его ожидала уже тысячная масса народа, привлеченная любопытством невиданного зрелища. Молебствие совершалось на открытом воздухе. И с каким торжеством армянское духовенство, участвовавшее в сослужении, впервые развернуло свои хоругви и украсилось ризами, чего не смело делать при турецком правительстве. Два григорианские архиерея в богатых митрах, с красивыми жезлами, безмолвно и неподвижно стояли по сторонам русского протоиерея; их взоры были опущены долу и они горячо молились за тех, кто дал им право молиться всенародно перед лицом своей паствы, под ясным небом своей родины.

За молебствием последовало церемониальное вступление русских войск в Арзеруме. Впереди всех ехал Паскевич с начальником артиллерии и князем Бековичем-Черкасским, за ним шли полки и по тесным, грязным азиатским улицам выходили на единственную в городе площадь, где собраны были все старшины, беки, кадии и муллы в разноцветных шубах, полученных ими в дар от русского главнокомандующего. “Все эти важные турки в больших красных сапогах,— рассказывает один очевидец,— двигались медленно, как травяные жуки”. Граф с лошади сделал им рукой приветствие, и они, погладив свои длинные бороды, изъявили тем полное удовольствие, но угрюмые лица их скорее напоминали медведей, которых заставляли плясать поневоле. Множество женщин, окутанных чадрами, стояло на плоских крышах и с любопытством смотрело на суровых пришельцев севера. Музыка и особенно зурна, сопровождавшая татар, им очень нравилась, но зато мужьям и братьям их крепко не нравились наши лихие мусульманские полки, на которые они смотрели, “выворачивая бороды” и посылая им вслед проклятия, как вероотступникам. Армянские сарбазы, наряженные в смешные персидские костюмы и красные шапки, были для всех забавны; армянки с крыш указывали на них пальцами и хохотали, не узнавая своих соплеменников. Тут же пропародировало и человек десять конных курдов в пестром и широком одеянии...

У главнокомандующего был в этот день парадный обед, на котором присутствовали весь русский генералитет, начальники отдельных частей, армянские архиепископы, турецкие сановники и представители различных азиатских народностей, входивших в состав действующего корпуса. И посреди этих блестящих русских мундиров, посреди пестрых и ярких восточных костюмов невольно бросались в глаза скромный фрак русского поэта и рядом с ним грубая черкеска простого чеченского наездника. Этот поэт — был А. С. Пушкин, этот наездник — знаменитый Бей-Булат, гроза Кавказской линии, убийца Грекова и Лисаневича, добровольно явившийся в Арзерум служить под знаменами Паскевича. “Вот как судьба играет людьми,— замечает по этому поводу Радожицкий,— думал ли я когда-нибудь сидеть в Арзеруме за одним столом с тремя историческими личностями: великим полководцем, знаменитым поэтом и славным разбойником”.

День закончился блестящей иллюминацией, фейерверком и шумным весельем в русском лагере. Так отпраздновали войска целый ряд блестящих побед, венцом которых служил Арзерум. Память об этом славном событии сохранилась и поныне в следующей бесхитростной солдатской песне:

Государевы солдаты
Говорят промеж себя:
Трудно быть нам в Арзеруме,
Но мы выкажем себя,
Но мы будем в Арзеруме,
Хоть, примерно говоря,
Этот город у султана,
То ж, что Питер у царя.

Будь он золотом унизан
И брильянтами мощен,
Будь как ранец плотно пригнан,
И как перевязь лощен —
Но едва лишь граф Паскевич
Громким голосом вскричит:
“Взять его мне, братцы, духом!” —
Так он мигом затрещит.
Ведь не так ли нас начальство
К Ахалцихе подвело —
Турки плюнули картечью,
И сражение пошло.
Как пошло оно,— им перцу
Закатили старики,
И все вражье генеральство
Посадили на штыки.
Так неужели сераскира
Не закрутим мы смерчом?
Эка, невидаль какая!
Он нам просто нипочем!
В самом деле, старичишка
Мерз со страху, словно лях,
И едва завидел графа,
Графу в ноги чебурах!
И взмолился по-каковски,
И об землю стукнул лбом,
И своим поганым царством
Государю бил челом.
О, тогда-то лишь солдаты,
Так забравшись далеко,
Догадались, что для русских
Все возможно, все легко.
Что когда царь слово скажет,
Да начальником у них
Быть Паскевичу прикажет,
То враги и “Ах!” и “Их!”
Что с таким вождем-героем
Их в поход лишь поведут,
Они солнце завоюют,
Месяц за пояс заткнут;
И хватая с неба звезды,
Их потом в святую Русь
Перешлют к своим родимым
Вместо жемчуга и бус!

И действительно, никогда еще русское оружие не достигало на Востоке столь отдаленных пределов, и никогда со времен владычества мусульман в Малой Азии Арзерум не видел в своих стенах христианского войска. В четырнадцать дней граф Паскевич прошел до полутораста верст, перешагнул через два высокие горные хребта, рассеял две турецкие армии, взял в плен обоих главнокомандующих, покорил многолюдную укрепленную столицу Турецкой Армении и ниспроверг власть Оттоманской Порты в самом центре могущества мусульман на Востоке. И все эти подвиги стоили русским из

семнадцатитысячного корпуса не более ста человек убитыми и ранеными, да двух умершими от болезней.

В этой борьбе ясно сказалось, что новая Азия до последних времен сохранила величайшее сходство в нравственном отношении с Азией древней. Читаете ли вы историю завоеваний римлян, следите ли за победами Македонского, повсюду изумляет вас одинаково разительное влияние событий на умы и дух азиатского народа. Как прежде, так и теперь одна победа пролагала путь к новым; как прежде, одно завоевание вело за собой последовательно другие, и сила победителей неимоверно быстро как бы узаконивала владычество их над краем. Только при знакомстве с этой чертой азиатского населения исполинские шаги Александра Великого, торжество оружия римлян и русские победы Паскевича в Азии становятся понятными, не содержащими в себе ничего чудесного. В умении понять дух Востока заключается главная заслуга Паскевича и объяснение его громких побед.

XXVI. ГЕРОЙСКАЯ ЗАЩИТА БАЯЗЕТА (Генералы Попов и Панютин)

В то самое время, как главные силы Кавказского корпуса победоносно вступали в Арзерум, из Баязета прискакал курьер с донесением о сильном двухдневном штурме, который выдержал этот город против многочисленного неприятеля, бывшего под начальством ванского паши. В первый день турки овладели даже частью города и взяли у русских четыре орудия; на второй — русские перешли в наступление, отбили назад орудия и отбросили неприятеля от города с громадной для него потерей. Мужеству небольшого русского отряда Паскевич был обязан спасением этого важного пункта, составлявшего главную опору левого фланга тогдашней операционной базы.

Нужно сказать, что за выступлением отряда генерала Панкратьева на главный театр военных действий, во всем Баязетском пашалыке оставалось только четыре батальона пехоты, казачий полк Шамиева и двенадцать орудий. В Баязете стоял Нашебургский полк и батальон Козловского, с четырьмя казачьими сотнями и десятью орудиями; в Топрах-Кале — две роты козловцев со взводом артиллерии, в Диадине — сборная команда из пехоты и казаков. Неприступное положение последних двух пунктов и не требовало, впрочем, сильнейших гарнизонов: но для защиты Баязета, где приходилось оборонять обширную городскую черту, не менее пяти верст в окружности, три батальона было недостаточно. На этом основании Паскевич еще перед выступлением Панкратьева считал необходимым взорвать укрепленные замки в Топрах-Кале и Диадине, чтобы иметь войска сосредоточенными на одном главном пункте; однако по местным обстоятельствам мера эта оказалась неудобной, и, взамен того, баязетский гарнизон был усилен вновь сформированным армянским батальоном из местных жителей. Была также попытка сформировать конный полк из баязетских курдов, но успеха она не имела. Курды уклонялись от службы, хотя старшины их, по-видимому, и готовы были помогать русским в сборе людей самым искренним образом. “Богом клянусь вам,— наивно писал один из них генералу Панкратьеву,— что очень рад буду, когда вы возьмете их с собою в поход, потому что они никого не слушают”. Но конница из таких непослушных людей, конечно, могла принести более вреда, нежели пользы, и от этой меры пришлось отказаться. Войсками в Баязетском пашалыке командовал в то время генерал-майор Павел Васильевич Попов — офицер замечательной храбрости и энергии. Сын памятного в русской истории Василия Семеновича Попова, бывшего любимым секретарем Екатерины Великой, он начал службу в гвардейской артиллерии, участвовал с ней во всех наполеоновских войнах, потом был на Кавказе адъютантом Ермолова, получил в командование на двадцать шестом году от роду Херсонский гренадерский полк, с которым заслужил под Ахалцихе Георгиевский крест и золотую саблю, осыпанную

бриллиантами, и теперь был командиром первой бригады двадцатой пехотной дивизии. Человек молодой, со значительным состоянием, любивший пожить на широкую ногу, он с некоторой беспечностью характера соединял истинные военные дарования и, главное, имел способность не терять головы ни при каких серьезных и трудных обстоятельствах. Такой именно человек и нужен был в Баязете, которому со всех сторон угрожали враги.

Некоторую противоположность с ним по характеру составлял его помощник, командир второй бригады той же двадцатой дивизии, генерал-майор Федор Сергеевич Панютин, тогда только что переведенный на Кавказ из внутренних губерний России, где он командовал Рыльским пехотным полком. Это был человек тихий, самого скромного образа жизни, везде вносивший те гуманные идеи, которые отличали офицеров старого Семеновского полка, где Панютин прослужил одиннадцать лет, со времени выхода своего из Пажеского корпуса вплоть до известной катастрофы, постигшей этот славный полк в командование Шварца. Панютин — тогда уже полковник — был наравне с другими переведен в армию и шесть лет, до самого вступления на престол Императора Николая Павловича, не удостаивался никаких служебных повышений; наконец ему дали полк и в конце 1828 года произвели в генералы.

Новое лицо в своеобразной обстановке кавказской войны, Панютин не был новичком военного дела, почерпнув первоначальные уроки его в рядах того же Семеновского полка, с которым участвовал во всех сражениях 1812-1814 годов от Москвы до самого Парижа. С этими боевыми задатками, при известной доле гуманности и любви к солдату, которые пустили в нем глубокие корни и исключали возможность сухого служебного педантизма, ему не трудно было стать сразу старым кавказцем по духу, и, как увидим, сделаться вместе с Поповым душой баязетской обороны.

Первые сведения о сборах неприятеля против Баязета получены были через лазутчиков пятнадцатого марта. Тогда стало известно, что в Ване сосредоточивается пять тысяч конных и две тысячи пеших турок. В апреле слухи стали еще определеннее. Не трудно было угадать, что сераскир всячески будет стараться отвлечь в ту сторону часть главных русских сил, чтобы вернее обеспечить успех своих предприятий в центре. Глубокие снега, покрывавшие почти до половины мая долины и горы Баязетского пашалыка, замедлили несколько действия неприятеля и может быть поэтому-то слухи за последнее время стали получаться самые разноречивые. То говорили, что сераскир, недовольный поведением Ванского паши, посылает на смену ему нового правителя, а паша, по азиатскому обычаю, готовится к открытому сопротивлению; то приходили известия, что в Ване произошло возмущение и паша убит. Генерал Попов просил разрешения сделать движение в ту сторону, чтобы выяснить положение дел и затем действовать уже смотря по обстоятельствам. Паскевич такого разрешения не дал, но предоставил Попову войти в секретные сношения с сыном паши, Дефтердер-беком, который с давнего времени был в явной ссоре с отцом, и обещал ему Ванский пашалык и даже вооруженную помощь, если он только согласится на подданство России. Но еще не успели разыскать этого Дефтер-бека, как стало уже известным, что паша не только жив и невредим, но делает большие сборы во всем Курдистане, чтобы овладеть Баязетом. С 29 мая наступление неприятеля стало только вопросом времени и ожидалось уже ежедневно. Имелись точные сведения, что в Ване собрано пятнадцать тысяч войск при двенадцати орудиях.

В начале июня толпы эти вышли из Вана, и 6 числа, мимоходом, сделали нападение на топрахкалинский форштадт, лежавший внизу под самой крепостью. Комендант встретил неприятеля пушечным огнем и выслал для защиты форштадта половину своего гарнизона. Неприятель был выбит, но все-таки успел разграбить несколько домов, отхватил стада, ходившие на пастьбе, и увел с собой в плен до семидесяти армян. Удовольствовавшись

этой добычей, турки оставили в покое крепость, которая по малочисленности своего гарнизона не могла внушать им серьезных опасений, и мимо нее потянулись к Баязету.

От Топрах-Кале до Баязета всего сто тридцать верст. Но неприятель подвигался так медленно, что только 17 числа передовые части его показались верстах в двадцати от города. На следующий день турки подвинулись еще верст на восемь, однако же появление казачьего полка, высланного на рекогносцировку, заставило их отступить на прежнюю позицию. 19 числа казаки сами пытались осмотреть турецкий лагерь, но были встречены сильной неприятельской конницей и принуждены отступить. Тогда турки пошли вперед и заняли места, на которых перед тем стояли русские аванпосты.

Хотя в распоряжении Попова находились только полторы тысячи штыков, но укрепления Баязета могли выстоять против значительных сил даже и с меньшим гарнизоном. Даже дворцы баязетских пашей представляли собой небольшие крепости, которые взять открытой эскаладой было почти невозможно.

Один замок, старый, стоял на ужасающей высоте. Прикрепленный, как гнездо ласточки, к отвесной скале, возвышающейся в восточной части города, он был расположен тремя террасами. На первом уступе, за шестисаженными кирпичными стенами, возвышалась большая каменная мечеть с красивым минаретом, а правее ее находились богатые конюшни, на плоских кровлях которых помещались четыре медные пушки; они защищали город, но в то же время грозили ему истреблением в случае какого-нибудь возмущения. Семисаженные стены второго уступа сложены были из тесаных плит, и за этими-то гигантскими твердынями стоял дворец баязетских пашей, окруженный надворными строениями, затейливыми банями, и еще одним рядом конюшен, с двумя большими пушками на кровлях. Стены третьего уступа были еще грознее, еще выше, но за ними уже не было конюшен, над ними не стояли пушки, но зато на голых скалах были разведены роскошные цветники, стоившие громадных трудов и еще более денег. Там помещался гарем паши. Перед теми комнатами, где жили прекрасные затворницы, выдвигаясь над вертикальной скалистой пропастью, причудливо и смело висели два деревянные балкона — место вечерних прогулок одалисок. В военном отношении эта красивая терраса могла служить последним редутом, и взобраться на этот уступ для врага было делом не легким. Второй замок, новый, высеченный из белого камня и носящий уже печать европейской архитектуры, расположен был гораздо ниже старого и был необитаем. Начатый постройкой, лет за сорок перед тем, еще дедом тогдашнего Белюль-паши, и строившийся при отце его, он был не докончен и заброшен последним владельцем, который по какому-то странному суеверию не захотел переселяться из старого замка. Тем не менее, новый дворец мог постоять за себя даже и в этом недостроенном виде.

Наконец, в самом городе было несколько сильно защищенных батарей, из которых со стороны макинской дороги, откуда наступал неприятель, играли важную роль Красная, Новая и, в особенности, так называемая Восточная батареи. С последней в представлении народа связывалась чисто восточная легенда, намекающая на силу и значение этого укрепленного пункта в исторических судьбах города. Предание говорит, что какой-то древний паша, задумавший построить Баязет, обратился к своим мудрецам за советом, каким образом истребить водившихся в том месте чудовищных змей, укус которых приводил к мучительной смерти. Ему посоветовали обратиться к одному факиру, человеку, имевшему глубокие познания в деле чародейства. Факир явился к паше, и с того момента змеи исчезли или стали безвредными. “Сила моего заговора продлится до тех пор,— сказал он, прощаясь с пашой,— пока не выпадут мои зубы”. Тогда мучительная мысль овладела пашой. Он отправил погоню за факиром, и когда заклинатель снова предстал перед ним, он приказал отрубить ему голову, а челюсти его покрыть чистым

золотом, чтобы тем предохранить зубы на вечные времена. На том холме, как утверждает предание, где пала голова несчастного факира, и построена теперь Восточная батарея.

Но если укрепления Баязета представляли собой трудноодолимые преграды, то оборона самого города с его обширными предместьями ставила малочисленный гарнизон в весьма опасное положение. Город имел, как было сказано, в окружности до пяти верст, и на все это пространство нужны были войска. Тем не менее Попов деятельно принялся за организацию обороны. Всю длинную пятиверстную линию он разделил на участки, занятые небольшими частями пехоты и армянской милиции, а казачий полк, поставленный внутри караван-сарая, составил общий резерв. Обороной города со стороны эриванской дороги заведовал сам Попов, а со стороны макинской — генерал Панютин.

20 июня, в пять часов утра, неприятель двинулся к городу. Передовые русские посты со стороны макинской дороги были тотчас сбиты. Попов отправил туда на подкрепление весь казачий Шамшева полк. Завязалось жаркое дело. Шамшев пять часов задерживал неприятеля против Восточной батареи, оспаривая у него каждый шаг, но, наконец, вынужден был отступить. Чтобы дать ему возможность выйти из-под ударов многочисленной конницы, пришлось выслать из крепости навстречу ему две роты пехоты. Тогда, оставив казаков, ванский паша перевел большую часть своих сил на эриванскую дорогу. Но то была только демонстрация, к счастью, не обманувшая Попова. К полудню вся неприятельская артиллерия выдвинулась опять против Восточной батареи, а на горах, прилегающих здесь к мусульманскому форштадту, стало две тысячи пехоты. Во втором часу пополудни турки пошли на приступ. Под покровительством конных масс, выносивших на себе весь огонь русской артиллерии, турецкая пехота приближалась скрытно, пробираясь оврагами и косогорами, и почти не неся никакой потери. Вот она достигла уже окраины мусульманского квартала и стала строиться за холмом, увенчанным развалинами какой-то старинной башни. С ужасающим криком бросилась она отсюда на Восточную батарею и, несмотря на близкий картечный огонь, быстро овладела ее укрепленным зданием. Армяне, защищавшие его, в некотором беспорядке отступили в город.

При первом успехе турок жители мусульманского квартала перешли на их сторону и открыли из домов ружейный огонь в тыл войскам, занимавшим Восточную батарею. Генерал Попов сосредоточил сюда почти все свои силы, спешил казачий полк и пододвинул резервы. Но пока часть турок штурмовала батарею, другая прошла через мусульманский квартал и бросилась в город. В это время заведовавший обороной макинской линии генерал Панютин и командир Нашебургского пехотного полка, полковник Боровский были уже ранены и отнесены на перевязочный пункт. Войска на батарее остались без начальников. Молодые артиллерийские офицеры Опочинин, Радуцкий и Селиванов почти в упор осыпали неприятеля картечью, но все было напрасно: турки валили вперед и скоро овладели батареей. Из двухсотпятидесяти защитников ее осталось в живых только шестьдесят человек; они боролись, как львы, но, уступая громадному превосходству сил, вынуждены были, наконец, отступить. На батарее остался только один офицер Кавказской гренадерской артиллерийской бригады, подпоручик Селиванов — совсем еще юноша, впервые в этот день принявший крещение огнем; он был ранен в ногу, но, опираясь на банник, продолжал переходить от орудия к орудию и, сам заряжая их, стрелял до тех пор, пока пуля, раздробив плечо, не повергла его на землю. Тогда отступившие уже артиллеристы кинулись снова на батарею, чтобы поднять раненого офицера. “Прочь! — закричал Селиванов.— К орудиям! Вы не должны были покидать своего места — защищайте батарею!” Солдаты кинулись в рукопашную свалку; град пуль осыпал место, где лежал Селиванов, и третья пуля поразила его в сердце. Смерть, достойная русского офицера. Теперь никакие отдельные усилия не могли уже

остановить торжествующих турок. Неприятель твердой ногой стал на батарее и не пощадил на ней даже трупов: не только раненые, но и убитые были обезглавлены.

В это время Панютин, окончив перевязку, вел на место битвы первую гренадерскую роту Нашебургского полка. Солдаты, предшествуемые носилками, на которых несли в бой раненого генерала, шли ускоренным шагом. Пропустив мимо себя отступавших, гренадеры кинулись в штыки и отбили назад орудия. Но новый удар многочисленной толпы турок опрокинул их самих — и пушки остались за неприятелем. Через четверть часа сборная команда разных полков, в числе ста человек, под командой артиллерийского офицера штабс-капитана Трубникова возобновила нападение. Батарея снова перешла в русские руки, и опять торжество русских было кратковременное. Большая половина людей была перебита вновь нахлынувшими толпами турок; сам Трубников получил тяжелую рану в грудь, но, наскоро перевязав ее, остался во фронте, и отдал батарею только тогда, когда защищать ее уже было некому. Таким образом, в продолжение трех часов жестокой битвы, Восточная батарея пять раз переходила из рук в руки и с наступлением вечера осталась за турками; четыре орудия, стоявшие на ней, достались неприятелю.

Пока бой шел на батарее, Попов с главными силами отстаивал город. С двух часов пополудни до самой ночи, и даже ночью, битва продолжалась в улицах Баязета. Полковник Поярков, сменивший раненого Боровского, не выпускал неприятеля из татарского квартала; Шамшев отстаивал высоты у Красной батареи; оба они были ранены и оба до конца не покидали фронта. Армяне, отступившие под первым натиском турок, теперь дрались и умирали героями; их начальники, как свидетельствует Попов, были всегда впереди и почти все ранены. Но как ни дружны были эти усилия, вытеснить неприятеля из татарского квартала и отстоять высоту перед Красной башней русские не могли, и после полуночи турки фактически владели уже половиной города.

Положение защитников Баязета было из тех, где, при всей непоколебимой твердости и войск и начальников спасение зависит только от неисповедимых судеб Промысла. Важнейшие пункты городской обороны были уже в руках неприятеля, и надо думать, что город был бы взят в ту же ночь; если бы только ванский паша с той же энергией продолжал наступление. Но турки остановились и стали праздновать победу в домах татарского квартала. До самого утра раздавались там радостные крики, ружейная пальба и какие-то стоны и вопли, которые среди глубокого мрака производили на всех удручающее впечатление.

Ночью Попов собрал военный совет, на котором должен был решиться вопрос: быть или не быть Баязету. На совете этом присутствовали: генерал Панютин, полковники Боровский и Шамшев и майор Кутлянский; остальные штаб-офицеры гарнизона или оставались при войсках, или были настолько тяжело ранены, что не могли явиться. Панютин первый стал говорить о необходимости дальнейшей отчаянной защиты, указывая на то, что как ни ужасно положение гарнизона, но отступление может повести за собой последствия еще более ужасные. Решено было не употреблять новых усилий для овладения Восточной батареей, снять все орудия со стороны эриванскок дороги и отстаивать только четыре пункта: Красную и Новую башни, да высоты, служившие подножием новому и старому замкам.

Едва войска разместились на названных пунктах, как неприятель с рассветом двадцать первого числа уже повел атаку на Красную батарею. Там стояли две роты Нашебургского полка под командой храброго капитана Полтинина. Они не только отразили нападение, но сами кинулись в штыки и разом заняли лежавшую впереди высоту, накануне оставленную

Шамшевым. Сюда тотчас приехал Попов, и сюда же принесли к войскам на носилках раненого Панютина. Турки, между тем, отправились и повели атаку на Новый замок; но и здесь, как и у Красной башни, нападение было отбито. Тогда шесть русских орудий сосредоточили свой огонь на татарском квартале, где стояли главные силы неприятеля. Скоро большинство домов уже лежало в развалинах, и неприятель мало-помалу стал выбираться из предместья, стараясь укрыться от огня в соседних блокгаузах и башнях.

Пользуясь таким благоприятным моментом и общим воодушевлением гарнизона, Попов решился перейти в наступление. Армяне направлены были в мусульманский квартал, чтобы окончательно очистить его от турок, а стрелки Нашебургского полка с капитаном Полтининым, поддержанные двумя козловскими ротами, под общим начальством полковника Боровского, пошли на штурм Восточной батареи. Бой был жестокий; но нашебурцы и козловцы, соревнуясь друг перед другом, отняли батарею у турок и возвратили назад четыре потерянные оружия. Новая попытка неприятеля овладеть этим важным пунктом отражена была блистательно, и батарея окончательно осталась за русскими. В татарском квартале битва была еще гибельнее для неприятеля. Армяне, озлобленные тем, что несколько семейств их, живших в этой части города, были замучены баязетскими турками, не давали пощады никому: ни детям, ни женщинам. “Более тысячи трупов,— говорит очевидец,— свидетельствовали о произведенной здесь дикой расправе над изменниками”.

К середине дня турки, сбитые на всех пунктах, отступили от Баязета и остановились на горах, верстах в девяти от города. Их не преследовали. С одной стороны, Попов справедливо опасался, что турки, выманив русских из укреплений, атакуют их в поле, где все преимущество было бы на стороне неприятеля, а с другой — трудно было и рисковать преследованием, когда почти третья часть гарнизона выбыла из строя, а остальные были донельзя изнурены боем, происходившим тридцать два часа кряду. Общая потеря русских в эти два кровавые дня состояла из одного генерала, двадцати четырех офицеров и четырехсот пятидесяти нижних чинов.

Однако этим далеко не кончилась опасность, угрожавшая Баязету. Ванский паша стоял в виду города, поджидая подкреплений, и в Баязете деятельно готовились к новому отпору. Войска не сходили с батарей, и в то же время спешили скорей изгладить тяжелые следы минувшего боя: переносили в Новый замок раненых, предавали земле убитых.

Положение Баязета было в это время тем печальнее, что неприятель угнал у жителей весь скот, а оставшийся издыхал от голода. Татары и армяне являлись к Попову, прося дневного пропитания, и им раздавали провиант из казенных магазинов, так как запасов у них никаких не было, а поля были вытоптаны курганскими конями. Почти всякий день приходилось высылать казачий полк против неприятеля, который в одно и то же время показывался с разных сторон; но для предохранения жителей от новых потерь и этой меры оказывалось часто недостаточно. Так, однажды, едва казаки, вызванные на тревогу, вернулись в лагерь, курды повторили набег и отхватили весь скот, выпущенный в поле. Шестнадцать армян, караулившихъ его, были взяты в плен, и на следующий день тела их нашли с отрубленными головами. “Пока неприятельский лагерь так близко,— писал Попов в своем донесении,— мы можем много потерпеть, ибо если мы пробудем еще три недели в таком положении, то жители погибнут от голода, и та же участь непременно постигнет наших лошадей и быков артиллерийского парка”. Он просил патронов, войск, и жаловался на крайний недостаток офицеров. “Снарядов,— писал он Паскевичу,— еще достаточно для двух неприятельских штурмов, но патронов едва ли достанет для одного... В Козловском полку офицеров весьма недостаточно: прапорщики командуют ротами, и нет ни одного штаб-офицера; полковой командир ранен, майор Янинский тоже,

подполковник Тршесневский сошел с ума, Курский ушиблен лошадью без надежды на выздоровление. Чума продолжается, скученность войск усиливает болезнь и можно опасаться дурных последствий. Если бы немного подкрепления, то можно бы было прогнать неприятеля из его лагеря и освободиться от этой тяжкой блокады".

Так дни проходили за днями, не принося никакой перемены в положении гарнизона. Наконец, в исходе июня к Баязету неожиданно подошли триста рекрутов, высланных из Тифлиса, и вместе с ними прибыла рота Козловского пехотного полка. Слабая помощь эта, при столь тяжелом положении, казалась защитникам города ниспосланной свыше; но зато, одновременно с этим, подкрепления подошли и к ванскому паше, который стал еще сильнее, чем прежде. В Баязете со дня на день ожидали нового штурма, и гарнизону пришлось пережить несколько бессонных ночей, как вдруг с третьего на четвертое июля прискакал лазутчик с известием, что турки бегут... "Не знаю причин, которые побудили их к этому,— доносил Попов в тот же день Паскевичу,— но лагерь их почти со всем имуществом брошен, и наши казаки уже заняли прежние свои пикеты".

Ответ Паскевича не замедлил разъяснить, в чем дело. Главнокомандующий писал в том же смысле, что лучшей и действительной помощью для Баязета должны были служить победы, одержанные им в Саганлугских горах над Гагки-пашой и сераскиром, падение Гассан-Кале и взятие Арзерума. Успехи русского оружия в центре действительно освободили наш левый фланг от дерзкого противника, и в Баязете только теперь поняли причину нерешительных действий и бегства ванского паши почти в тот самый день, когда к нему подошли свежие силы. Слух об участи, постигшей на Саганлуге турецкие армии, лишил ванского пашу необходимой энергии, а падение Арзерума, о котором в неприятельском стане естественно узнали гораздо раньше, чем в осажденном Баязете, довершило остальное. Паше приходилось теперь заботиться уже о защите своих земель и о собственной своей безопасности, и в два дня весь Баязетский пашалык очистился от неприятеля.

Попов доносил Паскевичу, что магометанское население края теперь спокойно и, может быть, осталось бы таким даже во время вторжения турок, если бы ванский паша не имел опоры в персидских курдах и через них не повлиял бы на те племена, которые кочевали в наших пределах. Действительно, одним из главных возмутителей собственно баязетских жителей оказался куртинский ага Сулейман, член областного Баязетского правления и человек, предназначавшийся Паскевичем к командованию куртинским полком. Брат этого Сулеймана, находившийся при ванском паше, заблаговременно был облечен уже в звание военного губернатора Баязетской провинции, и его-то влияние более всего отразилось на джалалинских курдах, которые восстали почти поголовно и потом бежали в Турцию, под тем же влиянием, усиленным еще примером Сулеймана, изменили нам баязетские турки, и в числе их были даже родственники тех, которые, находясь при главной квартире, пользовались особыми милостями Паскевича. Во время взятия татарского квартала некоторые из этих турок были убиты, и в их-то именно домах были найдены отрезанные головы русских. Армяне, по свидетельству Попова, вели себя хорошо, русским были преданны от души и повиновались начальству.

Политическая программа Паскевича по отношению к этому взволнованному краю выразилась в следующем лаконичном наставлении, данном им генералу Попову. "Всех баязетских турок, оказавшихся изменниками,— писал он,— арестуйте; старшин куртинских не трогайте, чтобы не вооружить против нас народа; армянам не верьте — их преданность может быть признаком страха".— "Армяне,— возразил на это Попов,— столько показали приверженности к нам в опасное время, что я своим долгом считаю ходатайствовать за них перед вашим сиятельством,— они заслуживают доброго о них

мнения...” И Попову удалось поколебать недоверие Паскевича по крайней мере настолько, что в своих позднейших инструкциях главнокомандующий выражается об армянах уже гораздо мягче.

Баязетские события заставили Паскевича пережить несколько крайне тяжелых минут раздумья и колебаний. Нужно сказать, что первое известие об опасном положении Баязета было получено им секретно еще в Кара-Кургане, на третий день после миллидюзской победы. Прискакавший из Баязета армянин, посланный оттуда в первый день штурма, не скрыл от Паскевича отчаянного положения гарнизона и передал от имени Попова просьбу о помощи. Но почти двести верст гористого пространства отделяли тогда действующий корпус от Баязета, а другой помощи дать ему было неоткуда. Правда, отряд князя Бековича-Черкасского, находившийся тогда близ Хоросана, мог бы быстрым фланговым движением на третьи сутки поспеть в Топрах-Кале, но оттуда до Баязета еще оставалось сто тридцать верст, и появление секурса в таком далеком расстоянии вряд ли облегчило бы положение атакованного города. А между тем с удалением колонны Бековича с главного театра войны, все наши действия в центре были бы страшно ослаблены, и две блестящие победы, одержанные в Саганлугских горах, могли остаться безрезультатными. С другой стороны падение Баязета неминуемо должно было отразиться на всех операциях главного корпуса, и в этом смысле положение главнокомандующего являлось здесь крайне ответственным и затруднительным. Но заслуга Паскевича в том именно и заключается, что он не допустил частному военному обстоятельству увлечь себя в такую минуту, когда разгром сераскира открывал перед ним ворота Арзерума. Верный раз начертанному плану, он не хотел изменить его исполнение ни при каких обстоятельствах, и эта настойчивость была совершенно оправдана позднейшими событиями.

Кровавая оборона Баязета, стоившая славной защиты Ахалцихе, являет лишь новое доказательство боевых заслуг Кавказского корпуса. “В эту достопамятную битву,— писал Паскевич государю,— войска Вашего Величества показали непоколебимое мужество, и я не должен умолчать перед Вами о славных подвигах наших офицеров в минуты самые критические и трудные”. Особенному вниманию государя он поручал отличные заслуги генералов Попова и Панютина, служивших душой геройской обороны. Государь обоим пожаловал ордена св. Георгия 3-го класса, а 4-ую степень того же ордена получили полковники Боровский и Шамшев, капитан Полтинин и штабс-капитан Трубников. Донскому полку Шамшева и пехотным Козловскому и Нашебургскому пожалованы были георгиевские знамена с надписью “За оборону крепости Баязет 20 и 21 июня 1829 года”. Впоследствии, по переформировании Кавказского корпуса, георгиевские знамена этих обоих пехотных полков были переданы в другие части и ныне составляют принадлежность первого батальона Севастопольского и третьих батальонов Крымского, Тенгинского и Ставропольского полков.

Дальнейшая судьба обоих баязетских защитников была далеко не одинакова.

Попов по окончании турецкой войны вышел в отставку, отказавшись от той блестящей служебной карьеры, которая предстояла ему в будущем. Он даже не мог воспользоваться милостивым вниманием государя, который, желая удержать на службе “храброго генерала”, предлагал ему заменить отставку временным отпуском. Расшатанное здоровье и расстроенные домашние дела вынудили его поселиться отшельником в одном из своих крымских имений и посвятить остаток жизни хозяйственным заботам, чтобы спасти хоть часть из того огромного состояния, которое принадлежало ему и пришло в совершенный упадок за время его службы.

Боевой товарищ Попова по баязетской обороне генерал Панютин вернулся в Россию и в 1849 году с началом Венгерской войны является одним из достойнейших представителей русской армии и ее блестящих подвигов. Со сводной пехотной дивизией он спешно направляется в Вену, спасает разбитую австрийскую армию и останавливает успехи венгерского оружия. Блестящие победы его следуют одна за другой, и Панютин кончает кампанию в звании командира второго пехотного корпуса, украшенный александровской лентой и генерал-адъютантскими аксельбантами. В Крымскую войну он уже начальствует средней обсервационной армией, охранявший спокойствие юго-западного края, потом исполняет обязанность Варшавского военного генерал-губернатора и, наконец, назначается членом Государственного Совета. Последние годы своей жизни Панютин прожил в Вильно и скончался семидесяти четырех лет от роду 31 мая 1865 года.

Прошло уже полвека со времени кровавых дней Баязетской защиты, но имена Попова и Панютина живут и будут жить вечно в славных преданиях Кавказской армии.

XXVII. В АРЗЕРУМСКОМ ПАШАЛЫКЕ

Покорение Арзерума в 1829 году Паскевичем нанесло Турции страшный удар по тому нравственному влиянию, которое это событие должно было обнаружить на все население до отдаленнейших пределов Анатолии. Это был не простой город, падение которого обозначало бы только минутное торжество русского оружия,— это был важнейший военный и политический центр азиатских владений Турции, представитель могущества своего государства, и победа над ним только и могла состояться при уничтожении сил последнего, а слава его имени должна была разнести позор его падения повсюду.

А как велика была слава Арзерума в Азии, показывает то историческое соперничество, которое испокон веков существовало между ним и Константинополем. Настоящий азиатский турок и не смотрел на Стамбул иначе, как с пренебрежением, всегда соединяя в своем представлении с ним нечто слабое, изнеженное, потерявшее бранный закал от беспрерывного общения с лукавыми франками. Эта характерная особенность старого города, привыкшего считать себя представителем истинного исламизма, в самых суровых формах его проявления, прекрасно выражена в известном поэтическом творении Пушкина, навеянном на него пребыванием в Арзеруме.

Напомним читателям это прекрасное стихотворение [Здесь и далее стихи А. С. Пушкина приводятся в редакции В. А. Потто.]:

Стамбул гяуры нынче славят,
А завтра кованой пятой,
Как змия спящего, раздавят,
И прочь пойдут, и так оставят.
Стамбул заснул перед бедой.
Стамбул отрекся от Пророка;
В нем правду древнего Востока
Лукавый Запад омрачил —
Стамбул для сладостей порока
Мольбе и сабле изменил.
Стамбул отвык от поту битвы
И пьет вино в часы молитвы.
Там веры чистый луч потух:
Там жены по базару ходят,
На перекрестки шлют старух,

А те мужчин в гаремы вводят,
И спит подкупленный евнух.
Но не таков Арзрум нагорный,
Многодорожный наш Арзрум:
Не спим мы в роскоши позорной,
Не черплем чашей непокорной
В вине разврат, огонь и шум.
Постимся мы: струею трезвой
Святые воды нас поят;
Толпой бестрепетной и резвой
Джигиты наши в бой летят;
Гаремы наши недоступны,
Евнухи строги, неподкупны,
И смирно жены там сидят.
В нас ум владеет плотью дикой,
А покорен Корану ум —
И потому Пророк великий
Хранит, как око, свой Арзрум.
Аллах велик! К нам от Стамбула
Пришел гонимый янычар,
И буря долу нас погнула,
И пал неслыханный удар.
От Рущука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи,
Скликая псов на праздник жирный,
Толпой ходили палачи:
Треща в объятиях пожаров,
Валились домы янычаров...
Аллах Велик! Тогда султан
Был духом гнева обуян.

И вот этот-то “многодорожный Арзрум”, упорствовавший склонить свою голову даже перед гневным велением султана, теперь увидел в своих стенах чужеземное войско, и над куполами его священных мечетей, с высоты цитадели, тихо веяло христианское знамя.

Русские войска, заняв Арзерум и не имея на далекое от себя пространство неприятеля, предались временному покою и созерцанию оригинального мира, в который они вступили. Все в новой для них стране возбуждало любопытство. Здесь перед ними развертывалась тайна векового существования народов, прошедших и оседавших на этой земле; здесь кругом еще были памятники той отдаленной эпохи, когда она была землей христианской; здесь и теперь еще у восточных ворот Арзерума стояли развалины византийского храма, почти ровесника самому городу, который считает за собою четырнадцать веков существования.

В свое время монастырь этот был одним из величественнейших памятников византийского зодчества, и смотря на него по прошествии стольких веков, нельзя было не пожалеть о его так скоро упавшей славе и богатстве. Но и то, что сохранило время, было прекрасно. Все боковые стены древнего храма и весь пол были выложены большими белыми мраморными плитами; своды, карнизы, ниши, пилястры, резные украшения — все было высечено из мрамора, все представляло замечательно тонкую работу, обнаруживающую изящный вкус зодчего. Турки, разрушив храм, обратили его в арсенал и поставили по сторонам ворот две высокие колонны, красиво изукрашенные по красному

кирпичу голубыми изразцами. Но они оставили без внимания ценные лепные украшения здания и предоставили их произволу времени и людского невежества. И то и другое довершили свое истребительское дело: теперь все обветшало, упало, разбилось — и в таком виде нашли его русские в 1829 году.

Попытка исследовать развалины, открыть в них какие-нибудь остатки древностей не увенчались успехом. Под мраморными плитами пола нашли длинный ряд гробниц, а под этими саркофагами обширный свод, наполненный истлевшими костями восточных римлян,— и ничего более. Паскевич впоследствии приказал разобрать мраморные стены этого храма, и их на трехстах подводах увезли из Турции в Тифлис. Остатки христианского храма составили боевой трофей пришедшего сюда христианского войска.

Окрестности Арзерума безлесны. Голые горы г севера и востока подходят почти к самому городу, а с других сторон его стелется плодоносная равнина, усеянная множеством живописных деревень, окруженных зеленью садов и пашен. Ни одна река не орошает Арзерума, но в городе изобилие воды замечательное. Не говоря о цитадели, где колодцы и цистерны устроены с чисто военной целью, в каждом доме богатого владельца есть фонтаны прекрасной свежей воды, проведенной сюда за четыре версты из окрестных гор, которые богаты ключами.

Собственно город Арзерум делится на три части. Первая из них — цитадель; но там, кроме казармы на батальон пехоты, комендантского дома, да двух мечетей, обращенных в пороховые погреба или цейхгаузы, не было никаких других строений. Главная жизнь сосредоточивалась в крепости. Здесь жили сераскир и важнейшие турецкие сановники.

Древняя архитектура дворца много потерпела от новейших построек, но дома богатых обитателей-турок сохраняли еще во всей целости причудливые, роскошные формы Востока. Живописная позолота стен и потолок во вкусе арабесок, деревянные резные украшения на окнах, дверях и перегородках, прекрасные узорчатые ковры, заменяющие привычную европейскую мебель, наконец, причудливое сплетение таинственных покоев, представлявших собою какие-то загадочные лабиринты,— все поражало воображение далеких северных пришельцев. Часто офицер, два месяца прожив в доме, не имел понятия даже об одной половине его, и каждый день открывал все новые и новые комнаты. Преимущественной роскошью и восточной красотой отличались гаремы. Это были в полном смысле слова приюты неги и покоя — повсюду бьющие фонтаны, мраморные бассейны, обольстительные картины.

Из общественных зданий выдавались бани — эта непременная принадлежность восточного города. При каждой из них находился свой особенный кофейный дом, которых множество было разбросано и по всем углам обширного города. Но главным украшением Арзерума служили пятнадцать мечетей с красивыми минаретами и несколько богатых караван-сараев, в которых сосредоточивались лучшие произведения Востока: чудные шали, ковры, различные ткани, дорогие меха и драгоценные камни. Наконец, близ тавризских ворот бросалось в глаза еще одно древнее здание, постройку которого относят ко временам владычества византийцев, и эта догадка подтверждается прекрасно сохранившимися величественными портиками с гербами Восточной Римской империи. Турки обратили это роскошное здание в арсенал, где хранилось старинное оружие, ржавевшее здесь, вероятно, еще со времен Готфрида. Все эти панцири и шлемы с золотыми насечками или серебряными сирийскими надписями, мечи и сабли с клеймами известнейших европейских и азиатских мастеров, щиты с изображением черных орлов с распростертыми крыльями в хищном полете — бесспорно принадлежали то римским легионам, то крестоносцам, то арабам в эпоху их завоеваний. Все это драгоценное оружие

причислено было Паскевичем также к военным трофеям, и вместе с римскими портиками отправлено в Тифлис.

Общественная жизнь в городе начиналась, как и всегда, с восходом солнца и заканчивалась по обычаю всех мусульман с закатом его, когда протяжные голоса муэдзинов с высоких минаретов призывали правоверных на молитву. Но от утреннего до вечернего намаза улицы кишмя кишели народом. Суетились, впрочем, преимущественно армяне, турки же, в своих желтых, белых или зеленых чалмах, в широчайших красных и синих шароварах и в разноцветных куртках, сановито ходили по базарам с длинными чебуками в руках или сидели, поджав ноги, на широких лавках в открытых и не совсем опрятных кофейных домах. Все было пестро, красиво, нарядно, хотя, приглядевшись поближе, нельзя было не видеть все той же грязи, которая так неприятно поражала русских в Карее и в Ахалцихе.

К крепости примыкали со всех сторон обширные форштадты, по-турецки магле, населенные преимущественно греками и армянами, которых было больше, нежели турок. Здесь сосредоточивалась мелочная торговля, а главное — продажа съестных припасов. Дома здесь были уже не так богаты, как в крепости, и лучшим украшением форштадтов служили сады из пирамидальных тополей, раскинувшиеся по окраинам. Грязи здесь было еще больше, нежели в крепости, чему способствовала и бедность населения, и скученность его, и масса пришлого народа, не имевшего не только оседлости, но даже и постоянного крова.

Чтобы дорисовать картину тогдашнего Арзерума, необходимо сказать, что это столица турецкой Армении была вместе с тем средоточием торговли всей малой Азии. Караваны из Константинополя, Смирны, Аравии и Персии стекались сюда круглый год, и здесь производилась или мена товаров, или продажа их, или упаковка для дальнейшего отправления в назначенные места. Так, по крайней мере говорили русским местные жители. Но война в этом отношении повлияла на Арзерум чрезвычайно невыгодно. Прилив товаров прекратился, и русские офицеры, желавшие возвратиться на родину с какими-нибудь азиатскими новинками, напрасно разыскивали их по караван-сараям.

Только немногим, и то в домах купцов, удавалось найти бирюзу, изумруды, жемчуг, да две-три порядочные шали, но не многие могли купить и эти предметы по причине их страшной дороговизны.

Счастливее были любители древностей, собиравшие разные диковины минувших веков, но и тут не обходилось без комических ошибок и недоразумений, происходивших от незнания русскими самых обыкновенных азиатских вещей. Рассказывают, например, что один из подобных антикваров долго носился с двумя вещами, возбуждавшими общее любопытство, а в некоторых, может быть, и зависть. Нужно сказать, что на всем Востоке существует легенда о том, что Александр Македонский, совершая свои походы, приказывал разбрасывать повсюду огромные мечи, стремена, узды и тому подобное, чтобы потомство воображало воинов его великанами. И вот эта древняя сказка превращается в быль. Одну из таких вещей удалось найти счастливому археологу. Это была узда таких громадных размеров, что могла бы годиться даже для допотопного мастодонта. Другая вещь, приобретенная им, была еще драгоценнее в историческом смысле. Это был шлем Магомета — граненый, остроконечный, наподобие русских шишаков. Отрытый в груде какого-то железного хлама, он был очень заржавлен, однако же богатая золотая насечка проглядывала сквозь ржавчину, а кругом светилась арабская надпись, которую местами можно было еще прочитать, она гласила: “... принадлежит пророку Магомету...” Казалось, что после этой надписи не могло быть и сомнения

относительно подлинности знаменитого шлема. А между тем ученому археологу скоро пришлось разочароваться в своих драгоценных находках. Явились скептики, призвавшие на суд опытных азиатов, и дело разъяснилось. Огромная узда оказалась совсем не уздой, а простым конским треногом, к кольцам которого, так похожим на кольца уздечки, привязываются обыкновенные ременные путы; а шлем Магомета потерял и последнее свое обаяние, когда прочитана была остальная надпись, гласившая следующее: “Слава принадлежит пророку Магомету. Счастие тому, кто следует Корану его. Да благословит Бог сию пищу”. Магометов шлем, при ближайшем знакомстве с ним, оказался простой крышкой с пилавного блюда. Разочарование одних не исправляло, впрочем, других, и в Россию тогда вывезено было любителями множество поддельных и никуда не годных вещей, особенно оружия.

Занятие какого-нибудь европейского города, не говоря уже о столицах, быть может, и вызвало бы в войсках желание подольше постоять на месте, чтобы немного отдохнуть от боевых трудов, повеселиться и потом рассказывать о своих приключениях тем, кто в продолжение долгих месяцев или не видел над собою крыши, или скитался под крышами буйволятников. Но здесь, в Арзеруме, этого не случилось. Восточная жизнь скоро прискучила всем, и все желали одного — скорейшего движения вперед, тем более что стали носиться слухи, с одной стороны — о новых предприятиях турок на Баязет, с другой — о появлении русского флота уже перед Трапезундом.

Но в окрестностях все было тихо и спокойно. Падение Арзерума, конечно, прежде всего не могло не оказать влияния на правителей соседних санджаков, которые мало-помалу и стали съезжаться в Арзерум, где Паскевич награждал их почетными шубами и подарками в азиатском вкусе.

4 июля прибыла депутация из отдаленного Хныса, главного города санджака того же имени, и привезла с собою ключи хнысской крепости, прося принять ее под русскую защиту. Соседство этого санджака с Мушем делали приобретение его чрезвычайно важным, и 5 июля главнокомандующий отправил туда батальон сорок первого егерского полка, две сотни казаков и четыре орудия, под командой полковника Лемана, поручив ему войти через посредство жителей в тесные сношения с Мушским пашой. В самый Муш также отправлен был капитан Вачнадзе, чтобы побудить пашу исполнить свое обещание и сформировать в помощь русским несколько конных полков из тамошних курдов. Впрочем, Паскевич и сам сомневался в успехе этого посольства. “Надо полагать,— писал он государю,— что мы от курдов не получим тех выгод, которые они обещали, но будет весьма полезно и то, если мы добьемся их нейтралитета и обеспечим наш левый фланг до Муша, а может быть, и до Вана”.

Предвидение Паскевича относительно курдов не замедлило оправдаться. При приближении Лемана куртинский гарнизон покинул крепость вместе с шестью полевыми орудиями, но тщательно разграбил город и удалился к Мушу, не желая входить с русскими ни в какие переговоры. К Мушу же отступил и Эмин-паша, стоявший с небольшим турецким отрядом в окрестностях Хныса. Князь Вачнадзе, посланный с письмом главнокомандующего, нашел его уже в Битлисе и писал Паскевичу, что паша находится “все в той же нерешимости и колебании”.

Двумя днями ранее Лемана выступил из Арзерума другой отряд, под начальством генерала Бурцева, для занятия Бейбурта, лежащего в ста двадцати верстах по пути к Трапезунду. За Бейбуртом начинается уже земля, обитаемая воинственным племенем лазов, о неимоверной храбрости которых молва наполняла всю Азию, и даже перешла в

пословицу, гласившую, что лаз за маленьким камешком высидит пять дней и отобьется от пятерых противников.

Уже из этой характеристики населения, жившего за Бейбуртом, ясно как важно было для русских занятие этого пункта, стоявшего на рубеже Лазистана, где впоследствии могли образоваться против нас сильные ополчения из среды воинственных горцев. Бейбурт в русских руках обеспечивал безопасность не только Арзерума и правого фланга, опиравшегося в то время на побережье Черного моря в Гурии, но и угрожал самому Трапезунду оружием, более страшным, чем пушки,— моральным влиянием, которое он мог приобрести на окрестное население лазов.

Самый Бейбурт — город очень старый, современный, как полагают, первому грузинскому царю Фарнаозу, в древности назывался Исперети, что значит “город крайнего предела”, так как здесь оканчивались владения Грузии. Жители его и до сих пор говорят между собой по-грузински, а около города сохранилось небольшое село, которое турки называют Гурджи-Богаз, то есть “последнее гнездо грузин”.

Когда Бурцев подходил к Бейбурту, город был еще занят пятитысячным турецким отрядом Кягьи-бека, отступившим сода почти из-под стен Арзерума. Вызванный сераскиром из Ольты, Кягья несколькими часами опоздал предупредить падение Арзерума и должен был уклониться на трапезундскую дорогу, где рассчитывал собрать остатки разбитых турецких войск, поручить подкрепление от трапезундского паши и образовать новые силы, которые могли бы противостоять дальнейшим успехам русского оружия.

Быстрое движение Бурцева расстроило эти планы. Подкрепление, направленное из Трапезунда, было еще далеко и не могло поспеть ранее, как на третьи сутки, а отряд Бурцева уже подходил к медным заводам, лежавшим всего в двух часах пути от Бейбурта. Там стоял небольшой отряд, собранный из жителей. Но Кягья не рассчитывал на слишком большую стойкость греков, из которых он был составлен и, не желая рисковать последними, еще кое-как державшимися кадрами турецкой армии, разделил свои войска на несколько частей и отступил с ними в горы.

Между тем Бурцев с небольшим отрядом из Херсонского гренадерского и второго конно-мусульманского полков, с шестью орудиями, и на рассвете 7 числа приблизился к медным заводам и овладел ими почти без сопротивления. Отсюда Бурцев двинулся дальше и на пути к Бейбурту был встречен депутацией, поднесшей ему городские ключи. В три часа пополудни Бейбурт был занят, и русское знамя развилось над стенами его обветшавшей уже цитадели.

В Бейбурте русским достались четыре пушки, знамя, большие запасы пороха и провианта. Кроме того, при осмотре города, в подвалах старого замка найдена была замечательная по своей археологической древности коллекция оружия, очевидно составленная большим знатоком и любителем дела. Это был сбор оружия почти всех времен и народов, начиная с допороховой эпохи и кончая образцами ружей со всеми их видоизменениями почти до последнего времени. Куда девалась потом эта замечательная коллекция — нет никаких сведений, но надо думать, что она бесследно погибла позже, во время военных гроз, разразившихся тогда над Бейбуртом.

Мирное занятие таких опорных пунктов, как Хныс и Бейбурт, позволило Паскевичу стать твердой ногой в завоеванном крае и достойно увенчало торжество русского оружия в этот период кампании, начатой в предгорьях Саганлуга и оконченной в стенах Арзерума. С

других отдельных театров военных действий также получались благоприятные известия. Острый аджарский вопрос, казалось, близился к своему разрешению, в Гурии все было спокойно; князь Вачнадзе вел переговоры с мушским пашой, Ольта, Нарыман и Шаушет просили русского покровительства. Сам Паскевич только ожидал прибытия Ширванского полка из Ахалцихе, и рекрутов, направленных из Тифлиса, чтобы начать наступление к Сивазу. “Дай Бог,— писал он государю,— чтобы все предначертания, данные мне, я мог исполнить к удовольствию Вашего Величества”.

Таким образом, временное затишье на театре военных действий, казалось, не было потеряно русскими даром. Но и турки деятельно готовились к новой борьбе и созидали новые силы в глубине недоступного для нас Лазистана. Война еще не была окончена. Она ждала новых жертв, готовя в последнем заключительном периоде кампании и тяжкие испытания, и новые победные лавры для русского воинства.

XXVIII. БЕЙБУРТСКАЯ КАТАСТРОФА (Смерть генерала Бурцева)

Почти целый месяц минул со дня падения Арзерума, а главные силы русского корпуса все еще стояли в бездействии. Арзерум не сделался для них своего рода Капуей, но нерасчетливо было с горстью людей еще далее углубляться в сердце Анатолии, покинув на произвол судьбы, посреди фанатичного населения, двухсотверстную операционную линию без должного обеспечения. И Паскевич терпеливо ждал подкреплений.

Наконец, 15 июля, они прибыли. Это был Ширванский пехотный полк, за которым следом тянулись и давно ожидаемые партии рекрутов. Теперь оставалось только укомплектовать полки, и Паскевич уже рассчитывал быстрым движением к Сивазу наверстать потерянное время, как вдруг случились такие обстоятельства, которые заставили его сразу изменить весь план начертанной им кампании.

Продолжительность бездействия успела сказаться в таких невыгодных для нас результатах, которых именно боялся Паскевич и которые давно, еще при самом начале кампании, заставляли его так усиленно испрашивать себе подкреплений. “На войне все зависит от благоприятной минуты: ее надобно не упускать,— писал он тогда государю, развивая мысль, что при взятии Арзерума необходимо идти вперед не останавливаясь, чтобы воспользоваться смятением неприятеля, ибо если ему дать время опомниться, то он соберет новые силы и восстановит дух народа”.

Но подкреплений в то время ему не дали, пришлось в ожидании их целый месяц стоять в Арзеруме; в течение этого срока многое успело измениться. Впечатление грозных битв понемногу слабело; разбитые остатки турецких войск соединялись вместе, и скоро на горизонте появилось небольшое облачко, которое, надвигаясь со стороны Лазистана, быстро стало расти в грозовую тучу и нависло над головой маленького Бейбуртского отряда.

Турецкие войска, удалившиеся в горы в первую минуту появления Бурцева, теперь опять сосредоточивались на полпути к Трапезунду у селения Гюмюш-Хане. Там производилась усиленная вербовка соседних горцев, туда являлись волонтеры, подходили свежие войска из Трапезунда, и, наконец, приехал сам Осман-Чатыр-оглы, прошлогодний защитник Анапы, принявший теперь под свое начальство войска, вновь формировавшиеся в Лазистане. В распоряжении его находилось уже от семи до восьми тысяч пехоты при двух полевых орудиях. С каждым днем силы турок росли, а вместе с тем росла на неприступных утесах Гюмюш-Хане и грозная позиция, в которой, как в каменном гнезде,

прочно засели турки, обезопасив себя крутизною скал и крепкими завалами от всякой случайной попытки со стороны Бейбурта.

Близость неприятельского корпуса тотчас же отразилась и на поведении окрестных жителей. Поставленные между двух огней, и не видя более в малочисленном русском отряде того Дамоклова меча, который еще так недавно страшным призраком висел над их головами, жители-мусульмане не только сочувственно отнеслись к сбору турецкого отряда, но и фактически готовы были оказать ему помощь с оружием в руках. Правитель Испирского санджака и старшины Офского округа, ранее других вступившие в миролюбивые сношения с русскими, теперь видимо избегали всякого повода к сближению с Бейбуртом. Это обстоятельство не ускользнуло от внимания Бурцева. Опасаясь дробить и без того малочисленный отряд для охраны обширной территории, он предложил, чтобы жители сами защищали свои границы от покушений турецких партий, но старшины безусловно отказались от этого требования, ссылаясь на страдную пору, которая заставляла их спешить с уборкой бейбуртских полей, засеваемых ими по найму.

Между тем, 17 июля, из Бейбурта были замечены большие толпы народа, стекавшиеся в деревню Харт, лежавшую верстах в двадцати от города. Конные разъезды, высланные мусульманским полком по тому направлению, открыли в деревне присутствие неприятельской пехоты и немедленно дали знать Бурцеву. От старшин потребовали объяснений. Те ответили, что в Харте неприятеля нет, а что сбор вооруженных людей производится единственно для охраны жатвы. Объяснению их, разумеется, не поверили и в Бейбурте приняли все меры осторожности, так что, когда на следующий день неприятель внезапно бросился на русские пикеты, войска встретили его уже наготове и отразили нападение.

Измена жителей теперь не подлежала сомнению, и положение Бурцева с каждым днем становилось опаснее. Правда, он имел приказание уклоняться от боя с сильнейшим противником, а в случае надобности требовал войска из резерва, для чего был даже выдвинут в деревню Ашкалу особый отряд Муравьева, но события складывались так неожиданно, развивались так быстро, что просить указаний или требовать помощи почти за сто верст было уже не время. И Бурцев, под обаянием постоянных успехов, личной отваги и глубокой веры в несокрушимую силу русского солдата, решился действовать один, чтобы рассеять замыслы неприятеля прежде, чем они успеют окрепнуть.

18 июля, как только глубокая ночь спустилась на землю, войска вышли из Бейбурта двумя колоннами: главная — три роты херсонских гренадер, рота эриванцев, второй конно-мусульманский полк и четыре орудия, под личным начальством Бурцева,— направилась по большой дороге на Харт; другая — под командой майора Засса, две роты Херсонского полка и три орудия,— пошла окольным путем через горные ущелья, чтобы напасть на деревню с тыла.

Казалось, время для движения обеих колонн рассчитано было верно, но, к сожалению, как это часто бывает в подобных случаях, расчеты не оправдались на деле. На рассвете 19 июля Бурцев уже стоял перед Хартом, а Засса еще не было — дурные дороги задержали его в горах, и он опоздал. Бурцеву, таким образом, предстояло решить вопрос — ожидать ли прибытия вспомогательной колонны и тем дать время неприятелю изготовиться к бою, или атаковать деревню немедленно, рассчитывая лишь на внезапность и быстроту удара. И Бурцев, не колеблясь, остановился на последнем.

Селение Харт, раскинутое на крутых высотах, охранялось несколькими башнями, которые, ютясь по крутизнам, обстреливали перекрестным огнем все подступы; самое

селение было обнесено бревенчатым завалом и колючей засекой, а низкие, углубленные в землю грузинские сакли, недоступные пожару, представляли собою такой лабиринт беспорядочных азиатских построек, в котором четыре русские роты легко могли совершенно затеряться. Мертвая тишина царила в деревне и давала мысль, что неприятель застигнут врасплох. Но едва роты бросились на приступ, как лазы, давно уже бодрствовавшие, встретили их почти в упор таким метким ружейным огнем, что потеря на первых же порах оказалась весьма значительной. Тем не менее, войска ворвались, и удар их был так стремителен, что роты, выбив неприятеля из крайних домов, проникли почти до половины деревни. Но тут успехи их остановились: бой пошел одиночный, и войскам посреди узких, глухих переулков, на каждом шагу преграждаемых саклями, пришлось вести десятки отдельных штурмов. Напрасно гренадеры, прикладами выбивая двери, врывались в эти подземные жилища, лазы перебегали в другие, и солдаты опять встречали перед собой те же преграды, ту же отчаянную защиту. Бурцев скоро убедился в невозможности овладеть селением с теми слабыми силами, которые находились в его распоряжении, но отступать не хотелось — все еще мелькала надежда вот-вот появится колонна Засса. Но проходили часы, Засс не являлся, а жестокий огонь, направляемый из бойниц в упор, не давал между тем солдатам ни шагу подаваться вперед. Роты стали расстраиваться. Офицеры напрягали все силы, чтобы привести их в порядок и поддержать в них мужество. Сам Бурцев, находившийся в передних рядах, время от времени брал в руки ружье, и, выстрелив без промаха, говорил солдату: “Вот, братец, как надо стрелять!” — и солдат с любовью глядел на начальника, наравне со всеми подвергавшего себя опасности. Всем памятна фигура старого священника Херсонского полка Николая Шиянова, явившегося в эти минуты с крестом в руках, чтобы подкрепить слабевшие силы людей высоким словом молитвы. Но если человеческому духу нет на земле пределов, то физические силы имеют свои границы, и три слабые роты, самоотверженно смотревшие в глаза неминуемой смерти, все-таки не могли сломить отчаянной защиты тысячной массы врагов, гнездившихся небольшими кучками в каменных подвалах. Напрасно артиллерия громила селение: легкие снаряды ее не пробивали стен, а сама она, между тем, несла большие потери. Орудия стали стрелять все реже и реже и скоро замолчали совсем, когда прислуга их почти вся была перебита. Бой, хотя уже безнадежный, все еще продолжался, как вдруг около десяти часов утра показались большие неприятельские толпы, которые, огибая деревню, стали заходить в тыл русским. Теперь, в случае дальнейшего упорства, отряду грозила неминуемая гибель, и Бурцев приказал отступать. С трудом, штыками прокладывая путь, выбирались солдаты из переулков и строений, но неприятель наседал так горячо, что большую часть раненых пришлось оставить в руках разъяренных лазов.

Выходя из деревни, Бурцев приказал армянской сотне конно-мусульманского полка, случившейся у него под рукой, броситься в сабли, чтобы задержать преследование. Сотня тронулась, но тотчас же остановилась. Заметив колебание, Бурцев сам подскакал к армянам, ободрял, упрашивал, грозил им — все было напрасно; а тем временем лазы стеной валили вперед и уже овладели русской пушкой. Подоспевшая рота херсонцев выручила ее штыками, и отряд, после пятичасового боя, отошел на старое татарское кладбище, лежавшее в двухстах саженях от деревни. Здесь, под охраной каменной ограды и частых могильных памятников, представлявших собой лабиринт не хуже хартовских улиц, отряд по крайней мере мог отдохнуть и оправиться.

Был уже полдень. Положение Бурцева становилось критическим, так как вновь подходившие лазы все гуще и гуще занимали высоты, лежавшие влево от Харта и, казалось, готовились штурмовать кладбище. К счастью, в эту-то роковую минуту показалась, наконец, вдали давно ожидаемая запоздавшая колонна Засса. Приближение свежих сил воодушевило всех новым мужеством. К Зассу тотчас поскакал офицер с приказанием заходить в тыл неприятелю, занявшему высоты; пехота Бурцева двинулась

туда же с фронта, от стороны кладбища, а весь конно-мусульманский полк на рысях стал огибать правый фланг неприятеля. Взятые с трех сторон, лазы засели в оврагах, в расщелинах скал и защищались отчаянно. Ожесточенные невиданным после Ахалцихе сопротивлением, гренадеры никому не давали пощады, и неприятель, не выдержав наконец этой страшной резни, стал отступать. Защитники Харта, выславшие на подкрепление прибывших лазов большую часть своих сил, теперь уже не могли рассчитывать удержать за собою деревню и, покинув ее, торопливо уходили в неприступные горы.

Бой уже затихал. Страшно надорванные несколькими часами рукопашной свалки, силы борцов истощились; отступающие толпы редели, слабо меняясь выстрелами с русской цепью. “В это время,— рассказывает очевидец,— гренадеры заметили, что один старик с белой по пояс бородою и с большим значком в руках стал отставать от толпы. Бурцев, как всегда находившийся впереди, видя, что добыча ускользает от усталых солдат, дал шпоры своей лошади и наскочил на лаза; пугливый конь, однако, бросился в сторону и удар пришелся по воздуху. В это время фельдфебель Князьков, бежавший у стремени Бурцева, хотел ударить лаза штыком, но тот увернулся, и Князьков дал промах. Бурцев занес во второй раз саблю, но в это время лаз выстрелил из пистолета почти в упор, и хотя Князьков в то же мгновение поднял его на штык, но уже поздно для Бурцева: пуля пробила ему грудь, и дрянной пистолет убитого лаза достался печальным трофеем Князькову”.

В ту минуту, когда Бурцев упал, возле него находился только один денщик его, Максим Пономарев. Видя, что лазы с диким ревом уже бегут на место катастрофы, чтобы добить раненого генерала, он схватил его на руки и успел отнести к отряду. Главнокомандующий высоко поставил самоотвержение верного денщика и в пример другим пожаловал ему знак отличия Военного ордена.

Смертельная рана Бурцева остановила преследование и вырвала победу из рук гренадер. У всех, как говорит очевидец, опустились руки. К неприятелю, между тем, подходили подкрепления из Гюмюш-Хане, и лазы остановились на крепкой позиции в версте от деревни. Командир артиллерийской роты подполковник Линденфельд, принявший команду после Бурцева, не решился продолжать атаку; он потребовал из Бейбурта роту Херсонского полка, и, когда она прибыла, отряд стал отходить назад эшелонами. Неприятель не преследовал, и войска двадцатого числа возвратились в Бейбурт.

Кровавый день девятнадцатого июля стоил русским одного генерала, тринадцати офицеров и более трехсот нижних чинов.

Бурцев не пережил раны и, после тяжких мучений, скончался в Бейбурте 23 июля, в пять часов утра. Тело его было набальзамировано, залито воском и отправлено в Гори, где жило семейство покойного. “Надо было видеть,— рассказывает один современник,— горе и уныние Херсонского полка, чтобы судить, насколько Бурцев был любим своими подчиненными”.

Как ни был огорчен Паскевич исходом и последствиями Бейбуртской катастрофы, он не высказал и тени упрека достойной памяти погибшего генерала. От постоянных успехов дух самоуверенности был сильно развит в войсках Кавказского корпуса, и это настроение Паскевич ценил даже при его злоупотреблении.

Так, подобно вечернему метеору, ярким светом блеснул и исчез на горизонте Кавказской войны храбрый и даровитый Бурцев. Он оставил по себе память человека

высокообразованного, умного, храброго до дерзости, и, главное, человека в высшей степени сердечного. Воспитанник известной в то время муравьевской школы колонновожатых, он начал службу в 1812 году в свите Его Величества по квартирмейстерской части, а потом был адъютантом у начальника штаба Второй армии генерала Киселева. Быстро подвигаясь по ступеням военной иерархии, он в 1823 году уже произведен был в полковники, а в 1824 получил в командование Украинский пехотный полк, в одной дивизии с Пестелем и в одной бригаде с Абрамовым. Всем известна та выдающаяся роль, которую играли оба эти лица в декабрьских событиях 1825 года, и печальная участь, постигшая их, не могла косвенным образом не отразиться на Бурцеве, бывшем с ними в близких и тесных отношениях. У него взяли полк и перевели на Кавказ под команду младшего.

В персидскую кампанию, несмотря на свое приниженное положение, Бурцев своими блестящими способностями обратил на себя внимание Паскевича, который приблизил его к себе и предоставил ему более широкую деятельность. Под Карсом Бурцев заслуживает Георгиевский крест; на штурм Ахалцихе он ведет пионерный батальон и, когда был убит Бородин, принимает команду над штурмовой колонной. Георгиевское знамя первого Кавказского саперного батальона и георгиевские трубы Ширванского полка добыты ими под начальством Бурцева. С этого же времени начинается и перемена в его служебном положении к лучшему. Он снова получает в команду Херсонский гренадерский полк, с которым рядом блистательных дел ознаменовывает себя в кампанию 1829 года. Ему два раза обязан своим спасением Ахалцихе в такое время, когда всякая помощь из Грузии казалась немыслимой; ему принадлежала в начинавшейся кампании честь первых побед — Дигур и Чаборио; его искусным маневром пользуется Паскевич, чтобы спокойно подняться на Саганлугский хребет, и на его же плечах выносится вся тяжесть боя 19 июня. С производством в генералы, казалось, перед ним опять разворачивалась широкая будущность, но судьба судила иначе, и бейбуртский поход является последним, заключительным эпилогом его славных подвигов: он пал во главе своих гренадер и был нелицемерно ими оплакан.

В самый день похорон, утром 25 июля, в Бейбурт вступили главные силы действующего корпуса, и с ними прибыл Паскевич. В это время гроб Бурцева выносили из квартиры в походную церковь. Главнокомандующий принял участие в печальной церемонии и, сопровождая гроб, со слезами сказал офицерам Херсонского полка: “Господа! Вы хороните фельдмаршала!” Так высоко ценил Паскевич военные дарования Бурцева.

Внутри православного собора города Гори, у левой стены его, видна небольшая гранитная колонна, увенчанная мраморным крестом, а перед нею — такая же гранитная гробница, окруженная железной решеткой. Под этой гробницей покоится прах храброго Бурцева, а под колонкой, в особой урне, погребено его сердце, которое билось при жизни горячей любовью к отчизне и замерло в последнем импете с сознанием свято исполненного долга.

Над гробницей, на медной дощечке, выбита надпись:

“Господь, Спаситель мой, кого убоюся?”

XXIX. В СТРАНЕ ЛАЗОВ

Смерть генерала Бурцева и катастрофа, постигшая его отряд в штурме Харта, хотя и носили на себе характер лишь частной неудачи, но, тем не менее, они ослабили в турках тот нравственный гнет, который вселили в них русские войска своим победоносным шествием к Арзеруму и, как увидим дальше, вызвали такие осложнения в операциях,

которые не только замедлили движение вперед, но и совершенно изменили предначертания главнокомандующего.

“Всем было жаль храброго Бурцева,— говорит Пушкин в своих записках об арзерумском походе,— но это происшествие могло быть печально и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего далеко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при известии о первой неудаче”.

И эти слова постороннего участника похода, служившие отголоском лишь мнения большинства военных людей, скоро нашли себе в грядущих событиях полное оправдание. Теперь уже нечего было мечтать о быстром покорении Трапезунда, Сиваза или Токата, а являлась необходимость прежде всего упрочить шаткое положение правого фланга. И Паскевич тотчас двинул к Бейбурту весь отряд Муравьева, стоявший в Аш-Кале [Под начальством Муравьева находились: Ширванский пехотный полк, кавалерийская бригада Раевского, два конно-мусульманскик полка и двенадцать орудий.], а вслед за ним выступил туда же и сам с гренадерской бригадой, двумя казачьими полками и восемнадцатью орудиями.

Последний курьер только что повез государю донесение главнокомандующего о том, что дела в азиатской Турции идут успешно и что во всех санджаках распространяется покорность русскому правительству,— как вдруг, в два-три дня, обстоятельства переменились так резко и так неожиданно!

Преувеличенные слухи о неудачном исходе Бейбуртской экспедиции, электрической искрой облетевшие край, вызвали повсюду несбыточные мечты и надежды. Сплотившиеся уже отчасти турецкие войска стали быстро расти, усиливаясь лазами. Ванский паша, устрашенный сначала поражением турецкой армии, теперь вторично шел к Баязету и находился от него в пяти переходах. Весь Мушский пашалык волновался и значительные массы курдов двигались уже к нашим границам. Беспокойные люди готовы были возжечь дух возмущения в самой столице Анатолии, а возмущение в таком многолюдном городе, как Арзерум, могло поставить русских в опасное положение. Такова мрачная картина, начертанная самим Паскевичем в письме его к государю.

Но опять, как и прежде в июне, Паскевич не спешил на помощь левому флангу, где опасность возрастала почти с каждым днем, а обратил все свое внимание на правое крыло, существенно влиявшее на главные операции. Приготовления к походу шли спешные, и с рассветом двадцать третьего июля войска выступили уже из Арзерума, под начальством только что прибывшего тогда на Кавказ генерал-адъютанта Потемкина [Потемкин назначен был на Кавказ самим государем в помощь Паскевичу “для командования отдельными отрядами в случаях более важных и там, где личное присутствие главнокомандующего будет невозможно”.]. Сам главнокомандующий еще оставался в городе. Перед выездом он собрал к себе арзерумских старшин, долго беседовал с ними и, наконец, заявил категорически, что благоденствие жителей будет зависеть от их поведения, и, что в случае малейших беспорядков, город испытает страшную кару. В Арзеруме, под командой генерала Панкратьева, оставлены были Кабардинский и Севастопольский полки, три батальона егерей, три полка казаков и двадцать четыре орудия. Этих сил полагали достаточным, чтобы удержать за собой передовые пункты и наблюдать за спокойствием в самом городе.

Опередив войска, Паскевич 25 июля прибыл в Бейбурт, где уже находилась колонна Мувавьева. На следующий день сюда же подошел Потемкин, и весь действующий корпус расположился лагерем на трапезундской дороге, верстах в десяти за Бейбуртом,

Из тех немногих сведений, которые доставили лазутчики, было известно, что ядром турецких войск служит часть трапезундского корпуса, около которого и группируются лазы. Неприятель занимал несколько укрепленных деревень, облегавших Бейбурт полукругом и расположенных так, что если бы русские атаковали одну из них, другие брали самых атакующих в тыл или во фланг. Всеми войсками командовал Осман-паша, главная квартира которого находилась в Балахоре, а в прочих деревнях начальствовали храбрейшие и опытнейшие старшины по выбору самого народа. Слух о прибытии Паскевича несколько поколебал их решимость, однако все дали клятву взаимно помогать друг другу и, как обреченные на смерть, поголовно оделись в белые саваны.

Паскевич не стал ожидать более определенных сведений о неприятеле и решил прежде всего наказать жителей Харта, кичливые рассказы которых о смерти русского генерала волновали умы соседних лазов. Нужно было унизить гордость врага в том самом месте, которое он считал недоступным, и пролитую здесь русскую кровь возместить сторицей.

Большая деревня Харт ютилась в северном углу обширной равнины и с трех сторон вплотную окружена была высокими горами. Горы эти, наполняющие собой весь трапезундский пашалык, упираются своими подошвами в северную окраину деревни и охватывают ее с востока и с запада. Громоздясь над самым селением дикими, прихотливо перевитыми кряжами и уступами, они ниспадают к югу и, обходя Харт, образуют перед ним широкую равнину, простирающуюся далеко за русский лагерь, почти до Бейбурта. Самая деревня, снаружи опоясанная садами и огородами, а внутри укрепленная баррикадами и перекопанная рвами, представляла собой одну из тех крепких местностей, атака которых всегда сопровождается большими потерями. Штурмовать деревню со стороны равнины, значило бы опять рисковать жизнью сотен людей, так как восемь тысяч лазов, после отчаянной защиты селения, даже выбитые из него все-таки нашли бы себе опору в горах, где на каждом шагу сама природа представляла им крепкие оборонительные позиции. Паскевич решился обойти деревню, чтобы атаковать ее с тыла, со стороны гор, и отбросить лазов в открытую равнину, где стояла многочисленная русская конница.

Двадцать седьмого июля, в два часа пополудни, весь русский корпус в боевом порядке двинулся к Харту. В версте от деревни, в виду кладбища — немого свидетеля геройских усилий Бурцева, четыре полка кавалерии с четырьмя орудиями выдвинулись вперед, и под их заслоном корпус потянулся вправо, в обход деревни. Неприятель, зорко следивший за нашими войсками, казалось, нисколько не был смущен близким их появлением. По всему протяжению наружных шанцев, в садах, в огородах, в деревне на плоских крышах саклей, на скалах, где возвышались грозные башни,— везде стояли его толпы и спокойно смотрели на движение русских. Когда весь корпус, обогнув деревню, стал на восточных высотах, Паскевич выдвинул вперед двенадцать батарейных орудий и открыл огонь по неприятелю. Лазы отвечали сильной ружейной пальбой. По временам, оглашая воздух дикими криками, размахивая обнаженным оружием и выскакивая из своих укрытий навстречу летевшим снарядам, “они,— как выражается Паскевич,— казалось, хотели удивить нас своей дерзостью, и можно было ожидать с их стороны отчаянной вылазки”. Грохот канонады разнес между тем тревогу по окрестным селениям, и неприятельская пехота, поспешно двигавшаяся на помощь к Харту, выказалась двумя большими отрядами.

Позади деревни, к северу от нее, возвышался скалистый остроконечный пик, резко выделявшийся из массы гор и своей оригинальной формой и своим положением. Этот-то пик и занял один из турецких отрядов, тогда как другой остановился на одном из горных уступов, лежавших почти в тылу нашей позиции, “Если бы я не щадил людей,— говорит

Паскевич,— то ударом в штыки сейчас же мог бы вытеснить лазов из Харта, но было очевидно, что они, при поддержке извне, крайне дорогой ценой уступят победу, а потому я хотел сначала отогнать все секурсы, потом окружить деревню и, постепенно приближаясь к ней, истребить артиллерией все неприятельские оборонительные средства”. На этом решении Паскевич и остановился.

Было уже шесть часов пополудни, приближался вечер, и главнокомандующий, торопясь покончить дело до наступления темноты, приказал грузинскому батальону сбить неприятеля с высот, находившихся у нас в тылу, а батальону Ширванского полка овладеть остроконечным пиком, чтобы отрезать защитникам Харта и последний путь отступления через Северные горы. Грузинцы, покровительствуемые огнем огромной батареи из двадцати четырех орудий, быстро овладели горным уступом, где стоял неприятель и, расположившись на взятых утесах, заставили лазов убраться на самый гребень горы, откуда им спуститься вниз уже было невозможно. Тогда, обеспеченные с тыла, двинулись вперед и ширванцы. Но исполнить задачу им было гораздо труднее, нежели грузинцам, так как здесь приходилось действовать без помощи артиллерии, снаряды которой даже не долетали до вершины остроконечного пика. В первый раз, после Ахалцихе, ширванцы шли в бой на глазах любимого шефа и, желая показать себя достойными славного имени, двинулись на приступ без выстрела. Сильный ружейный огонь, встретивший их с пика, замер в громовом крике “Ура!”, и через полчаса шанцы, венчавшие гору, были взяты штыками. Сброшенные вниз, лазы не успели опомниться, как были окружены русской конницей. Два конно-мусульманские полка и две сотни линейцев неслись на них слева, дивизион нижегородских драгун с двумя донскими орудиями — справа. Тяжкий удар нижегородцев разорвал лазов надвое. Подпоручик князь Зураб Чавчавадзс 4-й с горстью драгун первый проложил себе дорогу сквозь ряды неприятеля, и заскакал им в тыл. Лошадь под ним была убита, он дрался пеший, получил рану, но не пустил лазов в горы. Тем временем подоспели татарские полки, и лазы очутились в отчаянном положении: их поражали картечью и пулями, топтали конями, рубили саблями, кололи пиками. Видя невозможность пробиться, неприятель дрался с таким ожесточением, что целые партии, расстреляв патроны, выхватывали кинжалы и резали друг друга, чтобы избежать плена. Бой, почти небывалый по кровопролитию, происходил на таком тесном пространстве, что даже зарядные ящики артиллерии оказались потом избитыми пулями. Долина была завалена трупами, и только немногим из лазов удалось, прорвавшись сквозь этот страшный круг огня и железа, укрыться в горы; но и там еще долго преследовал их конвой главнокомандующего с полковником Верзилиным.

Этим кровавым эпилогом закончился день двадцать седьмого июля. Темная ночь быстро спустилась на окрестность, и густой туман, заслонивший от глаз даже ближайшие предметы, остановил дальнейшие действия против Харта. Войска окружили селение со всех сторон: с востока и севера стояла пехота, с юга и запада — конница.

Часов в девять вечера, уже в совершенной темноте вернулись линейцы, и полковник Верзилин доложил Паскевичу, что верстах в десяти за Хартом, он неожиданно наткнулся на сильные турецкие колонны и должен был отступить. Известию, однако, не придали серьезного значения, полагая, что турки не осмелятся ночью приблизиться к Харту. В русских лагерях все успокоилось, как вдруг часов в одиннадцать ночи страшная ружейная трескотня на северных горах подняла всех на ноги — ширванцы внезапно были атакованы с тыла значительными силами. То был действительно Осман-паша, явившийся из Балахора с тем, чтобы помочь жителям Харта вырваться из тесной блокады. Мрак ночи и неизвестность, в каком положении находятся ширванцы, поставили Паскевича в некоторую нерешимость, что предпринять. К счастью, скоро прискакал офицер с

донесением, что нападение турок отбито и ширванцы удержали позицию. Но едва перестрелка смолкла на северной стороне, как началась на западной и южной.

Приближение Осман-паши дало надежду лазам, окруженным в деревне, воспользоваться ночной суматохой, чтобы вырваться в поле. Толпы их, хлынувшие из западных и южных ворот, стремительно ударили на нашу кавалерию и стали пробиваться. На западной стороне попытка эта, однако, не увенчалась успехом. Драгунская цепь, быстро сомкнувшаяся во взводы, под командой храбрых офицеров — поручиков Акимова и Шилинга, прапорщиков князей Язона, Романа и Спиридона Чавчавадзе,— со всех сторон окружила лазов, и часть их была изрублена, а остальные втоптаны обратно в деревню. На южной стороне успех, напротив, был на стороне неприятеля: там лазы прорвали редкую конно-мусульманскую цепь, и пока на помощь к ней подоспел заведовавший ночными пикетами султан Таги-хан с дежурной сотней и прискакал взвод нижегородских драгун, под командой штабс-капитана Коцебу, они уже миновали равнину и скрылись в горах. Десять изрубленных тел, шестнадцать пленных и три знамени — вот все, чем поплатились лазы за свою отчаянно смелую вылазку.

Этот эпизод ускорил, однако, общую развязку. Пехота, двинутая Паскевичем, вошла в деревню с разных сторон, и небольшая часть еще остававшихся защитников была истреблена поголовно. При осмотре Харта в нем найдено было до восьмидесяти тел замученных русских солдат — кровавый след последнего Бурцевского штурма; большая часть их была обезглавлена, с некоторых содрана кожа, иные, обугленные, висели над потухшими кострами. Все эти восемьдесят изуродованных трупов, безмолвно свидетельствовавших о том фанатичном разгуле диких страстей, которым предавались лазы, торжествуя победу, были собраны вместе и преданы земле в одной общей братской могиле.

Пока пехота со всех сторон зажигала Харт и солдаты, пренебрегая добычей, бросали в огонь имущество жителей, кавалерия с первыми лучами восходящего солнца пошла преследовать неприятеля. Полковник Анреп, со своими уланами и вторым конно-мусульманским полком, двинулся к Балахору; Раевский, с нижегородцами и мусульманским полком Ускова, принял несколько в сторону, чтобы осмотреть соседние горы. Но пока последнему встречались на пути лишь одиночные бегущие партии, за которыми гоняться было бесполезно, Анреп открыл у Балахора весь лагерь Осман-паши, где находилось до трех тысяч пехоты и конницы. Второй конно-мусульманский полк понесся в атаку, но, встреченный сильной турецкой конницей, был опрокинут. Устроившись, татары повторили атаку, и снова были отбиты. Между тем в тылу у неприятеля замечено было усиленное движение — тянулись обозы, отступала пехота. Тогда Серпуховского уланского полка поручик Голумбовский вызвался разыскать Раевского и привести его к Балахору. Путь лежал через ущелье, занятое лазами, но раздумывать было некогда, и Голумбовский, в сопровождении одного улана, пустился во весь опор под перекрестным огнем неприятеля. Лошадь под ним была ранена, но сам он и улан промчались благополучно и встретили Раевского уже идущего на выстрелы [Паскевич пожаловал Голумбовскому чин штабс-ротмистра и орден св. Анны 3-ей степени с бантом.]. С прибытием его колонны второй конно-мусульманский полк в третий раз кинулся в атаку и, поддержанный карабагскими беками, ворвался в деревню. Большая часть турецкого отряда успела уже отступить, но то что осталось — подверглось полному истреблению. Два орудия, знамя, лагерь, артиллерийский парк, целые табуны лошадей, скота и баранов, наконец, имущество жителей нескольких деревень, спешивших удалиться в горы вслед за войсками,— все сделалось добычей татар. В плен взято более ста пятидесяти человек, и в том числе несколько турецких чиновников.

Общий урон русского корпуса в эти два дня состоял из четырех офицеров и шестидесяти шести нижних чинов; но, к общему сожалению, в числе тяжелораненых был один из выдающихся боевых артиллеристов, командир донской батареи подполковник Поляков.

Таким образом, все силы турок, с таким трудом собираемые ими в Лазистане, были разбиты и рассеяны. “Имея счастье донести об этом Вашему Императорскому Величеству,— писал Паскевич государю,— повергаю к стопам Вашим четыре знамени лазов, народа храбрейшего между всеми азиатскими племенами”. С этим донесением был послан карабагский султан Фарадж-Уллах-бек, особенно отличившийся в последнем сражении. Паскевич хотел в лице его обратить внимание государя на мусульманские полки, боевая служба которых так высоко им ценилась.

Четвертого августа весь русский корпус перешел к Балахору. Отсюда произведена была рекогносцировка к стороне Куанс-Кале — небольшой крепости, закрывавшей собою путь к Трапезунду. Носились слухи, что там собираются разбитые лазы; но дорога туда, извиваясь по косогорам узких ущелий, со страшными обрывами и кручами, оказалась до того затруднительной, что на десятой версте пришлось бросить всю полевую артиллерию, а далее не было пути даже для конницы. Один над другим громоздились горные хребты, пересекавшие дороги к Гюмюш-Хане и Трапезунду, и не было, казалось, этим хребтам ни конца, ни пределов. Не подлежало сомнению, что здесь пройти с обозами невозможно, и войска к вечеру вернулись к Балахору.

На следующий день, шестого августа, главнокомандующий решился сделать несколько переходов вперед по сивазской дороге, “чтобы этим движением,— как он писал государю,— прикрыть покорные санджаки Арзерумского пашалыка и позволить жителям убрать свой хлеб, обеспечивший бы нам продовольствие на все зимнее время”. Продовольственный вопрос действительно выдвигался тогда на первую очередь. Приближалась пора, когда Саганлугские горы покрываются снегом, и доставка провианта должна была прекратиться не только из Грузии, но и из ближайшего Карсского пашалыка. На третий день похода, 8 августа, войска прибыли в Килкит-Чифтлик — большое местечко, лежавшее всего в полутораста верстах от Сиваза. Местечко было покинуто жителями и, несмотря на то, зажиточность его была видна на каждом шагу, вполне гармонируя со всей окружающей его природой. Весь путь, по которому прошли войска, представлял собою богатые пажити. В стороне виднелось много больших деревень, из которых в самых дальних, вероятно, еще оставались жители, потому что там паслись стада и ходили отары овец; поля были засеяны пшеницей, повсюду виднелись канавы, говорившие об искусственном их орошении, а кругом, замыкая горизонт, стояли все те же безлесые, голые горы, не представлявшие никакой растительности, кроме травы, давно уже выгоревшей от солнца.

В Килкит-Чифтлике узнали через лазутчиков, что невдалеке стоит девятитысячный турецкий корпус, на днях прибывший сюда из Трапезунда с целью прикрыть дороги к Сивазу и Токату. Донской казачий полк Фомина, высланный по тому направлению, имел довольно горячую стычку и, оттеснив передовые турецкие пикеты, действительно открыл неприятельский лагерь, стоявший на укрепленных высотах за речкой Шен-Су. Сгущавшиеся сумерки заставили Паскевича отложить атаку до утра; но неприятель в глухую полночь снялся с позиции и отступил по разным направлениям так быстро, что посланная за ним кавалерия едва успела настигнуть его обозы. Теперь перед русским корпусом открывался почти беспрепятственный путь до самого Сиваза, и главнокомандующий уже намеревался занятием его завершить кампанию, как вдруг получились новые известия о тревожном положении дел в тылу и на флангах. Панкратьев писал Паскевичу, что курды простирают свои набеги почти до самых стен Арзерума;

Баязет со дня на день ожидал новой блокады; Берхман доносил из Карса о поголовном возмущении жителей в Ольте, Наримане и даже в Ардаганском санджаке; Гессе извещал о беспокойном настроении аджарцев и кабулетцев. Все это очевидно находилось в связи с теми слухами, которые ходили повсеместно о назначении Трапезундского Осман-паши Анатолийским сераскиром на место плененного Галиба и о намерениях Порты вести войну до последней возможности.

При таких условиях, когда начинались волнения кругом в покоренных пашалыках, удаляться от русских границ было невозможно, и Паскевич решил отказаться от покорения Сиваза. Но прекращая наступательные действия и, так сказать, изменяя весь план своей кампании, он не хотел дать этого заметить туркам и вознамерился диверсией к стороне Трапезунда принудить сераскира заниматься только собственной защитой, а не помышлять о нападениях. “Сими действиями,— писал он государю,— я должен буду окончить здешнюю кампанию, ибо наступающая осень заставляет меня заботиться о возвращении части войск в Грузию”.

Двенадцатого августа главнокомандующий лично передал полковнику графу Симоничу приказание занять город Гюмюш-Хане, лежавший всего в семидесяти пяти верстах от Трапезунда и славившийся в крае богатыми серебряными рудниками, на которых работали исключительно греки. Поэтому христианское население в Гюмюш-Хане было весьма значительно, и там же находилась кафедра греческого митрополита. К походу назначены были два батальона Грузинского гренадерского полка, три роты пионер, дивизион нижегородских драгун, казачий полк Фомина, второй конно-мусульманский, четыре горные единорога и четыре кегорновые мортиры. Этим войскам и суждено было достигнуть крайнего пункта, до которого доходил корпус графа Паскевича.

Дорога к Гюмюш-Хане, начинаясь равниной, входит потом в ущелье и становится до того затруднительной, что, по выражению графа Симонича, “превосходит всякое описание”. Почти на всем протяжении ее легкие горные единороги приходилось поддерживать веревками, чтобы они не скатились с утесов, и все-таки один из них сорвался и придавил двух артиллеристов; три раза орудия разбирали совсем и несли на руках; в некоторых местах невозможно было проехать верхом, и даже привычные к горам мусульмане спешивались, проводя лошадей в поводу. На самом перевале, занимая вершину Гяур-Даг, стоял неприятельский наблюдательный пост. Выдвинутая вперед кавалерия скоро прогнала его и, преследуя семнадцать верст, захватила нескольких пленных. Между тем наступила ночь, а отряд ощупью все продолжал подвигаться вперед за невозможностью остановиться на тропинке, висевшей над бездной. Наконец кое-как разыскали небольшую площадку, и весь отряд ночевал на ней, сбившись в тесную кучку.

С рассветом 13 августа двинулись дальше. До Гюмюш-Хане оставалось уже верст пять или шесть, как по дороге показалась торжественная процессия: греческое духовенство с хоругвями и иконами, сопровождаемое целой массой народа, шло навстречу, оглашая воздух священными гимнами на древнем эллинском наречии. После короткого молебствия городские ключи были поднесены графу Симоничу самим митрополитом. И как трогательна, как умилительна была эта картина братской встречи двух единоверных народов в далекой мусульманской стране, где столько веков не раздавалось молитвенного пения.

Посреди дикой природы Гюмюш-Хане, тонувший в густых фруктовых садах и виноградниках, производил самое приятное впечатление. Город большой, красивый, с домами большей частью европейской архитектуры, построен был, однако, на такой гористой местности, что жители совсем не держали повозок или арб, по невозможности

употреблять их в домашнем быту; даже в окрестностях города не нашлось ровной площадки, где бы стать лагерем, и войска разместили у жителей. Пехота стала в домах, а кавалерия заняла сады. Легкие казачьи партии, ходившие разведывать, куда отступил неприятель, возвратясь, рассказывали, что за Гюмюш-Хане дорога еще хуже пройденной и не везде доступна даже для вьюков.

Турецкие войска, занимавшие Гюмюш-Хане, ушли отсюда только за несколько часов до прихода русских; за ними бежали и жители-мусульмане, предварительно разграбив дома христиан, оскорбив женщин и предав смерти несколько человек, пытавшихся прибегнуть к самозащите. Все эти неистовства прекращены были только с появлением передовой русской кавалерии, которая поспешила разогнать грабителей. Из военной добычи в Гюмюш-Хане найдено было одно чугунное орудие, да несколько вьюков свинца и пороха, все остальное турки увезли с собою; частное имущество бежавших магометан осталось неприкосновенным, и дома и лавки их были тщательно опечатаны.

Занятие русскими города совпало как раз с праздником Успения Пресвятой Богородицы, и 15 августа в соборе была совершена торжественная литургия. Старинный, с почерневшими иконами храм, величественное служение митрополита, греческие напевы, сохранившиеся здесь едва ли не с первых времен христианства, наполняли сердца присутствующих чувством неизъяснимого восторга. В первый раз после четырехмесячных походов, посреди отдаленных гор, молились русские солдаты в стенах православного храма, окруженные многочисленным единоверным им населением. И сам маститый митрополит, преклонявший колени во время чтения благодарственных молитв, и духовенство, и весь народ плакали счастливыми слезами. Им, не знакомым с политикой, казалось, что пробил час их освобождения и что под охраной русских штыков начнутся для них теперь века счастья и благоденствия. Гром артиллерии, огласивший пустынные скалы при возглашении многолетия русскому императору, как бы закрепил в народе эти светлые надежды, и все разошлись по домам счастливые, радостные.

Но час народной скорби, страха и общего бедствия уже тяготел над городом. Вечером прискакал курьер и привез графу Симоничу приказание оставить Гюмюш-Хане и отступить к Балахору.

Нельзя описать того потрясающего впечатления, которое произвело это известие на жителей. Уныние христиан было невыразимое. Митрополит, сохранивший более других присутствие духа, именем целого города умолял главнокомандующего не покидать их в жертву мщения лазов. Но при всем желании покровительствовать христианам, Паскевич должен был подчиняться важности военных соображений, и все, что он мог сделать в пользу города, это продлить пребывание отряда в Гюмюш-Хане еще на два дня. Несколько десятков городских семейств вызвалось, однако же, следовать за русскими войсками, но большинство не знало, на что решиться: с одной стороны — их пугала неизвестность будущего, с другой — грозным призраком вставало мнение турок; да и самая краткость времени мешала изготовиться им к выступлению. Митрополит при всей опасности своего положения, как добрый пастырь, решился разделить судьбу остающихся жителей. Попечение о благе народа внушило ему мысль ехать в турецкий стан и заявить, что русские насильно увели с собой несколько граждан и что остальные просят у сераскира защиты и покровительства. Граф Симонич одобрил это решение, и поездка митрополита, хотя до некоторой степени, ослабила ужасы мщения.

Восемнадцатого числа утром граф Симонич выпроводил из города обоз переселенцев под прикрытием кавалерии, а в сумерках выступила за ними и пехота. Слух о том, что русские покидают Гюмюш-Хане, в тот же день дошел до сераскира, и к вечеру войска его стояли

уже в девяти верстах от города. Передовой турецкий отряд подвинулся еще ближе, и бивуачные огни его ясно были видны с русских пикетов. Ночь, однако же, прошла спокойно; неприятель не преследовал, и граф Симонич на следующий день благополучно соединился с Паскевичем.

Причины, заставившие главнокомандующего так внезапно оставить Гюмюш-Хане, заключались в тех неблагоприятных сведениях, которые на этот раз были получены им уже со стороны Бейбурта. Командир Херсонского полка полковник Бахман, преемник Бурцева, доносил, что сильные партии лазов угрожают нападением на город и что сообщение его с Арзерумом прервано партизанскими шайками, которые захватывают наших курьеров, разбивают транспорты и нападают даже на небольшие военные команды.

В длинном ряду происшествий, случившихся в то время на арзерумо-бейбуртской дороге, особенно рельефно выделяется подвиг двенадцати линейных казаков второго сборного полка, отправленных с депешами из Арзерума в Бейбурт.

Уже в начале своего пути казаки встретили транспорт, конвоируемый сильным прикрытием, которое предупредило их, что по дороге ехать крайне опасно, так как вся окрестность наполнена шайками. Тогда линейцы выбрали из, своей среды старшим старого гребенского казака Семена Бакалдина, бывавшего в кавказских переделках, осмотрели еще раз коней и оружие и, возложив упование на милосердие Божие, тронулись в дальнейший путь, усилив свою бдительность. Но как ни осторожно ехали казаки, на третьем переходе они вдруг лицом к лицу столкнулись с тридцатью конными турками, внезапно выехавшими из придорожного оврага. Казаки, по знаку Бакалдина, спешились и, залегши за камнями, открыли огонь; турки сделали то же, и на большой дороге закипела оживленная перестрелка. Бакалдин смекнув, однако, что сколько бы времени они не стреляли, а ехать вперед все же надо, да и турок пулей с дороги не сгонишь, крикнул: “На-конь!” В одну минуту линейцы были уже в седлах, дали залп и, выхватив шашки, с кинжалами в зубах ринулись на неприятеля. Внезапность нападения до того озадачила турок, что толпа их бросилась с дороги в сторону, к ближайшей деревне, не успев захватить даже тело одного из своих товарищей. Казаки неслись за ними с ужасающим гиком, но заметив, что из деревни скачет другая толпа, они, отстреливаясь, отступили опять на дорогу и, проскакав по ней во весь дух несколько верст, поехали шагом. Погони не было. Но вот на дороге встретился узкий каменный мост. С двух сторон подступали к нему громадные скалы и, сдвинувшись вместе, образовывали такой узкий коридор, по которому можно было проехать только гуськом. Казаки приостановились. Кавказское чутье подсказало им, что здесь должна быть засада. И, действительно, несколько выстрелов, пущенных наудачу, разом вызвали двадцать ответных пуль. Теперь не было сомнения, что неприятель засел по гребню скалы и сторожит свою добычу. Но миновать это роковое место было нельзя. Казаки попытались было выбить врага меткими выстрелами, но пули только рикошетили, ударяясь о камни, и безвредно проносились над головами турок. Патроны, между тем, все были израсходованы, и оставалось одно — прорваться через ущелье. Бакалдин опять крикнул “На-конь!”, и казаки гуськом, по кустам и острому каменнику, понеслись под перекрестным огнем неприятеля. Но, видно, Бог хранил удальцов — ни один турок не загородил им дороги, ни одна пуля не попала в цель,— и через несколько минут линейцы были вне опасности.

Дав вздох коням, Бакалдин раздал товарищам несколько патронов, случайно сохранившихся у него в переметных сумах, и снова казаки тронулись в дальнейший путь. Едва они проехали версты две, как в третий раз перед ними явился неприятель, в числе двадцати восьми человек, преградивший им дорогу. Но, изведав уже на опыте, что перестрелка не приведет ни к чему, линейцы, выхватив шашки, ринулись на турок, и через

минуту вогнали их в лесистое ущелье... Еще час пути — и вдали показался Бейбурт. Казаки вздохнули свободно.

Главнокомандующий произвел Бакалдина в урядники и пожаловал ему знак отличия военного ордена; два другие креста украсили грудь его товаришей по выбору самих казаков. Это были: Терско-Семейного войска казак Андрей Панков и Моздокского — Мартын Мельников.

Восстание в тылу очевидно росло, и Паскевич поставлен был в необходимость перенести свои действия с Сивазской дороги опять в окрестности Харта и Балахора. Но, отступая из Килкит-Чифтлика, сближаясь, так сказать, с Бейбуртом, он в то же время не хотел отказаться от мысли угрожать Трапезунду. Напротив, опытные лазутчики посланы были в горы разведать о настроении трапезундских жителей, и в особенности их беков. И если бы это настроение оказалось в пользу России, он имел намерение, несмотря ни на какие преграды, идти налегке и овладеть Трапезундом. С этой целью он остановил отряд у Балахора и решился сделать отсюда еще одну последнюю рекогносцировку.

Оригинальную и крайне живописную картину представлял собою русский стан, широко раскинувшийся на Балахорских горах. Сотни христианских семейств, бежавших из Гюмюш-Хане и других селений, ютились тут же, по откосам скал, и смягчали собою резкий колорит боевой обстановки. Русские солдаты, смешавшиеся с жителями, заботливо ухаживали за малолетними детьми и участливо делили с ними свой черствый сухарь. Длинные ряды белых палаток, то спускалась в долины, то поднимаясь на холмы, как бы естественным пологом задернулись густой зеленью кустарника. Здесь и там грозно выступали вперед медные пушки, на жерлах которых скользил последний луч заходящего солнца. Но в особенности красивый вид представлял кавалерийский лагерь, пестревший всеми цветами радуги. И что особенно поражало глаз и удивляло зрителей — это то, что здесь, в самом сердце Азии, казалось, собрались представители всех азиатских народностей, чтобы под русским знаменем сражаться против турок. Здесь были целые полки мусульман наших закавказских провинций, были чеченцы Бейбулата, конница Кенгерлы, команда карсских армян, сотня баязетских турок, вольные курды и, наконец, отборный полусотенный отряд дагестанских горцев. Его привел табасаранский владетель Ибрагим-бек, еще молодой человек, принадлежавший к числу почетнейших лиц Дагестана. Про него рассказывали, что, торопясь в азиатскую Турцию, он пренебрег обыкновенными дорогами и прошел напрямик через вершины снегового Шах-Дага.

В заключение к этому пестрому, оригинальному сборищу в Балахоре прибавились еще Дели и Гайты, прибывшие из Арзерума. Это были уже чистокровные османлы, подданные султана, еще так недавно стоявшие под бунчуком сераскира. Считаясь лучшей конницей в Турции, Дели и Гайты славились своим патриотизмом, и их появление в русском стане служило лучшим мерилом громадного влияния побед Паскевича. “Любопытно было видеть,— рассказывает один очевидец,— как эта конница прошла церемониальным маршем мимо главнокомандующего, со своим маленьким барабаном, на котором бил что-то весьма несвязное чалмоносный барабанщик. Впереди ехали два баши (начальника), за ними — байрактары, выкрикивавшие какие-то командные слова; конница тянулась в один ряд, как попало. Паскевич ласково приветствовал ее и всем раздавал подарки.

Войска в Балахоре простояли два дня. Местечко это лежит на разветвлении двух главных дорог к Трапезунду, из которых одна идет на запад, через Гюмюш-Хане, другая на север, через Каракабанский перевал. Первая из них уже была исследована колонной графа Симонича, и оказалась крайне неудобной. Оставалось сделать попытку пройти на Каракабан, тем более, что эта дорога почему-то носила название большого пушечного

пути. Но едва корпус вытянулся из лагеря, как тотчас же оказалось, что эта дорога совсем не оправдывала своего громкого названия. Даже легкая казачья артиллерия могла следовать по этой дороге только до первого перевала, который был так крут и высок, что на него уже нельзя было ввезти орудий. Далее остановилась и регулярная конница. Паскевич продолжал путь с одними татарами и казаками. При всяком новом подъеме все с любопытством и жадностью всматривались вдаль, надеясь окинуть взором отдаленную синеву моря и увидеть Трапезунд. Но гряды гор, вздымаясь одна выше другой, заполняли собою весь горизонт, и всюду была безотрадная картина бесконечных голых хребтов, унизанных острыми скалами и разорванных лесистыми ущельями и пропастями.

Но вот исчезла последняя тропа, по которой пробирались татары; пришлось спешиться и вместе с лошадьми лепиться по гладким и скользким утесам, ежеминутно рискуя сорваться в пропасть. Паскевич остановился и отправил вперед одну легкую партию с подполковником Степановым; она возвратилась через два часа и привезла известие, что на Каракабане стоит турецкий лагерь, и что от того места, где остановились татары, до Трапезунда считается семьдесят пять верст. Вечером Паскевич спустился с гор и соединился с остальными войсками.

“Неоднократно доносил я Вашему Величеству,— писал Паскевич государю,— о трудностях трапезундской дороги. Я говорил тогда по показаниям лазутчиков и по разным собранным сведениям, но то, что я увидел теперь на самом деле, превзошло все мои ожидания. Почти на сто верст от моря тянутся параллельно берегам его во всю ширину гряды высоких, скалистых гор, и через них-то лежит дорога к Трапезунду. Во многих местах она суживается в тропинку, то восходящую на скалы по ступенчатым каменистым бокам, то идущую по косогорам узких ущелий, заваленных каменьями. Крутизна подъемов и спусков неимоверна. Все жители единогласно утверждают, что та часть дороги, которую я видел, есть лучшая, а от Каракабана начинается еще труднейшая и худшая. Чтобы достигнуть возможности провезти к Трапезунду батарейную артиллерию, надо употребить на разработку дороги не менее трех тысяч людей и четыре недели времени”.

Теперь вопрос о невозможности похода к Трапезунду был решен уже бесповоротно, тем более что и надежды на сочувствие жителей не оправдались. Новый сераскир успел приобрести большую популярность в народе, а без содействия народа пройти к Трапезунду с шестью батальонами нечего было и думать. В довершение всего получены были сведения, что полуторатысячная конная партия Эрзигинского бека уже прошла из гор, чтобы действовать на наших сообщениях. При таком положении дел Паскевичу ничего не оставалось делать, как отступить к Бейбурту. А так как Бейбурт терял уже в это время значение передового пункта для движения к морю, то решено было оставить и его, войска вывести в Арзерум, а управление городом поручить преданному нам Офскому беку. Ему дали титул коменданта и отпустили значительную сумму на содержание трехтысячной милиции. Но само собой разумеется, что ни звание коменданта, ни сотни червонцев, брошенных на ветер, не могли удержать Бейбурта во власти Паскевича, скоро русские войска оставили город. Сомнительно даже, чтобы бек израсходовал хотя бы один червонец на наем бесполезной милиции, которая, в сущности, ничего и никого защитить не могла.

Покидая Бейбурт, русские взорвали древние стены его цитадели и вывезли все военное имущество, и даже хлеб, собранный у жителей. В Арзерум войска возвращались уже окруженными со всех сторон легкими неприятельскими партиями; одна из них отрезала часть подвижного госпиталя, другая напала на обоз гюмюшханинских греков. В первом случае рота Ширванского полка, штабс-капитана Рубана, запертая в ущелье, более суток

одна отбивалась от лазов; в другом — особенно отличился первый конно-мусульманский полк, вовремя поспевший на тревогу и выручивший греков. Так как главным притоном для всех этих шаек служила большая деревня Катанлы, то посланный для ее наказания отряд сжег деревню и разграбил имущество жителей. Таким же образом приказано было поступать со всеми придорожными селениями, замеченными в укрывательстве хищников.

Набег на Катанлы имел слишком много завлекательных сторон для наших мусульман и от охотников ходить в подобные экспедиции не было отбоя. 29 августа одна из таких партий, высланная князем Голицыным [Генерал-майор князь Андрей Борисович Голицын, бывший флигель-адъютант императора Александра I, был прислан на Кавказ в июле 1829 года для участия в военных действиях и 25 августа назначен командиром сводной кавалерийской бригады, на место Раевского, уволенного в отпуск.] от первого полка, с султаном Джафар-беком напала на деревню Джан-Уран, разграбила ее дочиста и угнала скот. Отлично знакомые с русским порядком, карабагцы знали, что часть отбитого скота должна записываться в пользу казны, а отдавать его им не хотелось. И вот, поделив между собою добычу, они стали возвращаться в лагерь украдкой. На их беду они попались на глаза самому Муравьеву, и, чтобы скрыться от него, опять ударились в горы. Два казака, посланные воротить их, вернулись ни с чем и даже жаловались, что татары грозили им кинжалами. Тогда Муравьев выслал наперерез роту Херсонского полка, которая окружила татар и потребовала, чтобы они следовали к начальнику колонны. Шесть человек, самых отчаянных головорезов, выхватив шашки, кинулись на цепь и, прорвавшись, поскакали в лагерь. Муравьев приказал стрелять им вдогонку и двое из них были ранены. Когда, наконец, вся непослушная орава с отбитым добром прибыла в лагерь под конвоем, Муравьев обратил внимание на то, что с нею не было ни одного офицера. Оказалось, что султан Джафар-бек, водивший партию в набег, ранее других успел прогнать своих баранов в отряд и уже распродал их за один червонец. Червонец этот у него отобрали, а равно отобрали и у карабагцев весь скот и в наказание им раздали его солдатам, но часть добычи уже попала в карабагский лагерь, и концы се были припрятаны так, что разыскивать их было бы трудом совершенно напрасным. Муравьев арестовал сто пятьдесят карабагцев и, вместе с Джафар-беком, целый переход вел их пешком и без оружия. Карабагцы безропотно несли наказание, но жаловались, что, по их понятиям, добыча у них отнята неправильно. Князь Голицын также явился за них ходатайствовать. Но Муравьев был непреклонен и таки добился, что карабагцы признали себя виноватыми. Тогда он возвратил им оружие, а на другой день, в знак забвения прошлого, подарил Карабагскому полку шестьдесят голов рогатого скота и двести баранов.

Слух об этом происшествии, как снежная глыба, чем дальше катился, тем принимал большие размеры, и в Арзеруме вырос наконец в вооруженный бунт целого мусульманского полка, чрезвычайно встревоживший главнокомандующего. Но Паскевич не любил делать из мухи слона, и когда получилось подробное донесение Муравьева, он прекратил все толки, положив резолюцию: “Оставить все без последствия”. Так происшествие это и было предано вечному забвению.

С возвращением из Бейбурта Паскевич обратил уже исключительное внимание на прикрытие Арзерумского пашалыка от набегов, которые могли иметь последствием разорение деревень и обеднение края, важного для нас в продовольственном отношении. С этой целью главные силы расположились в Арзеруме, а два передовые отряда были выдвинуты — один в Аш-Калу, к стороне Терджана, другой в Мегмансур, к стороне Бейбурта.

Так закончился на главном театре второй период кампании, наполненный исключительно частными действиями, и далеко уступающий своими превратностями блестящему периоду победоносного шествия русских войск к Арзеруму.

XXX. В ТЫЛУ И НА ЛЕВОМ ФЛАНГЕ

В то время, как главные силы действующего корпуса, стремясь проникнуть все глубже внутрь Анатолии, совершали трапезундский поход и громили лазов в неприступных горах их родины, остальным войскам, занимавшим покоренные области, выпала на долю менее завидная, но не менее почетная роль удержать за собой добытые кровью приобретения. Они боролись с мятежом в Арзеруме, сражались с курдами близ Хныса и Баязета, бились с мятежными шайками под Карсом и Ардаганом, мужественно отстаивали границы Гурии и ходили в Аджарию.

Пламя, которое в начале кампании разом угрожало охватить все русские границы, погасло с падением столицы Анатолии. Русские победы, как сильная струя холодной воды, потушили огонь, но искры продолжали тлеть и при малейшей оплошности угрожали новым пожаром.

Когда катастрофа разразилась над головой Бурцева и гром турецкого оружия глухими перекатами прокатился по горам Лазистана, всюду разжигая страсти, и вдохновляя мусульман новыми надеждами, отзвуку этому не осталось чуждо даже население самого Арзерума. Давно уже фанатики, преимущественно муллы, восстанавливали магометан против гяуров, но страх перед подавляющей силой сковывал страсти. Теперь минута казалась удобной. Большая часть войск ушла с Паскевичем в Бейбурт, и в Арзеруме осталось только пять батальонов, которые естественно не могли защитить все пункты обширного, стотысячного города. Патрульная и караульная службы, требовавшие усиленных нарядов, ежедневно рассеивали значительную часть гарнизона по всем уголкам Арзерума и давали заговорщикам заманчивую надежду в минуту восстания отрезать их от цитадели и истребить поодиночке. О дальнейших последствиях этого дела мятежники, кажется, не думали, да едва ли и существовал у них какой-либо определенный, строго обдуманный план, они даже не знали, что в самый день отъезда Паскевича в Арзерум вступил второй сборный линейный казачий полк, экстренно вытребованный с Кавказской линии. Русские власти давно уже следили через армян за развитием этого заговора, даже держали в своих руках его нити, и если не принимали никаких особенных мер к его прекращению, то только потому, что осуществление этого заговора просто казалось невероятным. Турки были безоружны, да и вообще неспособны к шумным демонстрациям, к борьбе на баррикадах, к тем бурным, порывистым движениям, которые можно наблюдать в народах, живущих страстной, политической жизнью. Даже восстание арзерумской черни, грозившее двадцать седьмого июня кровавыми уличными сценами, ничего не доказывало, потому что оно имело свои особенные причины. Тогда перед воротами города впервые стояло иноземное войско, и народ был доведен до отчаяния страхом неизвестного будущего. Это будущее наступило для него с того момента, как русские вошли в цитадель, но с тех пор народ давно уже примирился со своим положением, был даже доволен своей судьбой, и увлечь его на скользкий путь восстания могли разве только угрозы каких-нибудь необычайных кар в будущем. Но для этого нужно было уже, чтобы страх такого возмездия был сильнее страха перед всесокрушающей русской силой.

И тем не менее, 24 июля, на другой же день после отъезда Паскевича, весь город пришел в какое-то необычайное движение. Армян вовсе не было видно на улицах, а обыкновенно вялые и полусонные турки оживленно ходили по базарам, и не то, чтобы со злобой, а

скорее с какой-то гордой важностью поглядывали на русских. Наступил вечер. Муэдзины прокричали свой обычный призыв к молитве; давно была пора потухнуть огонькам, едва-едва мерцавшим сквозь пузырчатые окна турецких домов, а они не потухали; турки оставались на улицах и, видимо, о чем-то совещались. Стечение народа в такое время, когда все правоверное население обыкновенно покоилось мирным безмятежным сном, привлекло внимание русских, уже с утра бывших настороже, и когда убеждение разойтись по домам не возымело успеха, Панкратьев приказал арестовать двенадцать главных заговорщиков, за которыми давно уже следила полиция. Их всех захватили в домах без шума, без всякой огласки, не привлекая внимания народа, и в ту же ночь под сильным конвоем увезли в Эривань. Толпа народа, лишенная руководителей, еще некоторое время слонялась по улицам, но, видимо, не зная, что делать, разошлась по домам. На другой день брожение повторилось слабее, а на третий, когда на площадях появились войска, а по улицам заходили конные патрули, город притих, и жизнь мало-помалу пошла обычной колеей.

Восстание не состоялось, но во всем этом деле было слишком много загадочного. Трудно было предположить в самом деле, чтобы народ решился с голыми руками идти на войска и брать укрепленные пункты. Но откуда у него могло появиться оружие? Самый тщательный обыск, произведенный в окрестностях, дал только случай открыть в деревне Архинис спрятанное знамя, увеличившее собою число русских трофеев, но ни складов оружия, ни пороха — ничего, о чем так много говорили армяне,— найдено не было. На разграбление арсенала мятежники также рассчитывать не могли уже потому, что арсенал находился внутри цитадели, и прежде чем овладеть им, нужно было покончить с русским гарнизоном. Оставалось предположить одно — расчеты на какую-нибудь постороннюю помощь. И, действительно, строжайшее следствие, произведенное Панкратьевым, выяснило нечто посерьезнее домашнего заговора: открыты были тайные сношения арзерумских жителей с мушским пашой, с курдами и лазами, при посредстве которых только и мог осуществиться безумно затеянный план истребления русских.

Главнокомандующий получил известие об этих происшествиях уже за Балахором и был весьма доволен благоразумными распоряжениями Панкратьева.

“Объявите в прокламации жителям,— писал он ему из Килкит-Чифтлыка,— что многочисленные скопища лазов, соединившиеся против нас в окрестностях Бейбурта, рассеяны ныне, как прах от сильного ветра. Харт, гордившийся смертью русского генерала, истреблен вместе со всеми защитниками его, и в самой деревне не оставлено камня на камне; сады и сакли — все обращено в пепел и сравнено с землей. Три бывшие там знамени достались победителям, и вы, показав сии знамена обывателям Арзерума, сообщите им о сем жестоком наказании. Да научатся они из сего примера, что русские столько же великодушны к покорным, сколько строги к буйным мятежникам”.

Знамена эти, по приказанию Панкратьева, возились по улицам города и на всех перекрестках глашатаи читали его прокламации.

Таким образом, поражение лазов лишило заговорщиков одной из опор, на которой лелеялась самая мысль о восстании, но оно не могло убить этой мысли вконец, так как оставался еще другой источник, питавший мечты,— это курды. Но скоро и последней иллюзии был положен предел. С тех пор, как враждебные действия мушского паши становятся открытыми, получает окончательное решение и самый вопрос о давно длившихся переговорах с курдами. С этой минуты руки у Панкратьева развязываются, и гром русского оружия оглашает безмолвствовавшие до сих пор поля Курдистана.

Нужно припомнить, что мушский паша еще зимой начал искать покровительства русских, и поводом к такому сближению послужили внутренние смуты в его пашалыке. Восстановив против себя почти все население и страшась готовившегося бунта, он предложил Паскевичу свои услуги против турок с тем, чтобы русские поддержали его колеблющуюся власть. Эти сношения не укрылись тогда от сераскира, который, не имея войск, чтобы наказать пашу, поручил родному дяде его, Ибрагим-беку, составить себе сильную партию и с помощью ее овладеть правлением.

Ибрагим появился в Муше весной 1829 года, но сторонников себе не нашел, “ибо, как говорит официальное известие, был не любим в народе столько же, сколько и его племянник”. Тогда он приехал в Арзерум к Паскевичу. Главнокомандующий принял его ласково, но так как переговоры уже велись с Эмин-пашой, то менять одного на другого пока не было причины, тем более что поддержка Ибрагима во всяком случае потребовала бы с нашей стороны вооруженного вмешательства. Ибрагиму тем не менее дали надежду и оставили его при главной квартире, рассчитывая, что этим путем понудят Эмин-пашу если не принять нашу сторону, то по крайней мере оставаться в бездействии, а это было все, чего только желал Паскевич в данную минуту. Но положение Эмин-паши было таково, что ему приходилось стоять между двумя огнями. Возможность увидеть перед собой конкурента в лице Ибрагим-бека, опиравшегося на русские штыки, заставляла его поддерживать связи с Паскевичем, а между тем ему писали из Константинополя о близком заключении мира, и что Франция и Англия уже объявили, что не позволят России удержать за собой ни одного аршина из числа завоеванных ею земель. Последнее обстоятельство, ставившее всю будущность паши опять в зависимость от Турции, принуждала его заблаговременно изыскивать средства снискать расположение турецкого правительства. В этих-то видах он вошел в сношения с арзерумскими жителями, и как только главные русские силы выступили к Бейбурту, он, оставаясь сам в стороне, выслал на помощь к ним сильные партии курдов, под начальством Мустафы-паши, прошлогоднего сподвижника Киоса.

Об этих сборах курдов русские узнали только тогда, когда 2 августа, ехавший из Арзерума в Хныс штабс-капитан Юматов внезапно был атакован на дороге сильной неприятельской партией. С конвоем из двадцати девяти черноморцев Юматов некоторое время держался на месте, но когда половина казаков была перебита, он ускакал в Арзерум.

Появление такой значительной партии почти под самым городом не могло быть случайным, и действительно, в тот же день были доставлены сведения, что на границе Мушского пашалыка, в окрестностях Бин-Геля, стоит пятнадцать тысяч курдов с шестью орудиями. Это известие заставило Панкратьева тревожиться теперь не только за участь небольшой команды, стоявшей на покосе, в лугах, верстах в тридцати пяти от Арзерума, но и за самый отряд полковника Лемана, занимавший Хныс. Последнему тотчас приказано было отступить в деревню Кюли, чтобы быть ближе к Арзеруму, а навстречу к косцам отправили казачий полк Басова с ротой пехоты и двумя орудиями. Леман отступил беспрепятственно, но Басову пришлось выдержать жаркую схватку. Когда колонна его, 3 августа, вместе с косцами возвращалась назад и была уже верстах в пятнадцати от города, две или три тысячи курдов внезапно и со всех сторон атаковали казаков из засады. В одно мгновение арьергард был смят, боковые патрули отрезаны, обоз разбит, и Басов очутился в самом отчаянном положении.

Еще никогда не дрались курды с такой отвагой и дерзостью. К счастью пальба из орудий услышана была в Арзеруме, но пока на помощь оттуда подоспел генерал Сергеев с казачьим полком и частью пехоты, Басов потерял уже тридцать пять казаков убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Из числа последних четыре казака, впрочем, скоро

явились назад, в сопровождении каких-то турецких старшин. Оказалось, что они, будучи отрезаны при первом натиске, бросились в ближайшую турецкую деревню Ханыч, и жители-мусульмане не только дали им убежище, но скрыли от поисков курдов и потом препроводили к русским.

Как только из-под густой пыли, поднятой скачкой, стала вырисовываться русская колонна, курды прекратили бой и поскакали назад. Преследовать их в горы было бесполезно. Но Сергеев знал, что за этими горами лежала небольшая поляна, на которой сидело несколько покорных нам деревень, и рассчитал, что если курдов оставить в покое, то они непременно застрянут в этих деревнях, и тогда накрыть их будет легко. С этой целью, соединившись с Басовым, он сделал привал и, выждав некоторое время, отправил пехоту назад, а сам с двумя казачьими полками кинулся в горы. Маневр этот увенчался полным успехом. Не ожидая возвращения русской конницы, курды спокойно предались грабежу окрестных селений. Уже весь скот и все имущество жителей перешло в руки хищников, как вдруг показались казаки. Сотня за сотней, быстро спускаясь с гор, во весь карьер неслись по равнине, охватывая деревни. Ошеломленный неприятель бросил добычу и, беспощадно преследуемый казаками, был загнан в горные трущобы, где курдам уже пришлось спасаться пешком. В руках казаков осталось много лошадей, оружия и еще более переметных сум со всем походным куртинским хозяйством. Вечером оба полка вернулись в Арзерум с богатой добычей.

Все эти происшествия, так неожиданно нарушившие спокойствие Арзерумского пашалыка, угрожали принять еще большие размеры, так как одновременно с Мушем поднялся Ван, и на помощь к Баязету пришлось отправить весь Севастопольский пехотный полк с четырьмя орудиями. С уходом севастопольцев у Панкратьева остались только четыре слабые батальона, из которых один занимал деревню Кюли, а три расположены были в самом Арзеруме. Очевидно, что этих сил было далеко недостаточно для разрешения той многосторонней задачи, которая лежала тогда на Панкратьеве, и ему пришлось искать опоры в христианском населении самого Арзерума. По его призыву армяне выставили целый батальон, в состав которого поступили люди самых богатых и хороших фамилий. Панкратьеву чрезвычайно хотелось создать из него нечто похожее на французскую национальную гвардию, и чтобы возбудить в армянах чувство самолюбия, он просил Паскевича разрешить им, в отличие от прочих, носить на левой стороне груди крест, нашитый из красного сукна, и дать батальону белое знамя. Тогда же один из армянских патриотов, некто Микиртыч-ага, на собственный счет собрал армянскую конницу, а призванные на службу греки выставили пешую сотню, помогавшую войскам нести конвойную и посыльную службы. Явились и еще охотники, уже из арзерумских турок, Дели и Гайты, но от них Панкратьев поспешил отделаться сам и был очень доволен, когда мог отправить их в лагерь Паскевича, где они были настолько же полезны, насколько могли быть вредны в мирной обстановке городской жизни.

Формирование новых частей дало Панкратьеву возможность сделать экспедицию в Хныс, чтобы вывести оттуда большие запасы хлеба, покинутые при поспешном отступлении Лемана. Непонятно, каким образом курды, имея так много свободного времени, сами не заглянули в Хныс и не уничтожили этих запасов. Но посланный туда отряд генерала Сергеева нашел их в целости и перевез в Кюли, а казаки мимоходом сделали еще удачный набег и пригнали из куртинских кочевий до полутора тысяч голов овец и рогатого скота.

С окончанием экспедиции в Кюли по-прежнему остался один батальон пехоты, мало обеспечивавший даже ближайшие к нему окрестности. Частые и повсеместные набеги курдов, которым мы не могли противодействовать по малочисленности нашей конницы, продолжали разорять плодороднейшую часть пашалыка и колебали преданность жителей.

Постоянное гнездо куртинских сборищ находилось частью в Кыгинском санджаке, а частью в санджаке Терджанском, где главным возмутителем являлся Махмет-бек, прежний начальник Терджана. Оставлять дела в таком положении было невозможно, и Панкратьев ожидал прибытия только резервов, чтобы принять решительные меры к обузданию курдов.

В половине августа, как только из Грузии пришел один из маршевых батальонов, а вслед за ним и Крымский пехотный полк, экспедиция в Кыгинский санджак была решена, и войска, под общей командой генерала Сергеева, выступили двадцать первого августа двумя колоннами: левая, самого Сергеева, шла от Кюли; правая, полковника Миклашевского,— от Арзерума. В деревне Бармаксизе, почти у подошвы снегового Кашмирского хребта, оба отряда должны были соединиться и действовать дальше одной общей колонной. Местность, по которой приходилось идти, была в полном смысле слова пустынной. Все население этого края, напуганное разбоями курдов, бежало, и в покинутых деревнях не было ни души. Полное безлюдье не позволяло ничего разузнать о курдах, и отряды шли, так сказать, ощупью, не зная, что ожидает их впереди, даже на следующем переходе. 24 числа, когда колонна Миклашевского подходила к деревне Чогондур, казаки заметили какие-то следы и дали знать, что невдалеке, по направлению к Кашмирским горам, прошла небольшая партия, возвращавшаяся, как видно, из набега с большой добычей. Что навело казаков именно на такие соображения — это их дело; Миклашевский не расспрашивал, а тотчас отправил в ту сторону сотню донцов и роту пехоты с подполковником Басовым. Отряд двинулся быстро и накрыл партию, отдыхавшую в деревне Чогондуры без всякой осторожности. Из ста человек курдов половина легла под казацкими дротиками, часть перестреляла пехота, а остальные, успевшие спастись, разнесли тревогу по всем окрестным селениям. И вот, на следующий же день, когда отряды соединились в Бармаксизе, перед ними явился сильный неприятельский разъезд, видимо старавшийся высмотреть силы отряда. Курды подошли так близко, что сдвинули даже наши пикеты, и на помощь к ним Сергеев повел сотню своего полка и весь казачий полк Басова. На глазах отряда произошла лихая кавалерийская стычка. Обе стороны, почти равные силами, одинаково воодушевленные, разом понеслись навстречу друг другу, столкнулись — и через минуту курды уже скакали назад, оставив в руках казаков четырех пленных.

Тревога по всем предгорьям, где только были курганские кочевья, поднялась ужасная. Все, что оставалось в них беспомощного: старики, женщины, дети — все кинулось спасаться за недоступный Кашмирский хребет, а из-за Кашмирского хребта в то же самое время сюда стремились вооруженные шайки, спешившие занять все горные проходы и даже тропы, по которым можно было подняться. Отряд, между тем, быстро подвигаясь вперед, захватывал стада, жег брошенные кочевки, вытаптывал поля. Двадцать седьмого августа войска остановились наконец у самого подножия Кашмирского хребта, за которым лежал уже Мосульский, или, как его называли чаще, Мейданский пашалык.

Шестьсот человек куртинской конницы и часть пехоты, при которой находились кугизский бек и сам Мустафа-паша, заслоняли горный проход и открыть дорогу надлежало оружием. Сергеев тотчас двинул вперед кавалерию. Казачий полк Басова понесся слева, Сергеева — справа, и курды, стиснутые с двух сторон казацкой лавой, обратились в бегство. Стычка продолжалась лишь несколько мгновений, но из числа казаков пятнадцать были изрублены, а курды оставили на месте несколько тел и тридцать пленных.

По следам бежавших отряд тронулся дальше. Перед ним стеной вставал, увенчанный снегами, Кашмирский хребет, и чем выше поднимались на него войска, тем недоступнее

становились горы, и скоро измученный отряд остановился перед отвесными скалами. Сергеев пришел к убеждению, что подняться с артиллерией на эти страшные кручи и перейти снеговые вершины хребта — невозможно. Уже войска готовились к отступлению, как на горах появилась какая-то партия с большим белым значком впереди. Посланные навстречу к ней казаки дали знать, что это идет депутация от куртинских племен, обитавших в Мосульском пашалыке. Сергеев принял ее на бивуаке. Курды просили пощады, обещая прекратить набеги и даже прибыть в Арзерум для принесения присяги. “Единственно из уважения к вашей покорности я останавливаю войска,— отвечал им Сергеев,— но помните, что русские были на Кашмире, и если придут опять, то уже затем, чтобы истребить ваши дома и семьи”.

Курды дали аманатов, и отряд, приняв под свою защиту несколько христианских семейств, желавших удалиться из мест, подверженных набегам, возвратился назад к Бармаксизу.

Так неожиданно счастливо закончилась для нас Кыгизская экспедиция. Войска, отдохнув в Бармаксизе, повернули в Терджан, но на пути Сергеев встретил правителя этого санджака с эфендиями и старшинами, которые, как представители законной власти, объявили, что старый бунтующий бек бежал, и в народе водворилось спокойствие. Они просили Сергеева остановить войска и не подвергать разгрому обманутый народ, обещая поставить все количество реквизиционного хлеба, который с них следовал. Генерал, уступая настоятельным просьбам, отменил экспедицию и пошел назад к Арзеруму. Но едва сделали два-три перехода, как поднялась тревога: дали знать, что курды напали поблизости на греческую деревню. Два казачьи полка тотчас же поскакали на помощь и случайно выехали как раз наперерез возвращавшейся партии. К счастью курдов, гористая местность, мало знакомая казакам, покровительствовала их бегству и спасла от поражения, но пленные и добыча были у них отбиты.

На следующий день едва отряд миновал деревню Чагондуры, памятную еще недавней стычкой, как двести курдов опять налетели на обоз переселенцев, следовавший за отрядом.

Ударить, схватить, что можно, и ускакать — было делом одного мгновения. Дерзость их была изумительна. Сергеев пустил за ними оба казачьи полка. Курды на отличных лошадях летели, как ветер; но казаки на этот раз не отставали — слишком уж велико было желание у всех нагнать и истребить эту партию. В бешеной погоне, разгоряченные скачкой, казаки неслись все дальше и дальше, не обращая внимания, что делается по сторонам; отряд давно уже скрылся у них из виду; начались горы, балки, овраги, и казаки внезапно были окружены сильной партией. Охваченные со всех сторон, они не устояли, были опрокинуты и жестоко преследуемы курдами. Один офицер, урядник и десять казаков были убиты. На плечах опрокинутой конницы курды налетели на нашу пехоту, но, встреченные залпом в упор, остановились. Тогда казаки в свою очередь насели на курдов и гнали их на протяжении нескольких верст. После этого дела, казалось, можно было рассчитывать по крайней мере на относительное спокойствие; но едва Сергеев вернулся в Арзерум,— курды уже стояли перед Кюли и Хнысом.

Сводный батальон из рот сорок первого егерского и Кабардинского полков, при двух орудиях, расположенный в Кюли, под командой майора Демьяненкова, сделал смелую вылазку и разбил неприятеля наголову. Удачное дело это не стоило бы нам ни одного человека, если бы сотник Князев не повторил ошибки Сергеева: в горячей погоне он попал на засаду, потерял несколько человек убитыми, и на своих плечах опять принес неприятеля к лагерю. Два наездника, не успев вовремя сдержать лошадей, прорвались

через цепь и доскакали до самых орудий. Один из них был убит, другой захвачен в плен. От него узнали, что партией предводительствовал брат мушского паши Хуршид-бек, а что сам паша со значительными силами стоит против Хныса. В Хнысе русских войск не было, но жители заперлись в замке и на требование сдачи отвечали решительным отказом. Паша блокировал замок несколько дней, но, узнав о поражении Хуршид-бека, снял блокаду и отошел к Бин-Гелю.

Таким образом, Кыгизская экспедиция вовсе не оправдала тех громких надежд, которые на нее возлагались: курды бесчинствовали по-прежнему.

В таком положении находились дела, когда Паскевич вернулся из своего трапезундского похода и принял на себя успокоение Арзерумского пашалыка. Последние события окончательно показали ему наши отношения к курдам, и так как в измене мушского паши не оставалось уже более никакого сомнения, то он решился изгнать Эмина, и на это место в звание паши возвести Ибрагим-бека, все еще проживавшего при главной квартире. С этого момента дальнейшие действия против курдов происходят уже в пределах Мушского пашалыка и находятся в тесной связи со всеми операциями левого фланга. Но прежде чем перейти к этим событиям, скажем несколько слов о том, что происходило в Баязете со времени отступления ванского паши от города в июне месяце.

С удалением турецких полчищ, опасность, грозившая тогда Баязету, далеко не миновала. Паша, убедившись, что русским войскам в Арзеруме и без него много дела, а баязетский гарнизон остается все в том же малочисленном составе, ослабленный еще потерями первой осады и свирепствовавшей в городе чумою, вновь собрал до тринадцати тысяч курдов и двенадцатого июня появился уже под Диадином.

Нужно сказать, что во все время первой осады ни один неприятельский всадник не показывался в виду этого укрепления, и Диадин, уже привыкший к своей относительной безопасности, тем менее мог думать о нападении теперь, когда не было никаких известий о сборах неприятеля. Двенадцатого числа, как всегда, из крепости выслали на пастьбу всех лошадей и отправили косцов, под прикрытием сорока восьми человек с прапорщиком Римом. Но не прошло и часа после их выхода, как в замок прискакало несколько испуганных армян с известием, что по дороге к Баязету тянется громадная куртинская конница с пушками. Риму тотчас послали приказание возвратиться назад; но он не успел отступить, как часть неприятельской конницы уже обложила крепость, чтобы препятствовать вылазке, а другая часть устремилась на его команду. Табун, испуганный гиком и выстрелами, шарахнулся. Люди, едва сдерживая лошадей, в то же время должны были отбиваться от курдов. Из крепости увидели опасное положение Рима, и поручик Лико с шестьюдесятью охотниками сделал отчаянную вылазку. Ему удалось отогнать курдов от стен и выручить Рима. Неприятель на этот раз дрался не слишком упорно и, удовольствовавшись отгоном двух-трех десятков лошадей, отступил. К вечеру выяснилось, что это был один из боковых отрядов, главные силы ванского паши прошли стороной, и 18 июля уже стояли в двух переходах от Баязета.

Городу на этот раз угрожала опасность серьезная. “Положение Баязета,— говорит Паскевич в письме государю от 3 августа,— становится все более и более затруднительным. Попов доносит мне, что ванский паша опять приблизился к крепости и уже сдвинул передовые наши пикеты. Чума сильнее прежнего свирепствует в рядах гарнизона, стесненное положение которого во время первой блокады было главной причиной распространения этой страшной заразы. Теперь уже нет средств остановить ее, ибо нет возможности прервать сообщения между собой нижних чинов, бессменно находящихся на крепостных стенах в ожидании приступа... Попов не надеется защитить

город и думает оборонять только замки, но оставить город нельзя, ибо с занятием его турки отнимут у крепостного гарнизона воду”.

Известие о новой блокаде Баязета совпало в главной квартире как раз с августовскими событиями, когда положение самого Арзерума казалось крайне тревожным. Как ни велика была потребность в войсках, однако на помощь к левому флангу пришлось отправить весь Севастопольский полк, черноморских казаков и четыре орудия. С этим отрядом выехал и новый начальник Баязетского пашалыка генерал-майор Реут, назначенный на место Попова, которому приказано было вступить в командование своей бригадой.

От Арзерума до Алашкерта везде по дорогам было спокойно, но за Алашкертом Реуту начали попадаться уже куртинские партии, и 21 августа, на переходе к монастырю Сурп-Оганес, произошла совершенно случайная стычка.

Верстах в двенадцати от Диадина, если ехать к Евфрату, из-за пологих скатов небольшой горной возвышенности видна гранитная церковь, возле которой теснятся несколько домиков, окруженных глиняной стеной с несколькими башнями и купами старых развесистых деревьев. Это и есть Сурп-Оганесский монастырь — один из замечательнейших памятников старой Армении. Христианские легенды свидетельствуют, что он построен на том самом месте, где святой Григорий-просветитель видел три огненные столпа, сошедшие с неба, и в тех местах, где они упирались в землю, построил три церкви, на расстоянии одна от другой около пяти верст. Поэтому вся местность известна под именем Уч-Килиса, что по-татарски значит “три церкви”. Две из них совершенно разрушились; осталась одна в Сурп-Оганесе, но и та испытала на своем веку много превратностей.

В те отдаленные от нас цветущие времена Армении, когда возник монастырь, он не стоял особняком, как стоит теперь; вблизи него раскидывался большой шестидесятитысячный город Поквап, развалины которого и теперь еще можно видеть на берегу Евфрата. Когда меч Тамерлана прошел по краю и истребил город, страна сделалась пустыней, и брошенная церковь долгое время служила приютом в непогоду для стад, бродивших здесь кочевых народов; впоследствии же, когда из Арзерума через Алашкерт и Диадин легла большая торговая дорога, турки обратили церковь в караван-сарай, и даже теперь еще на внутренних стенах Господнего храма виднеются железные кольца, к которым привязывали вьючных животных. Монастырь восстал из развалин недавно, когда после долгих усилий армянам удалось наконец купить у турецкого правительства право на его возобновление, но он возник далеко уже не в прежнем блеске и величии. Сумрачный храм, почерневшие своды, следы древней живописи, сохранившиеся еще кое-где по закопченным стенам и плафонам, бедные украшения алтаря, и еще более бедная ризница свидетельствовали только о том, что монастырь существовал скудными подаяниями. Из всех сокровищ, наполнявших его во время разгрома, теперь остались только святые мощи, спасенные тогда монахами и хранимые целые столетия в ожидании лучшего будущего.

Еще в Диадине отряд узнал, что монастырь уже несколько дней как блокирует какая-то партия курдов. В то смутное время беспрерывных нашествий, когда неприятель хозяйничал по целому краю, монастырские стены не раз служили надежным убежищем для жителей. И теперь так же в нем укрывалось несколько ближайших деревень, терпеливо выжидая конца тяжелой блокады. Но курды, рассчитавшие верно, что болезненность, неизбежная в монастыре при скученности людей и животных, голод и недостаток помещений, победят в конце концов упорство армян, терпеливо стояли под его стенами, и, в ожидании сдачи, обещавшей им богатую добычу, довольствовались пока лишь тем, что случайно попадало в их руки по большим дорогам.

Когда колонна Реута подошла к Сурп-Оганесу, был ранний час утра, и густой туман окутывал окрестность. Это обстоятельство, вместе с немолчным скрипом маркитанских арб, тянувшихся вслед за отрядом обмануло неприятеля, и курды, приняв двигавшуюся в тумане массу за новый армянский обоз, спешивший под защиту монастырских стен, налетели на него со всех сторон. Их встретили картечью, и неприятель, озадаченный своей ошибкой, бежал по всем направлениям; его преследовала козловская рота и отбила двадцать пленных армян. Таким образом монастырь был спасен; но, убегая, курды повсюду зажигали хлеб, и путь их обозначался целым морем пламени, в котором гибло все достояние жителей.

Неожиданное прибытие русских войск заставило ванского пашу, державшего в блокаде Баязет, поспешно очистить край и распустить своих курдов. С этих пор на левом фланге восстанавливается относительное спокойствие, а вместе с тем и самый баязетский отряд получает уже особое назначение. В сентябре, как только вопрос об экспедиции в Муш был окончательно решен, главнокомандующий возложил исполнение его на войска генерала Реута; при этом баязетский отряд должен был идти из Алашкерта прямо на Муш, а подполковник Кострицкий, стоявший с батальоном в Кюли, демонстрировать со стороны Арзерума.

Курьер еще только вез приказание Реуту, а Кострицкий уже занял Хныс и 11 сентября сделал один переход к Мушу. Страшная тревога распространилась по всему пашалыку, со всех сторон курды устремились навстречу отряду, и даже явился сам мушский паша из Бин-Геля, но Кострицкий, успевший таким образом привлечь на себя значительные силы, счел задачу свою выполненной и, после жаркого боя в деревне Хали-Чауш, отошел обратно к Хнысу. Обманутые этим движением, курды потянулись за ним, и паша занял крепкую наблюдательную позицию всего верстах в пятнадцати от города. Так прошло несколько дней, как вдруг к Эмин-паше прискакал гонец с известием, что русские идут со стороны Баязета и заняли уже небольшую крепость Милизгирд. Это известие так озадачило пашу, что он со всеми силами устремился на защиту Муша, но курды, не слушая никаких увещаний, рассеялись по своим кочевьям, и паша, покинутый войсками, не надеясь более на верность жителей, бросил Муш и поспешил укрепиться в подгорном замке Чаурма, куда последовали за ним лишь немногие из его приближенных. Но невозможность сопротивляться была так очевидна, что 4 октября, как только пронесся слух о приближении русских, паша бежал за Кашмир, и город сдался без боя. В добычу русским досталось семь орудий, из которых четыре найдены в покинутом замке, а три отбиты казаками во время преследования.

Бескровным завоеванием Мушского пашалыка заканчивается деятельность баязетского отряда. Реут именем главнокомандующего объявил Ибрагима мушским пашой, и город покорно принял перемену властителя. Нетрудно было, однако, предвидеть, что положение Ибрагима с удалением русских войск сделается крайне непрочным, но тем не менее, ввиду приближения суровой зимы, медлить обратным походом было нельзя, и 10 октября русский отряд, оставив Муш, двинулся назад к Милизгирду. Город застали в большой тревоге, так как накануне пришло известие, что три тысячи курдов, под начальством Кассим-аги, вторглись в русские земли и опустошили Алашкертский санджак. Прискорбные слухи эти скоро подтвердились и донесением Алашкертского коменданта; он писал, что рота Козловского полка, с орудием и конной сотней армян, хотя и выслана была по тревоге, под общей командой подпоручика Игнатьева, и даже настигла хищников на реке Мурат, но дело ограничилось одной пустой перестрелкой. Курды, несмотря на превосходство в числе, видимо уклонялись от боя. Пользуясь сильным ветром, они зажгли за собою степь и, под завесой огня и дыма, ушли с добычей в горы. Армянская милиция

отбила четырех пленных женщин, но заплатила за это двумя убитыми и одним пропавшим без вести.

Это был, впрочем, эпилог, закончивший военные действия на левом фланге. В тот же день пришло известие о заключении мира, и благодатная весть эта, быстро облетевшая край, положила предел бесконечным курдским набегам. Последний выстрел их раздался и замер на берегах Мурата.

XXXI. НЕУДАЧНЫЙ ПОХОД В АДЖАРИЮ

Мы покинули Аджарию, Ахалцихе, Гурию и Кобулеты в самом начале кампании 1829 года, когда победа при Лимани успокоила кабулетцев, а поражение при Дигуре охладило пыл аджарского бека.

Ряд блистательных дел, быстро проведших русские войска на путь к Трапезунду, казалось, устранил всякую опасность для правого фланга со стороны его воинственных соседей. Но вот роковая тучка пронеслась над Бейбуртом и в самое короткое время покрыла темным пологом весь горизонт; затишье сменилось волнением, которое в конце кампании уже разыгралось в целую бурю, грозившую бедой и Гурии и Ахалцихе.

Слишком незначительные силы, с которыми Паскевич открыл поход к Арзеруму, заставили его ограничиться на других театрах войны чисто оборонительными действиями. Но это вынужденное положение, успех которого во многом зависел от удачных или неудачных переговоров с соседями, стеной стоявшими между ним и его слабыми, далеко откинутыми флангами, не переставало тревожить главнокомандующего даже в самый блестящий период кампании. И опасения его имели все основания: мы уже видели, чем кончились переговоры с курдами, теперь проследим в той же последовательности за всеми операциями правого фланга.

Отношения наши к Аджарии после нашествия турок на Ахалцихе оставались все в том же шатком и неопределенном положении. Правитель Аджарии возобновил переписку с князем Бебутовым, но в то же время, не желая терять выгод своей двойственной политики, продолжал сноситься и с турками. Льстивыми письмами и постоянными уверениями в своем желании искать русского покровительства, он удерживал наши войска от вторжения в Аджарию и свободно посылал свои на помощь к турецким военачальникам. Действия Ахмет-бека были облечены такой тайной и, по-видимому, такою безыскусной искренностью по отношению к русским, что даже обманули прозорливость князя Бебутова. И в то самое время, когда последний, донося Паскевичу об успехе переговоров, писал, что ожидает со дня на день прибытия в Ахалцихе самого Ахмет-бека, случилось происшествие, разом выяснившее и двуличное поведение аджарского правителя и заблуждение Бебутова. На второй или на третий день после разгрома турецких армий на Саганлугских горах, казаки перехватили курьера, пробиравшегося в миллидюзский лагерь с письмом от аджарского бека. Ахмет-бек извещал Гагки-пашу, что имеет в сборе до семи тысяч войск и намерен еще раз напасть на Ахалцихе, но выжидает только удобного случая. Через час тот же курьер уже скакал назад и вез ответ русского главнокомандующего.

“Ахмет-бек! — писал ему Паскевич.— Письмо ваше к Гагки-паше получил я по праву победителя. Храбрый соотечественник ваш — теперь русский пленник. Избавляя его от неприятного чувства писать о своем положении, беру на себя труд известить вас, что 19 июля сераскир разбит и переброшен нами через Саганлугские горы, а 20 июля равномерно нанесено поражение Гагки-паше, который и сам не избежал плена. У них обоих отняты

вся артиллерия и все магазины. Победоносные войска наши идут к Арзеруму искать под стенами его новой славы. Измеряйте после того сами возможность ваших успехов”.

Рассчитывая, что письмо это произведет на Ахмет-бека удручающее впечатление и заставит его сделаться более податливым в переговорах, Паскевич с нетерпением ожидал новых известий из Ахалцихе. Они пришли наконец в начале июля. Бек изъявил покорность, но требовал сохранить ему титул паши, правителя Аджарии, и, в отличие от прочих, пожаловать чин генерала и орденскую ленту. Князь Бебутов видел, что это были все те же требования, какие предъявлялись им уже несколько месяцев тому назад, нисколько не подвигая решение вопроса, а потому, не выждав даже ответа главнокомандующего на это письмо, послал в Аджарию поручика Туркестанского с более категоричным требованием. Он писал, что в последний раз входит в сношение с Ахмет-беком, и что если в заложники не будет прислан его сын, то правитель должен ожидать для себя дурных последствий.

Но результатов своего ультиматума князь Бебутов уже не дождался. Главнокомандующий, недовольный “бездеятельностью в переговорах”, назначил его начальником Армянской области, а в Ахалцихе послал генерал-майора барона Остен-Сакена. Последнему приказано было окончательно выяснить наши отношения к Аджарии, и в случае нового упорства бека, принудить его к покорности оружием. Однако, решаясь на эту меры, Паскевич отлично понимал, что силы, находившиеся в распоряжении Сакена, далеко не достаточны для выполнения столь серьезной задачи, и потому указал ему действовать с крайней осторожностью и не иначе, как одновременно с действиями генерала Гессе из Гурии. Только во взаимной помощи обоих отрядов, долженствовавших с двух сторон войти в Аджарию и тем разъединить силы врагов, Паскевич и видел залог успеха в предполагаемой им экспедиции. Отвечая в то же время, на письмо Ахмет-бека, главнокомандующий писал ему, что соглашается оставить в его управлении горные санджаки; но так как генеральский чин и пожалование лентой зависят непосредственно от воли государя, то он требовал, чтобы бек от лица народа предварительно принес присягу на подданство.

В таком положении находились дела, когда в половине июля Сакен прибыл в Ахалцихе и принял в свои руки переговоры с аджарцами. Туркестанский только что возвратился, но результаты его миссии оказывались крайне неблагоприятными. Паша продержал его у себя четырнадцать дней и отпустил с самым уклончивым ответом: он писал, что по случаю возмущения в Нижней Аджарии ни он, ни сын его приехать не могут, и потому взамен себя посылает родного дядю Сулейман-агу. Но Сулейман, в свою очередь, отговорился болезнью и не поехал. Туркестанский между тем рассказывал, что возмущение в Аджарии вымышлено и что Ахмет-бек собирает войска против гурийского отряда. Таким образом, дело усложнялось, и перед Сакеном вставала трудная задача — так или иначе покончить наконец с этим, не дававшимся нам, аджарским вопросом.

Письмо главнокомандующего, в котором предлагались беку последние условия, еще не было отправлено; но Сакен, по-видимому, и не рассчитывал, чтобы оно произвело какое-нибудь благотворное действие. По крайней мере, отсылая его только уже после приезда Туркестанского, он со своей стороны прибег к угрозам и выразил их в такой определенной, положительной форме, которая не допускала мысли о каких-либо уступках или снисхождениях.

“Письмо ваше через поручика Туркестанского я получил,— писал он Ахмет-беку 4 августа.— Ни вы, ни сын ваш, ни дядя Сулейман-ага не явились ко мне для изъявления покорности. После побед, одержанных над турками войсками великого государя нашего,

было бы унизительно для русского правительства действовать слабо и довольствоваться одними обещаниями. Вы пишите, что нижняя Аджария взбунтовалась против вас, на это отвечу вам, что если через четыре дня вы или сын ваш не явитесь ко мне, то я обязан буду двинуться с войсками в Аджару для подания вам помощи, или наказания вас. Поведение ваше решит, какую из сих мер я предпринять буду должен”.

Как человек, у которого слово никогда не расходилось с делом, Сакен понимал, что угроза должна быть приведена в исполнение, и тем непонятнее становится короткий срок, назначенный им для получения ответа. В это время нужно было приготовиться к походу, подтянуть войска из Сурама и условиться с Гессе. Но письмо последнему даже по расчету времени не могло поспеть своевременно, а между тем Гессе мог встретить какие-нибудь затруднения, и тогда на его помощь вряд ли можно было рассчитывать. Оно так и вышло на самом деле, когда, впоследствии, уже во время похода, пришел ответ, что Гессе занят на границах Гурии и не может принять участия в экспедиции. Таким образом, Сакен остался один, и должен был на своих плечах вынести всю тяжесть, так невыгодно сложившихся для него обстоятельств.

Ничем не объяснимая поспешность имела, как увидим, роковые последствия, и тем более достойна, удивления, что Сакен, готовясь идти в Аджарию, в страну, куда не всегда решались вступать даже турки, хозяева края, не скрывал ни от себя, ни от главнокомандующего тех трудностей, которые ожидал встретить в горном походе. Дремучие леса, скалы, пропасти, воинственный дух населения — все предвещало ему долгую, упорную борьбу, а между тем, он не мог рассчитывать даже на боевой состав своего отрада. Старые кавказские полки, Ширванский и Крымский, еще в июле ушли в действующий корпус, и их сменили в Ахалцихе только что прибывшие из России полки четырнадцатой дивизии, Тарутинский и Бородинский. Оба они были в кадровом составе и наполнены рекрутами, плохо обученными, еще хуже выдержанными; а, главное, в них от полкового командира до последнего солдата не было ни одного человека, который бы когда-нибудь бывал в сражениях. Третий полк той же дивизии, двадцать восьмой егерский, вызванный из Сурама, оказался в таком же положении; артиллерийская рота, находившаяся при этой бригаде, хотя по составу людей и была несколько лучше, но зато поход из России привел ее лошадей в такое состояние, что они требовали продолжительного отдыха.

“Сначала,— пишет Сакен в своем донесении Паскевичу,— я хотел взять с собою четыре полевые орудия, чтобы вооружить ими окоп, который предполагал поставить в теснине, с целью обеспечить себе отступление, но чрезвычайное изнурение артиллерийских лошадей и непривычка их довольствоваться подножным кормом заставили меня отказаться от этого намерения, тем более что из Ахалцихе в Аджары ведут три дороги, одна хуже другой, и от меня будет зависеть избрать одну из них для отступления; отряд же мой устроен так, что я могу проходить везде, ибо несколько артельных повозок и три арбы для поднятия больных, которых я повезу до последней возможности, в крайнем случае могут быть брошены”.

Очевидно, Сакен представлял себе экспедицию далеко не в тех ужасающих картинах, которые ему пришлось увидеть позднее, когда ни на одну из этих трех дорог попасть уже было нельзя, а колесный обоз и даже раненых пришлось покинуть в горах, в добычу неприятеля. В последние минуты, перед самым выступлением в поход, Сакен, кажется, и сам потерял значительную долю своей самоуверенности, что так заметно сквозит между строками его письма Паскевичу. “Я буду действовать,— пишет он,— со всей осторожностью, к чему в особенности побуждают меня неопытные войска; и если кроме истребления нескольких деревень не произведу ничего особенного, то по крайней мере

отвлеку от генерал-майора Гессе значительную часть неприятельских сил”. Об основной цели экспедиции — о покорении Аджарии, и даже о серьезном наказании Ахмет-бека — тут нет уже и помина.

Известия, пришедшие из Ахалцихе, крайне встревожили Паскевича, не ожидавшего такого крутого поворота дел на аджарской границе, и распоряжения Сакена вызвали поэтому с его стороны суровые порицания. Приготовления к походу в то время, когда письмо главнокомандующего с последними предложениями Ахмет-паше даже не дошло еще по назначению, показались Паскевичу крайне несвоевременным, а слабые силы, с которыми предпринималась экспедиция, не могли внушить серьезного доверия к самому успеху предприятия. Даже тон письма Сакена ему не понравился. “Письмо ваше к аджарскому паше,— отвечал он на его донесение,— написано так, что если б Ахмет-бек и имел к нам некоторое расположение, то должен переменить оное, ибо письмо исполнено колкими выражениями и тоном повелительным, каким требуют от подчиненного; со входящим же в переговоры рассуждают, соглашаются или отвергают... Медлительность в исполнении моего предписания в рассуждении отсылки письма и скороспешность в изъявлении неприязненности тому, кто искал покровительства всемилостивейшего Государя Императора, могут произвести противное тому, чего я желаю, то есть спокойствия правого фланга”. Он предписал Сакену немедленно остановить приготовления к походу, выждать ответа Ахмет-бека и прибегнуть к оружию только в крайней необходимости и то не иначе, как по предварительному соглашению с гурийским отрядом.

Письмо это уже не застало Сакена в Ахалцихе.

12 августа, отслушав напутственное молебствие, войска тронулись в путь. В состав отряда назначено было по одному батальону усиленного состава от полков Тарутинского, Бородинского и двадцать восьмого егерского — всего около двух тысяч семисот штыков, казачий полк Студеникина, два горные орудия и четыре кегорновые мортиры. Уже с первых шагов для непривычных солдат обнаружилась вся трудность горного похода, а чем далее, тем дорога становилась все тяжелее и тяжелее, требуя для своей разработки неимоверных усилий.

Но вот, наконец, и Аджария. Перед войсками встает громада гор, одетых сплошными дремучими лесами. Воображение невольно настраивается на ожидание какой-то невидимой, но близкой опасности: все ждут первого выстрела, а кругом ни движения, ни звука, никакого признака жизни. На всем лежит печать какой-то загадочной таинственности, той неестественной тишины, которая в природе встречается только перед сильной бурей. Страхом веяли на войска эти каменные громады, принимавшие их в свои безмолвные и мрачные объятия, а между тем о неприятеле нигде ничего не было слышно. Войска встречали на пути только пустые деревни, и Сакен предавал их огню, не справляясь с тем, кому они принадлежали. Казалось, что аджарцы или не хотят, или не могут драться; и по мере того, как это убеждение росло в русском войске, возрастали притязания Сакена, и тон его становился все более и более настойчивым. Вообще эти первые дни экспедиции весьма характерны по взаимному недоразумению обеих сторон, как это по крайней мере вырисовывается из сопоставления рапортов Сакена с показаниями самих аджарцев. Ахмет-бек, очевидно, не ожидал вторжения русских и не был готов к обороне, а между тем, всякая попытка его остановить движение войск путем переговоров принималась Сакеном за новую уловку оттянуть изъявление покорности. Напрасно жена Ахмет-бека, женщина умная, имевшая в народе большое влияние, послала Сакену письмо, в котором просила его не вступать в их землю; она писала, что муж ее

исполнит все требования и что причиной его неявки служит только отлучка в Нижнюю Аджарию.

Сакен отвечал, что войдет в переговоры только с ее мужем, когда он явится в лагерь, и продолжал идти вперед, сжигая селения. У деревни Чармур русские войска увидели в завалах несколько конных и пеших аджарцев. Это был казначей Ахмет-бека, Мамий-ага, выехавший также для переговоров. Он прислал сказать, что до приезда Ахмет-бека аджарцы сопротивляться не будут, но что он не может не удивляться действиям русских, которые истребляют деревни в то время, когда правитель ведет переговоры с русским главнокомандующим. В ответ на это Сакен приказал открыть огонь. Мамий-ага удалился со своим конвоем, и пустые завалы были разметаны русской артиллерией. Дом самого Мамия, находившийся в Чармурах, был разрушен, деревня разграблена. На следующий день сыновья Ахмет-бека с несколькими десятками своих людей пытались завязать перестрелку в тесном ущелье — уже последнем на пути к их резиденции, но рота Тарутинского полка, двинутая в обход по горам, заставила их отступить и очистить дорогу. Опять прискакал гонец от жены Ахмет-бека, которая на этот раз прислала ключи от своего дворца и писала, что за отсутствием мужа не может сама оставаться в доме, чтобы достойно принять русского генерала и уезжает в горы.

Сакену еще представлялась возможность выйти с честью из своего, во всяком случае, затруднительного положения. Если бы он объявил теперь, что останавливает наступление и возвращается назад, снисходя к просьбам правительницы и веря ее обещаниям, то смелое движение его, быть может, и не осталось бы совсем безрезультатным; но Сакен пошел вперед, и через несколько часов перед ним на красивой поляне открылась большая деревня Хули, резиденция аджарских беков. Войска заняли ее без боя и, таким образом, очутились в самом центре неприязненного нам населения.

Богатая деревня эта уже была покинута жителями и все казенное имущество из нее вывезено, русские нашли только одну медную пушку, да небольшое количество пороха. Дворец Ахмет-бека был в страшном беспорядке, свидетельствовавшем о торопливом отъезде правительницы. Сакен распорядился, однако, поставить везде караулы и воспретил грабежи, делая этим последнюю попытку к сближению с аджарцами. Он написал Ахмет-беку письмо, еще раз предлагая ему покориться, иначе грозил уничтожить его резиденцию, но в успех этого письма он уже не верил и сам. “Сомневаюсь,— доносил он Паскевичу,— чтобы мои требования были исполнены”.

И сомнения его не замедлили оправдаться на деле. Ахмет-бек отвечал, что имея намерение прибегнуть к покровительству русского государя, он нарочно оставлял дорогу к Ахалцихе открытой, но теперь, когда русские сами вошли в его земли, он готов защищаться и ожидает их в горах, на местности, известной под именем Шуа-Хев.

Одно приближение Ахмет-бека, конечно, еще не могло бы встревожить Сакена, но дело в том, что одновременно с этим получены были с разных сторон известия самого угрожающего свойства. В то время, как отряд углублялся в горы, неприятель незаметно огибал его фланги и, собравшись в значительных силах, отрезал ему наконец все пути к отступлению. Положение отряда, стесненного таким образом в едва проходимых трущобах Аджарии, становилось опасным. Во что бы то ни стало надо было разбить это железное кольцо, скованное аджарцами с такой постепенностью и с таким старанием. И Сакен решился направить первый удар на самого Ахмет-бека.

Войска выступили восемнадцатого августа. Но не отошли они и пяти верст, как остановились перед отвесной скалой, загородившей путь. Это и был знаменитый утес

Шуа-Хев, который в народе слыл неприступным. Узкая тропа, просеченная в скале, извиваясь над бездной, уходила из глаз, и в некоторых местах была не шире полуаршина, так что на ней не мог уместиться даже человек в походном снаряжении. Двинься отряд по этой тропинке — аджарцы истребили бы его одними каменьями, не прибегая даже к оружию. Перед очевидной невозможностью атаковать неприятеля, Сакену ничего не оставалось более, как возвратиться в Хули. Теперь только он понял, что ему надо заботиться уже не о победах, а о спасении своего отряда, которому грозила тяжкая и безысходная блокада. Отступать между тем в Ахалцихе прежней дорогой было нельзя, потому что неприятель собрал на ней все силы Верхней Аджарии. В этом-то безвыходном положении, когда никто из проводников не знал другого пути, нашелся аджарец, который вызвался провести отряд, но не в Ахалцихе, а в Гурию. И Сакен согласился, потому что другого выхода не было.

Ночью с 18 на 19 августа отряд взорвал пороховые магазины, предал огню дом Ахмет-бека со всем имуществом, и при зареве огромного пожара, объявшего деревню, двинулся в путь. Войска были разделены на три части: авангардом командовал генерал-майор Прянишников, при арьергарде остался Сакен, а между ними поместились вьюки, под прикрытием одной бородинской роты.

В семи верстах от Хули начинается узкое скалистое ущелье, ведущее в Гурию. Занять этот пункт было чрезвычайно важно, и авангард двинулся туда форсированным маршем. Но эта же поспешность вызвала беспорядок в обозе, который, торопясь за авангардом, растянулся на несколько верст. К счастью, неприятель, сторожившей отряд на дорогах к Ахалцихе, поздно заметил его направление и успел преградить ему путь только незначительными силами. Генерал-майор Прянишников ударил в штыки и, пробившись, занял ущелье, но обоз был отрезан. Часть аджарцев устремилась на вьюки, другая заняла деревню на высокой скале, нависшей как раз над дорогой и, скатывая вниз бревна и камни, не пускала обоз вперед. Бородинская рота, разбившаяся на части, не могла поспевать везде, и Сакен должен был лично привести на помощь к ней еще две роты того же полка: одна — усилила прикрытие, другая, штабс-капитана Луценке,— быстро взобралась на утес и овладела деревней. Множество аджарцев, не успевших покинуть зажженные дома, погибли в пламени, но и храбрая рота понесла чувствительную потерю: командир ее, штабс-капитан Луценко, был тяжело ранен, другой офицер убит. Пожар, внезапно озаривший утес над головами аджарцев, и летевший вниз, вместе с каменьями и бревнами, трупы собратьев произвели на неприятеля потрясающее действие: аджарцы отступили, и вьюки кое-как соединились с Прянишниковым.

Теперь всю тяжесть боя выносил на себе один арьергард. Задержанный в пути катастрофой с обозом, он должен был остановиться, а тем временем настиг его сам Ахмет-бек почти со всеми силами Нижней Аджарии. Как ни стойко дрались молодые войска, удивляя своим поведением в бою даже взыскательного Сакена, они в конце концов все же вынуждены были уступить подавляющей силе, и арьергард пришел в беспорядок. К счастью, на помощь к нему подоспел в это время казачий полк Студеникина. Опытные в горной войне, казаки искусно поставили засаду, и, пропустив мимо себя расстроенный арьергард, бросились на неприятеля: пятьсот аджарцев при первом налете были сброшены с кручи, шестьдесят изрублены, остальные остановились. Пользуясь этим, арьергард ускорил отступление и соединился с отрядом.

Таким образом часть пути пройдена была еще сравнительно благополучно; но оставалась другая, труднейшая, и войска после короткого отдыха двинулись опять в том же порядке. Некоторое время ожесточенный бой шел только в арьергарде и в боковых цепях, но вот на одном из поворотов ущелья, образуемом выступом голой отвесной скалы, на тарутинцев,

шедших впереди, посыпались сверху камни и бревна. На этот раз штабс-капитан Щербаков с одним взводом быстро вскочил на утес, и через несколько минут путь был очищен,— но Щербаков заплатил за это тяжелой раной. Как ни кратковременна была остановка, однако же она позволила аджарцам прямым путем, через горы, обогнуть отряд и запереть ему выход из ущелья. Растянутые по узкой дороге, сплошь заваленной убитыми лошадьми и раскиданными вьюками, войска остановились. Перед ними, на полугоре, лежала деревня Дид-Аджары, занятая неприятелем; справа, с откосов скал, с грохотом катились на дорогу огромные камни и целые обломки скал; слева, из-за реки, там где опушка сумрачного леса, одевающего высокий хребет, подходит почти к самой дороге, градом сыпались пули, а сзади настигал Ахмет-бек со своими главными силами.

Отряд был окружен в теснине и должен был пробиться или погибнуть. Взгляд, брошенный на местность, убедил Сакена в невозможности идти напролом. Тогда, не медля ни минуты, он приказал “замеченному им в особенной храбрости” капитану Левуцкому с тарутинским взводом скрытно подняться на горы и, обойдя деревню, взять ее с тыла; а поручику Левицкому со взводом егерей и сотнику Лазину со спешенными казаками — очистить правые скалы. Все трое прекрасно выполнили обходное движение, но двое из них — Левицкий и Лазин — поплатились тяжкими ранами. Как только неприятель, охваченный с тыла, пришел в замешательство, Сакен воспользовался этим моментом и, под перекрестным градом пуль и камней, ударил в штыки. Тарутинцы, бородинцы, егеря и казаки, соревнуясь друг перед другом, грудью пробили дорогу, но были минуты, когда положение отряда становилось настолько опасным и до того затруднительным, что каждому офицеру приходилось действовать отдельно.

“Я видел,— пишет в своем донесении Сакен,— как многие из них для ободрения солдат брали у убитых ружья и возвращались из боя с окровавленными штыками”. В довершение опасности, упало с обрыва горное орудие и едва не досталось в руки аджарцев. Его выручил казачий полк Студеникина, но это было, так сказать, уже последнее нравственное напряжение людей — отряд пробился, но большая часть раненых и почти все вьюки остались в руках неприятеля. Занятые добычей, аджарцы, к счастью, оставили преследование, и отряд благополучно выбрался в Гурию, откуда уже окружным путем, через Коблиенский санджак, вернулся в Ахалцихе.

Экспедиция Сакена стоила нам семи офицеров и до полутораста нижних чинов убитыми и ранеными. Аджарцы также понесли значительные потери; но эти неизбежные жертвы войны не помешали врагу торжествовать победу, и Ахмет-бек, как говорят, отправил в подарок трапезундскому паше сорок семь русских голов и нескольких невольников.

Так закончилась неудачная для нас аджарская экспедиция, прибавившая несколько блестящих страниц к боевой истории полков Тарутинского, Бородинского и двадцать восьмого егерского. Эти молодые полки, впервые участвовавшие в битвах, вышли из них закаленными воинами, сумевшими достойно поддержать честь русского оружия в самые трудные, критические моменты борьбы. И Паскевич отдал должную справедливость войскам, хотя в то же время и не скрывал перед государем всей тяжести испытанной нами неудачи. “Поход, сделанный в Аджарию для наказания жителей,— писал он в своем донесении,— вместо ожидаемого успеха, совершенно не удался. Аджарский паша теперь разглашает везде, что будто бы наши войска изгнаны из его владений, и что он нас не боится, а из сего могут возникнуть для самого Ахалцихе опасности прошлогодние”.

Действительно, слишком много бедствий принесла аджарцам экспедиция Сакена, чтобы не вызвать с их стороны желания мести. Путь русского отряда обозначался везде пеплом сожженных деревень, в которых гибло все имущество жителей; сам Ахмет-бек был

глубоко огорчен истреблением своего родового замка и каждый день, как рассказывают жители, посещал его пепелище; много аджарцев было убито, а скопление огромных масс, необходимых для отражения нашествия, развило среди них чуму, и страшная зараза опустошала теперь и Верхнюю и Нижнюю Аджарию. Все эти обстоятельства не замедлили отразиться на самом ходе военных действий и повлияли с особенной силой на судьбы Гурийского отряда.

Из Гурии в то время приготовлялась большая экспедиция в Батум, и Гессе просил ахалцихский отряд сделать диверсию к стороне Аджарии, чтобы удержать Ахмет-бека от помощи туркам. Но Сакен находился в таком положении, что ничего серьезного предпринять не мог; он писал Паскевичу, что хотя и двинется к границам Аджарии, но не будет углубляться в горы, а постарается только демонстрацией отвлечь аджарцев от Батума, чтобы заставить их заботиться об обороне собственного края. С этой целью, 23 сентября, весь отряд его, не превышавший тысячи трехсот штыков, скрытно расположился в Посховском ущелье, откуда в ту же ночь высланы были две казачьи сотни по двум различным дорогам. Одна, под командой войскового старшины Александрова, двинулась со стороны Посхова, сожгла большую деревню Бако, и так же быстро исчезла, как и показалась; в то же время другая сотня, с поручиком Потебня, проникла в Аджарию со стороны деревни Ракет, тоже предала огню какую-то деревушку, но назад не ушла, а стала в дремучем лесу, где на самой заре Потебня разом взорвал две пудовые бомбы и приказал бить в барабаны, чтобы показать присутствие здесь пехоты. Этот маневр совершенно удался; все аджарцы устремились к деревне Ракет, а тем временем колонна Сакена свободно вступила в Аджарию со стороны Пасхова и целый день жгла окрестные селения. Ночью, чтобы опять обмануть неприятеля, войска разложили большие огни, а сами поспешно отступили к Дигуру. Весь поход закончился истреблением восемнадцати деревень, но, в сущности, принес весьма мало пользы для общего дела. В тот же день Сакен получил письмо от Гессе, который писал, что помощь опоздала, что отряд его 17 числа потерпел неудачу под Цихис-Дзири, и теперь надо заботиться уже о спасении самой Гурии.

И Гурия, и Коблиенский санджак, и Ахалцихский пашалык лежали перед неприятелем открытыми. Дела на правом фланге принимали серьезный оборот, готовились кровавые события, как вдруг 29 сентября прискакал курьер с известием о заключении мира. Гроза рассеялась, и страшный Ахалцихе на вечные времена остался за Россией.

XXXII. НА ГРАНИЦАХ ГУРИИ

Победа при Лимани, одержанная гурийским отрядом 5 марта 1829 года, не имела для нас никаких серьезных последствий. Кинтришская поляна по-прежнему осталась в руках неприятеля и давала туркам возможность собрать сюда еще более значительные силы, чем прежде. Уже в апреле турки усилились войсками, прибывшими из Трапезунда на сорока лодках, а воспрепятствовать десанту с нашей стороны было невозможно, потому что при тамошних берегах вовсе не было русской эскадры. Два небольшие судна, находившиеся в Редут-Кале, служили только для содержания брандвахты и сообщения с Сухумом. Паскевич уже давно указывал на это важное обстоятельство; он писал адмиралу Грейгу, что неимение близ Поти военной флотилии дозволяет туркам беспрепятственно подвозить из Трапезунда к берегам Гурии не только съестные припасы, но даже войска, и что в конце концов отряд генерал-майора Гессе может быть раздавлен неприятельскими силами. Но свободных судов в Черноморском Флоте не было. Грейг отвечал Паскевичу, что Флот занят весь, и что в его распоряжение он может прислать только одно призовое судно. Таким образом от содействия военной эскадры пришлось отказаться совсем, а между тем число неприятельских войск, собиравшихся на границах Гурии, быстро росло и

скоро достигло семнадцати тысяч. Главные силы их стали на Кинтришской поляне, а два передовые отряда выдвинулись: один на берег Черного моря, к Николаевской крепости, другой — на озургетскую дорогу, к урочищу Муха-Эстати. Кроме того, отдельный восьмитысячный отряд занял Кобулетский санджак. В скором времени в Кинтриши ожидали прибытия княгини Софьи с сыном, а вслед за нею должен был прибыть и сам Осман-паша трапезундский со всем своим корпусом. Таким образом, на границе Гурии собиралась грозная турецкая армия, которая думала одним ударом рассеять слабые русские силы и занять Мингрелию и Имеретию.

Положение в это время Гессе, можно сказать, было безвыходное. Под его начальством находилась всего одна бригада пехоты, из которой семь рот Мингрельского полка при шести орудиях стояли в Озургетах, и шесть рот егерей с четырьмя орудиями в крепости св. Николая. Если прибавить к этому несколько сотен гурийской милиции, на которую при всей ее храбрости безусловно положиться было нельзя,— то это будет все, что мы могли противопоставить в данный момент сорокатысячному турецкому корпусу. Остальные двенадцать рот или занимали Абхазию, или были разбросаны малыми частями по небольшим укреплениям, которые необходимо было удерживать за нами, так как, вследствие беспрерывных нападений со стороны Кобулета, в Гурии начинались уже беспорядки. В народе ходили прокламации бывшей правительницы, приглашавшей всех жителей поднять оружие против русских. Носились слухи, что князь Мочутадзе уже находится в турецком лагере, и оттуда, пользуясь своими старыми связями, ведет пропаганду среди гурийских князей. Правда, никто из гурийцев не склонился бы на сторону турок, но многие втайне сочувствовали несчастной судьбе бежавшей княгини, и это понятное чувство могло толкнуть их на скользкий путь измены.

Это был самый острый момент турецкой кампании, когда с одной стороны нам угрожала опасность потерять все побережье Черного моря, а с другой грозило вторжение персиян в Армянскую область и нашествие турок на Карс или Ахалцихе. Паскевич, озабоченный тем, чтобы удержать за собою прошлогодние завоевания, не имел возможности отделить на помощь гурийскому отряду ни одного человека. Все, что он мог сделать — это настоятельно требовать присылки из России трех маршевых батальонов, давно уже назначенных в состав Кавказского корпуса, именно для обороны берегов Черного моря. Но батальоны эти направлены были сухим путем, и неизвестность, когда они прибудут, заставила его рассчитывать только на подручную помощь верного нам мингрельского народа. И, действительно, сам владетельный Дадиан с трехтысячной милицией явился в Озургеты, чтобы стать под начальство генерал-майора Гессе.

Прибытие мингрельцев было как нельзя более кстати. Четвертого мая к стенам Николаевской крепости уже подходил рекогносцирующий неприятельский отряд, и хотя несколько пушечных выстрелов заставили его удалиться, однако это обстоятельство ясно указывало, что турки готовятся к наступлению. Атаку ожидали одновременно и в Николаевске и в Озургетах. Чтобы следить за действиями противника, время от времени приходилось высылать партии охотников, которые пробирались к самому вражескому лагерю и оттуда доставляли известия. В один из таких поисков, в ночь на 8 мая, отправился гурийский дворянин Бежан Болквадзе и с ним трое охотников. Выйдя из лагеря они разделились, и каждый из них пополз по избранной, знакомой уже тропинке. Но на этот раз смельчакам не посчастливилось. Невдалеке от турецкого стана Болквадзе лицом к лицу столкнулся с турецким пикетом из восьми человек, и так как отступать было некуда, то он с безумной отвагой бросился на него с кинжалом. В жестокой сече одного против восьми. Болквадзе получил несколько ран, но сам зарубил двоих, еще двоих ранил, а четверых заставил бежать. На шум рукопашной свалки, между тем, подоспели охотники, и первый явившийся на помощь был дворянин Александр Квакелий. Его-то появлению

израненый Болквадзе, быть может, и был обязан своим спасением. Этот отдельный эпизод имел для нас серьезное значение в том смысле, что показал, каким прекрасным духом была вдохновлена гурийская милиция. Паскевич пожаловал Болквадзе чин прапорщика, а Квакелию — знак отличия военного ордена.

Страшная буря, готовая пронестись над Гурией, однако неожиданно рассеялась. Турки так долго медлили своим наступлением, что упустили наконец удобное время, когда действительно могли раздавить слабый отряд Гессе, а в июне им уже было не до Гурии. Как только Паскевич открыл кампанию и стал у подножия Саганлугских гор, уже не Гурия, а Карс, Ардаган, Арзерум — вот что поглотило внимание турецкого сераскира и заставило его сдвинуть все свои силы к центру. Перед Гессе остались лишь ничтожные отряды, занимавшие кинтришскую поляну.

Для Гурии наступило время полного затишья, и Гессе спешил воспользоваться им, чтобы завязать сношения с соседями. Как из Ахалцихе велись переговоры с Аджарией, так перед Гессе лежала задача склонить на нашу сторону воинственный Кобулет. События на главном театре войны не могли не оказать известного давления на умы впечатлительных горцев; и, действительно, кобулетские старшины сами спешили войти в переговоры, чтобы, в случае дальнейших успехов русского оружия, удержать за собою и при новых властителях ту власть, и то значение в народе, которые принадлежали им при старых турецких порядках. Но они как всегда действовали с большой осторожностью, предъявляли свои условия, колебались, медлили, а Гессе не сумел, что называется, ковать железо пока горячо, и бесполезной перепиской там, где нужно было показать внушительную силу, выпустил из своих рук инициативу. После бейбуртской катастрофы влияние турок значительно усиливается. Новый сераскир, понимая как важно удержать за собою Кобулет, отправил туда восьмитысячный корпус, под начальством Тусчи-оглы, который и сумел дать народной готовности совершенно иное направление. Он убедил кобулетцев, что война с Россией принимает для Турции более благоприятный оборот, что вся Европа обещает свое содействие, и советовал старшинам обдумать заранее, чьей стороны выгоднее держаться. Эта речь произвела сильное впечатление, и в конце концов Тусчи-оглы удалось получить аманатов.

Таким образом, переговоры с Кобулетом, начатые Гессе, по-видимому, при столь благоприятных условиях, окончательно не удались. Не удались они и с бывшей правительницей Гурии княгиней Софьей, проживавшей в то время также среди кобулетцев. К ней было отправлено несколько писем. Паскевич обещал ей полное прощение, помилование ее сообщников, возвращение наследственных прав ее сыну, Давиду, если она немедленно возвратится на родину. “В противном случае,— писал главнокомандующий,— малолетний князь, как беглец, противоборствующий пользам отечества, будет объявлен изменником и навсегда утратит наследственное право на княжении в Гурии”.

Письма эти посланы были несколькими дубликатами, но, по странному стечению обстоятельств, ни одно из них не попало в руки княгини, все они были перехвачены турецким правительством. Теперь же, когда прибытие Тусчи-оглы зарождало в ней новые надежды восстановить утраченную власть при помощи турок, писать к ней было уже бесполезно.

А между тем на главном театре войны события шли своим чередом. Вся Турция огласилась громом неслыханных дотоле русских побед, пал Арзерум, и Паскевич, убежденный теперь, что турки, занятые защитой собственных земель, уже не могут предпринять ничего серьезного против нашего правого фланга, приказал генерал-майору

Гессе содействовать общему наступлению русского корпуса к берегам Черного моря и завершить кампанию покорением Батума. Такова была программа, поставленная перед ним Паскевичем. Но для выполнения этой программы перед гурийским отрядом возникал целый ряд новых задач, не менее важных по цели, Дело в том, что действие русских войск в глубь азиатской Турции, а тем более всякое наступательное действие со стороны Гурии, естественно зависели от спокойствия соседних горных племен, и спокойствия этого нужно было добиться в Аджарии и в Кобулетах во что бы то ни стало, все равно: оружием, щедрыми обещаниями или расточением милостей. Отсюда является неизбежная связь между действиями двух отрядов. И Сакен, собираясь идти в Аджарию, действительно обратился к Гессе с просьбой о помощи. Но ни Паскевичу, ни Сакену не было известно о появлении Тусчи-оглы, который, расположившись у Муха-Эстати, не давал возможности исполнить ни ту, ни другую задачу. Положение Гессе в самом деле было весьма затруднительное. Идти к Батуму, оставив Тусчи-оглы в стороне, было бы крайне рискованно; но еще рискованнее было идти в Аджарию, так как кобулетцы могли взять его в тыл, а турецкий корпус вторгнуться в беззащитную Гурию. Гессе решился разрубить этот гордиев узел. Он вознамерился прежде всего разбить стоявшие перед ним турецкие войска, потом покорить Кобулеты и затем уже действовать в Аджарии. Поход на Батум во всяком случае откладывался в далекое будущее. Лучшего плана при данных обстоятельствах придумать было невозможно.

И вот, 4 августа, гурийский отряд двинулся вперед одновременно двумя колоннами: из Николаевского укрепления, по берегу моря, шли два батальона сорок четвертого егерского полка и пятьсот человек гурийской милиции, под общей командой полковника Пацовского; из Озургет — два батальона Мингрельского полка с шестью орудиями, под личным начальством Гессе. Неприятельский лагерь, раскинутый на Муха-Эстати, был сильно укреплен завалами, и Гессе решился обойти его. Почти двое суток войска пробирались по едва проходимым тропам, и шестого августа стали на высотах против левого неприятельского фланга. Милиция продвинулась еще дальше, и стала заходить в тыл турецкому лагерю. Таким образом, атака была поведена с двух сторон — и успех был полный. Предводимая самим Дадианом, милиция смело пошла на завалы, взяла их штурмом и, поддержанная с другой стороны мингрельскими батальонами, ворвалась в лагерь. Все это произошло так быстро, что турки не могли удержаться в окопах и бросились в горы. Два знамени, одно орудие и весь лагерь со всем имуществом достались победителям. Вся честь этой победы принадлежала храброй милиции, заплатившей за нее кровью ста человек своих лучших воинов. На долю мингрельских батальонов работы пришлось сравнительно меньше, и вся потеря их не превышала девяти нижних чинов убитыми и ранеными.

Поражение Тусчи-оглы навело панический страх и на другую часть его войск, стоявшую в завалах у Лимани. Она отступила при появлении колонны Пацовского, и егеря овладели тремя турецкими пушками, брошенными в завалах вместе с багажом и обозами. Пацовский преследовал бегущих по морскому берегу до самых ворот Кинтриши, но турки, не надеясь удержаться в городе, зажгли форштадт и удалились, бросив еще четыре орудия. Девятого августа Пацовский соединился с Гессе, и гурийский отряд в тот же день вошел в Кинтриши без боя.

Носились слухи, что княгиня Софья вместе с сыном и дочерью находилась в Кинтриши и едва успела бежать при появлении Пацовского. Ряд нравственных потрясений, пережитых ею в самое короткое время, сломил ее здоровье, и бегство из Кинтриши было последним эпилогом ее скитальческой жизни. Она заболела и 7 сентября скончалась в Трапезундском пашалыке, в городе Гогние, где могила ее находится в греческом монастыре св. Софии. Малолетний сын ее и дочь Екатерина остались у турок.

Блистательное участие в боях мингрельской и гурийской милиции обратило на себя особое внимание государя. Владетельному князю Дадиану пожалован был орден св. Александра Невского, а сыну его, наследнику Мингрельского княжества, князю Давиду, орден св. Владимира 4-й степени с бантом. В то же время, желая почтить обе милиции такой наградой, которая и на будущее время, по роспуске их, оставалась бы в народе памятником доблестных дел, государь пожаловал им знамена, под которыми и ныне по первому призыву собираются храбрые мингрельцы и гурийцы. Оба знамени одинаковы и различаются между собой только надписями. На красных шелковых полотнах их, богато украшенных золотой бахромой и массивными кистями, в середине изображен св. Георгий, а на обратной стороне — двуглавый орел. Кругом, по бордюру, вышита надпись на русском и на грузинском языках. На одном:

“Милиции нашего вернолюбезного Мингрельского народа за верность и храбрость в кампании 1828 и 1829 годов против турок”. На другом:

“Милиции Нашего вернолюбезного гурийского народа за верность и храбрость. Взятие турецкого лагеря при урочище Лимани 5 марта 1829 года”.

Штурм этого лагеря составляет одно из лучших преданий гурийского народа, а потому и знамя, увековечивавшее этот подвиг в потомстве, было встречено князьями и дворянами на самой границе Гурии и с большими почестями препровождено в монастырь Шамокмедский. Там, в старинном первопрестольном храме Гурийского княжества, оно и хранилось до позднейших времен как залог нравственного единения маленькой Гурии с могущественной Россией.

За Мухаэстатскую победу Гессе была пожалована золотая сабля, украшенная бриллиантами. Но эта победа была и последним торжеством гурийского отряда, которому вслед за тем пришлось выпить и горькую чашу поражения.

Легкость, с которой Гессе удалось овладеть Кинтришами, первым этапом на пути к Батуму, неожиданно открывала перед ним возможность завершить поход батумской экспедиции. Но к несчастью, Гессе не сумел воспользоваться выгодами своего положения и, вместо того, чтобы на плечах разбитых врагов занять Цихис-Дзири, брошенную турками в первую минуту паники, он остановился в Кинтриши и стал укрепляться. Первоначальное намерение его покорить кобулетцев оружием, на что во всяком случае потребовалось бы менее времени, чем на бесплодные переговоры, осталось не выполненным. Не могла вследствие того выполниться и другая задача его — идти в Аджарию. В то время, как он занимался “восстановлением порядка в Кобулетском санджаке”, то есть писал прокламации и увещевал кобулетских старшин, ахалцихский отряд уже потерпел поражение. Теперь Гессе, в свою очередь, не мог рассчитывать на помощь Сакена и должен был отложить поход в Аджарию до более благоприятного времени. Более месяца простоял он в Кинтриши в непонятном бездействии. А турки между тем опомнились, собрали новые силы, еще грознее укрепили Цихис-Дзири и звали на помощь аджарцев. Обманутый кругом в своих надеждах покончить кобулетский вопрос мирным путем, Гессе вдруг решается на смелый шаг — овладеть Батумом. Но то, что легко могло удастся ему месяц назад, теперь являлось предприятиям, не обещавшим уже никакого успеха.

Нужно сказать, что последние уступы аджарских гор почти подступают к Черному морю, оставляя лишь узкую, береговую полосу, по которой, как по дефиле, только и можно дойти до Батума. Но и этот путь, при самом входе в ущелье, преграждается громадной скалой, упирающейся в самое море. На вершине скалы находится древний замок, который

турки зовут Цихис-Дзири. Это, как полагают, и есть знаменитая крепость, носившая в древности название Petra.

В виду этой исторической твердыни, прославленной геройскими делами греков и персов, будет не лишним бросить беглый взгляд в глубину отдаленных времен, чтобы сказать несколько слов вообще об этой достойной внимания местности, носившей некогда название Колхиды, а потом Лазики.

Минуя мифические сказания о спутниках Язона, искавших здесь золотое руно, перейдем прямо к эпохе исторической. Известно, что богатство этой страны и ее обитателей издревле возбуждало в соседях желание властвовать над нею, и цветущий край обратился через это в арену долгой борьбы между народами Европы и Азии. Могущественный Кир поработил ее, и много веков Колхида платила персам постыдную дань, посылая каждые пять лет по сто молодых девушек и красивых мальчиков. Затем Митридат Понтийский присоединил ее к своим владениям.

Римляне отняли Колхиду у Митридата и, в свою очередь, уступили ее Византии, которая дала стране христианство и приняла ее под свой протекторат. Вот тогда-то, по повелению императора Юстиниана, и возник на берегу Черного моря, на отдельной скале, соединенной с материком едва доступной плотиной, почти неодолимый замок Petra.

Но не окрепло в стране еще господство византийцев, как на смену им уже явились персы. Наемный гарнизон сдал им неприступный замок, и на страну снова легло тяжелое ярмо персидского ига. С этих пор между восточными римлянами и персами началась та жестокая борьба, о которой историки оставили полные интереса сказания.

Проведав о походе греков, персы с необычайной энергией принялись усиливать укрепления Petra; они довели его стены до гигантских размеров; на целые пять лет свезли сюда продовольствие и устроили три великолепные водопровода, обеспечивавшие гарнизон водой. Но и греческий полководец Догистий повел осаду не с меньшей энергией. Неприступность Petra его не смутила. Располагая громадными силами, он преградил к крепости все доступы с суши и затем, опустившись колодцами в землю, повел подземные ходы. Пока подкапывали стены, метательные машины делали свое дело, и гарнизон, быстро уменьшаясь в числе, скоро сократился до четырехсот человек, из которых только пятнадцать были не ранены; а крепостные стены, расшатанные снизу, уже едва-едва держались на одних подпорах. Казалось, нужен был еще один слабый толчок, и рухнувшая Petra сама погребла бы под своими развалинами героев защитников. Но непобедимое мужество скрывало от неприятеля отчаянно положение гарнизона, а счастливый случай на минуту облегчил его тяжелую участь. Догистий, уже уверенный в победе, захотел прежде узнать, как наградит его император, и, в ожидании ответа прекратив осаду, отступил от крепости. Персы тотчас воспользовались дорогой минутой. Они засыпали мины землей, опять поставили стены, а три тысячи свежих воинов, тайно проникших в крепость, создали ей новую непреоборимую силу. Поздно заметил Догистий свою ошибку; теперь ему приходилось начинать осаду сызнова, но и его упорству не было пределов. Эта вторая осада отличалась еще большим героизмом обеих сторон, нежели первая. Употреблены были нечеловеческие усилия с одной стороны приблизиться к крепости, с другой — отдалить минуту ее падения. Греки изобрели особый стенолом, отличавшийся необыкновенной силой удара, и придвинули его под самые стены. Осажденные пускали град, копий, сваливали бревна и камни, лили на головы осаждающих ужасную горячую смесь масла и серы, называемую колхидцами маслом Медеи. Греки гибли сотнями, но молча и неустанно продолжали работы. Стенолом отбивал один за другим громадные камни, а рабочие железными крючьями оттаскивали их прочь. Наконец

в стенах образовались проломы. Тогда шесть тысяч греков разом ринулись на приступ — и сопротивление пало.

Рассказывают, что старый семидесятилетний воин по имени Бессос, первый проник в крепость, и хотя пал мертвым под ударами персов, но своей геройской смертью вдохновил товарищей и проложил им путь к победе. Римляне истребили гарнизон, не победив его мужества. Из числа этих храбрых воинов, заслуживающих вечную память, семьсот человек было убито во время осады, тысяча семьсот пало во время последнего приступа; остальные заперлись в цитадели и погибли в пламени, не соглашаясь ни на какие условия. “Они умерли,— говорит историк,— до конца пребыв верными своему властителю”.

Таково было прошлое знаменитого Цихис-Дзири.

И вот на рассвете 15 сентября 1829 года русские войска остановились в виду этого грозного замка. Но то, что увидел перед собою Гессе, далеко превзошло все его ожидания. По тем немногим сведениям, которые доставляли лазутчики, он полагал гарнизон Цихис-Дзири малочисленным, а теперь увидел, что прямой путь к скале загражден большим турецким лагерем, укрепленным завалами, с запада шумело море; с востока и юга теснились громады неприступных гор, отделенные от вражеского стана глубокими оврагами. И горы, и эти овраги сплошь заросли дремучими вековыми лесами, перевитыми плющом и дикими колючими растениями. Через них лежала одна едва приметная узкая тропинка, но и та преграждена была сильным редутом, обойти который не было никакой возможности.

В довершение всего Гессе получил известие, что сам Ахмет-паша со значительными силами аджарцев идет ему в тыл; но тем не менее, он решил овладеть Цихис-Дзири и приказал поставить на юго-восточных высотах две батареи, для свободного действия которых пришлось на значительное пространство вырубить лес. Но пока производились эти работы, прошло целых два дня, а в это время турецкие силы удвоились новыми подкреплениями.

16 сентября обе батареи и военный бриг “Пегас”, бомбардировавший укрепление с моря, открыли наконец огонь. Но при первых же выстрелах оказалось, что батареи поставлены были слишком далеко, а бриг за мелководьем не мог приблизиться к берегу, и гром канонады бесплодно оглашал окрестность.

Это обстоятельство побудило Гессе решиться на открытый приступ. Батальону сорок четвертого егерского полка приказано было овладеть редутом; его поддерживали две мингрельские роты; остальные шесть рот Мингрельского полка, назначенные для демонстрации с фронта, должны были, в случае благоприятной минуты, взять неприятельский лагерь. Вся милиция, расположенная в лесу, обеспечивала тыл со стороны аджарцев.

Приступ начался 17 сентября за час до рассвета. Войска, испытавшие уже себя в боях при Лимани и Муха-Эстати, где они брали турецкие позиции с одного удара, смело пошли вперед, и егеря, пренебрегая жестоким огнем, ворвались в редут; в то же время мингрельцы овладели укрепленным лагерем. Но тут успехи их остановились; обе колонны, что называется, уперлись в скалу и, осыпаемые градом неприятельских снарядов, не могли тронуться дальше. Турки, между тем, сделали вылазку из Цихис-Дзири и после двух часов кровавой резни русские войска с большими потерями стали выходить из редута и лагеря. Как раз в эту самую минуту с гор начали спускаться аджарцы, и их

появление решило участь гурийского отряда: расстроенные батальоны были охвачены с тыла и понесли жестокое поражение.

Штурм стоил десяти офицеров и шестисот пятидесяти нижних чинов, то есть более трети наличного состава отряда. Это была самая крупная неудача русских во всю войну с азиатской Турцией Паскевич во всем винил Сакена. Донося об этом прискорбном событии, он писал государю, что неудача экспедиции произошла от несогласных действий обоих отрядов, гурийского и ахалцихского, вызванных несвоевременным походом Сакена. Последний, будучи разбит в Аджарии, поднял этим дух неприятеля, который, устремившись на Гессе с утроенными силами, нанес ему поражение. Ошибка же Гессе, по мнению Паскевича, заключалась в том, что он начал штурм, даже не зная о приближении аджарцев.

Событие это бесспорно могло иметь для нас весьма печальные последствия. Почти весь Кобулет восстал поголовно, значительные партии отрезали сообщения отряда с Николаевским укреплением; аджарцы ежедневно нападали на наших фуражиров, а между тем военное судно, блокировавшее крепость с моря, по случаю начавшихся бурь, должно было сняться с якоря, и турки воспользовались этим, чтобы подвезти в Цихис-Дзири на легких лодках значительный запас продовольствия. Никогда еще положение отряда не было так опасно, и никогда Гурии не угрожало еще такое сильное вторжение. К счастью, в это самое время прискакал курьер с известием о заключении мира.

С прекращением военных действий турецкие войска отошли к Цихис-Дзири, русские вернулись в Озургеты. С Гурией тогда же было покончено. За смертью правительницы, малолетний Давид навсегда был отстранен от княжения в крае, и Гурия обращена была в простую русскую провинцию.

Грустно-сиротливо протекали дни молодого гурийского князя, потомка славных Гуриелей, вдали от родины, среди народа, искони враждебного вере его отцов и его отечеству. За него ходатайствовал барон Розен, сменивший на Кавказе Паскевича. В письме государю, исполненном горячего чувства и убеждения, он доказывал, что десятилетний Давид не мог быть виновным в поступке своей матери, что ни он, ни сестра его, княжна Екатерина, всюду сопутствовавшие матери, не имели ни сил, ни рассудка отстать от нее и что, наконец, тяжесть испытываемой кары — лишение наследственных прав и изгнание с родины не за свою собственную вину, а за вину матери — может образовать из молодого Гуриеля опасного врага и возродить вечные тревоги и смуты на границах Гурии.

Император Николай Павлович милостиво принял ходатайство барона Розена и 25 января 1832 года объявил высочайшее прощение всем гурийским князьям, дворянам и простым людям, бежавшим за границу с покойной правительницей. Вестником радости был послан в Трапезунд священник Шамокметского монастыря Иоанн Канделаки. И вот, пятнадцатого сентября несчастные изгнанники вступили на родную землю в порту св. Николая. С молодым Гуриели прибыл и дядька — воспитатель его, князь Мачутадзе, доселе слывший главным виновником побега княгини в Турцию. Но Розен усердно хлопотал снять и с князя Мачутадзе это тяжелое обвинение, удостоверяя, что вся вина его заключалась только в неограниченной преданности к бывшей своей владетельнице, воле которой он слепо повиновался. Розен рекомендовал его даже особому вниманию русского правительства. “Образование, которое получил малолетний князь, при всей скудности средств, имевшихся в распоряжении Мачутадзе,— писал он по этому поводу графу Чернышеву,— а главное, нравственные качества, привитые Давиду, делают полную честь его воспитателю”.

И действительно, двенадцатилетний Давид своей приятной наружностью, своими манерами и прекрасными качествами сердца возбуждал к себе общие симпатии. Не только гурийцы, но даже кобулетцы, мингрельцы и имеретинцы принимали живое участие в грустной судьбе молодого князя, и тем с большей признательностью встретили все царские милости, которые ожидали юношу при вступлении его на родную землю. Государь пожаловал ему, его сестре, княжне Екатерине, и князю Мачутадзе пожизненные пенсии, вполне обеспечивавшие их материальное благосостояние. Молодой князь Давид был отвезен в Петербург и помещен в Пажеский корпус, где в 1838 году и окончил свое образование. Произведенный в офицеры в лейб-атаманский казачий Цесаревича полк, он отправился служить на Кавказ и в следующем же году убит под Ахульго. С ним кончилась в прямом поколении и владетельная фамилия Гуриелей.

XXXIII. ПОСЛЕДНЯЯ СЛУЖБА ТАТАР

Арзерум, Муш, Баязет, Батум и Гюмиш-Хан — вот границы той огромной площади азиатской Турции, на пространстве которой в кампанию 1829 года небольшому русскому войску приходилось вести кровавую борьбу с многочисленным и упорным врагом. Проследив шаг за шагом за всеми перипетиями этой борьбы на главном и второстепенных театрах военных действий, остается заглянуть еще в один уголок очерченного района — это в Ольтинский и Нариманский санджаки, которые в общем ходе событий играют хотя и незначительную, но самостоятельную роль.

Нариман, Ольта и Шаушет, по своему счастливому положению вне пути наступления русских войск, были пройдены мимо и скоро сделались гнездом всех разбойничьих шаек, поминутно нарушавших спокойствие занятых нами провинций. Дерзкое поведение воинственных жителей этих санджаков вынудило Паскевича, вскоре после занятия Арзерума, направить для покорения Ольты Грузинский гренадерский полк. Но внезапная бейбуртская катастрофа и волнение, охватившее тогда покоренные области, потребовали сосредоточения сил к Арзеруму, и гренадеры, не дойдя до Ольты всего лишь шестнадцать верст, возвращены обратно. Не оставляя, однако, мысли об усмирении горных санджаков, главнокомандующий поручил это дело подполковнику Шумскому, стоявшему в Ардагане с сороковым егерским полком и частью карапапахской конницы.

В середине июля Шумский предпринимает ряд экспедиций с исключительной целью оградить движение транспортов и караванов по карсской и ахалцихской дорогам. В одну из таких экспедиций он разбил значительную шайку, взял в плен одного из самых смелых, предприимчивых предводителей, и далеко углубился в горы. Две роты егерей успели даже проникнуть в самый Шаушет, рассеяли там скопища вооруженных жителей и отбили до тысячи голов лошадей. Появление русского отряда в недоступных горах произвело сильное впечатление и понудило многих ардаганских мусульман, бежавших туда еще в минувшем году, изъявить покорность и просить позволения переселиться на прежние места, в покинутые деревни; но большая часть коренного населения ушла еще далее, в недоступные ущелья, под покровительство ливанского бека, обещавшего им помощь. Эта экспедиция принесла еще и ту пользу, что турецкие войска, начавшие формироваться в Шаушете, Геле и Ливане, рассеялись.

Очистив, насколько было возможно, край от бродивших в нем шаек, Шумский 2 августа предпринял уже большую экспедицию в Ольту. Город, однако, сдался без боя. Тамошний правитель, Кучук-бей, не желая покориться, бежал в Ливану, и на его место предложено было народу избрать другого правителя. Восстановив порядок, Шумский пошел назад в Ардаган. И ему необходимо было спешить, так как носились уже слухи, что где-то в горах собираются партии, чтобы отрезать отряду обратный путь. В Пенякском санджаке две

тысячи аджарцев, под предводительством брата Ахмет-бека, действительно заняли позицию в крутых лесистых горах, и миновать ее было нельзя. Столетние деревья, срубленные и наваленные одно на другое, образовали грозные завалы, через которые отряду предстояло проложить себе дорогу оружием. Бой начался в шесть часов утра и кончился только в одиннадцать. Атакованный неприятель защищался с ожесточением; несколько раз аджарцы бросались из завалов в кинжалы, прорывались даже до самых орудий; но каждый раз картечь валила целые ряды их, и толпы опять скрывались в укрепления. Наконец артиллерия разбила завал и егеря, бросившиеся на приступ, овладели позицией. Двести неприятельских тел осталось на месте, и взят был в плен один из куртинских старшин со всеми своими телохранителями.

Но спокойствие, водворившееся в горных санджаках, было и непрочно, и недолговременно. Катастрофа, разразившаяся над головой Сакена в Аджарии, тяжело отозвалась на действиях маленького ардаганского отряда, и теперь, когда Аджария открыто стала на сторону Турции, пускаться в горы с такими ничтожными силами, какие находились в распоряжении Шуйского, было бы крайне рискованно. Экспедиции приостановились, а вместе с их прекращением стало утрачиваться и наше влияние на жителей Ольты и Наримана. Новый турецкий сераскир весьма искусно воспользовался таким положением дела. Он понял ту важную роль, какую могли играть на наших сообщениях эти закинутые Бог весть в какую глушь уголки, и обратил на них особенное внимание. При энергичной деятельности посланных туда эмиссаров, ему удалось возмутить народ и восстановить в санджаках прежнюю турецкую власть, в лице Гуссейн-бека, человека также весьма энергичного и предприимчивого. Около него стало группироваться все, что было в населении беспокойного, праздного, недовольного вынужденным бездействием. Скоро под его начальством образовались большие конные силы. Начались грабежи и убийства всех сторонников русской власти; партии опять появились на дорогах, и наши транспорты опять могли проходить по ним только с большими конвоями.

Обстоятельства значительно усложнялись еще и потому, что свободных войск не было ни в Арзеруме, ни в Ахалцихе, ни в Ардагане. Паскевич надеялся было, что повсеместное поражение им неприятельских скопищ во время трапезундского похода, повсюду водворить спокойствие, однако надежды эти не оправдались, несмотря даже на наступившие холода и постоянные ненастья.

Осень 1829 года настала ранняя. Сентябрь принес с собой пасмурные, дождливые дни и темные ночи. Утренники стояли такие холодные, что на окрестных высотах трава покрывалась инеем, и в местах, занимаемых пикетами, пришлось устраивать даже навесы для укрытия людей и лошадей от непогоды. Особенно страдала мусульманская конница с ее породистыми, но нежными лошадьми, не выносящими холода. Болели и сами всадники, не имевшие для своей защиты ничего, кроме бурки, да и той приходилось укутывать на ночь своих жеребцов. Лазы находились также не в лучшем положении. Трудно было представить, чтобы они, лишенные пристанища и вынужденные встречать суровую непогоду в глухих, едва проходимых трущобах, отважились бы на новые предприятия. Приближалось время зимних квартир. Транспорт за транспортом выходил из Арзерума по дороге на Гумры, куда перевозили больных и отправляли запасные артиллерийские и инженерные парки. Ушла наконец и батарейная артиллерия под прикрытием двух рот Ширванского полка, а за ними последовали второй и четвертый конно-мусульманские полки. Но прежде чем возвратиться домой, мусульманам нужно было сослужить еще одну боевую службу. Паскевич присоединил к ним пионерную роту с двумя кегорновыми мортирами и, поручив этот летучий отряд командованию подполковника князя Аргутинского-Долгорукова, приказал ему пройти через Нариманский и Ольтинский

санджаки с тем, чтобы наказать возмутившихся жителей [Первый и третий конно-мусульманские полки остались на несколько дней в передовом отряде, и в эти дни события переменились так резко, что, вместо зимних квартир, им пришлось участвовать в новом походе к Бейбурту.].

Одиннадцатого сентября отряд выступил из Арзерума. Путь лежал через высокий хребет Тавр-Дат, уже покрытый глубоким снегом. Предводимый князем Аргутинским, будущим героем дагестанских гор, отряд смело преодолел все трудности, и шестнадцатого сентября уже был в одном переходе от Ольты. Здесь, перед деревней Сурп-Саркис, его ожидал неприятель. Тесное ущелье было занято большой толпой делибашей, к которым то и дело подходили из деревни новые и новые силы. Скоро число наездников возросло до восьмисот человек, и тихо заколыхались над ними три развернутые знамени. С Аргутинским была только одна конница, пехота же и кегорновые мортиры, действие которых теперь могло бы так пригодиться, остались далеко в горах. Посланный к ним офицер, чтобы ускорить движение, вернулся с известием, что колонна ранее, как через три-четыре часа подойти не может: вьючные верблюды, на которых везлись орудия, были изнурены и так подбились горной дорогой, что едва переступали, а пионеры не могли оставить их без прикрытия. Между тем бездействие в виду неприятеля было крайне опасно, и Аргутинский решился атаковать делибашей, не ожидая пехоты. Он тихо подъехал ко второму конно-мусульманскому полку, стоявшему впереди и, обращаясь к его командиру, сказал: “Сейчас начнем атаку; нужно иметь впереди отборных людей, вызовите охотников”. Майор Кувшинников, старый серпуховской улан, два раза раненный в наполеоновских войнах, сказал татарам короткую речь и вызвал охотников. Выдвинулись все четыре сотни разом. Самолюбие татар было задето, и никто не хотел оставаться сзади. Тогда Кувшинников повел вперед первую сотню, за ним тронулась вторая, под личной командой князя Аргутинского; а остальные две, поддерживая это движение, наступали уступом. Весь четвертый полк остался в резерве. Сблизившись с неприятелем на сто шагов, Кувшинников начал атаку, но едва первая сотня пустилась в карьер, как остальные вырвались, так сказать, из рук своих начальников и устремились в битву без всякого приказания. Делибаши повернули назад, и первая линия высот была занята почти моментально, но за нею виднелась другая, третья — целый ряд высот, и на каждой из них делибаши, пытаясь удержаться, вступали в рукопашную схватку. Их опрокидывали, гнали и, наконец, втоптали в деревню, где произошла последняя и самая горячая схватка: под самим Кувшинниковым лошадь была убита в упор из пистолета, три офицера и четырнадцать татар ранены, но это-то упорство и помогло разбить неприятеля: четвертый полк успел обскакать деревню и ударил делибашам в тыл. Поражение было полное. Начальник турецкой кавалерии Аслан-бей успел ускакать, но весь конвой его, из пятидесяти четырех человек, с известным ольтинским наездником Омар-агой, был окружен в деревне и взят в плен. Два знамени, множество оружия, лошадей и скота составили военную добычу татар. Сколько у турок было убитых — не известно, но на сурп-саркисском кладбище, как доносил Аргутинский, было погребено до ста неприятельских трупов.

На следующий день, когда отряд уже приближался к Ольте, армяне дали знать, что турки занимают в городе одну цитадель, а что сам начальник санджака, Гуссейн-бек, стоит в семи верстах за Ольтой на крепкой позиции у деревни Джунджуруз. Тогда князь Аргутинский оставил сотню мусульман и роту пионер для наблюдения за крепостью, а с остальной конницей пошел атаковать Гуссейна. На это раз в авангарде шел четвертый конный полк, под командой Нижегородского полка капитана Эссена. Желая скорее столкнуться с неприятелем, Эссен с места тронулся рысью и далеко опередил колонну. Но едва мусульмане его втянулись в глубокое джунджурское ущелье, как из-за скал и камней, со всех сторон, посыпались пули, а на гребне выказалась огромная масса турецкой

конницы. Отбиваться в тесном ущелье было неудобно. Часть мусульман спешилась, залегла за камнями, и под их прикрытием Эссен медленно, шаг за шагом, стал отходить назад, на равнину. Вслед за ним, на ту же равнину, вынеслась из ущелья и вся турецкая конница. Картина была поразительная. Впереди всех скакали знамена; их большие полотна, развевавшиеся на быстром скаку, как бы указывали туркам путь к победе и славе; за ними красивыми толпами неслись синие и красные делибаши. Шелк, золото и яркие цвета красивой одежды — все показывало присутствие здесь одного из тех турецких начальников, которые любят окружать себя восточным блеском и сказочной роскошью. И Гуссейн-бек был действительно одним из таких начальников. В его привычке к роскоши было много обаяния, которому подчинялись суровые лазы. Все это составляло резкий контраст с нашими татарами, которые недавно еще были такими же нарядными, а теперь дрались в своих обтрепанных за поход черкесках, с оборванными и полинявшими галунами. Забыв о щегольстве одежды, но сохранив доброе оружие, а вместе с ним и доблестный дух, татары хотя и пятились назад, но с достоинством, поджидая только помощи, чтобы ринуться на турок. Скоро со стороны Ольты показался второй конный полк, идущий на полных рысях. Уверенный теперь в поддержке, Эссен остановился и приготовился к атаке. Еще минута — полки соединились, и целая мусульманская бригада разом ударила на неприятеля. Пять байрактаров, скакавших впереди, были моментально изрублены, и пять знамен захвачены ширванскими беками. Делибаши понеслись назад. Загнанные в ущелье, они пытались остановить преследование, но капитан Эссен быстро спешил своих татар и повел их в кинжалы; две сотни полка Кувшинникова заскакали в тыл. Опасение быть отрезанными заставило делибашей уходить врассыпную; татары скакали у них на плечах, и преследование продолжалось до тех пор, пока неприятель совершенно рассеялся. Поздно вечером весь отряд собрался под Ольтой.

Между тем, пока шло кавалерийское дело, подпоручик Гангеблов, командовавший пионерной ротой, поставил против цитадели кегорновые мортиры и открыл бомбардирование. Из цитадели отвечали пушечной и ружейной пальбой. С наступлением ночи пальба прекратилась. С рассветом первый предмет, бросившийся в глаза осажденным, были семь турецких знамен, развевавшихся на высоком кургане впереди русского лагеря. Они с очевидностью свидетельствовали об участи Гуссейн-бека; но гарнизон не думал о сдаче. Не зная численности его, Аргутинский действовал осторожно, и с утра вновь начал бомбардирование. Восемь турецких орудий отвечали живым огнем. Борьба оказывалась для нас неравной. На все предложения сдачи, гарнизон требовал пропуска с оружием в руках, а князь Аргутинский на это не соглашался. Тогда, некто хаджи шейх-Селим, мулла одной из ольтинских мечетей, вызвался быть посредником, с тем, чтобы защитникам цитадели была дарована жизнь и сохранено имущество. Это подействовало, и через час перед Аргутинским предстало двадцать аджарцев “Где же остальной гарнизон?” — спросил Аргутинский. Аджарцы переглянулись. “Мы все тут, нас только и было двадцать человек”,— отвечал один из них.

Замок тотчас был занят пионерами и в нем взяты две медные мортиры и шесть легких пушек.

Едва войска покончили с Ольтой, как возвратились два армянина, ходившие на разведку и привели с собой ливанского грузина, который заявил, что Гуссейн-бек сегодня ночует с небольшим конвоем невдалеке от Ольты, в деревне Карапет, Таускертского санджака. Мысль захватить Гуссейна была так соблазнительна, что Аргутинский, несмотря на усталость конницы, выдержавшей двухдневный горячий бой, тотчас приказал готовиться к походу.

С закатом солнца весь отряд уке был в пути. В Таускерский санджак вели две дороги: по одной двинулся Эссен, по другой — Кувшинников со своим полком, пехотой и артиллерией. Прошли уже добрую половину ночи, как в колонне Кувшинникова вдруг грянул выстрел. Передовые татары наткнулись на пикет у самой деревни Паласуры. Времени терять было нельзя. От Паласуры до Карапет всего несколько верст и жители могли предупредить Гуссейна об опасности. Весь второй полк понесся карьером. В это время с противоположного конца деревни выскочила конная партия и устремилась к лесу. Сотня мусульман с самим Кувшинниковым понеслась за ней, а остальные продолжали скакать по таускерской дороге; пехота бездорожным полем поспешала бегом, чтобы занять дорогу на Киях и отрезать Гуссейну последний путь отступления.

Но как ни быстро влетели мусульмане в деревню, Гуссейна они там уже не нашли. Своевременно извещенный об опасности, он пустил конвой по большой дороге, а сам, отделившись в сторону, бросился в горы по таким опасным местам, что из пяти сопровождавших его нукеров три сорвались с кручи и, вместе со своими лошадьми, разбились насмерть; но добрый конь Гуссейна вынес его из пропасти.

Между тем конвой, скакавший по дороге, попал как раз на четвертый полк и был истреблен им почти поголовно. Скоро вернулся и Кувшинников; оказалось, что в партии, которую он преследовал был сам Кучук-бей, старый правитель Ольтинского санджака, но партия его успела, однако, раньше татар достигнуть леса и, бросив лошадей, спаслась пешей.

Набег, строго говоря, не удался, но нравственные результаты его были огромны, так как он вконец подорвал обаяние Гуссейна в народе. Когда отряд вернулся в Ольту, там уже вполне была восстановлена русская власть и был новый правитель, избранный народом. Ольта, Нариман и Шаушет смирились.

Князь Аргутинский и майор Кувшинников, за действия их в окрестностях Ольты, получили ордена св. Георгия 4-й степени.

“Долгом считаю свидетельствовать перед Вашим Величеством,— писал Паскевич государю,— об отличной храбрости мусульманских полков, которые при всяком случае не переставали являть новые опыты привязанности к русскому правительству и тот доблестный дух, который мне удалось возбудить в них поощрениями и хорошим обхождением. Добытые ими семь знамен и ключ крепости Ольты повергаю к стопам Вашего Величества”.

Поощрения и внимание, или, как сказано в письме государю, “хорошее обхождение” — вот те могучие двигатели, которые в руках Паскевича создали те превосходные боевые части, какими явились конно-мусульманские полки в боях против турок. Они не оказались впоследствии бессильными, под начальством того же Паскевича и против европейской тактики, и против превосходно обученных войск, какими были венгерские гусары. А между тем нельзя не отметить тот факт, что на Кавказе, позднее, уже не встречалось вовсе подобных милиций: полки выходили на службу, но к старым заслугам они не прибавляли ничего.

По окончании Ольтинской экспедиции отряд был распущен, и мусульманские полки возвратились на родину. Туда же, почти вслед за ними, прибыла и остальная бригада, покрытая славой последнего бейбуртского боя. Этим закончилась блестящая служба конно-мусульманских полков при действующем корпусе; они разошлись по домам, но памятником их доблестных подвигов и поныне остаются знамена, высочайше

пожалованные им 26 октября 1830 года. На больших шелковых полотнах этих знамен, сохранивших те же цвета, какими во время войны полки отличались один от другого [То есть: в первом полку (Карабаг) — красные, во втором (Шемаха) — белые, в третьем (Елисаветполь) — желтые, в четвертом (Эривань) — голубые и в коннице Кенгерлы (Нахичевань) — зеленые.], изображен государственный герб, а на верху, в копье,— вензель Императора Николая I.

Ходатайствуя об этих знаменах, Паскевич предполагал пожаловать их целым провинциям, выставившим на службу полки, и хранить эти знамена в мечетях, на видном месте, при самом входе, чтобы тем возбудить благородное соревнование и в отдаленном потомстве. В торжественные царские дни знамена, как писал Паскевич, должны выноситься к народу и потом водружаться на куполах мечетей, “дабы видны были всем жителям”. Император благосклонно принял ходатайство Паскевича о пожаловании мусульманским полкам знамен, “но с тем, чтобы оное хранились не в мечетях, а в присутственных местах главного города провинции”. Такими пунктами названы были: Шуша, Старая Шемаха, Елисаветполь, Эривань и Нахичевань.

Для принятия знамен в Тифлис были вызваны от каждого полка и от конницы Кингерлы по десять почетнейших беков и по двадцать всадников из числа, имевших знаки отличия военного ордена. Но в Тифлисе были только прибиты к древкам полотна знамен, а торжество освящения их производилось уже в главных городах провинций, на глазах всего населения, в мечетях, где муллы и ахунды читали установленные молитвы, а народ повторял за ними слова произносимой присяги. По окончании обряда войска, находившиеся в параде, отдали знаменам установленную честь, и освященные хоругви относились в присутственные места, конвоируемые конной сотней татар.

“Храните знамена эти,— говорил Паскевич в своем воззвании к народу,— под попечением правительственных мест ваших, и гордитесь ими, как знаменитыми отличиями, приобретенными мужеством и кровью ваших собратий. Да послужат знамена сии наилучшим и прочнейшим соединением между вами и победоносными войсками Русского Императора, и да ополчитесь вы всегда под сенью их на защиту собственной земли и на поражение неприятеля нашего могущественного Монарха. Я совершенно уверен, что при новой необходимости призвать вас к оружию вы поспешите еще с большим усердием составить из среды своей ополчения и со свойственным вам мужеством полетите туда, где неприятель осмелится показаться”.

И этот завет любимого вождя, достойно их оценившего, татары свято хранят до сих пор, и из уст в уста переходят среди них сказания о минувшей године турецкой войны 1829 года.

XXXIV. ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПОД БЕЙБУРТОМ

Азиатские ополчения, легко уступающие победу, еще с большей легкостью возникают, так сказать, из своих развалин. И легковерие умов, и общий воинственный склад жизни восточных народов, и, наконец, самая пылкость их и прирожденная храбрость — все служит могущественным двигателем для того, чтобы в несколько дней явилась сильная и хорошо вооруженная армия там, где ее вовсе не было. Так в Азии было всегда, так было и теперь, когда Паскевич силой обстоятельств вынужден был отказаться от трапезундского похода и возвратился в Арзерум.

Подобно волнам, стремящимся залить след пронесшегося корабля, лазы со всех сторон спешили на путь отступления Паскевича, и как бы заметали следы грозного нашествия русского войска. Но главнокомандующий был убежден, что позднее время года не

позволит им начать военных действий и мало-помалу стал распускать войска на зимние квартиры. Последнее обстоятельство, в связи с неудачной экспедицией Сакена и возвращением самого Паскевича, пробудило в неприятеле новые надежды и дало повод к различным толкам и слухам. Из края в край быстро пронеслась весть, что русские оставляют Арзерум, и общим отголоском было единодушное мнение, что пришел час, когда мусульмане должны восстать поголовно и, прикрытые победным знаменем пророка, исторгнуть наконец этот губительный меч, ниспосланный на них, как небесная кара, из рук страшных гяуров.

Воодушевлению народа много способствовал и удачный выбор нового сераскира, отличавшегося не только военными дарованиями, а, что еще было важно, твердой, настойчивой волей. Сам уроженец Трапезундского пашалыка, он принадлежал к воинственному племени лазов и сумел приобрести огромное влияние на своих соотчичей, которые целыми селениями и городами шли под его знамена. Его обаяние распространилось и на соседний Муш, и на далекий Ван, и целые толпы курдов ринулись на занятые русскими земли. Начальники разнородных племен, дотоле несогласные в своих политических взглядах, теперь соединялись и действовали единодушно. Куртинцы, лазы, аджарцы, кобулетцы были заодно. Между тем, из остатков разбитых войск быстро формировалась регулярная армия, общую численность которой полагали в восемнадцати тысяч пехоты и конницы. Сильные авангарды, выдвинутые к стороне Арзерума, занимали Бейбурт и Килкит-Чифтлик, а главные силы стояли в Гюмюш-Хане, поджидая артиллерию, которую везли из Константинополя морем.

Первые сведения о сборах неприятеля главнокомандующий получил девятого сентября, когда русский корпус был сгруппирован возле Арзерума. Главные силы его стояли в самом городе: на двух главнейших путях к Трапезунду расположились авангарды Муравьева и князя Голицына, а для связи между ними, несколько сзади, стоял особый небольшой отряд из двух батальонов пехоты и полка кавалерии при двух конных орудиях. Деревня Кюли, прикрывающая Арзерум с юга, также была занята одним батальоном.

Пользуясь временным затишьем, Паскевич спешил заготовить на зиму продовольствие, и потому для сбора реквизиционного хлеба отправил в покорный нам Терджанский санджак особую колонну из шести рот сорок второго егерского полка при четырех орудиях под командой полковника Миклашевского. Но Терджанский санджак был уже занят неприятелем. Здесь собрались делибаши, гайты, курды и арнауты, к которым присоединились и местные жители, под предводительством изгнанного нами правителя санджака, Махмуд-бека. Таким образом составилось скопище в пять-шесть тысяч человек, и десятого сентября слабый отряд Миклашевского неожиданно был атакован на пути к деревне Пекеридж. На помощь к Миклашевскому быстро прибыл из Аш-Калы Муравьев с гренадерской бригадой, и турки отступили. Войска заняли Пекеридж и преследовали неприятеля до самой деревни Пун, издавна служившей резиденцией терджанских правителей. Селение было взято и дом Махмуд-бека разрушен до основания. В это время пронесся слух, что сам сераскир со всеми силами идет на Аш-Калу, с целью прорваться к Арзеруму, и Муравьев со своей бригадой вынужден был спешить назад, чтобы заградить неприятелю путь. Махмуд-бек тотчас же воспользовался удобной минутой, потеснил бывший перед ним слабый передовой отряд и занял пятнадцатого сентября опять Пекеридж. Миклашевский в ту же ночь сделал на него нападение, снова овладел селением и взял у неприятеля знамя. Но на рассвете шесть тысяч турок уже стояли вокруг Пекериджа, отрезав Миклашевскому все пути к отступлению, и отряд очутился в блокаде. Опять на выручку явился Муравьев и, под его покровительством, егеря отошли в Аш-Калу. Таким образом задача отряда — сбор реквизиционного хлеба, не была исполнена. Но о реквизициях теперь уже нечего было и думать.

Двадцатого сентября Паскевич получил известие, что султан прислал настоятельный фирман, требовавший овладеть Арзерумом, и что артиллерия, которую ждали в Гюмюш-Хане, прибыла из Константинополя. Во всех турецких лагерях шли деятельные приготовления к походу. Сам сераскир переехал в Бейбурт, чтобы быть ближе к начинающимся военным действиям. Его прокламации, обращенные к жителям, читались в городах и селах, в мечетях и на площадях; а между тем делибаши стали появляться уже под самым Мегмансуром, где стоял авангард князя Голицына.

Это необыкновенное возбуждение турок заставило Паскевича отказаться от намерения распустить войска на зимовые квартиры. Нужно было, напротив, воспользоваться сбором их, чтобы разрушить замыслы неприятеля, иначе подобное положение дел не могло обещать спокойствия в завоеванном крае, и для охраны Арзерума пришлось бы оставить почти весь действующий корпус. Пример Ахалцихе, осажденного в глубокую зиму, научил Паскевича быть осторожным и не слишком доверяться затишью зимовых квартир.

Не теряя времени, главнокомандующий решился сам открыть наступательные действия, и начать их вторичным походом к Бейбурту. Сборы к выступлению, конечно, тотчас же были замечены и гонцы поскакали к сераскиру с известием, что русские уходят. Все мысли были настроены так, что другого исхода никто не хотел допустить, и тем полнее было разочарование, когда увидели, что русские идут не назад, а прямо к Бейбурту. Все замерло в тревожном ожидании — что будет?

Между тем, выступив из Арзерума и имея во главе магмансурский отряд князя Голицына, главные силы 26 сентября прибыли в Мис-Майдан, как турки называют медные заводы, лежащие в двух часах пути от Бейбурта. Здесь присоединился к ним Муравьев, пришедший от Аш-Калы со своей гренадерской бригадой. Он встретил на дороге большой купеческий караван, следовавший в Персию, под прикрытием турецкого конвоя, и привел его с собой к Паскевичу. Главнокомандующий сам допрашивал пленных, но показания их были настолько противоречивы, что основываться на них не было никакой возможности; одни говорили, что в Бейбурте находится не более пяти тысяч войск, и при них три небольшие пушки на арбах; другие утверждали, напротив, что неприятель имеет не менее пятнадцати тысяч и десять больших медных орудий. Ни угрозами, ни деньгами нельзя было выпытать истины. Все, что они показывали согласно — это то, что Бейбурт обнесен новыми шанцами и имеет несколько батарей, окопанных глубокими рвами.

В три часа пополудни войска поднялись с привала и двинулись вперед по левому берегу реки Чорох; на правую сторону переброшен был только Нижегородский драгунский полк да конница Гайты, под общим начальством князя Голицына. Скоро там завязалась перестрелка, не умолкавшая уже до самого Бейбурта и достойная внимания тем, что здесь в первый раз конница Гайта и Дели сражалась со своими единоземцами. Но вот наконец и Бейбурт. Верстах в шести от города, там, где ущелье делает крутой поворот и суживается, меньше чем на ружейный выстрел, виднелась неприятельская конница, приблизительно из тысячи всадников; за нею на вершине широкого хребта стояло по пятьсот человек пехоты. Были уже осенние сумерки, когда Паскевич, опередив войска, прибыл к авангарду. Он тотчас выдвинул вперед шесть конных орудий и приказал очистить ущелье. Не имея артиллерии, турки не могли удержаться и стали отступать по гребню высот. Паскевич поднялся на горы и, осмотрев передовые укрепления, приказал прекратить бесполезную перестрелку. Войска стали бивуаком на левом берегу Чороха. Неприятель очевидно не имел намерения оставлять Бейбурта, считая себя достаточно сильным, чтобы выдержать натиск русского корпуса. Всю ночь на правом берегу Чороха, по вершинам гор и вокруг турецких окопов горели большие огни. В полночь возвратились наши разъезды и привели с собою несколько армян из ближних деревень. Все они показывали согласно, что в

Бейбурте находится двенадцать тысяч войска при шести орудиях и что сильный отряд, под личным начальством сераскира идет сюда же из Балахора.

Любопытно заметить, что в ту же ночь и те же сведения были сообщены Паскевичу двумя секретными письмами: одно было от офского бека, назначенного нами некогда бейбуртским комендантом, другое от жены Осман-паши, командовавшего в Бейбурте войсками. Не зная, чему приписать подобный поступок со стороны женщины, пользовавшейся в своем кругу таким высоким положением, главнокомандующий, конечно, усомнился бы в верности доставленных ею известий, если бы они не подтверждали все то же, что говорили ему армяне и писал офский бек.

Тогда главнокомандующий решил атаковать Бейбурт на рассвете, 27 сентября, чтобы предупредить соединение двух турецких корпусов, и на решение военного совета предложил вопрос, с какой стороны повести атаку. Большинство голосов высказалось за наступление с фронта; но Паскевич решил бросить свои сообщения с Арзерумом и, обойдя неприятеля слева, стать на западных высотах. К этому побуждало его, во-первых, желание избежать больших потерь в людях, которые неминуемо были бы при атаке с фронта, и, во-вторых, отрезать этим движением неприятелю путь к отступлению и истребить его совершенно. Отвергнув мнение военного совета, главнокомандующий взял исполнение этого маневра на личную ответственность, и в пятом часу утра, в густой предрассветной мгле, повел войска обходной дорогой.

Казачьи полки Карпова, Фомина и второй сборный линейный шли в авангарде, под командой генерала Сергеева. Грузинский полк и две роты егерей с двенадцатью орудиями — в первой линии; Херсонский полк — во второй; сводная кавалерийская бригада, отборная сотня татар и конница Гайты, при шести орудиях — в третьей; за ними двигался резерв — полки: Эриванский карабинерный, Ширванский пехотный и первый конно-мусульманский с двенадцатью орудиями.

Обходная дорога была крайне неудобна; войска следовали по ней узким фронтом; артиллерия едва двигалась в одно орудие, и потому вся колонна растянулась так, что когда голова авангарда уже приближалась к городским высотам, хвост отряда только что начинал вытягиваться с места. Неприятель, следивший за нашим движением с высот правого берега, легко мог воспользоваться этим невыгодным для нас положением, а потому, чтобы не допустить его атаковать войска на походе, Паскевич с Эриванским полком остался при входе в ущелье, выжидая пока колонна стянется. А впереди, между тем, уже шла перестрелка. Турки вышли из Бейбурта и в трех верстах от города атаковали наш авангард. Сергееву тотчас послано было приказание не завязывать дела. Но пока посланный пробирался по горным тропам, объезжая дорогу, сплошь заставленную войсками, Сергеев уже начал атаку. В первый раз шли в битву сборные сотни второго линейного полка, но их превосходный нравственный дух и соревнование с донцами возместили малочисленность авангарда. Громадная толпа неприятеля была опрокинута, и линейцы ворвались в подгорную деревушку. Но тут им пришлось выдержать новый упорный бой со свежими силами. Неприятельская пехота, спустившись с высот, бросилась отнимать деревню. Новая атака — и казаки на плечах бегущих вскочили на высоты, командовавшие городом. Паскевич тотчас двинул гренадер, чтобы удержать отнятую казаками позицию. Но пока они шли, турки в третий раз атаковали Сергеева. Казаки с трудом, но держались, а между тем подоспела вся гренадерская бригада и окончательно утвердилась на спорной позиции. Перед нами открылась теперь вся окрестность Бейбурта и ни одно движение неприятеля ни в городе, ни в окопах не могло укрыться.

Самый Бейбурт ютился в глубокой долине Чороха. Древняя крепость его теперь лежала в развалинах, взорванная во время первого бейбуртского похода, и вся оборона города заключалась только в его крепкой местности. Со всех сторон вплотную придвинулись к нему высокие и крутые горы. На восток за ними лежал Испирский санджак, на север — Хартская равнина, памятная смертью храброго Бурцева и разгромом турецких полчищ, в отмщение за эту смерть, победоносным русским вождем. Река Чорох, обтекая город с трех сторон и разрывая северный кряж глубоким ущельем, несет свои воды через ту же равнину к далекому Черному морю. На левом берегу реки, тотчас по выходе из города, на скалистом и длинном кряже раскинулось старое турецкое кладбище, и мимо его из Бейбурта на тот же Харт идет большая дорога. Окруженный со всех сторон завалами и шанцами, Бейбурт был усилен на западном фасе, против которого стоял Паскевич, еще двумя батареями. Так же, впереди правого фланга русских войск, стоял укрепленный лагерь, прикрытый двумя редутами; старое кладбище тоже занято было батареей.

Между тем неприятель, сбитый нами с высот, остановился в версте перед городом, откуда стали подходить к нему подкрепления и число неприятельских войск возросло до пяти тысяч пехоты и конницы при двух орудиях. Ошибка неприятеля, решившегося выйти из своих укреплений в поле, не укрылась от Паскевича. “Чем более усиливались они в этом месте,— говорит он,— тем вернее видел я возможность овладеть городом, ибо, опрокинув их на собственные укрепления, мы могли вместе с ними ворваться в шанцы”. И вот, выждав время, когда неприятель, подвигаясь к нам все ближе и ближе, занял наконец высоты, отделявшиеся от нашей позиции одной глубокой лощиной, Паскевич подал сигнал к наступлению. Гренадерская бригада Муравьева начала атаку; непосредственно за ней следовали Нижегородский драгунский и Сводный уланский полки, а вся иррегулярная конница, под обшей командой генерала Сергеева, двинулась влево, чтобы, заняв все пути, ведущие на север, отбросить неприятеля, в случае потери им Бейбурта, в Испирский санджак, то есть в сторону совершенно противоположную Трапезунду.

Пехота наступала линия за линией. Когда Грузинский полк начал спускаться в лощину, Херсонский со всей артиллерией подвинулся на самый край спуска и через головы атакующих открыл по неприятелю учащенный огонь. Под его прикрытием грузинцы прошли лощину и без выстрела бросились бегом на противоположную высоту. Неприятель не выдержал этого безмолвного удара и быстро откинулся на следующий гребень. Там была та же лощина, и повторился тот же маневр: грузинцы переходили овраг, херсонцы, занимая их место, громили неприятеля. Турки, теснимые с одной высоты на другую, не выдержали наконец этого дружного наступления и обратились в бегство. Теперь они заботились о том, чтобы скорее вскочить в свои шанцы, и густые толпы их заслонили собой всю линию укреплений. Неприятельский огонь оборвался. В это самое время из-за фланга нашей пехоты на полных рысях вынеслась кавалерийская бригада князя Голицына. Минута была самая решительная. Уланы с места во весь опор пустились за кавалерией, отбили ее от города и погнали по направлению к Чорохскому ущелью. На долю нижегородцев выпала еще более трудная и славная работа. Вот что рассказывают об этом участники бейбуртского боя.

Едва полк, под командою полковника князя Андроникова выдвинулся в колоннах к атаке, как перед ним лицом к лицу очутилась свежая неприятельская конница, заслонившая собою бегущих. Обе конные массы приостановились и в безмолвном созерцании как бы измеряли силы друг друга. Но вот турецкий офицер, отделившись от цепи фланкеров, подскочил в упор к драгунскому Фронту и выстрелил из пистолета. В это мгновение стоявший перед первым взводом первого эскадрона поручик князь Язон Чавчавадзе кинулся на него с обнаженной шашкой. Офицер стал уходить, Чавчавадзе насел на него вплотную. Видя, что оба они уже подскакивают к турецким линиям, и что Чавчавадзе не

остановится, весь первый взвод без приказания ринулся за своим командиром; за взводом пустился весь первый эскадрон, за первым второй — и через мгновение все шесть эскадронов бешено несли на турецкие окопы. Конница, стоявшая перед ними, была сметена, и драгуны врезались в бегущую пехоту. А, между тем, Язон Чавчавадзе и его противник скакали все дальше и дальше. Вот уже перед ними и грозная линия батарей и редутов. Турецкий офицер вскочил в укрепление. Чавчавадзе дал шпоры коню и, перелетев ров и высокий бруствер, очутился там же и посреди изумленных турок наконец настиг и изрубил противника. Как раз в эту минуту принеслись и драгуны. Полковник князь Андроников вместе с дивизионом ринулся на батарею — и через мгновение уже сидел на пушках. Два орудия сразу попали в руки драгун; одно из них было заряжено картечью. Тогда другой Чавчавадзе (Роман) спрыгнул с коня, и, повернув орудие, сам сделал из него последний картечный выстрел по бегущим туркам.

Такое же славное участие приняли в битве и остальные эскадроны. Второй дивизион капитана Гринфельда, принявший несколько влево, вскочил на другую батарею и, изрубив прислугу, также овладел орудием; в то же время третий дивизион, под командой майора князя Баратова, оставляя, за собою широкий кровавый след в рядах турецкой пехоты, пронесся через весь укрепленный лагерь и вырвал его из рук неприятеля, вместе с двумя редутами. Ни ружейный, ни пушечный огонь, ни рвы, ни укрепленные шанцы — ничто не остановило храбрых драгун. Они устремились в улицы города и захватили еще одно орудие. Таким образом, не прошло десяти минут от начала атаки, как вся линия городских укреплений с редутами и батареями пала под ударом шести эскадронов драгун — подвиг, достойный исторической славы нижегородцев! Елисаветполем они начали персидскую войну и Бейбуртом окончили турецкую.

Бой на улицах города продолжался недолго. Неприятель разделился на части: одни засели в домах, другие бежали к стороне Испира, за ними пошли драгуны и двинулась гренадерская бригада с десятью орудиями. В то же время Ширванский полк получил приказание очистить город, и пошел штурмовать саклю за саклей. Здесь в кровавом бою ширванцы отняли три знамени — и несколько домов, взятых ими на штыки, воскресили в памяти жителей все ужасы ахалцихского приступа. Под развалинами горевших домов гибли и правые и виноватые, и вооруженные лазы и безоружные жители. Картина погрома и истребления была так ужасна, что паника охватила самых неустрашимых воинов, Все бросилось бежать, и толпа разделилась: одни стремились на север в Чорохское ущелье; другие — влево на дорогу к Харту. Но гибель ждала их повсюду. Те, которые искали спасения в ущелье, попали на отряд Сергеева и в ужасе бежали назад к городскому предместью; те, которые вышли на Харт, столкнулись с целым Уланским полком, скакавшим за турецкой конницей, и полуэскадрон белогородцев, со штабс-ротмистром Юзефовичем, первый заметивший неприятеля, преградил ему дорогу. Турки открыли огонь. Тогда полковник Анреп приказал первым двум эскадронам продолжать преследование, а второй дивизион повернул на пехоту. Юзефович со своими белогородцами врезался в ряды противника, взял знамя — и неприятель бросился назад, стараясь пробраться окраиной города к Чорохскому ущелью. Но оттуда уже бежали другие толпы, гонимые казаками, и вся эта обезумевшая от страха масса ринулась к мосту, чтобы перейти на правый берег Чороха и бежать к Испиру. Все перемешались вместе, все спешили уйти, и в этой общей давке сотни несчастных, срываясь с моста, гибли в волнах сердитого Чороха.

В этот момент прискакал сюда первый дивизион улан, под командой майора Парадовского. Тогда чувство самосохранения пересилило страх, и толпа из четырех тысяч человек, не успевшая переправиться, кинулась на кладбище и засела за каменной оградой и частыми могильными памятниками. Высокая ограда, замкнутая тяжелыми воротами, не

допускала мысли ворваться на конях, а терять время в ожидании пехоты было нельзя. Парадовский спешил улан и повел их в пики. В это мгновение явился сюда же и полковник Анреп со вторым дивизионом. Он обскакал кладбище и, также спешившись, ударил в пики с другой стороны. Командир второго дивизиона ротмистр Серпуховского уланского полка Хандаков пошел во главе своих эскадронов. Это был старый кавказский ветеран, помнивший еще времена Глазенапа, Булгакова и Портнягина. Он служил на Кавказской линии в том же Серпуховском полку, когда тот еще назывался Таганрогским драгунским [Полк этот был отправлен с Кавказской линии в Россию перед Отечественной войной.], и теперь ему предстояло воскресить в памяти старых улан кровавые булгаковские и портнягинские штурмы. И, действительно, подвиг вышел незаурядный. Триста-четыреста улан схватились с тысячами турок, доведенных до отчаяния безвыходностью своего положения. Дивизион Хондакова в жестокой свалке отбил орудие, действовавшее картечью, Парадовский — выбил неприятеля из-за гробниц и выхватил из рук турок два знамени. Сто человек защитников было переколото, двести двадцать сложили оружие и были взяты в плен; остальные бежали и укрылись опять в садах и жилищах заречного форштадта. Штурмовать предместье Уланам было уже не под силу. Но тут подоспел подполковник Поляков с двумя казачьими орудиями, а вслед затем и весь Эриванский полк, отправленный Паскевичем на подкрепление к уланам. Держаться долго в заречном форштадте турки не могли. Бросив сады, они искали спасения на испирской дороге, пробираясь туда горными тропами. Уланы, карабинерный полк и весь отряд Сергеева преследовали их по пятам.

А между тем на той же дороге, только далеко впереди их, гибла другая толпа, бежавшая сюда же непосредственно из самого Бейбурта. Драгуны, конвой главнокомандующего, гренадерские полки Муравьева — все двигалось по ее следам и, пользуясь каждой площадкой, попадавшейся в этой едва проходимой местности, провожало бегущих ружейным огнем и картечью. К сожалению, картечь поражала без разбора всех, и вместе с лазами ложились целые семьи бейбуртских обывателей. Около деревни Дадузар неприятель был наконец настигнут; часть лазов, пытавшаяся сопротивляться, была истреблена штыками; остальные разбились на части: одни бросились опять по испирской дороге, где их преследовали драгуны и конвой главнокомандующего; другие вскочили на высокий утес Егры-Гаут, висевший над страшным обрывом, и были окружены гренадерами.

Сюда-то, к Егры-Гауту, бежали теперь и остатки толпы, разбитой уланами. Но они не успели взобраться на утес, как были настигнуты русской конницей и, прижатые в глубоком овраге, к подножию скалы, выкинули парламентерский флаг. Начались переговоры о сдаче.

Между тем Паскевич, не получая в Бейбурте никаких известий об успехе преследования, послал начальника штаба генерал-майора Жуковского принять начальство над всеми передовыми войсками. Жуковский приехал на Егры-Гаут в ту минуту, когда гренадерская бригада уже обложила лазов на гребне, а внизу велись переговоры. Не зная о последних, а может быть, желая покончить все одним решительным ударом, он приказал батальону Херсонского полка овладеть утесом. Херсонцы двинулись, но после жаркой схватки были сброшены вниз, и храбрый майор Шагубатов пал во главе своего батальона. Жуковский приказал повторить атаку. Капитан Беляев, устроив батальон, снова повел его на приступ. На этот раз прапорщик Мерецкий первый прорвался через окопы и взял собственноручно неприятельское знамя; но лазы, не имевшие пути к отступлению, дрались отчаянно, и гренадеры вторично были отбиты. Тогда начальник штаба выдвинул вперед орудие и под его прикрытием уже Грузинский полк овладел наконец утесом. Часть неприятеля была истреблена, остальные забраны в плен.

Внезапная атака Егры-Гаума прервала переговоры и в нижнем отряде: встревоженные лазы, опасаясь, что им грозит гибель, вновь открыли огонь. Но Сергеев разгадал их мысль и, избегая напрасной потери, благоразумно уклонился от боя; он принял выжидательное положение, и когда Егры-Гаут был взят, лазы сами бросили оружие.

Было уже четыре часа пополудни. Глухие раскаты выстрелов доносились только еще с испирской дороги; но и там они скоро замолкли. Драгуны и линейные казаки, преследовавшие лазов около пятнадцати верст, вернулись назад уже в сумерках. Перед ними гнали более сотни пленных и везли отбитое знамя. Его взял Волжского полка сотник Чуксеев.

Трофеями победы было двенадцать знамен, шесть полевых орудий и тысяча двести семьдесят пленных. Потеря русского корпуса состояла из десяти офицеров и ста нижних чинов.

Когда на следующий день Паскевич благодарил Нижегородский полк за его блистательную атаку, он обратился к князю Андроникову, прося назвать ему офицера, который на белой лошади первый на глазах русского корпуса перескочил через окопы. Ему представили князя Чавчавадзе. Главнокомандующий нашел его подвиг достойным Георгиевского креста. Но Георгиевские кресты за Бейбурт получили только Сводного уланского полка ротмистр Хандаков и Нижегородского князь Андроников и капитан Гринфельд. Представлен был к тому же кресту командир первого дивизиона майор Марков, но не получил его, как состоявший “под непосредственной командой полкового командира, который сам повел дивизион в атаку”. Князь Чавчавадзе также взамен Георгия получил орден св. Анны 2-й степени, что, в поручьичьем чине, представляло в то время случай едва ли не единственный.

Чтобы дорисовать картину военных действий, остается прибавить, что во время бейбуртского погрома сераскир находился в шести или семи верстах от города. Его пикеты уже выказывались по гребню северных высот, и действуй он энергичнее, дело, быть может, и приняло бы иной оборот, так как русские войска были уже в расходе, и под рукой у Паскевича оставался только Ширванский полк. Но сераскир, увидев страшную гибель Бейбурта, предпочел отступить к Балахору. Недостойное поведение его вызвало всеобщее негодование, тем белее, что, как оказалось впоследствии, он накануне имел уже официальное известие о заключении мира и скрыл его единственно из собственных видов. Еще большего осуждения заслуживал Осман-паша, командовавший войсками в Бейбурте, который не только не предупредил семейства жителей об опасности, но даже, по каким-то непонятным расчетам, удержал их в городе. Обыватели застигнуты были штурмом врасплох и вместе с лазами испытали одинаково горькую участь.

Страшную картину представляла темная осенняя ночь с 27 на 28 сентября. Бейбурт был зажжен со всех сторон. Яркое пламя пожара, то отражаясь в быстрых волнах Чороха, то взметаясь тысячами искр, в густом дыму поднималось к небу и багровым светом озаряло скалы окрестных гор. В городе слышался гул и треск разрушающихся зданий.

Пожар не тушили, “и через два дня, говорит очевидец, само всесокрушающее время могло бы написать на развалинах Бейбурта: “fait” (Был) — ни точки более”.

Бейбурт был разрушен до основания, и несчастные жители его рассеялись по окрестным селам.

С рассветом следующего дня Паскевич уже готовился идти на сераскира, как в ту же ночь прискакал из Трапезунда курьер с депешами. Пришло известие о заключении мира.

Турецкая война окончилась. Смолк на полях гром пушек, но окровавленный меч русских бойцов не надолго успокоился в ножнах своих — предстояла кавказская война.

XXXV. МИР

Между Россией и Турцией 2 сентября 1829 года был заключен Адрианопольский мир. Война окончилась. Но то, что в Румелии приобрело уже право законности и стало совершившимся фактом, долго еще не было известно ни в Арзеруме, где находилась главная квартира Паскевича, ни в суровых горах Лазистана, где сераскир собирал последние разрозненные силы Турции. Потребовался целый месяц, чтобы благодатная весть мира перенеслась на другой берег Черного моря и дошла наконец до Кавказа.

А в этот месяц сколько напрасно было пролито крови и угасло человеческих жизней! Существуй в то время электрическая проволока — и не было бы ни бейбуртских погромов, ни цихисдзирских штурмов, где с обеих сторон так много было выказано геройских усилий, так много совершено подвигов, и совершенно втуне, потому что они уже бессильны были изменить в судьбах России и Турции то, что еще 2 сентября было решено и подписано в стенах Адрианополя.

Граф Дибич со своей стороны не промедлил ни минуты, чтобы известить Паскевича о заключении мира, и два курьера немедленно повезли к нему это известие в Малую Азию. Адъютант фельдмаршала, ротмистр Могучий, сел на корабль в Сизонеле и морем отправился в Трапезунд, а генерального штаба штабс-капитан Дюгамель поскакал сухим путем через Константинополь на Сиваз и Токат.

22 сентября русский бриг, под высоко поднятым парламентерским флагом, появился в виду Трапезунда. Паша, начальствовавший в городе, встретил, однако, русское судно пушечными выстрелами и только уже по настоятельному требованию ротмистра Могучего решился наконец допустить его к рейду. Могучий съехал на берег один. Здесь ему объявили, что со стороны турецкого правительства нет никаких известий о мире и что посольству его не верят, а потому пропустить его к русскому главнокомандующему не могут. “Да какой главнокомандующий нужен вам? — спросил в заключении паша,— Паскевича нет уже в Турции, а голову его преемника на днях привезут в Трапезунд”.— “Это не мое дело,— отвечал Могучий,— нет главнокомандующего, так есть главная квартира, и я прошу вас указать место, где она находится”. Паша отвечал, что она была в Арзеруме, но Арзерум, по всей вероятности, теперь уже взят сераскиром, и русские находятся где-нибудь на пути к Карсу или к Гумрам. Тогда Могучий потребовал, чтобы его отправили в лагерь сераскира. “В этом случае мы обязаны распечатать ваши бумаги,— сказал паша,— без этого условия пропуск невозможен”.— “Вы видите сами,— возразил Могучий,— что депеши адресованы на имя русского главнокомандующего и что, следовательно, вскрыть их кроме его никто не может”.— Так сделаем вот что,— предложил любезно паша,— вы подождите в Трапезунде, а мы напишем в Константинополь и потребуем оттуда инструкций...” Видя, что здесь добиться ничего нельзя, Могучий решился, не теряя времени, сесть снова на судно и отплыть к другим черноморским портам.

Посольство Дюгамеля было несколько удачнее, хотя на своем пути он также встретил немало препятствий. В Константинополе его продержали целых десять дней, так как там не желали отступать от стародавних порядков, требовавших, чтобы мирный договор

прежде его объявления был напечатан на пергаменте золотыми буквами и подписан султаном. Наконец, когда все формальности были окончены, Дюгамель, в сопровождении султанского курьера, английского переводчика и одного донского казака, 16 сентября выехал в путь. Но его, однако, повезли из Скутари не прямым путем на Токат, а кругом на Трапезунд, куда он приехал только утром 26 сентября. Благодаря султанскому фирману, не допускавшему сомнения в заключении мира, Дюгамель был принят с наружной любезностью, и паша объявил ему, что сераскир находится в окрестностях Бейбурта, что обе армии стоят друг против друга и на днях ожидается большое сражение.

Чем более торопился Дюгамель с отъездом, чтобы успеть остановить кровопролитие, тем более его старались задерживать под разными предлогами и выпустили только на следующий день. Дорогой Дюгамель узнал, что сражение уже окончено и что турецкие войска, отброшенные от Бейбурта, отступают к Трапезунду. 29 сентября он действительно увидел сераскирский лагерь, стоявший у Гюмюш-хане в таком ужасном ущелье, куда Дюгамель мог добраться лишь по узкой горной тропинке.

Впоследствии обнаружилось, что сераскир еще за несколько дней до приезда Могучего получил султанский фирман, извещавший его о начавшихся мирных переговорах; вместе с тем константинопольский двор требовал, чтобы сераскир воздержался от всяких наступательных действий, избегая сражений, теперь уже бесполезных. Знал об этом, само собою разумеется, и трапезундский паша, но молчал в угоду сераскиру, который задумал воспользоваться истекающими днями войны, чтобы разбить Паскевича, ослабленного, как он полагал, последними неудачами на правом фланге и роспуском войск на зимние квартиры. На этой победе сераскир хотел основать свою личную военную славу.

О приезде Дюгамеля в Трапезунд он получил известие в ночь с 26 на 27 сентября, когда обе армии стояли друг против друга и, следовательно, было еще время остановить кровопролитие, но, в ожидании результатов сражения, сераскир с умыслом задержал эти депеши, и только жестокий бейбуртский погром заставил его не скрывать уже более известия о мире. Посланный им офицер явился в нашу главную квартиру ночью 28 сентября и представил главнокомандующему письмо, в котором сераскир писал, что мир заключен и что с этим известием едет курьер от графа Дибича, а до его приезда предлагал заключить перемирие с тем, однако, условием, чтобы русские войска не двигались ни шагу вперед. Такому заявлению сераскира, тотчас после проигранного им сражения, нельзя было дать полной веры. Тем не менее Паскевич отправил к нему чиновника Влангали и подполковника Яновича с ответом, что он соглашается на перемирие, но со своей стороны ставит условием, чтобы турецкие войска тотчас были распущены, а русский корпус подвинулся еще на один переход.

Посланные прибыли в лагерь сераскира уже перед вечером и были приняты с большими почестями. Один из турецких пашей с большой свитой встретил их в трех верстах от лагеря и проводил до ставки сераскира между рядами выстроенного войска. Но заключать перемирие оказалось не нужным: Дюгамель уже был в турецком лагере и предъявил фирман о мире.

Между тем, 13 сентября, весь действующий корпус подвинулся вперед еще на пятнадцать верст от Бейбурта и стал у деревни Урушты. Сюда-то, на заре первого октября, в годовщину славного падения Эривани, и прискакал офицер с депешами от Дюгамеля. Главнокомандующего разбудили; он наскоро просмотрел бумаги, обнял радостного вестника мира и вышел из ставки. Начинавшееся утро было прекрасно. Весь лагерь еще спал, и только здесь и там ходили часовые, кутаясь в свои шинели от холодного утренника. Главнокомандующий потребовал к себе дежурного по отряду и приказал дать

залп из всех полевых орудий. Тотчас подняли на ноги всех артиллеристов, и залп семидесяти орудий, грохнувший над сонным лагерем, понесся глухими перекатами по горам Лазистана и поздравил войска с заключением мира. Через четверть часа полки уже стояли на линии, а все офицеры спешили к ставке главнокомандующего принести ему поздравление. Паскевич, сопровождаемый громким “Ура!”, сам обходил лагерь и поздравлял солдат с окончанием войны. Гордясь добытой славой, кавказские войска простодушно радовались наступившему миру, отлично сознавая, что этот мир существует не для них, что им придется только переменить один театр войны на другой и от недавних битв с персиянами и турками перейти к бесконечным, и еще более кровавым битвам со знакомыми им черкесами, лезгинами и чеченцами. Изменялась обстановка войны, но сущность ее — перспектива ежедневного ожидания смерти, ран, страданий, трудов и лишений оставалась та же.

Весь день прошел в шумном оживлении, которое только и можно встретить у людей, сплоченных в одну дружную семью суровой боевой жизнью. О будущем не думали; все жили только одной настоящей радостной минутой.

К вечеру приехал в лагерь и сам Дюгамель. Тотчас же в вечерних сумерках отслужено было благодарственное молебствие и всем войскам произведен был общий парад. На Дюгамеля кавказские войска произвели глубокое впечатление. “Это были войска,— говорит он в своих путевых заметках,— закалившиеся в битвах; они на своих плечах вынесли три войны кряду и теперь, особенно пехота, представляли собой удивительно прекрасное зрелище. Стоило взглянуть на этих молодцов, чтобы возыметь уверенность, что ничто не в силах противостоять им, столько во взгляде и во всем существе их выражалось твердости и уверенности в самих себе... В графе Паскевиче было одно неоспоримое достоинство — это заботливость о продовольствии войск, и этой заботливости он был обязан тому, что больных в его корпусе было всегда незначительное количество, тогда как в армии графа Дибича горячки, лихорадки и дизентерии (не говоря уже о чуме, с которой Паскевич боролся так успешно) производили сильное опустошение”. Эта параллель между двумя русскими армиями резко проводилась и в иностранных газетах того времени: там отдавали заслуженную дань удивления успехам русского оружия в Малой Азии и находили наши победы в европейской Турции только уравновешенными с потерями.

И действительно, в течении четырех месяцев кампании 1829 года кавказские войска прошли около шестисот верст от границы почти до Трапезунда, уничтожили многочисленную турецкую армию, пленили главнокомандующего и самого сераскира — правителя обширного края, овладели столицей Анатолии, покорили пашалыки: Арзерумский, Мушский и часть Трапезундского со всеми их крепостями, взяли двести шестьдесят две пушки, шестьдесят пять знамен, десять бунчуков и повелительный жезл сераскира.

Как персидская война перенесла на берега Невы Ардебильскую библиотеку, славную на Востоке, так турецкая — доставила императорской публичной библиотеке драгоценные рукописи Ахалцихе, Баязета и Арзерума, давно уже привлекавшие к себе внимание известных европейских ученых. И все эти успехи приобретены были крайне недорогой ценой. Издержки на войну простирались всего до шести миллионов ассигнациями, а потери, собственно в кампанию 1829 года, не превышали трех тысяч девятисот человек, включая в это число не только убитых и раненых, но и умерших от болезней, особенно от чумы, свирепствовавшей в Ахалцихе, Баязете и Эривани. Потеря в офицерах сравнительно была велика; но зато история отмечает тот факт, что офицеры, подавая

собою пример, умирали в передних рядах, и за всю войну ни один из них не был взят в плен.

Итак военные действия окончились, и русский корпус повернул назад к Арзеруму. Проезжая в последний раз через Бейбурт, главнокомандующий остановился в нем на два дня, чтобы щедрой рукой раздать деньги, провиант, и даже лишний скот несчастным, разоренным бейбуртцам.

Четвертого числа ночью он прибыл в Арзерум, а на следующий день началось уже обратное движение войск в Россию; они выступали поэшелонно. Выстроятся полки, обыкновенно, на арзерумской площади, выслушают теплое слово любимого вождя, а затем пробежит по фронту последняя команда, заиграет музыка, запоют песенники: “Ах, ты поле мое, поле чистое, турецкое; — мы когда тебя, поле, пройдем, все пути твои, дороженьки, все места твои прекрасные...” — и потянется полк за полком по знакомой саганлугской дорожке.

Светло и радостно было у всех на душе, потому что каждый уносил с собой удовлетворенное чувство свято исполненного долга, с которым ему отрадно было предстать перед родиной, хотя шли они не в ту тихую безмятежно спокойную Россию, которая взрастила их и взлелеяла, шли на ее далекую, исполненную бурь и боевых тревог окраину. Но этой окраиной был Кавказ, а с ним они уже тесно сжились своей долгой службой, и стал он для них той же дорогой родиной.

15 октября последним выехал из Арзерума сам главнокомандующий с главной квартирой. Обгоняя войска, она напутствовал их пожеланием доброго и счастливого похода.

Не всем войскам, однако, суждено было ступить в том же году на родную землю. Вся двадцатая пехотная дивизия, Кабардинский и сорок второй егерский полки, пять казачьих полков и двадцать восемь орудий остались зимовать в Арзеруме, Карсе и Баязете. Стоянки эти не принадлежали к разряду веселых, но войска имели широкие, отличные квартиры, обильное продовольствие, и не будь только армянского вопроса, естественно волновавшего умы магометанского населения, то, кажется, между русскими и турками установились бы самые дружеские отношения. Много содействовал подобному сближению начальник арзерумского гарнизона генерал Панкратьев, который с чутким политическим тактом избегал малейшего повода к оскорблению национальной гордости или религиозных верований турок. Он даже почел неудобным праздновать день святого Крещения обычным водосвятием, установленным православной церковью, в самом Арзеруме, и по его приказанию иордань была устроена на берегах пустынного Евфрата, верстах в восьми за городом. Туда собрались полки со своими знаменами, прибыло духовенство и стеклись громадные массы народа. Вся дорога от города до иордани была заставлена турками, которые любопытствовали видеть обряды христианской церкви, но никогда не простили бы русским погружение святого креста в воды, питающие город. “В продолжение многих столетий берега Евфрата не видели торжества веры христианской, удрученной тяжким игом мусульман и восстановить это событие было предоставлено победоносному русскому воинству”,— так доносил Панкратьев Паскевичу.

Те же самые приязненные отношения, как в Арзеруме, установились и в других областях, занятых русскими. Карсские старшины поднесли даже от имени жителей старшему члену областного правления майору Жилинскому саблю, на драгоценном клинке которой красовалась надпись “В знак признательности”, и Паскевич позволил принять ее. Мусульманское население, и даже турецкие войска, скоро забыли страшные удары минувшей войны, да и все внимание их было поглощено тогда новыми реформами,

которые с таким изобилием сыпались султаном Махмудом. Древняя военная организация, созданная первыми завоевателями, была вполне им разрушена; спаги и янычары, составлявшие ее основание, или истреблены, или лишены всякого значения; их заменила новая регулярная армия, устроенная по образцу европейскому, и если эта армия не покрыла турецких знамен победными лаврами в минувшую войну с гяурами, то это было приписано неспособности ее вождей и недостаткам, еще коренившимся в ее организации. На исправление этих недостатков и было обращено теперь внимание ее молодого султана. Штабс-капитан Войников, ездивший в главную квартиру сераскира, не без иронии писал оттуда Панкратьеву, что традиционная турецкая чалма совершенно исчезла из лагеря, что сам паша, чиновники его, и даже духовенство надели новый головной убор — фески, и облачились в длинные коричневые мантии, на манер испанских плащей, отчего мусульмане приходят в большое изумление и ожидают чего-то чрезвычайного. Делибаши также сняли свои высокие, остроконечные шапки; в кавалерию присланы форменные венгерские седла с европейскими стременами; войска, хотя не без ропота, но бреют свои бороды, и большая часть турок показывает даже вид, что они восхищены гением султана.

Среди забот по переустройству армии, Махмуд не приминул, однако, учинить строгий суд и расправу над теми пашами, которые, по его убеждению, своей неспособностью содействовали поражению его армий в прошедшую войну. Этот тяжкий жребий постиг многих сановников по возвращении их из русского плена. Носились тогда слухи, что бывший сераскир Селех и с ним два другие паши, сдавшие Арзерум, были тайно задушены в тюрьме по повелению султана; Гагки успел бежать в Курдистан, и лишь один только добродушный и веселый Осман-паша сумел отговориться и избежать опалы.

А между тем русское войско, а вместе с ним и вся Россия бесконечно ликовали, радуясь окончанию победоносной и славной турецкой войны. 6 октября 1829 года император Николай обратился к своим войскам со следующим памятным приказом:

“Благословением Всевышнего окончена брань, в коей вы покрыли себя незабвенной славой, и трудами вашими Россия торжествует мир достославный!

В двух странах света неумолчно раздавался гром побед ваших; многочисленный упорный враг сокрушен повсюду, и пала перед вами вековая слава неприступных твердынь его, до появления вашего не знавших победителей. Смелой стопой переносились вы через хребты гор непроходимых и, поражая врага в неприступных его убежищах, у врат Константинополя принудили его к торжественному сознанию, что мужеству вашему противостоять он не может. Столько же отличили вы себя и кротким обхождением с побежденными, дружелюбным охранением мирных жителей, постоянным соблюдением примерного воинского поведения и подчиненности. Вы истинно достойны имени русских воинов!

В ознаменование таких заслуг ваших перед престолом и отечеством, повелеваю носить всем участвовавшим в военных действиях против турок 1828 и 1829 годов установленную мною особую медаль на ленте ордена св. великомученика и победоносца Георгия [Медаль серебряная с изображением креста, попирающего луну.].

Да будет знак сей памятником вашей славы и Моей к вам признательности. Да послужит он залогом и будущей верной службы вашей”.

Особенно почтен был милостью монарха главнокомандующий кавказским корпусом генерал-адъютант граф Паскевич, который “в ознаменование незабвенных подвигов и знаменитых заслуг, оказанных в продолжении войны с Оттоманской Портой”,

высочайшим приказом 22 сентября 1829 года, был введен в сан генерал-фельдмаршала. Известие об этом главнокомандующий получил 17 октября, проезжая обратно через Саганлугский хребет в то время, когда ночевал на Менджигертском посту. Казачий урядник Василий Кубанов, доставивший почту, тотчас произведен был им в хорунжий и получил пятьдесят рублей серебром. Вся главная квартира и небольшое прикрытие, бывшее при ней, приняли живейшее участие в этом новом возвышении вождя, и несколько пушечных выстрелов ознаменовали общую радость вблизи тех мест, где четыре месяца тому назад были одержаны две столь знаменитые победы над сераскиром и Гагки-пашой. В Тифлисе главнокомандующего уже ожидал присланный по высочайшему повелению фельдмаршальский жезл, осыпанный бриллиантами.

Паскевичу в это время было сорок семь лет от роду. Имя его, неразлучное с кавказскими победами, гремело не по одной России, но возбуждало удивление и целой Европы. В Англии Лондонское азиатское общество в полном собрании членов признало, что действия Паскевича в Армении замечательны не только военными успехами, но той системой управления, которая дала ему возможность удержаться с горстью войск в завоеванном крае, при общеизвестном фанатизме турок. Знаменитый противник Наполеона австрийский эрц-герцог Карл написал к нему письмо, исполненное самых лестных суждений насчет его восточных кампаний.

В то же время императорская С.-Петербургская академия наук, желая воздать со своей стороны дань уважения победоносному вождю, бессмертным подвигам которого она была обязана значительным обогащением азиатской нумизматической своей коллекции, единодушно избрала его в число своих почетных членов.

Еще большие почести ожидали Паскевича в Петербурге, куда он был вызван по окончании кампании. Государь приказал заблаговременно приготовить для помещения его Таврический дворец, и там все военное население столицы, начиная с великого князя Михаила Павловича, представлялось новому фельдмаршалу. В проезд его по России все с любопытством смотрели на героя, и народ, привыкший видеть полководцев по большей части в маститых летах, радовался, глядя на свежесть, здоровье и бодрость фельдмаршала. В местечке Щеглиц, Могилевской губернии, Паскевич прожил три дня у своего отца, и можно себе представить чувства, которые волновали престарелого родителя, видевшего сына на самых высоких ступенях славы и почестей.

Щедро рассыпая милости и награды отдельным лицам и целым частям, государь в то же время возымел мысль увековечить в памяти потомства подвиги русских войск, совершенные ими в турецкую войну, и повелел все трофеи, отбитые у турок, хранить в С.-Петербургском Преображенском соборе. А для того, чтобы и наружные украшения храма — тогда только что отстраиваемые после пожара — соответствовали бы памятникам мужества и храбрости войск, хранимых в стенах его, приказал окружить собор оградой из неприятельских орудий. Такая же точно решетка должна была возникнуть, по мысли государя, в Тифлисе, вокруг Сионского собора, чтобы оставить и в Грузии память о знаменитых победах Кавказского корпуса, одержанных под предводительством графа Паскевича-Эриванского.

Обратить Сионский собор — эту живую летопись Грузинского народа, в летопись славы — мысль достойная императора Николай, так много заботившегося о сохранении исторических памятников, напоминавших народу его национальную славу. Но, к сожалению, местоположение Сионского храма, находящегося в старом городе, на узкой, кривой и полутемной улице, до такой степени было стеснено со всех сторон домами азиатской архитектуры, да и самое здание, под тяжестью почивших на нем тринадцати

столетий, до того уже вросло в землю, углубившись почти на пять аршинов ниже уровня улицы,— что поставить вокруг него какую бы то ни было ограду оказалось невозможным. Паскевич указал для этой цели на другую, не менее почтенную по своей древности, церковь св. Георгия Кашветского, едва ли не современницу св. Давида. Церковь эта стояла, действительно, на открытой, довольно просторной площадке, но и она значительно понижалась сравнительно с той местностью, на которой по черте улицы только и можно было поставить решетку; к тому же лицевой фасад ее приходился бы по отношению к ограде в косвенном положении, и избежать этого можно было только капитальной перестройкой самого храма. Но так как подобная переделка лишила бы город одной из замечательнейших древностей, то после долгой переписки и колебаний остановились наконец на следующем: на Авлабаре предполагалось строить тогда новую крепость и там же на главной площади соорудить обширный собор для войск тифлисского гарнизона; вокруг вот этого-то собора, казалось, удобнее всего было поставить ограду из неприятельских орудий, тем более, что, находясь на самой высшей точке Тифлиса, эти победные трофеи были бы открыты взорам целого города. Но какая-то роковая судьба преследовала вопрос, которым так живо интересовались тоща современники. Мысль о возведении тифлисской крепости и войскового собора, впоследствии, была оставлена, а вместе с нею мало-помалу, ни для кого не заметно, угасло и самое намерение о сооружении памятника. Так ровно-таки ничего и не было сделано в Тифлисе для того, чтобы увековечить в народе память о войне, выходящей из ряда других войн, которую, по героизму войск, по их ничтожной численности и по громадным результатам, добытым ими в целом ряде кровавых битв, один из наших знаменитейших современников так справедливо назвал “эпической”.

Однако же первоначальная идея об этом историческом памятнике, долженствовавшим возникнуть вокруг стен Сионского собора, не прошла совершенно бесследно. Под ее влиянием родилось у Паскевича намерение возобновить памятник Цицианову, прах которого, лишенный так долго святого погребения, нашел наконец себе вечный покой под сенью тысячелетнего грузинского храма. Отказавшись от мысли Украсить собор наружной оградой, Паскевич обратил внимание государя на то, что в этом храме, над могилой бывшего главнокомандующего в Грузии, князя Цицианова, стоит обелиск, далеко не соответствующий тем великим заслугам князя, которые им оказаны были этому краю. Паскевич просил разрешения соорудить новый монумент, достойный почившего, и это тот самый Паскевич, который, только два года тому назад, писал государю, что “честолюбие Цицианова, который с большими ухищрениями приобрел под покровительство России четыре провинции, стоило нам десятилетней войны!..” Так резко, под влиянием всех минувших событий, изменились в нем взгляды и убеждения!

Разрешение государя на возобновление памятника не замедлило последовать; но осуществление этой идеи уже выпало на долю преемников Паскевича. Памятник сооружен был в сороковых годах; но нельзя не пожалеть прежнего скромного обелиска, вместе с которым, по непростительному равнодушию, уничтожена была и старая прекрасная надпись, так трогательно и красноречиво рассказывавшая несчастную судьбу знаменитого князя, “которого враги, быв слабы победить силою, умертвили изменнически...” “Под сим монументом,— оканчивалась эта эпитафия,— сокрыты тленные останки Цицианова, коего слава переживет прах его”. Теперь эпитафия другая — это казенная, сухая, ничего не говорящая сердцу надпись: Генералу князю Цицианову, главнокомандовавшему с 1802 года российскими войсками в Грузии, умерщвленному изменнически по приказанию владетельного Гуссейн-Кули-хана 6 февраля 1806 года, когда, принудив к сдаче Бакинскую крепость, знаменитый вождь приблизился к воротам для принятия от него ключей.

Таким образом, Преображенский собор, как хранилище боевых трофеев, остается доныне единственным памятником турецкой войны 1828 и 1829 годов; да разве к этому можно еще прибавить знаменитую коллекцию медалей, выбитых в честь ее великим русским художником графом Толстым. Но, к сожалению, эта коллекция, превосходная по своей художественной работе, при общем равнодушии русской публики, мало кому известна; сколько помнится в ней четыре медали посвящены именно воспоминаниям о славных походах Кавказского корпуса: они изображают взятие Карса, штурм Ахалцихе, двухдневный бой на Саганлуге и падение Арзерума.

Едва окончилась турецкая война, как тотчас же выдвинулись вперед вопросы внутренней политики, тесно связанные с минувшей кампанией и с мирным адрианопольским договором. Важнее прочих был вопрос переселенческий, возникший еще в 1828 году и значительно теперь усложнившийся невыгодно заключенным трактатом. Нельзя не сознаться, что польза, приобретенная Россией за Кавказом, далеко не соответствовала блестящим успехам Кавказского корпуса и ожиданиям самого Паскевича. Все дело ограничилось присоединением к России только Анапы, Поти, Ахалкалак и части Ахалцыхского пашалыка. Карс и даже Ардаган возвращены были туркам. А между тем, еще в 1828 году, по взятии Ахалцыхе, Паскевич уже писал графу Нессельроде о том, чего Россия должна добиваться для обеспечения своих кавказских границ.

Принимая Тифлис за основной пункт владений наших на полуденной стороне Кавказа, для него совершенно ясно представлялся вопрос о необходимости обеспечить это сосредоточие нашей власти от всяких неприятельских покушений. Присоединение к России ханств Эриванского и Нахичеванского уже удалило границы наши от Тифлиса и значительно обезопасило его со стороны Персии. Но со стороны Турции пределы ее подходили так близко к городу и самое местоположение способствовало проходу разбойничьих шаек, что нельзя было ожидать ни увеличения населения, ни улучшения земледелия на всей пограничной черте до тех пор, пока самые гнездилища разбойников будут оставаться в руках у турок. Паскевич указывал тогда же на необходимость отстоять за Россией все смежные с Грузией турецкие владения, которые представляют величайшие удобства для поселений русских и по своей плодородной почве, и по своему климату, сходному с климатом средней России. Он ставил естественной гранью Русского государства с одной стороны — Саганлуг, с другой — побережье Черного моря с турецкой Гурией и Батумом включительно. “Тогда спокойствие Грузии,— писал он Нессельроде,— будет обеспечено, и мы приобретем провинции, издревле принадлежавшие Грузинскому царству”.

Перечисляя выгоды, которые могли доставить нам эти провинции, Паскевич указывает, между прочим, на то, что в обоих пашалыках и в турецкой Гурии находится до пятидесяти тысяч семейств народа, славящегося мужеством во всей азиатской Турции, что вместе с мусульманами к нам перейдет до пятнадцати тысяч христианских семей, известных своим трудолюбием и преданностью России, и что, наконец, поселение русских людей на свободных землях надежным образом закрепит за нами новые владения.

Как покорение Ахалцихе и Карса обеспечивает наши границы от разбоев лезгин и беглецов наших татарских дистанций, известных под именем карапапахов, так отделение от Турции Баязетского пашалыка и объявление его независимым, под покровительством России, доставит нам влияние на Курдистан, обезопасит дороги, а тогда и весь транзит европейских товаров станет приходить уже безбоязненно через наши Закавказские области. Самый Карс, остающийся теперь в стороне от караванного пути, тогда приобретет значение центрального склада товаров, которыми снабжается вся восточная часть Турции от Арзерума и до Багдада. Такова картина, рисуемая Паскевичем.

Но Нессельроде отвечал на это весьма уклончиво. “Успехи наши в настоящую войну без сомнения подают надежды к заключению выгодного мира,— писал он Паскевичу,— но при всем том дела наши с Турцией составляют звено в обшей системе европейской политики, а потому ныне еще нельзя сказать с уверенностью, какую черту позволят обстоятельства положить границей между нами и Турцией, как в Европе, так и в Азии”. Ему казалось удобнее, не завлекаясь отдаленными видами, воспользоваться настоящим положением, чтобы привлечь жителей завоеванных земель к добровольному заселению Мингрелии и Имеретии, “изобильных природой, но еще не обработанных по недостатку рук”, как полагал Нессельроде.

Паскевич поспешил разочаровать его. Он отвечал, что “изобильная природа Мингрелии и Имеретии состоит из непроходимых и обширных болот, покрытых дремучими лесами, или из бесплодных гор, на которых только немногие места удобны для хлебопашества и скотоводства. В Имеретии,— разъяснял он,— даже нынешние обитатели ее не могут снискать себе пропитания местными способами и вынуждены зарабатывать хлеб отхожими промыслами; все поденщики, все носильщики тяжестей, все люди, исполняющие самые низкие и трудные работы в Тифлисе и в других городах Грузии — суть имеретины; и если бы земли их были обильны и достаточны, то они при своем трудолюбии, конечно, не покидали бы своих семейств и жилищ, чтобы снискивать себе ненадежное пропитание поденщиной. Нужно много времени, чтобы трудолюбие человека расчистило вековые леса, осушило болота и, проникнув в места, доселе считавшиеся непроходимыми, обратило их в сады и цветущие нивы. Теперь же переселять сюда жителей из благословенного климата Турции в места, известные своим убийственным влиянием на здоровье, значило бы прямо подвергать их неизбежной гибели. Все эти неудобства по отношению к Мингрелии увеличиваются тем, что область находится под властью владетельного князя, и жители соседних турецких провинций, зная, что управление его не всегда основывается на непреложных законах, не получат, конечно, особой охоты селиться на земле, управляемой по правилам малоотличным и даже худшим против тех, которые они уже испытали в Турции”.

Помимо того, по мнению Паскевича, переселение христиан до заключения мира было бы крайне невыгодно для нас не только в военном, но и в политическом отношении: в военном — это обезлюдило бы край, в котором велась война и лишила бы армию значительных продовольственных средств; в политическом — дало бы туркам явное понятие, что мы не станем удерживать за собой провинций, приобретенных нашим оружием, и мусульмане, которых теперь удерживает еще неизвестность, кому будут принадлежать они, тогда стали бы противодействовать нам во всем и даже отважились бы на открытые враждебные предприятия.

Дав этот легкий урок нашей дипломатии, так мало знакомой с Кавказом и с условиями жизни его населения. Паскевич еще раз, уже по взятии Арзерума, подробно изложил графу Нессельроде свое мнение о проведении границы и писал о степени той важности, с которой должны быть ценимы при заключении мира области, покоренные русским оружием в азиатской Турции. Он особенно настаивал на этот раз на присоединении Карсского пашалыка, что навсегда бы обеспечило границу России с Оттоманской Портой прочной чертой по протяжению Саганлугского хребта; и в случае новой войны с Турцией сильный Каре вполне прикрыл бы и наши татарские дистанции, и самую Грузию и тыл Армянской области. “Сама природа,— пишет Паскевич министру иностранных дел,— указывает, где должны остановиться наши приобретения, и рано или поздно непременно придется подвинуть границы до тех мест, которые мною обозначены, и было бы весьма желательно не вверять неопределенной будущности огромных и столь необходимых выгод”.

Не довольствуясь двукратным изложением своих мнений графу Нессельроде, Паскевич с тем же мнением отправил курьера непосредственно к графу Дибичу; но, к несчастью, этот курьер, посланный кругом через южную Россию, прибыл в Адрианополь, спустя три дня после окончательного подписания мирного трактата. Дибич, не зная предположений Паскевича, не мог, да и не имел особенной надобности заботиться о выгодах Кавказского края,— и эта ошибка прискорбна тем более, что европейские державы, настаивая при заключении мира на целости турецких владений в Европе, мало заботились о ее азиатской территории. Даже сама Турция не особенно отстаивала тогда три завоеванные нами пашалыка и самый Батум, которые, не принося ей существенной материальной пользы, служили причиной вечных неустройств и смятений, потрясавших ее азиатские владения. Ни Карс, ни Ахалцихе, ни Баязет, ни турецкая Гурия, находясь в состоянии почти независимом, не давали ей ни малейших доходов, а, напротив, еще требовали значительных издержек на содержание в них войск для поддержания хоть наружного вида покорности. И случалось не один раз, что турецкие войска были разбиваемы жителями, под предводительством своих старшин и родоначальников.

Дюгамель, рассказывая о своей встрече с Паскевичем, говорит в своих записках, между прочим, следующее: “Паскевич принял меня самым благосклонным образом. Но совсем иначе было принято им привезенное мною известие о заключении мира, по поводу которого он, ни мало не стесняясь, высказал свое полное неудовольствие. Он был убежден, что мир без всякого труда мог бы заключиться на несравненно выгоднейших условиях, и, сверх того, он чувствовал себя оскорбленным, что с ним об этом не посоветовались заблаговременно. Но с другой стороны было очевидно, что благодаря громадности расстояния, отделяющего друг от друга оба театра военных действий в Европе и в Азии, граф Дибич никоим образом не мог снестись с графом Паскевичем, тем более, что было необходимо покончить все переговоры до наступления ненастья, которое и без того прекратило бы военные действия. На поспешность заключения мира имело влияние и то, что Европа уже начинала тревожиться успехами нашего оружия, и особенно волновалась Австрия. Все это верно, но все это не может снять нравственной ответственности ни с графа Дибича, ни тем более с Нессельроде, не позаботившегося даже сообщить в Адрианополь все предположения и виды Паскевича, выраженные им с такой категорической ясностью. Паскевича особенно возмущало возвращение туркам сильного Карса, и он с замечательной прозорливостью высказался тогда, что, не удержав за собою Карса, мы тем самым будем поставлены в необходимость и на своей границе возвести такую же сильную крепость. И слова его, как нельзя лучше, оправдались впоследствии, когда на Арпачае возник Александрополь, а кровавые события 1855 и 1877 годов стоили русским войскам стольких тысяч человеческих жизней.

Но так или иначе, выгодно или невыгодно была проведена наша новая граница с Турцией, но адрианопольский трактат окончательно ее санкционировал и Кавказ должен был примириться с теми рамками, которые были ему начертаны. И в этих, значительно стесненных рамках, заключающих в себе сотни разнообразных, полудиких азиатских племен, для нашей администрации было слишком много дела, требующего не только большого политического такта, но подчас и крайнего напряжения боевых сил. И действительно, едва только окончилась турецкая война, как Паскевич уже начал готовиться к новой борьбе с кавказскими горцами.

К сожалению, в рядах Кавказского корпуса не было уже многих из тех славных вождей, которым солдаты беспредельно верили, и которым сам Паскевич был обязан своими победными лаврами. Не было уже ни Попова, ни князя Чавчавадзе, ни Раевского, ни Муравьева, ни Сакена, ни Вольховского — все они или, под давлением несправедливого

отношения к ним Паскевича, сами удалились со службы, или по его личному представлению были переведены на службу в Россию.

Мы уже говорили об удалении из армии Сакена и о выходе в отставку Попова, причина которой главным образом крылась в отозвании его из Баязетского пашалыка в момент вторичной блокады, что не могло не оскорбить того, кому Баязет же был обязан раз своим спасением. За ними скоро последовали и другие. Началось с Раевского. Больной, утомленный походами, и предвидя скорое окончание военных действий, Раевский отпросился в отпуск и выехал из Арзерума с конвоем из сорока человек нижегородских драгун, в числе которых было несколько разжалованных декабристов. Не только в то время, но и гораздо позднее, на разжалованных обыкновенно смотрели на Кавказе довольно снисходительно и никогда не старались удручать и без того тяжелого их положения, а Раевский, человек в высшей степени гуманный и симпатичный, тем более не считал нужным маскировать к ним своих отношений.

Это и дало кому-то повод донести об этом едва ли не самому государю, прибавив, что Раевский держит себя с людьми, сосланными под строгий надзор, на товарищеской ноге, проводит с ними время, обедает в одной палатке и говорит на иностранных языках. Из Петербурга сообщили об этом Паскевичу; назначено было следствие, и Раевский по Высочайшему повелению был арестован домашним арестом на восемь дней и, согласно желанию Паскевича, переведен с Кавказа в Россию.

Встревоженный этим происшествием, Паскевич, как бы в оправдание уже себя самого, спешит написать письмо государю, которое нельзя обойти молчанием, как документ чрезвычайно важный для характеристики фельдмаршала, не стеснявшегося набрасывать густые тени на всех окружающих, чтобы тем ярче выставить самого себя в глазах императора.

“Поступок генерал-майора Раевского,— пишет он государю,— сделался мне известен прежде получения Высочайшего повеления Вашего Императорского Величества, и я не оставил его без внимания, но только предоставил окончательное решение оного до возвращения моего в Тифлис, чтобы самому более во всем удостовериться. Поступок этот, хотя злоумышленности и не обнаруживает, но тем не менее есть признак, что дух сообщества существует, который по слабости своей не действует, но помощью связей между собой живет. Сие с самого начала командования моего здесь не было упущено от наблюдений моих, и я тогда же просил графа Дибича снабдить меня хотя несколько другого рода генералами, которые с добрыми бы правилами соединяли и способности; но, не получив их, я должен был действовать теми, какие были, и по их военным действиям и способностям отдавать им справедливость. По множеству здесь людей своего рода, главное к наблюдению есть то, чтобы они не имели прибежища в людях высшего звания, и так сказать пункта соединения. В сем отношении удаление отсюда генерал-майора Сакена есть полезно; удаление генерал-майора Раевского — также; весьма полезно удалить и генерал-майора Муравьева. Впрочем, предмет сей имеет столь много соотношений, что мне трудно действовать и даже найти меру действиям моим. Вот одна из причин, которая заставила меня просить из Арзерума соизволения Вашего Императорского Величества прибыть в Петербург”.

При том доверии, которым, как известно, пользовался Паскевич у императора Николая Павловича, подобное письмо могло иметь слишком серьезные последствия: для лиц в нем упомянутых. Но государь отлично знал слабые стороны своего фельдмаршала. И как ни густы были набрасываемые краски, император сквозь слой их умел видеть истину и, как венценосный рыцарь, действовал только сообразно с этой истиной. Он удалял с Кавказа

людей, неприятных Паскевичу, но открывал широкое поприще для их деятельности внутри России, и никогда никто из них не потерпел по службе. Так было в персидскую войну с генералами Вельяминовым, князем Мадатовым, Красовским и архиепископом Нерсесом, которых Паскевич выслал из края, аттестовав их в секретных письмах государю, как интриганов и людей неблагонадежных, или совершенно неспособных. Тоже случилось и теперь с Раевским, Сакеном и Муравьевым, несмотря на то, что Паскевич указывал на них, как на центры, возле которых могли группироваться опасные политические элементы.

Для характеристики того времени, нужно прибавить, что история Раевского косвенным образом повлияла и на судьбу генерал-майора князя Александра Герсевановича Чавчавадзе, известного покорителя Баязетского пашалыка. Паскевич предписал ему быть посредником при сдаче Нижегородского полка Раевским князю Андроникову. Чавчавадзе, однако же, подал рапорт о болезни, и тем навлек на себя крайнее неудовольствие фельдмаршала. “Я побуждаюсь заметить вам,— писал Паскевич,— что и в прошлом году ваше сиятельство, не желая ехать на службу в Армянскую область, подобно сему же рапортовались больным, тем самым неохотно исполняете долг свой, и я найдусь в необходимости представить Государю Императору об удалении вас, как бесполезного чиновника”.

Глубоко оскорбленный столь резким и ничем не заслуженным обращением, князь Чавчавадзе не стал ожидать представления Паскевича и сам подал в отставку. Фельдьмаршал поспешил пустить ее по команде. Но в Петербурге взглянули на это дело иначе. “Государь Император,— писал Паскевичу граф Чернышев,— не изъявил Высочайшего соизволения на увольнение от службы сего отличного генерала, с тем, что если ему нужно провести некоторое время на свободе для поправления здоровья или домашних дел, то Его Величество согласен уволить его в отпуск на такой срок, какой ему нужен”. Паскевич должен был объявить эту резолюцию Чавчавадэе, и князь Александр Герсеванович, признательный к милостям монарха, тотчас воспользовался продолжительным отпуском.

Для личной характеристики Паскевича по отношению к служебным интересам своих подчиненных, далеко не безынтересен и следующий факт. В то время, когда Паскевич по власти главнокомандующего, уже назначил князя Андроникова командиром Нижегородского полка, и полк уже был принят им от генерала Раевского на законном основании, военный министр граф Чернышев сообщил фельдмаршалу, что предполагается назначить командующим Нижегородским драгунским полком состоящего при образцовом кавалерийском полке подполковника Доброва, лично известного Его Величеству с отличной стороны в отношении способностей и познания фронтовой службы, но что государь изъявил желание прежде такого назначения иметь по сему предмету мнение графа Паскевича. Казалось, что Паскевичу было бы весьма естественно указать на князя Андроникова, как на лицо, избранное уже им в командиры полка и притом известного с отличной стороны не одним познанием фронтовой службы, но и боевыми подвигами, нераздельно слившимися со славой нижегородцев в четыре кампании сряду. И это было бы тем основательнее, что, с назначением подполковника Доброва, Андроников или должен был поступить под начальство младшего чином, или оставить полк. Неловкость подобного положения почувствовалась даже самим Паскевичем, но, все еще находясь под гнетущим впечатлением истории Раевского, он не нашел в себе достаточной смелости высказать истину и согласился на назначение Доброва. Андроникову он предложил принять кавалерийский полк в России; но князь от этого отказался; он отвечал, что, прослужив семь лет в конной гвардии, перешел на Кавказ единственно для сближения с родственниками и что после двух войн, в течение которых получил два чина и все ордена

до Георгия и Владимира на шею включительно, желает заняться теперь устройством своих дел, и отказывается решительно от всякого иного назначения. Он был зачислен по армии. Так выбыл из рядов Нижегородского полка один из доблестнейших его офицеров, под геройским предводительством которого полк, после целого ряда блистательных дел, закончил турецкую войну знаменитой бейрутской атакой.

Не отстоял Паскевич и близкого к нему человека, казачьего офицера, сотника Василия Дмитриевича Сухорукова, перу которого он был обязан блестящими реляциями с полей турецкой войны, также как был обязан персидскими реляциями Грибоедову. Этот Сухоруков был человек классически образованный, известный литератор, о котором с такой сердечностью вспоминает Пушкин при описании своего путешествия в Арзерум. Он был некогда близок к графу Чернышеву; но потом его постигла опала за преданность бывшему донскому атаману Иловайскому, личному врагу Чернышева, и Сухоруков был сослан на Кавказ за участие в тайном обществе, хотя все знали, что это общество не имело ничего политического, а состояло на Дону из людей глубоко привязанных к Алексею Васильевичу Иловайскому. Очутившись на Кавказе при начале персидской войны, Сухоруков попал в штаб Паскевича, при котором и сделал обе кампании, персидскую и турецкую, находясь в самых близких отношениях к фельдмаршалу. К несчастью, он поместил в “Северной пчеле” возражение на статью какого-то очевидца, касавшуюся военных действий в азиатской Турции. Возражения были мелочные, не заключавшие в себе ровно ничего особенного, но полемика, возгоревшаяся в газете, обратила на себя внимание Чернышева и тяжело отозвалась на участи Сухорукова.

“Сотник Сухоруков,— писал военный министр графу Паскевичу в декабре 1829 года,— в разных статьях, печатаемых им в журналах, говоря о военных действиях отдельного Кавказского корпуса принимает тон решительный и, выходя на сцену своим лицом, позволяет себе даже судить о распоряжениях начальства”. Чернышев просил поэтому опечатать бумаги Сухорукова, а самого его с фельдъегерем отправить на Дон. И Паскевич, которому хорошо было известно содержание статей, не счел даже возможным ходатайствовать об облегчении его участи. Сухорукова отвезли на Дон, а оттуда, переменив только фельдъегеря, отправили на службу в отдаленнейшие места Финляндии. Высылка Сухорукова остановила между прочим и прекрасный труд его по составлению истории Донского войска.

Из лиц, упомянутых в нашем рассказе, Раевский возвратился на Кавказ начальником Черноморской береговой линии и был генерал-лейтенантом; князь Чавчавадзе также в генерал-лейтенантском чине состоял членом Главного Управления Казавказским краем; Вальховский был начальником штаба Кавказского корпуса во все время управления краем барона Розена; Андроников стяжал себе народное имя после славных побед под Ахалцихе и Чолохом; Сакен и Муравьев — оба командовали в России корпусами, оба были генерал-адъютантами, и Сакен, как доблестный защитник Одессы и начальник Севастопольского гарнизона, был возведен в графское достоинство; Муравьев — был наместником Кавказа.

Так ответили своей службой эти лица на аттестацию Паскевича в своей политической неблагонадежности и на желание его иметь взамен их “хоть несколько другого рода генералов, которые с добрыми правилами соединяли бы в себе и способности”.

XXXVI. ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ХРИСТИАН ИЗ ТУРЦИИ

Знаменитый Адрианопольский мир положил конец кровавой распре между Россией и Турцией. Священное слово “мир”, разом заставившее смолкнуть зловещий рев пушек, гул которых, как гул погребального колокола, разносил в стране скорбную весть о реках

пролитой человеческой крови, вызвало благоговение многих миллионов людей. Но в то же время, посреди общей радости, здесь, в самом сердце Армении, весть об этом мире объяла глубоким унынием целый народ, вызывавший к себе горячее участие и вековыми бедствиями своими, и пламенным усердием, содействовавшим успехам русского оружия, и, наконец, теми светлыми надеждами, которые возлагал он на свое будущее под скипетром России. Весть, что русские с наступлением весны должны очистить завоеванный край, как электрический удар, поразила все христианское население. Целые сотни семей выбегали на дорогу, по которой проезжал Паскевич, и, бросаясь на колени, молили не покидать их на жертву мщения турок и курдов. Русскому офицеру невозможно было проехать через деревню, чтобы толпы народа не встречали и не провожали его вопросами, что будет с ними и их несчастными семьями. В тех отдаленных странах, где христианство много веков придавлено было тяжелым гнетом мусульманского владычества, русская армия, конечно, не могла опасаться неприязненных действий ни со стороны армян, ни со стороны греков. Но там, где единство религии могли приобрести ей только равнодушных зрителей борьбы ее с турками, там появление русских войск отдавало им сердца христиан и создавало союзников. В Баязете и Карее более двух тысяч армян сражались в рядах русских солдат; в Арзеруме, Бейбурте и Гюмюш-Хане — везде, где появлялись русские знамена, армяне и греки разрывали свои вековые отношения с турками. И чем далее распространялась слава русского оружия, тем ярче высказывалась любовь их к России, но тем с большей резкостью обнаруживалась ненависть мусульман, и число жертв их дикого фанатизма росло с каждым днем.

“Удостойте, Всемилостивейший Государь,— списал Паскевич императору Николаю,— обратить милосердное внимание Ваше на сии несчастные жертвы и не допустите совершиться, чтобы самовластие оттоманов мстило им за ту привязанность, какую оказали они России”.

Число таких семей, которым угрожала неизбежная опасность, могло, как полагал Паскевич, простираться до десяти тысяч, и он предполагал отвести под их поселение земли в Грузии и в Армянской области, а в случае крайности даже и на Кавказской линии. Первоначальное водворение в крае турецких христиан, конечно, должно было потребовать значительных издержек, но они без сомнения вознаградились бы теми выгодами, какие можно было ожидать от трудолюбивого и в высшей степени нравственного народа. Байрон утверждает, что трудно найти другой народ, подобный армянам, у которого летописи были бы так мало запятнаны преступлениями. Это справедливо, и может быть потому именно, что нет народа, у которого семейные узы были бы теснее и крепче, чем у армян. Паскевич не боялся издержек и даже указывал на источник для покрытия значительной части их у него имелось до ста тысяч червонцев, которые были отпущены в его распоряжение для привлечения на русскую сторону курдов, и остались почти неизрасходованными.

Государь вполне разделял мнение Паскевича. “Я уверен,— писал он ему в рескрипте,— что столь значительное преумножение народа в крае, вам вверенном, обязано будет вашим распоряжением, прочным для него, и полезным для Империи водворением...” Государь находил даже полезным поселить часть армян, наиболее отличившихся своей храбростью, в самом Ахалцихе и его окрестностях, где они, в составе батальонов или конных частей, могли бы быть употреблены для защиты нашей границы.

Такую же точно меру предположено было распространить и на Армянскую область, но с тем, чтобы армяне комплектовали расположенные по ее крепостям линейные батальоны. На запрос об этом начальника Армянской области князь Василий Осипович Бебутов отвечал, однако, что “армяне едва ли пожелают добровольно вступить в службу солдатами

на одинаковом положении с нашими войсками, ибо при роспуске сарбазов, участвовавших в турецкой войне, ни один из них, несмотря на все убеждения, не согласился поступить в линейные батальоны". Весьма понятно, что если в самой России, где рекрутский набор освящен вековым обычаем, народ неохотно шел "под красную шапку", то в крае новом, еще чуждом многим условиям русской жизни, вовсе не находилось охотников променять добровольно свободную жизнь частного человека, и даже жизнь ополченца, призываемого к знаменам лишь временно, на двадцатипятилетнюю тяжелую службу солдата. Всякие же принудительные меры не только не принесли бы ожидаемой пользы, но могли взволновать край и даже затормозить самое дело переселения. Ввиду этого князь Бебутов предложил сформировать особые поселенные батальоны, но не иначе, как на известных льготных условиях. Так, например, срок службы поселенного сарбаза определить только шестилетний; отца и мать его освободить на все это время от всяких земских повинностей, а самим служащим отводить в крепостных форштадтах дома, где каждый сарбаз мог жить со своей женой и детьми, пользуясь небольшим огородом, полем для хлебопашества, сенокосом и местом для скотоводства. "С принятием предлагаемых мною мер,— писал князь Бебутов,— можно надеяться на некоторый успех относительно сбора сарбазов; но и за всеми пожертвованиями со стороны правительства, эти поселенные войска, по самому духу здешнего народа, все же останутся далеко не надежной и слабой опорой для области в случае вторжения неприятеля... Было бы гораздо полезнее, если бы часть этих издержек обратить на вспомоществование русским солдатам, которые пожелали бы навсегда водвориться в Армянской области, то есть основать в ней русские военные поселения. Мера эта не только оградила бы внешнее и внутреннее спокойствие края, но и положила бы вечное основание в сей, вновь приобретенной стране владычеству России". Последняя мера, конечно, была бы наилучшей для закрепления за нами покоренных земель, но ни ее, ни сформирование туземных батальонов не пришлось осуществить на деле. Переселенческий вопрос сам по себе оказался на практике настолько сложным, что потребовал массу времени, средств и забот, а потому все остальные вопросы, не касавшиеся его непосредственно, были отодвинуты на задний план, и потому затерялись во времени.

Получив разрешение государя на переселение армян, Паскевич тотчас же принялся за разрешение этого вопроса на практике.

Народ, который искал в нашем отечестве, вместо бедствий и векового рабства, спокойствия и благоденствия, нуждался в особом попечении о нем, а иначе и самая цель переселения никогда не была бы достигнута. Чем скорее переселенцы приобрели бы на новых местах цветущее состояние, тем большую пользу они принесли бы и самой России, принявшей их под свое покровительство.

Чтобы возможно лучше организовать это дело, Паскевич учредил в Тифлисе особый комитет по переселению, и нужно сказать, что этот комитет чрезвычайно заботливо отнесся к своей задаче. Он разделил всех переселенцев на три категории: к первой из них были отнесены люди, принадлежавшие к торговому сословию, ко второй — мастеровые или занимавшиеся какими-нибудь ремеслами и промыслами, и наконец, к третьей — хлебопашцы. Эти категории комитет имел в виду и при самом отводе земель для размещения переселенцев. Купцов и мастеровых предполагалось водворять в городах или там, где их торговля и ремесла могли обращаться с выгодой; поселян — в деревнях, на земле, удобной для хлебопашества и скотоводства. Заботливость комитета простерлась даже до того, что старались принимать в соображение климатические условия их родины, и жителей горных стран селили на возвышенностях, а живших на плоскостях — в равнинах. Этой мерой желали сберечь переселенцев от смертности и предохранить их от

разорения, неминуемо грозившего им с переменой хозяйственных занятий, которые не одни и те же в горах и на плоскости. Очевидно, что правильное размещение переселенцев, именно в этом порядке, много способствовало бы скорейшему улучшению их благосостояния.

Было обращено также внимание на то, чтобы хлебопашцев водворять целыми селами, как они жили на родине, а при невозможности этого, по крайней мере в ближайшем соседстве. Земли приказано было отводить казенные, и только, в исключительных случаях селить их на землях церковных или помещичьих.

Для размещения торговцев и ремесленников комитет указал на многие казенные здания в Елисаветполе, и в других городах, которые с небольшими приспособлениями легко могли обратиться в магазины или мастерские, а для поддержания самих ремесел разрешено было отпустить переселенцам из доходов Ширванской области до полутораста пудов шелка и до тысячи пудов хлопчатой бумаги.

Постепенно расширяя круг своей деятельности, комитет пошел еще далее и предложил поручить новых переселенцев в заведование особых офицеров, которые, до окончательного устройства их, остались бы над ними вроде приставов и служили бы посредниками между ними и местным начальством, которое, как деликатно выразился комитет, “всегда обременено многими другими предметами и потому едва ли будет иметь о них совершенную заботливость”.

Самые деревни предполагалось строить с широкими улицами и площадями, а дома в них должны были иметь вид не обычных азиатских землянок, а ближе подходить к типу русской крестьянской избы. Но с этой последней мерой уже не согласился Паскевич, предоставив армянам устраивать их внутренний быт, как они пожелают сами. Об этом, впрочем, нельзя не пожалеть. Безответное рабство в течении многих веков наложило на народ свою роковую печать, и он перенес на новую родину ту же наследственную грязь и те же душные, подземные буйволятники, где семья армянина и весь скарб его помещается вместе с лошадьми и буйволами. Все скрыто под землей, закупорено без света и воздуха. И даже до настоящего дня жители русской Армении живут нисколько не лучше тех своих земляков, которые, оставшись в Турции и Персии, проводят время всегда на рубеже между жизнью и смертью, между надеждой и страхом разорения. Такова гнетущая сила привычки, и без посторонней помощи народу из нее никогда не выбиться.

Таким образом теоретически переселенческий вопрос был вполне подготовлен комитетом; оставалось осуществить его на практике. Пока значительная часть русских войск зимовала в завоеванных провинциях, армяне могли оставаться совершенно спокойными; но они с тревогой смотрели на будущее, когда покровители покинут край, и с нетерпением ждали только денежной помощи, чтобы двинуться в путь. Многие отказывались даже от всякого пособия и только просили позволения теперь же переселиться в Грузию или в Армянскую область. Позволение это было дано, и тотчас же тысячи семей, несмотря на суровую зиму, тронулись в наши пределы. Из Арзерума вышло тогда только до пятисот душ, но из Карса сразу отправилось около двух с половиной тысяч семейств. Их всех водворили близ Алагеза в Помбакской дистанции, или в окрестностях Гумр и в Дорийской степи, еще много было пустых деревень, покинутых жителями еще с последнего персидского вторжения. С наступлением весны должны были тронуться в путь баязетские жители, и тогда же должно было начаться общее переселение христиан, так как по выходе наших войск из пределов Турецкой империи им оставаться в ней было бы уже небезопасно.

Турки понимали отлично, что удаление греков, а тем более армян, нанесет им чувствительные потери, потому что почти все земли турецких агаларов обрабатывались гяурами и почти все ремесла и вся торговля находились в их же руках. Естественно, что переселение такой массы рабочего люда должно было отразиться на стране огромными убытками, и гордые, ленивые турки, не зная каким образом остановить это начавшееся движение, начали распускать различные нелепые вымыслы. К сераскиру и даже в Константинополь полетели доносы и жалобы, что армянское духовенство, пользуясь присутствием в крае русского войска, переселяет христиан насильственно, а русское начальство тайно покровительствует этим непозволительным мерам. Одним словом и здесь происходило все то же, что два года тому назад происходило в Персии, и представителю русской власти в крае, генералу Панкратьеву, пришлось упорно бороться с теми затруднениями, которые противопоставлялись ему турецкими сановниками, в особенности по вопросам переселенческим. Анатолийский сераскир и новый правитель Арзерумской области, Хаджи-Гассан-паша, человек, пользовавшийся особым доверием султана, изыскивал все способы вмешиваться в управление завоеванными провинциями. Собирание податей и реквизиций встречало большие затруднения; всякое законное требование наше называлось притеснением, правосудие — строгостью; выдумывались разные нелепые события, и турецкие власти просили о прекращении несуществующих беспорядков. А между тем, под шумок, в одном из арзерумских санджаков, непосредственно подчиненных нам, сераскир собрал триста молодых армян и тайным образом отправил их в Константинополь во вновь формировавшиеся там рабочие батальоны. К счастью, Панкратьеву своевременно дали знать об этом насилии, и несчастные армяне были возвращены с дороги.

В первое время трудно было определить число переселенцев. Пока христиане видели в Турции наше правление, их ничто еще не побуждало к оставлению родины. Но когда войска тронулись из завоеванных турецких пашалыков, тогда греки и почти все армяне, покинув свои жилища и оставив все, что привязывало их к родине, пошли со своими семьями за нашими войсками. Подобно ветхозаветным временам, в челе народного движения стояли высокие пастыри церкви. Они подкрепляли народ своим влиянием и воодушевляли его собственным самоотвержением. К числу таких замечательных личностей принадлежал в то время архиепископ Карапет, стоявший во Главе арзерумской епархии. Высокие качества этого достойного служителя церкви, его непрерывная энергичная деятельность на пользу любимого им народа, и тот переворот, который совершился под его влиянием в жизни турецких армян в 1830 году — такие крупные явления, что величавая фигура этого монаха невольно выдвигается вперед и останавливает на себе внимание.

Вот что сохранилось о нем в армянских преданиях.

В 1770 году, с лишком за сто лет до нашего времени в Великой Армении, в деревне Хунут, жил один армянин по имени Карапет Егик-оглы. По своим несметным богатствам и мудрости он пользовался таким уважением, что даже арзерумский паша назначил его одним из восьми судей родного ему Испирского санджака, и турки, впервые увидевшие в своем судилище гяура, стали называть Карапета не простым армянином, а происходившим от царской крови Багратидов. Мало-помалу, кажется и сам Карапет освоился с этой мыслью и, оставив свое старое прозвище Егик-оглы, стал называться Багратуни.

Когда он умер, громадные богатства его перешли к двум его сыновьям, Григорию и Арутину, которые, раз навсегда отказавшись от общественной службы, стали заниматься торговлей и скоро удвоили свое состояние. Но насколько были известны наследники

Карапета своими несметными сокровищами, настолько же — говорит народное предание — известен был во всей Испирской округе нищий армянин Торос небывалой красотой своей тринадцатилетней дочери, которую звали Арегназаной.

Григорий полюбил эту бедную девушку; Арегназана отвечала ему взаимностью, но о свадьбе им нечего было и думать — родные Григория никогда не согласились бы на такой брак, да и слишком много у него было соперников в лице турецких сановников и самого испирского правителя, Мехмет-Дери-бека, который уже наметил ее для своего гарема. Турки не церемонились тогда с христианами, и не только похитить бедную девушку, но отнять и законную жену у гяура, отнять грубой силой, не тратя золота, не требуя даже взаимной любви злополучной жертвы, было делом весьма обыкновенным. Григорий тосковал о жалком жребии, готовившемся Арегназане, но не смел ничего предпринять, опасаясь и мщения турок, и гнева своей матери, которая с презрением смотрела на нищую девочку.

Но судьба, управляющая людьми, сама решила вопрос, кому должна принадлежать Арегназана. Однажды вечером бедный Торос услышал от своих соседей, что люди Мехмед-бека несколько раз проходили мимо его дома и по их совещаниям можно было догадываться, что они в ту же ночь собираются похитить его Арегназану. Обезумевший от горя Торос кинулся за помощью в дом Багратуни, куда до тех пор не смел переступать и порога; он умолял их, как сильных и знатных людей, спасти честь его дочери во имя религии. Чувство веры иногда придает такую силу и мужество человеку, что он, забывая все: и славу, и почесть, и даже страх перед сильными мира весь отдается этому святому религиозному чувству. Так случилось и со старухой Багратуни. Услышав о намерении турок омасульманить христианку — пусть эта христианка была в ее глазах последней партией — она призвала своего сына Григория, торжественно сняла со стены фамильную икону и, благославляя его на брак с Арегназаной, сказала: “Спеши — иначе турки погубят христианскую душу”. Поручив невесту охране нескольких храбрых армян, Григорий в ту же ночь увез ее в деревню Кан, в часе пути от Арзерума, и там совершилась их свадьба.

Шли годы. Молодая чета продолжала жить в Арзеруме, где ее не могла постигнуть мстительная рука Мехмед-бека, и наслаждалась тихим семейным счастьем, скоро увеличившимся еще рождением сына, названного Оганесом. Малютка рос, обнаруживая замечательные способности и задатки такого характера, который впоследствии, окрепнув среди житейских испытаний, развился в сильную, непреклонную волю и сделал его одним из выдающихся служителей армянской церкви. Странная судьба готовилась этому маленькому Оганесу. Ему было десять лет, когда умер его отец; мать скоро вышла за другого, а новый отчим сумел прибрать к своим рукам огромное состояние Арегназаны, и Оганес остался нищим. Все, что сделал для него отчим,— это отдал его на воспитание к какому-то мастеру, занимавшемуся выделкой шелковых материй. Дурное обращение грубого ремесленника, голод, нужда, а может быть, и побои заставили Оганеса бежать в город Егин, где судьба случайно свела его с архиепископом Михаилом. Заметив в мальчике необыкновенные способности, Михаил принял в нем живое участие, отправил его в Константинополь, сам следил за его успехами и, когда Оганес окончил курс, он рукоположил его сначала в дьяконы, а потом посвятил и в монашеский сан, под именем Карапета. Так началась духовная карьера будущего знаменитого пастыря армянской церкви.

Когда Карапет в 1811 году, уже в сане архиепископа, принял на свои рамена управление арзерумской паствой, почти все монастыри и церкви находились в руках у турок, отобранные за недоимки. Карапет своей бережливостью и даже коммерческими оборотами удвоил церковные доходы и обратил их на выкуп монастырей и на помощь

страждущим. Наступал ли голод — Карапет кормил народ, осиротеет ли семья — дети получали образование на церковное иждивение, попадал ли кто-нибудь в беду — и Карапет являлся ходатаем за него перед турецким правительством. При своем уме и железном характере Карапет поставил себя так, что само турецкое правительство во всех делах, касавшихся армян, обращалась к нему, и даже через него получало подати, так как Карапет отстранил от этого дела турецких чиновников, зная насколько они эксплуатировали простой народ. Чтобы со своей стороны быть аккуратным, Карапет завел особые кружки, куда каждый армянин делал посильные вклады, и эта национальная касса шла специально на уплату податей, чтобы помочь неимущим. Как представитель своего народа, Карапет отвечал за все его поступки, а так как каждый турецкий чиновник только и ждал случая придраться к мелочам, чтобы сорвать пешкеш или взятку, то Карапет был часто заключаем в тюрьму и даже приговаривался к повешению. Он вспомнил об этих пережитых минутах даже на своем смертном одре и писал к своей пастве: “Деды и отцы ваши знали хорошо, да и среди вас есть много еще очевидцев того, как много неприятностей и огорчений переносил я в земле османлыкской от грубых магометанских властей, врагов святой нашей религии. Сколько раз по обязанности моей, из любви к моей пастве, я переносил обиды и горечи, равносильные самой смерти...”

С началом турецкой войны в 1828 году положение армянского народа, а с ним и Карапета, значительно ухудшается; их жизнь и имущество подвергаются открытым опасностям; никто не стесняется сделать зло армянину. После побед Паскевича в Ахалцихском пашалыке, арзерумские турки, по природной своей недоверчивости, стали искать различных суеверных причин, чтобы предать мечу всех христиан, опасаясь, чтобы они не перешли на сторону русских и еще более не ухудшили бы их положения. Задумав этот план, турецким властям прежде всего нужно было сокрушить сильного покровителя христиан, в лице самого архиепископа Карапета.

И вот, однажды, в воскресенье, когда Карапет служил обедню, ему дали знать, что за ним явились турецкие солдаты. Епископ должен был прервать литургию. В глубоком умилении он преклонил колени перед алтарем, поручая себя и свой народ покровительству Бога, и вышел из храма. Его тотчас арестовали и под конвоем повели к паше. Народ в ужасе разбежался из церкви. Карапет уже слышал, что власти ищут только случая, чтобы погубить его и думал, что ему не придется более увидеть свою паству. Под влиянием жгучего солнца и душевных волнений Карапет вдруг почувствовал себя дурно и упал на каменные плиты улицы. Оторопевшие солдаты не знали что с ним делать. К счастью, в это время подоспел монастырский служка Георгий, и глоток принесенной им холодной воды привел епископа в чувство. “Что это?.. Зачем эта вода?..” — спросил он у Георгия. “Отец святой! — отвечал слуга.— Посмотри, в каком положении ты находишься”. Тут только почувствовал архиепископ боль в голове и заметил, что его лицо и платье были залиты кровью. Но ему не дали даже оправиться и повели дальше. В огромной дворцовой зале, куда ввели наконец Карапета, заседало множество турецких сановников и присутствовал сам сераскир. Совещание еще не кончилось, и архиепископ, стоя, должен был ожидать решения своей участи. Наконец приговор был объявлен. Вина Карапета заключалась в том, что накануне, к субботний день, армяне самовольно заперли лавки, и местная полиция была убеждена, что они разошлись по домам для того, чтобы удобнее составить заговор против правительства. Участвовал ли сам Карапет в этом заговоре или не участвовал — в глазах турецких судей не составляло важности; довольно того, что он был главой народа и должен был отвечать за его поступки. А так как время было военное и возмущение армян могло предать Арзерум в руки неверных, то архиепископ в пример и страх другим приговаривался к смертной казни через повешение. Жестокий приговор не смутил доблестного пастыря; но он боялся, что это послужит сигналом к истреблению всех вообще христиан и решил защищаться против

несправедливого обвинения. Карапет объяснил, что лавки действительно были закрыты, и даже закрыты по его приказанию, но потому что накануне был турецкий праздник, и торговать в этот день со стороны армян было бы непростительной дерзостью. “Очень хорошо,— сказал сераскир,— но турки, сидя дома, не могут задумывать заговоров, тогда как армяне ищут только предлога, чтобы собирать запрещенные сходбища”.— “За спокойствие армян я отвечаю,— сказал Карапет,— но оно нарушено и не было, а если вам неприятно, что лавки закрыты вчера и сегодня, я немедленно велю отворить их”.— “Теперь уже поздно,— отвечал паша,— решение совета должно быть исполнено”.

Но в это время один из судей, заметив кровавые пятна на лице и платье епископа и может быть тронутый жалким положением человека, которого не любили, но которому не могли отказать в уважении, предложил изменить решение совета и вместо смертной казни, определенной одному епископу, назначить тяжелые военные работы всему его народу. Было это так устроено заранее или решение действительно существовало и было отменено — не известно; но Карапет получил свободу под условием заставить свой народ возвести вокруг Арзерума и у горы Св. Знамения сильные окопы. Через два часа, несмотря на праздничный день, тысячи армян с лопатами, кирками и тачками, вышли из городских ворот и принялись за работу. Сам Карапет, переодевшись в простое платье монастырского служки, работал вместе с другими, не позволяя себе отдыхать ни минуты. Эти мучительные работы продолжались четыре месяца кряду, продолжались и в будни и в праздники, с утра до позднего вечера, и во все это время армянские семьи, лишенные материальной поддержки, переносили нужду и лишения, моля только Бога, чтобы скорее пришли русские. Все средства церкви, собранные епископом с таким трудом и бережливостью, ушли на прокормление этих несчастных семей, и наконец совершенно иссякли. Карапет торопил всех с окончанием работ.

До сего времени осталась еще песня, свидетельствующая, с каким терпением и безропотной покорностью к судьбе переносили армяне это тяжелое время:

Москва идет к Арзеруму, и горе упало на головы армян. Строгий приказ сераскира отнял сон у глаз наших, покой у наших семейств. Идем к окопам, к окопам!..

Придет зима, начнутся бураны, и положение наших семей сделается печальным. Оставили мы свои дома и пришли к святому Знамению копать окопы, окопы...

Лопаты, кирки, тачки — все пущено в дело. Малые и большие из нас переболели. Но если бы не благословение святого архиепископа — всем бы несдобровать нам. Будем копать окопы, окопы...

Однажды, когда громадные сооружения уже оканчивались, Галиб-паша, благодаря Карапета, с гордостью сказал ему: “Пусть теперь подойдут сюда русские, посмотрим, в каком положении они очутятся”.— “Извините, паша,— отвечал архиепископ,— если русские только дойдут до окопов, то им уже нетрудно будет перешагнуть через них”. Это вырвавшееся слово зародило опять сомнение в верности Карапета, и за ним учредили строгий секретный надзор.

Вскоре после этого от ачмиадзинского католикоса пришло послание на имя турецких армян, в котором он призывал их, во имя Бога, помогать русским, как братьям во Христе, когда победоносные войска их подойдут к Арзеруму. Послание это, однако же, попало в руки турецких пашей. Карапет опять был предан уголовному суду, но опять успел оправдаться, доказав на суде, что подкупленный переводчик совсем иначе передал пашам содержание этого послания. “Впрочем,— сказал он в заключение,— если бы оно имело и

то значение, которое ему придаете, то, попав в мои руки, оно оказалось бы безвредным, ибо я силой своей духовной власти никогда не допустил бы возмущения в городе". На этот раз Карапет отделался крупным пешкешем, а на армян наложена была контрибуция: сераскир приказал Карапету в три дня поставить двести лошадей для перевозки из города в лагерь провианта... У арзерумских армян, занимавшихся преимущественно ремеслами, да городской торговлей, не было и десятой части такого количества вьючных животных, и, несмотря на то, в назначенный срок лошади были поставлены, хотя для этого пришлось не только затратить церковные суммы и национальную кассу, но и распродать большую часть скота, имевшегося у жителей. Но Карапет не щадил ничего, хорошо понимая, что неисполнение приказа может повести за собой еще более тяжкое бедствие — грабеж армянских домов. Сераскир остался очень доволен усердием армян, он даже воскликнул: "Молодец, черноголовый эфенди!" — и пригласил его к себе на кофе, но Карапет отказался, опасаясь отравления.

Наконец наступило лето 1829 года. Чем ближе подходили русские, тем хуже становилось христианам; многие из них были убиты разъяренной чернью; многие дома и лавки разграблены. В последние дни никто не осмеливался показываться на улицах, и даже сам архиепископ принужден был скрываться переодетым в глухом подвале одного армянина. Отсюда он отправил Паскевичу письмо, в котором описывал бедственное положение христиан и указывал слабые стороны городских укреплений, на которые могла быть наведена атака. Это письмо было первое, которое раскрыло перед Паскевичем картину внутреннего состояния города и много способствовало его настойчивости в ведении переговоров. Армянин, доставивший это письмо, зашитое в лапте, был щедро награжден и отправлен обратно со словесным изъявлением признательности русского вождя к достойному архипастырю. Как светлый луч, на мгновение проникнув в сырое подземелье узника, разгоняет ночные призраки, полные страха, так и привет русского полководца озарил собой скорбные минуты, переживаемые тогда армянами. А этих минут было не мало, особенно двадцать седьмого июня, когда толпы мусульман в исступлении носились по улицам, требуя смерти русского посланника. Ничего не было легче, как бросить в эту обезумевшую толпу одну только искру, и кровь христиан залила бы собою стогны и улицы Арзерума. Но, к счастью, в общей сумятице о них забыли, а потом, когда депутация повезла городские ключи победителю, о кровавой расправе думать было уже не время. Так дивным промыслом Божиим спасены были тысячи несчастных семейств, истребление которых запятнано было только лишней кровью и без того кровавые страницы Оттоманской империи.

Весть, что Арзерум сдается, как электрическая искра, пробежала по душным подвалам, где скрывались армяне, и вызвала на Божий свет невольных затворников. Толпы наводнили улицы и, мало того, бросились даже грабить турецкие дома; произошло несколько случаев насилия. Народ, которого жизнь, права, имущество, семейная честь и религия были так долго оскорбляемы, не мог воздержаться от порыва к, отмщению. К счастью, в это время вернулся Карапет, ездивший на встречу к Паскевичу, и с его прибытием беспорядки прекратились. Но с этой минуты Карапет уже видел, что армянскому народу оставаться у турок нельзя, и исподволь стал подготовлять его к мысли о выселении в Россию.

Только человек с таким громадным влиянием, каким обладал Карапет, и мог подвинуть народ на эту крайнюю меру. Кто знает домовитость сельских армян, привычку их к родному очагу, привязанность к могилам предков, тот поймет, как было трудно решиться им на это переселение. Но Карапет подчинил себе сердца и волю народа. Он властным словом указал ему путь, по которому должно идти — и массы турецких армян слепо двинулись за своим архиепископом. Более четырнадцати тысяч семейств — до девяноста

тысяч душ — отдались тогда под покровительство русского государя. Край видимо пустел, города теряли наиболее трудолюбивую часть своих жителей, так что даже в самом Арзеруме турки затруднялись чинить свои водопроводы и производить самые простые ремесла. В Царьграде забили тревогу и даже прислали оттуда армянского епископа Варфоломея, взявшего на себя непосильный труд уговорить христиан не покидать своей родины. Панкратьев позволил Варфоломею открыто вести свою пропаганду; он даже сам возил его до Гассан-Кале, обгоняя тянувшиеся обозы переселенцев. Недружелюбно встречали, однако, армяне султанского епископа, “волка в овечьей шкуре”, как они называли его в беседах между собою. Один старик, возмущенный его речью, сказал ему: “Если бы не ты, а сам Христос, сошедший с небес, стал бы внушать нам желание возвратиться в Турцию, то мы не последовали бы и его совету”. Так и уехал Варфоломей ни с чем.

Был май 1830 года, когда тысячи переселенцев тронулись в путь. Такое огромное число переходивших в наши границы не по частям, не партиями, а двинувшихся разом, опрокинуло все расчеты, составленные комитетом и потребовало со стороны русских властей необычайных усилий и попечений, чтобы спасти их в пути от гибельной нужды и болезней. Недостаточность денежного вспомоществования, розданного переселенцам при подъеме их с места — эти пособия не превышали шести-семи рублей на каждую семью,— заставило правительство озаботиться заблаговременно закупкой хлеба, открыть попутные казенные магазины, но, несмотря на все эти меры, совершенно обеспечить переселенцев было невозможно. Особенно страдали Гюмишханинские греки. Они собрались в путь менее нежели в сутки, и явились в Арзерум не только без хлеба и необходимой одежды, но даже без транспортных средств, чтобы двинуться дальше. Заброшенные в глушь Лазистанских гор, в черту расположения турецких войск, они находились в полной власти сераскира, который, не успев остановить переселения в Арзерум, Карс и Баязет, мог выместить на них всю накопившуюся злобу, и, с турецкой точки зрения, быть может остался бы даже и правым. Если переселение армян наносило тяжкий удар общественной жизни во всех ее проявлениях, то переселение греков, единственных рудокопов в этой стране, ставило на карту интересы чисто государственные, так как с их удалением богатейшие серебряные и медные рудники в Гюмюш-Хане и Бейбурте оставались в руках турецкого правительства мертвым капиталом. И гюмюшханинцы, понимая это, спешили спасать только жизнь, покидая на произвол врагов все достояние, нажитое трудами целых поколений. К этому нужно прибавить, что в гористом Гюмюш-Хане жители не держат арб, а греки не имели у себя даже вьючного скота, и трудный путь пришлось совершить пешком, ночуя под открытым небом, над страшными пропастями; мужчины шли навьюченные разным скарбом, который могли только забрать, матери несли на руках малюток. И, глядя на эту печальную картину переселения, невольно приходили на память слова святого Евангелия: “Молитесь, чтобы бегство ваше не случилось зимою”. К счастью, стояла прекрасная весенняя погода, и помюшханинцы, изнуренные трудным путем, кое-как добрались наконец до Арзерума, где уже могли считать себя в совершенной безопасности. Но здесь возникал вопрос, как двигаться далее, и взоры всех невольно обращались на человека, который в эти трудные дни один держал в своих руках судьбы переселенцев. Огромная нравственная ответственность лежала на этом человеке,— и было о чем подумать старому Карапету, видя, как бедствуют не только греки, но и его единоверцы, не имевшие возможности лишь с собой и сотой доли того, что составляло их достояние. А к этому прибавлялись еще вопросы и будущего. Поднимаясь с места весной, жители на старых местах не дождались жатвы, а на новых — пропустили время посевов, и единственно, что оставалось им — это надежда на великодушную помощь русского правительства, которое не откажется прокормить их до будущего урожая.

Предвидя, какие огромные затраты потребуются на дело переселения, Карапет заблаговременно распродал все церковное имущество и обратил его в деньги на помощь нуждающимся; им же он отдал все транспортные средства, оставив у себя только тринадцать арб, на которых перевозил в Россию святые мощи да самую необходимую утварь. Многое, по невозможности уложить, пришлось оставить совсем, и между этими предметами было много дорогих или редких вещей, как например рукописное Евангелие XII века, об утрате которого Карапет скорбел до конца своей жизни.

Шли недели и месяцы, а переселенческие обозы все тянулись еще по горам и равнинам турецкой земли, подолгу бивуакируя то в знойных долинах Аракса, то в холодных ущельях Саганлугских гор, то в открытых безлесных полях Карсского пашалыка. Зима застала их на дороге. Бедствия переселенцев, не имевших у себя не только запасов теплой одежды, но даже и обуви, увеличивались с каждым днем. Под влиянием тяжких страданий, не видя конца своему пути, народ приходил в отчаяние; многие пытались вернуться назад, другие открыто роптали на Карапета, считая его виновником народного несчастья. Но Карапет, страдавший душой не менее других, поддерживал колеблющийся дух населения и, как новый Моисей, вел свой народ в обетованную землю. Был уже седьмой месяц пути, а вся эта двигавшаяся громадная масса переселенцев едва только успела еще достигнуть русских пределов. Отсюда около двух тысяч семей пошли в Борчалу, Бомбак и Шурагели; еще до ста семейств осели в Ахалкалаках, вызвавшись устроить форштадт под самой крепостью; остальные, до тридцати пяти тысяч душ, направились в Ахалцихе, избранный ими добровольно, так как и климат и местность его ближе подходили к их родине.

Но неприветливо встретило переселенцев их новое отечество. Помещений для них приготовлено не было, и большинству пришлось провести суровую зиму в палатках, наскоро разбитых на тех самых горах, где впоследствии образовался новый Ахалцихе. Не в лучшем положении оказались и сельские обыватели. Нужно сказать, что Ахалцихский пашалык в продолжении войны обезлюдел; многие из жителей сделались жертвой войны, другие бежали за границу, и потому оставшиеся после них пустопорожние земли стали считаться казенными. Их-то теперь и отвели переселенцам. Но едва на этих землях поселились армяне, как из-за границы начали возвращаться разные прежние владельцы, чтобы, пользуясь правом мирного трактата, продать их в чужие руки и опять удалиться в Турцию. Мусульмане спешили продавать свои земли и покупщики приобретали их за ничтожную цену. Из этого вышло то, что более тысячи шестисот семей неожиданно очутились на земле частных владельцев и лишились всех дарованных им преимуществ. Новые помещики потребовали у них деньги за пользование землей и стали взыскивать их при помощи земской полиции, которая не могла отказать им в этом законном требовании. В результате вышла путаница, вредившая и казне и переселенцам; пришлось скупить все частные земли, на которых поселились армяне, платя владельцам уже двойную сумму, или переселять армян с места на место.

Потребовалось, таким образом, несколько лет, чтобы переселенцы прочно водворились наконец на местах их жительства и освоились с чуждыми им русскими порядками. В Ахалцихе, на правом берегу Посхов-Чая, даже возникла за это время целая новая часть города, которую переселенцы просили назвать Новым Арзерумом — в память их прежнего отечества. Архиепископ Карапет и здесь много заботился об устройстве быта армян, и имя его увековечено в памяти народа, основанным им училищем, которое в честь своего учредителя и названо Карапетовским.

Если не лучше, то во всяком случае гораздо скорее и без таких треволнений устроились переселенцы из Карса и Баязета, разместившиеся сразу по таким местам, где жило

сплошное армянское население. Из Карса вышло тогда две тысячи двести шестьдесят четыре, а из Баязета четыре тысячи двести пятнадцать семей, из которых только часть заняла Карабаг, Бомбаки и Шурагель, а главная масса осела в Армянской области.

Покидая старую родину, чуждую их вере и национальности, эти переселенцы вступали теперь на ту библейскую землю, где жили их праотцы, где была колыбель великой Армении. Трудно выразить те чувства, которые волновали их при виде этой обетованной страны, на страже которой издалека поражая взор, стоят, как три великана, три колоссальные горы. Вот Арарат большой в своей серебряной раздвоенной тиаре, точно огромный шатер, покрытый снежным, сверкающим куполом. Вот Арарат малый, “в черном остроконечном клобуке армянского монаха”, а перед ними стелется широкая равнина — Аборанское поле, полное славных воспоминаний для русского войска, и служит оно подножием третьей колоссальной горе — Алагезу, что в переводе означает Божий глаз. Как бы оторванный от цепи первоклассных гор, отдельно и живописно стоит Алагез, и его снеговая вершина, как серебряный венец, одиноко и рельефно вырисовывается в синеве южного неба.

Давно ли эта страна находилась под властью мусульман и служила оплотом персидской монархии? Теперь она сторожит пределы обширнейшего в свете христианского царства, раскрывшего свои мощные объятия для старого, согбенного годами народа, призванного им к возрождению, к новой исторической жизни. И как памятник совершившегося здесь события высоко, на ледяной вершине Арарата, где воображение человека ищет обретения если не самого ковчега, как памятника чудесного нетления, то по крайней мере места, где он остановился,— стоит деревянный крест, водруженный смелой рукой христианского путешественника. Этот крест поставил Паррот, взошедший на вековечные льды Арарата 27 сентября 1829 года. На кресте свинцовая дощечка с глубоко врезанной надписью: “В царствование Николая Павловича, самодержца Всероссийского, сие священнейшее место вооруженною рукою приобретено христианскому исповедованию графом Иваном Федоровичем Паскевичем Эриванским, в лето Господне 1827”.

И этот крест, вознесшийся над землей почти на четырнадцать тысяч футов, и, как небесная планета, невидимый с земли простому человеческому глазу, и эти горы, служащие предвечным алтарем невидимого Бога — все погружает человека в глубокое молитвенное созерцание. Недаром высокие горы служили предметом обожания человека в период его языческого мировоззрения. И прежде, нежели родилась мысль строить самые храмы, люди не находили приличнее места для своих богослужений, как высокие горы. Туда стекался народ, там приносились жертвы, там строились восточные гостиницы, развалины которых во многих местах виднеются еще и поныне. Там путник находил для себя приют, трапезу и добрые пожелания — все что мог предложить ему гостеприимный Восток. Христианство превратило эти гостиницы в обители иноков, которые переменили значение, но неизменно сохранили за собой патриархальное гостеприимство. Как при старых языческих верованиях, так и в первые времена христианства, народ продолжал искать единения с Богом на тех же высоких горах; и только с тех пор, как стали возникать в городах величественные храмы, посвящаемые имени Господа, паломничество на горы становится все реже и реже. Огромность и великолепие храмов приковывало внимание слабого человечества и влекло к себе толпы любопытных. Но храмы разрушались, а красоты природы оставались и остаются вечными. Хорошо смотреть на эти горы в час раннего утра, когда они блистают в лучах восходящего солнца, как купола храмов, достойных, чтобы на дверях их была начертана надпись: “Будем одно стадо и один пастырь”. И еще прекраснее они в минуты тихого вечера, когда солнце клонится к закату и обливает своим розовым светом их снеговые вершины. В эти минуты они кажутся выше, величественнее, нежели днем. В продолжение дня сидят седые старцы, поникнув головою

и сложив ноги по-восточному, а в торжественный час вечера встают на молитву Создателю этой дивной природы”.

Тихи и спокойны теперь эти горы — так тихи, как тиха и безмятежна жизнь армянского народа, приютившегося под сенью России. Но было время, когда оба Арарата и самый Алагез, молодые и страстные, дышали огнем и потрясали землю страшными переворотами. Трудно сказать, когда была эта эпоха. Но уже в IV или в V веке св. Ефрем Едесский описал, как горы Армении внезапно всколебались, сошли со своих мест, столкнулись между собою со страшным треском, пламенем и дымом, и потом снова возвратились на свои подножия. Очевидно, что в этом сказании много восточного воображения, но нет сомнения в истине самого факта, свидетельствующего о колоссальных вулканах Армении, угасших не более, как лет за тысячу до нашего времени. Армянские предания VII столетия описывают страшное землетрясение, опустошившее долину Арпачая. Сорок дней царствовала тогда полнейшая мгла, долина была поставлена вверх дном и десятки тысяч жителей погибли в разверзшихся недрах земли.

Не такова ли была и судьба армянского народа!..

И теперь, глядя на седой Арарат, на потухшие вулканы его, прислушиваясь к рассказам какого-нибудь старого монаха, вы переноситесь невольно в те отдаленные века, когда совершались великие перевороты земного шара, вы забываете грустную судьбу Армении и погружаетесь мечтами только в ее прекрасное, таинственное прошлое. Мысли, в виду этих памятников древности, стремятся невольно за течением минувших столетий. Они вызывают из мрака прошедшего образ праведного Ноя, воздвигающего жертвенник Богу, спасшему его от кары раздраженного неба, видят построение им первых городов, вспоминают Гайкана, основателя маленькой Гайканской колонии, скоро разросшейся в могущественное Армянское царство... А вон, наконец, и тот оазис в пустыне, та темная зелень садов, которые приняли под тень свою бедную деревушку Вагаршапат, остаток славной столицы Армении. И Вагаршапат, и вся Армения — развалины. Один Арарат неизменен от сотворения мира, да никогда не изменится еще тот Божий храм, первопрестольный Эчмиадзин, который столько раз предавался грабежам, мечу и огню, столько раз был разрушаем до основания, возникал снова, и теперь красуется в первозданном величии и великолепии!

Такова была страна, которую увидели перед собою переселенцы.

Факт переселения христиан совершился. С этих пор начинается для них новая жизнь, полная светлых надежд на будущее. Один из главных виновников этой перемены в судьбе армянского народа, архиепископ Карапет, поселился в Ахалцихе, и там, в 1837 году, имел счастье принять у себя императора Николая Павловича, во время путешествия его по Кавказу. Перед отъездом государь предложил ему подарок. Карапет благоговейно преклонил колени и просил только милости для своего народа. “Как христианский епископ,— сказал он,— я долго поддерживал христиан в Турции, теперь поручаю их отеческому попечению христианского государя!”

Кто будет в Ахалцихе и посетит церковь во имя Спасителя — тот на южной стороне ограды ее, возле самых дверей, увидит одинокую могилу и на ней более нежели скромный памятник без всякой надписи — под этим камнем покоятся останки архиепископа Карапета.

XXXVII. НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХОЛОДНОМ ОРУЖИИ

Турецкая война в ряду разного рода тактических вопросов поставила на очередь важный вопрос о холодном оружии для русской кавалерии. Мы уже видели, как требователен был Паскевич к действиям русской конницы, и потому естественным желанием его было довести кавалерию до возможного совершенства. Но в коннице все важно — и всадник, и конь, и оружие. Нижегородский драгун на своем степняке, мало холенном, но приученном ко всем невзгодам боевой жизни, не оставлял желать ничего лучшего, но что касается его оружия, то оно далеко уступало по своим качествам оружию неприятеля, с которым ему приходилось иметь дело. Превосходные образцы клинков, которые Паскевич видел у персиян, турок, курдов и у наших линейных казаков, дали ему мысль вооружить и нашу регулярную кавалерию точно такими же шашками.

С другой стороны вопрос этот не мог не интересовать и бывшего тогда министра финансов графа Канкрина, которому подчинялись в России оружейные заводы, а в том числе и фабрика белого оружия, открытая незадолго перед тем в Оренбургской губернии. Это был нынешний Златоустовский завод, основание которому положили в 1812 году несколько известных солингенских оружейников, сделавших предложение учредить в России казенную фабрику исключительно для выделки холодного оружия. Европейские войны, длившиеся тогда вплоть до 1816 года, замедлили решение этого вопроса, и он осуществился лишь в 1819 году, когда в Златоусте поселились иностранные оружейники, которым придали в помощь несколько русских мастеров и нужное число рабочих.

Естественное желание улучшить, насколько возможно, тогда еще новую у нас отрасль производства холодного оружия, заставило Конкрина обратиться за сведениями к Паскевичу, который в своих азиатских походах мог лучше других оценить достоинство восточных клинков. Восточное оружие издревле славилось в Европе; но с тех пор, как русские начали войну на Кавказе, стали приобретать известность черкесские шашки, удары которых, нередко перерубавшие ружейные стволы и даже рассекавшие панцири, приводили всех в изумление. Канкрин желал знать, из какого материала изготовляется это оружие, процесс самой работы и способ закалки клинков.

Обратились в Тифлис к лучшему мастеру Кахраман Елиазарову. Он сделал за сто шестьдесят червонцев на пробу саблю и кинжал настоящего булата, но двух различных видов его, стальную шпагу, только с виду похожую на булат и, наконец, шашку, клинок которой представлял волнообразную поверхность только по середине.

Лучшими из этих клинков признавались булатные, далеко превосходившие обыкновенную сталь твердостью и остротой лезвия; они отличались по виду волнистыми разводами или рисунками, которые покрывали клинки и составляли признак их высокого качества. По словам Елиазарова, достоинство булата можно было распознать, как по наружному виду этих рисунков, так и по цвету самого грунта и по отливу клинка на свет. Чем выше булат, тем отблеск заметнее и тем сильнее он будет отливать синеватым, малиновым, а в самых высших сортах золотистым цветом. Прямые линии, образующие рисунок, обличают низший сорт булата, а по мере возвышения его достоинств, они переходят в кривые линии и точки, образуя фигуры, похожие на виноградные ветви, или имеющие вид сетки; и, наконец, чем темнее цвет грунта, тем выше почитается достоинство самого булата.

После булата первое место должно быть отведено старинным европейским клинкам, особенно времен крестовых походов. Почему, несмотря на все современные успехи и усовершенствования техники, старинные клинки превосходят своими достоинствами

новейшие изделия — это объяснить себе можно лишь тем, что прежде изготовление оружия находилось в руках у людей интеллигентных, знакомых с наукой, которые употребляли и труд, и время, и все свои сведения на то, чтобы отлить, выковать и закалить клинок высокого достоинства. Тогда над отделкой одного клинка трудились по целым месяцам, иногда по годам, сотни раз перековывая и исправляя его там, где замечались какие-либо погрешности. Теперь ручная работа заменилась машинной, и клинки выделываются уже не одиночными штуками, а целыми партиями. Людей науки, стоявших когда-то у очага и наковальни, сменили простые рабочие люди, а между тем древние сказания повествуют нам именно о многих знаменитых ученых оружейниках, как например, об известном генуэзце Феррари и других живших в XIV, XV и XVI столетиях. К сожалению, историки, передавая сведения об их изумительных изделиях, ничего не говорят о способе выделки, которым они пользовались.

У нас подобные клинки нередко встречались на Кавказе и были известны под разными названиями: волчков, калдынов, терс-меймунов, крестовиков, франков и прочих. Последними назывались, впрочем, все произведения генуэзских и других мастеров, пользовавшихся в Европе заслуженной известностью. Образцы почти всех этих сортов можно было встретить в старое время у наших линейных казаков, вооружение которых составляло такую оригинальную мозаику, представляло собою такую коллекцию всевозможных редких клинков, которая стоила бы серьезного внимания и изучения тем более, что еще до сих пор никто не обращал археологических изысканий на этот предмет.

Казаки добывали подобное оружия исключительно от горцев, но остается загадочным вопрос — откуда оно могло появиться на Кавказе. В христианской Грузии это еще объясняется близкими сношениями ее с рыцарями крестовых походов, шум которых коснулся отчасти Иверии, и крестоносцы не могли не оставить по себе памяти на оружии туземцев. Но подобные клинки хоть реже, а все же встречаются в Чечне, в Дагестане, у осетин, и особенно много их было на Кубани и на восточном берегу Черного моря. Скорее всего это следы генуэзских и венецианских колоний во время господства их в Колхиде и в древней Фанагории; но можно предположить также, что оно занесено и сюда рыцарями крестовых походов. По крайней мере известно, что черкесы любили разрывать могилы и курганы, и часто находили в них истлевшие кости, а вместе с ними рыцарские доспехи и мечи, которые переделывали в шашки. Кому же могли принадлежать эти останки, как ни воинственным пилигримам святой земли, сложившим на их земле свои кости и свое оружие. На многих клинках попадаются изображения гербов Восточной Римской империи, каких-то крылатых юношей или всадников в гусарской одежде, несомненно свидетельствующих о их венгерском происхождении; на многих сохраняются и полустертые временем латинские или итальянские надписи, выражающие то какое-нибудь молитвенное изречение, то воззвание к Богу или к Богоматери, то просто восклицание вроде: “Vivat Husar!” и т.д. Рассказывают, что в 1839 году, при штурме Ахульго, взята была шашка с латинской надписью: “Vivat Zawicha!” — это была фамилия известных польских магнатов: а так как по странному стечению обстоятельств в отряде в это время находился гвардейский офицер Завиша, раненный на этом же штурме, то ему и была поднесена эта шашка, некогда принадлежавшая, быть может, одному из его знаменитых предков. Нам лично случилось видеть на стариннейшем генуэзском клинке даже славянскую надпись. Она гласила: “За Кубанью, при реке Урупе, в 1787 году сентября 21 и 22 числа и вторично за Кубанью октября с 14 ноября по 3 число в действительном сражении супротив горцев находился”. На другой стороне весьма сложная монограмма владельца и восклицание: “Боже, помоги мне победить врага своего в горах и вертепах”. Мы видели эту шашку в известном магазине Шафа, но кому принадлежит она, свидетельница походов Павла Сергеевича Потемкина против Ших-Мансура, к сожалению, нам не известно.

Все эти клинки несомненно древнейшего происхождения, и их хотя с трудом, но все еще можно найти на Кавказе; но клинки ученого Феррари, с именем мастера и клеймом, изображающим волчью голову на конце какого-то барельефа — есть достояние лишь немногих музеев, и нам удалось только раз видеть подобную шашку в частных руках. Она принадлежит известному кавказскому генералу князю А. и унаследована им от отца и деда. Так редки, и потому так высоко ценятся клинки этого знаменитого мастера.

Добывая оружие в кровавых боях, когда над телом убитого завязывались отчаянные схватки, и смерть одного влекла за собою гибель десятка других прежде, чем удавалось завладеть оружием, казак не мог не Дорожить подобной шашкой. И, действительно, имя владельца какого-нибудь знаменитого клинка становилось известным не только в станице, но и в целом полку, возбуждая зависть, а подчас и недоброжелательство. Один путешественник рассказывает, как старый казак, одиноко доживавший свой век в отставке, предлагал ему купить у него шашку. Клинок был превосходный, настоящий терс-маймун, и рубил гвоздь, как сахар. Показывая шашку, вытащенную им из какого-то подполья, старик предварительно запер двери и огляделся кругом, чтобы его не подслушали. На вопрос, как ему не стыдно продавать такую шашку, Казак отвечал: “А куда ее передать? Детей у меня нет, а держать такую вещь мне, одинокому старику, не безопасно. Я уже пустил славу, что сбыл ее на правый фланг, да все как-то не верят, все будто присматривают за мною. Долго ли до греха!”

И старик был прав. Еще в недалеком прошлом старость к хорошему оружию не раз наталкивала казаков на преступления: случалось воровство, бывали даже случаи убийств...

После изделий Феррари и других ученых мастеров, лучшими сортами европейских шашек на Кавказе считаются, так называемые, волчки. Впрочем этим именем их окрестили русские; горцы называют такие клинки “калдын” и “терс-маймун”, хотя оба эти сорта различаются между собою даже по наружному виду. Калдын преимущественно встречается в Нагорном Дагестане, а у Хевсур — это почти исключительное оружие. Широкий, как меч, калдын имеет на одной стороне изображение креста над кругом, а на другой — бегущего волка. На терс-маймуне есть также небольшие кресты, расположенные в известном систематическом порядке, но бегущий зверек изображается лишь несколькими черточками, по сторонам зверька иногда бывают, иногда не бывают латинские буквы Н. М. Эти клинки, высоко ценимые на Кавказе, чаще попадаются в Чечне, хотя чеченцам труднее других доставалось приобретение хороших клинков, так как они жили далеко от Черного моря и даже от Грузии — этих двух центров, откуда распространялось оружие. Неизвестно, почему чеченцы опознали в этом зверьке обезьяну — “маймун”, отчего произошло у них и самое название клинков. Русские признали это изображение за волка и называют такую шашку волчком. Происхождение этих клинков относят также ко временам крестоносцев. Дело в том, что известная французская фамилия Монморанси имела этого волчка в фамильном гербе. Один из этих Монморанси, именно Генрих (Henri) участвовал в крестовых походах и, по обычаю тех веков, свита и оруженосцы его, как и каждого феодального аристократа, носила на оружии герб своего владетеля, украшая его еще иногда и начальными буквами Н. М., то есть Henri Monmoranci. Вот это-то оружие, заказанное по всей вероятности одному какому-нибудь лучшему в то время мастеру, и получило по своему достоинству громкую известность на Востоке. Нет ничего удивительного в том, что грузины, посылавшие свои дружины в Иерусалим на помощь к крестоносцам, как знатоки и любители ценного оружия старались приобретать эти мечи и занесли их в Грузию, где приноровили к потребностям края, то есть переделали их в шашки; но эти шашки выходили почти прямые и только на конце обтачивались так, что представляли слабо изогнутую линию. Нет сомнения, что по их

образцу местные мастера стали выделывать клинки с такими же клеймами, но далеко не с теми достоинствами, каким отличалось оружие Монморанси. Подделка всегда и везде соблазняла оружейников, рассчитывавших на тех покупателей, которые, пренебрегая новым добрым железом, приобретают полосы, украшенные старыми гербами, хотя бы и вытравленными солью. Один булат не поддается подделке. Правда, волнистые разводы его могут быть вытравлены и на самом простом железе, но стоит только отшлифовать клинок или намазать мазать его разбавленной серной или соляной кислотой, и эти рисунки исчезнут. Напротив, в настоящем булате, ежели даже разводы стерты временем, то стоит отшлифовать клинок или покрыть его ржавым лаком, употребляемым обыкновенно для окраски стволов, и эти рисунки выйдут наружу.

Но между местными кавказскими мастерами в старое время были такие, изделия которых не только не уступали старым европейским клинкам, но даже превосходили их, предназначаясь почти исключительно для рубки панцирей. Такова, например, знаменитая на всем Кавказе “Гурда”. Рассказывают, что один из мастеров, достигший чрезвычайным трудом и усилиями хорошей выделки этих чудных клинков, встретил себе соперника в лице другого мастера, старавшегося всячески подорвать его репутацию. Произошла ссора, и первый, желая доказать преимущество своего железа, с криком “Гурда!” (“Смотри!”) одним ударом перерубил пополам и клинок и самого соперника. Имя этого мастера изгладилось из народной памяти, но его восклицание “Гурда!” так и осталось за его клинками. Знатоки различают три рода гурды: это — “ассель” (старая “гурда”), “гурда-мажар” и “гурда-эль-мурза”, отличающиеся друг от друга различными клеймами. Такой же славой пользовались на Кавказе кинжалы старого Базалая; но настоящие из них так редки, что немногим удавалось даже видеть их, и большинству они известны только понаслышке. Клинки эти высекают огонь не хуже огнива и бреют бороду, как бритвы. Нынешние мастера довольствуются тем, что кинжал при самом слабом ударе или нажиме врезается в медную монету настолько, что поднимает ее за собою. Немногие, однако же, достигают и этого искусства.

Каким образом выделывались старые клинки наверное никому не известно. Со смертью мастера обыкновенно умирал секрет его и теперь трудно даже определить: зависело ли это от личного искусства в отковке и закалке железа, или же от какой-нибудь смеси между собой различных металлов. Даже Елиазаров, лучший оружейник того времени, достигший замечательного мастерства в отделке булата, ничего не мог воспроизвести вроде гурды или волчка. Кахраман объяснил, однако, что лучшие клинки выделываются им из старых железных подков, которые обрабатываются с порошком турецкого чугуна и потом свариваются с турецкой сталью; самая закалка клинков производилась им весьма оригинальным способом: возле кузницы его стоял наготове всадник; раскаленное в горне лезвие кузнец передавал в руки всадника, который с места пускался в карьер и летел во весь конский опор до определенного места, подняв клинок против ветра. Сталь закаливалась быстрым движением воздуха.

Кахраман после долгих переговоров наконец склонился за высокую цену продать секрет изготовления булата и даже научить этому искусству мастеров, которые будут присланы для этой цели в Тифлис, но требовал материала: индийского железа, из которого только и может быть выкован настоящий булат, турецкой стали и турецкого чугуна в порошке. Канкрин полагал, что из множества видов и чугуна и стали, изготовляемых на наших заводах, не трудно было выбрать сходные по качествам своим с турецкими. Но что такое индийское железо Кахраман, получавший этот материал готовым из Персии и Индии, не знал и сам. На основании некоторых свойств его, а также и химических исследований, одни полагали, что это смесь из двух материалов — стали и железа, другие, что это сплав железной руды с самым чистым графитом и, наконец, третьи, что это есть не что иное, как

сталь Вуца. Правильно ли или нет было такое заключение — не знаем, но образцы русского железа, присланные Кахраману, не годились для выделки булата. Лучшими из них он признавал двухвываренную сталь Златоустовского завода, потом сталь литую и, наконец, железо, которое в изломе можно было назвать белым и которое после раскаливания в горне ломалось от удара молота. Из этого материала можно было изготовлять, хотя не булатные, но отличные демаскированные клинки; из стали Бодаевского завода клинки также выходили хорошие, но уже без струи; металлы же прочих заводов и вовсе не годились для выделки добротного оружия.

В 1830 году из Златоуста присланы были в Тифлис четыре мастера, два немца и два русских, которые явились к Елиазарову и после двухлетнего обучения возвратились назад. Нужно полагать, что результаты обучения принесли заводу немалую пользу, потому что — случайно или не случайно — но лучшими клинками, выпущенными заводом, всегда признавались в кавалерии те, на которых была пометка 1832, 1833 и 1834 года, что совпадает как раз с первыми годами деятельности кахромановских учеников. Потом клинки стали выделываться хуже. Не касаясь шашек последнего образца, еще не опробованных в деле, и потому не подлежащих правильной оценке, нужно сознаться, что прежние шашки для боя не годились. Кому приходилось участвовать в кавалерийских схватках, тот подтвердит, что наша кавалерия рубить не умела, и что причина этого крылась прежде всего в неудовлетворительности наших клинков. Одиночные богатырские удары, на которые обыкновенно ссылаются очевидцы, ничего доказать не могут, потому что это проявление только физической силы, которую в равной мере требовать от всех невозможно. Гурда и волчок тем и хороши, что страшны даже в детских руках.

XXXVIII. ПУШКИН НА КАВКАЗЕ

Война в азиатской Турции 1828—1829 годов, составляя громкую эпопею в ряду наших кавказских войн, необыкновенно богата славными подвигами и блещет именами, достойными занять место в истории. Но среди громких имен этих воинов, увенчанных кровавыми лаврами, встречается дорогое для России имя ее величайшего поэта Александра Сергеевича Пушкина, послужившего России в эту годину не мечом, а своим вдохновенным творческим гением. Дикая, неведомая страна, где вечно кипела война, куда уходили войска за войсками, представлялась народу страной какого-то мрака и убийств, откуда никто не возвращался, и народ охарактеризовал ее именем “погибельного Кавказа”. Пушкин, добровольный участник похода Паскевича, первый заговорил о Кавказе, первый развернул перед русским читателем бесконечные красоты дикой, величавой горной природы, представил в ярких образах вольную жизнь кавказского горца, сумел показать, что эта воинственная и своеобразная жизнь полная невзгод, тревог и опасностей, была в то же время жизнью, увлекающей в область поэзии. И то, что ученый бытописатель изложил бы в многотомных сочинениях, то поэт схватывал и очерчивал двумя-тремя штрихами своей художественной кисти, говорившей человеческому сердцу более, чем многотомные сочинения. Вот почему Пушкин принадлежит Кавказу, и как певец, посвятивший ему свои вдохновенные песни, и как человек, разделивший с кавказскими войсками боевые походы, труды и опасности под победоносными знаменами графа Паскевича. Он сам говорит, что муза его —

К пределам Азии летала
И для венка себе срывала
“Кавказа дикие цветы.
.....
Любила бранные станицы,
Тревоги смелых казаков,

Курганы, тихие гробницы,
И шум, и ржанье табунов...

Пылкий по своей натуре, любивший все, что выходило из ряда обыденных явлений, Пушкин с ранней молодости рвался в военную службу, которая с ее гусарской удалью, с полнейшей беспечностью, с добрым сердечным товариществом, составлявшим в те времена отличительную черту военных кружков, представлялась ему в самом привлекательном виде. Он рисовал ее себе не иначе, как окрашенной поэтической кистью партизана Давыдова. Он сам говорит:

Но что прелестней и живей
Войны, сражений и пожаров,
Кровавых и пустых полей,
Бивака, рыцарских ударов,
И что завидней кратких дней
Не слишком мудрых усачей,
Но сердцем истинных гусаров?..

Царскосельский лицей, в котором воспитывался Пушкин, тогда имел еще преимущество выпускать своих воспитанников одинаково как в гражданскую так и в военную службу, преимущественно в гвардию. Пушкин также избрал военное поприще; он хлопотал о поступлении в — лейб-гвардии гусарский полк, где у него много было друзей и поклонников его таланта. Но отец его категорически заявил, что не может содержать сына в гусарах, и Пушкин выпущен был с чином X класса в министерство иностранных дел, где служба предоставляла ему слишком много досуга. Увлечения молодости, шалости, наконец несколько политических памфлетов и сатир угрожали ему серьезными последствиями. Его спасло только заступничество Карамзина, Милорадовича и Энгельгардта, бывшего тогда директором лицея. “Вы мне простите, Ваше Величество,— сказал последний государю,— если я позволю себе сказать слово за бывшего моего воспитанника. В нем развивается необыкновенный талант; он и теперь уже составляет красу современной литературы, а впереди еще больше на него надежд. Я думаю, что великодушие ваше, государь, лучше вразумит его, чем ссылка, которая может губительно подействовать на пылкий нрав молодого человека”. Благодаря этому все дело и ограничилось тогда высылкой поэта из столицы на службу в Екатеринослав. Там, посреди благодатной природы юга, положено было основание многим произведениям творческого гения Пушкина, и эта же поездка в Екатеринослав послужила косвенным поводом к первому знакомству Пушкина с Кавказом.

Летом 1820 года, катаясь однажды по Днепру, он простудился и схватил жестокую горячку. В это самое время проезжал через Екатеринослав к Кавказским минеральным водам генерал Раевский, известный ветеран 1812 года, тогда командовавший четвертым пехотным корпусом. Сын этого Раевского, Николай (впоследствии один из героев кавказской войны), был другом Пушкина. Он разыскал его в жидовской хате, в бреду, без лекаря, за кружкой ледяного лимонада и принял в нем самое живое участие. Когда Пушкин немного поправился, старый Раевский предложил ему сделать путешествие вместе с его семьей на Кавказ, и Пушкин охотно принял предложение.

“Счастливейшие минуты жизни моей провел я в семействе Раевского,— писал он брату,— я не видел в нем героя,— славу русского войска; я любил в нем человека с ясным умом, с простой, прекрасной душой, всегда любезного и милого хозяина. Свидетель екатерининского века, памятник 1812 года, человек без предрассудков, с сильным

характером, он невольно привяжет к себе каждого, кто только сумеет понять и оценить его высокие качества". Так характеризует Пушкин героя народной войны — Раевского.

Два месяца Пушкин прожил в Пятигорске, купаясь в источниках, любуясь видами Кавказа. Судьба, как нарочно, привела его туда, где границы России отличаются резкой, величавой характерностью, где гладкая неизмеримость степей прерывается подоблачными горами, скрывающими за собою панораму юга. Часто со всем семейством Раевского Пушкин уезжал на гору Бештау пить железные воды и жил там в калмыцких кибитках за неимением в то время других помещений. Эти оригинальные поездки, прогулки по горам, свободная жизнь, заманчивая и совсем не похожая на прежнюю, новость впечатлений, ночи под открытым южным небом, и кругом причудливые картины гор, новые нравы, невиданные племена, аулы, сакли, дикая вольность черкесов, а в нескольких часах пути жестокая, упорная война,— все это не могло не действовать на молодого поэта. Исполинский Кавказ поражал его воображение; он, можно сказать, вызвал силу души его и разорвал последние цепи, которые еще сковывали свободный полет его вдохновения.

Созерцание суровых красот Кавказа навело его на мысль написать поэму из быта кавказских горцев, и поэма эта вышла в свет, спустя два года под именем "Кавказский пленник". Правда, многое в этой поэме, говоря словами самого Пушкина, слабо, неполно, но зато многое угадано и выражено чрезвычайно верно. Сцена поэмы должна была находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа; но с заоблачных вершин бесснежного Бештау только лишь в отдалении виднеются ледяные главы Казбека и Эльбруса, и Пушкин, как сам признается, поставил своего героя в однообразных равнинах, где сам прожил два месяца, где возвышаются на расстоянии друг от друга четыре горы — последняя отрасль Кавказа. Впрочем, истинным героем поэмы является не пленник, а сам Кавказ с его природой и обитателями. История пленника только рамка, в которую Пушкин заключил свои великолепные описания, никогда не потерявшие своей поэтической ценности.

"Жалею, мой друг,— пишет Пушкин своему брату,— что ты со мною вместе не видал великолепную цепь этих гор, ледяные их вершины, которые издали, на ясной заре, кажутся странными облаками разноцветными и неподвижными; жалею, что не входил со мною на острый верх пятихолмного Бештау, Машука, Железной горы, Каменной, Змеиной. Кавказский край, знойная граница Азии, любопытен во всех отношениях. Ермолов наполнил его своим именем и благотворным гением. Дикие черкесы напуганы, древняя дерзость их исчезла; дороги становятся час от часу безопаснее, многочисленные конвои излишними. Должно надеяться, что эта завоеванная страна, до сих пор не приносившая никакой существенной пользы России, скоро сблизит нас с персиянами безопасной торговлей, не будет нам преградой в будущих войнах, и, может быть, сбудется для нас химерический план Наполеона о завоевании Индии..."

Не под впечатлением ли этих мечтаний вылилось у поэта то чудное поэтическое пророчество, которое вошло в заключительные строфы его "Кавказского пленника":

Подобно племени Батыя,
Изменит прадедам Кавказ,
Забудет алчной брани глас,
Оставит стрелы боевые.
К ущельям, где гнездились вы,
Подъедет путник без боязни,
И возвестят о вашей казни
Преданья темные молвы...

С Кавказских вод Пушкин, вместе с семейством Раевского, отправился в Крым через Черноморье. Он ехал по Кубани, бок о бок с воинственными и всегда опасными племенами черкесов. “Видел я,— пишет он брату,— берега Кубани и сторожевые станицы, любовался нашими казаками — вечно верхом, вечно готовы драться, в вечной предосторожности! — Ехал в виду неприязненных полей свободных горских народов. Вокруг нас ехали шестьдесят казаков; за ними тащилась пушка с зажженным фитилем. Хотя черкесы нынче довольно смирны, но нельзя на них положиться; в надежде большого выкупа, они готовы напасть на известного русского генерала. И там, где бедный офицер безопасно скачет на перекладных, там высокопревосходительный легко может попасть на аркан какого-нибудь хищника”. Пушкин был совершенно счастлив, радовался военной обстановке своего вояжа, восхищался ловкостью и джигитовкой кубанских казаков. “Ты понимаешь,— пишет он брату,— как эта тень опасности нравилась моему мечтательному воображению”.

Вид берегов Кубани с ее линейной стражей, рассказы казаков и вся обстановка их быта на вечном рубеже между жизнью и смертью, создали в фантазии поэта живые образы, настолько же грандиозные, насколько и верные страшной действительности. Прямо под живым впечатлением казачьего рассказа вылилась у Пушкина прекрасная песня, помещенная в “Пленнике”:

На берегу заветных вод
Цветут богатые станицы,
Веселый пляшет хоровод.
Бегите русские девицы,
Спешите красные домой:
Чеченец ходит за рекой.

Кто был на Кавказе, тот не может не удивляться верности картин, набрасываемых Пушкиным.

Взгляните хоть с возвышенностей, на которых стоит Пятигорск, на отдаленную цепь гор, и вы невольно повторите мысленно те стихи, о которых вам, может быть, не случалось вспоминать целые годы:

Великолепные картины!
Престолы вечные снегов!
Очам казались их вершины
Недвижной цепью облаков.
И в их кругу колосс двуглавый,
В венце блистая ледяном,
Эльбрус огромный, величавый
Белел на небе голубом.

Грандиозный образ Кавказа в первый раз был воспроизведен русской поэзией в поэме Пушкина, и только в ней русское общество познакомилось с Кавказом, давно знакомым ему по грому оружия. И впечатление было настолько сильно, что с этих пор Кавказ становится для русских заветной страной не только широкой, раздольной воли, но и неисчерпаемой поэзии, страной кипучей жизни и смелых мечтаний. “Муза Пушкина,— говорит Белинский,— как бы освятила давно уже на деле существовавшее родство России с этим краем, купленным драгоценной кровью сынов ее и подвигами ее героев”. И Кавказ, сделавшийся колыбелью поэзии Пушкина, сделался потом колыбелью и могилой поэзии Лермонтова.

Следя за жизнью Пушкина в связи с его творчеством, нельзя не видеть, как сама жизнь непосредственно внушала ему его создания: под впечатлением Кавказа является “Кавказский пленник”; Крыму он обязан “Бахчисарайским фонтаном”. И как в “Кавказском пленнике” преобладающие картины достались на долю дикой природы Кавказа, так лучшей стороной “Бахчисарайского фонтана” были описания или, лучше сказать, живые картины магометанского Крыма; пребывание на юге вызвало поэму “Братья-разбойники”, и, наконец, “Цыгане”. Проезжая из Кишинева в Измаил, Пушкин пристал к цыганскому табору, кочевал с ними и жил в шатрах его дикой жизнью кочевого племени.

За их ленивыми толпами
В пустыне, праздный, я бродил,
Простую пищу их делил
И засыпал пред их огнями;
В походах медленных любил
Их песней радостные гулы
И долго милой Мариулы
Я имя нежное твердил...

Между тем в судьбе Пушкина происходит новый крутой переворот. Одно из его писем имело для него печальные последствия и, в 1824 году, исключенный из службы, он был удален на жительство в имение его родителей. Там в селе Михайловском, Псковской губернии, под надзором местных властей, Пушкин провел два года чрезвычайно богатых и плодотворных в его поэтической деятельности. А между тем началось новое царствование; в Михайловское прискакал фельдъегерь, забрал Пушкина и помчал его в Москву, в кремль, прямо к императору Николаю Павловичу. Государь принял его в кабинете чрезвычайно милостиво, долго говорил с ним и в заключение сказал: “Ты будешь присылать ко мне все, что напишешь; отныне я сам буду твоим цензором”.

“Сочинений ваших,— писал по этому поводу Пушкину шеф корпуса жандармов граф Бенкендорф,— никто рассматривать не будет: на них нет никакой цензуры. Государь Император сам будет и первым ценителем произведений ваших и вашим цензором”.

С этой минуты начинается новая эпоха в жизни Пушкина.

Между тем наступил 1828 год. Объявлена была турецкая война, и русское войско перешло Дунай. Пылкое воображение Пушкина уже рисовало перед ним обольстительные картины предстоящих событий. Он видел быстрый полет русских орлов над Балканами, слышал боевые клики, весело внимал уже оглушительному шуму падения ветхого Стамбула и радостно приветствовал зарю свободы, занимающуюся над этой святой классической страной. Желание его принять участие в военный действиях, однако, не могло исполниться: без сведений и необходимых приготовлений для военного дела нельзя было разделить славу войны — и ему было отказано. Бенкендорф писал ему, впрочем: “Государь благосклонно принял ваш вызов, но изволил отозваться, что так как все места в армии уже заняты, то Его Величество воспользуется первым случаем употребить отличные дарования ваши на пользу отечества”.

“Знаете ли, что бы я сделал на вашем месте? — сказал Пушкину один из знакомых.— Я бы предпочел поездку на Кавказ, в армию Паскевича, в страну, служившую колыбелью человеческого рода, где еще звучит эхо библейских преданий. Один переезд через кавказские заоблачные выси сколько развил бы перед вами красок, неуловимых теней и высоких мыслей! Ведь и брат ваш на Кавказе”.

Этот разговор, напоминание о брате Левушке, служившем тогда офицером в Нижегородском драгунском полку и, наконец, надежда увидеться с Николаем Раевским и со многими старыми друзьями, находившимися в армии Паскевича, решили дело. Едва переждав зиму, Пушкин выехал на Кавказ и 15 мая 1829 года был уже в Ставрополе.

“Желание видеть войну и страну малоизвестную,— говорит сам Пушкин,— побудило меня просить позволения приехать в армию. Таким образом видел я блестящую войну, конченную в несколько недель и увенчанную переводом через Саган-Лу и взятием Арзерума”. Во время этой поездки Пушкин начал свой путевой журнал, и, впоследствии, издал его под заглавием “Путешествие в Арзерум”.

“В Ставрополе,— говорит Пушкин,— я увидел на краю неба облака, поразившие мой взор ровно за девять лет. Они были все те же, все на том же месте. Это — снежные вершины Кавказской цепи”. Отсюда, через Георгиевск, Пушкин заехал на горячие воды и нашел в них большую перемену. “В мое время,— говорит он,— ванны находились в лачужках, наскоро построенных, источники, большей частью, в первобытном своем виде, били, дымились и стекали с гор по разным направлениям, оставляя по себе белые и красноватые следы. Мы черпали кипучую воду ковшиком из коры или дном разбитой бутылки. Нынче выстроены великолепные ванны и дома. Бульвар, обсаженный липками, проведен по склону Машука. Везде чистенькие дорожки, зеленые лавочки, правильные цветники, мостики, павильоны. Ключи выложены камнем, на стенах прибиты предписания от полиции, везде порядок, чистота, красивость... Признаюсь, кавказские воды представляют ныне более удобств, но мне было жаль их прежнего дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми я бывало карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь бывало сиживал со мною Александр Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бештау чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами, и, наконец, исчезал во мрака”...

На другой день Пушкин отправился в Екатериноград, откуда начинается уже Военно-Грузинская дорога. Набеги горцев делали ее опасной, и наши путешественники ехали дальше до самого Тифлиса уже с конвоем. Сам Пушкин говорит, что незадолго до их проезда поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружье его слишком долго было заряжено. “Что делать с таким народом!” — восклицает Пушкин. В Тифлисе он пробыл лишь несколько дней. Торопясь как можно скорее настигнуть действующий корпус. Но его пребывание в городе не прошло не замеченным. “Надежды наши исполнились,— писалось в “Тифлисских ведомостях”,— Пушкин посетил Грузию. Читающая публика соединяет самые приятные надежды с пребыванием Александр Сергеевича в стане кавказских войск и вопрошает, чем любимый поэт наш, свидетель кровавых битв, подарит нас из стана военного? Подобно Горацию, поручавшему друга своего опасной стихии моря, мы просим судьбу сохранить нашего поэта среди ужасов брани”.

Из Тифлиса до Гумры Пушкин сделал переезд верхом, ночевал на казачьем посту и наутро, выйдя из палатки, с невольным изумлением остановился перед чудной картиной колоссальной горы, которая на ясном безоблачном небе казалась ему огромным шатром, увенчанным серебряным куполом. На вопрос: “Что это за гора?” — ему отвечали: “Арарат”. “Как сильно действие звуков! — восклицает Пушкин,— жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни, и врага и голубицу, излетающих, как символ казни и примирения... Лошадь моя

была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное, солнце сияло. “Вот и Арпачай”,— сказал мне казак.

Арпачай! Наша граница! Это стоило Арарата. Я поскакал к реке с чувством неизъяснимым. Никогда еще не видел я чужой земли. Граница имела для меня что-то таинственное; с детских лет путешествия были моей любимой мечтой. Долго вел я потом жизнь кочующую, скитаясь то по югу, то по северу и никогда еще не вырывался из пределов необъятной России. Я весело въехал в заповедную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван; я все еще находился в России”...

В Карее Пушкин узнал, что лагерь Паскевича находится всего в двадцати пяти верстах, и тринадцатого утром был уже в палатке своего старинного друга генерала Раевского, командовавшего тогда Нижегородским драгунским полком. Пушкин приехал вовремя, так как в тот же день войска получили повеление идти вперед. “Обедая у Раевского, говорит он,— слушал я молодых генералов, рассуждающих о движений им предписанном. Генерал Бурцев отряжен был влево, по большой арзерумской дороге, прямо против турецкого лагеря; между тем, как все прочее войско должно было идти правой стороной в обход неприятеля. Я ехал с Нижегородским драгунским полком, разговаривая с Раевским, с которым уже несколько лет не видался. Настала ночь; мы остановились в долине, где все войско имело привал. Здесь я имел честь быть представлен графу Паскевичу.

Я нашел графа дома, перед бивуачным огнем, окруженного своим штабом. Он был весел и принял меня ласково. Чуждый военному искусству, я не подозревал, что участь похода решалась в эту минуту. Здесь увидел я нашего Вольховского [Тогда обер-квартирмейстером Кавказского корпуса был Вольховский — воспитанник Лицея, одного выпуска с Пушкиным.], запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мною, как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненного в прошлом году; он любим и уважаем, как добрый товарищ и храбрый солдат. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Как они переменились, как быстро уходит время! Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке”.

Таким образом мечты поэта, манившие его в пустынную Азию, наконец исполнились. Он видел край, где совершилось так много замечательных событий в древности, и был среди неустрашимой горсти наших войск, творивших чудеса под знаменами юного полководца, находившего время посреди своих великих забот оказывать поэту лестное внимание. И Пушкин имел случай не раз удостовериться в том, что музы русской поэзии были знакомы победителю не менее самой войны.

“На заре,— продолжает Пушкин,— войско двинулось. Мы подъехали к горам, поросшим лесом. Мы въехали в ущелье. Драгуны говорили между собою: смотри, брат, держись — как раз картечью хватят. В самом деле, местоположение благоприятствовало засадам, но турки, отвлеченные в другую сторону движением генерала Бурцева, не воспользовались этими выгодами. Мы благополучно прошли опасное ущелье и стали на высотах Саган-Лу, в десяти верстах от неприятельского лагеря. Природа около нас была угрюма. Воздух был холоден, горы покрыты печальными соснами. Снег лежал в оврагах.

Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым [Майор Нижегородского драгунского полка.] посмотреть новую для меня картину. Мы встретили раненого казака: он сидел, шатаясь на седле, бледен и окровавлен. Два казака поддерживали его. “Много ли турок?” — спросил

Семичев. “Свиньем валит, ваше благородие”,— отвечал один из них. Проехав ущелье, вдруг увидели мы на склоне противоположной горы до двухсот казаков, выстроенных в лаву, и над ними около пятисот турок. Казаки отступали медленно; турки наезжали с большой дерзостью, прицеливались шагах в двадцати и, выстрелив, скакали назад. Их высокие чалмы, красивые доломаны и блестящий убор коней составляли резкую противоположность с синими мундирами и простой сбруей казаков. Человек пятнадцать наших было уже ранено. Подполковник Басов послал за подмогой. В это время сам он был ранен в ногу. Казаки было смешались; но Басов опять сел на лошадь и остался при своей команде. Подкрепление подоспело. Турки, заметив его, тотчас исчезли, оставив на горе голый труп казака, обезглавленный и обрубленный.

Выстрелы утихли. Орлы, спутники войск, поднялись над горою, с высоты высматривая себе добычу. В это время показалась толпа генералов и офицеров: граф Паскевич приехал и отправился на гору, за которой скрывались турки. Они были подкреплены четырьмя тысячами конницы, скрытой в лощине и оврагах. С высоты горы нам открылся турецкий лагерь, отделенный от нас оврагами и высотами. Мы возвратились поздно. Проезжая нашим лагерем, я видел наших раненых, из которых человек пять умерло в ту же ночь и на другой день. Вечером навестил я молодого Остен-Сакена, раненного в тот же день в другом сражении”.

Пушкин не был только зрителем этого сражения; он сам вмешался в казацкую цепь и, схватив пику убитого казака, устремился на турок. Семичев, которому Раевский именно поручил следить за Пушкиным, с трудом вывел его из рукопашной свалки. Но можно себе представить, как наши донцы были изумлены, увидев перед собою незнакомого героя в круглой шляпе и в бурке. Пушкин один в целом лагере носил статское платье и писал в Москву, что солдаты, видя его верхом, величают пастором. Впечатления этого дня вылились из-под пера поэта прекрасным стихотворением, озаглавленным им “Делибаш”.

Между тем 18 июня лагерь передвинулся на другое место, а 19 и 20 произошли генеральные сражения, в которых были разбиты сераскир и Гагки-паша. Вот как описывает Пушкин впечатления, вынесенные им в эти два кровавые дня:

“19 июня, едва пушка разбудила нас, все в лагере пришло в движение. Генералы поехали по своим постам. Полки строились; офицеры становились у взводов. Я остался один, не зная в какую сторону ехать, и пустил лошадь на волю Божию. Я встретил генерала Бурцева, который звал меня на левый фланг. Что такое левый фланг? подумал я и поехал далее. Я увидел генерала Муравьева, расставлявшего пушки. Вскоре показались делибаши и закружились в долине, перестреливаясь с нашими казаками. Между тем густая толпа их пехоты шла по лощине. Генерал Муравьев приказал стрелять. Картечь хватила в самую середину толпы. Турки повалили в сторону и скрылись за возвышением. Я увидел графа Паскевича, окруженного своим штабом. Турки обходили наше войско, отделенное от них глубоким оврагом. Граф послал П. осмотреть овраг. П. поскакал. Турки приняли его за наездника и дали по нем залп. Все засмеялись. Граф велел выставить пушки и палить. Неприятель рассыпался по горе и по лощине. На левом фланге, куда звал меня Бурцев, происходило жаркое дело. Перед нами (против центра) скакала турецкая конница. Граф послал против нее генерала Раевского, который повел в атаку свой Нижегородский полк. Турки исчезли. Татары наши окружили их раненых и проворно раздевали, оставляя нагих посреди поля. Генерал Раевский остановился на краю оврага. Два эскадрона, отделясь от полка, занеслись в своем преследовании; они были выручены полковником Симоничем.

Сражение утихло. Турки у нас на глазах начали копать землю и таскать каменья, укрепляясь по своему обыкновению. Их оставили в покое. Мы слезли с лошадей и стали

обедать, чем Бог послал. В это время к графу привели несколько пленников; один из них был жестоко ранен. Их расспросили. Около шести часов войска опять получили приказ идти на неприятеля. Турки зашевелились за своими завалами, приняли нас пушечными выстрелами и стали отступать. Конница наша была впереди, мы стали спускаться в овраг. Земля обрывалась и сыпалась под конскими ногами. Поминутно лошадь моя могла упасть, и тогда уланский полк переехал бы через меня. Однако Бог вынес. Едва выбрались мы на широкую дорогу, идущую горами, как вся наша конница поскакала во весь опор. Турки бежали; казаки стегали нагайками пушки, брошенные на дороге, и неслись мимо. Турки бросались в овраги, находящиеся по обеим сторонам дороги: они уже не стреляли; по крайней мере ни одна пуля не просвистала мимо моих ушей. Первые в преследовании были наши татарские полки, которых лошади отличались быстротой и силой. Лошадь моя, закусив повода, от них не отставала: я насилу мог ее сдержать. Она остановилась перед трупом молодого турка, лежавшего поперек дороги. Ему, казалось, было лет восемнадцать; бледное девическое лицо не было обезображено; чалма его валялась в пыли; обритый затылок прострелен был пулею. Я поехал шагом; скоро меня нагнал Раевский. Он написал карандашом на клочке бумаги донесение графу Паскевичу о совершенном поражении неприятеля и поехал далее. Я следовал за ним издали. Настала ночь. Усталая лошадь моя отставала и спотыкалась на каждом шагу. Граф Паскевич повелел не прекращать преследования и сам им управлял. Меня обогнали конные наши отряды. Я увидел полковника Полякова, начальника казацкой артиллерии, игравшей в тот день важную роль, и с ним вместе прибыл в оставленное селение, где остановился граф Паскевич, прекративший преследование по причине наступившей ночи.

Мы нашли графа на кровле подземной сакли перед огнем. К нему приводили пленных. Тут находились почти все начальники. Казаки держали в поводьях их лошадей. Огонь освещал картину, достойную Сальватора Розы; речка шумела во мраке. В это самое время донесли графу, что в деревне спрятаны пороховые запасы и что должно опасаться взрыва. Граф оставил саклю со всей своей свитой. Мы поехали к нашему лагерю, находившемуся уже в тридцати верстах от того места, где мы ночевали. Дорога полна была конных отрядов. Только что успели прибыть мы на место, как вдруг небо осветилось будто метеором, и нам послышался глухой взрыв. Сакля, оставленная нами назад тому четверть часа, была взорвана; в ней находился пороховой запас. Разметанные камни задавили несколько казаков.

Вот все, что в то время я успел увидеть. Вечером я узнал, что в этом сражении разбит сераскир арзерумский, шедший на присоединение к Гагки-паше с тридцатью тысячами войска. Сераскир бежал к Арзеруму; войско его, переброшенное за Саган-Лу, было рассеяно, артиллерия взята, а Гагки-паша один остался у нас на руках. Граф Паскевич не дал ему времени распорядиться.

На другой день, в пятом часу, лагерь проснулся и получил приказание выступать. Выйдя из палатки, я встретил графа Паскевича, вставшего прежде всех. Он увидел меня. “Вы очень устали вчера?” — “Немного, граф”.— “Мне вас очень жаль, потому что мы опять идем против паши и должны будем преследовать неприятеля еще тридцать верст”.

Мы тронулись и к восьми часам пришли на возвышение, с которого лагерь Гагки-паши виден был, как на ладони. Турки открыли безвредный огонь со всех своих батарей. Между тем в лагере их заметно было большое движение. Усталость и утренний жар заставили многих из нас слезть с лошадей и лечь на свежую траву. Я опутал поводья вокруг руки и сладко заснул в ожидании приказа идти вперед. Через четверть часа меня разбудили. Все было в движении. С одной стороны колонны шли на турецкий лагерь; с другой — конница готовилась преследовать неприятеля. Я поехал было за Нижегородским полком, но

лошадь моя хромала, я отстал. Мимо меня пронесся уланский полк. Потом Вальховский проскакал с тремя пушками. Я очутился один в лесистых горах. Мне попался навстречу драгун, который объявил, что лес наполнен неприятелем. Я воротился. Я встретил генерала Муравьева с пехотным полком. Он отрядил одну роту в лес, чтобы его очистить. Подъезжая к лощине, увидел я необыкновенную картину. Под деревом лежал один из наших татарских беков, раненный смертельно. Подле него рыдал его любимец. Мулла, стоя на коленях, читал молитвы. Умирающий бек был чрезвычайно спокоен и неподвижно глядел на молодого своего друга. В лощине собрано было человек пятьсот пленных. Несколько раненых турок подзывали меня знаками, вероятно, принимая меня за лекаря и требуя помощи, которой я не мог им дать. Из леса вышел турок, зажимая свою рану окровавленной тряпкой. Солдаты подошли к нему с намерением его приколоть, может быть из человеколюбия. Но это слишком меня возмутило: я заступился за бедного турка и насилу привел его, изнеможенного и истекающего кровью, к кучке его товарищей. При них был полковник А. Он курил дружелюбно из их трубок, несмотря на то, что были слухи о чуме, будто бы открывшейся в турецком лагере. Пленные сидели спокойно, разговаривая между собою. Почти все были молодые люди. Отдохнув, пустились мы далее. По всей дороге валялись тела. Верстах в пятнадцати нашел я Нижегородский полк, остановившийся на берегу речки, посреди скал. Преследование продолжалось еще несколько часов. К вечеру пришли мы в долину, окруженную густым лесом, и наконец мог я выспаться вволю, проскакав в эти два дня более восьмидесяти верст. На другой день войска, преследовавшие неприятеля, получили приказ возвратиться в лагерь.

24 июня утром пошли мы к Гассан-Кале, древней крепости, накануне занятой князем Бековичем. Она была в пятнадцати верстах от места нашего ночлега. Длинные переходы утомили меня. Я надеялся отдохнуть, но вышло иначе.

Перед выступлением конницы явились в наш лагерь армяне, живущие в горах, требуя защиты от турок, которые три дня тому назад отогнали их скот. Полковник Анреп (командир уланского полка), не разобрав, чего они хотели, вообразил, что турецкий отряд находится в горах, и с одним эскадроном уланского полка поскакал в сторону, дав знать Раевскому, что три тысячи турок находятся в горах. Раевский отправился вслед за ним, чтобы подкрепить его в случае опасности. Я считал себя прикомандированным к Нижегородскому полку и с великой досадой поскакал на освобождение армян. Проехав верст двадцать, въехали мы в деревню и увидели несколько отставших улан, которые, спешась, с обнаженными саблями преследовали несколько кур. Здесь один из поселян растолковал Раевскому, что дело шло о трех тысячах волов, три дня назад отогнанных турками и которых весьма легко будет догнать дня через два. Раевский приказал уланам прекратить преследование кур и послал полковнику Анрепу повеление воротиться. Мы поехали обратно и, выбравшись из гор, прибыли под Гассан-Кале. Но таким образом дали мы сорок верст крюку, чтобы спасти жизнь нескольким армянским курам, что вовсе не казалось мне забавным”.

Две знаменитые битвы и взятие Гассан-кале решили, как известно, судьбу Арзерума. 27 июля город сдался. Пушкин отправился в город вместе с Раевским. “Турки,— говорит он,— с плоских кровель своих угрюмо смотрели на нас, армяне шумно толпились в тесных улицах; их мальчики бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя: “Христианин! Христианин!” Мы подъехали к крепости, куда входила наша артиллерия. Пробыв в городе часа два, я возвратился в лагерь. Сераскир и четверо пашей, взятые в плен, находились уже тут. Один из пашей, сухощавый старичок, ужасный хлопотун, с живостью говорил нашим генералам. Увидев меня во фраке, он спросил, кто я таков. П. дал мне титул поэта. Паша сложил руки на груди и поклонился мне, сказав через переводчика: “Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт — брат дервишу. Он не

имеет ни отечества, ни благ земных, и между тем, как мы, бедные, заботимся о славе, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли, и ему поклоняются".

Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось. Я пошел взглянуть на сераскира. При входе в его палатку встретил я его любимого пажа, черноглазого мальчика, лет четырнадцати, в богатой арнаутской одежде. Сераскир, седой старик, наружности самой обыкновенной, сидел в глубоком унынии. Около него была толпа наших офицеров. Выходя из его палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиной в руках и с мехом за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был "брат мой", дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали".

В Арзеруме Пушкин жил в сераскирском дворце, в комнатах, где помещался гарем. Дворец казался разграбленным. Сераскир, предполагая бежать, вывез из него все, что только мог: диваны были ободраны, ковры сняты. Тем не менее дворец представлял собой картину вечно оживленную, и там, где угрюмый паша молчаливо курил посреди своих жен и отроков, там его победитель получал донесения о победах своих генералов, раздавал пашалыки, разговаривал о новых романах.

С падением Арзерума война казалась оконченной, и Пушкин стал собираться в обратный путь. "19 июля,— говорит он,— пришел я проститься с графом Паскевичем и нашел его в сильном огорчении. Получено было известие, что генерал Бурцев был убит под Бейбуртом. Жаль было храброго Бурцева; но это происшествие могло быть печально и для всего нашего малочисленного войска, зашедшего глубоко в чужую землю и окруженного неприязненными народами, готовыми восстать при слухе о первой неудаче. Итак, война возобновилась. Граф предлагал мне быть свидетелем дальнейших предприятий, но я спешил в Россию... Граф подарил мне на память турецкую саблю. Она хранится у меня памятником моего странствования во след блестящего героя по завоеванным пустыням Армении. В тот же день я оставил Арзерум".

Нельзя умолчать, однако, что есть и другое свидетельство одного современника, который говорит, что Пушкин не совсем по своей охоте должен был оставить Армению. Потокский рассказывает, что поводом к этому послужили постоянные сношения Пушкина с декабристами, которых в армии Паскевича было немало и которые, в большинстве, были его лицейскими товарищами. В Арзеруме фельдмаршал позвал его к себе и сказал: "Мне жаль вас, Пушкин; жизнь ваша дорога для России, а здесь вам делать нечего; советую вам уехать обратно из армии, и я уже велел приготовить для вас благонадежный конвой". Пушкин порывисто поклонился и выбежал из палатки. В тот же день он отправился в Гумры".

Сам Пушкин, по возвращении в Тифлис, на вопрос одного знакомого, отчего он так скоро возвратился из армии, отвечал с обычной живостью: "Мне надоело ходить на помочах у Паскевича. Я хотел воспеть геройские подвиги наших молодцов-кавказцев — это славная часть нашей родной эпопеи; но он меня не понял и постарался выпроводить из армии. Вот я и приехал".

Плодом поездки его на Кавка? явилась поэма "Галуб"; она навеяна на него мрачными развалинами исторического Татартуба, придорожным могильными памятниками, оставленными "хищным внукам в память хищных предков", и уже более близким знакомством с бытом и характером горцев. Зато и какая громадная разница между "Кавказским пленником" и "Галубом" — словно в разные эпохи и разными поэтами

написаны обе эти поэмы, так широко и плодотворно развернулся в это десятилетие творческий гений Пушкина.

Чтобы судить о верности передаваемых им картин, припомним, как Пушкин описывает, например, в своем путевом журнале осетинские похороны, которых ему довелось быть случайным свидетелем. “Около сакли,— говорит он,— толпился народ; на дворе стояла арба, запряженная двумя волами. Родственники и друзья умершего съезжались со всех сторон и с громким плачем шли в саклю, ударяя себя кулаками в лоб; женщины стояли смирно. Мертвеца вынесли на бурке, положили его на арбу. Один из гостей взял ружье покойного, сдул с полки порох и положил его подле тела. Волы тронулись. Гости поехали следом; тело должно было быть похоронено верстах в тридцати от аула”...

Теперь посмотрите, как эта характерная сцена, произведшая на Пушкина глубокое впечатление, воспроизведена им в его “Галубе”:

Не для бесед и ликований,
Не для кровавых совещаний,
Не для расспросов кунака,
Не для разбойничьей потехи
Так рано съехались адехи
На двор Галуба-старика.
В нежданной встрече сын Галуба
Рукой завистника убит
Вблизи развалин Татартуба.
В родимой сакле он лежит.
Обряд творится погребальный,
Звучит уныло песнь муллы.
В арбу впряженные волы
Стоят пред саклею печальной.
Двор полон тесною толпой.
Подъемлют гости скорбный вой
И с плачем бьют в нагрудны брони,
И, внемля шум небоевой,
Мятутся спутанные кони.
Все ждут. Из сакли наконец
Выходит между жен отец.
Два узденя за ним выносят
На бурке хладный труп. Толпу
По сторонам раздаться просят.
Слагают тело на арбу.
И с ним кладут снаряд воинский:
Не разряженную пищаль,
Колчан и лук, кинжал грузинский
И шашки крестовую сталь,

[Трудно сказать, что Пушкин разумел под именем “крестовая сталь”, вероятнее всего предположить, что это лучший сорт кавказских шашек, на которых выбиты кресты — как памятники крестовых походов.] Чтобы крепка была могила,

Где храбрый ляжет почивать,
Чтоб мог на зов он Азраила
Исправным воином восстать.

В дорогу шествие готово,
И тронулась арба. За ней
Адехи следуют сурово,
Смиряя молча пыл коней...
Уж потухал закат огнистый,
Златя нагорные скалы,
Когда долины каменистой
Достигли тихие волы.
В долине той враждою жадной
Сражен наездник молодой,
Там ныне в тень могилы хладной
Он ляжет, бледный и немой...

К числу стихотворений, навеянных на поэта Кавказом, следует отнести также “Подражание Корану”, так грандиозно передающее дух ислама и красоты арабской поэзии; подражание Анакреону — “Кобылица молодая, честь кавказского тавра”; подражание Гафизу.— “Не пленяйся бранной славой, о красавец молодой”; лирические произведения — как, например, “Кавказ”, “Монастырь на Казбеке”, “Обвал” и, наконец, полные глубокой задушевности стихи:

На холмы Грузии легла ночная тень,
Шумит Арагва предо мною...
Или:
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной,
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный...

и несколько других, как например “Был и я среди донцов, гнал и я османов шайку”, навеянных случаем, встречей, минутной вспышкой вдохновения.

Из Тифлиса Пушкин ехал в сопровождении донских казаков, отслуживших очередь и возвращавшихся на родину, и потом, когда предстали перед ним широкие степи Дона и величавый образ казачьего народа, вечно готового к битвам, он вспомнил своих старых соратников, и это настроение поэта вылилось в художественном произведении:

Блеща средь полей широких,
Вот он льется!.. Здравствуй, Дон!
От сынов твоих далеких
Я привез тебе поклон.
Как прославленного брата
Реки знают тихий Дон:
От Аракса и Евфрата
Я привез тебе поклон.
Отдохнув от злой погони,
Чуя родину свою,
Пьют уже донские кони
Арпачайскую струю.
Приготовь же, Дон заветный,
Для наездников лихих
Сок кипучий, искрометный
Виноградников твоих.

Наконец, заключительной песней Пушкина, довершившей, так сказать, эту вдохновенную передачу впечатлений славной войны, был “Олегов щит” — легенда, полная высокой поэзии и образности.

Когда ко граду Константина
С тобой, воинственный варяг,
Пришла славянская дружина
И развила победный стяг,
Тогда во славу Руси ратной,
Строптиву греку в стыд и страх,
Ты пригвоздил свой щит булатный
На Цареградских воротах.
Настали дни вражды кровавой;
Твой путь мы снова обрели.
Но днесь, когда мы вновь со славой
К Стамбулу грозно притекли,
Твой холм потрясся с бранным гулом,
Твой стон ревнивый нас смутил,
И нашу рать перед Стамбулом
Твой старый щит остановил.

По возвращении в Петербург воспоминания о Кавказе никогда не покидали Пушкина. В одной из своих поэм — “Домик в Коломне” — он, как бы случайно, шутя, вспоминает знаменитый Ширванский полк и несколькими чертами с поразительной верностью рисует нам этот полк именно таким, каким он был в грозный день Ахалцихского штурма.

У нас война! Красавцы молодые,
Вы хрипуны (но хрип ваш приумолк),
Сломали ль вы походы боевые?
Видали ль в Персии Ширванский полк?
Уж люди! Мелочь, старички кривые,
А в деле всяк из них, что в стаде волк,
Все с ревом так и лезут в бой кровавый...
Ширванский полк могу сравнить с октавой.

В другом стихотворении — “19 октября”, посвященном лицейской годовщине, поэт особенно тепло и задушевно обращается к одному из своих отсутствующих друзей:

Я жду тебя, мой запоздалый друг —
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о Гете, о любви.

27 января 1837 года Пушкина не стало: он пал на дуэли, смертельно раненный кавалергардским офицером Дантесом. Пуля, попавшая в правый бок, остановилась в печени. Страдания его были ужасны, но твердость духа изумляла даже врачей. Арендт говорит, что он был в тридцати сражениях, видел много умирающих, но мало видел подобных. Последние минуты Пушкина были услаждены высоким вниманием императора Николая Павловича, почтившего его собственноручной запискою: “Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете,— писал ему государь,— то посылаю тебе мое прощение и последний совет — умереть христианином. О жене и детях не беспокойся: я беру их на

свои руки”. Записку эту привез ему Жуковский. “Скажи государю,— ответил Пушкин,— что мне жаль умереть: был бы весь его. Скажи, что я желаю ему счастья в его сыне, в его России”...

Между тем слух о катастрофе разнесся по всему Петербургу, и со всех сторон города экипажи и пешеходы длинной вереницей потянулись на Мойку, где близ Певческого моста, в доме княгини Волконской, была квартира поэта. Курьеры то и дело подъезжали к подъезду и скакали обратно, отвозя государю известия о состоянии больного. Народ два дня ночевал на улице. И вот, 29 января, в три часа пополудни, опять подскакала курьерская тройка. Молодой флигель-адъютант быстро вбежал на лестницу и также быстро вышел обратно, расстроенный, заплаканный. Толпа остановила его. “Неужели все кончено?” — “Все, все; молитесь за упокой души Александра”,— ответил молодой офицер, и тройка вихрем помчалась по направлению к Зимнему дворцу.

Прах Пушкина покоится в Псковской губернии, в Святогорском Успенском монастыре, всего в четырех верстах от любимого им села Михайловского. Могила его — за алтарем главной каменной церкви, возле самой монастырской ограды, мимо которой идет почтовая дорога в Новоржев. Старые липы осеняют черный мраморный памятник с простой надписью: “Александр Сергеевич Пушкин”. Он стоит высоко на пьедестале, окруженный железной решеткой, и виден весь через каменную ограду кладбища.

Кавказ откликнулся также на кончину своего любимого певца, в лице молодого мусульманского поэта Сабухия [Это псевдоним нухинского жителя Мирзы Фатали Ахундова.], написавшего прекрасное стихотворение “Смерть Пушкина”. Нельзя не отнестись с симпатией к самой идее, побудившей молодого азиата быть отголоском той скорби, которую вызвала во всех концах России весть о кончине великого писателя. Замечательно также, что перевод этих стихов на русский язык сделан Марлинским (Бестужевым), и что это было последнее произведение пера его: через несколько дней он был убит в сражении.

“Бахчисарайский фонтан,— так оканчивается это стихотворение,— шлет тебе с весенним зефиром благоухание роз своих, а седовласый старец Кавказ отвечает на песни твои сгоном в стихах Сабухия”.